This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

P Slav 562.10

Harvard College Library.

FROM THE FUND OF

THOMAS WREN WARD,

Late Treasurer of Harvard College.

Received May 6, 1897.

Починъ.
Сборникъ Общ. Любителей
Российской Словесности
на 1895 годъ.
р. Пастернакъ

8224

Potebnia

ПОЧИНЪ.

СБОРНИКЪ ОБЩЕСТВА

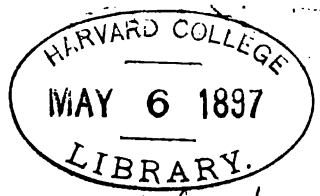
ЛЮБИТЕЛЕЙ

РОССІЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

на 1895 годъ.

МОСКВА.
Типо-литографія ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго „Русскаго Товарищества печатнаго и издательскаго дѣла".
Москва, Чистые пруды, соб. домъ.
1895.

PSlav 562.10
~~PSlav 30.3~~



Ward fund.

Общество Любителей Россійской Словесности предпринимаетъ ежегодное изданіе литературнаго сборника. Въ составъ этого сборника войдутъ прежде всего,—какъ живая лѣтопись его дѣятельности,—статьи и рѣчи, читанныя на публичныхъ собраніяхъ и литературныхъ вечерахъ Общества, и рефераты, обсуждавшіеся на очередныхъ, закрытыхъ засѣданіяхъ,—затѣмъ оригинальныя и переводныя произведенія членовъ, спеціально написанныя для сборника, историко-литературные матеріалы и т. д. Желаніе содѣйствовать обмѣну мыслей и литературныхъ взглядовъ дастъ возможность встрѣтиться на страницахъ сборника различнымъ оттѣнкамъ современной словесности, честно и серьезно относящимся къ ея задачамъ. Важнѣйшія явленія ея за годъ будутъ, начиная съ слѣдующей книги, подвергаться критическому разбору, а весь составъ литературныхъ новостей (книгъ и статей) библіографическому описанію. Дополненіемъ къ главному отдѣлу сборника является второй, справочный отдѣлъ, имѣющій цѣлью сообщать практически полезныя свѣдѣнія для людей, ближе стоящихъ къ литературѣ и печатному дѣлу. На первый разъ такія свѣдѣнія (уставы, отчеты и т. д.) сообщены о нашихъ литературныхъ обществахъ и вспомогательныхъ учрежденіяхъ, объ огражденіи законодательствомъ авторской собственности, и важнѣйшихъ статьяхъ устава о печати.

Общество дѣлаетъ „Починъ“, издавая сборникъ нынѣшняго года; опытъ покажетъ ему, въ какомъ направленіи могутъ быть достигнуты дальнѣйшее развитіе и улучшеніе его изданія.

Составленіе сборника было возложено Обществомъ на редакціонный комитетъ подъ предсѣдательствомъ времен. предсѣдателя Алексѣя Веселовскаго.

Язычество и Христіанство [1]).

Когда въ исторіи цивилизаціи европейскихъ народовъ говорится о великомъ переворотѣ, совершившемся въ умахъ вслѣдствіе озаренія ихъ христіанскимъ ученіемъ, о свѣжести воспринятія этого ученія съ одной стороны и о внезапной, могущественной силѣ воспринятаго ученія съ другой, то обыкновенно и преимущественно разумѣются здѣсь народы сѣверные, Славяне и особенно Германцы. И тѣ и другіе въ своемъ доисторическомъ развитіи выработали свою собственную народность, независимую отъ преданій античнаго міра и отъ христіанства, народность, выразившуюся въ самостоятельныхъ вѣрованіяхъ, обычаяхъ и поэтическихъ сказаніяхъ. Миѳологія Германцевъ и ихъ народный эпосъ были въ полномъ цвѣту, когда эти племена были застигнуты христіанствомъ. Съ свѣжестью сѣверныхъ дикарей, воспитанныхъ родными вѣрованіями и сказаніями, которыя еще не переставали развиваться, они отнеслись и къ новой вѣрѣ и къ новымъ сказаніямъ, и еще не остывшій религіозный восторгъ нераздѣльно перенесли на этотъ новый элементъ ихъ нравственной жизни. Христіанская религія была для нихъ не столько *ученіемъ*, сколько предметомъ вдохновенія и восторга. Они были столь невѣжественны, что не могли понять ученія, но, воспитанные своею миѳологіею, они были доступны религіи, которая расширяла область ихъ воображенія и давала сердцу новую пищу для благородныхъ ощущеній. Въ су-

---

1) Вступительная лекція неизданнаго курса о Данте, читаннаго авторомъ въ 1866—69 годахъ въ Московскомъ университетѣ.

ровыхъ умахъ должно было совершиться глубокое потрясеніе вслѣдствіе внезапнаго открытія новаго міра вѣрованій и представленій. Зрѣнію, до тѣхъ поръ стѣсненному въ узкой области домашней миѳологіи, вдругъ открылось необъятное поприще исторіи человѣчества, своимъ началомъ и концомъ граничащей съ вѣчностью. Памятникомъ этого внезапнаго потрясенія умовъ сохранилось преданіе объ обращеніи сѣверныхъ дикарей въ христіанство при пособіи изображеній страшнаго суда, которыя проповѣдники вѣры имъ показывали и объясняли.

Совершенно иныя отношенія христіанской вѣры къ быту и понятіямъ до-христіанскимъ въ странахъ античной цивилизаціи, какъ въ Греціи и Италіи, не только дали другой видъ этому перевороту въ исторіи человѣчества, но отразились самыми замѣтными явленіями во всѣхъ элементахъ жизни и особеннымъ образомъ опредѣлили всю послѣдующую исторію, какъ внѣшнюю, политическую и юридическую, такъ и духовную, въ идеяхъ, убѣжденіяхъ, искусствѣ и литературѣ. Для античной римской имперіи христіанство было высшимъ моментомъ развитія уже готовой цивилизаціи. Оно представлялось даже какъ бы естественнымъ результатомъ прошедшаго, необходимымъ явленіемъ жизни умственной и политической. Евангеліе, предлагавшее свое простое ученіе для младенцевъ и чистыхъ сердцемъ и потому какъ бы по преимуществу соотвѣтствовавшее натурѣ сѣверныхъ дикарей, въ античной римской публикѣ встрѣчаемо было изнѣженной цивилизаціей и пресыщенною апатіей въ дѣлѣ вѣрованій и убѣжденій. Тутъ не было мѣста восторженной внезапности при озареніи умовъ новой вѣрою. Эта вѣра, подготовляемая цѣлымъ рядомъ предшествовавшихъ явленій умственной и нравственной жизни, давала о себѣ предчувствовать и въ философіи и въ искусствѣ. Идеи о жизни загробной и о вѣчности все больше и больше приходили на умъ язычникамъ, утратившимъ вѣру въ свою миѳологію, чему свидѣтельствомъ служатъ многія надгробныя надписи, въ которыхъ сентиментальность обманутаго язычника утѣшаетъ себя трогательнымъ упованіемъ на свиданіе душъ по смерти.

Памятники искусства, относящіеся къ эпохѣ перехода отъ язычества къ христіанству и очевидно работанные язычниками и для язычниковъ, носятъ на себѣ замѣтную смѣсь миѳологическихъ сюжетовъ съ идеями, которыхъ полное развитіе воспослѣдовало только

въ новой религіи. Художники и публика съ особенною любовью останавливаются на такихъ античныхъ миѳахъ, къ которымъ всего удобнѣе можно примѣнить мысль о безсмертіи души и будущей жизни. Прометей смѣшивается съ Творцомъ первыхъ человѣковъ, Меркурій особенно чествуется, какъ спутникъ душъ на тотъ свѣтъ; похищеніе Прозерпины напоминаетъ о переходѣ душъ въ вѣчность, и сентиментальный миѳъ объ Амурѣ и Психеѣ (о платонической симпатіи тѣла и души) становится любимымъ предметомъ и поэзіи и искусства.

Изъ множества примѣровъ приведу одинъ саркофагъ, находящійся въ Капитоліи, съ барельефами, въ которыхъ античная миѳологія возвышается въ своемъ символическомъ значеніи до предчувствія нѣкоторыхъ идей, усвоенныхъ христіанствомъ. Идея саркофага—происхожденіе и смерть человѣка и переходъ души въ вѣчность. Въ самой серединѣ барельефа сидящій Прометей держитъ у себя на колѣнахъ еще бездушную фигуру человѣка, которую онъ сдѣлалъ изъ глины, находящейся около него въ корзинѣ; въ правой рукѣ онъ держитъ скульптурное орудіе, которымъ отдѣлываетъ эту фигуру; Минерва влагаетъ въ нее душу въ поэтическомъ образѣ бабочки, которую она прикладываетъ къ головѣ изваянія. Около стоитъ еще фигура человѣка, уже готовая. Надъ Прометеемъ—Парки: Клото съ веретеномъ, на которое она прядетъ нити человѣческой жизни, и Лахесисъ, своимъ стилемъ опредѣляющая на свиткѣ судьбу человѣка. Позади Прометея сидитъ *земля* въ видѣ полуобнаженной женщины, увѣнчанной вѣнкомъ изъ вѣтвей; у нея въ рукахъ рогъ изобилія, поддерживаемый геніями лѣта и зимы. Надъ нею *солнце* въ видѣ Аполлона на колесницѣ. Въ ногахъ у ней группа обнимающихся Амура и Психеи; тутъ же вверху *океанъ*, съ весломъ на плечѣ, спѣшитъ на чудовищѣ, чтобъ утѣшить Прометея (изображеннаго далѣе въ его нестерпимыхъ мученіяхъ). Передъ океаномъ несется Тритонъ, увѣнчанный тростникомъ, и трубитъ въ раковину.

Далѣе налѣво Вулканъ работаетъ въ своей кузницѣ; ему помогаютъ Циклопы. Съ этой стороны барельефъ замыкается двумя обнаженными фигурами: это мужчина и женщина, стоящіе подъ деревомъ, къ вѣтвямъ котораго мужчина протягиваетъ руку. Въ этой группѣ одни видятъ дикарей, другіе—вѣроятнѣе—Адама и Еву.

Какъ ваяніемъ Прометея означается происхожденіе человѣка,

такъ въ идущей направо отъ него группѣ выражена смерть и разставанье души съ тѣломъ. На землѣ лежитъ навзничь человѣческая фигура, уже мертвый трупъ, изъ котораго душа вылетѣла въ видѣ бабочки и паритъ надъ нимъ. Геній смерти опустилъ свой факелъ на грудь трупу. Въ головахъ трупа на камнѣ сидитъ Парка Лахесисъ съ развернутымъ свиткомъ на колѣнахъ, въ который списаны добрыя и злыя дѣла человѣка; вверху Геката на колесницѣ, а далѣе Меркурій увлекаетъ душу въ другой міръ.

Этотъ рядъ представленій, имѣющій предметомъ судьбу человѣка, замыкается изображеніемъ казни Прометея, который сотвореніемъ человѣка водворилъ на землѣ всякое зло и бѣдствія. Руки его прикованы къ Кавказу, а ногою упирается онъ на голову сидящей женщины съ рогомъ изобилія: опять олицетвореніе земли. На колѣнѣ у него сидитъ орелъ, терзающій его внутренности. Справа подходитъ Геркулесъ, направляющій свою стрѣлу на орла, чтобъ спасти Прометея. Барельефъ съ этой стороны заключается олицетвореніемъ Кавказа въ видѣ Старца съ змѣемъ въ рукѣ—геніемъ мѣста (Genius loci).

Саркофаги и другіе остатки античнаго искусства, болѣе или менѣе приспособленные къ идеямъ христіанства, а по большей части даже вполнѣ миѳологическаго содержанія, составляютъ самую обыкновенную принадлежность не только на улицахъ и площадяхъ Италіи, но и преимущественно въ церквахъ. Эта античная примѣсь къ искусству христіанскому внесла въ него весь обиходъ миѳологической символики въ олицетвореніи земли, моря, солнца, луны, вѣтра, городовъ и т. п. въ видѣ языческихъ боговъ и богинь, которые, наконецъ, потеряли свои античныя имена и стали простыми символами.

Христіанство въ Римѣ и другихъ городахъ Италіи стало распространяться постепенно между толпами энтузіастовъ и людей передовыхъ, но въ обстановкѣ чисто языческаго образа жизни. Вмѣсто внезапнаго восторга, съ которымъ относились къ христіанству сѣверные дикари, новообращенные римляне находили въ новой религіи пищу для болѣе спокойнаго разсужденія и для сентиментальной мечтательности. Если для дикарей христіанство проявлялось со стороны поэтической, то для потомковъ Цицерона и Горація—со стороны философской; для первыхъ было оно безотчетнымъ вѣрованіемъ, которое они въ своемъ невѣжествѣ сначала

слили въ одно цѣлое съ своею домашнею миѳологіею и которое не переставало оказывать вліяніе на развитіе ихъ до-христіанскаго эпоса, примѣнившаго новыя идеи и образы къ старымъ миѳамъ; для другихъ—христіанство было настоящимъ *ученіемъ*, философскою школою, которой гоненія языческихъ императоровъ дали смыслъ политической партіи.

Преслѣдованія, которымъ подвергались первые христіане, и претерпѣваемыя ими мученія придали сентиментальности и мечтательности этой древне-христіанской общины трогательный, такъ сказать, драматическій характеръ, какъ драматично положеніе всякаго, преслѣдуемаго полиціей и скрывающаго свои убѣжденія и дѣйствія отъ соглядатаевъ. Общества первыхъ христіанъ, привыкшія еще во времена язычества къ очищенію религіи отъ грубыхъ представленій народныхъ и къ возведенію религіозныхъ представленій, въ философскую систему мистерій или таинствъ, исповѣдывали свое новое ученіе, какъ таинство, которому новое обаяніе придавалось таинственной обстановкой секты, преслѣдуемой правительствомъ.

Такое расположеніе умовъ нашло себѣ прямое выраженіе въ сооруженіи *подземныхъ* помѣщеній для сборищъ и совершенія молитвы и таинствъ. Это были *катакомбы*. Сколько онѣ вмѣщали въ себѣ христіанъ въ первые вѣка гоненія и, слѣдовательно, какъ велико было ихъ вліяніе на воображеніе и чувство тамъ собиравшихся, и вообще на образованіе характера новыхъ христіанъ, достаточно сказать, что подъ однимъ Римомъ подземныя галлереи и корридоры въ лабиринтахъ своихъ сплетеній простирались верстъ на триста. Обыкновенная обстановка этихъ подземныхъ галлерей и залъ—гробы покойниковъ, вставленные въ стѣны въ нѣсколько рядовъ. Въ темнотѣ слабо мерцали канделябры.

Если сѣверные дикари преклонялись передъ христіанствомъ, пораженные въ своемъ воображеніи идеею вѣчнаго возмездія въ представленіи Страшнаго Суда, то новые христіане въ Римѣ имѣли другую, болѣе осязательную и жизненную связь съ религіей. Это связь общей судьбы секты, члены которой всѣ одинаково преслѣдуются; это связь, основанная уже на преданіи, заключенная на могилѣ мучениковъ, судьба которыхъ ожидала каждаго изъ членовъ секты. Потому посѣтители катакомбъ не нуждались въ изображеніяхъ Страшнаго Суда. Они повсюду кругомъ

себя видѣли не изображенія только, но дѣйствительные слѣды смерти.

Если чествованіе покойниковъ составляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ элементовъ всякой развитой религіи, и если во всякой религіи молитва передъ божествомъ соединяется съ мыслью о вѣчности, то нигдѣ полнѣе не выразилось это трогательное отношеніе къ покойникамъ, нигдѣ молитвы не являлись въ такой сентиментальной обстановкѣ представленій о смерти и будущей жизни, какъ въ катакомбахъ. Самое полное выраженіе идеи о слiяніи молитвы съ мыслью о будущей жизни посѣтители катакомбъ нашли себѣ на могилѣ мученика, которую возвели въ значеніе алтаря для совершенія на немъ таинствъ. Общественное и политическое положеніе новыхъ христіанъ при объясненномъ выше настроеніи ума и воображенія нашло себѣ самое полное выраженіе между формами изящныхъ искуствъ именно въ архитектурѣ, въ сооруженіи этихъ подземныхъ галлерей, съ кладбищами, залами для собраній и съ алтарями для совершенія таинствъ.

Философія и сентиментальность сектантовъ, давно уже отказавшихся отъ языческихъ басень, болѣе способны были къ лиризму, какъ къ формѣ, вполнѣ соотвѣтствовавшей душевному расположенію партіи, замѣшанной въ интригахъ политики и преслѣдуемой. Сверхъ того эти новые христіане, какъ и отвергнутые ими ихъ современники-язычники были слишкомъ развиты, чтобъ довольствоваться младенчески наивными формами эпоса. Въ самой живописи и скульптурѣ новые христіане были далеко уже не безъискусны, потому что, перейдя изъ язычества въ христіанство, они естественно вынесли изъ античнаго міра какъ античную цивилизацію вообще, такъ и развитую форму изящныхъ искусствъ. Барельефы на древне-христіанскихъ саркофагахъ и стѣнная живопись катакомбъ представляютъ самую тѣсную связь античныхъ формъ съ идеями христіанскими, связь гармоническую, образовавшуюся при посредствѣ символа, какъ художественной формы, наиболѣе соотвѣтственной таинственности обрядовъ и религіозныхъ идей. Древне-христіанскій художникъ не изображаетъ событій, а только дѣлаетъ на нихъ намеки, для того чтобы этими намеками выражать отвлеченныя идеи христіанскаго ученія. Напримѣръ, Адамомъ и Еввою онъ намекалъ на грѣхопаденіе, жертвоприношеніемъ Авраама—на искупленіе, Іоною—на трехдневную смерть и воскресеніе

Какъ введеніе и распространеніе христіанства не было для жителей Италіи явленіемъ внезапнымъ, поразительнымъ, такъ и возведеніе этой религіи со временъ Константина В. въ господствующее исповѣданіе. Это былъ не болѣе какъ вопросъ политическій, рѣшенный въ пользу новаго поколѣнія и согласный съ интересами большинства. Такимъ образомъ отъ первыхъ вѣковъ христіанства и въ теченіе смутнаго періода въ исторіи Италіи, обуреваемой нашествіемъ сѣверныхъ варваровъ, *античная цивилизація и христіанство* нераздѣльно принимались народомъ за древнее преданіе отцовъ, за основу умственнаго и нравственнаго развитія. Италія никогда не отказывалась отъ античной цивилизаціи, почитая ее своимъ законнымъ наслѣдствомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ никогда не умѣла во всей ясности противополагать христіанство своей языческой цивилизаціи. Это праотеческое преданіе античной цивилизаціи, столько же въ образованіи вообще и въ удобствахъ жизни, сколько и въ политическомъ устройствѣ, давало всѣмъ народамъ Италіи *національное единство*, несмотря на видимую между ними разрозненность и на преграды, налагаемыя чуждыми завоеваніями территорій отдѣльными клочками. — Народы германскаго происхожденія вырабатывали себѣ національное единство и сознаніе своей индивидуальности самостоятельно, путемъ *свободной* сознательной дѣятельности. Напротивъ того, единство Италіи было уже дано по преданію; надобно было только *пассивно* ему подчиниться. Даже внѣшнее выраженіе античной цивилизаціи, *латинскій языкъ*, стало по преданію выраженіемъ новой Италіи, которая такимъ образомъ не замѣтила своего перехода отъ языческаго періода къ христіанству, органомъ котораго оставался тотъ же классическій языкъ, послужившій посредникомъ и связью античной цивилизаціи съ христіанскимъ ученіемъ. Латынь эта была оффиціальнымъ языкомъ въ администраціи. Наконецъ до XII в. включительно латинскій языкъ господствовалъ и въ литературѣ, которая какъ бы непосредственно связывается съ блистательной эпохой писателей Августова вѣка.

Изъ сказаннаго ясно, что въ такой странѣ, какъ Италія, невозможна эпическая народная поэзія миѳологическаго, героическаго или даже историческаго содержанія, какую мы встрѣчаемъ у народовъ новыхъ и особенно у Германцевъ и Славянъ. Итальянскій народъ не могъ сосредоточить своихъ интересовъ даже на

такой колоссальной средневѣковой личности, какъ Карлъ Великій, потому что отъ временъ Ливія и Тацита уже смѣнилъ эпосъ на исторію и непрестанно имѣя предъ своими глазами памятники своего прошлаго въ сотняхъ развалинъ, болѣе или менѣе пріурочивалъ ихъ къ потребностямъ позднѣйшей текущей жизни. Народъ итальянскій уже вполнѣ утратилъ эпическую свѣжесть даже въ ту раннюю эпоху, въ концѣ XII и въ началѣ XIII в., откуда въ исторію литературы впервые раздаются звуки итальянской поэзіи. Впрочемъ не должно думать, чтобы народъ въ Италіи былъ вовсе лишенъ эпическихъ вымысловъ. Они, безъ сомнѣнія, были и частью дошли до насъ, передѣланные въ ученую прозу или въ искусственную поэзію частью на латинскомъ языкѣ, частью на итальянскомъ. Но эти вымыслы не составляли существеннаго богатства народной фантазіи, какъ у насъ былины, воспѣвавшія князя Владиміра, и сверхъ того, какъ и вся жизнь Италіи и ея исторія, болѣе или менѣе примыкаютъ къ античнымъ преданіямъ или же отличаются позднѣйшимъ характеромъ новеллы, легенды или анекдота. Сказанное вполнѣ подтверждается народными преданіями объ основаніи городовъ Италіи, занесенными въ лѣтописи.

Ѳ. Буслаевъ.

Плачъ холоповъ прошлаго вѣка.

Съ предисловіемъ Н. С. Тихонравова.

Восемнадцатый вѣкъ, сохраняя преданіе допетровской литературы, продолжалъ распространять литературныя произведенія путемъ рукописей. Строгая цензура, не допускавшая въ печать выраженія отрицательныхъ мнѣній и сатирическихъ произведеній, содѣйствовала тому, что литература раздѣлилась на двѣ категоріи: для высшаго, особенно придворнаго, общества печатались произведенія Ломоносова, Державина, Хераскова, Сумарокова; для средняго класса людей существовали рукописные сборники, такъ называемыя лубочныя книги и даже небольшое количество изданій печатныхъ, въ родѣ сатирическихъ журналовъ и книжекъ, исчезнувшихъ нынѣ изъ книжной торговли. Д. А. Ровинскій познакомилъ русское общество съ однимъ отдѣломъ безцензурной литературы 18-го вѣка, съ лубочными изданіями. А. Н. Пыпину принадлежитъ заслуга указать объемъ и содержаніе рукописной литературы *въ одной только области* романовъ и повѣстей. Но помимо этой сферы рукописная литература 18-го вѣка богата произведеніями другихъ родовъ. Въ то время какъ русскій піитъ прошлаго столѣтія, сознательно отторгаясь отъ современной жизни и быта, „парилъ къ верхамъ Парнасса“, т. е. большею частію пресмыкался передъ дворомъ и знатью, рукописная литература средняго сословія вращалась среди современной дѣйствительности. Въ грубыхъ архаическихъ виршахъ и старинныхъ литературныхъ формахъ эта литература нерѣдко затрогивала вопросы, которыхъ не смѣла касаться подцензурная печатная литература. Озлобленіе крѣпостнымъ правомъ и

общественнымъ положеніемъ крестьянъ выражалось не въ однихъ крестьянскихъ волненіяхъ—нѣтъ! Холопъ прошлаго вѣка чувствовалъ потребность высказаться—въ стихахъ! Въ одномъ изъ рукописныхъ сборниковъ, составъ котораго превосходно характеризуетъ вкусъ читателей средняго сословія въ 18-мъ вѣкѣ, мы нашли стихотвореніе, ниже помѣщаемое. Въ немъ не слѣдуетъ искать какихъ либо достоинствъ стиля, но поражаетъ глубина и искренность чувства, коимъ оно внушено. Это въ полномъ смыслѣ слова плачъ холоповъ прошлаго вѣка, и такое заглавіе я рѣшился дать этому беззаглавному и анонимному произведенію. Стихотвореніе написано около 1767 г. Къ такому заключенію приводятъ насъ слѣдующія данныя. Въ самомъ стихотвореніи читаемъ:

Въ свою нынѣ пользу законы перемѣняютъ:
Холопей въ депутаты затѣмъ не выбираютъ.

Современный читатель холопскаго плача обратитъ, конечно, вниманіе на слѣдующіе два стиха:

Пройди всю подселенную—нѣтъ такова житья мерзкова!
Развѣ намъ просить на помощь Александра Невскова?

И въ день 19 февраля вознесетъ молитву за того великаго тезоименника Св. Александра Невскаго, который своей десницею отеръ слезы русскихъ холоповъ и положилъ конецъ тому явленію, на которое въ XVI в. жаловались русскіе люди словами: „Холопствомъ робятъ безъ кончины“.

Плачъ холоповъ прошлаго вѣка.

О! горе намъ, холопемъ, за господами жить!
И не знаемъ какъ ихъ свирѣпству служить!
А хотя кто и служитъ—такъ какъ острая коса;
Видитъ милость—и то какъ утренняя роса.
О! горе намъ, холопемъ, отъ господъ и бѣдство!
А когда прогнѣвишь ихъ, такъ отъимутъ и отцовское наслѣдство.
Что въ свѣтѣ человѣку хуже сей напасти?
Что мы сами наживемъ—и въ томъ намъ нѣтъ власти.
Пройди всю подселенную—нѣтъ такова житья мерзкова!
Развѣ намъ просить на помощь Александра Невскова?
Какъ намъ, братцы, не досадно
И коль стыдно и обидно,
Что иной и равный намъ никогда быть не довлѣетъ,
И то видимъ: множество насъ въ своей власти имѣетъ. [1])
Во весь вѣкъ сколько можемъ мы, безсчастные, пожить,
И всегда будемъ мы, безсчастные, тужить. —
Знать прогнѣвалась на насъ земля и сверху небо!
Неужель мы не нашли-бъ безъ господъ себѣ хлѣба!
На что сотворены лѣса—на что и поле,
Когда отнята и та отъ бѣдныхъ доля?
Зачѣмъ и для чего на свѣтъ насъ породили?
Виновны въ томъ отцы, что симъ насъ наградили.

---

[1]) Т. е. иной, который не достоинъ быть съ нами равенъ, имѣетъ множество насъ въ своей власти.

Противны стали нынѣ закону господа,
Не вѣрятъ слугамъ ни въ чемъ и никогда!
Безъ выбору насъ бѣдныхъ ворами называютъ,
„Напрасно хлѣбъ ѣдимъ“—всечасно попрекаютъ,
А если украдемъ господскій одинъ грошъ,
Указомъ повелятъ его убить, какъ вошь.
А баринъ украдетъ хоть тысячъ десять,
Никто не присудитъ, что надобно повѣсить.
Умножилась неправда въ россійскихъ воеводахъ:
Подарокъ принесетъ кто—тотъ правъ и безъ доводовъ.
На власть Создателя перестали уповать
И нами, какъ скотомъ, привыкли обладать.
Всѣ земли насъ бранятъ и глупости дивятся,
Что такіе глупые у насъ въ Россіи родятся;
И подлинно въ насъ глупость давно вкоренена,
Что всякая здѣсь честь побродамъ отдана.
Бояринъ умертвитъ слугу, какъ мерина,—
Холопьему доносу и въ томъ вѣрить не велѣно.
Неправедны суды составили указъ,
Чтобъ сѣчь кнутомъ тирански за то насъ.
Въ свою нынѣ пользу законы перемѣняютъ:
Холопей въ депутаты затѣмъ не выбираютъ.
Что могутъ де холопы тамъ говорить?
Отдали-бъ имъ волю до смерти насъ морить.
Знать мы всѣ безсчастны на свѣтъ рождены,
Что подъ власть такимъ тиранамъ во вѣкъ утверждены!
За что намъ мучиться и на что вѣкъ тужить?
Лучше согласиться намъ царю служить.
Лучше намъ жить въ темныхъ лѣсахъ,
Нежели быть у сихъ тирановъ въ глазахъ:
Свирѣпо на насъ глазами глядятъ
И такъ, какъ бы ржа желѣзо, ѣдятъ.
Царю послужить ни одинъ не хочетъ,
Лишь только у насъ послѣднее точитъ.
Въ то и стремятся, чтобъ неправдою мзду собирать,
А того не страшатся, что станутъ злою смертью умирать.
Власть ихъ увеличилась, какъ въ Невѣ вода;
Куда бы ты ни сунься—вездѣ господа!

Ахъ! когда бъ намъ, братцы, учинилась воля,
Мы бъ себѣ не взяли ни земли, ни поля,
Пошли бъ мы, братцы, въ солдатскую службу
И сдѣлали бъ между собою дружбу,
Всякую неправду стали бъ выводить
И злыхъ господъ корень переводить.
Прежде ихъ затѣмъ тирановъ пущали,
Чтобъ они Россію просвѣщали,
А они уже такъ нами владѣютъ,
Что и говорить холопи не смѣютъ.
Когда холопъ въ господскія слова вступилъ,
То такъ какъ самъ себѣ онъ побои купилъ.
Когда въ Россію набродовъ сихъ пущали,
Тогда намъ лучшее правленіе обѣщали,
А они россійскихъ дворянъ со однодворцами опредѣлили,
А насъ, безсчастныхъ, по себѣ раздѣлили.
Пропали наши бѣдныя головы
За господами лихими и голыми!
Всѣ мы въ немилосердыхъ рукахъ связаны,
Какъ будто такимъ татствомъ обязаны.
О! злые господа къ царю насъ не пущаютъ
И милости своей къ намъ не обѣщаютъ.
Всѣ мы, безсчастные, обѣдняли:
Лучше бы чужую сторону спознали.
Какъ холопемъ на нихъ не сердиться?
Я думаю, скоро съ досады станутъ бѣситься.
Чистую рожь купцамъ всю продаютъ,
А намъ ужъ, какъ свиньямъ, невѣйку даютъ.
Несытые господа и въ постъ мясо ѣдятъ,
А холопемъ и въ мясоѣдъ пустыя щи варятъ. —
О! горе, братцы, наше:
Всегда намъ, безсчастнымъ, аржаная каша.
Господа пьютъ и веселятся,
А холопемъ не велятъ и разсмѣяться
Лягутъ спать на канопе, ни кричать,
Велятъ тихо ходить и ничѣмъ не стучать.
Если жь кто небреженіемъ застучитъ,
Тотъ несносные побои получитъ.

Не выходитъ изъ головъ господскій страхъ,
Будто нѣкакой сидитъ за плечами врагъ.
Сколько намъ, братцы, ни рваться,
Знать по смерть намъ ихъ бояться!
А когда холопей въ яму покладутъ,
Тогда и вольный абшитъ въ руки дадутъ.
Нѣтъ холопемъ никакой надежды,
Не выслужить намъ себѣ хорошей одежды,
Защитники ихъ въ Деделовѣ [1]) хворостомъ торговали,
Да слухъ прошелъ, что и тѣ въ провальную яму попали,
И потому не отъ кого ожидать застои [2]),
Развѣ нѣтъ-ли на Саратовской степи ямы пустой.
Только ихъ и веселитъ съ табакомъ рогъ,
Да въ чистомъ полѣ зеленый горохъ.
Хотя бы выпилъ съ горя чарку винца,
Да взять негдѣ и кислаго пивца.
Господи нашъ Боже!
Даждь въ небесномъ твоемъ полѣ ложе!
Ты бо намъ Творецъ:
Сдѣлай бѣднымъ одинъ конецъ!

---

[1]) Въ географическихъ словаряхъ не обозначено такое мѣсто. Можетъ быть, это слобода Дѣдилова, Тульской губ., Богородицкаго уѣзда, о которой у Щекатова замѣчено, что на гористой части ея находится яма, наполненная водой, гдѣ прежде была ровная земля и стояли дома. Подземная вода, устремясь къ верху, вдругъ размыла землю и въ одну ночь вмѣсто земли и стоящихъ на ней домовъ явилось тутъ озеро.

[2]) Застоя-защита. Областной словарь отмѣчаетъ это слово, какъ записанное въ Владимірской губерніи.

САМОРОДОКЪ.

Разсказъ.

I.

Звонокъ въ передней раздался въ необычное время. Было уже четыре часа, а въ это время къ Сурнинымъ рѣдко кто пріѣзжалъ. Они обѣдали ровно въ пять, а Андрей Иванычъ не любилъ, чтобы ему мѣшали въ такой торжественный моментъ. Горничная была послана къ модисткѣ, и отворять дверь вышла старая нянька Тарасьевна. Пока она шла по корридору, шмыгая тяжело ногами, раздался рѣзкій второй звонокъ. Вѣрочка видѣла изъ-за своего рояля, какъ показалась голова отца въ дверяхъ кабинета и сдѣлала внушительный жестъ старухѣ, который въ переводѣ означалъ: не принимать.

Потомъ въ передней отворилась дверь, и послышался грубый мужской голосъ.

— Нѣтъ дома? Очень пріятно... Ахъ, ты, старая карга!.. Обманывать еще не научилась, хоть и живешь въ Петербургѣ. Да... Просто, Андрюшка спрятался... Что-о? Да ты возьми глаза въ зубы и посмотри на меня хорошенько... Не узнала Родьку Шихобалова?..

— Охъ, батюшки мои... упавшимъ голосомъ зашептала старуха, пятясь отъ гостя. — Да откуда ты взялся то, Родіонъ Поликарпычъ?

— А взялъ да прямо съ печи и упалъ... Въ гости пріѣхалъ, ворона ты этакая. Ну, гдѣ Андрюшка, подавай его, каналью, сюда, а то...

Послышались торопливые шаги самого Андрея Иваныча, а затѣмъ смѣшанный говоръ, объятія и поцѣлуи. Вѣрочка закрыла рояль и черезъ гостинную торопливо ушла къ себѣ въ комнату. Фамилію Шихобалова она слышала съ дѣтства, и у нея сло-

жилось объ этомъ неизвѣстномъ человѣкѣ какое-то миѳическое представленіе, какъ о чемъ-то необыкновенномъ. А между тѣмъ обрывки первыхъ фразъ, долетѣвшихъ до ея слуха, совершенно разрушили это представленіе. Больше всего поразило Вѣрочку то, что этотъ миѳическій Шихобаловъ называетъ ея отца Андрюшкой. Это ужъ окончательно было ни на что не похоже... Вѣрочка взволновалась и остановила торопливо бѣжавшую по коррридору няню.

— Няня, постой... Это тотъ Шихобаловъ? Изъ Сибири?

— Охъ, онъ самый, родная... Вотъ напугалъ-то до смерти!

— Можетъ быть, ты ошиблась, няня?

— Ошибла-ась! Да другого такого-то ирода и не сыщешь съ огнемъ... Одинъ только и есть. Охъ, смертынька...

Изъ кабинета отца донесся хриплый хохотъ, и нянька испуганно побѣжала дальше, что-то нашептывая себѣ подъ носъ. Обыкновенно старуха была молчалива и не выдавала своего настроенія, а тутъ совсѣмъ растерялась. Вѣрочка еще разъ удивилась и вопросительно пожала своими узкими плечиками. Что это такое?...

Въ сурнинскомъ домѣ царилъ самый строгій порядокъ, начиная съ того, что всѣ ходили чуть не на цыпочкахъ и не смѣли говорить громко. Это вошло уже въ такой обычай, что громкій голосъ нежданнаго сибирскаго гостя являлся рѣзкимъ диссонансомъ. Вѣрочкѣ вдругъ сдѣлалось почему-то безотчетно страшно, страшно за то, что сейчасъ происходило въ отцовскомъ кабинетѣ. Она уже видѣла встревоженное лицо отца и впередъ переживала терпкое и непріятное чувство. Въ самомъ дѣлѣ, ворвался какой-то совсѣмъ сумасшедшій... А между тѣмъ, отецъ, вспоминая свою службу въ Сибири, постоянно называлъ фамилію Шихобалова. „Что то теперь подѣлываетъ Шихобаловъ? Вотъ бы свезти его въ оперу или въ балетъ... Да, такихъ людей немного!“ Отецъ даже улыбался, что рѣдко съ нимъ случалось. Существовалъ цѣлый рядъ анекдотовъ о Шихобаловѣ, которые Вѣрочка знала наизусть и каждый разъ испытывала приступъ сосущей тоски, когда отецъ начиналъ разсказывать ихъ кому нибудь изъ новыхъ петербургскихъ знакомыхъ. Всѣ эти анекдоты неизмѣнно начинались съ стереотипной фразы: „Когда я служилъ въ Сибири, былъ у меня одинъ знакомый, по фамиліи Шихобаловъ“... У отца были какія то дѣла съ нимъ, и Вѣрочка знала даже письма, которыя получались отъ Шихобалова. Смятые грязные конверты, непремѣнно сургучная печать, вмѣсто адреса какія

то каракули,—такія письма отецъ получалъ только изъ Сибири и каждый разъ приходилъ въ хорошее настроеніе. Благодаря послѣднему, Вѣрочка имѣла полное основаніе заключить, что Шихобаловъ человѣкъ хорошій, потому что только непріятныя письма пишутся дурными людьми. Она даже пользовалась нѣсколько разъ моментомъ полученія шихобаловскихъ писемъ, чтобы выпросить у отца что нибудь,—онъ въ хорошемъ расположеніи духа готовъ былъ сдѣлать все, и это отлично знали всѣ въ домѣ, до Тарасьевны включительно.

Вѣрочка волновалась вплоть до самаго обѣда и даже перемѣнила два платья. Обѣдъ изъ минуту въ минуту начинался въ пять часовъ. Говоря откровенно, это было самое тяжелое время дня, и всѣ были рады, когда обѣдъ кончался. Андрей Иванычъ обыкновенно придирался по всякому поводу къ женѣ,—онъ былъ женатъ на второй. Мачиха была старше Вѣрочки всего лѣтъ на пять и скорѣе походила на ея сестру. Петербургская уроженка, всегда больная и всегда озлобленная, Поликсена Петровна ни въ чемъ не уступала мужу и не оставалась въ долгу. Вѣрочка настолько привыкла къ этой вѣчной домашней войнѣ, что чувствовала, какъ будто чего то не достаетъ, когда обѣдалъ кто нибудь посторонній и Андрей Иванычъ поневолѣ сдерживался. И сейчасъ, проходя по корридору, Поликсена Петровна заглянула въ комнату Вѣрочки, ядовито улыбнулась и проговорила:

— Этотъ нахалъ остался у насъ обѣдать... Никто и не думалъ его приглашать, а онъ остался. Настоящій сибирскій джентльменъ...

— Въ Сибири это принято,—тоже ядовито отвѣтила Вѣрочка, косвенно защищая отца и гостя.—Только у насъ считаютъ куски...

Поликсена Петровна была скупа и только поджала губы, получивъ этотъ прозрачный намекъ. Она сдержанно ненавидѣла падчерицу и не могла дождаться, когда та, наконецъ, выйдетъ замужъ. Кажется, ужъ пора,—дѣвицѣ двадцать четыре года. И женихи были,—такъ ужъ очень разборчива! Поликсена Петровна приходила въ ужасъ отъ одной мысли, что Вѣрочка останется у нея на рукахъ въ качествѣ старой дѣвы. Отъ нея всего можно было ожидать...

„По случаю гостя“ въ столовой была сервирована закуска, чего обыкновенно не дѣлалось. Этотъ лишній расходъ привелъ Поликсену Петровну впередъ въ самое дурное настроеніе.

Когда хозяйка вошла въ столовую, сибирскій гость былъ уже тамъ. Онъ стоялъ у закуски и говорилъ, наливая рюмку:

— У насъ, Андрюшка, знаешь, сибирское правило: между первой и второй рюмкой не дышутъ...

— Родіонъ Поликарпычъ, позволь тебѣ представить: моя жена и дочь.., перебилъ его смутившійся Андрей Иванычъ.

Наружность Шихобалова не была въ его пользу. Коренастый, плотный, съ кривыми ногами и большой головой, онъ походилъ на медвѣдя, поставленнаго на заднія лапы. Лицо было просто неприлично, какъ рѣшила про себя Вѣрочка: широкое, скуластое, заросшее какимъ-то конскимъ волосомъ. Маленькіе глазки совсѣмъ заплыли, а кожа имѣла мѣдно-красный цвѣтъ. Въ свою очередь и Шихобаловъ, кажется, остался несовсѣмъ доволенъ наружностью петербургскихъ дамъ и какъ-то фукнулъ широкимъ носомъ.

— Это которая же дочь, которая жена? грубовато спросилъ онъ, протягивая волосистую короткую руку съ точно обрубленными пальцами.

Вѣрочка сдѣлала непонимающее лицо ingénue dramatique, а Поликсена Петровна улыбнулась одними глазами.

— Ну, виноватъ, не разглядѣлъ... добродушно извинялся Шихобаловъ, когда Андрей Иванычъ обиженно объяснилъ ему разницу.—Не разберешь сразу этихъ петербургскихъ барынь... Обѣ тощія, обѣ зелененькія... хха! Видно у васъ тутъ толсто звонятъ, да тонко ѣдятъ... У меня вотъ благовѣрная супруга такъ и въ дверь не пролѣзетъ. Я ее торпедой зову... Нравится мнѣ это слово, Андрюшка, тор-пе-да... Именно торпеда, и больше ничего.

— А ты все такой-же, съ дѣланною ласковостью говорилъ Андрей Иванычъ, хлопая сибирскаго друга по плечу и напрасно стараясь попасть ему въ тонъ.—У васъ все по прежнему: Мишка, Волька, Родька?

— Да, вѣдь, любя, дура-голова!

Поликсена Петровна опять едва улыбнулась, глядя, какъ у Андрея Иваныча выступаютъ по лицу красныя пятна, и кожа принимаетъ тонъ линючаго ситца. Ей начиналъ нравиться этотъ милый гость, такъ ловко изводившій хозяина.

— Ну, мы тебя тутъ выучимъ, какъ держать себя, —говорилъ Андрей Иванычъ, усаживая гостя за столъ.—У насъ строго...

Все время обѣда дамы молчали, потому что разговоръ шелъ

о совершенно невѣдомыхъ имъ старыхъ сибирскихъ знакомыхъ и совсѣмъ непонятныхъ сибирскихъ дѣлахъ. Перебрали цѣлую кучу покойныхъ сибирскихъ друзей, пожалѣли, что всѣ они умерли раньше времени, припомнили нѣсколько сибирскихъ анекдотовъ изъ ихъ жизни и еще разъ пожалѣли. Увлекшись этими воспоминаніями, Шихобаловъ хлопалъ рюмку за рюмкой, такъ что хозяинъ замѣтилъ въ шутливомъ тонѣ:

— Не будетъ-ли, Родіонъ Поликарпычъ?

Захмелѣвшій гость понялъ, куда это клонитъ, и проговорилъ, обращаясь къ Вѣрочкѣ, которую принималъ за жену:

— А вы считаете меня, мадамъ, за дурака... Пріѣхалъ и давай хлестать водку. Такъ-съ?..

— У всякаго свои привычки... Уклончиво-холодно отвѣтила Вѣрочка.

Шихобаловъ лукаво подмигнулъ ей и объяснилъ:

— Дуракъ да не совсѣмъ, мадамъ... Первымъ дѣломъ мы махнемъ къ отцу Ивану Кронштадтскому. Это какъ по вашему?

Выходя изъ-за стола, гость неожиданно хлопнулъ хозяина по животу и проговорилъ:

— Ахъ, Андрюшка, Андрюшка, и гусь-же ты петербургскій сдѣлался!.. Посмотри въ зеркало на рожу на свою: сейчасъ открывай торговлю постнымъ масломъ!

II.

Андрей Ивановичъ едва дождался окончанія проклятаго обѣда. Главнымъ образомъ его злило молчаливое торжество жены. Она-то чему радуется? Да и передъ Вѣрочкой, конечно, неловко. Дѣвушка „изъ общества“ и словъ такихъ не должна никогда слышать, а этотъ медвѣдь точно сбѣсился.

Послѣ обѣда Андрей Иванычъ провелъ гостя къ себѣ въ кабинетъ.

— А коньячища не полагается? заискивающе спрашивалъ Шихобаловъ.

— Дурно себя ведешь, а по сему и не получишь ничего, кромѣ кофе.

— Ну и чортъ съ тобой!.. Я пойду куда нибудь въ трактиръ. Только зубъ у меня разыгрался, а ты поперекъ дороги....

— Сигарку хочешь? У меня есть особенная...

— Къ дьяволу!.. Тоже нашелъ дурака!.. Не курю я твоихъ цигаръ.

— Ахъ, да, я и забылъ...

Когда подтянутая горничная въ бѣломъ передникѣ подавала кофе, Шихобаловъ посмотрѣлъ на нее и даже подмигнулъ. Андрей Иванычъ только покачалъ головой. Гость былъ невозможенъ.

— Я тебѣ кое-что покажу, Родіонъ Поликарпычъ,—заговорилъ таинственно Андрей Иванычъ, мѣняя тонъ.

Рѣдкіе гости Сурнина отлично знали роковой смыслъ этой невинной по своему существу фразы,—это былъ только приступъ къ самому изысканному мучительству записного любителя. Кабинетъ Андрея Иваныча составлялъ его гордость, какъ собраніе всевозможныхъ рѣдкостей, добытыхъ съ неимовѣрнымъ стараніемъ въ лавкахъ старьевщиковъ, на аукціонахъ и вообще по случаю. Неопытный гость проходилъ черезъ настоящій строй и долженъ былъ удивляться, ахать, восхищаться, качать головой, приходить въ нѣмой восторгъ, еще разъ удивляться, пока пытка не исчерпывалась истощившимся матеріаломъ. Въ теченіи времени Андрей Иванычъ изобрѣлъ правильную систему объясненія своихъ рѣдкостей и говорилъ заученными фразами, какъ путеводитель по какому-нибудь музею. А въ кабинетѣ этихъ рѣдкостей было достаточно: древности восточныя,—изразцы съ среднеазіатскихъ мечетей, мозаика изъ Св. Софіи въ Константинополѣ, статуэтки изъ Египта, предметы бронзоваго и каменнаго вѣковъ; дальше слѣдовали Грецiя, Римъ и Средніе вѣка, потомъ культура Индіи, Китая и Японіи,—бронза, лаки, фарфоръ, ткани, потомъ искусство новѣйшаго времени,—фарфоръ, мебель, статуэтки, картины, гравюры, просто бездѣлушки. Главной гордостью хозяина было то, что всѣ эти сокровища пріобрѣтались за безцѣнокъ. Когда дѣло дошло до какихъ-то эмалей и нумизматической коллекціи, дремавшій на диванѣ гость проговорилъ сонnымъ голосомъ:

— Послушай, Андрюшка... На кой-тебѣ чортъ вся эта дрянь?.. Торгуешь хламомъ, что-ли?..

— Какъ на что? серьезно обидѣлся Андрей Иванычъ.—Ахъ, ты, дикарь!.. Для тебя все искусство въ гармоникѣ, да въ лубочной картинѣ. Погоди, вотъ я тебя познакомлю съ настоящими людьми... Да. Тогда ты и почувствуешь свое полное невѣжество...

— Ну, тебя!.. Мнѣ вотъ до о. Іоанна только добраться-бы...

— Послушай, ты глупъ, Родіонъ Поликарпычъ. Нельзя такъ... Если не понимаешь ничего, такъ по крайней мѣрѣ хоть молчи.

Вмѣсто отвѣта послышался легкій носовой свистъ, перешедшій цѣлой гаммой всевозможныхъ тоновъ въ богатырскій храпъ. Андрей Иванычъ посмотрѣлъ на безсовѣстнаго гостя, поднялъ густыя брови, конечно не шедшія къ его изможденному лицу, и принялся съ угнетеннымъ видомъ убирать опозоренныя невѣждой сокровища искусства. Онъ ужасно злился на своего стариннаго друга, а потомъ вдругъ его осѣнила счастливая мысль: позвольте,—да, вѣдь, Родька Шихобаловъ самъ по себѣ представляетъ рѣдкость, какъ какой-нибудь зубръ, вѣрнѣе—unicum... Вотъ кого показать друзьямъ, конечно, предупредивъ предварительно!.. Да, это цѣлая идея! Вѣдняга не будетъ и подозрѣвать, что его будутъ разсматривать, какъ какое-нибудь морское чудовище.

— Да, да, это отлично! повторилъ Сурнинъ, изподлобья поглядывая на спавшаго богатыря. — Все дѣло только въ томъ, подъ какимъ соусомъ тебя приподнести почтеннѣйшей публикѣ...

Въ головѣ Сурнина сейчасъ-же сложился цѣлый планъ маленькой рѣчи, какую онъ скажетъ гостямъ: „Господа, позвольте представить вамъ представителя далекой русской окраины... Это то, что въ Сибири называется *самороднмъ*. Да, это настоящій русскій самородокъ, тотъ безвѣстный русачекъ, который прошелъ отъ одного океана до другого, забрался въ тайгу, на берега Ледовитаго океана и вездѣ несъ съ собой родную русскую культуру. Предлагаю выпить за его здоровье!“ Впрочемъ, предлагать выпивку, пожалуй, будетъ опасно. Еще напьется этотъ самородокъ... Говорить маленькія рѣчи было слабостью Сурнина, и онъ въ этомъ направленіи порядочно набилъ себѣ руку, подслащая свои спичи націонализмомъ послѣднихъ дней. Россія для русскихъ и т. д.

Сурнинъ принадлежалъ къ типу тѣхъ темныхъ капиталистовъ, которые являются въ столицы изъ невѣдомыхъ глубинъ глухой провинціи. Большинство изъ нихъ въ томъ солидномъ возрастѣ, когда принято жить только для дѣтей. И Сурнинъ тоже увѣрялъ, что пріѣхалъ только для единственной дочери Вѣрочки, но кончилъ тѣмъ, что женился на ея гувернанткѣ, бойкой и озлобленной петербургской бездомной барышнѣ. Она разсчитывала забрать

разлакомившагося старца въ свои руки, но это никакъ не выходило. Сурнинъ оказался не изъ того разбора. Началась тяжелая семейная война, причемъ Поликсена Петровна отъ души возненавидѣла мужа. Она отлично изучила его привычки, слабости и недостатки. Самымъ слабымъ пунктомъ Сурнина было желаніе выѣзти въ люди, въ то настоящее общество, которому онъ тайно завидовалъ. Какъ всѣ такіе темные провинціалы, онъ разсчитывалъ на свое вліяніе, какъ капиталиста, но его капиталы оказались ничтожными по сравненію съ настоящими богачами. Можно было жить всего тысячъ на двадцать, а это не Богъ вѣсть какія деньги.

Не попавъ въ родовую знать и въ тѣсную семью настоящихъ капиталистовъ, Сурнинъ повелъ другую политику. Онъ началъ посѣщать собранія разныхъ ученыхъ обществъ, гдѣ-то даже сдѣлалъ какой-то докладъ, потомъ сдѣлался членомъ двухъ благотворительныхъ обществъ, посѣщалъ всѣ первыя представленія, выставки, абонировалъ постоянную ложу въ оперѣ и вообще старался держаться на виду, постоянно заводя вліятельныя знакомства. Легче всего было сдѣлать себѣ имя благотворителя и мецената, и имя Сурнина начало появляться даже въ газетныхъ отчетахъ: „извѣстный сибирскій меценатъ Сурнинъ пожертвовалъ въ пользу прокаженныхъ триста рублей“, и т. д. Въ погонѣ за своей цѣлью онъ сдѣлался даже археологомъ и коллекціонеромъ, потому что это было въ модѣ, и какая нибудь рѣдкая монета служила отличнымъ предлогомъ для очень вліятельнаго и выгоднаго знакомства. Сильные міра сего страдаютъ иногда самыми маленькими, дѣтскими слабостями. Это было выгоднѣе роли благотворителя. Званіе мецената давало возможность собрать у себя въ домѣ г.г. артистовъ, являвшихся въ свою очередь приманкой для нужныхъ людей „изъ общества“.

Однимъ словомъ, Сурнинъ шелъ къ своей цѣли твердо и настойчиво и, вѣроятно, скоро достигъ бы своего, если-бы не жена. Это было неисправимой ошибкой жениться на гувернанткѣ, которая даже не умѣла „сдѣлать дома“. Она не умѣла одѣваться, не умѣла принять, не умѣла, вообще, держать себя. Говоря проще— была глупа. Другое дѣло, еслибы онъ женился на какой-нибудь вдовушкѣ съ вліятельными связями и умѣньемъ устроить настоящій train. Сурнинъ презиралъ жену, которая вставала ему поперекъ дороги на каждомъ шагу. Когда онъ добился мѣста благо-

творительнаго секретаря и завязалъ знакомства съ вліятельными благотворительницами, все рушилось разомъ, когда дѣло дошло до визитовъ. Свѣтскія дамы умѣли дать понять, что m-r Сурнинъ еще терпимъ въ качествѣ благотворителя и нео-патріота, но m-me Сурнинъ... Даже въ такомъ дѣлѣ, какъ гастрономія, Поликсена Петровна рѣшительно ничего не стоила и высчитывала какіе-то гроши, тогда какъ умѣнье дать хорошій завтракъ съ хорошимъ виномъ дѣло великое. Самъ Сурнинъ выучился этому трудному и дорогому искусству и являлся въ своемъ родѣ знатокомъ. У него даже былъ свой талантъ, несомнѣнный талантъ,—ему принадлежала идея сибирскихъ пельменей изъ рябчиковъ съ жиромъ отъ телячьихъ почекъ. Въ ресторанахъ даже заказывали „сурнинскіе пельмени“.

Вообще, Сурнинъ пошелъ бы далеко, если-бы не пропустилъ напрасно столько времени, похоронивъ свою молодость и зрѣлый возрастъ въ далекой глуши. Онъ считалъ себя несправедливо обиженнымъ, по сравненію съ другими, сдѣлавшими карьеру, хотя они были въ десять разъ глупѣе его. Главная бѣда заключалась въ томъ, что время Сурнина ушло. Поздно было начинать. Онъ присматривался къ большимъ дѣламъ и чувствовалъ, что старъ. На сценѣ были уже другіе люди, юркіе, неуловимые, дерзкіе; онъ не понималъ этой новой породы. Что дѣлать, всякому овощу свое время! Онъ дѣлалъ нѣсколько попытокъ попасть въ этотъ заколдованный кругъ, составилъ даже нѣсколько проэктовъ, но на него смотрѣли или какъ на карманъ, или какъ на сумасшедшаго. Оставалось только ждать случая.

Замѣчательная выдержка характера измѣняла Сурнину только въ единственномъ случаѣ, именно, когда онъ сталкивался съ другимъ такимъ же темнымъ провинціаломъ, старавшимся пролѣзть куда-то. Всѣ эти темные люди отлично понимали другъ друга, откровенно ненавидѣли другъ друга и распространяли другъ про друга всевозможныя вещи, какъ это дѣлаютъ всѣ опасные конкурренты.

— Сурнинъ... Сурнинъ... Позвольте, мнѣ кажется, что я гдѣ-то слышалъ эту фамилію! Ахъ, да!.. Еще былъ процессъ по поводу одного крупнаго хищенія на югѣ...

— Нѣтъ, вы ошибаетесь: онъ на югѣ никогда не бывалъ, а служилъ въ Сибири. Но это еще хуже... Старые суды... взятки...

чиновничій произволъ... Однимъ словомъ, человѣкъ неизвѣстный и темный!

Коренные петербуржцы вообще не интересуются прошлымъ и генеалогіей богатыхъ людей, совершенно довольствуясь настоящимъ. А такихъ провинціаловъ, какъ Сурнинъ, сколько угодно.

III.

Шихобаловъ пропадалъ нѣсколько дней и потомъ явился съ опухшей отъ пьянства физіономіей.

— Ты это что же? внушительно говорилъ Сурнинъ.—Все къ о. Ивану собираешься?

— Около того... Былъ на Балтійскомъ вокзалѣ, ну, а тамъ буфетъ. Значитъ, и того...

— Не хорошо... Нужно остепениться. Понимаешь? У насъ есть ложа... Вотъ поѣхалъ бы съ дамами.

— Въ лучшемъ видѣ...

Съ ложей вышло крупное недоразумѣніе. Шихобаловъ почему-то предположилъ, что его повезутъ въ циркъ, и заснулъ на второмъ дѣйствіи. Дамы страшно были сконфужены и уѣхали изъ театра, не дождавшись конца.

Второй опытъ былъ съ сибирскимъ концертомъ, устраиваемымъ въ пользу учащихся сибиряковъ. Поѣхалъ самъ Андрей Иванычъ, что-то, куда-то и на что-то жертвовавшій. Ихъ мѣста были во второмъ ряду. Въ антрактѣ между двумя отдѣленіями Шихобаловъ явился уже пьяный. Вѣрочка могла только удивляться, когда онъ успѣлъ напиться.

— Ну, публика... повторялъ Шихобаловъ, ухмыляясь себѣ въ бороду.

— А что? полюбопытствовала Вѣрочка.—Такая же, какъ и всякая другая...

— Такая?

Шихобаловъ только махнулъ короткой рукой и хрипло засмѣялся.

— Публика... ха-ха!.. Вѣры—вотъ и весь сказъ.

— Я удивляюсь, какъ это вы можете говорить подобныя вещи,—обидѣлась Вѣрочка, отодвигаясь.—Вы просто невозможный человѣкъ...

— Я-то? Я-то хорошъ, а другіе еще почище будутъ... Вотъ что, зелененькая барышня, ничего вы не понимаете.

— А вы мнѣ грубите...

— Дозвольте вполнѣ сурьезный разговоръ имѣть, зелененькая барышня... Вотъ видите тамъ, въ переднемъ ряду, молодой человѣкъ сидитъ? Ну, это, значитъ изъ нашихъ сибирячковъ... Тятинька у нихъ обозы съ чаемъ грабилъ собственноручно и краденое скупалъ, а они, сыновъ, поощряютъ вотъ эту самую пѣвицу, которая сейчасъ тонкимъ голосомъ пѣла. Знаемъ-съ... Сколько отъ нихъ ямщиковъ по міру пошло, чтобы вотъ ихній сыновъ изъ передняго ряду поощрялъ поющую мамзель!.. да. Теперь вонъ тамъ видите сѣденькаго старичка—это Тушниковъ. Онъ по откупамъ, значитъ, орудовалъ и при большомъ капиталѣ сейчасъ состоитъ. Да... А спросите-ка его, сколько онъ инородцевъ споилъ, сколько промысловыхъ рабочихъ... Тоже поощряетъ. А вонъ милліонеры Бородкины... Не бойсь, здѣсь деньгами швыряютъ, чтобы въ ручкѣ какой-нибудь генеральши приложиться и чтобы при этомъ въ газетахъ пропечатали, а дома-то кусочки сахару считаютъ, шкуру деруть съ рабочаго. Знаемъ... А вонъ тамъ видите высокую полную даму? Это генеральша Чекменева... Она... Ну да вы все, равно, ничего не поймете, зелененькая барышня. Однимъ, словомъ, сплошной воръ... Вѣдь стоило бы собрать вотъ здѣсь всѣ слезы да кровь, которая пролита, такъ не запѣли-бы, а завыли.

— Не всѣ-же такіе ..

— Ну, другіе-то по другимъ, а у насъ уже одно заведенье: воръ.

— Значитъ, и вы?...

— Тоже воръ... Настоящій воръ. И тоже поощрять могу. На, дѣлай, а вотъ тебѣ сотельный билетъ. Музыка даже очень извѣстная...

— Будетъ... довольно.

— У насъ только и есть два сорта человѣковъ, зелененькая барышня: одни воруютъ, а другіе терпятъ. Кто укралъ, ну, тотъ и радуется.

Вѣрочку выручилъ явившійся во время отецъ. Онъ замѣтилъ, что что-то не ладно и посмотрѣлъ на гостя сурово. Въ послѣднее время Сурнинъ вообще принялъ по отношенію къ сибирскому другу покровительственный тонъ и старался его „тренировать“. Нельзя-же было оставлять эту необузданную натуру въ ея необработанномъ

видѣ! Между прочимъ, Сурнинъ тутъ-же на вечерѣ успѣлъ пригласить къ себѣ на обѣдъ кое-кого изъ вліятельныхъ людей, причемъ съ таинственной улыбкой предупредилъ каждаго:

— Знаете, ко мнѣ пріѣхалъ изъ тайги одинъ старинный пріятель золотопромышленникъ... Настоящій коренной самородокъ.

Въ публикѣ установилось представленіе о золотопромышленникахъ, какъ о людяхъ необыкновенныхъ, и Сурнинъ эксплуатировалъ это суевѣріе. Вѣдь угощаютъ-же другіе итальянскими тенорами и примадоннами, отчего же онъ не можетъ приподнести своимъ гостямъ настоящаго сибирскаго золотопромышленника au naturel? Эта мысль, вообще, сильно занимала Андрея Ивановича, и онъ даже успѣлъ ее связать съ нѣкоторыми „сибирскими вопросами“, о которыхъ можно будетъ сказать за обѣдомъ нѣсколько словъ à propos. Выйдетъ и солидно, и остроумно.

Къ удивленію Сурнина, жена отнеслась къ обѣду съ самородкомъ съ небывалымъ сочувствіемъ. Обыкновенно она спорила съ мужемъ и чуть не дралась изъ-за непутныхъ расходовъ на кормежку безполезныхъ людей, а теперь сама старалась устроить все получше.

— Ты видишь: я не спорю,—говорила она. —Что хорошо, то хорошо... По крайней мѣрѣ, это интересно.

Сурнинъ могъ только удивляться, что Поликсена Петровна открыто покровительствовала Шихобалову. Каждый разъ, когда Андрей Иванычъ послѣ обѣда уходилъ вздремнуть къ себѣ въ кабинетъ, она удерживала Шихобалова въ столовой.

— Мы тутъ чайкомъ побалуемся,—объясняла она языкомъ сибирскаго гостя.

Когда мужъ уходилъ, она доставала бутылку финъ-шампань и принималась угощать.

— Люблю, зелененькая барыня... хвалилъ Шихобаловъ, хлопая ее своей пухлой рукой по плечу.—Удалая, нечего сказать! Мужъто у тебя немножко того... угорѣлъ, значитъ. Какія-то тараканьи мощи...

— Мнѣ кажется, что онъ всегда такой былъ.

— Онъ-то? Х-ха... Вотъ какой сахаръ былъ, что не приведи Богъ. Первую-то жену, Вѣрочкину мать значитъ, изъ родительскаго дома изъ-подъ замка выкралъ... Значитъ, вполнѣ кража со взломомъ. Ну, а потомъ онъ же ее и въ гробъ вколотилъ... Звѣрь былъ. И все потихоньку, а свое возьметъ.

— Значитъ, дура была, если позволяла...

— Да ужь такъ случилось... Неладное дѣло вышло. Бабенка-то простая, хоть и изъ богатой семьи, имени не умѣла подписать, ну, ему и обидно. Морилъ онъ ее лѣтъ съ десять...

Разогрѣтый коньякомъ самородокъ проявлялъ необыкновенную болтливость и разсказывалъ про Андрея Иваныча всю подноготную, именно то таинственное прошлое, о которомъ Поликсена Петровна ничего не знала. Потихоньку отъ мужа Поликсена Петровна выпивала съ гостемъ рюмки двѣ и чувствовала себя хорошо.

— Вотъ люблю барыньку за обычай, — похваливалъ Шихобаловъ. —Невинно вино, а укоризненно пьянство... А что касается Андрюшки...

Пьяный Шихобаловъ разсказывалъ такія смѣшныя вещи, что Поликсена Петровна хохотала до слезъ. Разъ даже вышелъ изъ своего кабинета Андрей Иванычъ, остановился въ дверяхъ столовой и только покачалъ головой.

— Кабакъ какой-то... брюзжалъ онъ, дѣлая кислую гримасу.

— Ну, ну, проваливай въ палевомъ, проходи въ голубомъ... хрипѣлъ Шихобаловъ. — Позавидовалъ чужому смѣху! А ты заведи свой!..

Предполагавшійся обѣдъ былъ составленъ по всѣмъ правиламъ искусства. Тутъ были и знаменитые пельмени изъ рябчиковъ, и аршинная нельма, и печенка дикой козы, и сибирскіе консервы, и даже „струганина“, т. е. настуганная мороженая рыба. Гости были подобраны съ еще большей тщательностью; цѣлыхъ три штатскихъ генерала, нѣсколько инженеровъ, нѣсколько сомнительныхъ дѣльцевъ, два биржевика, а для Вѣрочки два офицера и какой-то молодой человѣкъ съ моноклемъ. Однимъ словомъ, обѣдъ былъ устроенъ по настоящему.

— А гдѣ-же Шихобаловъ? спохватился Сурнинъ, когда гости уже начали съѣзжаться.

Никто не зналъ. Сурнинъ взбѣсился и послалъ одного изъ приглашенныхъ оффиціантовъ въ номера, гдѣ онъ остановился. Но тамъ его не оказалось. Корридорный сказалъ, что онъ уѣхалъ въ Кронштадтъ.

— Зарѣзалъ, подлецъ! вспылилъ Андрей Иванычъ, хватая себя за голову.—Безъ ножа зарѣзалъ... Что я теперь буду дѣлать?

— Папа, онъ мнѣ говорилъ еще третьяго дня, что ѣдетъ къ о. Ивану,—вмѣшалась Вѣрочка.

— И ты молчала, несчастная?!.. обрушился на нее Андрей Иванычъ съ небывалымъ азартомъ. — О, вы всѣ готовы меня зарѣзать!.. Да, да, да!..

А гости прибывали одинъ за другимъ съ удивительной аккуратностью, и только не было Шихобалова. Чтобы выиграть время, Андрей Иванычъ помучалъ гостей своими рѣдкостями (молодой человѣкъ съ моноклемъ называлъ его кабинетъ „святой инквизиціей"), но и это не помогло. Шихобалова нѣтъ какъ нѣтъ...

— Господа, пожалуйте закусить,—упавшимъ голосомъ предложилъ наконецъ хозяинъ.—У меня есть бутылочка „старой вудки"— могу рекомендовать...

Ухвативъ подъ руку самого вліятельнаго генерала, Андрей Иванычъ началъ объяснять, что эта бутылка попала ему совершенно случайно, именно, во время польскаго мятежа былъ разрушенъ одинъ старинный замокъ, который оставался въ развалинахъ больше двадцати лѣтъ, а потомъ его купилъ какой-то мѣщанинъ подъ винокуренный заводъ, и когда этотъ мѣщанинъ началъ рыть фундаментъ, въ землѣ нашли три бутылки „старой вудки", одна изъ которыхъ и досталась Андрею Иванычу.

— Да, удивительно,—согласился генералъ, подавляя приступъ голодной икоты.

Всѣ гости должны были предварительно осмотрѣть самую бутылку, облѣпленную грязью и соломой, а потомъ уже получали по маленькой рюмочкѣ какой-то сомнительной темной жидкости.

— Ей ровно сто лѣтъ, господа! торжественно заявлялъ мучитель-хозяинъ. — Вы посмотрите на свѣтъ... Вотъ такъ! А потомъ закройте глаза и понюхайте...

Шихобалова все не было.

IV.

Гости Сурнина имѣли странную привычку злословить хозяина, что иногда случается въ избранномъ обществѣ. Знаменитая „стара вудна" теперь служила неистощимой темой. Молодой человѣкъ съ моноклемъ сообщилъ сидѣвшему рядомъ биржевику,

что знаменитая бутылка гдѣ нибудь украдена почтеннѣйшимъ Андреемъ Иванычемъ и потомъ онъ ее собственноручно облѣпилъ грязью и соломой.

— Во всякомъ случаѣ, у меня отъ этой старой вудки начинаетъ сосать подъ ложечкой, а на языкѣ такое ощущеніе, какъ будто я выпилъ разведенной ваксы... А тутъ еще предстоитъ струганина! Мы сдѣлаемся людоѣдами, вотъ увидите...

Офицерики занимали дамъ, генералы изслѣдовали „дикую печенку“ и нерѣшительно тыкали вилками струганину, биржевики терпѣливо ожидали знаменитыхъ пельменей и нельмы. Андрей Иванычъ въ ожиданіи пельменей разсказывалъ какую то удивительную исторію о серебряномъ столовомъ сервизѣ, доставшемся чуть не отъ Маріи Антуанетты или Стефана Баторія. Наконецъ офиціанты внесли дымившееся блюдо пельменей, и мученики-гости облегченно вздохнули.

— Папа, это онъ! крикнула Вѣрочка, когда въ передней раздался рѣзкій звонокъ.—Онъ, онъ...

Дѣйствительно, это былъ Шихобаловъ, только что пріѣхавшій съ Балтійскаго вокзала. Онъ былъ замѣтно навеселѣ, и выскочившій въ переднюю Андрей Иванычъ собственноручно поправилъ ему съѣхавшій набокъ галстукъ и даже причесалъ всклоченные волосы.

— Будь пожалуйста, остороженъ, Родька... У меня избранное общество.

— Сдѣлай милость... И мы не въ уголъ рожей. А я немного того...

— Да не пей ты прежде времени...

Появленіе Шихобалова въ столовой произвело извѣстную сенсацію. Тутъ ужъ не могло быть и рѣчи о какой-нибудь фальсификаціи, а настоящая „натура“.

— А я отъ о. Ивана... добродушно заявлялъ Шихобаловъ.— Сподобился наконецъ... Только на морѣ прямо въ скулу надуло.

— Къ самымъ пельменямъ пріѣхалъ,—говорилъ Андрей Иванычъ, соображая про себя, что опозданіе самородка какъ нельзя кстати,—не успѣетъ напиться у закуски.

Обѣдъ сразу оживился. Дорогого гостя нарочно усадили рядомъ съ хозяйкой, чтобъ можно было контролировать его неудержимое стремленіе къ водкѣ. Впрочемъ, это плохо помогло,—или

Поликсена Петровна прозѣвала или не замѣтила намѣренно, а только Шихобаловъ выпилъ залпомъ сразу три рюмки водки, объяснивъ, что въ Сибири „не дышутъ между первой и второй“. Это вступленіе произвело настоящій эффектъ, и гости смотрѣли на самородка вытаращенными глазами.

— Господа, рекомендую: вотъ мадера... провозгласилъ хозяинъ, поднимая кверху какую-то бутылку.—Тридцать второго года... Во время франко-прусской войны, когда прусскіе уланы заняли Шантильи...

Гости опять должны были произвести предварительный осмотръ бутылки, потомъ присматривать вино къ свѣту, потомъ нюхать и потомъ уже пить. Шихобаловъ воспользовался удобнымъ моментомъ и подъ шумокъ хлопнулъ еще двѣ рюмки. Онъ пріѣхалъ уже съ „готовой заправкой“ и какъ-то особенно быстро захмѣлѣлъ, особенно когда Поликсена Петровна подсунула ему настоящаго англійскаго джина.

— Да, сподобился... бормоталъ онъ и потомъ засмѣялся. — Андрюша, Андрей Павлычъ, а кого я встрѣтилъ у о. Ивана! Подъѣзжаю я это къ собору, на паперти старушонка, нищіе, разная рвань коричневая, а между ними сидитъ Ѣдуновъ... Помнишь?

— Да, кажется...

— Что тутъ кажется: извѣстный человѣкъ. Да ты не притворяйся... Ну, увидалъ меня и обрадовался... Х-ха!.. Онъ всегда радъ, какъ меня увидитъ. Теперь онъ милліонеръ, а прежде-то... Въ младости я служилъ писаремъ у исправника, у Ивана Парфентича. Ну, хорошо. Разъ это сижу у него въ кабинетѣ и строчу какую-то бумагу, а Иванъ Парфентичъ похаживаетъ по кабинету. Вдругъ казакъ: „привели, ваше скородіе“... И дѣйствительно, вводятъ вотъ этого самого Ѣдунова. Иванъ Парфентичъ сейчасъ звѣрь звѣремъ, глаза налились кровью... Нужно сказать, что этотъ Ѣдуновъ весьма неблагородно поступилъ съ одной дѣвицей... Да... Значитъ, обрилъ ее... (Дамы сдѣлали движеніе, у хозяина явилось умоляющее выраженіе лица). Ну, и прочее... Только Иванъ Парфентичъ какъ налетитъ орломъ—враз!.. Ѣдуновъ съ ногъ долой, а Иванъ Парфентичъ его по другой скулѣ... Ужъ онъ билъ-билъ... Кровь изъ него хлещетъ... Ну, вотъ Ѣдуновъ-то и помнитъ меня... Х-ха... А тоже совѣсть есть, — вонъ откуда пріѣхалъ къ отцу-то Ивану. Душегубъ онъ... Ну, онъ и говоритъ мнѣ: „Родька, вѣдь

Иванъ то Парфентичъ померъ"...—„Какъ такъ?"—„Да, видно, ужъ такъ... Предѣлъ. Кондрашка хватилъ"... Пожалѣли мы Ивана Парфентича и даже свѣчку за упокой поставили. Что-жъ, дѣло прошлое... Скоръ былъ на руку, ну да въ другой разъ и нельзя.

— Ускоренное сибирское судопроизводство... замѣтилъ кто-то.

Сурнинъ съ ужасомъ видѣлъ, что Шахобаловъ уже совѣмъ осовѣлъ и начинаетъ клевать носомъ. Получался настоящій скандалъ. Хорошо еще, что Шихобаловъ занялся пельменями, которые глоталъ, не разжевывая. Среди гостей слышался поощрительный шепотъ и мелькали улыбки. Оставалась единственная надежда на нельму,—этотъ монстръ долженъ былъ отвлечь вниманіе.

— Господа, рекомендую... провозгласилъ хозяинъ, когда офиціантъ сталъ „обносить гостей рыбой".—Нельма!..

Шихобаловъ точно проснулся.

— Нельма? хрипѣлъ онъ.— А мы съ покойничкомъ Иваномъ Парфентичемъ дѣлывали такъ... Подадутъ намъ на закуску живую стерлядку... Она этакъ по тарелкѣ ползаетъ, а мы по кусочку отрѣзываемъ и закусываемъ... Возьмешь въ ротъ ломтикъ то, а онъ шевелится. Х-ха... Дай, Господи, царство небесное покойничку!..

— Послушай, Родіонъ Поликарпычъ, — вмѣшался хозяинъ. — Дался тебѣ какой то Иванъ Парфентичъ... Это, наконецъ, скучно!..

— Нѣтъ, продолжайте! Продолжайте... послышались голоса,— гостямъ очень понравилась закуска сибирскаго исправника.

Шихобаловъ посмотрѣлъ на Андрея Иваныча совсѣмъ осовѣлыми глазами, неожиданно ударилъ кулакомъ по столу и крикнулъ:

— Какъ „какой-то Иванъ Парфентичъ?" Ты не знаешь Ивана Парфентича, Андрюшка?.. Да если бы не Иванъ Парфентичъ, такъ тебѣ вотъ не сидѣть-бы здѣсь съ нами, а твоимъ гостямъ не ѣсть нельмы... да!.. Ну, что ты глаза то на меня вытаращилъ?

Эффектъ получился поразительный. Даже Поликсена Петровна испугалась и начала дергать расходившагося самородка за рукавъ. Но было уже поздно.

— Да ты кто такой самъ-то, Андрюшка? грянулъ Шихобаловъ, уже вскакивая. — Гдѣ тебѣ по настоящему-то быть, если-бы не Иванъ Парфентичъ? Забылъ, какъ сочинилъ бунтъ промысловыхъ рабочихъ?.. Отъ твоей гнилой говядины меръ народъ, а потомъ ты же военную силу вытребовалъ для усмиренія бунта... троихъ

застрѣлили, а другихъ по острогамъ разослали... Вѣдь ежели бы не Иванъ Парфентичъ, который тебя оставилъ тогда *въ подозрѣніи*, такъ ты бы самъ сейчасъ сидѣлъ въ острогѣ... да!..

— Ты пьянъ, какъ свинья! крикнулъ опомнившійся хозяинъ, подскакивая къ скандалисту.—Самъ не знаешь, что мелешь...

Андрея Иваныча выручила только Вѣрочка, въ самый критическій моментъ упавшая въ обморокъ. Гости сразу поднялись, не дожидаясь окончанія знаменитаго обѣда.

Поликсена Петровна торжествовала.

Черезъ мѣсяцъ Сурнинъ исчезъ изъ Петербурга неизвѣстно куда, какъ явился неизвѣстно откуда. Молодой человѣкъ съ моноклемъ говорилъ въ пріятельскомъ кружкѣ:

— А знаешь, мнѣ очень нравятся эти сибирскіе самородки...

Д. Мамин-Сибиряк.

Воскресшій.

Полуизломанный, разбитый,
Съ окровавлённой головой,
Очнулся я на мостовой,
Лучами яркими облитой.

—

Зачѣмъ я бросился въ окно?
Цѣною страшнаго паденья
Хотѣлъ купить освобожденье
Отъ узъ, наскучившихъ давно.

—

Хотѣлъ убить змѣю печали,
Забыть позоръ погибшихъ дней...
Но пять воздушныхъ саженей
Моихъ надеждъ не оправдали.

—

И вдругъ открылось мнѣ тогда,
Что все, что сдѣлалъ я,—преступно.
И было небо недоступно
И высоко, какъ никогда.

—

Въ себѣ унизивъ человѣка,
Я отъ своей ушелъ стези,—
И вотъ лежалъ теперь въ грязи,
Полурастоптанный калѣка...

—

И сквозь столичный шумъ и гулъ,
Сквозь этотъ грохотъ безучастный,

Ко мнѣ донесся звукъ неясный;
Знакомый духъ ко мнѣ прильнулъ.

—

И смутный шопотъ, замирая,
Вздыхалъ чуть слышно надо мной,
И былъ тотъ шопотъ звукъ родной
Давно утраченнаго рая:

—

„Ты не исполнилъ свой предѣлъ,
„Ты захотѣлъ успокоенья,
„Но нужно заслужить забвенье
„Самозабвеньемъ чистыхъ дѣлъ.

—

„Умри, когда отдашь ты жизни
„Все то, что жизнь тебѣ дала;
„Иди сквозь мракъ *земного* зла
„Къ *небесной* радостной отчизнѣ.

—

„Ты обманулся самъ въ себѣ
„И въ той, что льетъ теперь рыданья;
„Но это мелкія страданья.
„Забудь. Служи иной судьбѣ.

—

„Душой отзывною страдая,
„Страдай за міръ, живи съ людьми,
„И послѣ—мой вѣнецъ прими...“
Такъ говорила тѣнь святая.

—

То Смерть—владычица была.
Она явилась на мгновенье,
Дала мнѣ жизни откровенье
И прочь—до времени—ушла.

—

И новый, лучшій день, алѣя,
Зажегся для меня во мглѣ, —
И, прикоснувшися къ землѣ,
Я всталъ съ могуществомъ Антея.

К. Бальмонтъ.

Николай Платоновичъ Огаревъ.

Значеніе его личности и поэзіи.

„Холодно будутъ (черезъ 30—20 лѣтъ) вспоминать или вовсе не будутъ вспоминать о многихъ изъ поэтовъ, кажущихся намъ теперь достойными панегириковъ, но съ любовью будетъ произноситься и часто будетъ произноситься имя г. Огарева... Огареву суждено занимать страницу въ исторіи нашей русской литературы". (Критика Современника. 1856 г.).

При имени Н. П. Огарева невольно приходитъ на память много другихъ именъ, оставившихъ глубокій слѣдъ въ нашей литературѣ и жизни. Грановскій, Бѣлинскій, Боткинъ, Герценъ... всѣ они были связаны съ Огаревымъ тѣсной дружбой; всѣ эти люди жили нѣкогда одной общей жизнью, одними интересами, исповѣдовали одни идеалы, стремились къ однимъ цѣлямъ. Благо родины, служеніе человѣчеству они ставили выше своихъ личныхъ интересовъ и свою личную жизнь цѣнили по стольку, по скольку она предназначалась для общественнаго служенія.

Огаревъ въ названномъ кружкѣ людей 40-хъ годовъ игралъ роль магнитнаго притяженія. „Безъ всякой видимой причины къ такимъ людямъ льнутъ, пристаютъ другіе,—говоритъ про Огарева одинъ изъ его друзей; они согрѣваютъ, связуютъ, успокоиваютъ ихъ, они *открытый столъ*, за который садится каждый, возобновляетъ силы, отдыхаетъ, становится бодрѣе, покойнѣе и идетъ прочь другомъ." [1])—Какъ такое центральное лицо кружка

[1]) „Записки" А. И. Герцена.

людей сороковыхъ годовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ человѣкъ непосредственно одаренный большими душевными и умственными богатствами, поэтъ Огаревъ заслуживаетъ общественнаго вниманія; заслуживаютъ внимательной остановки и его произведенія.

I.

Еще въ началѣ 30-хъ годовъ, которые отмѣчены въ нашей литературѣ и жизни идеалистическимъ направленіемъ, Н. П. Огаревъ вмѣстѣ съ своими друзьями, въ числѣ которыхъ тогда были, кромѣ Герцена, Кетчеръ, Сатинъ, Пассекъ и др., будучи только 20-ти лѣтнимъ юношей, уже задавался вопросомъ объ избраніи поприща для общественнаго служенія. Съ дѣтства любившій музыку стиховъ, онъ нерѣдко погружался въ самого себя и прислушивался къ тѣмъ звукамъ, которые раздавались гдѣ-то тамъ, въ глубинѣ его души. Въ такія минуты онъ не замѣчалъ, что творилось вокругъ него, въ такія минуты его многіе находили страннымъ. Молчаливый, задумчивый, онъ еще въ дѣтствѣ казался вялымъ, соннымъ, лѣнивымъ ребенкомъ.

Когда собственно онъ началъ извлекать изъ своей груди поэтическіе звуки и перекладывать на бумагу — неизвѣстно. Одно несомнѣнно, что въ началѣ тридцатыхъ годовъ, когда Огареву было 17 лѣтъ, стихъ его достигъ той музыкальности, которая могла бы сдѣлать честь поэту. Но, скромный отъ природы, онъ далекъ былъ отъ мысли видѣть въ себѣ поэта. Это сознаніе впервые ясно посѣтило его лѣтомъ 1833 года [1]), когда онъ жилъ съ отцомъ въ Пензенской губ., въ одномъ изъ отцовскихъ имѣній. Но, всегда неувѣренный въ своихъ талантахъ, большею частію недовольный собой, всегда отъискивавшій въ себѣ пятна и ошибки, онъ и тутъ не полагается на свой судъ; ему нужно мнѣніе друга, нужно, чтобы другъ подтвердилъ—дѣйствительно ли поэзія его призваніе. „Другъ! скажи: вѣришь ли мнѣ, моему призванію? Ты, можетъ, лучше меня знаешь, нежели я самъ, и не ошибешься“...

Въ это время у него было написано уже немало стиховъ; были между прочимъ стихотворенія на такія темы: „*Послѣднія*

[1]) До этого, какъ говоритъ Герценъ въ своихъ „Запискахъ“, Огаревъ разъ во время прогулки по Воробьевымъ горамъ робко и застѣнчиво спрашивалъ его—вѣритъ ли онъ въ его поэтическій талантъ. т. I, 93 стр.

минуты жизни", „*Тоска по отчизнѣ*", „*Алхимикъ*"... Въ этотъ же годъ онъ писалъ для Гебеля ораторію: „*Потерянный рай*". [1]) Въ стихахъ же выливалъ и свое недовольство тѣмъ провинціальнымъ обществомъ, среди котораго приходилось проводить лѣто. Но тѣмъ не менѣе онъ все-таки не увѣренъ—поэтъ онъ или нѣтъ? Только слова друга: „Да, ты поэтъ, поэтъ истинный!" уничтожаютъ сомнѣніе и вливаютъ увѣренность, которая выражается въ слѣдующей восторженной тирадѣ: „Другъ! другъ! можешь ли ты постигнуть все то, что эти слова производятъ?.. Да, это поэзія моя, я—это поэзія! О, какая высокая жизнь! Нѣтъ, она не бредъ горячки, не обманъ воображенія, она слишкомъ высока для обмана; она дѣйствительна, я живу ею, я не могу вообразить себя съ иной жизнью. Не такъ ли? Герценъ, другъ! я слишкомъ счастливъ, я теперь слишкомъ счастливъ... Для чего я не знаю музыки? Какая симфонія вылилась бы изъ моей души теперь! Теперь! я поэтъ!" [2])

Не будемъ удивляться этому черезчуръ приподнятому тону, такая восторженность была въ духѣ, въ нравахъ того времени,— тогда и говорили, и писали такъ. Этотъ же повышенный тонъ царилъ и въ молодомъ товарищескомъ кружкѣ московскихъ идеалистовъ 30-хъ годовъ; этотъ же повышенный тонъ встрѣчаемъ и въ „Перепискѣ", Герцена съ невѣстой.

Огаревъ такъ переполненъ звуками въ глубинѣ своей души, что эти звуки кажутся ему тоньше, неуловимѣе, чѣмъ само человѣческое слово, и онъ жалѣетъ, что не знакомъ съ теоріей музыки; это незнаніе мѣшаетъ ему переливать наполняющіе его звуки въ музыкальныя фразы. Но съ теченіемъ времени онъ познакомился и съ теоріей музыки, и рядомъ со стихами писалъ и ноты. Артистъ въ душѣ, онъ любилъ всѣ искусства; ему хотѣлось владѣть для выраженія тѣхъ мыслей и звуковъ, которые такъ обильно посѣщали его въ минуты вдохновенья, одинаково, какъ перомъ, музыкальной нотой, такъ и кистью. Потому, находясь въ 40-хъ го-

---

[1]) Въ статьѣ „Идеалисты 30-хъ годовъ" (П. В. Анненкова) говорится, что Огаревъ писалъ для Гебеля либретто къ оперѣ „Гармонія міровъ"; самъ же Огаревъ въ письмахъ къ друзьямъ („Изъ Переписки недавнихъ дѣятелей", Руск. Мысль) писалъ объ ораторіи „Потерянный рай",—а также и о либретто къ „*Ускоку*" Жоржъ Зандъ. Послѣднимъ, впрочемъ, онъ былъ занятъ уже по возвращеніи изъ ссылки, почти одновременно съ тѣмъ, когда пародировалъ съ Катковымъ мистерію: „*Уписальскій баронъ*".

[2]) Записки Герцена. Часть вторая, стр. 139.

дахъ въ Италіи, въ свою вторую заграничную поѣздку, онъ принялся учиться живописи. Аполлонъ Бельведерскій, эта знаменитая статуя въ Ватиканѣ, сдѣлался его первою моделью. Онъ усердно принялся набрасывать ея контуры.

Но усердія хватило не надолго: карандашъ скоро былъ отброшенъ въ сторону такъ же, какъ и цѣлый рядъ статей, задуманныхъ въ это время по искусству. Дрезденская галлерея съ своими художественными богатствами, особенно Сикстинская Мадонна, въ которой, по его словамъ,—Рафаэль хотѣлъ изобразить „непорочность, незнаніе того, что съ ней совершилось, вмѣстѣ съ чувствомъ, что совершилось съ ней что-то великое“,—такъ занимала его душу во вторую поѣздку, что онъ, по своей способности сильно отдаваться первому впечатлѣнію и блеснувшую мысль принимать за окончательное рѣшеніе, тотчасъ воспылалъ желаніемъ „показать psychologisch, какъ Рафаэлю уясняется идеалъ Мадонны“. И тутъ же въ письмѣ къ другу набрасываетъ основную мысль будущей статьи.

Ни за какое время не сохранилось отъ Н. П. Отарева такого количества писемъ, какъ за періодъ этой второй заграничной поѣздки, отъ лѣта 1842 до весны 1846 года [1]). По этой перепискѣ мы можемъ судить, какъ плодовита была его фантазія, какое богатство разныхъ проэктовъ и литературныхъ плановъ возникало въ его головѣ, какимъ необычайнымъ богатствомъ иниціативы отличался его умъ и творческая фантазія. Въ письмахъ онъ сообщаетъ друзьямъ о всѣхъ возникающихъ планахъ, думахъ, мысляхъ, и мы видимъ, съ какой невѣроятной быстротой у него мѣнялись эти планы и выростали новые проэкты. Онъ то сообщаетъ, что пишетъ маленькую драматическую поэму, которая „подвигается“, то задумываетъ писать „біографію Рубенса“, то, отбросивъ тотъ и другой планъ, замѣняетъ ихъ планомъ новой статьи по искусству объ упомянутой Сикстинской Мадоннѣ. Но проходитъ день, и онъ говоритъ: Думаю уже, не составить ли статью—„Путешествіе по Рейну?“. А попавши въ Римъ, отказывается отъ статьи о Рафаэлѣ: „Статью о Рафаэлѣ я отказался писать потому, что, внимательно разсматривая, долженъ былъ отречься отъ системы, которую сплелъ на его счетъ. Вообще отказываюсь писать статьи, раз-

[1]) Письма эти напечатаны въ Русской Мысли подъ названіемъ: „Изъ Переписки недавнихъ дѣятелей“.

вѣ въ прозѣ доберусь когда-нибудь до повѣсти и то сомнительно: *лирическое стихотвореніе чуть ли не исключительно мнѣ по силамъ*". Но тутъ же сейчасъ прибавляетъ: „Впрочемъ, я продолжаю драму и пишу, да еще больше въ нихъ сомнѣваюсь, чѣмъ въ лирическихъ произведеніяхъ". Онъ и сейчасъ занятъ лирикой: „Пишу четыре цикла лирическихъ стихотвореній: 1) Buch der Liebe, 2) Buch der Kunst, 3) Buch der Weisheit, 4) Buch des Lebens, 5) будетъ Buch der Bilder".

Мы не знаемъ, насколько былъ выполненъ этотъ широкій планъ, обиліемъ заглавій котораго Огаревъ разсчитывалъ вызвать улыбку у своего московскаго товарища Кетчера, но, какъ бы то ни было, онъ скоро переходитъ къ проэкту новой работы. У него въ головѣ уже сложился планъ повѣсти, и изъ Bagni di Lucca онъ увѣдомляетъ друзей: „Повѣсть моя, хотя я и написалъ двѣ большія главы, мнѣ не нравится. Отлагаю ее до Россіи, не знаю слажу ли когда-нибудь съ нею". Но разъ повѣсть отложена въ сторону, сомнительно, чтобы авторъ вернулся къ ней опять: у него уже вслѣдъ за покинутой работой выростаютъ заразъ нѣсколько главъ небольшой поэмы, которую онъ пишетъ дантовскимъ трехстишіемъ и которой мы не видимъ въ собраніи его стихотвореній ни въ русскомъ, ни въ заграничномъ изданіи,—значитъ, и эта работа въ свою очередь тоже остается неоконченной.

Лѣтомъ 1848 г. Огаревъ приходитъ къ мысли, что для него наступила пора писать свою автобіографію: „мы прошли—говоритъ онъ—Lehrjahre и Wanderjahre, теперь пора der Selbstbewustseynsjahren". Но и отмѣтивъ совершившійся внутренній ростъ, переходъ къ возмужалости, онъ все же и теперь по прежнему остается съ своей страстью къ новымъ проэктамъ. Хоть на этотъ разъ начатая автобіографія и не была отложена въ сторону [1]), но у него по обыкновенію уже назрѣвалъ цѣлый рядъ новыхъ литературныхъ работъ. „Теперь у меня бродитъ мысль писать историческія драмы". А почему именно историческія,—потому что „историческія лица, какъ данныя лица, легче создаются въ фантазіи. Начну съ Іоанна III-го или IV-го, когда пріѣду домой, за неимѣніемъ здѣсь матерьяловъ. Впрочемъ, не потому только хочется писать историческія драмы, что будто лица легче создаются въ фантазіи, а по-

[1]) По всему вѣроятію, Огаревъ такъ называлъ свою большую поэму „Юморъ", вошедшую въ заграничное изданіе.

тому, что въ нихъ должна выразиться русская жизнь, русскіе люди, со всѣмъ ихъ глубокимъ содержаніемъ или уродливою особенностью. Замыселъ огромный: 1-е оба Іоанна, изъ которыхъ IV-й будетъ раздѣленъ на двѣ части; 2-е Ѳедоръ (до Годунова боюсь дотронуться), Шуйскій и Патріархъ Никонъ"... Но на этотъ разъ онъ самъ останавливается съ улыбкой надъ своей способностью вѣчно только строить планы, больше наобѣщать, чѣмъ сдѣлать. „Смѣшно! Вотъ ужъ я о планахъ, о которыхъ въ умѣ едва написалось полстрочки, говорю за 2.000 верстъ, какъ о дѣлѣ. Можетъ быть, это слабость—непремѣнно нужно болтать о томъ, о чемъ думается im Moment [1])"...

Только разъ или два въ періодъ ранней молодости Огаревъ проявилъ болѣе продолжительную, рѣдкую усидчивость. Это было во время жизни въ ссылкѣ, въ Пензенской губ. и тотчасъ послѣ возвращенія въ Москву.

Живя въ скучнѣйшей провинціи цѣлыхъ четыре года, съ 1835 вплоть до лѣта 1839, за неимѣніемъ другого дѣла онъ читалъ. Въ то время его очень интересовали философскіе вопросы. Онъ выписывалъ много философскихъ сочиненій, преимущественно на нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ, и возможно, что подъ вліяніемъ этого чтенія принялся за сочиненіе, долженствовавшее объяснить происхожденіе человѣка и вселенной; „сталъ подводить обширный теоретическій фундаментъ подъ гипотезы, навѣянныя со стороны", какъ говоритъ П. В. Анненковъ [2]). Эта работа заняла его надолго. Привычка дѣлиться всѣмъ съ друзьями сказалась и на этотъ разъ въ подробномъ сообщеніи всего труда по мѣрѣ того, какъ онъ создавался. Огаревъ писалъ другу въ Вятку цѣлыя диссертаціи объ этой работѣ. Готовясь къ реальной дѣятельности, которой друзья давно рѣшили себя посвятить, они оба, охваченные религіознымъ направленіемъ, хотѣли во время ссылки выработать изъ себя нравственныя личности, у которыхъ бы страсти были подчинены и покорены духовной сторонѣ. На свое занятіе отвлеченной философіей Огаревъ смотрѣлъ тоже какъ на подготовительный трудъ къ реальной дѣятельности.

Но и этой работѣ не суждено было дойти до конца такъ же,

---

[1]) Изъ „Переписки недавнихъ дѣятелей" (Рус. Мысль).
[2]) Идеалисты тридцатыхъ годовъ (Литературныя воспоминанія П. В. Анненкова. I).

какъ и всѣмъ другимъ начинаніямъ. По возвращеніи изъ ссылки о ней уже и помину не было между друзьями, равно какъ и о статьѣ „о воспитаніи“, и о драмѣ, романѣ, повѣсти, „о прокламаціяхъ къ подданнымъ“, которыя писались во время жизни въ Пензенской губерніи. Что это были за прокламаціи, что за драма— мы не знаемъ. П. В. Анненковъ говоритъ, что послѣдняя носила названіе: „Художникъ“ („Der Künstler“). Огаревъ объ этой самой драмѣ писалъ московскому другу: „Я хочу писать драму „Художникъ“ („Der Künstler“) и разоблачить въ ней будущность искусства. Ты догадываешься объ основаніяхъ, на которыхъ она должна держаться. Но мой „художникъ“ еще преслѣдуемъ роковыми призраками: сомнѣніемъ, которое граничитъ съ отчаяніемъ. Форма драмы будетъ оригинальна. Мой художникъ энциклопедистъ: поэзія, музыка, живопись участвовали въ его образованіи. Конецъ— сумасшествіе. О, Боже! Неужели и со мной можетъ тоже случиться, что и съ моимъ художникомъ?! Другъ!“ [1]).

Но, задумавъ ѣхать на югъ, на Кавказъ, онъ откладываетъ работу, надѣясь докончить тамъ, однако, какъ и надо ожидать, и тамъ не кончаетъ. Такъ драма и останавливается на одномъ актѣ,

Эта страсть къ проэктамъ, къ планамъ, была присуща Огареву,— какъ замѣчаетъ Анненковъ — еще до ссылки: еще въ тѣ годы онъ „хотѣлъ ѣхать въ Берлинъ издавать журналъ съ покойнымъ Гегелемъ“,— но ни въ Берлинъ не поѣхалъ, ни журнала не сталъ издавать.

Сдѣланнаго краткаго перечня плановъ и проэктовъ работъ, который, безъ сомнѣнія, не обнимаетъ и десятой доли того, что проэктировалось въ долгую жизнь, пока умственныя силы сохраняли бодрость и свѣжесть,—думается, достаточно. Какъ ни кратокъ и ни полонъ этотъ перечень, онъ можетъ дать должное и вѣрное понятіе о той дѣятельной, неутомимой и продуктивной силѣ творческаго ума, которую представлялъ Огаревъ среди своихъ московскихъ товарищей и о которой намъ бы не въ силахъ былъ сообщить оставшійся послѣ него небольшой томикъ стихотвореній [2]). Никогда бы

---

[1]) „Изъ Переписки недавнихъ дѣятелей“ (Рус. Мысль).

[2]) Я разумѣю главнымъ образомъ русское изданіе его стиховъ, выпущенное въ Москвѣ гг. Солдатенковымъ и Щепкинымъ, въ которомъ всего 167 страницъ, а стихотвореній около 80. Лондонское изданіе, выпущенное въ 1858 г. Трюбнеромъ, много полнѣе и объемистѣе; въ немъ больше 400 стр., но все же и оно не достаточно, чтобы представить Огарева такимъ, какимъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ.

духовный образъ Огарева не могъ имѣть для насъ той полноты, еслибы не сохранившіяся у друзей письма, которыя рисуютъ его съ тѣмъ богатствомъ и дѣятельностью мысли, умственной энергіи, какимъ его знали друзья. Внѣ дружескаго круга Огаревъ не раскрывалъ своихъ богатствъ; ему мѣшали присущая его натурѣ скромность, застѣнчивость, нелюбовь къ выставкѣ; какъ человѣкъ, не любящій жить на показъ, выставляться, онъ внѣ этого кружка, гдѣ хорошо знали его умственныя и нравственныя достоинства, гдѣ его любили чуть ли не больше всѣхъ товарищей, гдѣ ему безусловно вѣрили, какъ ни кому другому, онъ не былъ оцѣненъ должнымъ образомъ. Внѣ кружка за его молчаніе, скромность, тихій нравъ, грустный взглядъ его считали чуть ли не дурачкомъ. Правда, такъ глядѣла провинція, неспособная оцѣнить золото, разъ оно лишено внѣшняго блеска; но не лучше смотрѣли и люди столицы, непринадлежавшіе къ дружескому кружку: и тѣ не видали въ Огаревѣ человѣка выше ординарнаго, посредственнаго, котораго будто бы потому только замѣтилъ литературный міръ и современники, что онъ стоялъ рядомъ съ такимъ колоссомъ ума и таланта, какимъ былъ А. И. Герценъ, а еще больше потому, что онъ былъ другъ Герцена, натура и умъ котораго такъ были богаты, что онъ часто въ другихъ видѣлъ то, что въ дѣйствительности принадлежало ему самому, приписывалъ своимъ близкимъ свой собственный умъ, свои достоинства. Но близкое знакомство съ энергичнымъ и дѣятельнымъ умомъ Огарева, ярко отразившимся въ его письмахъ, позволяетъ утверждать, что Герценъ потому и могъ простоять рядомъ съ Огаревымъ всю жизнь, съ ранняго дѣтства вплоть до могилы, потому и могъ его выбрать себѣ въ друзья, что Огаревъ была личность исключительная, даровитая, оригинальная, одаренная благородной натурой. Не даромъ Герценъ называлъ его и себя: „разрозненные томы одной поэмы“; [1]) другіе ихъ называли „близнецами“, тогда какъ съ физической стороны и даже со стороны характеровъ они представляли скорѣй противоположности, чѣмъ сходства.

И неужели всѣ вышеупомянутые планы, все богатство новыхъ, часто оригинальныхъ мыслей такъ и погибали въ своемъ зародышѣ, не давая никакого плода? Вѣдь эта способность творческой

---

[1]) „Переписка А. И. Герцена съ Н. А. Захарьиной“.

иниціативы была постоянной принадлежностью Огарева, а не ограничивалась только какимъ-нибудь періодомъ.

Еслибы Огаревъ не былъ близкимъ, кровнымъ человѣкомъ кружка людей 30-хъ и 40-хъ годовъ, который состоялъ изъ талантливѣйшихъ личностей, полныхъ жизненной энергіи и жажды дѣятельности, то, разумѣется, все богатство его творческой мысли могло бы безслѣдно погибнуть. При тѣхъ же условіяхъ, при какихъ шла русская интеллигентная кружковая жизнь того времени въ Москвѣ, этого не могло случиться. Слишкомъ много богатыхъ, недюжинныхъ силъ стояло вокругъ Огарева, чтобы возможно было затеряться, заглохнуть бросаемымъ сѣменамъ. Не даромъ Герценъ говоритъ въ одномъ мѣстѣ своихъ „*Записокъ*“ по поводу упрековъ въ праздности, дѣлаемыхъ Огареву: „Меня никто не упрекнетъ въ праздности, кое-что изъ сдѣланнаго мною нравилось многимъ; а знаютъ-ли, сколько во всемъ, сдѣланномъ мною, отразились наши бесѣды, наши споры, ночи, которыя мы праздно бродили по улицамъ и полямъ, или еще болѣе *праздно* проводили за бокаломъ вина“ [1]).

Бросаемыя сѣмена нерѣдко находили еще лучшую почву для своего развитія. Напр. хотя бы вышеупомянутая мысль о Сикстинской Мадоннѣ Рафаэля, она вся цѣликомъ, только еще полнѣе, лучше развитая, явилась въ „*Запискахъ*“ Герцена. Да и развѣ только одна эта мысль о Мадоннѣ? Сколько такихъ замѣчательныхъ, оригинальныхъ мыслей было незамѣтно воспринято, переработано не однимъ Герценомъ, а и другими близкими людьми, занятыми литературой! Самъ Огаревъ и не думалъ, читая статьи друзей, что главное зерно тутъ брошено имъ, что онъ собственно и есть ихъ творецъ, что другіе съумѣли хорошо понять и развить его мысли.

Вотъ въ чемъ главное значеніе личности Огарева для нашей литературы и исторіи нашего развитія. Онъ представлялъ собой источникъ здравыхъ и глубокихъ мыслей, поражавшихъ своей вѣрностью, искренностью, правдой, неожиданностью и независимой свободой;—какъ богачъ, разбрасывалъ онъ ихъ вокругъ себя, не помышляя о расточаемыхъ сокровищахъ,—подобно тому, какъ безъ заботно поетъ птица, не думая о своей чарующей пѣснѣ: она поетъ, потому что въ этомъ ея призваніе и потребность.

[1]) „Записки“ Герцена.

II.

Чтобы обработать и довести до конца хотя бы одинъ изъ указанныхъ плановъ, для этого необходимъ трудъ, усидчивая, черная работа. У Огарева не было этихъ качествъ, не было самаго необходимаго — выдержки для труда; поэтому отъ него осталась только масса набросанныхъ плановъ, начатыхъ работъ, да и тѣ не сохранились до насъ въ цѣльномъ видѣ, мы узнаемъ о нихъ по письмамъ; цѣльнаго же—остались только одни стихотворенія [1]), да нѣсколько стихотворныхъ повѣстей и поэмъ, которыя, за исключеніемъ поэмы: „*Зимній путь*“ и „*Радаевъ*“, еще ни разу не появлялись въ Россіи [2]).

Но не одна лѣнь, отсутствіе выдержки и усидчивости мѣшали Огареву идти въ своихъ планахъ дальше предисловія. Само обиліе плановъ, сама плодовитость проэктовъ развѣ не является достаточной причиною, парализующей возможность долгой остановки на какой-нибудь одной темѣ? Да наконецъ и постоянная неувѣренность въ себѣ, сама вѣчно сомнѣвающаяся натура Огарева служила достаточной помѣхой, при которой невозможно выполненіе большой, продолжительной работы. А еслибы какая-нибудь изъ неречисленныхъ работъ и была доведена до конца, то стоило кому-нибудь изъ друзей высказать неодобреніе или недовольство, Огаревъ, всегда больше склонный къ недовольству собой, своими произведеніями, безъ малѣйшей попытки отстоять свое дѣтище, предалъ бы его уничтоженію. Можетъ быть, этимъ отчасти и объясняется, почему нѣкоторыхъ изъ его работъ, даже изъ мелкихъ стихотвореній мы не находимъ въ печатномъ изданіи. Обыкновенно онъ, прежде чѣмъ напечатать, каждое стихотвореніе отдавалъ на судъ друзьямъ, прибавляя при этомъ: „но не печатайте того, чего не одобрите“. Или же: „Что касается моихъ стиховъ, найденныхъ плоховатыми (вопросъ: зачѣмъ же было печатать ихъ, когда они были предоставлены на вашъ судъ?), объ этомъ слѣдуетъ поговорить“. Вы разсчитываете, что онъ будетъ защищаться?

---

[1]) Говорятъ, что Огаревъ написалъ также и повѣсть въ прозѣ, которая будто бы была напечатана въ одномъ изъ журналовъ,—но мнѣ ее найти не удалось.

[2]) Всѣ эти большія произведенія, за исключеніемъ названныхъ, до сихъ поръ изданы были только заграницей, и у насъ совсѣмъ не извѣстны.

Ни чуть не бывало: „Primo, — говоритъ онъ, — я самъ не питаю къ нимъ нѣжности. Secondo, странное дѣло, я сознаю въ себѣ упадокъ способности писать стихи".

Онъ самъ почти всегда недоволенъ своими работами. Онъ бы и стиховъ не сталъ писать, еслибы это не было его потребностью, какъ для рыбы плавать, для соловья — пѣть. Онъ только и доволенъ, и удовлетворенъ, пока пишетъ, а лишь стопъ положить перо и начать перечитывать, какъ разомъ поднимается критика, вырастаетъ недовольство. „Хорошо ли, дурно выходитъ то, что пишу, — въ то время, когда пишу, все равно. Послѣ иногда взглянешь съ усмѣшкой на написанное и скажешь: „Фу, ты, Боже мой, какая дрянь!.. Это становится досадно" [1]).

И только всего одинъ разъ мы видимъ, что Огаревъ вступаетъ въ споръ съ своимъ добровольнымъ критикомъ по поводу стихотворенія: „*Охотникъ*". Этотъ критикъ былъ никто иной, какъ покойный П. В. Анненковъ, къ которому Огаревъ обращался со времени отъѣзда Герцена заграницу, какъ за совѣтами по части стиховъ, такъ и съ просьбами объ ихъ помѣщеніи. — То было въ 1854 г., когда Огаревъ былъ занятъ дѣлами своей Тальской фабрики и жилъ въ Симбирской губерніи. Онъ послалъ Анненкову стихотвореніе „*Охотникъ*". Анненковъ остался недоволенъ произведеніемъ и прямо высказалъ автору, что мысль здѣсь убила искусство такъ же, какъ мысль убиваетъ женщину. Огаревъ не можетъ согласиться, но, конечно не съ тѣмъ, что его стихотвореніе плохо, а съ доводомъ Анненкова. „Позвольте быть не совсѣмъ согласнымъ. Или вы не точно выразились, или это у васъ остатокъ теорій, болѣе неопредѣленныхъ, чѣмъ онѣ могутъ казаться съ перваго взгляда, когда имъ не дѣлалось серіознаго запроса. Что мы назовемъ мыслью? Если мысль есть логическій выводъ наблюденій, то она ничего не убьетъ — ни искусства, ни женщины; напротивъ того, послужитъ къ ихъ развитію. Если же художникъ въ композиціи, или женщина въ жизни не совладаютъ съ мыслью, и произведеніе, и жизнь выразятся въ формѣ натянутой, придуманной съ усиліемъ, холодной, не живой, то или мысль была не понята, или не доставало таланта, или умѣнья совладать съ нею. Виновата не мысль, а ограниченность лица или какія-

[1]) „Изъ Переписки недавнихъ дѣятелей" (Рус. Мысль).

нибудь патологическія данныя. Зачѣмъ же вы у художника и женщины ради теоріи хотите отнять право на умственное развитіе? Ну, такъ вычеркните Фауста изъ литературы: онъ первый мнѣ пришелъ сію минуту на память... А перечтите-ка „Die Macht des Gesanges“, и вы не найдете, чтобы мысль убила произведеніе. Оно прекрасно, потому что талантъ совладалъ съ формой. Также и въ нашемъ „*Охотникѣ*“ не мысль убила его, а то, что *я не совладалъ съ темой*“ [1]).

Какъ видимъ, ни малѣйшей попытки защитить свое произведеніе; напротивъ, надо думать, что онъ послѣ этого уничтожилъ „*Охотника*“: мы не встрѣчаемъ его въ общемъ собраніи стихотвореній. Огаревъ здѣсь защищалъ только теоретическое положеніе. Было время, когда и самъ Николай Платоновичъ по этому вопросу держался иного мнѣнія; но со времени заграничной поѣздки его взглядъ измѣнился. Онъ пересталъ быть врагомъ Reflexionspoesie, лишь бы только рефлексія составляла нѣчто нераздѣльное съ самой натурой человѣка, а не являлась голой теоріей, „которую ни съ того, ни съ сего облачаютъ въ стихи, замѣняя внутреннее чувство какимъ-то, право, поддѣльнымъ Schwung'омъ“.

Огаревъ, какъ критикъ, имѣлъ вѣрное и тонкое пониманіе. Оно прекрасно сказалось въ его пристрастіи къ такимъ изъ русскихъ писателей, какъ Пушкинъ. Не разъ въ своихъ стихотвореніяхъ, а особенно въ поэмѣ „*Юморъ*“, онъ останавливается на произведеніяхъ нашего первокласснаго поэта, не разъ цитируетъ изъ него то тотъ, то другой стихъ, восторгается его Татьяной.

Въ 1843 г. Огаревъ писалъ Грановскому изъ-заграницы и по обычаю стихами: [2]).

Одно пристрастье я съ тобою
Питаю къ Пушкину... И что-жъ?
Съ его больною стороною
Мы, можетъ, дружны? Онъ похожъ
На насъ болѣзненно. А, можетъ,
Къ нему у насъ пристрастья нѣтъ,
А просто ни одинъ поэтъ
Души такъ вѣрно не тревожитъ.

---

[1]) Письмо Огарева отъ 21 декабря (Литературныя Воспоминанія и Переписка 1835—1885 г. П. В. Анненкова).

[2]) „Изъ Переписки недавнихъ дѣятелей“ (Русская Мысль).

Вѣдь, не болѣзнь его печаль,
И порицать мы станемъ нынѣ —
Изъ современности едва-ль,
Что находили въ немъ святыней,
Чѣмъ наслаждались мы въ тиши —
И грусть, и свѣтъ его души.

Съ своимъ тонкимъ и вѣрнымъ пониманіемъ Огаревъ не могъ во всей силѣ не оцѣнить и другой могучій русскій талантъ Лермонтова; онъ дѣлалъ ему вѣрную оцѣнку въ то время, когда другіе, какъ напр. даже П. В. Анненковъ, ставили Лермонтова ниже Тютчева. Вотъ что писалъ по поводу этого Огаревъ въ 1854 г. „Вы говорите, что стихи Тютчева выше всей Лермонтовской поэзіи. Нѣтъ, Анненковъ. Нѣтъ того sui generis склада, никому иному *не принадлежащаго, который есть у Лермонтова и составляетъ особенность, производящую сильное впечатлѣніе.* А по мысли много выше“ [1]).

Лермонтовъ былъ однимъ изъ его любимцевъ. Стихотвореніе его: „Дума“—„Печально я гляжу на наше поколѣнье“—Огаревъ особенно любилъ. Сочиненія Лермонтова выписывалъ себѣ даже заграницу; его стихи („Русалка“,—„Выхожу одинъ я на дорогу“,—„На свѣтскія цѣпи“) перекладывалъ на музыку.

Пушкинъ и Лермонтовъ изо всей русской литературы возбуждали его гордость, любовь и симпатію. Будучи въ Германіи, онъ сталъ изучать нѣмецкую просодію, бралъ уроки у нѣмца и переводилъ съ нимъ на нѣмецкій языкъ тѣ изъ стихотвореній Пушкина, которыя помнилъ наизустъ.

Изъ современниковъ своихъ по простотѣ и красотѣ стиха восторгался Фетомъ. Особенно ему нравилось стихотвореніе:

Я пришелъ къ тебѣ съ привѣтомъ
Разсказать, что солнце встало,
Что оно горячимъ свѣтомъ
По листкамъ затрепетало...

„Я ничего не знаю лучше, выше приведеннаго стихотворенія

---

[1]) Литературныя Воспоминанія и Переписка П. В. Анненкова.

Фета—писалъ онъ тому же Анненкову въ 1854 г.,—т. е. первыхъ двухъ строфъ; остальныя можно и забыть“ [1]).

Вѣрность его критическаго пониманія еще больше сказалась въ оцѣнкѣ Тургенева. „Сколько наблюдательности, таланта, граціи! Я убѣжденъ въ будущности этого человѣка. Онъ создастъ что-нибудь важное для Руси“...

Такая вѣрная оцѣнка, сдѣланная еще въ 1848 г., такъ сказать, при первомъ выходѣ Тургенева, говоритъ за вѣрное и большое критическое пониманіе. Понятно послѣ этого, что не въ силу только одной привычки и дружбы отдавалъ Герценъ на судъ Огарева почти всякое свое произведеніе, прежде чѣмъ отдать въ печать. Да и не въ однихъ только литературныхъ вопросахъ совѣтовался онъ съ другомъ: всякое семейное дѣло, всякій семейный вопросъ подвергался его разсмотрѣнію. Такова была близость жизни, мысли, вкусовъ и интересовъ. Они обыкновенно даже читали одно и то же. Но это ни въ какомъ случаѣ не позволяетъ согласиться съ покойной Т. П. Пассекъ, что будто бы Огаревъ шелъ только по слѣдамъ Герцена, спѣшилъ, какъ она говоритъ, какъ бы помимо воли, стать въ то положеніе, какое занималъ Герценъ. Нѣтъ, Огаревъ не шелъ за другомъ, никогда не подражалъ ему, напротивъ, онъ часто самъ являлся иниціаторомъ новаго положенія Герцена; несомнѣнно одно, что они оба развивались параллельно, читали и любили однѣ и тѣ же книги, на многое одинаково смотрѣли, но кто изъ нихъ за кѣмъ шелъ—этого сказать нельзя: они каждый шли своею дорогою, причемъ ихъ дороги то шли параллельно, то сливались.

Благодаря знанію нѣсколькихъ языковъ, у друзей, какъ въ родной, такъ и въ западной литературѣ были свои любимцы. Сперва они оба пристрастились къ Шиллеру, его драмамъ, балладамъ, стихамъ; потомъ, когда эпоха романтизма и въ ихъ развитіи стала ослабѣвать и смѣняться реальнымъ направленіемъ, ихъ главнымъ любимцемъ сдѣлались Гете, Шекспиръ. Герценъ усердно читалъ Шекспира, еще будучи въ Вяткѣ. Онъ же и порекомендовалъ другу непремѣнно прочесть „Гамлета“. Огаревъ имѣлъ возможность познакомиться съ драмой въ оригиналѣ. Онъ пришелъ отъ нея въ восторгъ; личность Гамлета, его сомнѣвающаяся, нерѣшительная натура показалась такъ близка Огареву къ нему са-

[1]) Тамъ же.

мому, такъ много онъ нашелъ въ ней общаго съ самимъ собой, что, поселившись въ Москвѣ послѣ ссылки, принялся переводить драму. Но и этотъ большой трудъ, какъ и всѣ вышеупомянутые, разумѣется, не былъ доведенъ до конца. Переводъ остановился, должно быть, на четвертомъ актѣ. Но все же надъ этой работой Огаревъ сравнительно долго сидѣлъ или по крайней мѣрѣ къ ней не разъ возвращался. Переводъ „Гамлета“ онъ продолжалъ даже заграницей въ свою вторую поѣздку.

Увлеченіе Шекспиромъ въ концѣ 30-хъ и въ началѣ 40-хъ годовъ было среди московской молодежи всеобщимъ. Какъ разъ въ то время Н. Х. Кетчеръ усердно трудился надъ переводомъ его драмъ, чѣмъ и закрѣпилъ свое имя въ исторіи литературы. Правда, и этотъ трудъ не обошелся безъ помощи и участія Огарева: переводъ многихъ мѣстъ и пѣсенъ въ этихъ драмахъ принадлежитъ ему такъ же, какъ, можетъ быть, и сама идея перевода.

Рядомъ съ Гёте въ московскомъ кружкѣ читался Байронъ, Гейне, Уландъ и др.

Вліяніе Гейне на нашего поэта сказалось, какъ мы видѣли, даже въ планахъ его работъ, въ самыхъ названіяхъ. Огаревъ, поселившись съ конца лѣта 1839 г. въ Москвѣ, особенно усердно читалъ Buch der Lieder Гейне, и бывши заграницей—какъ припомнимъ—задумывалъ писать цѣлый циклъ стихотвореній, которымъ давалъ названія: Buch der Liebe, Buch der Kunst и т. д. Тамъ же, заграницей, дѣлалъ и переводы, какъ изъ произведеній Гейне, такъ и изъ другихъ сейчасъ названныхъ писателей. Тамъ же перевелъ и стихотвореніе Мицкевича: „*Разговоръ*“.

Но переводовъ у Огарева вообще немного. Переводъ требуетъ труда, работы, а — какъ припомнимъ — Огаревъ не могъ трудиться или, какъ говоритъ его другъ, черная работа была не для Огарева. Онъ не трудился, не отдѣлывалъ даже своихъ мелкихъ стихотвореній, которыя составляли главный, основной genre его поэзіи. Онъ печаталъ, или вѣрнѣе вручалъ своимъ друзьямъ стихотворенія неумытыми, въ томъ видѣ, какъ они выливались изъ-подъ пера, а всего чаще набрасывалъ прямо въ письмахъ къ друзьямъ и посылалъ безъ всякихъ поправокъ. По крайней мѣрѣ при его—да и вообще существовавшей у всего кружка—привычкѣ разсказывать другъ другу обо всемъ, онъ нигдѣ не говоритъ, исключая одного раза, о передѣлкѣ или исправленіи своихъ стихо-

твореній. Этотъ единственный, сейчасъ упомянутый разъ, какъ исключеніе, относится къ созданію одного изъ любимѣйшихъ стихотвореній всего дружескаго кружка и публики, къ стихотворенію „*Старый домъ*“ (написанному по возвращеніи изъ ссылки, въ 1839 г. [1]). Описывается домъ отца Герцена, И. А. Яковлева, въ Старой Конюшенной, въ Москвѣ, гдѣ протекало дѣтство и развивалась дружба Огарева и Герцена:

Старый домъ, старый другъ, посѣтилъ я
Наконецъ въ запустѣньи тебя,
И былое опять воскресилъ я,
И печально смотрѣлъ на тебя.

Это единственное изо всѣхъ стихотвореній, которое дошло до насъ въ двухъ полныхъ варіантахъ. Изъ сопоставленія ихъ мы можемъ судить, какой прелести, красоты и силы могъ бы достигать талантъ Огарева, еслибы съ нимъ соединялся трудъ. Вотъ для сравненія нѣсколько куплетовъ въ черновой и исправленной редакціяхъ:

Черновая.	*Исправленная.*
Я вошелъ—*и все комнаты тѣ же ..*	Я вошелъ. *Тѣ же комнаты были—*
Тутъ старикъ *все ворчалъ и кряхтѣлъ,*	Здѣсь ворчалъ *недовольный старикъ,*
Гости были. Но всѣ они гдѣ же?	*Мы бесѣды его не любили·*
И зачѣмъ этотъ домъ опустѣлъ?	*Насъ стращалъ его чорствый языкъ.*
***	***
Вотъ и комнатка: съ другомъ *когда-то*	Вотъ и комнатка: съ другомъ, *бывало,*
Сталъ я жить здѣсь умомъ и душой,	*Здѣсь мы жили умомъ и душой,*
И мечтаній мечталось когда-то	*Много думъ золотыхъ возникало*
Въ этой комнаткѣ *много порой.*	*Въ этой комнаткѣ прежней порой.*
***	***
Въ нее звѣздочка *сладко сіяла,*	Въ ней звѣздочка *тихо свѣтила,*
Въ ней *изрѣзаны стѣны въ словахъ,*	*Въ ней остались слова на стѣнахъ.*
Въ тѣхъ словахъ, что изъ насъ вызывала	*Ихъ въ то время рука начертила,*
Жизнь, кипѣвшая въ нашихъ душахъ.	*Когда юность кипѣла въ душахъ.*
***	***
Въ этой комнаткѣ счастье былое,	Въ этой комнаткѣ счастье былое,
Дружбы *былъ въ ней зажженъ вмѣстѣ,*	*Дружба свѣтлая выросла тамъ,*
Запустѣнье теперь *роковое,*	А теперь запустѣнье *глухое,*
Паутины висятъ по угламъ [2])...	Паутины висятъ по угламъ [3])...

[1]) Герценъ запамятовалъ, относя это стихотвореніе въ „*Запискахъ молодого человѣка*“ къ 1840 году: въ „*Перепискѣ недавнихъ дѣятелей*“ о немъ упоминается въ письмѣ 1839 года.

[2]) „Изъ переписки недавнихъ дѣятелей“ (Рус. Мысль).

[3]) Стихотворенія Н. П. Огарева. Москва. 1863 г.

Какую громадную разницу представляетъ исправленное стихотвореніе! Здѣсь нѣтъ ни „мечтающихся мечтаній“, ни „зажженнаго ѳиміама дружбы“, ни „сладкаго сіянія“... Въ первой редакціи чувствуется какая-то разбросанность, вялость, тягучесть мысли; здѣсь—сосредоточенность, сила, энергія; здѣсь самый выборъ словъ картиннѣе, мѣтче, тогда какъ въ первой редакціи все блѣдно и сѣро.

Это сравненіе показываетъ, сколько стихотворенія Огарева въ неумытомъ видѣ должны терять въ красотѣ, энергіи и образности! Извѣстно, что даже такіе великіе поэты, какъ Пушкинъ и Лермонтовъ, много трудились надъ отдѣлкой своихъ произведеній, — чорезъ что много выиграло ихъ значеніе въ литературѣ, равно какъ выигралъ и читатель. Огаревъ же неминуемо долженъ проиграть. Вслѣдствіе отсутствія труда и отдѣлки стихъ Огарева нерѣдко страдалъ шероховатостью, мѣстами бывалъ не правиленъ и представлялъ даже нарушеніе каданса.

III.

Увлекаясь любимыми писателями, какъ своей родной литературы, такъ и западной, Огаревъ не могъ не нести на своихъ произведеніяхъ слѣдовъ ихъ невольнаго вліянія. Не уберегся онъ отъ вліянія романтической поэзіи Жуковскаго. Въ тридцатыхъ годахъ, когда весь московскій молодой кружокъ былъ охваченъ романтизмомъ, замѣчается и у Огарева наклонность къ эпическимъ стихотвореніямъ, напоминающимъ баллады Жуковскаго. Въ этихъ балладахъ есть и падающія звѣзды, и печальное лицо, и блѣдный свѣтъ луны, и сожалѣніе о „немъ“, который много страдалъ и много любилъ. Но рядомъ съ этимъ романтическимъ настроеніемъ, проникающимъ стихотвореніе „*Nocturno*“, рисуется реальная, прекрасная картина въ музыкальныхъ стихахъ:

Волна течетъ, волна шумитъ,
И лодка при лунѣ,
Махая веслами, бѣжитъ
И плещетъ по волнѣ.

***

Кругомъ все тихо, берегъ спитъ..
Но кто же въ лодкѣ той?
Въ плащѣ задумчиво стоитъ
Съ открытой головой?

***

Развиты кудри, блѣденъ видъ
Печальнаго лица;
Весь самъ въ себѣ и не глядитъ
На стараго гребца.

***

Онъ все глядитъ туда, туда—
На дальній небосклонъ,
И если падаетъ звѣзда—
Тогда въ раздумьи онъ.

***

Качаетъ грустно головой,
Вздыхаетъ тяжело,
Какъ будто бы ему съ собой
Сравненье въ умъ пришло.

***

Ахъ! видно, много онъ страдалъ
И много онъ любилъ,
И много горя въ жизни зналъ,
И счастье схоронилъ.

***

Волна течетъ, волна шумитъ,
И лодка при лунѣ,
Махая веслами, бѣжитъ
И плещетъ по волнѣ. [1])

Читая, вы чувствуете, что не Жуковскій одинъ отражается въ произведеніи начинающаго поэта, что тутъ замѣтно и вліяніе болѣе мощной, реальной поэзіи Пушкина, а, пожалуй, даже и вліяніе другого, молодого поэта—Лермонтова. Всѣ атрибуты романтизма здѣсь нашли свою рамку въ чисто реальной картинѣ воды, по которой катится лодочка.

---

[1]) „Рус. Старина“ 1888 г. ноябрь. Стр. 475.

Въ такомъ же смѣшанномъ видѣ отражается у Огарева и вліяніе чтенія другихъ писателей. У него есть, какъ мы видѣли, среди раннихъ стихотвореній (которыя, какъ и сейчасъ приведенное „*Nocturno*“, не попали въ общее собраніе его стиховъ) небольшая пьеска „*Алхимикъ*“, нѣчто въ родѣ баллады, гдѣ разсказывается, какъ въ убогой кельѣ, въ часъ ночной, сидитъ старый монахъ за добываніемъ золота. Прочитавъ что-то въ толстомъ, старинномъ фоліантѣ, онъ беретъ реторту и начинаетъ кипятить на огнѣ. Долго, много трудится, но напрасно: желанное золото не получается.

Еще блѣднѣе сталъ старикъ
И головой на грудь поникъ.
„Я цѣлый вѣкъ мой съ юныхъ лѣтъ
Жить для науки далъ обѣтъ.
И сердца сжалъ въ себѣ движенья,
Отвергъ любовь и наслажденье“.

И все изъ-за того, чтобы добиться, достигнуть разъ положенной цѣли—открыть секретъ природы, какъ добывать золото. И вотъ теперь, когда уже жизнь его пришла къ концу, свѣтильникъ скоро догоритъ, онъ увидалъ и сознаетъ, что

Надежды нѣтъ—мой трудъ потерянъ.

Въ отчаяніи схватываетъ онъ реторту и разбиваетъ въ дребезги.

И книгу сжегъ, и на полъ палъ,
Закрылъ глаза и не вставалъ...
И только смрадный дымъ изъ горна
Надъ нимъ носился клубомъ чернымъ [1]).

Нельзя не усмотрѣть здѣсь, хотя бы и далекихъ слѣдовъ чтенія „Фауста“, балладъ Шиллера, Жуковскаго и цѣлаго ряда другихъ современниковъ. Это былъ неизбѣжный путь, черезъ который долженъ былъ пройти юный поэтъ, прежде чѣмъ заговорить своимъ голосомъ, прежде чѣмъ избрать собственный родъ произведеній.

Не убережется онъ, конечно, и отъ вліянія поэзіи Кольцова, который тогда, во второй половинѣ 30-хъ годовъ, только что сталъ

1) Тамъ же. Стр. 470.

входить въ моду, отъ вліянія его чисто русскихъ деревенскихъ темъ, гдѣ на первомъ планѣ у Огарева выступила деревенская „Изба“, „Деревенскій сторожъ“ и деревенская „Дорога“... Всѣ эти стихотворенія проникнуты тѣмъ чувствомъ грусти, той задушевной меланхоліей, которую навѣваетъ на автора русская природа. Въ нихъ деревенская жизнь отражается съ той вѣрностью и правдой, которой эти произведенія рѣзко отличаются отъ другихъ вышеупомянутыхъ романтическихъ, искусственныхъ и какъ бы наносныхъ. Самъ Огаревъ призналъ послѣднія недостойными: ни одно изъ нихъ онъ не помѣстилъ въ своемъ собраніи стиховъ.

Мы видѣли, когда останавливались на его литературныхъ планахъ, какъ ему необходимо было дѣлиться съ друзьями зарождавшимися мыслями, надеждами, задуманными работами. Чувство также требовало обнаруженія. Требовала воплощенія въ звукъ и та музыка, которая наполняла душу и къ которой онъ такъ часто прислушивался, уходя въ глубь своей души. Неудержимая потребность перелить все это въ слово сдѣлала его поэтомъ. Но онъ самъ признавался и раньше, и въ концѣ жизни, при встрѣчѣ въ 1873 году съ Т. П. Пассекъ, что сколько ни писалъ, а все-таки никогда не могъ вполнѣ выразить, передать той музыки, которая раздавалась въ душѣ:

„Вѣришь ли, Таня, все, что я писалъ, все это не то, что я чувствовалъ. Души моей я никогда не могъ выразить и не выразилъ никогда ни въ музыкальныхъ звукахъ, ни въ словахъ. Я бывалъ счастливъ, когда высказывалась хоть часть того, что глубоко теплилось въ душѣ моей“... [1])

Какъ же возможно было передать словами наполнявшіе душу звуки? Но онъ дѣлалъ попытки, и онѣ выходили прелестны. Вотъ хоть бы стихотвореніе

Звуки.

Какъ дорожу я прекраснымъ мгновеньемъ!
Музыкой вдругъ наполняется слухъ,
Звуки несутся съ какимъ-то стремленьемъ,
Звуки откуда-то льются вокругъ;

---

[1]) „Изъ дальнихъ лѣтъ“, Т. П. Пассекъ.

Сердце за ними стремится тревожно,
Хочетъ за ними куда-то летѣть—
Въ эти минуты растаять бы можно,
Въ эти минуты легко умереть. [1])

И такъ, Огаревъ писалъ стихи вслѣдствіе неудержимой внутренней потребности, чтобы отлить наполняющее душу чувство. Этому вполнѣ удовлетворяла форма лирическаго стихотворенія, потому она и сдѣлалась у него преобладающей. Чувствуя потребность въ такого рода формѣ, онъ въ тоже время оставался не доволенъ своими стихами именно потому, что они „слишкомъ личны, чтобы что-нибудь значить для кого-нибудь, кромѣ меня—говорилъ онъ—находящаго наслажденіе писать ихъ, порою совсѣмъ въ нихъ затерявшаго; эти пьесы — des songes creux (пустыя видѣнія), я самъ въ нихъ не вижу ни малѣйшаго литературнаго достоинства." [2])—Иначе на дѣло смотрѣли друзья. Вотъ что отвѣчалъ ему на такое письмо В. П. Боткинъ:

„Мнѣ жаль, что ты не прислалъ своихъ теперешнихъ стиховъ. Ты ихъ предполагаешь дурными потому, что они субъективны. *А я думаю*, что потому-то самому они и хороши". [3])

Нельзя не отмѣтить этого въ высшей степени вѣрнаго сужденія В. П. Боткина, хотя бы брошеннаго вскользь и мимоходомъ. Дѣйствительно, лирическія стихотворенія Огарева тѣмъ и хороши, тѣмъ и высоки, что они субъективны, что они отражаютъ въ себѣ его высоко гуманную, до женственности-нѣжную, благородную личность, которой присуще было почти всегда грустное чувство, какая-то особая тихая грусть. Въ этой грусти сквозила неудовлетворенность дѣйствительностью и стремленіе къ иному, лучшему. Эта грусть прекрасно вылилась въ одномъ изъ его превосходныхъ стихотвореній:

Много грусти.

Природа знаетъ дня утомленна
И проситъ вечера скорѣй у Бога,
И вечеръ встрѣтитъ съ радостью она,
Но въ этой радости такъ грусти много!

---

[1]) Стихотворенія Н. Огарева. Москва. 1863 г. 17 стр.
[2]) „Изъ Переписки недавнихъ дѣятелей" (Рус. Мысль).
[3]) Тамъ же.

* * *

И тотъ, кому ужъ жизнь давно скучна,
Онъ проситъ старости скорѣй у Бога,
И смерть ему на радость суждена,
Но въ этой радости какъ грусти много!

* * *

А я и молодъ, жизнь моя полна,
На радость мнѣ любовь дана отъ Бога,
И пѣснь моя на радость мнѣ дана,
Но въ этой радости какъ грусти много! [1])

Это чувство тихой грусти такъ же присуще его поэзіи, какъ искренность, правдивость и снисходительность къ людямъ присущи его натурѣ. Всегда тихій, скромный, склонный, какъ говорилось раньше, скорѣй въ себѣ, чѣмъ въ другихъ видѣть недостатки и дурное, онъ до поѣздки заграницу, несмотря на массу тяжелаго, которое пришлось вынести въ жизни, какъ со стороны личной, такъ и общественной, ни на кого не негодовалъ, ни на кого не сердился. Его душа была полна молитвы, религіозной вѣры въ провидѣніе, полна чувствомъ той безропотной покорности, которую мы привыкли называть *резиньяціей* и которая рельефно выступаетъ въ одномъ изъ его, такъ сказать, историческихъ стихотвореній, написанномъ, какъ надо думать, по возвращеніи изъ ссылки. Оно носитъ названіе

Друзьямъ.

Мы въ жизнь вошли съ прекраснымъ упованьемъ,
Мы въ жизнь вошли съ неробкою душой,
Съ желаньемъ истины, добра желаньемъ,
Съ любовью, поэтической мечтой,
И съ жизнью рано мы въ борьбу вступили,
И юныхъ силъ мы въ битвѣ не щадили.
Но мы вокругъ не встрѣтили участья,
И лучшія надежды, и мечты,
Какъ листья средь осенняго ненастья,
Попадали, и сухи, желты,—

[1]) Стихотворенія Н. Огарева. 1863. Москва, Стр. 124.

И грустно мы остались между нами,
Сплетяся дружно голыми вѣтвями...
Упрекъ ли небу скажетъ дерзкій умъ?
Къ чему упрекъ?.. Смиренье въ душу вложимъ
И въ ней затворимся—безъ желчи, если можемъ. [1])

Такимъ чувствомъ былъ полонъ поэтъ, да и не онъ одинъ, какъ за время, такъ и тотчасъ послѣ ссылки; ни злобы, ни горечи, ни негодованія не было у возвращенныхъ друзей. А Огареву по самой натурѣ своей трудно было негодовать. Онъ былъ полонъ любви къ природѣ и къ людямъ. Любовь къ природѣ онъ выразилъ въ цѣломъ рядѣ прекрасныхъ стихотвореній: „*Вечеръ*“, „*Полдень*“, „*Весною*“, и еще въ одномъ превосходномъ стихотвореніи:

Я наконецъ оставилъ городъ шумный,
Изъ дальнихъ стѣнъ я вырвался на мигъ.

Вокругъ него, на мѣсто городского шума, легла теперь безбрежная равнина полей:

Люблю я васъ вечерніе отливы,
И съ далью неба слитый край земли,
Цвѣтокъ лазурный между желтой нивы
И птички пѣсню звонкую вдали.
О, какъ давно уже въ тиши раздольной
Я не дышалъ безпечностью привольной!
Мнѣ хорошо!.. [2]).

Русская природа съ ширью своихъ полей, съ бѣлоснѣжной красавицей березой, съ музыкой лѣсовъ была ему дорога до конца жизни. Заграницей, во вторую поѣздку, онъ скучалъ по ней; и разъ былъ безконечно радъ, когда увидалъ въ Германіи березу, которая напомнила ему Россію.

---

[1]) Тамъ же, стр. 5.
[2]) Тамъ же, стр. 76.

Въ тяжелыя минуты жизни, когда тоска ложилась на душу, когда невольно приходила мысль о тишинѣ могилы, Огаревъ не переставалъ любить жизнь за красоту природы, „за красоту самой жизни“.

Какъ хорошо его стихотвореніе „*Полдень*“, гдѣ онъ уходитъ въ безграничное созерцаніе природы!

Полуднемъ жаркимъ ухожу я
На отдыхъ праздный въ темный лѣсъ
И тамъ ложусь, и все гляжу я
Между вершинъ на даль небесъ.
И безконечно тонутъ взоры
Въ ихъ отдаленьи голубомъ;
А лѣсъ шумитъ себѣ кругомъ,
И въ немъ ведутся разговоры:
Щебечетъ птичка, жукъ жужжитъ,
И листъ засохшій шелеститъ,
На хворостъ падая случайно—
И звуки всѣ такъ полны тайной...
Въ то время страннымъ чувствомъ мнѣ
Всю душу сладостно объемлетъ;
Теряясь въ синей вышинѣ
Она лѣсному гулу внемлетъ
И въ забытьи какомъ-то дремлетъ [1]).

За эту способность Огарева тонуть въ безконечныхъ красотахъ природы, тонуть въ своихъ чувствахъ, за его стремленіе во всемъ къ безграничной широтѣ, Герценъ и окрестилъ натуру друга прозваньемъ, „что въ ней не видать горизонта“.

Увлекаясь описаніемъ природы, Огаревъ иногда невольно подражалъ Лермонтову, его музыкѣ:

Я помню въ тиши ясно лунныхъ ночей
Съ утеса катился ручей.
Серебряной нитью, чиста, холодна,
Сверкала, сверкала волна,

[1]) Тамъ же, стр. 19.

Серебряной нитью, чиста, холодна,
Шумѣла, шумѣла она [1]).

Но, конечно, музыка Лермонтовскихъ стиховъ ему не удавалась или удавалась весьма рѣдко, тѣмъ болѣе, что онъ далеко уступалъ писателямъ, какъ было уже сказано раньше, въ трудѣ и въ отдѣлкѣ, отъ которыхъ много зависитъ красота стиха. Но всѣ недостатки и шероховатости стихотвореній Огарева обыкновенно выкупаются искренностью, непосредственностью и правдивостью чувства его высоко гуманной личности, проникающею всѣ произведенія и дѣлающею ихъ такими близкими и дорогими душѣ читателя. Возьмемъ хотя-бы стихотвореніе къ „Искандеру", 1858 г., гдѣ вылилась его задушевная мечта объ освобожденіи крестьянъ:

Когда я былъ отрокомъ тихимъ и нѣжнымъ,
Когда я былъ юношей страстно-мятежнымъ,
И въ возрастѣ зрѣломъ, со страстію смежномъ,—
Всю жизнь мнѣ все снова и снова, и снова
Звучало одно неизмѣнное слово:
Свобода! Свобода!

Онъ и край родной покидаетъ ради служенія той же богинѣ.

И вотъ на чужбинѣ, въ тиши полунощной,
Мнѣ издали голосъ послышался мощный...
Сквозь вьюгу сырую, сквозь мракъ безпомощный,
Сквозь всѣ завыванія вѣтра ночного,
Мнѣ слышится съ родины юное слово:
Свобода, Свобода!

Слухи объ освобожденіи крестьянъ въ Россіи достигли наконецъ и до него. Огаревъ наполнился счастьемъ при этомъ извѣстіи. Ему грезится родина,—снѣгъ и равнина.

Знакомое вижу лицо селянина,
Лицо бородатое, мощь исполина,
И онъ говоритъ мнѣ, снимая оковы,
Мое неизмѣнное, вѣчное слово:
Свобода! Свобода!

---

1) Стихотворенія Н. Огарева. Изданіе Трюбнера, Лондонъ, 1858 года. Стр. 412.

Огаревъ боится, что ему придется умереть на чужбинѣ, прежде чѣмъ на его родинѣ совершится великое освобожденіе. Думая о предсмертномъ часѣ, онъ проситъ друга:

Не дай мнѣ остынуть безъ звука святого,
Товарищъ, шепни мнѣ послѣднее слово:
Свобода! свобода! [1]).

Огаревъ любилъ родину еще съ ранняго дѣтства и остался вѣренъ этой любви до конца дней. Поэма „*Радаевъ*“, которая въ 1873 г. въ неоконченномъ видѣ была имъ вручена Т. П. Пассекъ и которая писалась заграницей, имѣла въ предисловіи слѣдующія строки:

„И день прошелъ! Я наконецъ одинъ,
Моей мечты безспорный господинъ.
Какую цѣль ей въ тьмѣ ночной поставлю?
Куда полетъ задумчивый направлю?
О! знаю, знаю... Какъ ни отучай,
Къ гнѣзду летитъ затерянная птица —
На родину! Какъ будто чуждый край
Просторная, но грустная темница!
Нѣтъ, нѣтъ! Тебѣ съ тоскующей мечтой
Не совладать, изгнанникъ добровольный!
Ей нужды нѣтъ—легко тебѣ иль больно,
Вспорхнетъ себѣ и полетитъ домой... [2])

Эта горячая любовь къ родинѣ не переставала жить въ душѣ поэта, сопровождая съ дѣтства вплоть до одинокой могилы на одномъ изъ Лондонскихъ кладбищъ, откуда, съ могильнаго холма, во всѣ стороны открывается тотъ широкій просторъ съ теряющимся вдали горизонтомъ, который такъ рѣзко отдѣлялъ личность, и душу Огарева отъ всѣхъ, даже близкихъ товарищей.

IV.

Мотивы всѣхъ его стихотвореній такъ тѣсно связаны съ его личностью, что по нимъ можно читать его жизнь. Выше уже было указано на два стихотворенія важныхъ, какъ въ біографическомъ,

[1]) Тамъ же. Стр. 407—408.
[2]) Рус. Старина. 1886 г. Февраль, стр. 465.

такъ и въ общественномъ отношеніи, на стихотворенія: „*Друзьямъ*“ и „*Старый домъ*“, которыя рисуютъ какъ бы историческіе моменты въ жизни автора и московскаго интеллигентнаго общества конца 30-хъ годовъ.

Слѣдить по стихотвореніямъ Огарева за всей біографіей поэта въ подробностяхъ мы не будемъ: это взяло бы массу времени, потребовало бы множества выписокъ и чуть не цѣлаго тома комментаріевъ для того, чтобы иногда сдѣлать понятнымъ какой-нибудь ничтожный намекъ, возстановляющій фактъ, картину, эпоху; мы выберемъ три-четыре-пять стихотвореній,—важныхъ въ біографическомъ отношеніи и прекрасно освѣщающихъ нравственный образъ поэта.

Извѣстно, что личная жизнь не удалась Огареву, сколько онъ ни стремился къ семейному счастью. Его упованія не сбылись. Мы знаемъ, какъ онъ горько ошибся насчетъ первой жены, Маріи Львовны Рославлевой,—какъ не долго она была вѣрна тѣмъ запросамъ, на условіи которыхъ Огаревъ предложилъ ей быть своею подругою. Вскорѣ по возвращеніи изъ Владимірскаго свиданія, о которомъ говорится въ стихотвореніи:

„Благодарю тебя, о, провидѣнье,
Благодарю, благодарю тебя,
Ты мнѣ дало чудесное мгновенье,
Я дожилъ до чудеснѣйшаго дня,[1])—

она быстро сняла съ себя всѣ данные обѣты—жить ради общественнаго блага—и съ полнымъ непониманіемъ, презрительно начала относиться ко всѣмъ идеаламъ мужа, а также и къ его друзьямъ. Огаревъ любилъ ее и надѣялся вернуть недавнее прошлое—примирить жену съ друзьями. Лучшимъ средствомъ считалъ онъ увезти ее подальше отъ всѣхъ, съ кѣмъ она ссорилась, и, оставшись вдвоемъ, опять наладить жизнь по хорошему. Съ этою цѣлью поѣхалъ въ 1841 году заграницу. Но средство оказалось не дѣйствительнымъ. Марья Львовна покинула мужа, и онъ одинъ вернулся въ Россію. Во вторую поѣздку Огарева на западъ она не разъ возвращалась къ нему и послѣдній разъ даже съ надеждой на появле-

---

[1]) Связка писемъ А. И. Герцена. Стр. 194 („Сѣв. Вѣстн., 1894, іюль“): *Маріи, Александру, Натаніи*“.

ніе ребенка. И что же Огаревъ? Онъ кротко встрѣтилъ жену, даже и на этотъ разъ обѣщалъ будущему ребенку имя и чувство отца. У него блеснула надежда—съ помощью этого третьяго невиннаго существа спасти погибающую женщину и вернуть на путь истинный. Но для Маріи Львовны не оставалось уже никакого спасенія. Она, какъ оправилась отъ болѣзни, такъ распростилась опять. Но теперь Огаревъ пожелалъ, чтобы это прощанье было уже послѣднимъ. Жена, разумѣется, не забыла спросить должную сумму на содержаніе. Огаревъ далъ больше должнаго: онъ выдалъ заемное письмо въ 300.000, по которому жена получала отъ него въ годъ 18.000, въ видѣ процентовъ.

Вотъ каково было отношеніе страдающаго мужа къ женѣ, съ головы до ногъ во всемъ виноватой; она испортила ему жизнь, разбила всѣ иллюзіи семейнаго счастья, къ которому онъ такъ страстно влекся и гдѣ думалъ найти опору для общественной дѣятельности и борьбы. Вся высокогуманная, мягкая натура Огарева прекрасно отразилась въ этой исторіи, конецъ которой онъ описалъ въ стихотвореніи:

*Къ****

Разстались мы; то, можетъ, нужно,
То, можетъ, должно было намъ—
Ужъ мы давно не дѣлимъ дружно
Единой жизни пополамъ ..

Вѣчно снисходительный къ другимъ, онъ и въ этой исторіи винитъ себя, а не ту, которая испортила его жизнь и такъ грубо разбила всѣ дорогія надежды.

— Я несть готовъ твои упреки,
Хотя и жгутъ они, какъ ядъ.
Конечно, я имѣлъ пороки,
Конечно, въ многомъ виноватъ.

Но его мало интересуетъ вопросъ собственно о томъ, кто виноватъ:

И кто изъ насъ виновенъ въ томъ,
Какое дѣло—ты ли, я ли—
Его назадъ мы не вернемъ.

И вотъ съ какимъ чувствомъ онъ разстается съ женщиной, разбившей его мечты:

Но не смутятъ укоромъ совѣсть
Тебѣ отнюдь мои уста.
Благодарю за тѣ мгновенья,
Когда я вѣрилъ и любилъ;
Я не далъ только-бъ имъ забвенья,
А горечь радостно-бъ забылъ.
О, я не врагъ тебѣ... дай руку!
Прощай... [1])

Такъ и хочется преклониться передъ такой высотой и величіемъ души человѣка! Вотъ въ чемъ кроется причина его магнитной силы и могущественнаго притяженія на весь дружескій кружокъ. Его высокогуманное чувство всегда одинаково согласовалось, какъ съ словомъ, такъ съ дѣломъ и со всей его жизнью.

Какъ упомянутая трагедія въ личной жизни, такъ и самая заграничная жизнь съ своей свободой, просторомъ, чтеніемъ новыхъ европейскихъ мыслителей, все это вмѣстѣ произвело сильный переломъ въ воззрѣніяхъ и убѣжденіяхъ Огарева, остававшагося до сихъ поръ вѣрнымъ религіознымъ традиціямъ и продолжавшаго хранить въ себѣ покорность, „резиньяцію“.

Этотъ переломъ ясно и полно сказался въ стихотвореніи „*Совершеннолѣтіе*“ [2]), которое какъ бы стоитъ на границѣ минувшаго и надвигающагося будущаго.

Спокойно вижу я годовъ минувшихъ даль, —

такъ начинается это стихотвореніе, —

Грядущее встрѣчаю безъ волненья,
И нѣтъ раскаянья, и прошлаго не жаль,
Нѣтъ передъ тѣмъ, что будетъ, опасенья;
На грезы юности смотрю я безъ презрѣнья,
Пусть было многое въ нихъ жалко и смѣшно,
Но *подлости* на нихъ не брошено пятно...

---

[1]) Стихотворенія Н. Огарева. 1863 г. Москва. Стр. 78—79.
[2]) Стихотворенія Н. Огарева. 1858 г. Лондонъ. Стр. 200—201.

Съ ошибкой дѣтскою раздѣлаться я радъ,
И веселѣй встрѣчаю горечь истинъ,
Чѣмъ малодушіе мечтательныхъ отрадъ;
Я въ дѣлѣ счастья гордъ и безкорыстенъ!
Но міръ, который мнѣ, какъ гнусность, ненавистенъ,
Міръ угнетателей, обмана и рабовъ —
Его, пока я живъ, подкапывать готовъ
Съ горячимъ чувствомъ мести или права,
Не думая о томъ, что гибель ждетъ иль слава.

Но этотъ ясно совершившійся въ его воззрѣніяхъ переломъ не наполняетъ его негодованіемъ на прошлое, которое теперь оказалось ошибкой, — напротивъ, онъ разстается съ нимъ любовно, принимаетъ грядущее, какое бы оно ни было, безъ страха и боязни, какъ неизбѣжность, разъ его жизнь пойдетъ согласно съ идеаломъ, а иначе она и идти не можетъ, такъ какъ его идеалъ не есть нѣчто внѣшнее, принятое, что можно снять, какъ наброшенный на плечи плащъ.

Вернувшись изъ заграницы въ Москву въ такомъ перерожденномъ видѣ, онъ встрѣчаетъ полное тождество своимъ взглядамъ во взглядахъ друга: оказывается, они шли разными дорогами, но пришли туда же. Другіе члены московскаго кружка во многомъ расходятся, какъ съ нимъ, такъ и съ Герценомъ. Эта разница взглядовъ образуетъ охлажденіе, а въ 1846 году, лѣтомъ, послѣ одного разговора пріятелей, который велся на дачѣ въ Соколовѣ, произошелъ даже явный разрывъ съ Грановскимъ. Связь одновременно оборвалась вслѣдствіе того же и съ другими членами московскаго кружка 40-хъ годовъ, которые оказались по воззрѣніямъ и вѣрованіямъ ближе къ Грановскому, чѣмъ къ нимъ. Огаревъ, огорченный разрывомъ, написалъ стихотвореніе („Искандеру“), которое начиналось словами: „Я ѣхалъ по полю пустому“. Тамъ съ тихой грустью говорилось:

Всему свой срокъ,
Я правды рѣчь велъ строго въ дружномъ кругѣ —
Ушли друзья въ младенческомъ испугѣ.

* * *

И онъ ушелъ, котораго, какъ брата —
Иль какъ друга, такъ нѣжно я любилъ!
Мнѣ тяжела, какъ смерть, его утрата;

Онъ духомъ чистъ и благороденъ былъ,
Имѣлъ онъ сердце нѣжное, какъ ласка,
И дружба съ нимъ мнѣ памятна, какъ сказка.

* * *

Ты мнѣ одинъ остался неизмѣнный;
Я жду тебя. Мы въ жизнь вошли вдвоемъ [1]).

Это чувство разлада тяжелымъ гнетомъ легло на его душу. Дѣла и жизнь съ отъѣздомъ Герцена за границу принудили Огарева поселиться въ деревнѣ. Кажется, въ 1856 г., послѣ того, какъ Императоръ Александръ II вступилъ на престолъ и выѣздъ заграницу сдѣлался возможенъ для каждаго, онъ вмѣстѣ со второй женой, Натальей Алексѣевной, урожденной Тучковой, собрался въ третій разъ въ чужіе края.

Проѣзжая черезъ Москву, повидимому, незадолго до этого времени, онъ уже не засталъ Грановскаго въ живыхъ: Грановскій умеръ въ 1855 г. и былъ похороненъ на Пятницкомъ кладбищѣ.

Вотъ какъ изображаетъ Огаревъ чувство, охватившее его на могилѣ Грановскаго, въ стихотвореніи *„Мертвому другу“*:

То было осенью унылой...
Средь урнъ надгробныхъ и камней
Свѣжа была твоя могила
Недавней насыпью своей.

Могила еще вся была усыпана вѣнками, принесенными рукой учениковъ.

Твоею дружбой не согрѣта
Вдали шла долго жизнь моя,
И словъ послѣдняго привѣта
Изъ устъ твоихъ не слышалъ я.
Размолвкой нашей недовольный,
Ты, можетъ, глубоко скорбѣлъ;
Обиды горькой, но невольной
Тебѣ простить я не успѣлъ.

---

[1]) Тамъ же, 202 стр.

Никто изъ насъ не могъ быть злобенъ,
Никто, тая строптивый нравъ,
Былъ повиниться не способенъ,
Но каждый думалъ, что онъ правъ.
И ѣхалъ я на примиренье,
Я жаждалъ искренно сказать
Тебѣ сердечное прощенье
И отъ тебя его принять..
Но было поздно.
Въ день унылый
Въ глухую осень, одинокъ
Стоялъ я у твоей могилы
И все опомниться не могъ.
. . . . . .

Онъ желаетъ утѣшить себя мыслью, что это только сонъ, что другъ проснется, опять раздастся его благородный голосъ,

И юношамъ въ завѣтный даръ
Онъ принесетъ и духъ свободный,
И мысли свѣтъ, и сердца жаръ...

Но глазамъ предстаетъ опять та же свѣжая могила, а надъ ней—

Дыханью осени послушна,
Кладбища сторожъ вѣковой,
Сосна качаетъ равнодушно
Зелено-грустною главой,
И волны, берегъ омывая,
Бѣгутъ, спѣшатъ, не отдыхая [1]).

Послѣднія двѣ строки, гдѣ говорится о волнахъ, какъ бы указываютъ на тѣ условія, при которыхъ стихотвореніе, можетъ быть, набрасывалось на бумагу. Извѣстно, что въ тѣ времена заграничный путь изъ Россіи лежалъ моремъ, отчаливали отъ Кронштадта,—и вотъ, можетъ быть, во время отъѣзда изъ Россіи, во время путешествія по морю и создалось это прелестное стихотвореніе, гдѣ суетливая непрерывность волнъ какъ бы говоритъ о

[1]) Тамъ же. Стр. 386—389.

тяжеломъ равнодушіи и безучастіи природы къ искреннему, неутѣшному горю поэта.

Позднѣе, уже въ 1870 году, когда Огаревъ былъ и дряхлъ, и немощенъ, когда уже и муза стала измѣнять, ему пришлось испытать еще болѣе непосильное несчастье — смерть самаго близаго друга: ему пришлось потерять и пережить Герцена [1]), и одинокому остаться доживать свои горькіе дни на чужбинѣ. Рыданія не переставали заглушать его и по прошествіи трехъ лѣтъ послѣ этого событія, когда онъ пересылалъ свое послѣднее стихотвореніе Т. П. Пассекъ, посвященное *„Памяти друга“*:

Другъ дѣтства, юности и старческихъ годовъ,
Ты умеръ вдалекѣ, уныло, на чужбинѣ,
Не я тебѣ сказалъ послѣднихъ вѣрныхъ словъ,
Не я пожалъ руки въ безвыходной кручинѣ.
Да! сердце замерло!.. Быть можетъ, даже намъ
Иначе кончить бы почти что невозможно;
Такъ многое прошло по тощимъ суетамъ;
Успѣхъ былъ не великъ, а жизнь ушла тревожно.
Но я не сѣтую на строгія дѣла,
Мнѣ только силы жаль, гдѣ не достигла цѣли,
Иначе бы борьба побѣдою была,
И мы бы преданно другъ другу уцѣлѣли [2]).

Къ тому же моменту перелома во всѣхъ философскихъ воззрѣніяхъ Огарева, который, какъ говорилось раньше, отразился въ стихотвореніи „Совершеннолѣтіе“, относится и его лучшее стихотвореніе: *„Монологи“* [3]). Въ этомъ произведеніи, состоящемъ изъ четырехъ частей, сказалась кульминаціонная точка развитія его поэтическаго таланта. До *„Монологовъ“* онъ росъ, его поэзія дѣлалась сильнѣе, ярче, тонъ увѣреннѣе. Въ *„Монологахъ“* всѣ эти стороны достигли своего полнаго развитія. Здѣсь одно-

---

1) А. И. Герценъ умеръ въ 1870 году, 9 января. Въ нынѣшнемъ году исполнилось ровно 25 лѣтъ со дня его смерти,—уже и мраморный пьедесталъ памятника на его могилѣ въ Ниццѣ началъ трескаться, и бронзовая статуя стала покрываться зеленью...

2) „Изъ дальнихъ лѣтъ“, Т. П. Пассекъ. Т. I. 259 стр.

3) Стихотворенія Н. Огарева. 1863 г. Москва. Стр. 80—85.

временно сказался большой умственный ростъ, небывалая до того времени сила, энергія, съ какою еще никогда не раздавалось его слово. Остановимтесь подробнѣе на этомъ стихотвореніи; оно по красотѣ выраженія, силѣ чувства и мысли, по горячности можетъ сравняться развѣ только съ лучшими стихотвореніями Лермонтова.

Первый „Монологъ“ начинается словами:

И ночь! и мракъ! Какъ все томительно пустынно!
Безсонный дождь стучитъ въ мое окно,
Блуждаетъ лучъ свѣчи, мѣняясь съ тѣнью длинной,
И на сердцѣ печально и темно.

Отчего вдругъ нашло такое состояніе на поэта? Что случилось? Нѣтъ, такое состояніе нашло не вдругъ, не внезапно; все давно подготовлялось къ этому. Настала наконецъ минута, когда ему приходится разстаться со многимъ изъ былого, какъ въ личной жизни, такъ и въ своихъ теоретическихъ воззрѣніяхъ на міръ, вселенную и общество людей:

Былые сны! душѣ разстаться съ вами больно;
Еще ловлю я призраки вдали,
Еще желаніе въ груди кипитъ невольно,
Но *жизнь и мысль убили сны мои.*
Мысль, мысль! какъ страшно мнѣ теперь твое движенье,
Страшна твоя тяжелая борьба!
Грознѣй небесныхъ бурь несешь ты разрушенье,
Неумолима, какъ сама судьба.

Но онъ не отступаетъ передъ ея грозной разрушительной силой, которая заставила его разстаться съ тѣмъ суевѣріемъ и религіозностью, которую онъ несъ въ душѣ съ самаго ранняго дѣтства.

Ты міръ невинности давно во мнѣ сломила,
Меня на вѣкъ въ броженье вовлекла,
За вѣрой вѣру ты въ моей душѣ сгубила,
Вечерній свѣтъ ты тьмою назвала.

Отъ прежнихъ истинъ я отрекся правды ради,
Для свѣтлыхъ сновъ на ключъ я заперъ дверь,
Листъ за листомъ я рвалъ завѣтныя тетради,
И все, и все изорвано теперь.

И какъ ни тяжело, а онъ долженъ признаться, что

. . . впереди лежитъ пустынная дорога,
Да тщетный жаръ еще горитъ въ крови.

Во второмъ „Монологѣ“ онъ изображаетъ охватившее его послѣ совершившагося погрома чувство пустоты, которое онъ хочетъ утопить въ волнахъ разгула, растратить жизнь на пиръ и шумъ. Зоветъ къ себѣ вакханку, чтобы она продажнымъ поцѣлуемъ зажгла въ его крови любовь.

Любовь, любовь!.. о, нѣтъ, я только сожалѣнье,
Погибшій ангелъ, чувствую къ тебѣ...
Поди, ты мнѣ гадка! я чувствую презрѣнье
Къ тебѣ, продажной, купленной рабѣ!

Но лишь только успѣло вырваться это жесткое слово, какъ онъ видитъ слезы на ея глазахъ,—и въ концѣ удрученъ собственнымъ поступкомъ.

Ты плачешь? Нѣтъ, не плачь. Какъ? я тебя обидѣлъ?
Прости, прости мнѣ—это паръ вина;
Когда-бъ я не любилъ, вѣдь, я-бъ не ненавидѣлъ.

И ему дѣлается до боли жаль эту „страдалицу страстей“, какъ онъ называетъ вакханку. Ему хочется вернуть ее къ иной жизни.

Что-жъ ты молчишь, дитя, и смотришь въ умиленьи,
А я не пью мой налитой бокалъ?
Проклятіе! опять ненужное мученье
Внутри души я гдѣ-то отыскалъ!

Вакханка склонила голову къ нему на плечо и заснула: ей чужды, непонятны его страданія, и онъ чувствуетъ, что глупо тратить сердце за ничто.

Третій „Монологъ“ по исполненію и по мысли достигаетъ высшей силы.

Чего хочу?.. чего?.. О! такъ желаній много,
Такъ къ выходу ихъ силѣ нуженъ путь,
Что, кажется порой, ихъ внутренней тревогой
Сожжется мозгъ и разорвется грудь.

Авторъ не замеръ, не упалъ духомъ послѣ всѣхъ выдержанныхъ испытаній; онъ вышелъ изъ нихъ обновленнымъ, возрожденнымъ къ новой жизни.

Чего хочу? Всего, со всею полнотою!
Я жажду знать, я *подвигов* хочу,
Еще хочу—любить съ безумною тоскою,
Весь трепетъ жизни чувствовать хочу!

Но, конечно, опытъ пройденной жизни умѣряетъ пылъ и навѣваетъ тутъ же темныя пессимистическія мысли: онъ чувствуетъ, что всѣ желанія напрасны, что они не будутъ удовлетворены.

Я самъ себѣ кажусь подавленнымъ страданьемъ,
Какимъ-то жалкимъ, маленькимъ глупцомъ,
Среди безбрежности затерянным созданьемъ,
Томящимся въ броженіи пустомъ.

Онъ прекрасно сознаетъ, что большая часть жизни прожита, пустое дно дѣлается все виднѣе, и ему кажется, что жить — отчаянная смѣлость;

Но биться пульсъ не можетъ перестать.

Не въ его власти также и перестать желать.

И все хочу!.. чего?.. О, такъ желаній много,
Такъ къ выходу ихъ силѣ нуженъ путь,
Что, кажется порой, ихъ внутренней тревогой
Сожжется мозгъ и разорвется грудь.

Но отчаяніе не долго владѣетъ душей Огарева: отчаяніе, пессимизмъ противны и совсѣмъ не сродны его натурѣ. Онъ находитъ выходъ изъ охватившей его пустоты,—въ знаніи, наукѣ,

общественномъ служеніи, и въ четвертомъ „Монологѣ“ уже изображаетъ себя среди юношей въ аудиторіи, на университетской скамьѣ.

Извѣстно, что, разставшись съ первой женой, Огаревъ дѣйствительно сталъ посѣщать лекціи естественныхъ наукъ въ Берлинскомъ университетѣ. Но сидящіе съ нимъ на скамьѣ товарищи были уже не пара ему: они передъ нимъ дѣти; съ юношескимъ пыломъ они относятся къ раздающейся съ каѳедры истинѣ, имъ все ново.

Но я сюда явился съ мыслью зрѣлой,
Сомнѣніемъ испытанный боецъ,
Но не убитый имъ...
Я отстоялъ себя отъ внутренней тревоги,
Съ терпѣніемъ пустился въ новый путь, —
И не собьюсь теперь...
Что, Мефистофель мой, завистникъ закоснѣлый?
Отнынѣ власть твою разрушилъ я, —
Волѣзненную власть насмѣшки устарѣлой;
Я скорбью многой выкупилъ себя.
Теперь товарищъ мнѣ иной духъ отрицанья;
Не тотъ насмѣшникъ черствый и больной,
Но тотъ всесильный духъ движенья и созданья,
Тотъ вѣчно юный, новый и живой.
Въ борьбѣ безстрашенъ онъ, ему губить—отрада,
Изъ праха онъ все строитъ вновь и вновь,
И ненависть его къ тому, что рушить надо,
Душѣ свята такъ, какъ свята любовь.

Вотъ какой погромъ, какое опустошеніе пришлось пережить Огареву въ свою вторую поѣздку заграницу, и побѣдителемъ обновленнымъ выйти изъ борьбы. Такимъ новымъ, просвѣтленнымъ человѣкомъ, сохранивъ, впрочемъ, прежнюю нѣжность, кротость и любовь къ ближнему, вернулся онъ на родину въ 1846 г., но уже съ тѣмъ равнодушіемъ, какъ говоритъ П. В. Анненковъ, къ своимъ личнымъ невзгодамъ, съ тѣмъ взглядомъ, который съ этихъ поръ рѣдко отъ чего туманился. Его твердость и спокойствіе, съ какимъ онъ встрѣчалъ удары судьбы, не утрачивая яснаго, пря-

мого и полнаго свободы и независимости, взгляда, весь уходя въ общественное служеніе,—просто кажутся поразительными.

Незадолго передъ третьимъ и послѣднимъ отъѣздомъ заграницу, бумажная Тальская фабрика, которой онъ въ то время былъ занятъ, на которую, въ продолженіи, какъ кажется, послѣднихъ пяти лѣтъ—если не больше,—кромѣ силъ, полагалъ и массу денегъ,—вдругъ эта самая фабрика разомъ сгораетъ, пожаръ причиняетъ сто тысячный убытокъ, и—надо замѣтить—причиняетъ въ то время, когда Огаревъ, разоренный первой женой, весь тонетъ въ долгахъ. И что же? Сообщая объ этой тяжелой новости П. В. Анненкову, онъ не произноситъ ни единаго слова жалобы или сожалѣнія, а тутъ же еще прибавляетъ:

Тотъ жалокъ, кто подъ молотомъ судьбы,
Поникъ, испуганный, безъ боя,—
Достойный мужъ выходитъ изъ борьбы
Въ сіяньи гордаго покоя.[1])

Такимъ высокимъ, мощнымъ—при всей кажущейся слабости и нерѣшительности, въ самыя тяжелыя минуты жизни выступаетъ Огаревъ, отражаясь такимъ же и въ своихъ стихотвореніяхъ,—а, какъ уже упоминалось раньше, его личность такъ тѣсно была связана съ друзьями, представляла съ ними такое неразрывное цѣлое, что, отражая себя, она отражала въ произведеніяхъ вмѣстѣ съ тѣмъ и каждаго изъ нихъ, и всю эпоху нашей общественной жизни 30-хъ и 40-хъ годовъ.

Вотъ въ чемъ сила и историческое значеніе поэзіи Огарева. Вотъ на какомъ основаніи могъ сказать Чернышевскій въ своей статьѣ о немъ, помѣщенной въ Современникѣ, что имя Огарева будетъ произноситься съ любовью тогда, когда имена другихъ поэтовъ будутъ забыты. „Огареву—сказалъ онъ—суждено занимать страницу въ исторіи нашей русской литературы".

Больше 35 лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ это было сказано, но и по прошествіи столькихъ лѣтъ, слова Чернышевскаго мы можемъ повторить съ тою же силою и увѣренностью, прибавивъ

---

[1] „Литературныя воспоминанія и переписка 1835—1885". П. В. Анненкова. Т. I. стр. 651: письмо отъ 24 іюня 1855 года.

къ нимъ что теперь многія изъ стихотвореній Огарева обратились для насъ въ живой голосъ исторіи того времени, голосъ, увѣковѣчивающій дорогіе намъ факты и дорогія имена.

V.

Но эта статья была бы не полна, еслибы пришлось пройти молчаньемъ его большія стихотворныя повѣсти, поэмы, гдѣ отражается русская деревня, любимецъ Огарева мужикъ въ его крѣпостномъ положеніи, которое такъ смущало и мучило поэта,—и весь строй крѣпостной помѣщичьей жизни. Въ этомъ отношеніи интересна его большая повѣсть „*Господинъ*“ [1]) гдѣ авторъ выводитъ молодого одинокаго помѣщика Андрея Потапыча, который, соскучившись въ столицѣ по реальному дѣлу, рѣшилъ заняться воспитаніемъ крестьянъ:

Въ ихъ нравахъ сдѣлать улучшенья,
Зерно ума и просвѣщенья
Посѣять въ глушь далекихъ странъ.

Съ этою цѣлью Андрей Потапычъ покидаетъ столицу и ѣдетъ въ деревню. Выѣхавъ на просторъ полей, онъ залюбовался природой и задумался о своей безнадежной любви. Уже лѣтъ пять, какъ онъ безмолвно любитъ одну молодую дѣвушку, безъ надежды на взаимность.

Въ такихъ размышленіяхъ онъ доѣхалъ до своей усадьбы, гдѣ нѣкогда протекало его дѣтство, гдѣ ему было такъ хорошо и покойно. Вотъ и барскій домъ. Въ немъ теперь пусто и безлюдно, но зато здѣсь все напоминаетъ дѣтскіе годы:

...старуха мать
Любила здѣсь чулокъ вязать;
А вотъ и небольшая зала,
Здѣсь чай сосѣдямъ разливала.
Вотъ здѣсь отцовскій кабинетъ...

[1]) Стихотворенія Н. Огарева. Лондонъ, 1858 г. Стр. 288—338.

Какъ отъ дорожныхъ, такъ и ото всѣхъ другихъ впечатлѣній у Андрея Потапыча къ вечеру такъ напряглись нервы, что всю ночь онъ не могъ заснуть.

Вставши на другой день утромъ съ постели и полюбовавшись на открывающійся изъ окна ландшафтъ, онъ подумалъ, что, вѣдь,

Въ деревнѣ жить себя обрекъ
Онъ не безъ цѣли, какъ гуляка,
Живущій никому не въ прокъ,
Что пользы общей мысль хотѣла,
И, стало, надо дѣлать дѣло.

И началъ съ того, что разставилъ на полкахъ привезенныя книги, разсчитывая изъ нихъ научиться тому, чему хотѣлъ учить крестьянъ.

То былъ субботній день. Старики и старухи деревни всѣ были у обѣдни; изъ церкви прошли прямо къ барину на поклонъ съ хлѣбомъ, съ солью. Андрей Потапычъ узналъ между ними много старыхъ знакомыхъ:

Вотъ дядька старый, дѣтскихъ лѣтъ
Ворчливый другъ...
И сгорбился, и весь въ морщинахъ,
И бѣлой бородой обросъ,
И тѣло у него тряслось...
А какъ же сдѣлалась стара
Покойной нянюшки сестра!

Крестьяне желаютъ подойти къ барской ручкѣ, но

Андрей Потапычъ, весь сконфуженъ,
Шепталъ, что сей обрядъ не нуженъ,

и отклонилъ. Велѣлъ между тѣмъ старостѣ подать отчеты и на утро собрать крестьянскій сходъ: онъ имѣлъ намѣреніе самъ заняться крестьянскими дѣлами.

Приказаніе было исполнено. Утромъ у барскаго крыльца сошлись мужики. Вышелъ и баринъ.

Безъ шляпъ стоялъ предъ нимъ народъ
(Къ чему обычай не понудитъ!).
Вперивъ глаза, разинувъ ротъ,
Всѣ ждали, молча: что-то будетъ?
Андрей Потапычъ рѣчь держалъ
(И очень былъ собой доволенъ),
Андрей Потапычъ имъ сказалъ,
Что человѣкъ родится воленъ,
И потому онъ даже-бъ могъ
Свести ихъ съ нашни на оброкъ.

Но предварительно онъ желаетъ знать ихъ мнѣніе на этотъ счетъ.

Затылки почесавъ, крестьяне
Съ единогласіемъ въ отвѣтъ
Сказали: „почему же нѣтъ?“

Баринъ тутъ же сталъ распространяться передъ ними о необходимости имѣть въ крестьянствѣ школу, о пользѣ науки и т. д.

О земледѣліи начавъ,
Замялся какъ-то онъ немного—
И, слова два еще сказавъ
Объ истинномъ вредѣ засухи,
Велѣлъ имъ поднести сивухи,
И воротился въ барскій домъ.

Онъ самъ не зналъ, какъ подойти къ осуществленію всѣхъ своихъ добрыхъ проэктовъ.

Страшась минуту потерять
Въ трудѣ, исполненномъ значенья,
Онъ ради школъ и просвѣщенья
Рѣшился что-нибудь начать.

И на базарѣ добылъ книжку,
Не новую для нашихъ дней,
И началъ азбуки по ней
Учить дворового мальчишку;
Сперва день каждый, не лѣнясь,
Потомъ въ недѣлю по два раза,

а тамъ и совсѣмъ забросилъ это дѣло.

Деревенская жизнь, сосѣди-помѣщики понемногу отвлекали вниманіе и интересъ отъ золотыхъ плановъ, оттягивали въ сторону обыденной колеи помѣщичьей жизни. Андрей Потапычъ сталъ во всемъ слушать совѣтовъ прикащика, который говорилъ барину, что мужики народъ опасный, и убѣждалъ держать крестьянъ по старинному на пашнѣ. И мало по малу Андрей Потапычъ пересталъ вникать въ дѣла крестьянъ, сталъ сибаритничать, нѣжиться и ничего не дѣлать, какъ и другіе помѣщики.

Разъ, когда онъ прогуливался по лѣсу, ему повстрѣчалась смуглянка Катя, дочь лакея. Дѣвушка приглянулась, и у нихъ начались частыя встрѣчи, а потомъ произошло и полное объясненіе. Послѣднее составляетъ лучшее мѣсто повѣсти, потому его надо привести цѣликомъ.

Въ аллеѣ дальней, темной сада,
Гдѣ въ полдень вѣяла прохлада,
Сливались съ шопотомъ листовъ
Слова двухъ тихихъ голосовъ:
„Нѣтъ, нѣтъ! не такъ меня ты любишь...
— Да какъ же васъ еще любить?—
Нѣтъ, ты дитя. Меня ты сгубишь,
И не замѣтишь, можетъ быть!
Ну—поцѣлуй!..—„Ахъ, страшно стало!
Ну вдругъ увидитъ кто-нибудь?"
И вотъ, припавъ къ нему на грудь,
Она его поцѣловала.—
—Ты приходи ужо ко мнѣ!
Всѣ въ домѣ будутъ спать глубоко,
Ты только свѣчки одинокой
Увидишь свѣтъ въ моемъ окнѣ...

Придешь?..—„Боюсь—отецъ узнаетъ!“
—Онъ не узнаетъ ничего!
И что бояться намъ его?—
„Ахъ! кто-нибудь, да разболтаетъ!“
—Придешь?—„Не знаю!.. Ну, приду“...

Скоро послѣ этого разговора Катя вошла въ барскій домъ полной хозяйкой. Вся дворня стала относиться къ ней съ почтеніемъ, ее стали величать не просто Катей, а Катериной Ильинишной. Катя, разумѣется, счастлива и довольна своимъ положеніемъ и своей силой. Андрей же Потапычъ отъ такого сожительства сталъ незамѣтно опускаться. Прежде онъ сторонился отъ компаніи станового; теперь становой сталъ его лучшимъ пріятелемъ. Теперь онъ вмѣстѣ съ нимъ коротаетъ вечера, пьетъ вино. Катя въ ихъ присутствіи пляшетъ подъ звукъ гитары. Глядя на нее, отуманенный винными парами, самъ Андрей Потапычъ пускается въ плясъ. Такая картина никого не смущаетъ. Одинъ только дядька вздыхаетъ при видѣ того, что сталось съ его питомцемъ. — А Катерина между тѣмъ все больше забираетъ силы.

Какъ-то разъ послѣ святокъ — у крыльца
Съ тревожной гнѣвностью лица
Старуху тетку за остатокъ
Какой-то пряжи грошевой
Бранила Катя нестерпимо.
Кузнецъ Василій шелъ тутъ мимо
И проворчалъ, махнувъ рукой:
„Вотъ нынѣче вѣкъ у насъ какой!
И даже старыя старушки
Подъ властью всякой потаскушки!“

Катя набросилась на кузнеца, принялась ругать, но этимъ не удовлетворилась, пошла плакаться и жаловаться барину... и настояла, чтобы кузнеца Василья отдали въ солдаты.

И Ваську отдали въ солдаты!
Пошелъ бѣднякъ мой одинокъ,
Лѣтъ на двадцать попался въ сѣти...
Жена осталась, тоже дѣти
Поплакали...

Сталось все такъ, какъ захотѣлось барской барынѣ, Катеринѣ Ильинишнѣ...

А время между тѣмъ шло впередъ, да впередъ. Вотъ и масленица прошла, за ней наступилъ великій постъ.

Какъ-то разъ постомъ къ Андрею Потапычу вошелъ своею старческой походкой согбенный дядька. Онъ началъ свою рѣчь издалека: припомнилъ время, когда Андрей Потапычъ былъ малюткой, припомнилъ его дѣтскую доброту и сталъ корить барина за теперешнюю жизнь.

— Что жъ, ты учить пришелъ?—закричалъ Андрей Потапычъ.

Сердиться, сударь, въ вашей волѣ,
А лгать предъ вами не должно,
Да и на старости грѣшно.
Опомнись, баринъ! Худо, стыдно!
Зачѣмъ же Васька-то солдатъ?
Зачѣмъ народу жить обидно?

Андрей Потапычъ сдѣлался внѣ себя отъ гнѣва, вскочилъ взбѣшенный и... ударилъ старика въ щеку.

Старикъ ни слова не сказалъ,
И только старой головою,
Взглянувъ печально, покачалъ
И вышелъ...

Андрей Потапычъ скоро опомнился. Сознаніе нанесеннаго старику оскорбленія глубоко запало ему въ душу. Онъ сталъ грустенъ, молчаливъ, задумчивъ, по временамъ даже заговаривался, хирѣлъ—и умеръ. Послѣ его смерти Катерина Ильинишна сейчасъ же была разжалована въ Катьки, а имѣніе все перешло къ наслѣднику.

Дошла наконецъ вѣсть о смерти и до той барышни, которую любилъ Андрей Потапычъ. Услыхавши, что Андрей Потапычъ умеръ, она задумалась, потомъ представила себѣ покойника съ отечествомъ „Потапычъ“ своимъ мужемъ и—расхохоталась. То было подъ вечеръ, она готовилась ложиться спать,—легла въ постель и безмятежно заснула.

Эта повѣсть, рисующая слабохарактернаго и мало знакомаго съ практической стороной жизни помѣщика временъ крѣпостного права, помѣщика недурнаго по натурѣ и затронутаго гуманными идеями, но слабаго и не подготовленнаго для борьбы, какъ съ своими барскими привычками, такъ и съ окружающей атмосферой,—имѣетъ много общаго съ вышеупомянутой стихотворной повѣстью или, какъ Огаревъ ее называетъ, поэмой „*Радаевъ*“, тоже по содержанію относящейся ко временамъ крѣпостного права. Въ ней также выводится одинокій помѣщикъ, глубоко любящій одну молодую дѣвушку, только не безъ надежды на взаимность. Но дѣвушка въ отвѣтъ на любовь предложила дружбу. Разочарованный въ своихъ надеждахъ такъ же, какъ и въ службѣ, и въ жизни, которая отняла у него друга, онъ, какъ и Андрей Потапычъ, ѣдетъ въ деревню съ желаніемъ добра и пользы своимъ крестьянамъ.

Картины крѣпостного права, которыя разбросаны въ той и другой повѣсти, вѣрны дѣйствительной жизни. Эти картины нѣкогда сильно удручали автора, и вотъ отчасти ради ихъ изображенія и написаны обѣ повѣсти. Первая, на которой мы такъ подробно останавливались, проникнута чувствомъ грустной ироніи ко всѣмъ затѣямъ въ сущности добраго и хорошаго Андрея Потапыча, но совсѣмъ лишеннаго должной реальной подготовки и какой бы то ни было воли, почему и не удается ни одинъ изъ его плановъ, и самъ онъ дѣлается флюгеромъ въ рукахъ своей Катерины, которая постоянно заставляетъ его поступать противъ убѣжденій. Исполняя ея желанія, Андрей Потапычъ *являлся* мученикомъ, не имѣющимъ покоя отъ угрызеній собственной совѣсти. Все окружающее его такъ низменно и пусто, что способно только скорѣй погрузить въ еще большую тину, чѣмъ дать образумиться или призвать къ лучшей жизни. Только одинъ старикъ-дядька—крѣпостной оказался выше остальныхъ, но при своемъ крѣпостномъ безправіи, при своемъ подневольномъ положеніи, имѣвшись, онъ только навлекъ на себя оскорбленіе: его, старика, баринъ-крѣпостникъ, хотя въ душѣ и гуманистъ, *ударилъ*! Старикъ, молча, снесъ обиду. Его молчаніе показалось страшнѣй пощечины,—такъ ужасно, такъ убійственно оно подѣйствовало на душу.

Повѣсть, какъ видимъ, прекрасна по мысли и вполнѣ вѣрна жизни. Но одно въ ней трудно понять: легкую, но крайне неумѣстную улыбку надъ тѣми же крестьянами, угнетенное положе-

ніе которыхъ заставляло такъ страдать автора. Онъ осмѣиваетъ ихъ за то, что они говорятъ „вперивъ глаза, разинувъ ротъ". И эта не мотивированная ничѣмъ и непонятная улыбка встрѣчается и въ другихъ его поэмахъ и повѣстяхъ.

На эту же тему о „русскихъ либералахъ", исполненныхъ на словахъ добрыхъ намѣреній и несостоятельныхъ на дѣлѣ, писалъ почти одновременно и Н. А. Некрасовъ. Припомнимъ его небольшое стихотвореніе, оканчивающееся словами:

— Потомъ вступилъ онъ во владѣнье;
Вопросъ отложенъ и забытъ.
Увы! не наше поколѣнье
Его по совѣсти рѣшитъ. [1])

Но у него былъ сдѣланъ только намекъ на тотъ типъ, который такъ полно очертилъ Огаревъ въ лицѣ Андрея Потапыча. Что же касается до картинъ крѣпостного права, то послѣ Некрасова,—который такъ много написалъ въ этомъ духѣ болѣе яркаго, сильнаго, что мы успѣли выучить чуть не наизусть,—читая теперь повѣсть Огарева, которая до настоящаго времени была извѣстна только по заграничному изданію, кажется, что читаешь что-то старое, знакомое, почти избитое, что даже перестаетъ быть занимательнымъ, такъ какъ поэтическихъ красотъ, чего-нибудь оригинальнаго она не имѣетъ. Напротивъ, въ этомъ отношеніи она представляетъ только напоминаніе манеры Некрасова и отчасти Пушкина. Вліяніе послѣдняго впрочемъ всего сильнѣе сказалось въ другой вышеупомянутой поэмѣ Огарева—„*Юморъ*" [1]), гдѣ авторъ разсказываетъ свою жизнь вплоть до первой поѣздки за границу въ связи съ общественными явленіями. Подобно „Евгенію Онѣгину", котораго она отражаетъ, поэма переполнена отступленіями и проникнута Байроновской ироніей.

Тихая иронія, встрѣчающаяся въ повѣсти „*Господинъ*", въ поэмѣ „*Зимній путь*", и переходящая въ гнѣвную и саркастически-горькую въ „*Юморѣ*", присуща и другимъ стихотворнымъ произведеніямъ Огарева. Она есть и въ его большой повѣсти „*Сны*" [2]), гдѣ изображается гувернантка въ богатомъ княжес-

[1]) Стихотворенія Н. А. Некрасова. С. Петербургъ. 1879 г. I, стр. 109.
[1]) и [2]) „Стихотворенія Н. Огарева". Лондонъ, 1858 г. Стр. 33—143 и 338—371.

комъ домѣ вмѣстѣ съ своей воспитанницей, молодой княжной, въ то время какъ онѣ обѣ, засыпая, видятъ сны, каждая согласно своему возрасту, условіямъ жизни и стоящимъ передъ ними надеждамъ. Здѣсь тихая иронія мѣстами смѣняется веселой, которая, случается, переходитъ въ шаржъ, неумѣстный въ поэтическихъ произведеніяхъ. Но не надо забывать, что повѣсть называется „*Сонъ*“, что все, что въ ней разсказывается,—есть только сонъ, гдѣ шаржъ можетъ имѣть свое законное оправданіе. Дѣйствительность же, сама жизнь съ ея вѣрнымъ изображеніемъ и правдой, тѣмъ не менѣе выступаетъ и во снѣ, оставляя на сердцѣ тоску по несбывшимся надеждамъ героинь. Особенно жаль читателю молодой дѣвушки, дочери князя, которая во снѣ на балу встрѣчается съ желаннымъ героемъ,—у нея съ нимъ полная гармонія, они одинаково смотрятъ на жизнь, на будущее, и вдругъ—въ то время, какъ она, приглашенная, пошла, по обязанности свѣтскихъ приличій, танцовать съ другимъ,—онъ, ея герой, исчезъ. Ищетъ, мечется бѣдная княжна—его нигдѣ нѣтъ. Въ отчаяніи она бѣгаетъ по заламъ и наталкивается на отца.

Онъ съ кѣмъ-то щегольски одѣтымъ,
Чьи безполезно бровь и глазъ
Обезпокоены лорнетомъ.
„А! отъискали въ добрый часъ!“
Промолвилъ старый князь протяжно;
Звѣзда сіяла и чело
Сіяло голо и свѣтло,
И онъ, взглянувъ на Мери важно,
Сказалъ торжественъ и тихъ:
„Вотъ это, Мери, твой женихъ“!
У бѣдной Мери грудь стѣснилась
И закружилась голова,
Она стоять могла едва,
И сердце билось, билось, билось... [1])

Но, вѣдь, это все сонъ, Мери все это видитъ во снѣ,—поэтому намъ нечего убиваться за нее и нечего жалѣть? Однако, отчего этотъ мотивъ—замужество безъ любви, по принужденію,—такъ при-

[1]) Тамъ же. Стр. 349.

влекаетъ вниманіе поэта, что онъ не разъ останавливается на немъ и даже посвящаетъ ему одно изъ своихъ прекрасныхъ стихотворній „*Вѣтство*“, о немъ же говоритъ и въ своей стихотворной поэмѣ: „*Зимній Путь*“, помѣщенной въ 1856 г. въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ [1]), гдѣ авторъ работалъ въ пятидесятыхъ годахъ. Видно, что фактъ выдачи дѣвушки замужъ, безъ любви, на основаніи матеріальныхъ или какихъ-нибудь побочныхъ соображеній родителя, нерѣдко мелькалъ передъ авторомъ въ дѣйствительной жизни.

Въ упомянутомъ лирическомъ стихотвореніи „*Вѣтство*“ самый фактъ выдачи безъ любви уже не удается отцу. „Ступай“,—сказалъ онъ,—„подъ вѣнецъ!“

А я: „не принуждай,—отецъ!
Мнѣ рано замужъ...

Но отецъ не унимался, продолжалъ настаивать на своемъ. Онъ говорилъ дочери, что, отказываясь, она теряетъ свое счастье.

Я все свое; но наконецъ
Личину сбросилъ мой отецъ
И закричалъ, что вовсе мнѣнья
Онъ моего не хочетъ знать,
Что долгъ мой есть повиновенье,
Что онъ привыкъ повелѣвать...

Дочь бросилась на колѣни, стала умолять отца: ужъ лучше-бъ отдалъ въ монастырь.

Онъ топнулъ... А ему я снова:
Отецъ! вѣдь, я люблю другого!
А онъ меня ударилъ... Какъ,
Что послѣ? Помню, какъ сквозь мракъ,
Вскочивъ, отца не видя болѣ,
Тайкомъ ушла я садомъ въ поле,
Забыла холодъ, голодъ, трудъ,—
Ушла искать себѣ пріютъ [2]).

---

[1]) „Рус. Вѣстникъ“ 1856 г. № 6.
[2]) „Стихотворенія“ Н. Огарева. Москва, 1863. Стр. 120—121.

Такъ оканчивалась въ этомъ стихотвореніи попытка выдать дочь насильно за нелюбимаго человѣка. Того, прежняго конца здѣсь уже нѣтъ, а отчего? развѣ времена измѣнились? Нѣтъ, крѣпостное право и теперь царило съ тою же силою, но такія счастливыя исключенія, вѣдь, представляла жизнь во всѣ времена, и въ тридцатые, и въ иные годы. Обращикъ и живое доказательство тому романъ Н. А. Захарьиной, убѣгомъ ушедшей замужъ за двоюроднаго брата. Возможно, что приведенный фактъ представляетъ одно изъ такихъ рѣдкихъ исключеній.

И насколько же это маленькое стихотвореніе „*Бѣлство*“, въ смыслѣ художественнаго исполненія, превосходитъ названныя большія стихотворныя повѣсти и поэмы: „*Зимній путь*“ [1]), „*Господинъ*“, „*Сны*“, „*Радаевъ*“! Послѣднія крайне тягучи, вялы, изъ нихъ только „*Зимній путь*“, писанный, какъ кажется, раньше другихъ, еще въ Россіи, во много разъ превосходятъ остальныя. Появленіе этой поэмы было встрѣчено въ литературѣ критической статьей А. В. Дружинина, который, порицая Огарева за отсутствіе поэтической энергіи, увѣренности и убѣжденности въ своемъ талантѣ и поэтическомъ призваніи, что̀, — какъ мы теперь знаемъ, — составляло особенность его натуры,—тѣмъ не менѣе хвалитъ „*Зимній путь*“ и появленіе его называетъ „явленіемъ отраднымъ и почтеннымъ“ [2]).

Выше упоминалось, что талантъ Огарева достигъ въ „*Монологахъ*“ своего кульминаціоннаго пункта. Съ этихъ поръ онъ слабѣетъ, спускается внизъ,—чѣмъ дальше, тѣмъ замѣтнѣе. Это чувствуется главнымъ образомъ въ указанныхъ большихъ стихотворныхъ произведеніяхъ, можетъ быть, именно потому, что они большія и, какъ большія, — требуютъ большого труда, сосредоточенности на себѣ, отдѣлки, — чего, какъ говорилось раньше, не доставало Огареву. Онъ любилъ писать скоро и много, какъ самъ признавался въ письмахъ изъ заграницы. И самъ оттуда же во вторую поѣздку писалъ, что чувствуетъ упадокъ поэтическаго таланта, чувствуетъ безсиліе.

Но этотъ упадокъ ощущался имъ главнымъ образомъ потому, что онъ уклонялся отъ присущей его таланту и силамъ поэтиче-

---

[1]) Тамъ же. Стр. 146—166.
[2]) Сочиненія А. В. Дружинина. Т. 7. Стр. 135.

ской формы,—маленькихъ лирическихъ пьесъ, въ которыхъ, какъ бы независимо отъ него, выливалось клокотавшее внутри чувство, а брался за драмы, повѣсти, поэмы, которыя не подходили ему, а главное — были не сродны не столько его таланту, сколько его натурѣ. Маленькія же лирическія пьески продолжали ему удаваться временами даже и много позднѣе. Какъ хороша, напр., у него вышла картинка „*Купанье*“ [1]), вышеупомянутое стихотвореніе „*Искандеру*“ о свободѣ [2]), или вотъ эта чудная драма-симфонія: „*У моря*“ [3]).

Дождь и холодъ! А ты все сидишь на скалѣ:
Посмотри на себя—ты босая!
Что на море глядишь? Въ этой пасмурной мглѣ
Не видать, словно ночью, родная!
Шла домой бы, ей Богу!

Она отвѣчаетъ на это:

„О! я знаю, зачѣмъ я сижу на скалѣ:
Что за нужда, что сыро и скверно, —
А его различить я съумѣю во мглѣ,
Онъ сегодня вернется навѣрно.
Въ бурю ловля чудесна“!

Здѣсь безъ единаго звука, безъ единаго пояснительнаго слова со стороны автора, такъ и вѣетъ на читателя страшной, мучительной драмой. Несчастная женщина и слушать ничего не хочетъ, продолжаетъ сидѣть у моря, не переставая разсказывать, какъ ея милый отчаливалъ въ то время, когда уже начала бушевать буря. Онъ отъѣхалъ, махнулъ ей платкомъ,

Буря лодку свирѣпо качала.

А она не перестаетъ твердить все свое:

Въ бурю ловля чудесна.

Она видѣла, какъ нескончаемый шквалъ поднялся, скрылъ его

---

[1]) Тамъ же. Стр. 97.
[2]) Стихотворенія Н. Огарева. Лондонъ, 1858 г. Стр. 407.
[3]) Тамъ же. Стр. 397—398.

лодку изъ глазъ, но она все сидитъ, все ждетъ, не переставая твердить:

„Я по утру и днемъ, и въ полночь на скалѣ;
Что за нужда, что сыро и скверно,
А его различить я съумѣю во мглѣ,
Онъ сегодня вернется навѣрно.
Въ бурю ловля чудесна!“

Но, несмотря на всю внѣшнюю правильность ея рѣчи, вы съ ужасомъ догадываетесь, что она потеряла разсудокъ, и ей самой не сойти со скалы, и ужъ, конечно, не дождаться своего рыбака.

Это стихотвореніе поднимаетъ изъ глубины души читателя то высокогуманное чувство состраданія и горькаго сожалѣнія къ несчастной женщинѣ, которымъ былъ полонъ поэтъ во время созданія, хотя состраданія этого онъ не выразилъ ни въ единомъ словѣ. Стихотвореніе это — настоящая симфонія; въ немъ скрыто много звуковъ и мыслей безъ словъ, которые оно будитъ въ васъ и которые,— какъ говорилъ В. П. Боткинъ,— остались бы безъ обнаруженія, еслибы не авторъ.

Съ перваго взгляда эта пьеска кажется какъ бы неоконченной: . . . вѣдь, и при концѣ стихотворенія несчастная продолжаетъ сидѣть все на томъ же мѣстѣ и твердить все тѣ же слова, что и въ началѣ; автору сказать больше нечего, или, вѣрнѣе, онъ не хочетъ сказать, потому что прекрасно знаетъ, что наше собственное чувство, пробужденное стихотвореніемъ, доскажетъ остальное. В. П. Боткинъ, принадлежавшій къ московскому кружку 40-хъ годовъ, писавшій въ это десятилѣтіе въ Современникѣ о стихотвореніяхъ Огарева, сравнивалъ ихъ съ пьесами и даже съ этюдами Шопена. И дѣйствительно, какая полнота скрыта въ стихотвореніяхъ Огарева при всей кажущейся ихъ незаконченности! Какъ много чувствъ и мыслей пробуждаютъ такія небольшія пьески, какъ сейчасъ упомянутое стихотвореніе: „*У моря*“ или: „*Неаполь*“, „*Забыто*“, „*Обыкновенная повѣсть*“!

Кромѣ своей музыкальности, онѣ поражаютъ полнотой жизни, умѣньемъ въ двухъ, трехъ маленькихъ несложныхъ картинкахъ набросать цѣлый романъ. Припомнимъ стихотвореніе „*Обыкновенная повѣсть*“ [1]).

[1]) Стихотворенія Н. Огарева. Москва, 1863 г. Стр. 27—28.

Была чудесная весна!
Они на берегу сидѣли —
Рѣка была тиха, ясна,
Вставало солнце, птички пѣли;
Тянулся за рѣкою долъ,
Спокойно, пышно зеленѣя;
Вблизи шиповникъ алый цвѣлъ,
Стояла темныхъ липъ аллея.

При необыкновенной музыкальности стиха здѣсь вся природа дышетъ радостью, праздникомъ жизни.

Много лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, настала новая весна, и они, оживляющіе мертвую природу, расцвѣли, выросли и чувствуютъ въ себѣ полноту жизни. Этотъ второй куплетъ начинается тѣми же словами:

Была чудесная весна...
О, еслибъ кто увидѣлъ ихъ
Тогда, при утренней ихъ встрѣчѣ,
И лица-бъ высмотрѣлъ у нихъ,
Или подслушалъ бы ихъ рѣчи...
. . . Онъ вѣрно-бъ самъ, на этотъ мигъ,
Расцвѣлъ на днѣ души печальной!..

Читатель послѣ этого, конечно, увѣренъ въ ихъ взаимномъ счастьѣ, увѣренъ, что ихъ жизнь пойдетъ рука объ руку.

Но вотъ опять прошло много лѣтъ; поэтъ встрѣтилъ ихъ снова,— и какъ же мы ошиблись въ своихъ предположеніяхъ!

Она была женой другого,
Онъ былъ женатъ, и о быломъ
Въ поминѣ не было ни слова.

При этомъ никакихъ коментаріевъ, никакихъ объясненій; и отъ этого умалчиванія, отъ этой недомолвки романъ, какъ и само стихотвореніе, кажутся читателю еще полнѣе.

Этимъ умѣньемъ умолчать, недоговорить и самой недомолвкой сказать такъ полно и много, какъ не сказалось бы въ самомъ краснорѣчивомъ разсказѣ, воспользовались поэты слѣдующихъ по-

колѣній. Стоитъ вспомнить превосходные стихи гр. А. Толстаго: „*То было раннею весной*“, чтобы тотчасъ почувствовать, какъ сильно воспользовался авторъ манерой Огарева и особенно его стихотвореніемъ „*Обыкновенная повѣсть*“.

То было раннею весной,
Трава едва всходила,
Ручьи текли, не парилъ зной,
И зелень рощъ сквозила...

...То было раннею весной,
Въ тѣни березъ то было,
Когда съ улыбкой предо мной
Ты очи опустила...

То на любовь мою въ отвѣтъ
Ты опустила вѣжды —
О, жизнь, о лѣсъ, о солнца свѣтъ,
О, юность! о, надежды! [1])

Здѣсь та же краткость въ описаніи весны и вмѣстѣ съ тѣмъ та же художественная полнота; то же повтореніе перваго стиха, а пользованіе манерой,—не договаривая, вызывать въ душѣ читателя безпредѣльную полноту однимъ намекомъ, односложными восклицаніями—достигаетъ у гр. А. Толстаго полнаго совершенства.

Умѣнье Огарева искусно справляться съ маленькими стихотвореніями, въ родѣ „*Обыкновенной повѣсти*“, сохранялось надолго и по выѣздѣ изъ Россіи.

Поэтическую дѣятельность Огарева давно отмѣтила русская литература, русская критика. Хоть извѣстно, что Огаревъ писалъ еще въ 1830-хъ годахъ, но большая часть его стихотвореній за этотъ періодъ оставалась въ портфелѣ [2]). По словамъ П. В. Анненкова, Огаревъ въ эти годы помѣщалъ свои стихи въ забытые те-

---

[1]) Полное собраніе стихотвореній гр. А. К. Толстаго. Т. II. Стр. 300.
[2]) Эти стихотворенія напечатаны послѣ его смерти въ „Русской Старинѣ“ за 1889 и 1890 гг.

перь журналы, какъ „Сынъ Отечества“ [1]). Бѣлинскій же, впервые останавливается на имени Огарева въ „Обзорѣ русской литературы за 1841 годъ“, относя такимъ образомъ появленіе этого имени къ 40-мъ годамъ. „Вѣроятно, читатели „Отечественныхъ Записокъ“ обратили вниманіе, говоритъ онъ, на стихотворенія г. Огарева, отличающіяся особенною внутреннею меланхолическою музыкальностью“ (6 томъ. Стр. 91). Да и самъ Огаревъ въ своей перепискѣ за время ссылки (когда возможно предположить, что онъ долженъ бы былъ печатать свои стихотворенія) ни разу не упоминаетъ въ письмахъ къ друзьямъ о печатаніи или помѣщеніи стиховъ въ какой-нибудь журналъ, а какъ уже извѣстно, безъ совѣта съ друзьями онъ не выпускалъ въ свѣтъ ни одного стихотворенія. В. П. Боткинъ, о статьѣ котораго, помѣщенной въ 40-хъ годахъ [2]), упоминалось раньше, говоритъ, что стихи Огарева стали изрѣдка *появляться съ 1840 годовъ въ Отечественныхъ Запискахъ*, и ни слова не прибавляетъ на счетъ болѣе ранняго печатанія. Да едва ли оно могло и быть до 1838—1839 г., до времени смерти отца поэта, который былъ противъ литературныхъ занятій сына, и до времени возвращенія изъ ссылки.

Боткинъ, какъ и Бѣлинскій, отнесся къ поэту и къ его произведеніямъ весьма сочувственно; онъ видѣлъ въ его поэзіи „истину“, „простоту“. „задумчивую прелесть,“ „оригинальность колорита“ и „глубокое поэтическое чувство“. Эта глубина и искренность содержанія, по его мнѣнію, выкупали недостатки стиха и подъ часъ плохую рѣчь. Особенно ему нравилась „поэтическая вдумчивость Огарева“ и его „способность тонуть въ своихъ ощущеніяхъ“.

Статья Боткина была написана тогда, когда стихотворенія Огарева были разбросаны по отдѣльнымъ книгамъ „Отечественныхъ Записокъ“, которыхъ онъ долго придерживался, не желая имъ

---

[1]) Просматривая „Сынъ Отечества“ за 1836, 1837, 1838, 1839 и 1840 годы, я нигдѣ не встрѣтила имени Огарева. Если же предположить, что онъ писалъ безъ подписи или подъ какимъ-нибудь псевдонимомъ, то, зная его манеру, настроеніе и направленіе за 30-ые годы, трудно, кромѣ какого-нибудь одного—двухъ стихотвореній, напр. „Звѣзда“ (1838 г. № 2), подписанныхъ звѣздочками, отнести въ этомъ журналѣ что-нибудь къ его поэзіи.

[2]) Въ настоящее время эта статья вошла въ общее Собраніе сочиненій В. П. Боткина, изданныхъ въ 1891 г. „Пантеономъ Литературы“.

измѣнить ради Современника, куда давно перешли его друзья. Боткинъ совѣтовалъ ему издать стихотворенія отдѣльной книгой. Но Огаревъ исполнилъ совѣтъ не раньше 1856 года, когда ему, можетъ быть, очень нужны были деньги. Это первое изданіе его стихотвореній было сдѣлано гг. Щепкинымъ и Солдатенковымъ.

Томикъ стихотвореній Огарева вызвалъ въ лучшихъ журналахъ самые сочувственные отзывы. Между прочими критиками Огареву посвятилъ статью Чернышевскій. Онъ, какъ и Боткинъ, хвалилъ тѣ же стихотворенія: „*Старый домъ*“, „*Кабакъ*“, „*Nocturno*“, „*Младенецъ*“, „*Обыкновенная исторія*“, „*Еще любви безумно сердце проситъ*“, „*Старикъ, какъ прежде, въ часъ привычный*“, „*Проклясть бы могъ свою судьбу*“ и т. д. Подобно Боткину, онъ удивленъ, отчего публика не выражаетъ особыхъ восторговъ Огареву, на которые она щедра по отношенію къ другимъ писателямъ. Боткинъ въ 40-хъ годахъ видѣлъ этому двѣ причины: во-первыхъ, Огаревъ выступилъ въ литературѣ и печатался вмѣстѣ и даже рядомъ съ Лермонтовымъ, къ которому тогда было приковано все вниманіе; во-вторыхъ, стихи Огарева не имѣютъ блестящей, художественной формы. Но все же Боткинъ надѣялся, что со смертью Лермонтова, когда не стало больше слышно чудныхъ пѣсенъ покойнаго поэта, публика оцѣнитъ Огарева въ должной мѣрѣ.

Ну, и какъ же встрѣтила публика томикъ стихотвореній Огарева, появившійся, спустя пятнадцать лѣтъ послѣ смерти Лермонтова, и притомъ тщательно проредактированный авторомъ, который не включилъ сюда ни одного изъ произведеній, писанныхъ до или во время ссылки (въ томикъ вошли стихотворенія, написанныя уже, какъ можно думать, послѣ, начиная съ 1839 года)? Чернышевскій въ своей критической статьѣ говоритъ, что онъ не ждетъ восторженнаго пріема, какого бы заслуживала муза Огарева. „Безъ сомнѣнія, всѣ журналы похвалятъ,—говоритъ онъ,—но умѣренно; публика будетъ читать его книгу также умѣренно. Всѣ скажутъ: хорошо; никто не выразитъ восторга. Поэтъ не будетъ ни огорченъ, ни удивленъ. Онъ и не требуетъ себѣ шумной славы: онъ писалъ не для нея, быть можетъ, и не думалъ, что имѣетъ право на нее“. Огорченъ и оскорбленъ за него Чернышевскій, тѣмъ болѣе, что онъ знаетъ, что придетъ время, когда равнодушіе къ Огареву исчезнетъ: „позабыто имя Огарева будетъ развѣ тогда, когда забудется нашъ языкъ“. Особенно онъ разсчитываетъ

на вѣчную память для слѣдующихъ стихотвореній: „*Старый домъ*“, „*Друзья*“, „*Монологи*“. И такъ какъ Огаревъ лирикъ, а въ лирической поэзіи играетъ главную роль личность поэта, то высокая личность Огарева возвышаетъ и его произведенія.

Статья Чернышевскаго очень небольшая; онъ не касается художественныхъ достоинствъ произведеній, къ разбору которыхъ думалъ вернуться, но ему, кажется, не удалось.

Такую же похвальную статью съ указаніями на тѣ же стихотворенія посвятилъ Огареву и Н. Щербина въ „Библіотекѣ для Чтенія“ (1857 г. № 2). Находя въ произведеніяхъ Огарева съ внѣшней стороны немало шероховатостей, неправильностей, онъ высоко цѣнилъ ихъ по духу и содержанію. „Въ характерѣ музы Огарева—говорилъ онъ—кипитъ жажда практической дѣятельности, и вся она устремлена къ дѣйствительности“. „Въ стихотвореніяхъ Огарева ясно слышится, что содержаніе ихъ пріобрѣтено путемъ духовно-историческаго опыта и размышленія. Звуки его поэзіи вылетаютъ какъ бы изъ груди, исполненной избытками внутренней жизни, волею или неволею запертой въ самомъ себѣ“.—И хотя Щербина не говоритъ объ историческомъ значеніи поэзіи Огарева, все же, какъ на исходную точку его произведеній, указываетъ на стихотвореніе: „*Друзьямъ*“, которымъ начинается изданная книжка.

Но прошло не больше трехъ лѣтъ со времени появленія въ свѣтъ перваго изданія, какъ явилась нужда въ повтореніи. И оно было повторено въ 1859 году [1]), а въ 1863 году понадобилось уже третье изданіе. Послѣднее представляетъ полную, точную перепечатку перваго, безъ всякихъ перемѣнъ и добавленій. Въ 1863 году издателемъ былъ уже одинъ К. Т. Солдатенковъ. Критика, если не ошибаюсь, прошла появленіе двухъ послѣднихъ изданій молчаніемъ, которое, разумѣется, ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть объяснено равнодушіемъ. Литература вообще отъ половины 50-хъ годовъ почти вплоть до 80-хъ умалчивала противъ воли, какъ объ Огаревѣ, такъ и о его другѣ. И только въ 80-хъ годахъ П. В. Анненковъ заговорилъ о нихъ въ своей статьѣ „Идеалисты 30-хъ годовъ“ [2]). Останавливаясь здѣсь на поэтической дѣятель-

---

[1]) Изданіе этого года мнѣ не удалось отыскать.

[2]) Эта статья была помѣщена въ „Вѣстн. Европы“ за 1881 годъ, а оттуда въ 1892 перепечатана въ I томѣ собранія сочиненій П. В. Анненкова.

ности Огарева, онъ называетъ его поэтомъ рефлектирующимъ, а не пѣвцомъ непосредственныхъ ощущеній, какимъ мы его видѣли,— основываясь, должно быть, на тѣхъ позднихъ произведеніяхъ въ родѣ вышеупомянутаго стихотворенія „*Охотникъ*“, которое ему не нравилось. Но и называя его „рефлектирующимъ“, Анненковъ въ то же время признаетъ, что въ своихъ созданіяхъ Огаревъ какъ бы исповѣдовался передъ самимъ собой и говорилъ о самомъ себѣ.

Чернышевскій сказалъ, что стихотворенія Огарева и его имя будутъ вспоминать часто, и даже тогда, когда о многихъ другихъ поэтахъ забудутъ. Подтвержденіемъ этой мысли служитъ и появленіе нашей статьи. А между тѣмъ въ 80-хъ годахъ П. В. Анненковъ уже замѣтилъ, что для поэтическихъ произведеній Огарева „наступило забвеніе“. Какъ объяснить это противорѣчіе? Говоря это, Анненковъ, конечно, имѣлъ въ виду не литературу, уста которой были временно замкнуты помимо воли, а читателя; читатель пересталъ заглядывать въ томикъ стихотвореній Огарева, начиналъ забывать ихъ. Какъ же это могло случиться? Вмѣсто прямого отвѣта, всего лучше разсказать слѣдующій фактъ. Недавно намъ понадобились для сличенія изданій книжки стихотвореній Огарева, вышедшія въ 1859 и 1863 годахъ. Гдѣ ни приходилось спрашивать въ книжныхъ магазинахъ, библіотекахъ, вездѣ получался одинъ отвѣтъ: нѣтъ и нѣтъ. И только послѣ длиннаго ряда поисковъ съ большимъ трудомъ удалось найти завалявшійся томикъ изданія 1863 года, и то у букиниста въ „проломѣ“ на Никольской. Но и у этого усерднаго антикварія оказался только одинъ единственный экземпляръ. Вотъ въ чемъ лежитъ настоящая причина кажущагося „забвенія“, а не въ недостаткѣ памяти и уваженія. Въ появленіи *новаго* и притомъ *болѣе полнаго изданія*—настоящая, неотложная потребность. Кто возьмется и устроитъ это дѣло, тотъ окажетъ большую услугу поэту и читателю, такъ какъ поэзія Огарева не можетъ перестать быть дорогою каждому, кто любитъ истинно прекрасное, кто любитъ свой народъ, свою родину и не чуждъ высокихъ, гуманныхъ стремленій въ жизни.

Е. Некрасова.

* * *

Душа болитъ, душа не въ силахъ
На крыльяхъ радужной мечты
Отъ шума жизни, думъ унылыхъ,
Отъ мукъ безплодныхъ и постылыхъ
Уйти въ предѣлы Красоты!..

* * *

Призывъ къ безоблачному счастью,
Къ обманамъ нѣгъ, палящихъ кровь,
И къ совершанія безстрастью,—
Полна таинственною властью,
Клеймитъ презрѣніемъ Любовь.

* * *

И душу словомъ укоривны
Не уставая мнѣ смущать,
Она велитъ всю жизнь отчизны,—
Ея надежды, скорби, тризны,—
Переживать и воплощать,

* * *

Найти небесное богатство
Средь міра немощей земныхъ
И, равнодушья святотатство
Отринувъ, пѣть любовь и братство!..
Душа болитъ—и льется стихъ!...

* * *

Но не малиновкой безпечной,—
А чайкой станетъ пѣснь моя
Надъ бездной жизни быстротечной,
Искать и жаждать Правды вѣчной
Среди мгновеній бытія!..

Василій Величко.

Изъ литературныхъ воспоминаній.

А. И. Левитовъ.

Когда я былъ еще студентомъ, Левитовъ занималъ уже видное мѣсто среди молодыхъ русскихъ писателей. Тогда только что вышли его „Степные очерки“ въ двухъ маленькихъ красныхъ книжкахъ, въ отдѣльномъ изданіи Генкеля. Я не скажу, чтобы онъ особенно читался среди такъ наз. „большой публики“, но въ средѣ молодежи и особенно интеллигентнаго разночинства разсказы его читались съ интересомъ и любовью. Мягкій, поэтическій колоритъ его степныхъ картинъ природы и лирическихъ паліяній, смягчавшій нѣкоторую мрачность выводимыхъ имъ типовъ, отрадно дѣйствовалъ на душу тѣхъ сотенъ и тысячъ юношей—бѣдняковъ, которые покинули свои далекія полуразоренныя разночинскія гнѣзда въ глухихъ городкахъ и селахъ, промѣнявъ ихъ на сырыя и холодныя „каморы съ мебелью“, въ столицахъ, представлявшихся имъ „ареной дѣятельной силы, пытливой мысли и труда“. Какъ ни сумрачны были воспоминанія о далекихъ родныхъ мѣстахъ, какія возбуждалъ въ нихъ Левитовъ, но та поэзія, которую умѣлъ онъ разлить по своимъ картинамъ и отыскать въ сумрачныхъ лицахъ своихъ героевъ, заставляли ихъ переживать нѣчто такое, что согрѣвало ихъ сердца, наполняло вѣрой и поддерживало въ минуты отчаянія въ ихъ холодныхъ мансардахъ. Нужно замѣтить, что этотъ поэтическій колоритъ, такъ ярко проникавшій „Степные очерки“, былъ въ то время (въ 60-хъ годахъ) и однимъ изъ яркихъ достоинствъ Левитова, отличавшихъ его отъ цѣлой массы второстепенныхъ беллетристовъ, сильныхъ лишь благими намѣреніями, и

въ то-же время одной изъ причинъ, по которымъ онъ не могъ быть названъ особенно популярнымъ писателемъ того періода; въ его экскурсіяхъ въ область поэзіи многіе видѣли недостатокъ, какъ и въ отсутствіи модныхъ современныхъ тэмъ. У всякаго времени свои задачи и такую односторонность требованій отъ писателя нельзя всецѣло поставить въ вину тому поколѣнію, но вмѣстѣ съ тѣмъ и Левитовъ не считалъ себя въ правѣ вполнѣ подчиняться этимъ требованіямъ и измѣнять какъ себѣ, такъ и тѣмъ завѣтамъ старыхъ поколѣній, которые ему были дороги: онъ былъ воспитанъ въ школѣ старыхъ поклонниковъ пушкинской и гоголевской поэзіи и не только не могъ отрицать ее вмѣстѣ съ послѣдователями Писарева, Зайцева и др., но находилъ въ душѣ своей прямой отзвукъ ея, и она была его второй натурой, которую онъ, конечно, не имѣлъ ни возможности, ни намѣренія увѣчить. Это обстоятельство, по моему мнѣнію, было очень характерно для Левитова и придавало ему, какъ личности, нѣкоторый своеобразный обликъ, нѣсколько не соотвѣтствовавшій существовавшему въ то время среднему типу писателя. И это было вполнѣ естественно, такъ какъ самъ Левитовъ, какъ крупный талантъ, былъ оригинальная личность, неукладывавшаяся въ извѣстные шаблоны. Съ этой стороны мнѣ прежде всего пришлось узнать его, и прежде всего онъ ею меня и поразилъ.

Это было вскорѣ послѣ моего пріѣзда студенчествовать въ Петербургъ. Я имѣлъ уже рекомендательную записочку къ Левитову въ своихъ рукахъ и „горѣлъ нетерпѣніемъ“, какъ говорятъ, повидать своего излюбленнаго автора.

Разыскать Левитова было нелегко; онъ часто мѣнялъ свои „комнаты съ небелью“. Я нашелъ его въ одной изъ такихъ комнатокъ, въ третьемъ этажѣ, на Гончарной улицѣ, среди обиталищъ его излюбленныхъ героевъ: идя по довольно грязной лѣстницѣ, я могъ видѣть направо и налѣво вывѣски сапожниковъ, портныхъ, модныхъ мастерицъ; чуть-ли не въ одной изъ такихъ квартиръ занималъ комнатку или двѣ и А. И. Левитовъ. Обстановка была по-истинѣ бѣдная: 3—4 стула, ломберный столикъ, на которомъ еще стоялъ неубранный самоваръ, кровать и старенькій диванчикъ; на диванчикѣ сидѣла и шила молодая женщина, худая, блѣдная, маленькая брюнетка съ бойкими глазами, — его сожительница, какъ оказалось, тоже вышедшая изъ среды облюбованныхъ имъ“ маленькихъ героевъ“,—а по комнатѣ нервно ходилъ средняго роста, то-

же худой господинъ, съ длинными русыми волосами и маленькой жидкой бородкой, въ коротенькомъ старомъ пиджачкѣ и очкахъ, изъ-за которыхъ лихорадочно свѣтились безпокойные глаза. Это былъ самъ Александръ Ивановичъ: онъ показался мнѣ сердитымъ и я робко передалъ ему письмо.

— Ну, что-же, захотѣли посмотрѣть какіе такіе писатели бываютъ? заговорилъ онъ, прочитавъ письмо.—Ну, хорошо, будемте знакомы... Милости просимъ... Только вѣдь въ насъ завиднаго мало... Сами тоже мечтаете литераторствовать? Не совѣтовалъ бы... Завиднаго мало... Впрочемъ, какъ для кого: разные бываютъ они, т. е. писатели-то, разные... Что-жъ, поди принесли тетрадку, стишки?

Несмотря на сердитый тонъ всей этой реплики, я не могъ не улыбнуться: такъ много искренняго добродушія свѣтилось подъ этой внѣшней суровостью. Тетрадки у меня, къ счастію, не оказалось.

— И тетрадки нѣтъ? какъ будто изумился Ал. Ив.—Ну, такъ нечего дѣлать: будемте такъ бесѣдовать. Охъ ужъ, эти мнѣ начинающіе писатели! И откуда они только берутся! Ну точь въ точь мотыльки на огонь летятъ, такіе же несмысли,—лѣзутъ прямо въ пламя. Свѣтло оно бываетъ—точно, да вѣдь сжется, вѣдь сгорѣть можно, въ одну секунду, такъ что и мокренько не останется... Эхъ! вздохнулъ А. И. и махнулъ рукой:—Ужъ хоть-бы ко мнѣ-то не ходили... Что отъ меня взять? Я вѣдь скучный человѣкъ, очень скучный, предупреждаю. У другихъ тамъ журъ-фиксы и всякое такое благоустроенное развлеченіе, а у меня ничего этого нѣтъ, батенька... Ужъ извините, по-простецки.

Я, конечно, завѣрилъ А. И., что онъ напрасно такъ о себѣ думаетъ, но тѣмъ не менѣе разговоръ у насъ совершенно не клеился. Я чувствовалъ, что А. И. чѣмъ-то сильно разстроенъ, что онъ дѣйствительно поддерживаетъ со мной разговоръ ради только любезности, и я уже готовъ былъ найти предлогъ, чтобы уйти, какъ вдругъ А. И. схватилъ шляпу и сказалъ мнѣ.

— Знаете что̀, батюшка, мнѣ необходимо, до зарѣзу нужно зайти въ одно мѣстечко... Ужъ извините пожалуйста... Я, знаете, одной минуткой... Ну, самое большое—четверть часа. Пожалуйста подождите. Вы вотъ съ нею побесѣдуйте,—показалъ онъ на свою супругу,—она васъ чаемъ угоститъ, а я сію минутку вернусь.

И Алекс. Ив. исчезъ. Супруга его налила мнѣ стаканъ чаю, поговорила со мною тоже ради любезности и наконецъ предложила пока почитать книгу.

Прошло полчаса и я выразилъ предположеніе, что А. И., вѣроятно, долго не придетъ и что я думаю лучше зайти послѣ.

— Да, вѣроятнѣе всего, что не придетъ, замѣтила г-жа Левитова. — Это съ нимъ часто бываетъ... Можетъ быть, встрѣтилъ кого-нибудь. Притомъ-же теперь онъ очень разстроенъ.

Я полюбопытствовалъ—что такое съ нимъ случилось?

— Да ничего особеннаго... Просто—мученикъ онъ. Очень ужъ добросовѣстенъ. Вотъ взялъ авансъ изъ одной редакціи, требуютъ разсказъ, а у него не пишется. Вчера сидѣлъ цѣлую ночь—ничего не выходитъ... Т. е. выходитъ все, другой бы и этимъ былъ очень доволенъ, ну только не онъ.

— Зачѣмъ-же онъ такъ насилуетъ себя?

— Зачѣмъ? Онъ вонъ говоритъ: коли ты писатель, такъ и пиши. Назвался груздемъ—полѣзай въ кузовъ. Ишь какой баринъ! А не хочешь—такъ ступай сапоги шей, мостовую мости. Ну да вѣдь это онъ такъ говоритъ только, а потомъ возьметъ да все и изорветъ, что за вечеръ написано, и мучается. Въ это время съ нимъ лучше ужъ и не говорить. Мнѣ приходилось сознаться, что я давно долженъ былъ бы уйти.

Прошелъ мѣсяцъ, прежде чѣмъ я могъ снова побывать у Левитова.

— А, это вы! встрѣтилъ онъ меня, радушно протягивая мнѣ руки:—Не сердитесь? Нѣтъ, не сердитесь? Ну, спасибо, спасибо за это... Что дѣлать? Простите... Такъ вышло. Встрѣтилъ одного человѣчка, такъ, изъ простячковъ... Ну, заговорились... Ахъ, какой человѣкъ-то!.. Всю душу какъ на блюдечкѣ передо мной выложилъ... Э, батюшка, это не часто бываетъ; дорогое это дѣло. О, какое дорогое! Такъ не разсердились? Ну, я очень радъ... Мнѣ это очень пріятно, что вы не какъ другіе. Ну вотъ теперь садитесь, побесѣдуемте по-просту, по душѣ... Теперь мы уже знаемъ другъ друга—и церемониться намъ нечего...

И дѣйствительно,—ни я, ни онъ не чувствовали теперь ни малѣйшаго стѣсненія. Онъ душевно, по-дружески сталъ спрашивать меня—о моемъ дѣтствѣ, о семьѣ, о раннихъ впечатлѣніяхъ. Пошли воспоминанія; онъ дѣлился своими, разговорился.

— Бѣдпота насъ, батенька, заѣла, бѣдпота и дикость... и еще хамство... Вы вотъ счастливѣе насъ,—говорилъ онъ:—вы уже не увидите того, что мы видѣли. А мы его вѣ какъ произошли, во очію, это хамство-то, и барское хамство, и хамское хамство. Насмотрѣлись всего: своими очами видѣли, своими тѣлесами осязали... Да, и вотъ эта бѣднота-то и заполонила меня себѣ. Родная вѣдь она. Вотъ и теперь опять собираюсь бросить эту квартиришку: переѣду на весну куда-нибудь въ предмѣстье, около заставы... Ахъ, какой тамъ милый народецъ проживаетъ!.. Бо-же мой!.. Ликъ божій, кажись, давно утерялъ, давно ужъ онъ весь отъ жизни измызганъ и заброшенъ за заборъ, какъ бабій истоптанный башмакъ,—а здакъ вотъ проживешь съ нимъ, побесѣдуешь по-душѣ, анъ тамъ, на глуби-то, внутри-то оиа и свѣтится какъ свѣтлячокъ, душа-то божья, и мигаетъ. А кто къ нему подойдетъ, къ этой бѣднотѣ-то, вблизь-то, лицомъ къ лицу, кто это будетъ до души-то этой въ глуби докапываться?.. Никого нѣтъ, голубчикъ, никого. А вѣдь какія силы были!.. Вотъ хоть бы Лермонтовъ... Силища!... А на кого на половину ухлопалъ себя?.. Кавалерство, какъ ржа, заѣло его... Измотался на немъ, измучился... А за что? И на что столько потратилъ своей души, ума?.. Только вы не думайте, что я его не цѣню, во имя тамъ тенденцій какихъ-нибудь... Нѣтъ, нѣтъ! Я этому не сочувствую — отрицать поэзію... Безъ поэзіи—мы нуль, потому что безъ нея нѣтъ жизни... и не понять безъ нея жизни. Поэтому я и говорю, что еслибы съ этимъ поэтическимъ-то чутьемъ, какое было у Лермонтова, да кабы онъ къ этой бѣднотѣ подошелъ (а ужъ онъ пробовалъ вѣдь!),—что-бы онъ тамъ открылъ! А его вонъ въ аналивъ чувствъ княжны Мэри тянуло... А что на счетъ поэзіи,—то сохрани Богъ чураться ея!.. Умная, дѣльная мысль — что говорить: хорошо, и всякую штуку можно изобразить дѣльно и умно, только безъ поэзіи все это мертво будетъ, холодно... да и невѣрно будетъ, навѣрное невѣрно!

Ал. Ив. разговорился. Я, конечно, черезъ двадцать пять лѣтъ не могу ручаться, чтобы онъ именно говорилъ такими словами, но таковъ былъ общій тонъ и содержаніе его рѣчей. Передо мною былъ теперь именно тотъ мягкій, любящій и скорбящій авторъ „Степныхъ очерковъ“, обликъ котораго отразился въ каждой ихъ строчкѣ, который давно уже, только еще смутно, носился передо мною. Мнѣ было какъ-то особенно отрадно слушать его: въ его

рѣчахъ звучало многое изъ того, что давно уже говорило мнѣ собственное сердце.

Я не имѣю намѣренія ни писать біографію А. Ив., ни передавать послѣдовательно все, что мнѣ приходилось узнавать о его жизни или что я могъ наблюдать лично; лица, ближе меня стоявшія къ А. И. и отношенія которыхъ къ нему не прерывались промежутками въ нѣсколько лѣтъ, когда мы не видали другъ друга, лучше меня могутъ освѣтить нужнымъ матеріаломъ его личность со всѣхъ сторонъ. Поэтому я позволю себѣ ограничиться только двумя-тремя моментами изъ времени нашего знакомства, которое собственно и оставило глубокое впечатлѣніе на моей душѣ, и которое, какъ мнѣ кажется, до извѣстной степени характерно вообще для его жизни и личности.

Уже эта первая моя встрѣча съ Ал. Ив. произвела на меня нѣсколько какъ-бы двойственное впечатлѣніе. Съ одной стороны, какъ я говорилъ, мнѣ было чрезвычайно отрадно, что я встрѣтилъ въ немъ именно того, образъ чей какъ-бы полусознательно раньше жилъ въ моей душѣ, когда я читалъ его произведенія, съ другой—мнѣ чувствовалось уже и тогда, какъ эта мягкая поэтическая натура бьется въ жестокихъ сѣтяхъ чего-то страшнаго, разъѣдающаго, какъ ржа, мучительно и неустанно подтачивающаго каждый свободный порывъ мысли и чувства. Счастливъ, конечно, тотъ, кто можетъ созерцать жизнь въ постоянномъ поэтическомъ настроеніи, который можетъ, такъ сказать, безнаказанно парить надъ всѣми жизненными явленіями, лично мало подвергаясь ихъ разлагающему и парализующему воздѣйствію,—но какъ безмѣрно-мучительно творчество для того, кто самъ, всѣмъ своимъ существомъ, не только вмѣстѣ съ своими героями переживаетъ тѣ короткіе моменты поэтическаго тепла и свѣта, которые изрѣдка даритъ имъ жизнь, но и всю ту тьму тьмущую житейскихъ неурядицъ, заботъ и огорченій, передъ которыми моментально исчезаетъ этотъ блеснувшій имъ лучъ свѣта, счастія и поэзіи! Этотъ холодный, разъѣдающій ужасъ жизненныхъ неурядицъ, заботъ и огорченій, охватывающій всю жизнь маленькихъ людей, то приводящій ихъ къ отчаянію или безумному разгулу, то пригнетая ихъ, уродуя и увѣча, былъ тѣмъ демономъ-мучителемъ для Левитова, жертвою котораго онъ сдѣлался на всю жизнь. Едва только его мягкая любящая натура, его чуткое поэтическое чувство отыскивали уго-

локъ средн этой жизни, гдѣ, казалось, можно уже было вздохнуть полною грудью свободнаго человѣческаго существа, когда передъ воспрянувшей мыслью уже готовъ былъ открыться широкій горизонтъ,—какъ вдругъ передъ нимъ являлся этотъ демонъ-мучитель и ехидно шепталъ: „такъ вотъ чего захотѣла твоя „злохудожная душа“? Напрасно, другъ... Тотъ поэтическій лучъ, который ты уловилъ въ жизни твоихъ героевъ,—это только миражъ, греза голоднаго: посмотри — его уже нѣтъ: онъ загрязненъ, искаженъ, отравленъ... Пей эту отраву и ты вмѣстѣ съ ними!“... Левитову приходилось или дѣйствительно пить эту отраву, или умыть отъ нея руки. Онъ предпочелъ первое, да и не могъ бы сдѣлать иначе.

Когда Левитовъ писалъ свои „Степные очерки“, онъ былъ еще и моложе, передъ нимъ носились еще его дѣтскіе годы, полные невинныхъ радостей и впечатлѣній подъ живительнымъ вліяніемъ родныхъ степей; еще въ окружавшей его жизни степняка-крестьянина, какъ ни тяжела была она въ ту пору, поэтическая натура Алекс. Ив. могла еще нерѣдко своимъ поэтическимъ чутьемъ отыскивать тѣ уголки жизни, гдѣ могли бы отдохнуть и напряженное чувство и изстрадавшаяся мысль,—но чѣмъ глубже уходилъ Левитовъ въ современную ему жизнь городского и сельскаго пролетарія, представлявшаго собою удивительно разнообразную смѣсь людей всякаго званія, отъ выброшеннаго на улицу крестьянина и дворовaго до интеллигентнаго разночинца,—тѣмъ мучительный демонъ все больше и больше овладѣвалъ его душою.

Какъ это отзывалось на настроеніи Левитова и даже на самыхъ пріемахъ его писательства,—я могъ случайно видѣть во-очію. Это было уже нѣсколько лѣтъ спустя послѣ моей первой встрѣчи съ Левитовымъ. Однажды я зашелъ къ нему съ однимъ изъ общихъ знакомыхъ. Левитовъ жилъ въ то время, если не ошибаюсь, на Моховой, въ довольно порядочныхъ, сравнительно, меблированныхъ комнатахъ. Онъ встрѣтилъ насъ, какъ казалось, радушно, но нельзя было не замѣтить, что онъ былъ чрезвычайно нервно настроенъ.

Послѣ нѣсколькихъ незначительныхъ фразъ, онъ сказалъ на вопросъ моего спутника:

— Какъ я поживаю, вы спрашиваете? Чортъ возьми, скверно я поживаю... скверно... Вотъ и теперь еще не могу отдѣлаться....

— А что такое?

— Что такое? Да какъ вамъ это разсказать—что это такое!.. Вотъ я попробовалъ было на бумагѣ разсказать, что это такое... Хотите, прочту, такъ, отрывочекъ?.. Вѣдь я все одно—пока не освобожусь отъ этого, не исчерпаю до дна,—все одно буду плохимъ вамъ собесѣдникомъ. Теперь у меня такая ужъ линія.

Мы, конечно, вполнѣ съ нимъ согласились. Александръ Ивановичъ взялъ пачку мелко, но четко, исписанныхъ четвертушекъ.

— Видите-ли, у меня еще нѣтъ этому названія... Это вѣдь такъ только—вступленіе. Думаю я назвать: „Говорящая обезьяна.“ Странно? Да? Можетъ быть, непонятно даже? Ну, да не въ названіи дѣло. Какъ увидите, оно и все какъ будто не въ обычномъ вкусѣ, чертовщинкой отзываетъ...

Александръ Ив. началъ читать четко и внятно.

Это было, дѣйствительно, странное произведеніе, совсѣмъ „не въ обычномъ вкусѣ.“ Самая мысль—воспроизвести бредъ на яву больного, изстрадавшагося, измученнаго и измучившаго себя человѣка, со всѣмъ ужасомъ кошмара и терзающихъ галлюцинацій, но галлюцинацій не фантастическихъ, а полныхъ мельчайшихъ деталей жизненнаго, реальнаго содержанія,—эта мысль поразила насъ смѣлостью и глубиной. Но нужно было видѣть самого автора, чтобы понять, чего ему стоило исполненіе задуманнаго. Иллюзія была до того полная, что намъ дѣйствительно казалось—будто все разсказываемое имъ было не только раньше пережито имъ самимъ, но и переживалось теперь передъ нами въ томъ-же видѣ мучительныхъ галлюцинацій. Чѣмъ дальше читалъ Левитовъ, чѣмъ больше уходилъ онъ въ самую глубь своего произведенія, тѣмъ больше казалось намъ, что созданные имъ образы дѣйствительно обступаютъ его своей терзающей семьей и онъ ведетъ съ ними подлинные разговоры. Вотъ передъ его героемъ сначала, какъ бы въ туманѣ, выступаетъ маленькій—маленькій мальчикъ:—это онъ самъ, въ пору своего невиннаго дѣтства, со всѣми своими невинными радостями. Мальчикъ сначала разсказываетъ ему, съ какимъ радостнымъ чувствомъ готовъ онъ былъ вступить въ Божій міръ, какъ сначала показалось ему, что все окружающее—и чудная природа, и люди—готово было, казалось, принять его любовно и тепло,—но... это было мгновеніе, и не успѣли еще появиться въ его душѣ первые проблески сознанія, какъ уже демонъ лжи и страданія капля за каплей началъ отравлять младенческую душу. Вотъ онъ—отрокъ.

Въ его душѣ пробуждается „божія искра“; онъ смутно чувствуетъ ея разгорающееся пламя; она инстинктивно влечетъ его къ возвышеннымъ порывамъ; она заставляетъ его искать сочувствующую душу, которая оберегла бы ее отъ холода и мрака, окружила бы тепломъ и свѣтомъ, раздула бы искру въ пламя дуновеніемъ любви и участія,—но... но вмѣсто этого мертвящій холодъ рутины, затаенная, непостижимая вражда къ молодой душѣ тѣхъ, въ которыхъ она должна бы найти своихъ руководителей и просвѣтителей.—„А—а, мальчикъ! Ты вотъ о чемъ думалъ? Ты вотъ чего хотѣлъ? ха, ха, ха! Нѣтъ, голубчикъ, погоди. Мы тебѣ покажемъ, милый мальчикъ, какова она такая штука—жизнь“. И дикій холодный хохотъ чьихъ-то злорадныхъ тѣней терзаетъ душу ребенка, наполняя ее тяжкими предчувствіями, сковывая только что распускающіяся чувства и мысль... Вотъ передъ нимъ является юноша. „А—а, мальчикъ уже выросъ!.. Ну, посмотримъ, что ты скажешь!..“ Вотъ юные порывы къ свѣту, знанію, правдѣ... первыя мечты... И опять отрава, опять терзанія вплоть до этихъ галлюцинацій.

Все это былъ почти еще сырой матеріалъ, набросанный отрывками. Читая, Ал. Ив. часто дополнялъ многое своими словами, часто вставлялъ цѣлыя новыя сцены, которыя рождались въ его фантазіи тутъ-же, во время чтенія. Когда онъ кончилъ, онъ былъ блѣденъ, рукопись дрожала въ рукахъ, глаза были полны слезъ.

— Все это, какъ видите, еще отрывки, замѣтилъ Ал. Ив.— Но мнѣ тяжело приступать къ обработкѣ этой вещи... Я боюсь самъ ея.—Надо вонъ отсюда... мнѣ такъ и кажется, что изо всѣхъ угловъ и стѣнъ, отовсюду глядятъ эти тѣни и хохочутъ надо мной душу раздирающимъ смѣхомъ.

Разсказъ этотъ такъ и остался недоконченнымъ. Появились лишь отрывки изъ него подъ разными названіями.

Такъ дорого иногда стоили Левитову его произведенія, и понятно, что ему дѣйствительно было тяжело писать эту вещь, а тѣмъ болѣе врядъ-ли бы онъ могъ безстрастно и спокойно обработать ее.

Я долго не могъ отрѣшиться отъ тяжелаго впечатлѣнія какъ отъ этого разсказа, такъ и отъ тѣхъ истинныхъ „мукъ творчества“, которыя терзали Левитова. И это было тѣмъ тяжелѣе, что по нѣкоторымъ намекамъ въ послѣдующихъ нашихъ разговорахъ

ему какъ-будто хотѣлось выбиться изъ подъ гнета этой юдоли горя и скорби, подняться надъ нею, по-веселѣе и пошире взглянуть въ лицо жизни, отдаться вновь тому юношескому размаху поэтическаго чувства, которымъ такъ богата была его натура. Недаромъ онъ любилъ и Пушкина, и Гоголя, зачитывался „Войною и миромъ“ Льва Толстого. Онъ, можетъ быть, больше чѣмъ кто-нибудь другой, зналъ и чувствовалъ, что русскій народъ,— какъ бы ни была велика его страда, — былъ могучій, исторический народъ, создавшій великое государство, взростившій и воспитавшій въ себѣ ту „душу живую“, которая, лишь только касался ея свѣтъ свободы и духовнаго развитія, — являла міру высокіе образцы ума, таланта, самоотреченія и подвига. Но было уже поздно: „маленькій человѣкъ“ съ его горемъ и демономъ— мучителемъ крѣпко на крѣпко заполонилъ себѣ Левитова; онъ выпилъ весь сокъ его нервовъ, истерзавъ муками непрестаннаго душевнаго безпокойства и заставивъ выпить всю ту чашу бѣдности и безпріютности, въ которой погибалъ самъ. Левитовъ былъ истиннымъ поэтомъ нашего пролетарія, „поэтомъ горя селъ, дорогъ и городовъ“, сумѣвъ не только проанализировать это горе, но и согрѣть мягкимъ поэтическимъ чувствомъ, несмотря на всѣ тяготы переживаемыхъ ощущеній. Нѣкоторые справедливо замѣчали, что въ его произведеніяхъ чувствуется что-то диккенсовское.

А какъ онъ безвременно погибалъ, мнѣ, къ моему великому горю, пришлось видѣть довольно близко. Года черезъ два-три послѣ описанной мною встрѣчи съ Ал. И—чемъ, я увидался съ нимъ уже въ Москвѣ, гдѣ я временно проживалъ въ то время и куда переѣхалъ было на житье и Левитовъ. Я жилъ тогда въ одной изъ такихъ-же мансардъ, въ которыхъ всю жизнь провелъ Левитовъ. Сюда-то онъ ко мнѣ и заявился. Я былъ сначала чрезвычайно изумленъ, когда ко мнѣ вошелъ въ номеръ Ал. Ив., весь сіяющій, веселый, предовольный.

— Вотъ и я перебрался въ Москву! вскричалъ онъ:—Я, знаете, ее больше люблю, чѣмъ другіе города... Можетъ быть, первыя впечатлѣнія остались въ душѣ... Здѣсь вѣдь меня въ литературу крестили... Вотъ и теперь, поздравьте:—здѣсь у меня уже есть перспектива съ!.. Не догадываетесь въ чемъ дѣло? Знаете N? издателя иллюстрированнаго журнала? Ну такъ вотъ, захожу къ нему (признаться,— за авансомъ), а онъ мнѣ сразу: „Да, Александръ

Ивановичъ! А мы васъ-то и ждали! Не хотите-ли взять у насъ редакторство?" А? Каково? Вотъ, говоритъ, только жена пріѣдетъ— вы съ нею познакомитесь, переговорите обо всемъ, и дѣло будетъ въ шляпѣ. Вѣдь она главнымъ образомъ хозяйствуетъ, такъ сказать оффиціальная представительница..." Какова перспектива то, батенька? А? Нѣтъ, вы то подумайте,—свое дѣло, литературное, обезпеченъ буду хоть на мѣсяцъ въ нѣкоторомъ опредѣленномъ смыслѣ, вздохъ будетъ... Да что тутъ говорить!"...

И Ал. Ив. былъ счастливъ и доволенъ какъ ребенокъ... Онъ шутилъ надо мною съ женой, произносилъ юмористическіе тосты въ честь нашего „медоваго мѣсяца" (мы только что незадолго повѣнчались), трунилъ надъ слугой въ засаленномъ фракѣ, желавшимъ изобразить изъ себя самаго галантнаго человѣка или „самоновѣйшаго хама", по выраженію Ал. Ив—ча. Но все это его веселье было какое-то подозрительное, чувствовалось въ немъ что-то зловѣщее. Не прошло и часа, какъ вдругъ Ал. Ив. закашлялъ страшнымъ, убійственнымъ кашлемъ. Онъ кашлялъ долго и мучительно, до рвоты, до полнаго истощенія силъ, такъ что мы должны были съ женой уложить его въ постель. Только теперь мы замѣтили, какъ онъ, несмотря на свои 50 лѣтъ, былъ малъ, худъ и безсиленъ. По истинѣ трудно было и представить, какъ еще въ немъ бодрствовалъ духъ. Отдышавшись немного и отдохнувъ, Ал. Ив. уже совсѣмъ не былъ похожъ на того, какимъ онъ явился. Онъ всталъ мрачный и подавленный, и глубокою грустью звучали его слова.

— Вотъ и вы начали ужъ хворать,—говорилъ онъ мнѣ:—Ахъ, не хорошо какъ это, не хорошо... И вы, барынька, то-же не ахти здоровьемъ-то... А жизнь тяжела, страшна... Впрочемъ, простите, добрые мои, что я васъ пугаю... Будьте счастливы, хотя минутку счастливы въ жизни. Помогайте другъ другу... Это главное... А то, мы безъ помощи другъ другу,—ахъ, тяжело!... Ну, прощайте, буду ждать васъ къ себѣ.

Черезъ нѣсколько дней мы съ женой розыскали Ал. Ив. опять въ излюбленныхъ имъ „комнатахъ съ небилью", но, кажется, еще онъ никогда не занималъ такихъ скверныхъ изъ всѣхъ меблированныхъ комнатъ. На дворѣ стоялъ морозъ. Сильный вѣтеръ пронималъ до мозга костей. Уже входя въ вонючій и холодный корридоръ номеровъ, можно было замѣтить, что тутъ не осо-

бенно балуютъ жильцовъ, надѣясь на ихъ испытанное терпѣніе. Когда мы вошли въ крохотный номерокъ, на насъ пахнуло той зловѣщей холодной сыростью, которая свойственна такимъ номерамъ. И самъ Ал. Ив., и его жена были въ теплыхъ пальто и чуть-ли не въ калошахъ.

— Не раздѣвайтесь лучше! закричалъ Ал. Ив., увидавъ насъ:— входите прямо. Чортъ знаетъ, должно быть, не топятъ, хамы! А вѣдь на улицѣ-то, говорятъ, что дѣлается: свѣтопреставленіе! Ну, садитесь... А я вотъ сейчасъ,—только десятокъ строкъ осталось... А ты, Надя, тамъ скажи самоварчикъ, да печку-бы растопить... Вотъ какъ мы разопьемъ горяченькаго—оно и потеплѣе будетъ!

Ал. Ив. усѣлся съ ногами на диванъ и сталъ просматривать корректуру своего разсказа. Десять строчекъ, оказалось, стоили недешево для Ал. Ив.

— Это ужасъ, что они со мною дѣлаютъ! Да кто ему позволилъ издѣваться надо мной! горячился Ал. Ив., выходя изъ себя и съ ожесточеніемъ черкая строки:—Да какъ онъ смѣетъ кощунствовать!.. Понимаетъ-ли онъ, что вѣдь каждая строка мною взвѣшена и умомъ, и чувствомъ, каналья эдакая! Вѣдь это то-же, что музыка... А онъ, изволите видѣть, всѣ слова у меня и переставилъ. Всѣ, всѣ! Не понравилось, видите-ли, ему: не по канцелярскому жаргону пишу!.. Ахъ, каналья, ахъ, каналья!..

У Ал. Ив. выступилъ на лбу потъ, онъ кашлялъ, задыхался и выходилъ изъ себя.

Какъ извѣстно, Левитовъ въ большинствѣ случаевъ писалъ особымъ, выработаннымъ имъ, пѣвучимъ, гармоническимъ стилемъ и потому дорожилъ не только каждымъ словомъ, которое ему казалось въ данномъ случаѣ наиболѣе умѣстнымъ, но даже и разстановкой ихъ. Понятно было его озлобленіе противъ невѣжественнаго редактора, вздумавшаго исправлять его слогъ,

— Ну, что-же, Надя, самоварчикъ? крикнулъ Александръ Ивановичъ:—холодно!

— Александръ Ивановичъ! Поди-ка сюда,—вмѣсто отвѣта позвала его изъ-за ширмочекъ супруга. И вотъ за этими ширмочками послышался тотъ зловѣщій шепотъ между хозяевами, который нерѣдко приходится слышать у бѣдныхъ жильцовъ „комнатъ съ небелью“ ихъ не во время навѣстившимъ гостямъ.

— Это невозможно! вскрикнулъ Александръ Ивановичъ — Да вѣдь здѣсъ, наконецъ, издохнуть можно! Ахъ, хамы, хамы!

И онъ, хлопнувъ дверью, быстро исчезъ въ корридоръ.

— Нѣтъ, этакъ невозможно дальше! Они даже не хотятъ топить печи, хамы! волновался, возвратившись, Александръ Ивановичъ, разстроенный, задыхающійся, съ выступившими багровыми пятнами на лицѣ.

Мы спросили его, не можемъ-ли быть хоть чѣмъ-нибудь ему полезны.

— Нѣтъ, нѣтъ... Это всѐ устроится. Сейчасъ будетъ самоварчикъ... Мы побесѣдуемъ. Надо будетъ вотъ только сегодня-же кончить эту вещь. Не знаю только—отпуститъ-ли кашель... А они безъ рукописи ничего больше не даютъ, канальскія дѣти,—намекалъ онъ на издателя.

— А знаете, на счетъ редакторства-то, что я вамъ говорилъ? Какъ вы думаете—чѣмъ кончилось?.. Вотъ такъ это штука! Пріѣхала, видите-ли, *сама*, ну, меня представили... Восторгъ! Умиленіе! „Ахъ, какое это намъ счастіе; мы всѣ вмѣстѣ будемъ служить одному дѣлу“ и пр. и пр. въ такомъ возвышенномъ родѣ.— Пожалуйста, переселяйтесь завтра-же. „Сударыня, говорю,—очень радъ служить: но чѣмъ? Какія т. е. мои права и обязанности будутъ?“—Какъ какія? Вы просто будете при насъ... такъ сказать, у самаго дѣла... Ну, поможете мужу просматривать корректуры, исправите слогъ... Мой мужъ большой лѣнтяй... Непривычка, конечно, а всякое дѣло мастера боится... Мы надѣемся, что это васъ оживитъ, возбудитъ ваше вдохновеніе, и вы будете писать, писать, писать!.. Будетъ вамъ бродяжить! Вы будете имѣть готовый столъ и миленькую маленькую комнатку при редакціи, въ хорошемъ семействѣ!.. Конечно, построчный гонораръ вы будете получать по-прежнему... Ваши вдохновенія останутся неприкосновенны; будьте увѣрены—мы умѣемъ оцѣнить“... Сударыня, говорю я, прижимая руку къ сердцу:—отъ всей души признателенъ вамъ за участіе къ бѣдному русскому писателю, но, увы! по склонности къ бродяжеству и неблагонамѣренному направленію мыслей не рискую обезпокоить своимъ присутствіемъ столь почтеннаго семейства... Ахъ, хамы! хамы! заключилъ Алек. Ив.—Нѣтъ, каковы перспективы-то: столъ и маленькая комнатка въ хорошемъ семействѣ, за обученіе супруга литературнымъ упражненіямъ!

Александръ Ивановичъ еще продолжалъ острить надъ „перспективами“, но мы скоро распрощались, подавленные гнетущими впечатлѣніями.

Къ сожалѣнію, я самъ тогда былъ боленъ и едва въ состояніи былъ выходить изъ квартиры, и потому не могъ часто навѣщать Левитова. Черезъ недѣлю послѣ этого рокового дня, я получаю отъ него маленькую записку такого содержанія: „дорогой Н. Н. поздравьте меня: я наконецъ въ самомъ центрѣ самаго лучшаго тепла и какой-то милой безмолвной тишины, т. е. въ клиникѣ, въ 13 палатѣ. на Рождественкѣ“. Затѣмъ шла просьба о кое-какихъ порученіяхъ. Врядъ-ли кто-либо изъ русскихъ писателей написалъ когда-нибудь самому себѣ болѣе характерную эпитафію, какъ эти немногія строки, проникнутыя такою наивною искренностію и въ то-же время такой грустной ироніей!..

Послѣдній день нашего свиданія былъ дѣйствительно роковымъ днемъ для Левитова. По уходѣ насъ, Левитовъ не выдержалъ и, раздраженный, въ холодномъ пальтишкѣ и пледѣ, несмотря на суровую вьюгу, потащился на „ванькѣ“ въ редакцію. Въ результатѣ получилось, какъ говорили, счетомъ пять рублей въ рукахъ и воспаленіе въ давно уже никуда негодныхъ легкихъ.

Вскорѣ я долженъ былъ уѣхать изъ Москвы и уже въ провинціи черезъ нѣсколько недѣль получилъ извѣстіе о смерти Александра Ивановича.

Н. Златовратскій.

Къ вопросу о второмъ томѣ „Мертвыхъ Душъ“.

Исторія второго тома „Мертвыхъ Душъ“ является самымъ труднымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и весьма любопытнымъ вопросомъ при изученіи творчества Гоголя. Трудъ остался недовершеннымъ и далеко не все сохранилось даже изъ того, что̀ было уже написано и обработано авторомъ; тѣмъ менѣе можно дѣлать увѣренныя заключенія о дальнѣйшемъ, *предположенномъ*, содержаніи конца второго и обо всемъ третьемъ томѣ „Мертвыхъ Душъ“, такъ какъ здѣсь мы имѣемъ дѣло съ тѣмъ, что̀ было и осталось тайной для самого автора. Благодаря всему этому многое въ „Мертвыхъ Душахъ“ будетъ представлять, конечно, вѣчную загадку. Намъ кажется, однако, не лишнимъ указать нѣсколько новыхъ соображеній, на которыя можетъ навести внимательное изученіе дошедшихъ до насъ обломковъ знаменитой поэмы.

Чтобы облегчить себѣ разборъ второго тома „Мертвыхъ Душъ“, бросимъ сперва взглядъ на особенности, отличающія его отъ перваго тома.

Прежде всего, какъ извѣстно, содержанію второго тома даетъ особую окраску проникающая его тенденція въ духѣ позднѣйшихъ взглядовъ Гоголя: тогда какъ въ первомъ томѣ передъ нашими глазами поочередно проходятъ заботливые и безпечные помѣщики-хозяева, опытные и неумѣлые,—во второмъ каждый изъ нихъ изображается сверхъ того искуснымъ или неискуснымъ не только въ хозяйствѣ, но и въ *наукѣ жизни*“ (причемъ обыкновенно по мѣрѣ усиленія тенденціи блѣднѣютъ художественныя достоинства и краски

произведенія). Эта теорія всецѣло переноситъ насъ въ новую стадію гоголевскаго творчества; она сильно напоминаетъ „Переписку съ друзьями“, сочиненіе, порожденное, очевидно, болѣзненнымъ настроеніемъ и узкимъ взглядомъ на жизнь, получившими здѣсь блѣдное выраженіе въ эпизодѣ объ Александрѣ Петровичѣ, который именно и является однимъ изъ „учителей жизни“. Г. Чижовъ въ своей статьѣ „Послѣдніе годы Гоголя“ справедливо замѣчаетъ: „Эта наука жизни—очевидно, та самая наука, которая преподана Гоголемъ въ его „Перепискѣ“, и учила сочетать искусство практической наживы съ бездѣятельностью мысли, подчиняющейся внѣшнему авторитету“. [1]) Желая теперь изобразить идеальныхъ людей вродѣ Костанжогло, Гоголь ставитъ на противоположной сторонѣ уже не распущенныхъ мечтателей или кутилъ, противопоставленныхъ въ первомъ томѣ помѣщикамъ-скопидомамъ,—но временно опустившихся слабовольныхъ людей, способныхъ возродиться къ иной, лучшей жизни. Такимъ образомъ съ матеріальной почвы дѣло переносится на почву нравственную.

Затѣмъ мѣстами проглядываетъ другая тенденція—поставить выше теоретическаго образованія практическое познаніе русскаго человѣка. Для Гоголя всегда огромное значеніе имѣлъ вопросъ о разумномъ и ложномъ воспитаніи, самымъ кореннымъ образомъ связанный, по его убѣжденію, съ правильнымъ руководствомъ національныхъ особенностей воспитанниковъ. Такъ и въ каждомъ изъ изображенныхъ имъ во второмъ томѣ безпутныхъ людей таятся болѣе или менѣе богатыя силы, принадлежащія вообще русскому народу, но часто пропадающія отъ недостатка хорошо направленной воспитаніемъ собственной воли и отсутствія энергичнаго посторонняго вліянія. На Хлобуевѣ Гоголь особенно хотѣлъ дать почувствовать читателямъ, какъ много хорошихъ русскихъ силъ гибнетъ отъ вялаго и соннаго отношенія къ жизни. Хлобуевъ далеко не лишенъ привлекательныхъ нравственныхъ задатковъ, а мѣстами положительно располагаетъ къ себѣ своей честностью и необыкновенной добротой. Онъ превосходно понимаетъ чужіе недостатки и обнаруживаетъ вообще большую остроту и мѣткость сужденія, но становится способнымъ на что-нибудь полезное только послѣ того, какъ Муразовъ отыскалъ и указалъ ему занятіе. На новомъ пути онъ

[1]) „Вѣстникъ Европы“, 1872, VII, стр. 433.

проявить уже на дѣлѣ свои недюжинныя способности и чудную душу; пока, въ переходномъ фазисѣ его духовнаго развитія, Гоголь заставляетъ его читать въ тяжелыя минуты „житія страдальцевъ и тружениковъ, воспитавшихъ духъ свой превыше страданій и несчастій".

Съ другой стороны при изображеніи Костанжогло Гоголь руководился своимъ всегдашнимъ убѣжденіемъ въ преимуществахъ близкой къ природѣ сельской жизни передъ искусственной, городской. Извѣстно, что лично о себѣ Гоголь сознавалъ и не разъ высказывалъ, что онъ не рожденъ быть помѣщикомъ и хозяиномъ; [1]) но это не мѣшало ему всегда высоко ставить занятія сельскимъ хозяйствомъ. Еще въ 1829 г. онъ писалъ матери: „Что́ за счастье дослужиться въ пятьдесятъ лѣтъ до какого-нибудь статскаго совѣтника, пользоваться жалованьемъ, едва стоющимъ себя содержать прилично, и не имѣть силы принести на копѣйку добра человѣчеству! Смѣшны мнѣ очень петербургскіе молодые люди: они безпрестанно кричатъ, что они служатъ совершенно не для чиновъ и не для того, чтобы выслужиться. Спросите же только ихъ, для чего они служатъ,—они не будутъ сами въ состояніи сказать: такъ, для того, чтобы не сидѣть дома и не бить баклуши. *Еще глупѣе тѣ, которые оставляютъ отдаленныя провинціи, гдѣ имѣютъ помѣстья, гдѣ могли бы быть хорошими хозяевами и принести несравненно больше пользы*, или, если уже дворянину непремѣнно нужно служить, служили бы въ своихъ провинціяхъ: такъ нѣтъ! Надо потаскаться въ Петербургѣ, гдѣ мало того, что ничего не получатъ, но сколько еще перетаскаютъ денегъ изъ дому, которыя здѣсь истребляются непримѣтно въ большомъ количествѣ". [2]) Косвеннымъ образомъ Гоголь высказалъ или подразумѣвалъ ту же самую мысль о преимуществахъ скромныхъ, но полезныхъ занятій сельскимъ хозяйствомъ передъ пустой свѣтской жизнью и въ извѣстномъ небольшомъ лирическомъ отступленіи при сравненіи Коробочки съ ея сестрой—аристократкой. Но всего опредѣленнѣе онъ высказалъ этотъ взглядъ однажды въ письмѣ къ матери, гдѣ онъ прямо говорилъ, что умѣть хорошо управлять имѣніемъ „важнѣе всѣхъ прочихъ знаній, которыя обыкновенно служатъ только для гости-

[1]) „Сочиненія и письма Гоголя", т. V, стр. 362—363.
[2]) Отрывокъ изъ письма къ матери отъ 24 іюля 1829 г., еще не бывшій въ печати.

ныхъ и для наружнаго блеска". [1]) Наконецъ въ 1841 г. Гоголь писалъ своему другу Данилевскому: „оглянись вокругъ себя и протри глаза. Неужели до сихъ поръ не видишь ты, во сколько разъ кругъ дѣйствія въ Семеренькахъ можетъ быть выше всякой должности и ничтожно видной жизни, со всѣми удобствами и блестящими комфортами! Неужели до сихъ поръ ни разу не пришло тебѣ въ умъ, что у тебя цѣлая область въ управленіи, что здѣсь, имѣя одну только крупицу, ничтожную крупицу ума и сколько-нибудь занявшись, можно произвести много для себя внѣшняго и еще болѣе для себя внутренняго". [2]) Въ поэмѣ тѣ же мысли приписываются Тентентикову: „Я помѣщикъ; званье это не бездѣльно. Если я позабочусь о сохраненіи, сбереженіи и улучшеніи ввѣренныхъ мнѣ людей, чѣмъ моя служба будетъ хуже службы какого-нибудь начальника отдѣленія?" [3]) Но то, что не удалось осуществить неумѣлому Тентетникову, пришлось, какъ извѣстно, по силамъ и составило задачу жизни Костанжогло...

Кажется, женитьба на Уленькѣ и возвращеніе къ дѣятельной жизни должны были произвести въ томъ же благотворномъ направленіи переворотъ и въ Тентетниковѣ. Но уже, безъ всякаго сомнѣнія, мы замѣчаемъ существенную разницу въ отношеніи самого героя поэмы: во второмъ томѣ онъ все больше склоняется къ мысли сдѣлаться уже не фиктивнымъ, а настоящимъ помѣщикомъ, и постепенно начинаетъ входить во вкусъ деревенской жизни. Это проходитъ красной нитью черезъ весь второй томъ. Авторъ какъ будто постепенно подготовляетъ, на протяженіи всего тома, нравственное возрожденіе Чичикова, которое должно было дать содержаніе послѣдней части произведенія, гдѣ бывшему покупщику мертвыхъ душъ предстояло отрѣшиться отъ ложныхъ приманокъ искусственной жизни и предаться наслажденію уже честнымъ трудомъ въ собственной деревнѣ. Во второмъ томѣ начинаетъ замѣтно обозначаться это новое настроеніе Чичикова, усиленіе котораго каждый разъ сопровождается искреннимъ желаніемъ его исправиться и возродиться къ новой жизни, тогда какъ наоборотъ, во всѣхъ случаяхъ, когда добрые инстинкты снова за-

[1]) Соч. и письма Гоголя, т. V, стр. 429.
[2]) Тамъ же, стр. 447—448.
[3]) Соч. Гоголя, изд. X, т. III, стр. 290.

глушаются въ немъ дурными, деревня и мирная жизнь начинаютъ рисоваться Чичикову блѣднѣе.

Въ связи съ указаннымъ находится и еще одно важное различіе между первымъ и вторымъ томомъ „Мертвыхъ Душъ“: въ послѣднемъ изображеніе главнаго героя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, уступая побочнымъ тенденціознымъ цѣлямъ автора, отодвигается уже на менѣе видный планъ, а вмѣстѣ съ нимъ—и мертвыя души, которыя являются здѣсь на сцену значительно рѣже. Въ противоположность первому тому, гдѣ Чичиковъ постоянно находится въ дорогѣ, а жизнь помѣщиковъ и чиновниковъ изображается ровно настолько, насколько она раскрывалась наблюдательному взору героя,—во второмъ авторъ гораздо подробнѣе и обстоятельнѣе вводитъ насъ въ сферу внутренней жизни каждаго новаго лица, описывая, независимо отъ впечатлѣній героя, предшествующую жизнь помѣщиковъ, ихъ привычки и знакомства. Мѣсто дѣловыхъ разговоровъ о мертвыхъ душахъ заступаютъ здѣсь простыя застольныя бесѣды, очень живыя и любопытныя, но уже не всегда имѣющія прямое отношеніе къ основной темѣ произведенія. Кромѣ того, вообще говоря, во второмъ томѣ уже не столько изображаются измѣнчивыя дорожныя впечатлѣнія, сколько мирныя и опредѣленныя картины деревенской жизни, выступающія здѣсь впервые на самый видный планъ, тогда какъ въ первомъ томѣ преимущественно описываются или дорога, или торгъ мертвыми душами, или же городъ и его чиновники, его мужское и дамское общество. Въ первомъ томѣ маршруты Чичикова опредѣляются обыкновенно заранѣе намѣченной цѣлью и сдѣланными во городѣ знакомствами, а также отчасти случайными причинами; во второмъ—случайныя обстоятельства играютъ уже главную роль, и притомъ разсказъ вездѣ расположенъ такъ, что каждая поѣздка Чичикова раскрываетъ передъ читателемъ взаимныя отношенія нѣсколькихъ лицъ, вводя его постоянно въ новую небольшую группу помѣщиковъ, связанныхъ между собою знакомствомъ, родствомъ или дружбой. Дальнѣйшій путь обыкновенно обусловливается какой-нибудь случайной встрѣчей или неожиданнымъ поводомъ въ разговорѣ къ новой поѣздкѣ. Это мы видимъ съ самаго начала второго тома, который, какъ извѣстно, въ виду естественныхъ художественныхъ соображеній, требовавшихъ разнообразія повѣствовательныхъ пріемовъ, открывается описаніемъ усадьбы Тентетникова, а потомъ уже от-

ношенія къ Тентетникову вовлекаютъ Чичикова въ цѣлый рядъ новыхъ знакомствъ. Въ предыдущей части разсказъ всюду сопровождалъ Чичикова и постоянно слѣдилъ за его разъѣздами по губерніи; здѣсь сначала изображено новое поприще его дѣятельности, его будущее мѣстопребываніе въ теченіе почти цѣлой весны, и затѣмъ уже является вторично на сцену самый герой.

Если въ первомъ томѣ мы постоянно видимъ Чичикова *въ дорогѣ, въ движеніи*, то во второмъ—этотъ пріемъ изображенія удержанъ лишь въ самой ограниченной степени, и притомъ тамъ, гдѣ онъ сохраненъ, повторяются всѣ извѣстныя намъ особенности перваго тома, отчасти даже въ параллельной послѣдовательности: сперва поѣздка къ Тентетникову; затѣмъ какъ въ первомъ томѣ—къ Манилову, такъ здѣсь отъ Тентетникова къ Бетрищеву: далѣе—по ошибкѣ кучера—Чичиковъ попадаетъ отъ Бетрищева къ Пѣтуху, какъ прежде отъ Манилова къ Коробочкѣ; потомъ слѣдуетъ случайная встрѣча съ Платоновымъ, какъ прежде съ Ноздревымъ, и проч. Кромѣ того, какъ вѣрно замѣтилъ еще въ пятидесятыхъ годахъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ Н. Д. Мизко, дѣйствующія лица второго тома „по творческому замыслу равносильны глубокимъ типамъ первой части, съ которыми имѣютъ даже кровное родство; такъ Тентетниковъ напоминаетъ Манилова, Платоновъ Межуева, равно какъ Пѣтухъ—Собакевича, Хлобуевъ—Ноздрева“.

Наконецъ, какъ мы упоминали, Гоголь вездѣ во второмъ томѣ ставитъ практическую науку жизни выше теоретическаго образованія. Послѣднее клеймится имъ, гдѣ только можно: оно выставляется на позоръ въ извѣстномъ карикатурномъ намекѣ на Грановскаго, но особенно въ совершенно неестественномъ и ярко тенденціозномъ изображеніи Кошкарева. Это можно видѣть особенно въ преднамѣренномъ контрастѣ при изображеніи взглядовъ на народное образованіе и на науку у Костанжогло и Кошкарева; послѣдній полагаетъ, напримѣръ, что для того, чтобы „бороться съ невѣжествомъ русскаго мужика, нужно одѣть его въ нѣмецкіе штаны и заставить почувствовать, хотя сколько-нибудь, высшее достоинство человѣка [1])“; онъ жалуется, что бабъ, несмотря на всѣ усилія, онъ до сихъ поръ не могъ заставить надѣть корсетъ, тогда

[1]) Соч. Гог., изд. X, т. III, стр. 341.

какъ въ Германіи, гдѣ онъ стоялъ съ полкомъ въ 14-мъ году, дочь мельника умѣла даже играть на фортепіано, говорила по-французски и дѣлала книксены [1]). Очевидно, изображеніе карикатурныхъ требованій университетскаго образованія отъ простого писаря, и особенно нелѣпаго пристрастія Кошкарева къ бумажному производству не достигаетъ цѣли, потому что Кошкаревъ не можетъ быть разсматриваемъ какъ типъ; это просто психопатъ—и ничего больше. Рисовать такія уродливыя личности можно только ради какой-нибудь задней цѣли. Важно здѣсь, что Гоголь хотѣлъ изобразить Кошкарева человѣкомъ слѣдящимъ, или, по меньшей мѣрѣ, имѣющимъ претензію слѣдить за наукой, и смѣшнымъ выставляется уже не только самъ Кошкаревъ, но также и тѣ книги въ его библіотекѣ, которыя носятъ такія чудовищныя заглавія, какъ напр. „Предуготовительное вступленіе къ теоріи мышленія въ ихъ общности, совокупности и въ примѣненіи къ уразумѣнію органическихъ началъ обоюднаго раздвоенья общественной производительности [2])“—гдѣ встрѣчаются на каждомъ шагу такія слова, какъ развитіе, абстракція, замкнутость, сомкнутость и чортъ знаетъ что такое“. Здѣсь ясно проглядываетъ затаенная мысль, что не только книги были выбраны неудачно или что хозяинъ не умѣлъ ими пользоваться, но и что вообще Кошкаревъ хватилъ черезчуръ, выписывая „книги по всѣмъ частямъ: по части лѣсоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства, тысячи всякихъ журналовъ, представлявшихъ самыя позднѣйшія развитія и усовершенствованія по коннозаводству и естественнымъ наукамъ“. Напротивъ, Констанжогло, учившійся, пособственному сознанію, на мѣдныя деньги, совершаетъ якобы чудеса безъ помощи наукъ и является какимъ-то чудомъ—„всезнаемъ“—лишь по одной рутинной практикѣ. Важно наконецъ, что устами Костанжогло авторъ негодуетъ противъ того, что люди, подобные Кошкареву, „завели конторы и присутствія, и управителей, и мануфактуры, и фабрики, и школы, и коммисію, и чортъ ихъ знаетъ что такое [3])“. Всѣхъ людей, заботящихся о народномъ образованіи и развитіи фабрикъ и мануфактуръ, Гоголь признаетъ одинаково Донъ Кихотами. „А вотъ другой Донъ Кихотъ просвѣщенія завелъ школы [4])“.

[1]) Тамъ-же.
[2]) Тамъ-же, стр. 344.
[3]) Тамъ же, стр. 346.
[4]) Тамъ же, стр. 348.

Здѣсь особенно наглядно сказалось вредное вліяніе идей „Переписки съ друзьями“ на творчество Гоголя, причемъ, конечно, всего прискорбнѣе не ошибочные взгляды его, но пренебреженіе ради нихъ художественной правдой. „Учить мужика грамотѣ затѣмъ, чтобы доставить ему возможность читать пустыя книжонки, которыя издаютъ для народа европейскіе человѣколюбцы, есть дѣйствительно вздоръ [1])“, говоритъ онъ уже прямо отъ своего лица въ „Перепискѣ съ друзьями“. Размышленіе же Чичикова о томъ, что у мужика нѣтъ времени для чтенія, вложено имъ въ уста Чичикова: „ну, врядъ ли выберется такое время. Вотъ я выучился грамотѣ, а графиня Лавальеръ до сихъ поръ еще не прочитана“. Гоголь явно иронизируетъ также надъ желаніемъ Кошкарева, „чтобы крестьянинъ могъ читать книгу о громовыхъ отводахъ“. И такъ уже съ третьей главы начинаютъ сильно бить въ глаза фальшивыя тенденціи и пренебреженіе ради нихъ художественной правдой.

II.

Перейдемъ къ обзору частностей.

Изображеніе прошлой жизни Тентетникова въ первой главѣ вышло у Гоголя несоразмѣрно велико, что вовсе не оправдывается ни значеніемъ этой личности въ романѣ, ни общими требованіями плана. Такимъ образомъ мы встрѣчаемъ уже на первыхъ страницахъ тѣ недостатки, въ отношеніи художественнаго распредѣленія частей, которые не могли остаться незамѣченными авторомъ, не совсѣмъ безъ основанія признавшимся даже о первомъ томѣ, что „послѣдняя половина книги обработана меньше первой, что въ ней великіе пропуски, что главныя и важныя обстоятельства сжаты и сокращены, что не столько выступаетъ внутренній духъ всего сочиненія, сколько мечется въ глаза пестрота частей и лоскутность его“. Въ виду установленнаго факта позднѣйшаго внесенія въ первую главу всего отдѣла о воспитаніи Тентетникова слѣдуетъ предположить, что новая тенденціозная вставка скорѣе нарушила художественную гармонію цѣлаго и ослабила его достоинства, нежели

---

[1]) Тамъ же, IV, стр. 121.

способствовала болѣе совершенной обработкѣ поэмы. Но проповѣдническія стремленія автора стали брать уже сильный перевѣсъ надъ его художественнымъ тактомъ. Прежде всего чрезвычайно страннымъ представляется то обстоятельство, что Гоголь не связалъ описаніе идеальнаго воспитанія съ изображеніемъ какого-нибудь явившагося у него въ концѣ второго тома положительнаго типа. Зачѣмъ, напримѣръ, нужно было умереть Александру Петровичу, а Тентетникову — рыдать о томъ, что „не успѣлъ образоваться и окрѣпнуть начинавшій въ немъ строиться высокій внутренній человѣкъ“ [1]), и почему не пошелъ въ дѣло даръ Александра Петровича „слышать природу русскаго человѣка и его знаніе языка, которымъ нужно говорить съ нимъ[2])? Намъ казалось бы, что Гоголю для его цѣлей никакъ не слѣдовало упускать случая показать передъ читателями на дѣлѣ, какимъ образомъ „уже въ самыхъ глазахъ необыкновеннаго наставника было что-то говорящее юношѣ *впередъ*“ и какъ „изъ этого воспитанія выходили крѣпыши, обкуренные порохомъ люди“, которые были прочны на службѣ и всегда умѣли быть выше непріятностей. Непослѣдовательно было вмѣсто всего этого изобразить Тентетникова *какъ разъ съ противоположными качествами*, благодаря единственно тому, что послѣдній годъ онъ воспитывался при иныхъ, менѣе благопріятныхъ условіяхъ. Въ виду указанныхъ соображеній мы полагаемъ, что автору предстояло или расширить роль Тентетникова не только въ романѣ вообще, но именно уже *во второмъ томѣ*, или же перенести страницы объ его воспитаніи въ другое мѣсто, измѣнивъ въ значительной степени планъ цѣлаго разсказа. Послѣднее было бы, конечно, не менѣе трудно, чѣмъ первое, потому что тогда пришлось бы нарушить всю послѣдовательность и связь первыхъ главъ.

Еще любопытнѣе, что въ контрастъ Тентетникову, названному авторомъ „увальнемъ“ и „лежебокой“, далѣе изображенъ именно Костанжогло, учившійся на мѣдныя деньги и не имѣвшій никакого *идеальнаго воспитателя*, но тѣмъ не менѣе постигшій въ совершенствѣ именно *ту самую „науку жизни“*, которую преподавалъ Александръ Петровичъ и „которой не удалось попробовать бѣдному Андрею Ивановичу“ [3]). Во всякомъ случаѣ, если Александру Пе-

[1]) Соч. Гоголя, изд. X, т. III, стр. 286.
[2]) Тамъ же, стр. 283.
[3]) Соч. Гоголя, изд. X, т. III, стр. 285.

тровичу приписывалось умѣнье сказать душѣ русскаго человѣка пробуждающее слово *впередъ*, то зачѣмъ же было ему умереть и не передать это именно искусство Тентетникову, которое мы видимъ въ концѣ романа въ Муразовѣ? Не противорѣчитъ ли затѣмъ цѣли, какую имѣлъ въ виду авторъ, изображая Александра Петровича и Муразова, слѣдующее восклицаніе: „вѣка проходятъ за вѣками; полмилліона сидней, увальней и байбаковъ дремлетъ непробудно, и *рѣдко рождается* на Руси мужъ, умѣющій произносить его, это всемогущее слово“ [1]). Несомнѣнно, затѣмъ, что весь отрывокъ объ Александрѣ Петровичѣ своимъ общимъ содержаніемъ и отдѣльными выраженіями о внутреннемъ воспитаніи и „наукѣ жизни“ сильно напоминаетъ „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“. Такъ, Александръ Петровичъ „высшей степенью ума“ называлъ искусство „сохранить посреди какихъ бы то ни было огорченій высокій покой, въ которомъ долженъ пребывать человѣкъ“ [2]). Статья „Христіанинъ идетъ впередъ“ также признаетъ высшей ступенью ума, или мудростью, умѣнье „возвести душу свою до голубинаго незлобія“ [3]). Далѣе Александръ Петровичъ избралъ изъ наукъ „только тѣ, которыя способны образовать человѣка, гражданина земли своей“,—и, согласно съ этимъ же убѣжденіемъ, Гоголь временъ „переписки съ друзьями“ просилъ однажды Шевырева купить для своего племянника книгъ, „которыя могли бы отрока, вступающаго въ юношескій возрастъ, познакомить съ Россіей, какъ то: путешествіе по Россіи, исторія Россіи“ [4]) и проч. Затѣмъ Александръ Петровичъ знакомилъ своихъ воспитанниковъ со всѣми должностями и ихъ трудностями, и училъ ихъ искать труда и быть довольными всякимъ положеніемъ: тѣ же самыя мысли всюду встрѣчаемъ въ „Перепискѣ съ друзьями“. Достаточно сходныхъ чертъ!

Изображая въ лицѣ Александра Петровича идеальнаго воспитателя, Гоголь въ сущности имѣлъ въ виду противопоставить его не только карикатурному Ѳедору Ивановичу, который „за столомъ, для лучшаго вида, разсадилъ всѣхъ по росту, а не по уму, такъ что осламъ доставались лучшіе куски, а умнымъ оглодки“, [5]) но и

---

[1]) Тамъ же, стр. 297.
[2]) Тамъ же, стр. 285.
[3]) Т. IV, стр. 57.
[4]) „Соч и письма Гоголя“, т. VI, стр. 435.
[5]) Соч. Гоголя, изд. X, т. III, стр. 286.

вообще противополагалъ его методъ „безцвѣтному, холодному, какъ ледъ, общественному и обманчивому образованію“ [1]). Вообще все это мѣсто представляетъ, несомнѣнно, позднѣйшую вставку, особенно если положиться на слова Анненкова о томъ, что второй томъ былъ уже почти готовъ въ первоначальномъ наброскѣ въ 1842 г.: всѣ указанныя идеи сформировались у Гоголя уже *во половинѣ* сороковыхъ годовъ.

Вторая половина первой главы, начиная съ пріѣзда Чичикова къ Тентетникову, не носитъ уже слѣдовъ позднѣйшихъ вставокъ въ духѣ „Переписки съ друзьями“ и пріемами повѣствованія сильно напоминаетъ первую часть; она, конечно, составляла сперва одно стройное цѣлое съ самымъ началомъ главы. Въ такомъ случаѣ описаніе на первыхъ страницахъ тома прекрасной мѣстности и дивнаго простора, придававшихъ необыкновенную прелесть деревнѣ, имѣло самое тѣсное, непосредственное соотношеніе съ описаніемъ пребыванія въ ней Чичикова и вполнѣ объясняетъ, почему „не разъ, посреди прогулокъ, приходило Чичикову на мысль сдѣлаться когда-нибудь самому, т. е. разумѣется, не теперь, но послѣ, когда обдѣлается главное дѣло и будутъ средства въ рукахъ, сдѣлаться самому мирнымъ владѣльцемъ подобнаго помѣстья“ [2]). Здѣсь эта новая мечта впервые зарождается въ душѣ Чичикова, но затѣмъ она постоянно и быстро зрѣетъ, что до нѣкоторой степени связано съ дальнѣйшимъ ходомъ разсказа; первоначально же эта связь, не затемняемая посторонними вставками, вѣроятно, должна была выступать еще рельефнѣе; то же должно было, конечно, оказаться и въ окончательной редакціи. Мечта эта присоединяется у Чичикова къ его давнимъ фантазіямъ о „бабенкѣ“ и о будущемъ семействѣ. Далѣе въ томъ же порядкѣ, какъ и въ первомъ томѣ, изображается, какъ обжились у Тентетникова Чичиковъ, его прислуга и даже лошади. Послѣ этого Гоголь, отступая отъ прежняго плана по требованіямъ дѣла, замѣчаетъ: „Читатель, можетъ быть, изумляется, что Чичиковъ доселѣ не заикнулся по части извѣстныхъ душъ. Какъ бы не такъ! Павелъ Ивановичъ сталъ очень остороженъ на счетъ этого предмета. Если бы даже пришлось вести дѣло съ дураками круглыми, онъ бы и тутъ не вдругъ его началъ“ [3]).

---

[1]) Стр. 287.
[2]) Соч. Гоголя, изд. X, т. III, стр. 306
[3]) Тамъ же, стр. 307.

Мы знаемъ, что такую же осторожность отчасти проявилъ Чичиковъ однажды уже въ первомъ томѣ, когда отъ Ноздрева онъ пріѣхалъ къ Собакевичу и началъ разговоръ съ послѣднимъ очень издалека. Наконецъ въ первую главу введены отношенія Тентетникова къ генералу Бетрищеву и Уленькѣ отчасти для того, чтобы вмѣшательство Чичикова послужило завязкой дальнѣйшаго разсказа и началомъ новой серіи похожденій героя.

Во второй главѣ узелъ разсказа затягивается сложнѣе и крѣпче: Чичиковъ примиряетъ Тентетникова съ генераломъ Бетрищевымъ и способствуетъ помолвкѣ перваго съ Уленькой. Всѣ имъ довольны; Бетрищевъ считаетъ его другомъ дома, Тентетниковъ называетъ своимъ спасителемъ. Остается узнать, какъ примутъ извѣстіе о предполагаемой свадьбѣ важные родственники генерала, и Чичиковъ вызывается съ этой цѣлью объѣхать ихъ, втайнѣ имѣя въ виду все ту же покупку мертвыхъ душъ [1]). Въ такомъ видѣ была прочитана Гоголемъ вторая глава въ Калугѣ брату А. О. Смирновой, Л. И. Арнольди. На вопросъ о впечатлѣніи послѣдній основательно замѣтилъ Гоголю, что Уленька является у него лицомъ немного идеальнымъ, блѣднымъ, неоконченнымъ [2]), и что такое воплощеніе всевозможнаго совершенства не могло быть результатомъ воспитанія ея отца и глупой англичанки. Любопытно, что, признавъ справедливость этого замѣчанія, Гоголь сказалъ, что въ *послѣдующихъ главахъ Уленька выйдетъ рельефнѣе*". Между тѣмъ, судя по сохранившимся отрывкамъ, разсказъ въ значительной степени принялъ измѣнившееся направленіе, и мы *вовсе не встрѣчаемъ* потомъ ни Уленьки, ни другихъ родственниковъ генерала кромѣ полковника Кошкарева, а вмѣсто нихъ передъ нами является цѣлая группа новыхъ лицъ, при изображеніи которыхъ Гоголь всего больше руководился своими завѣтными тенденціями и намѣреніями. Арнольди приводитъ дальше слова Гоголя о второмъ томѣ: „я вообще не совсѣмъ доволенъ; еще много надо будетъ дополнить, чтобы характеры вышли покрупнѣе", и потомъ прибавляетъ отъ себя: „онъ не былъ доволенъ, а мнѣ казалось, что я не выбросилъ бы ни единаго слова, не прибавилъ ни одной черты: такъ все было обработано и окончено кромѣ одной Уленьки" [3]). Но во

[1]) „Русскій Вѣстникъ", 1862, I, стр. 74—75.
[2]) Тамъ же, стр. 80—82.
[3]) Тамъ же, стр. 81.

первыхъ, Гоголю это *кромѣ*, безъ всякаго сомнѣнія, не казалось чѣмъ-то совсѣмъ незначительнымъ, такъ что, услышавъ его, онъ сильно задумался; во вторыхъ, вѣдь онъ читалъ, разумѣется, наиболѣе обработанныя и удачныя главы, и наконецъ, какъ показываютъ напечатанные фрагменты, между нѣкоторыми изъ нихъ явно недоставало связи и все содержаніе второго тома не было объединено строго проведеннымъ планомъ. Выработкѣ послѣдняго должна была мѣшать между прочимъ неясность нѣкоторыхъ лицъ для самого автора, неполнота матеріала, который зависѣлъ отъ разныхъ случайностей, какъ въ томъ можно убѣдиться уже изъ оставшихся неисполненными просьбъ Гоголя къ Смирновой и Данилевскому присылать ему характеристики замѣченныхъ ими типовъ („городская львица, непонятая женщина, городская добродѣтельная женщина, честный взяточникъ, губернскій левъ, чиновникъ—европеецъ, чиновникъ старовѣръ"). [1]) Несомнѣнно, что хотя нѣкоторые типы были намѣчены заранѣе, напр. губернскій левъ и непонятая женщина; но, во первыхъ, они и намѣчены были только приблизительно, да и случайно Гоголь могъ получать не то, чего просилъ и что назначалъ, и сообразно съ этимъ былъ бы принужденъ измѣнить кое-что въ планѣ, какъ это случалось съ нимъ еще при созданіи „Вечеровъ на хуторѣ". Общій послѣдовательный планъ могъ явиться вообще у Гоголя только послѣ того, *какъ была бы совершенно окончена подготовка матеріаловъ для второго тома, пополнены пробѣлы и пропуски и выяснилась опредѣленная канва.* На самомъ дѣлѣ мы видимъ иное. Такъ напр. разсказъ: „полюби насъ черненькими, а бѣленькими всякій полюбитъ" въ исправленной редакціи былъ почему-то замѣненъ другимъ, а вмѣстѣ съ нимъ устранено и небольшое размышленіе автора, совершенно въ духѣ „Переписки съ друзьями".

Другая чрезвычайно важная причина, вслѣдствіе которой Гоголю трудно было измѣнить однажды принятый планъ, заключалась въ томъ, что если напр. Арнольди въ то время, когда указывалъ на безцвѣтность Уленьки, замѣченный недостатокъ могъ казаться и казался дѣйствительно второстепеннымъ и несущественнымъ,—то Гоголю представлялась здѣсь основательная причина для глубокаго и тяжелаго раздумья.

Вѣдь изображеніе Уленьки задумано было давно; оно самымъ

[1]) Соч. и письма Гоголя, т. VI, стр. 347 и 360.

существеннымъ образомъ входило въ программу второго тома. Когда Гоголь говорилъ, что, „можетъ быть, въ сей же самой повѣсти почуются иныя, еще доселѣ небранныя струны, предстанетъ несмѣтное богатство русскаго духа, пройдетъ мужъ, одаренный божескими доблестями, или чудная русская дѣвица, какой не сыскать въ мірѣ, со всей дивной красотой женской души, вся изъ великодушнаго стремленія и самопожертвованія“,—то великій мужъ мерещился ему въ будущемъ Костанжогло или Муразовѣ, а чудная русская дѣвица—въ образѣ Уленьки. Теперь, по прошествіи болѣе, чѣмъ семилѣтняго труда надъ вторымъ томомъ и въ частности надъ характеромъ Уленьки, ему вдругъ говорятъ, что она вышла у него слишкомъ блѣдною. Гоголь, конечно, и самъ не могъ не чувствовать справедливости этого замѣчанія; потому-то, страдая отъ жестокаго нравственнаго раздвоенія, онъ долженъ былъ содрагаться въ глубинѣ души, слыша такой судъ, если отъ пристрастнаго, то развѣ только въ его пользу Арнольди. Вѣдь оказывалось теперь, что „доселѣ“ (т. е. въ началѣ сороковыхъ годовъ) „недотронутыя струны“ остались и въ 1849 г. все тѣми же „доселѣ недотронутыми“.

Далѣе вслѣдствіе пропусковъ многихъ страницъ оказывается разорванной связь между второй и третьей главами, и остается неизвѣстнымъ, напримѣръ, была ли описана внутренность генеральскаго дома, убранство его комнатъ, какъ должно бы быть согласно плану перваго тома и нѣкоторыхъ главъ второго; — напр. той главы, гдѣ изображенъ Костанжогло. Благодаря разсказу Арнольди, можно впрочемъ догадываться, что начальныя строки третьей главы: „нѣтъ, я не такъ распоряжусь, будетъ у меня и поваръ, и домъ, и хозяйственная часть въ порядкѣ“ [1]) — представляютъ повтореніе однажды уже выраженнаго Чичиковымъ недовольства запущенностью имѣнія Тентетникова. Это подтверждается и тѣмъ, что, по свѣдѣніямъ того же источника, Чичиковъ выѣхалъ въ путь отъ Тентетникова, лишь только ему была прислана отъ генерала Бетрищева коляска. Такимъ образомъ въ началѣ третьей главы въ не дошедшей до насъ редакціи авторъ вторично указывалъ на все болѣе возраставшее желаніе Чичикова поселиться въ деревнѣ; это желаніе Чичиковъ повторяетъ нѣсколько разъ въ продолженіе одной главы; оно еще сильнѣе разгорается въ немъ

[1]) Соч. Гоголя, изд. X, т. III, стр. 321.

подъ впечатлѣніемъ катанья на катерѣ, подъ звуки заунывной русской пѣсни и подъ обаяніемъ чуднаго весенняго вечера.

Съ Пѣтухомъ онъ не говорилъ вовсе о мертвыхъ душахъ, узнавъ, что имѣніе его заложено; но Гоголь, заставивъ своего героя пріѣхать къ нему по ошибкѣ кучеровъ вмѣсто полковника Кошкарева, имѣлъ несомнѣнно особый разсчетъ, основанный на томъ, чтобы дать возможность Чичикову завязать помощью случайныхъ знакомствъ все новыя и новыя отношенія. Такъ у Пѣтуха Чичиковъ встрѣчается съ Платоновымъ и, узнавъ о его хронической скукѣ, приглашаетъ его путешествовать вмѣстѣ съ собою. По объясненію Арнольди, скука Платонова происходила оттого, что онъ израсходовалъ всего себя, таскаясь по свѣтскимъ гостинымъ; встрѣча съ эманципированной женщиной, красавицей Чаграповой, на мигъ оживила его, но затѣмъ послѣдовало разочарованіе, и скука окончательно завладѣла своей жертвой. Но почему именно Платоновъ былъ избранъ въ спутники Чичикова и отчего мы окончательно теряемъ его изъ виду въ послѣднихъ главахъ второго тома,—все это представляется совершенно неяснымъ. Затѣмъ остается въ силѣ вопросъ: разъ въ романѣ выведенъ Петръ Петровичъ Пѣтухъ, то долженъ же былъ онъ имѣть хоть какое-нибудь отношеніе къ мертвымъ душамъ и вообще быть связанъ съ сюжетомъ болѣе существеннымъ образомъ, нежели какъ мы видимъ это въ поэмѣ. Теперь ясно только то, что личность Пѣтуха понадобилась Гоголю для противопоставленія нѣкоторымъ другимъ лицамъ второго тома. „Если у Бетрищева внутренній человѣкъ подчиненъ внѣшнимъ обстоятельствамъ“—замѣчаетъ одинъ критикъ (Н. Д. Мизко)—„то Пѣтухъ—непосредственное олицетвореніе животной натуры, изъ-за которой вовсе не видно внутренняго человѣка: хорошо ѣсть и пить, вслѣдствіе этого покойно спать—вотъ единственная цѣль и проявленіе его жизни“. Какимъ образомъ вся эта глава должна была присоединиться къ внутреннему сюжету поэмы, для автора было дѣло окончательной обработки произведенія. Неудивительно, что въ дальнѣйшихъ главахъ мы не встрѣчаемъ Платонова, если уже въ нихъ нѣтъ ни слова даже о Бетрищевѣ, Уленькѣ и Тентетниковѣ, къ которымъ, казалось бы, обязательно долженъ былъ возвратиться авторъ.

При такихъ данныхъ необходимо допустить одно изъ слѣдующихъ двухъ предположеній: или что, такъ сказать, объемъ повѣ-

ствованія долженъ былъ явиться во второмъ томѣ несравненно обширнѣе, нежели какъ можно заключить по предыдущему тому, и что изъ второго тома погибло черезчуръ уже много,—или же, что авторъ не успѣлъ составить прочно установившейся программы, оставивъ даже въ послѣдней изъ извѣстныхъ редакцій значительные пробѣлы. Мы, напримѣръ, остаемся въ полномъ невѣдѣніи, почему Чичиковъ не навѣстилъ княгиню Зюзюкину, которую необходимо было особенно тщательно и осторожно подготовить къ извѣстію о свадьбѣ Уленьки и Тентетникова, и почему онъ ни единымъ словомъ не намекнулъ о данномъ ему порученіи полковнику Кошкареву. Наконецъ значительное совпаденіе всѣхъ дошедшихъ до насъ редакцій второго тома, *ничѣмъ между собой существенно не отличающихся*, признаемся, всего болѣе наводитъ на мысль, что очень и очень многое оставлено Гоголемъ недоконченнымъ во второмъ томѣ, причемъ вторая половина его рѣшительно ниже первой.

Противорѣчій въ ней всюду множество, и притомъ противорѣчій непримиримыхъ по существу вслѣдствіе невозможности соединить художественную правду съ предвзятыми тенденціями, не говоря уже о недорисованныхъ фигурахъ вродѣ Лѣницына и Вышепокромова. Это даже не блѣдныя тѣни, но просто подставныя, неясныя для самого автора, лица, нужныя для механизма разсказа; и не только имя Лѣницына оказывается неустановленнымъ, но и вообще Лѣницынъ конца второй части не имѣетъ рѣшительно ничего общаго съ Лѣницынымъ первой главы. Въ изображеніи Костанжогло вопіющая непослѣдовательность заключается въ томъ, что, вопреки основной идеѣ второго тома, онъ всецѣло погруженъ въ *матеріальную* жизнь. Онъ до того вошелъ во вкусъ пріобрѣтателя, что съ явнымъ сочувствіемъ произноситъ слѣдующія возмутительныя слова: „у кого милліонъ, у того радіусъ великъ: что̀ ни захватитъ, такъ вдвое и втрое противъ себя. Поле-то, поприще слишкомъ просторно. *Тутъ ужъ и соперниковъ нѣтъ, съ нимъ некому тягаться: какую цѣну чему ни назначитъ, такая и останется: некому перебить.*“ [1]) Спрашивается: чѣмъ же послѣ этого Костанжогло выше Чичикова, если не тѣмъ только, что онъ лучше умѣлъ примѣнять искусство наживы? Это тоже „загребистая лапа“ [2])—

[1]) Соч. Гоголя, изд. X, т. III, стр. 354.
[2]) Тамъ же, стр. 341.

только въ усовершенствованномъ видѣ. Онъ даже принципіально всей душой сочувствуетъ идеѣ наживы и готовъ давать взаймы деньги каждому желающему разбогатѣть несовсѣмъ безтолковымъ способомъ. Несомнѣнно, что Гоголь въ изображеніи Костанжогло сильно отсталъ даже отъ своихъ идей въ „Перепискѣ съ друзьями". Тамъ въ статьѣ „Русскій помѣщикъ" онъ говоритъ: „богатый хозяинъ и хорошій человѣкъ синонимы. И въ которую деревню заглянула только христіанская жизнь, тамъ мужики лопатами гребутъ серебро." [1]) О помѣстьѣ Костанжогло также сказано: „Такъ и видно, что здѣсь именно живутъ тѣ мужики, которые гребутъ, какъ поется въ пѣснѣ, серебро лопатой;" [2]) но поэту совершенно не удалось изображеніе христіанской жизни ни Костанжогло, ни его крестьянъ. Есть, правда, одна дѣльная и симпатичная мысль въ статьѣ: „Русскій помѣщикъ", повторенная и въ примѣненіи къ Костанжогло, но эта мысль нисколько не измѣняетъ общаго характера того и другого изъ сравниваемыхъ отрывковъ. Именно Костанжогло разсказываетъ Чичикову: Я говорю мужику: „кому бы ты ни трудился, мнѣ ли, себѣ ли, сосѣду ли, только трудись". [3]) Та же мысль и въ слѣдующихъ словахъ статьи: „Русскій помѣщикъ": „скажи мужикамъ, что ты заставляешь ихъ трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были деньги на удовольствія, и сдѣлай такъ, чтобы они видѣли дѣйствительно, что деньги тебѣ нуль, но что потому заставляешь ихъ трудиться, что Богомъ повелѣно человѣку трудомъ и потомъ снискивать себѣ хлѣбъ". [4]) Странно далѣе, что, задавшись въ лицѣ Костанжогло изобразить человѣка проницательнаго и со свѣтлымъ умомъ, Гоголь заставляетъ его грубо ошибиться въ Чичиковѣ и дать ему пошло-сочувственную аттестацію: „степененъ въ словахъ и не щелкоперъ". [5]) Какимъ фальшивымъ диссонансомъ отзывается затѣмъ эта неестественная довѣрчивость Костанжогло къ Чичикову и въ какомъ противорѣчіи находится его явная непроницательность съ приписываемыми ему опытностью и мудрымъ познаніемъ жизни! А между тѣмъ ради апоѳеоза излюбленной личности поэтъ призвалъ на помощь рѣшительно все: самыя энергическія выраженія вродѣ того, что въ де-

[1]) Соч. Гоголя, изд. X, т. IV, стр. 120.
[2]) Соч. Гоголя, изд. X, т. III, стр. 336.
[3]) Тамъ же, стр. 349.
[4]) Тамъ же, т. IV, стр. 119.
[5]) Т. III, стр. 355.

ревнѣ Костанжогло „каждая свинья глядѣла дворяниномъ“ и что „видно было вдругъ, что живетъ тутъ хозяинъ“, [1]) не особенно изображенныя кистью художника волшебныя чары обаятельной ночи съ ея чудной нѣгой и пѣньемъ соловьевъ, наконецъ все мастерское описаніе дивнаго очарованія вечерней домашней бесѣды среди красотъ деревенской вешней природы. Поэтъ какъ будто чувствовалъ, что надо въ пользу своей натянутой мысли подкупить читателей извнѣ, чарами художественнаго изображенія природы. Впрочемъ, все это мѣсто въ поэмѣ предназначалось также и для другой цѣли—показать, какъ послѣдовательно созрѣвало благотворное сѣмя любви къ деревнѣ и сельскому хозяйству, впервые заброшенное въ душу Чичикова очаровательными красотами деревни Тентетникова. Духовное возрожденіе, предстоявшее Чичикову въ третьемъ томѣ, должно было произойти такимъ образомъ не отъ одного только сильнаго потрясенія подъ вліяніемъ постигшаго его въ концѣ второго тома несчастія, но оно подготовлялось также цѣлымъ рядомъ предшествующихъ впечатлѣній: еще до катастрофы Чичиковъ замѣтно начиналъ склоняться къ повороту на стезю честной и мирной трудовой жизни. „Когда потомъ помѣстились они(съ Костанжогло) въ маленькой уютной комнаткѣ, озаренной свѣчками, насупротивъ большой стеклянной двери въ садъ, Чичикову сдѣлалось такъ пріютно, какъ не бывало давно, точно какъ бы послѣ долгихъ странствованій приняла его родная крыша и, по совершеніи всего, получилъ онъ желаемое и бросилъ скитальческій посохъ, сказавши: „довольно!“—и далѣе: „Чичиковъ обдумывалъ, какъ сдѣлаться помѣщикомъ не фантастическаго имѣнія“ и рѣшилъ здѣсь же поторопиться покупкой мертвыхъ душъ, чтобы скорѣе кончить дѣло, пока помѣщики не успѣли еще заложить всѣ имѣнья,—и, совершивъ покупку, зажить новой, лучшей жизнью.

Возвращаясь къ разбору личности Костанжогло у Гоголя, нельзя не согласиться съ справедливымъ замѣчаніемъ Мизко, что уже „велерѣчивость Костанжогло противорѣчитъ самой сущности его характера, олицетворяющаго трудъ, дѣятельность, положительность; а желчность его бросаетъ непріятную тѣнь на его характеръ. Такіе люди потому и дѣлаютъ много, что говорятъ мало, и притомъ вовсе не горячатся, ибо хладнокровіе здѣсь первое условіе успѣха“. [2])

[1]) Т. III, стр. 336.
[2]) Т. III, стр. 353.

Далѣе, какъ мы знаемъ, въ личности Костанжогло мы видимъ попытку изобразить фантастическаго русскаго образцоваго хозяина, обходящагося безъ науки и производящаго чудеса силой рутины. Увлеченіе ложными идеями зашло здѣсь у Гоголя такъ далеко, что онъ не замѣтилъ даже существенной непослѣдовательности; если для сельскаго хозяина нужны узкіе практики, учившіеся на мѣдные гроши, то почему же не совсѣмъ безграмотные люди?

Относительно Муразова также еще Мизко справедливо замѣтилъ, что тогда какъ Костанжогло научаетъ Чичикова честному пріобрѣтенію, Муразовъ проповѣдуетъ ему покаяніе, но что это покаяніе и заботы о народномъ благоденствіи совсѣмъ не гармонируютъ съ откупщичествомъ: „вѣдь все-таки нажитые имъ милліоны пріобрѣтены изъ такого источника, гдѣ главную роль играетъ слабость народа“. Можно было бы сказать безъ большой натяжки, что и Муразовъ въ сущности тотъ же Павелъ Ивановичъ, но уже насытившійся и проповѣдующій. Такимъ образомъ эти идеалы „Переписки съ друзьями“ становились вездѣ поперекъ творчеству, требуя для себя на каждомъ шагу натяжекъ и фальши; тогда какъ напротивъ на недостающихъ страницахъ второй главы, судя по передачѣ Арнольди, Гоголь, имѣя намѣреніе представить лучшія стороны характера русскихъ людей, блестящимъ образомъ выполнилъ свою задачу. Нельзя особенно не пожалѣть объ утратѣ этого отрывка, какъ говорятъ намъ, исполненнаго высокой поэзіи и выгодно отличавшагося отъ ходульной реторики въ изображеніи Костанжогло, Муразова, генералъ-губернатора. Здѣсь Гоголь безъ всякой натяжки показалъ своихъ героевъ съ такой свѣтлой и благородной стороны, что достаточно было ему удержаться въ этихъ предѣлахъ, не запутываясь въ лабиринтѣ своихъ сбивчивыхъ теорій, и онъ, быть можетъ, вышелъ бы хоть отчасти побѣдителемъ въ борьбѣ съ заданной себѣ колоссальной задачей.

III.

Пріѣздомъ Чичикова къ Хлобуеву открывается послѣдняя серія его похожденій, изображенныхъ во второмъ томѣ: желаніе Чичикова въ значительной мѣрѣ осуществляется, когда онъ пріобрѣтаетъ

за безцѣнокъ недурное имѣнье у безпечнаго и въ концѣ разорившагося Хлобуева,—не оставляя впрочемъ пока мысли и о покупкѣ мертвыхъ душъ. Мы снова застаемъ его въ этихъ хлопотахъ у Лѣницына, но о дѣятельности его, какъ помѣщика, нигдѣ потомъ ни слова, и что всего страннѣе, объ имѣньѣ не упоминается даже въ концѣ тома, гдѣ рѣчь идетъ о слѣдствіи надъ Чичиковымъ, объ его продѣлкахъ и вообще объ его прошломъ. Слѣдуя принятой во второмъ томѣ программѣ, по которой каждый дальнѣйшій шагъ Чичикова опредѣляется предшествующими случайными разговорами и встрѣчами, Гоголь заставляетъ Хлобуева разсказать ему о трехмилліонной тетушкѣ, при чемъ у Чичикова необыкновенно быстро создаются все новые и новые замыслы. Въ несохранившихся или ненаписанныхъ главахъ Чичиковъ долженъ былъ отправиться къ этой тетушкѣ, пріѣхать вскорѣ послѣ ея кончины и изготовить заднимъ числомъ фальшивое духовное завѣщаніе, что даетъ содержаніе цѣлому ряду происшествій, описанныхъ въ послѣднихъ главахъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ долженъ былъ въ чемъ-то попасться, навлечь на себя справедливый гнѣвъ генералъ-губернатора и быть отпущеннымъ на поруки по ходатайству Муразова. Въ сущности мы рѣшительно не имѣемъ твердыхъ основаній, чтобы утверждать, что все это въ самомъ дѣлѣ было выполнено Гоголемъ. Признаемся, мы болѣе склонны предполагать, что, увлекаясь излюбленными идеями, поэтъ спѣшилъ или даже просто чувствовалъ потребность изобразить поскорѣе цѣлый рядъ типовъ добродѣтельныхъ людей и набросать контуры главъ, въ которыхъ они должны были дѣйствовать, вслѣдствіе чего оставались пробѣлы въ серединѣ, не только вовсе не восполненные, но, можетъ быть, и безъ опредѣленно намѣченнаго содержанія. Обращенія къ друзьямъ съ просьбой о матеріалахъ и ко всей публикѣ въ предисловіи ко второму изданію перваго тома, предположенія о поѣздкѣ въ сѣверовосточныя губерніи, [1]) —все указываетъ, по нашему мнѣнію, на то, что автору требовался еще обильный *внѣшній матеріалъ*, которому предстояло подвергнуться значительной переработкѣ, принаровленной къ его идеямъ и тенденціямъ въ набросанныхъ послѣднихъ главахъ. Въ концѣ тома, напримѣръ, мѣсто дѣйствія переносится въ городъ Тьфуславль, [2]) но изображеніе этой

[1]) См. Вѣстн. Евр., 1889, XI, стр. 145 и проч.
[2]) Соч. Гоголя, изд. X, т. III, стр. 381 и проч.

новой сферы дѣятельности Чичикова едва очерчено, хотя впрочемъ на утрату кое-какого набросаннаго уже матеріала явно указываетъ выраженіе: „ярмарка въ городѣ Тьфуславлѣ еще не прекращалась“. Наше предположеніе основывается на томъ, что именно во второй половинѣ тома Гоголь сгруппировалъ добродѣтельныхъ лицъ романа, тогда какъ въ первой изображаются преимущественно недостатки русскихъ людей, причемъ одинъ изъ самыхъ яркихъ воплощается въ Хлобуевѣ, который говоритъ о себѣ: „нѣтъ силы воли, нѣтъ отваги на постоянство. Хочешь все сдѣлать—и ничего не можешь. Все думаешь, съ завтрашняго дня начнешь новую жизнь, съ завтрашняго для примешься за все какъ слѣдуетъ, съ завтрашняго дня сядешь на діэту; ничуть не бывало: къ вечеру того же дня такъ объѣшься, что только хлопаешь глазами и языкъ не ворочается—право.“ [1]) Тентентниковъ, Хлобуевъ люди не безъ способностей, но нуждающіеся въ томъ, чтобы имъ кто нибудь сумѣлъ сказать магическое слово: впередъ. Для Хлобуева такимъ человѣкомъ является Муразовъ, для Тентетникова, вѣроятно, Уленька. Муразовъ исполнилъ, слѣдовательно, въ отношеніи къ Хлобуеву именно ту роль, которой не удалось сыграть въ жизни Тентетникова Александру Петровичу; онъ научилъ его той „наукѣ жизни“, которая была оставлена запечатанной семью печатями для Тентетникова и Хлобуева университетскими профессорами. „Я и въ университетѣ былъ, и слушалъ лекціи по всѣмъ частямъ“—говоритъ Хлобуевъ—„а искусству и порядку жить не только не выучился, а еще какъ бы больше выучился искусству побольше издерживать деньги“. [2]) Такое отрицательное отношеніе къ университетскому преподаванію у Гоголя не случайность: оно является естественнымъ слѣдствіемъ противоположенія „холодному какъ ледъ, общественному обманчивому образованію“ трезвой „науки жизни“. Такой же контрастъ замѣчается и въ описаніи простой обстановки человѣка, отличающагося познаніемъ людей и жизни, и питомца „обманчиваго образованія“ Хлобуева, въ комнатахъ котораго „Чичикова нѣсколько поразило смѣшенье нищеты съ нѣкоторыми блестящими бездѣлушками позднѣйшей роскоши. Посреди изорванной утвари и мебели—новенькія бронзы. Какой-то Шекспиръ сидѣлъ

---

[1]) Т. III, стр. 362.
[2]) Тамъ же, стр. 361.

на чернильницѣ; на столѣ стояла какая-то ручка слоновой кости для почесыванія себѣ самому спины“ [1])...

IV.

Наконецъ мечта Чичикова исполняется, и онъ становится не фантастическимъ, но дѣйствительнымъ помѣщикомъ. Послѣ покупки имѣнія онъ продолжаетъ свое путешествіе съ Платоновымъ и заѣзжаетъ къ его брату Василію. Послѣдній представляетъ еще одинъ типъ хорошаго хозяина; но онъ уже совсѣмъ не обрисованъ и, судя по сохранившимся фрагментамъ, тотчасъ же, или, по крайней мѣрѣ, скоро, сходитъ со сцены, да и появляется на ней чуть ли не единственно для того, чтобы дать поводъ Чичикову ѣхать къ Лѣницыну. „Слышалъ ты, какую безъ тебя сыгралъ съ нами шутку Лѣницынъ“? спрашиваетъ Василій Платоновичъ у брата. „Оказывается, что онъ успѣлъ въ одинъ-два дня отлучки другого брата Платонова захватить пустошь, гдѣ красная горка“. [2]) Чичиковъ вызывается ѣхать, чтобы уладить дѣло, и такимъ образомъ на время разстается съ своимъ спутникомъ. Быть можетъ, при дальнѣйшемъ теченіи обстоятельствъ ему предстояло отклониться отъ взятыхъ на себя порученій и устремить все вниманіе на поддѣлку духовнаго завѣщанія тетки Хлобуева. Но въ такомъ случаѣ, если дороги Чичикова и Платонова раздѣлились, и въ то время какъ послѣдній встрѣчается съ Чаграповой, первый покупаетъ мертвыя души у Лѣницына и вообще вступаетъ *въ дѣловыя* сношенія, запутавшись между прочимъ и въ *дѣло* о подложномъ завѣщаніи тогда же скончавшейся старухи Ханасаровой, тетки Хлобуева,—то, какъ бы то ни было, Чичиковъ явно отвлекается въ сторону отъ порученія Бетрищева навѣстить его родственниковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ авторъ отклоняется отъ дальнѣйшаго изображенія той сферы, къ которой принадлежатъ Уленька и Тентетниковъ. Далѣе въ пропущенныхъ главахъ недостаетъ разсказа о какой-то крупной провинности Чичикова, напоминая о которой,

---

[1]) Тамъ же, стр. 363.
[2]) Т. III, стр. 373.

генералъ-губернаторъ потомъ сказалъ ему: „Я васъ пощадилъ, я позволилъ вамъ оставаться въ городѣ, тогда какъ васъ слѣдовало бы въ острогъ“. [1]) На это же явный намекъ заключается въ слѣдующихъ словахъ Чичикова въ началѣ главы: „Я теперь могу жить въ городѣ, сколько мнѣ угодно“. Но эта провинность, необходимо помнить, не имѣла *ничего общаго* съ покупкой мертвыхъ душъ, такъ какъ улики, относящіяся къ послѣдней, явились уже *неожиданно вслѣдъ за обвиненіемъ Чичикова* въ составленіи подложнаго завѣщанія. Конечно, все это представляется теперь крайне неяснымъ; но всего неожиданнѣе рѣшеніе Чичикова, послѣ всѣхъ перенесенныхъ имъ передрягъ, заложить мертвыя души для того, чтобы на вырученныя деньги *купить* настоящее помѣстье. Какъ будто глава эта была написана *прежде* главы, въ которой Чичиковъ уже купилъ и у Хлобуева имѣнье! Тогда какъ съ другой стороны только въ этой послѣдней главѣ, *послѣ покупки имѣнія*, онъ узнаетъ о богатой теткѣ Хлобуева. Уже это одно противорѣчіе ясно указываетъ не только на неполноту, но и на значительную *неопредѣленность* послѣдней половины второго тома во всѣхъ *сохранившихся редакціяхъ*.

Вообще вопросъ, кончилъ ли Гоголь въ самомъ дѣлѣ второй томъ, представляется намъ въ высшей степени спорнымъ, такъ какъ самъ Гоголь не могъ не колебаться въ рѣшеніи его, хотя и готовился сдать рукопись въ цензуру. Особенно важно, что заключеніе Н. С. Тихонравова, будто просьба Гоголя въ письмѣ къ Жуковскому помолиться, чтобы онъ „хоть *сколько-нибудь* былъ удостоенъ пропѣть гимнъ красотѣ небесной“, [2]) написана въ то время, когда уже второй томъ „Мертвыхъ Душъ“ былъ приготовленъ набѣло и двѣ послѣднія главы были прочитаны Шевыреву,— встрѣчаетъ нѣкоторое сомнѣніе, вызываемое неясностью коротенькой записочки Гоголя. Вотъ какъ она читается въ изданіи г. Кулиша: „Убѣдительно прошу тебя не сказывать никому о прочитанномъ, ни даже называть мелкихъ сценъ, ни лицъ героевъ. Случились исторіи. Очень радъ, что двѣ послѣднія главы, кромѣ тебя, никому неизвѣстны“. [3]) Но что значитъ это выраженіе: двѣ послѣднія *написанныя* и прочтенныя главы, или же двѣ *заключитель-*

[1]) Т. IV, стр. 388.
[2]) „Соч. и письма Гоголя“, т. VI, стр. 553.
[3]) Тамъ же, стр. 251.

моя главы второго тома? Послѣднее пониманіе этой записки представляется не только недоказаннымъ, но даже и мало вѣроятнымъ, особенно въ виду словъ С. Т. Аксакова, что „С. П. Шевыревъ и А. О. Смирнова, какъ говорятъ, слышали семь главъ“.[1]) Во всякомъ случаѣ Шевыревъ, будто бы вполнѣ посвященный въ тайну второго тома, безъ сомнѣнія, не могъ бы считать себя связаннымъ въ отношеніи ея послѣ смерти Гоголя и хотя что-нибудь стало бы извѣстно объ этомъ и его друзьямъ. Наконецъ, принимая дѣло такъ, какъ оно представляется намъ на основаніи объясненій Н. С. Тихонравова, мы склонны въ послѣднихъ запискахъ Гоголя видѣть скорѣе подготовленіе всѣмъ извѣстной катастрофы, нежели указаніе именно на законченность труда Гоголя. Важно здѣсь, что Гоголь проситъ не называть даже лицъ героевъ, а это можетъ быть объяснено не тѣмъ, конечно, что авторъ могъ въ печатной переработкѣ перемѣнить фамиліи, но скорѣе, что онъ не рѣшилъ еще, быть имъ не быть въ его поэмѣ данными лицамъ. С. Т. Аксаковъ однажды послѣ смерти Гоголя писалъ *Шевыреву:* „Въ самое послѣднее свиданіе съ моей женой Гоголь сказалъ, что не будетъ печатать второго тома, что въ немъ все никуда не годится и что надо передѣлать“. Еще больше подтверждаютъ наше предположеніе приведенныя слова его въ предсмертномъ письмѣ къ Жуковскому: „помолись обо мнѣ, чтобы я *хоть сколько нибудь* былъ удостоенъ пропѣть гимнъ красотѣ небесной“. Здѣсь слышится уже явная неудовлетворенность автора своимъ трудомъ съ точки зрѣнія именно той задачи, которую онъ себѣ поставилъ, а, можетъ быть, также и со стороны художественныхъ требованій. Актъ сожженія былъ во всякомъ случаѣ результатомъ сильной вспышки отчаянія, какъ это безусловно доказывается тотчасъ же послѣдовавшимъ затѣмъ сожалѣніемъ Гоголя о томъ, что уже совершилось. Эта вспышка, однако, *не могла быть моментальной:* она явилась обострившимся кризисомъ долговременной и ужасной душевной борьбы.

В. Шенрокъ.

---

[1]) „Русскій Архивъ“, 1890, т. VIII, стр. 20.

ИЗЪ „ФАУСТА“ ГЕТЕ.

I.

РАБОЧІЙ КАБИНЕТЪ.

(*Переводъ К. Д. Бальмонта*).

Фаустъ, Мефистофель.

Слышенъ стукъ.

Фаустъ.

Кто тамъ? Опять идутъ терзать!
Войдите!

Мефистофель.

Это я.

Фаустъ.

Тоска!
Войдите!

Мефистофель.

Рѣчь твоя кратка.
Ты долженъ трижды мнѣ сказать.

Фаустъ.

Войдите же!

Мефистофель.

Ну, вотъ. Теперь войду.
Съ тобой, какъ вижу я, мы будемъ жить въ ладу.

Чтобъ разогнать твои унылыя мечтанья,
Чтобъ положить конецъ твоей хандрѣ пустой,
Я въ красное облекся одѣянье
Съ обшивкой золотой,
Плащомъ я шелковымъ прикрылся,
И въ шляпу я перо воткнулъ,
И шпагу острую на поясъ пристегнулъ,
Ну, словомъ, знатно нарядился.
И вотъ тебѣ совѣтъ,—отъ думъ освободись,
И нарядись, какъ я, и въ жизнь скорѣй пустись.

Фаустъ.

Въ какой одеждѣ ни являться,
Отъ скуки бытія мнѣ некуда уйти.
Я молодъ, чтобъ страстямъ навѣкъ сказать „прости“,
И старъ, чтобъ только забавляться.
И что весь міръ земной мнѣ можетъ предложить?
„Забудь, что значитъ увлеченье!
„Для отреченья, отреченья
„Ты долженъ жить!“
Вотъ пѣсня вѣчная для насъ,
Она всѣмъ уши прожужжала,
Ее поетъ намъ жизнь, и снова каждый часъ
Охрипшимъ голосомъ поетъ ее сначала.
Забрезжетъ-ли разсвѣтъ, въ моей груди кипитъ,
Трепещетъ горькое рыданье;
Я знаю, день придетъ, и ни одно желанье
Не оправдаетъ онъ,—онъ даже умертвитъ
Порывъ свободный предвкушенья,
Погаситъ искру онъ живого увлеченья,
И радостной мечтѣ онъ будетъ злѣйшій врагъ.
Когда-жь ночной созрѣетъ мракъ,
Онъ не приноситъ мнѣ покоя и забвенья;
Мечусь всѣ ночи напролетъ,
Постель жестка, подушка жжетъ,
Меня терзаютъ сновидѣнья.

Пусть въ сердцѣ у меня блистаетъ Божество,
Пусть высшій Духъ живетъ въ моей душѣ глубоко,
Надъ всѣмъ, что мыслю я, пусть онъ царитъ высоко,
Онъ не измѣнитъ ничего.
И жизнь противна мнѣ и, какъ ярмо, постыла,
И мнѣ желанна смерть, меня влечетъ могила.

Мефистофель.

Нерѣдко смерть, какъ друга, ждутъ;
Придетъ,—отъ друга прочь бѣгутъ.

Фаустъ.

Блаженъ, кому она въ бою, среди проклятій,
Средь стона раненыхъ, нетлѣнный лавръ несетъ;
Блаженъ, кого она найдетъ
Средь пляски бѣшеной и сладостныхъ объятій!
О, если-бъ я тогда угаснулъ, отлетѣлъ,
Предъ Духомъ неземнымъ, съ своей мечтой волшебной!

Мефистофель.

Мнѣ помнится, въ ту ночь ты выпить не хотѣлъ
Изъ темной стклянки сокъ цѣлебный.

Фаустъ.

Ты, вижу, знаешь все! Шпіонить—страсть твоя!

Мефистофель.

Я не всевѣдущъ, нѣтъ, но много знаю я.

Фаустъ.

Какъ сладкій звукъ въ иныя сферы
Меня отъ ужаса увлекъ
И лучъ послѣдній дѣтской вѣры
Въ душѣ обманутой зажегъ,—
Такъ я теперь свой взоръ склоняю
Къ пучинѣ вѣчной суеты,
И безвозвратно проклинаю
Весь міръ обмана и мечты!

Проклятье сладкимъ заблужденьямъ,
Что убаюкиваютъ умъ!
Проклятье нѣжнымъ сновидѣньямъ
И красотѣ высокихъ думъ!
Проклятье пестротѣ явленій,
Безсмѣнной до скончанья дней.
И жизни средь родныхъ владѣній,
Среди семьи, среди друзей!
Да будутъ прокляты забавы,
И праздной роскоши привѣтъ!
Богатства, власти, лживой славы
Да будетъ проклятъ бѣглый свѣтъ!
Вино, дающее забвенье,
И чадъ любовныхъ выспихъ нѣгъ,
И упованье, и терпѣнье
Да будутъ прокляты навѣкъ!

Хоръ духовъ, незримый.

Горе! Горе!
Ты разрушилъ
Мощнымъ замахомъ
Чудный міръ.
Онъ распался,
Онъ упалъ!
Полубогъ его разрушилъ,
Разметалъ!
Лишь обломки мы уносимъ
Въ пустоту,—
И погибшую
Слезами
Окропляемъ красоту!
Ты, могучій духъ людей,
Въ пышныхъ краскахъ возроди
Этотъ міръ въ душѣ своей!
Пусть забрезжетъ впереди
Новой жизни свѣтлый кругъ.—
Новыхъ пѣсенъ, лучшихъ пѣсенъ
Засверкаетъ яркій звукъ!

II.

Погребъ Ауэрбаха въ Лейпцигѣ.

(Переводъ кн. Д. Цертелева).

ВЕСЕЛАЯ КОМПАНІЯ.

Фрошъ.

Вы не смѣетесь, не хотите жить?
Такъ я васъ научу здѣсь дѣлать рожи!
На мокрую солому вы похожи,
Хотя подъ часъ умѣете шутить.

Брандеръ.

Самъ виноватъ: отъ насъ веселья ждешь,
А свинства, глупости не поднесешь.

Фрошъ (*выливая ему стаканъ вина на голову*).

Вотъ оба!

Брандеръ.

Ты свинья двойная!

Фрошъ.

Просили вы: нельзя-же отказать

Зибель.

За дверь того, кто станетъ ссоры затѣвать!
Изъ полной груди пусть звучитъ здѣсь круговая:
Ну, голла, го!

Альтмейеръ.

Бѣда мнѣ, я пропалъ,
Онъ оглушитъ меня,—скорѣе ваты!

Зибель.

Да, пѣть такъ пѣть, чтобъ этотъ сводъ дрожалъ;
Иначе баса не оцѣнишь никогда ты.

Фрошъ.

Такъ, такъ, и гнать того, кто будетъ обижаться!
А! тара, лара, да!

Альтмейеръ.

А! тара, лара, да!

Фрошъ.

Намъ не зачѣмъ спѣваться.

(*Поетъ*).

Священная имперія.
Ахъ, чѣмъ она жива?

Брандеръ.

Политика! Дрянь пѣсня! Полагаю,
Вы Бога каждый день должны благодарить,
Что объ имперіи вамъ нечего тужить!

Я для себя, по крайности, считаю
За счастіе, что я не канцлеръ и не царь,
Но у насъ начальникъ долженъ быть;
Мы папу выберемъ, какъ встарь.
Вы знаете, что́ мы должны хвалить
И выборъ свой на комъ остановить.

Фрошъ (*поетъ*).

Взвейся выше, соловей,
Спой привѣтъ любви моей.

Зибель.

Не надо ей ни поцѣлуя, ни привѣта.

Фрошъ.

Привѣтъ и поцѣлуй, коль нравится мнѣ это.

(*Поетъ*).

Отопри въ часъ ночной.
Отопри, я съ тобой!
А запри по утру.

Зибель.

Пой, пой и славь ее! Я подожду,
Потомъ смѣяться будетъ мой чередъ.
Сперва меня, потомъ тебя, пріятель, проведетъ.
На перекресткѣ пусть бы лѣшаго нашла,
И миловалась тамъ съ уродомъ,
Иль занимала стараго козла,
Чтобъ съ Блоксберга зашелъ къ ней мимоходомъ!
А парень молодой, скажу безъ лести,
Для этой вѣдьмы много чести,
И лучше, чѣмъ ей нѣжности сулить,
У ней скорѣе стекла перебить.

Брандеръ (*ударяя по столу*).

Эй вы, эй вы! пора знать честь,
Признайтесь, я умѣю жить:
Влюбленные меня нами есть,
И имъ, согласно положенью,
Я на ночь долженъ пѣсню предложить:
Новѣйшему внимайте поученью
И повторяйте громче мой припѣвъ.

(*Поетъ*).

Въ подвалѣ крыса рада жила,
Питаясь изъ разныхъ кадокъ,
Какъ докторъ Лютеръ собрала
Она тамъ маленькій достатокъ,
Но въ кухнѣ ядъ уже стоитъ,
Она больна, она горитъ,
Какъ будто отъ любви.

Хоръ (*подхватывая*).

Какъ будто отъ любви.

Брандеръ.

И мечется туда, сюда,
И хочетъ пить изъ каждой лужи,
И такъ грызется, что бѣда,
Но ей становится все хуже,
И тошно ей, ее гнететъ,
И въ домѣ мѣста не найдетъ.
Какъ будто отъ любви.

Хоръ.

Какъ будто отъ любви

Брандеръ.

Со страху среди дня
На кухню прибѣжала
И, вдругъ упавши у огня,
Хрипѣла и дрожала.
Смѣясь, кухарка говоритъ:
Пускай себѣ дрожитъ,
Какъ будто отъ любви.

Хоръ.

Какъ будто отъ любви.

Зибель.

Вотъ дурни! Рады слышать вздоръ;
Какъ будто велико искусство
Поставить бѣднымъ крысамъ норъ.

Брандеръ.

А ты къ нимъ нѣжныя питаешь чувства?

Альтмейеръ.

Недаромъ кротокъ другъ нашъ лысый;
Несчастіе рождаетъ въ немъ смиренье:
Онъ въ образѣ раздутой крысы
Узналъ свое изображенье.

(Входятъ Фаустъ и Мефистофель)

Мефистофель.

Хочу тебѣ сначала показать,
Какъ можно жить легко, безпечно.
Народу больше нечего желать,
Ему здѣсь масленица вѣчно;

Довольны малымъ, смысломъ не богаты,
Они все вертятся кругомъ
И прыгаютъ, какъ глупые котята,
Играя съ собственнымъ хвостомъ,
Пока хозяинъ въ долгъ имъ отпускаетъ,—
И не тошнитъ, никто не унываетъ.

Брандеръ.

Пріѣзжіе, имъ этого не скрыть;
И сразу по манерамъ видно,
Что часу не успѣли здѣсь пробыть.

Фрошъ.

Ты правъ, и мнѣ за Лейпцигъ мой не стыдно;
Онъ, что Парижъ,—въ немъ сразу отличишь чужихъ.

Зибель.

А какъ, по твоему, они-то изъ какихъ?

Фрошъ.

Сперва дай только выпить намъ стаканъ:
Такой я напущу на нихъ туманъ,
Что отъ меня ничто не будетъ скрыто;
По моему, они, должно быть, изъ дворянъ;
Такъ смотрятъ важно и сердито.

Брандеръ.

Разнощики, хоть объ закладъ побиться.

Мефистофель (*къ Фаусту*).

Узнать не могутъ чорта никогда,
Хоть онъ въ ворота къ нимъ стучится.

Фаустъ.

Примите нашъ привѣтъ.

Зибель.

Благодаримъ (*тихо, искоса глядя на Мефистофеля*).
Смотри, сосѣдъ,
Онъ на ногу какъ будто припадаетъ.

Мефистофель.

Мы къ вамъ подсѣсть попросимъ позволенья;
Я знаю, добраго вина здѣсь нѣтъ,
Но общество доставитъ развлеченье.

Альтмейеръ.

Вы пить, должно быть, любите исправно?

Фрошъ.

Вы были въ Ринахѣ недавно,
Тамъ Ганса не пришлось вамъ повидать?

Мефистофель.

Сегодня нѣтъ, спѣшили мы сейчасъ,
Но въ прошлый разъ онъ далъ намъ порученье:
Онъ вспоминалъ родныхъ, разспрашивалъ про васъ,
Прося вамъ передать его почтенье.

(*Кланяется Фрошу*).

Альтмейеръ (*тихо*).

Что, получилъ?

Зибель.

Не въ бровь, а прямо въ глазъ!

Фрошъ.

Постой немножко, не уйдетъ отъ насъ!

Мефистофель.

Мнѣ показалось, здѣсь поютъ.
Надѣюсь, мы не помѣшали;
Подъ сводами навѣрно тутъ
Прекрасно пѣсни бы звучали.

Фрошъ.

А сами вы пѣвецъ? спросить я смѣю.

Мефистофель.

О нѣтъ, охота есть, но силы врядъ!

Альтмейеръ.

Такъ спойте намъ.

Мефистофель.

Охотно, очень радъ.

Зибель.

Смотрите только, пѣсню поновѣе!

Мефистофель.

Мы изъ Испаніи: страна
Прекрасныхъ пѣсенъ и вина.

(*Поетъ*).

Жила блоха однажды;
Король ее любилъ—

Фрошъ.

Блоха! ты понимаешь? каково?
По моему, нѣтъ хуже ничего.

Мефистофель (*поетъ*).

Жила блоха однажды;
Король ее любилъ,
Ее боялся каждый,
Съ почтеньемъ обходилъ.
Король позвалъ портного,
Штаны ей заказалъ:
—„Чтобъ было все готово,
„Какъ я тебѣ сказалъ!“

Брандеръ.

Портному не забудьте разъяснить,
Чтобъ аккуратнѣй мѣрку снялъ,
И складокъ на штанахъ не оставлялъ,
Не то какъ разъ ведятъ его казнить.

Мефистофель.

Блоху всю разрядили
И ленту дали ей,
Крестовъ ей нацѣпили,
И нѣтъ ея важнѣй.
Министромъ называютъ,
И чтитъ ее весь дворъ,
Родныхъ ея считаютъ
Вельможами съ тѣхъ поръ.

Придворные и слуги
Не знаютъ, что начать;
Принцесса и подруги
Совсѣмъ не могутъ спать,
Не смѣютъ почесаться
И плакали не разъ.—
У насъ не смѣй кусаться,
Мы давимъ ихъ тотчасъ!

Хоръ (*подхватывая*).

У насъ не смѣй кусаться,
Мы давимъ ихъ тотчасъ!

Фрошъ.

Браво! браво! вотъ это слушать можно.

Зибель.

А блохъ не пропускайте ни одну.

Брандеръ.

Да, да, переловить ихъ осторожно.

Альтмейеръ.

Хвала свободѣ и вину!

Мефистофель.

За честь свободы самъ бы радъ я выпить съ вами,
Когда-бъ вина получше здѣсь могли достать.

Зибель.

Рѣчей такихъ мы просимъ васъ не повторять.

Мефистофель.

Изъ нашихъ погребовъ вина подать
Для всей компаніи велѣлъ-бы я сейчасъ,—
Хозяинъ только здѣсь разсердится на насъ.

Зибель.

Ну, ничего, все на себя готовъ я взять.

Фрошъ.

Коль вина хороши, расхвалимъ васъ прекрасно,
Одно прошу, побольше пробы дать,
Когда судить я долженъ безпристрастно,
Мнѣ надо полонъ ротъ набрать.

Альтмейеръ (*тихо*).

Они, должно-быть, съ Рейна сами.

Мефистофель.

Достаньте мнѣ буравъ.

Брандеръ.

Къ чему?
Не бочки же у васъ тамъ за дверями!

Альтмейеръ.

Тамъ, въ ящикѣ хозяйскомъ, дай ему.

Мефистофель (*беретъ буравъ*)
(*къ Фрошу*).

Скажите, чѣмъ васъ угощать?

Фрошъ.

Какъ такъ? Могу спросить, чего желаю?

Мефистофель.

На выборъ каждому предоставляю.

Альтмейеръ (*Фрошу*).

Ага! готовъ ты губы облизать.

Фрошъ.

Коль такъ, Рейнъ-вейна дайте мнѣ скорѣе;
Дары отечества всего милѣе.

Мефистофель (*просверливаетъ дыру противъ мѣста, гдѣ сидитъ Фрошъ*).

Для пробокъ попрошу смолы я.

Альтмейеръ.

Ахъ! это фокусы пустые.

Мефистофель (*къ Брандеру*).

А вамъ?

Брандеръ.

Шампанскаго прошу мнѣ дать,
И хорошо оно должно играть.

Мефистофель *сверлитъ; между тѣмъ одинъ изъ присутствующихъ засмолилъ пробку и закупорилъ дыру.*

Брандеръ.

Хорошее подъ часъ такъ далеко бываетъ,
А каждый добрый патріотъ,
Хотя французовъ онъ и презираетъ,
Но вина ихъ охотно пьетъ.

Зибель (*въ то время какъ Мефистофель подходитъ къ нему*).

Кислятины былъ врагъ всегда я.
Стаканъ послаще выберите сами.

Мефистофель (*сверлитъ*).

Я вамъ сейчасъ налью Токая.

Альтмейеръ.

Нѣтъ, вы смѣетесь, это ясно,
И только шутите надъ нами.

Мефистофель.

Ай, ай, съ такими господами
Шутить, пожалуй, и опасно.
Скорѣй, не тратя времени напрасно,
Скажите, чѣмъ могу служить!

Альтмейеръ.

Да всѣмъ; но только безъ разспросовъ!
(Дыры всѣ просверлены и закупорены).

Мефистофель (*дѣлая странные жесты*).

Есть рога у козы,
Виноградъ у лозы,
Дерево твердо, сокъ его жидокъ,
Столъ деревянный дастъ намъ напитокъ.
Кто скажетъ, суть вещей откуда?
Повѣрьте только, будетъ чудо!
Теперь возьмите пробки, можно пить!

Всѣ.

(Они вынимаютъ пробки, и въ стаканы ихъ льется вино).

О чудный ключъ, что можетъ лучше быть?

Мефистофель.

Смотрите только, какъ бы не пролить.
(Они продолжаютъ пить).

Всѣ (*поютъ*).

Какъ хорошо и сладко намъ,
Какъ будто пяти стамъ свиньямъ!

Мефистофель.

Привольно имъ, и веселы всѣ стали.

Фаустъ.

А намъ теперь убраться не пора-ли?

Мефистофель.

Немного погоди, зачѣмъ спѣшить напрасно,
Смотри, животное въ нихъ скажется прекрасно!

Зибель.

(пьетъ неосторожно; вино проливается на полъ и превращается въ пламя).

Пожаръ! горю! огонь свой адъ зажегъ!

Мефистофель *(захватывая пламя).*

Довольно, тише, милый огонекъ!
(Къ компаніи).
Чистилище огнемъ плеснуло къ вамъ немного.

Зибель.

Постой, я покажу, куда тебѣ дорога;
Поплатитесь, еще вы знаете насъ мало!

Брошъ.

Пусть съ нами такъ въ другой не шутитъ разъ.

Альтмейеръ.

А я просилъ бы ихъ убраться безъ скандала.

Зибель.

Какъ такъ, ихъ отпустить сейчасъ?
Позволить имъ дурачить насъ?

Мефистофель.

Ты, бочка старая, молчать!

Зибель.

Постой!
Вотъ я тебя! Какъ, ты еще грубить?

Брандеръ.

Да что, пора его тузить!

Альтмейеръ.

(*вытаскиваетъ пробку, на него брызжетъ огонь*).

Горю! горю!

Зибель.

Тутъ колдовство! За мной!
Не то какъ разъ уйдутъ они!
(*выхватываютъ ножи и бросаются на Мефистофеля*).

Мефистофель (*съ серьезными жестами*).

Лживая тѣнь,
Чувства одѣнь!
Свѣтъ заслони!
(*Они съ удивленіемъ смотрятъ другъ на друга*).

Альтмейеръ.

Гдѣ я? Чудесный край какой!

Фрошъ.

И виноградникъ.

Зибель.

Кисти подъ рукой.

Брандеръ.

Всѣ горы въ зелени стоятъ,
А что за лозы, что за виноградъ!

(*Онъ хватаетъ Зибеля за носъ, другіе другъ съ другомъ дѣлаютъ тоже и поднимаютъ ножи*).

Мефистофель (*тѣмъ-же тономъ*).

Теперь спади съ ихъ глазъ, обманчивый покровъ;
Смотрите, какъ и чортъ подъ часъ шутить готовъ!

(*Онъ исчезаетъ вмѣстѣ съ Фаустомъ, остальные отстраняются другъ отъ друга*).

Зибель.

Что здѣсь случилось?

Альтмейеръ.

Какъ?

Фрошъ.

Твой носъ?

Альтмейеръ.

Вотъ былъ ударъ,—сквозь всѣ прошелъ онъ жилы.
Ахъ, дайте сѣсть: стоять нѣтъ силы.

Фрошъ.

Скажите только, что случилось тутъ?

Зибель.

Но гдѣ жъ они? Коль ихъ накрою,
Они живыми не уйдутъ.

Альтмейеръ.

Я видѣлъ самъ, онъ предо мною
На бочкѣ вылетѣлъ верхомъ.
Какъ тяжело, и на ноги не встать!
(*Оборачиваясь къ стому*).
А что, вино польется-ли опять?

Зибель.

Нѣтъ, все одинъ обманъ и ложь кругомъ.

Фрошъ.

Казалось мнѣ, вино, ни дать, ни взять.

Брандеръ.

А виноградъ что значилъ и откуда?

Альтмейеръ.

Толкуй потомъ, что не бываетъ чуда!

Николай Ивановичъ Новиковъ [1]

Въ нынѣшнемъ году исполнилось 150 лѣтъ со дня рожденія Н. И. Новикова, и мы сегодня собрались всѣ сюда для того, чтобы благодарнымъ словамъ почтить память этого великаго дѣятеля, которому столько обязано русское просвѣщеніе.

Новиковъ, несомнѣнно, является однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ лицъ русской исторіи. Онъ играетъ выдающуюся роль въ развитіи русской литературы, а собственно въ исторіи журналистики нашей ему безспорно принадлежитъ первое мѣсто; великія заслуги его въ дѣлѣ изданія древнихъ памятниковъ никогда не будутъ забыты исторической наукой; онъ долженъ быть признанъ устроителемъ нашего книгоиздательскаго и книгопродавческаго, а также и типографскаго дѣла; онъ является памятнымъ дѣятелемъ по народному образованію на разныхъ ступеняхъ его, и имя его неразрывно связано съ одной изъ славнѣйшихъ эпохъ въ жизни Московскаго Университета; наконецъ, онъ является вліятельнымъ и энергичнымъ общественнымъ дѣятелемъ, въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, и значеніе его въ исторіи нашего общественнаго развитія имѣетъ чрезвычайную важность; все это даетъ полное право видѣть въ Новиковѣ одного изъ первыхъ дѣятелей русскаго просвѣщенія,—признать за нимъ одно изъ первыхъ мѣстъ среди всѣхъ великихъ дѣятелей русской исторіи. Имя Новикова—одно изъ самыхъ дорогихъ именъ въ нашемъ историческомъ прошломъ; поразительная по своимъ размѣрамъ и результатамъ дѣятельность его представляетъ не только одинъ историческій интересъ: можно смѣло сказать, что она до сихъ поръ полна живаго общественнаго значенія.

---

[1] Читано въ публичн. засѣданіи общества 13 ноября 1894.

Дѣятельность Новикова была до того широка и многосторонняя, до того знаменательны были ея результаты и важны самые способы ея развитія, что конечно нечего и думать очертить ее сколько нибудь полно въ томъ краткомъ очеркѣ, который я, согласно времени мнѣ отмѣренному, буду имѣть честь предложить вашему вниманію. Прежде всего я долженъ ограничить самую задачу моего очерка: я берусь въ немъ напомнить вамъ лишь только внѣшнюю, такъ сказать, исторію Новикова, т. е. размѣры и условія его дѣятельности, но и при такой задачѣ мнѣ придется говорить обо всемъ вкратцѣ, затрогивать многое лишь мимоходомъ, о нѣкоторыхъ вещахъ и совсѣмъ придется умалчивать. Но изъ того, можно сказать, краткаго, „перечня“, въ какомъ я напомню вамъ о жизни и дѣятельности Новикова, все-таки вытечетъ общая оцѣнка его заслугъ и его значенія.

При оцѣнкѣ дѣятельности Новикова нельзя не поражаться тѣмъ, съ какими малыми внѣшними средствами выступилъ Новиковъ на избранный имъ путь и какъ много сумѣлъ онъ сдѣлать, благодаря внутренней силѣ, положенной имъ въ избранное дѣло. Оцѣнки всего совершеннаго Новиковымъ нельзя не ставить въ ближайшую связь съ фактами его личной біографіи; съ другой стороны, его личная судьба, гоненія и страданія, которымъ онъ подвергался столь незаслуженно, получаютъ сами по себѣ общественное значеніе, увеличивая вмѣстѣ съ тѣмъ наше сочувствіе къ незабвенному дѣятелю.

Н. И. Новиковъ родился 27 октября 1744 г. въ селѣ Авдотьинѣ, которое находится теперь въ Бронницкомъ уѣздѣ Московской губерніи. Отецъ его, Иванъ Васильевичъ, начавшій службу при Петрѣ Великомъ, при Елизаветѣ Петровнѣ находился въ отставкѣ и жилъ въ деревнѣ, гдѣ и обученіе его дѣтей ограничивалось деревенскими средствами: сынъ его учился грамотѣ у дьячка. Позднѣе, уже по смерти отца, Новиковъ былъ опредѣленъ въ только что открывшуюся тогда въ Москвѣ университетскую гимназію, гдѣ и пробылъ нѣсколько лѣтъ; сначала его аттестовали какъ ученика, достойнаго награды, но въ 1760 г. онъ былъ исключенъ изъ „французскаго класса“—„за лѣность и нехожденіе въ классъ“. Біографы Новикова обыкновенно отмѣчаютъ при этомъ, что вмѣстѣ съ Новиковымъ былъ исключенъ и Потемкинъ, будущій „полудержавный властелинъ“. Мы не знаемъ подробностей пребыванія Но-

викова въ гимназіи, но во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что образованіе, полученное Новиковымъ въ молодости, было очень не блестящее. Пробывъ во „французскомъ классѣ“ три года, Новиковъ не выучился французскому языку и во всю жизнь не зналъ ни одного иностраннаго языка. Въ одномъ изъ писемъ, напечатанныхъ въ *Живописцѣ*, находится такое обращеніе къ самому Новикову: „Всего удивительнѣе, что вы, не зная ни по французски, ни по нѣмецки, слѣдовательно по одному природному разуму и остротѣ, не заимствуя изъ иностранныхъ писателей, пишите такіе листочки, которые многимъ вкусъ знающимъ людямъ нравятся“. Самъ Новиковъ уже незадолго до своей кончины писалъ Карамзину: „Однако, любезнѣйшій мой, не забывайте, что съ вами говоритъ Ідіотъ (невѣжда), не знающій никакихъ языковъ, не читавшій школьныхъ философовъ, и они никогда не лезли въ мою голову; это странность, однако, истинно было такъ“.

Можно, однако, думать, что пребываніе въ университетской гимназіи не было для Новикова совсѣмъ безполезно. Повидимому, помимо классныхъ занятій, въ университетской гимназіи была умственная атмосфера, оказывавшая вліяніе на воспитанниковъ. Въ одно время съ Новиковымъ въ этой гимназіи учился его сверстникъ Д. И. Фонвизинъ, въ запискахъ котораго мы находимъ извѣстное описаніе тѣхъ комическихъ результатовъ, которыхъ достигло гимназическое ученіе; но Фонвизинъ тутъ-же замѣчаетъ, что всетаки онъ обязанъ былъ этой школѣ — „вкусомъ къ словеснымъ наукамъ“. Очень возможно, что такой же „вкусъ къ словеснымъ наукамъ“ вынесъ изъ гимназіи и Новиковъ; по крайней мѣрѣ этотъ вкусъ сказался въ немъ очень рано, какъ сейчасъ увидимъ.

Новиковъ оставался въ Москвѣ до 1762 г., т. е. еще 2 года послѣ исключенія изъ гимназіи. У насъ нѣтъ никакихъ свѣдѣній объ этомъ времени жизни Новикова, но на основаніи нѣкоторыхъ косвенныхъ указаній можно, однако, предположить, что въ это время онъ поддерживалъ нѣкоторыя сношенія съ университетскими кругами.

Въ началѣ 1762 г. Новиковъ переѣхалъ въ Петербургъ для службы въ Измайловскомъ полку. Въ то утро, когда переворотъ возвелъ на престолъ Екатерину, часовымъ у подъемнаго моста Измайловскихъ казармъ стоялъ именно Новиковъ. Измайловскій

полкъ былъ за Екатерину, которая, пріѣхавъ утромъ 28 іюля въ Петербургъ, прямо направилась въ казармы измайловцевъ: здѣсь, въ эту важную минуту жизни Екатерины, Новиковъ въ первый разъ увидалъ ту, съ царствованіе которой онъ долженъ былъ явиться столь выдающимся дѣятелемъ, и отъ которой онъ долженъ былъ впослѣдствіи подвергнуться такому жестокому преслѣдованію. Послѣ переворота участникамъ его были розданы многочисленныя награды; и Новиковъ былъ произведенъ въ унтеръ-офицеры. Извѣстно, что въ этотъ-же день, 28 іюня, Екатерину увидалъ въ первый разъ Потемкинъ, товарищъ Новикова по исключенію изъ гимназіи, который тутъ же сумѣлъ обратить на себя вниманіе императрицы.

Продолжая потомъ еще нѣсколько лѣтъ служить въ Измайловскомъ полку, онъ не былъ увлеченъ службой, возможностью карьеры; онъ въ это уже время предался „вкусу къ словеснымъ наукамъ“ и, вѣроятно, много читалъ, заботился о пополненіи своего скуднаго образованія. Уже въ это время въ молодомъ измайловцѣ сказалось стремленіе къ книжному дѣлу, къ издательству; онъ тогда уже принялся за работу въ этой области, въ которой впослѣдствіи дѣятельность его была столь обширна и разнообразна. Мы знаемъ, что Новиковъ еще въ 1766 г. издалъ каталогъ одного петербургскаго книжнаго магазина, двѣ переводныя французскія повѣсти, какой-то сонетъ (1768 г.). Повидимому, онъ тогда-же обратилъ на себя вниманіе своимъ стремленіемъ къ научному самообразованію и любовью къ литературѣ: этимъ объясняется то, что въ 1767 г. онъ былъ выбранъ въ число молодыхъ людей, которымъ поручалось веденіе „дневныхъ записокъ“ въ коммиссіи депутатовъ для сочиненія проекта новаго уложенія. Этотъ выборъ указываетъ на довѣріе къ Новикову, такъ какъ Екатерина писала: „Протоколы суть особливой важности въ сей коммиссіи и наипаче въ Большомъ собраніи и того для къ держанію протокола опредѣлить особливыхъ дворянъ съ способностями“. Новиковъ работалъ въ Малой коммиссіи о среднемъ родѣ людей, а также и въ Большой коммиссіи. При докладахъ о работахъ коммиссіи Новиковъ сдѣлался лично извѣстенъ Екатеринѣ.

Трудно сомнѣваться, что участіе въ работахъ коммиссіи не могло остаться безъ вліянія на Новикова. Передъ нимъ здѣсь проходили многіе важные вопросы, выставленные русскою жизнью,

и, ведя протоколы Большой и Малой коммиссій, онъ вникалъ ближе въ дѣйствительныя условія окружавшаго его быта: это была прекрасная школа для будущаго журналиста и общественнаго дѣятеля.

По окончаніи работъ коммиссіи, Новиковъ вскорѣ вышелъ въ отставку и выступилъ на журнальное поприще, на которомъ ему пришлось сдѣлать такъ много.

Новиковъ выступалъ на журнальное поприще съ высокимъ понятіемъ о значеніи того дѣла, за которое брался; онъ очень высоко цѣнилъ вліяніе и задачи журналиста, ставилъ себѣ цѣлью — „принесть пользу своимъ согражданамъ“. Онъ видѣлъ въ литературномъ трудѣ не отдыхъ и развлеченіе, а серьезное общественное дѣло.

Извѣстно столкновеніе, которое имѣлъ первый журналъ Новикова съ органомъ самой императрицы. *Всякая Всячина* проповѣдовала умѣренность, а *Трутень* стоялъ за смѣлыя, открытыя обличенія. Въ этомъ спорѣ принимали участіе и другіе журналы, раздѣлившіеся на два лагеря. Новиковъ смѣло примѣнялъ въ своемъ *Трутнѣ* выставленную теорію и выступалъ съ обличеніями противъ очень вліятельныхъ сферъ, напр., противъ придворныхъ; онъ открыто возставалъ противъ злоупотребленій помѣщичьей власти, противъ неправосудія, взяточничества и т. д., и его сатирическіе очерки не были отвлеченными моральными разсужденіями, но имѣли непосредственное отношеніе къ русской дѣйствительности. *Трутень* возстановилъ противъ себя очень многихъ. Еще въ началѣ изданія въ журналѣ приведены слова одного знатнаго „господина“, говорившаго по адресу издателя *Трутня*: „не въ свои де этотъ авторъ садится сани... Въ старые бы времена послали бы его для пользы государственной описывать нравъ какого ни есть царства русскаго владѣнія“. До этого дѣло не дошло, но несомнѣнно, что Трутень сначала долженъ былъ измѣнить свой характеръ, умѣрить тонъ, а потомъ и совсѣмъ прекратился преждевременно, не по волѣ издателя.

Новиковъ не смутился отъ этой неудачи. Черезъ два года по прекращеніи *Трутня* онъ выступилъ съ другимъ сатирическимъ журналомъ — *Живописцемъ*. Новый журналъ отличался еще болѣе смѣлой сатирой; не вдаваясь въ подробности, укажу, что *Живописецъ* говорилъ самымъ рѣшительнымъ образомъ противъ крѣ-

постного права, и въ немъ были статьи, которыя по смѣлости тона напоминаютъ «Путешествіе» Радищева и нѣкоторыми изслѣдователями даже приписывались послѣднему; надо однако думать, что эти статьи писаны самимъ Новиковымъ. Участь *Живописца* была таже, что и *Трутня*: сначала журналъ долженъ былъ измѣнить тонъ, а потомъ и совсѣмъ прекратился, опять на второмъ году изданія. Вскорѣ Новиковъ сдѣлалъ новую попытку въ томъ же направленіи, хотя и по болѣе узкой программѣ: въ 1774 году онъ сталъ издавать *Кошелекъ*, журналъ спеціально направленный противъ французоманіи тогдашняго общества. И на этотъ разъ Новикову не повезло: его нападки противъ нравовъ свѣтскаго общества возбудили сильное неудовольствіе въ придворныхъ сферахъ, и нетолько журналъ прекратился на девятомъ нумерѣ, но, какъ говоритъ преданіе, издатель подвергся личнымъ непріятностямъ и долженъ былъ даже оставить на время Петербургъ.

Такова была судьба первыхъ трехъ журналовъ Новикова. Всѣ они имѣли большой и вполнѣ заслуженный успѣхъ среди читателей. Журналы Новикова, помимо смѣлой сатиры, помимо проповѣди гуманныхъ идей, замѣчательны и по литературному таланту. Мы имѣемъ основаніе считать, что Новиковъ самъ много писалъ для своихъ журналовъ: такимъ образомъ онъ явился не только прекраснымъ редакторомъ-издателемъ, но и талантливымъ авторомъ; по его журналамъ мы можемъ судить о томъ, какъ далеко подвинулся въ своемъ самообразованіи „фурьеръ Измайловскаго полка“.

Изъ трехъ журналовъ всего больше былъ успѣхъ *Живописца*, который, дѣйствительно, является лучшимъ журналомъ прошлаго вѣка. Онъ производилъ сильное впечатлѣніе, и одинъ изъ читателей писалъ: «Люблю въ писателѣ лучше всего доброе сердце и истинную любовь къ отечеству. Ты пишешь сатиры на тѣхъ людей, которыхъ давно уже пожурить надлежало: сказать-ли тебѣ? читая твой листокъ, я плакалъ отъ радости, что нашелся человѣкъ, который противъ господствующаго ложнаго мнѣнія осмѣлился говорить въ печатныхъ листахъ». И дѣйствительно, можно вполнѣ вѣрить, что смѣлая и благородная сатира Новикова могла дѣйствовать на читателей самымъ возбуждающимъ и возвышающимъ образомъ. *Живописецъ*, какъ сказано, имѣлъ особенный успѣхъ: въ теченіе прошлаго вѣка онъ былъ изданъ пять разъ (со включеніемъ въ него нѣкоторыхъ статей изъ *Трутня*). Новиковъ

самъ такъ объяснялъ успѣхъ журнала: „сіе сочиненіе попало на вкусъ публики, мѣщанъ нашихъ: ибо у насъ тѣ только книги третьими, четвертыми и пятыми изданіями печатаются, которые симъ простосердечнымъ людямъ, по незнанію ими иностранныхъ языковъ, нравятся». Это указаніе на кругъ читателей Новиковскихъ журналовъ въ высшей степени любопытно. По выраженію Тихонравова, новиковскіе журналы и не могли не понравиться простосердечнымъ читателямъ, мѣщанамъ, такъ какъ они стояли именно за ихъ интересы.—Упомяну еще, что не только *Живописецъ* былъ перепечатанъ и въ нашемъ вѣкѣ два раза (послѣдній разъ 30 лѣтъ назадъ, въ 1864 г., П. А. Ефремовымъ), но сдѣлана была попытка заимствовать изъ него статью для народнаго журнала «Мужичекъ» 1862 г.

Новиковъ не ограничивался изданіемъ сатирическихъ журналовъ: въ то же время онъ предпринялъ печатаніе цѣлаго ряда книгъ. Заслуги Новикова въ розысканіи и изданіи древнихъ памятниковъ, въ составленіи такихъ книгъ, какъ «Опытъ историческаго словаря о россійскихъ писателяхъ» и пр., — очень важны. Упомяну еще только о двухъ изданіяхъ этого рода — о «Древней Россійской Вивліоѳикѣ», изданной Новиковымъ сначала въ 10, потомъ въ 20 томахъ,—упоминаю здѣсь объ этомъ изданіи не только потому, что оно главнѣйшее изъ историческихъ изданій Новикова, но и потому, что недавно предпринята въ одномъ уѣздномъ городѣ перепечатка его: этотъ фактъ доказываетъ сохраняющій интересъ „Древней Россійской Вивліоѳики“. Другое изданіе, о которомъ я хочу упомянуть, это —„Повѣствователь Древностей Россійскихъ“. Новиковъ имѣлъ въ виду опять обширное историческое изданіе, но онъ могъ напечатать только первую часть: своимъ предисловіемъ, гдѣ онъ обличалъ свѣтскую пустоту и проповѣдовалъ необходимость благотворнаго труда, онъ вновь возбудилъ неудовольствіе, изданіе прекратилось, а вышедшій выпускъ, какъ можно думать, отбирался и уничтожался. Такимъ образомъ, и на поприщѣ ученыхъ изданій Новиковъ столкнулся съ тѣми препятствіями, которыя прекратили существованіе его сатирическихъ журналовъ, — столкнулся съ „чернымъ медвѣдемъ цензуры“, — по выраженію Карамзина. И Новикову, въ дальнѣйшей его дѣятельности, пришлось пострадать не отъ одного этого звѣря, не отъ одной книжной цензуры.

Нужно упомянуть еще о двухъ журнальныхъ предпріятіяхъ Новикова въ Петербургѣ; это—*С.-Петербургскія Ученыя Вѣдомости*, которыя посвящены были главнымъ образомъ литературной критикѣ, и журналъ *Утренній Свѣтъ*. Послѣдній журналъ отличался прямо масонскимъ оттѣнкомъ, — о значеніи масонства Новикова я буду сейчасъ говорить; теперь-же нужно отмѣтить двѣ особенности *Утренняго Свѣта*: во-первыхъ, онъ издавался цѣлымъ кружкомъ лицъ, и здѣсь впервые выказалось умѣніе Новикова привлекать людей къ совмѣстной работѣ на общественную пользу, а во-вторыхъ, это изданіе имѣло благотворительную цѣль; доходы съ него шли на содержаніе народныхъ училищъ: сначала было открыто на эти средства одно училище, а потомъ еще другое. Новиковъ сумѣлъ привлечь къ дѣлу училищъ общественное вниманіе и сочувствіе, въ редакцію стекалась пожертвованія; съ училищами была связана и благотворительность. Во всемъ этомъ дѣлѣ Новиковъ очень хорошо выказалъ свои способности къ широкой общественной организаціи. Издатели *Утренняго Свѣта* считали хозяевами школьнаго дѣла не себя, а всѣхъ подписчиковъ и жертвователей, и давали имъ самый подробный отчетъ въ журналѣ о ходѣ ученія въ школахъ, о матеріальномъ положеніи послѣднихъ. Новиковъ учрежденіемъ этихъ народныхъ училищъ (съ 1773 г.) почти на десять лѣтъ опередилъ правительство Екатерины, которая повидимому вовсе не была довольна, что Новиковъ призвалъ къ почину въ дѣлѣ народнаго образованія общественныя силы. Когда въ 1782 г. была основана коммиссія объ училищахъ, Новиковъ не былъ приглашенъ къ участію въ ней, хотя оба основанныя имъ училища тогда еще существовали. Любопытно отмѣтить, что толчекъ къ первому преслѣдованію Новикова во время московскаго періода его дѣятельности исходилъ именно изъ училищной коммиссіи.

Сказаннымъ приходится мнѣ ограничиться относительно годовъ, проведенныхъ Новиковымъ въ Петербургѣ. Но прежде чѣмъ обратиться къ его дѣятельности въ Москвѣ, я долженъ нѣсколько остановиться на масонствѣ Новикова. Его масонскія связи начались въ Петербургѣ, но полное развитіе онѣ получили въ Москвѣ, гдѣ онѣ очень опредѣленно отразились на всей дѣятельности Новикова. Его главные сотрудники были масоны, на его предпріятіе вліяли масонскіе взгляды, они вліяли на выборъ

издаваемыхъ книгъ, а одна изъ типографій, которыми завѣдывалъ Новиковъ, печатала только масонскія книги. Но не слѣдуетъ однако преувеличивать значеніе масонства въ дѣятельности Новикова, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые изслѣдователи. О масонствѣ Новикова иногда судятъ по его взглядамъ, по его письмамъ въ александровскую эпоху, но не надо забывать, что эти письма писаны уже больнымъ старикомъ, вся жизнь котораго, личная и общественная, была разбита, который, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ строгаго заключенія въ крѣпости, гдѣ онъ могъ читать только одну Библію, жилъ въ деревенскомъ уединеніи, окруженный больными дѣтьми: въ силу всѣхъ пережитыхъ несчастій мистицизмъ развился въ немъ до крайности, и Новикова этого времени нельзя смѣшивать съ прежнимъ Новиковымъ, который вступилъ въ масонство со многими оговорками. Говоря о вліяніи масонства на *дѣятельность* Новикова, мы должны признать, что оно лишь отражалось извѣстнымъ образомъ на этой дѣятельности, но не создало ее,—и въ этой дѣятельности многое оставалось независимымъ отъ масонства.

Увлеченіе Новикова масонствомъ объясняется отчасти личными его условіями, отчасти условіями общими того времени,—масонство было явленіемъ характернымъ для извѣстной эпохи европейской исторіи, и оно не могло въ силу этого не отразиться и у насъ, гдѣ къ тому-же оно встрѣчало и особыя благопріятныя условія. Въ частности въ увлеченіи Новикова масонствомъ мы видимъ вліяніе условій его образованія, и вліяніе русской жизни: Новиковъ спасался въ масонствѣ, такъ сказать, отъ «чернаго медвѣдя» и другихъ опасностей, съ которыми ему приходилось считаться; независимо отъ этого, Новиковъ, какъ мы знаемъ, усиленно стремился къ общественной организаціи, а для нея-то готовую форму въ извѣстномъ смыслѣ ему и давало масонство. Сказаннаго, кажется, довольно для того, чтобы въ общихъ чертахъ опредѣлить значеніе его для дѣятельности Новикова. Можно, думаю, сказать такъ: Новиковъ, съ его важнымъ общественнымъ дѣломъ, важнѣе въ исторіи масонства, чѣмъ масонство въ исторіи его дѣла. Мы должны признать, что сущность дѣятельности Новикова опредѣлялась не масонствомъ, основныя ея стремленія и задачи были выяснены имъ еще до его масонства, независимо отъ него, основные результаты этой дѣятельности имѣли значеніе и вліяніе тоже независимо отъ масонства.

Своей журнальной и издательской дѣятельностью въ Петербургѣ Новиковъ пріобрѣлъ уже почетную извѣстность, и въ 1779 г. куторъ Московскаго Университета Херасковъ предложилъ Новикову взять въ аренду университетскую типографію и *Московскія Вѣдомости*. Такъ какъ тогда нельзя было еще открывать частныхъ типографій, Новиковъ принялъ это предложеніе, переѣхалъ въ Москву, гдѣ скоро сумѣлъ довести свою просвѣтительную дѣятельность до безпримѣрнаго развитія.

Прежде всего Новиковъ затратилъ много труда и много средствъ на упорядоченіе и развитіе университетской типографіи, и въ нѣсколько лѣтъ достигъ того, что она не уступала лучшимъ европейскимъ типографіямъ. Такое положеніе типографіи дало Новикову возможность широко развить издательскую дѣятельность. Упомяну прежде всего, что онъ улучшилъ и расширилъ *Московскія Вѣдомости*, издавалъ при нихъ различныя приложенія: *Дѣтское Чтеніе* (Карамзинъ), *Экономическій Магазинъ* (Болотовъ), прибавленія литературнаго содержанія, *Магазинъ Натуральной Исторіи;* кромѣ того онъ отдѣльно издавалъ въ Москвѣ: *Утренній Свѣтъ*, *Московское Ежемѣсячное Изданіе*, *Вечернюю Зарю*, *Покоющагося Трудомобца*. Замѣчу, что въ послѣднемъ изданіи мы опять встрѣчаемъ нападки на крѣпостное право. Во всѣхъ этихъ изданіяхъ Новикова постоянно участвовали многіе изъ студентовъ университета.

Какъ и въ Петербургѣ, Новиковъ, не ограничиваясь изданіемъ журналовъ, печаталъ много книгъ. Въ первый же годъ по переѣздѣ въ Москву онъ выпустилъ изъ университетской типографіи 8 книгъ различнаго содержанія, и чѣмъ дальше, тѣмъ его книгоиздательская дѣятельность развивалась сильнѣе и сильнѣе: въ 1786 г., за шесть лѣтъ, Новиковъ напечаталъ въ университетской типографіи книгъ болѣе 400 названій,—больше, чѣмъ выпустила эта типографія за все предшествующее время своего существованія. Но особенные размѣры, особенное значеніе дѣятельность Новикова пріобрѣла съ основаніемъ Типографической Компаніи.

Новиковъ нашелъ въ Москвѣ цѣлый кругъ людей, которые стали усердными сотрудниками въ его просвѣтительной, общественной работѣ. Между ними было нѣсколько лицъ, замѣчательныхъ по своему характеру и убѣжденіямъ, по своей жизни. У меня нѣтъ времени останавливаться на Лопухинѣ, Гамалѣѣ, Походяши-

нѣ и другихъ выдающихся членахъ Новиковскаго кружка, но я не могу не сказать хотя коротко о профессорѣ Шварцѣ. Къ этому меня принуждаетъ особое значеніе Шварца въ кружкѣ Новикова, въ дѣятельности его; говорить о Новиковѣ, и особенно въ стѣнахъ Московскаго университета, и умолчать о Шварцѣ—нельзя.

Князь Гагаринъ пригласилъ Іоганна Георга Шварца пріѣхать въ 1776 г. въ Россію, въ качествѣ домашняго учителя. Тотчасъ-же по пріѣздѣ въ Россію Шварцъ ревностно принялся за изученіе русскаго языка и литературы. Онъ съ большимъ сочувствіемъ останавливался на дѣятельности Новикова; въ немъ онъ видѣлъ „особенную ревность къ просвѣщенію и горячую любовь къ отечеству", видѣлъ въ его дѣятельности — благородно опредѣлившуюся цѣль. Новиковскія изданія вызывали толки даже за-границей,—и Шварцъ, пріѣхавъ въ Россію, „пламенно желалъ познакомиться съ Новиковымъ". Знакомство это состоялось въ 1779 г., когда Новиковъ и Шварцъ оба съѣхались въ Москвѣ, одинъ какъ арендаторъ университетской типографіи, другой, какъ назначенный въ это время профессоромъ. Новиковъ разсказывалъ потомъ: „Въ одно утро пришелъ ко мнѣ нѣмчикъ, съ которымъ я, поговоря, сдѣлался во всю жизнь, до самой его смерти, неразлучнымъ; этотъ нѣмчикъ былъ Ив. Ег. Шварцъ". Новиковъ изумилъ Шварца тою желѣзною энергіею, съ какою онъ брался за дѣло, „гдѣ слѣдовало рисковать всѣмъ, надѣяться немногаго". Шварцъ сразу оцѣнилъ дѣло Новикова, понялъ, что „оно было необыкновенно важно для русскаго просвѣщенія". Шварцъ видѣлъ, что для осуществленія идей Новикова необходимо возможно широкое участіе общества. Онъ старался подготовить среди своихъ слушателей будущихъ дѣятелей великаго дѣла, старался воспламенить ихъ къ работѣ, пріохотить ихъ къ наукѣ, образовать изъ нихъ переводчиковъ. „Онъ началъ съ того, что раздѣлилъ между ними свою библіотеку, чтобы сообщить имъ вкусъ къ такому занятію: онъ зналъ изъ собственнаго опыта, какъ сильно дѣйствуетъ на юную душу подарокъ новой хорошей книги. Ему удалось. Молодые люди полюбили его, отцы являлись къ нему съ благодарностью, почти каждый день вводимъ онъ былъ въ новое семейство и осыпаемъ похвалами и благодарностію"... „Все это,— разсказываетъ Шварцъ,—исполнило меня райскими ощущеніями; я сгаралъ желаніемъ выразить благодарность свою народу, столь

благородному, столь жаждущему науки... Поэтому я рѣшился устроить Общество, которое... 1) по возможности распространило бы въ публикѣ правила воспитанія, 2) поддержало бы типографское предпріятіе Новикова переводомъ и изданіемъ полезныхъ книгъ и 3) старалось бы или привлекать въ Россію иностранцевъ, которые были бы способны давать воспитаніе, или,—что еще лучше,—воспитывать на свой счетъ учителей изъ русскихъ".

Отъ соединенія плановъ Новикова съ планами Шварца, отъ дружной ихъ совмѣстной работы надъ общимъ дѣломъ и возникли тѣ знаменитыя предпріятія, которыя составляютъ одну изъ самыхъ славныхъ эпохъ въ исторіи Московскаго университета и русскаго общества.

Для осуществленія вышеизложеннаго плана Шварцъ предложилъ учредить при университетѣ „учительскую" или „педагогическую" семинарію и пожертвовалъ на нее изъ своихъ средствъ 5,000 руб., а также снабдилъ новое учрежденіе книгами, пособіями и пр. Съ тою же цѣлью были сдѣланы пожертвованія Новиковымъ и его ближайшими друзьями. Семинарія была открыта 13-го ноября 1779 г.; Шварцъ сдѣлался ея инспекторомъ. Для привлеченія воспитанниковъ въ новооткрытую семинарію, основатели ея вошли въ сношенія съ епархіальными начальствами о присылкѣ лучшихъ семинаристовъ для опредѣленія стипендіатами. И такихъ было прислано изъ разныхъ мѣстъ немало. Это былъ первый опытъ, послѣ удачи котораго повели дѣло дальше. Новиковъ привлекалъ къ участію въ своихъ изданіяхъ молодыхъ людей, а Шварцъ составлялъ проектъ отдѣльной переводческой семинаріи, который и былъ осуществленъ немного позднѣе, пока же основано было еще другое новое учрежденіе—„собраніе университетскихъ питомцевъ", главнымъ руководителемъ котораго былъ опять-таки тотъ же Шварцъ, сдѣлавшій пожертвованія въ его пользу деньгами и книгами. Это учрежденіе было чрезвычайно полезно, и ему обязаны своимъ развитіемъ многіе изъ послѣдующихъ видныхъ дѣятелей литературы. Въ это же время, опять по иниціативѣ Шварца, при участіи Новикова и кружка его друзей, было устроено знаменитое „Дружеское Ученое Общество", которое приняло въ свое завѣдываніе прежнія учрежденія, собрало изъ пожертвованій значительныя средства, давшія возможность расширить всѣ начинанія, увеличить число стипендіатовъ до тридцати, купить для ихъ помѣщенія осо-

бый домъ у Меншиковой башни, гдѣ воспитанники жили подъ наблюденіемъ Шварца, который руководилъ ихъ занятіями, читалъ имъ на дому лекціи; лучшіе воспитанники посылались за границу оканчивать свое образованіе или на средства Дружескаго Общества, или на средства отдѣльныхъ его членовъ. Лекціи Шварца производили большое впечатлѣніе и привлекали немало слушателей, даже постороннихъ университету. Напомню, что черезъ вліяніе Дружескаго Общества прошелъ Карамзинъ и его Агатонъ, Петровъ. Кромѣ цѣлей непосредственно педагогическихъ, Дружеское Ученое Общество оказывало самую существенную поддержку въ книжныхъ предпріятіяхъ Новикова, оплачивая то или другое изданіе, разсылая даромъ учебники по провинціальнымъ школамъ и т. п. Дружеское Общество много занималось также пособіемъ бѣдному люду, надѣляло ихъ нужнымъ или заботилось объ устройствѣ ихъ судьбы и т. д. И при жизни Шварца Новиковъ былъ вмѣстѣ съ нимъ главнымъ дѣятелемъ Дружескаго Общества, а послѣ его смерти онъ сталъ его единственнымъ руководителемъ. Это было замѣчательное просвѣтительное дѣло, широко поставленное по своимъ задачамъ и пріемамъ, созданное по частной иниціативѣ, на частныя средства, веденное частными людьми, оказавшее благотворное вліяніе и на молодое поколѣніе, оставившее крупный слѣдъ въ исторіи нашего развитія, хотя и существовало собственно недолго. Это рѣдкій въ нашей исторіи примѣръ вліятельной общественной организаціи, примѣръ которой до сихъ поръ дѣйствуетъ освѣжающимъ образомъ. Это была одна изъ самыхъ замѣчательныхъ эпохъ въ жизни московскаго университета.

Не имѣю времени говорить здѣсь подробно о профессорской и педагогической дѣятельности Шварца, отличавшейся замѣчательнымъ успѣхомъ: „онъ привязалъ къ себѣ слушателей любовью и безпримѣрнымъ снисхожденіемъ“, на его частныя лекціи ходили „всякаго рода и званія люди“; не могу останавливаться также на значеніи Шварца въ дѣлѣ распространенія у насъ знанія нѣмецкой литературы, ни на изданіи имъ *Нѣмецкой Московской Газеты*; я замѣчу только, что по своему просвѣтительному вліянію на своихъ слушателей и на русское общество вообще Шварцъ по справедливости можетъ быть сравниваемъ съ Грановскимъ, какъ и эпоха восьмидесятыхъ годовъ въ жизни московскаго университета прошлаго вѣка съ эпохой сороковыхъ годовъ. Какъ извѣстно, Шварцъ

вызвалъ противъ себя неудовольствіе куратора Мелиссино и послѣ различныхъ непріятностей долженъ былъ оставить службу въ университетѣ. Прибавлю, что Шварцъ умеръ очень молодымъ человѣкомъ (род. 1751 г.—умеръ 17-го февраля 1784 г.) въ селѣ Очаково, принадлежавшемъ Хераскову, гдѣ и находится могила этого „нѣмчика“, который навсегда связалъ свое имя съ знаменательными событіями въ исторіи нашего просвѣщенія и нашего общества. Шварцъ много жертвовалъ на дѣла просвѣщенія изъ своихъ скромныхъ средствъ и даже передъ смертью „забылъ о любезнѣйшихъ ему смертныхъ, супругѣ и дѣтяхъ, при послѣднемъ дыханіи еще благодѣтельствовалъ наукамъ тѣмъ имуществомъ, которымъ онъ долженъ былъ облегчить нужды вдовы и сиротъ своихъ“. Онъ оставилъ свою семью безъ всякихъ средствъ, и заботы о ней принялъ на себя Новиковъ, у котораго она и поселилась въ деревнѣ.

Дружеское Ученое Общество, какъ полагаютъ, перестало существовать въ 1786 г., такъ какъ было поглощено другимъ еще болѣе широкимъ по своимъ размѣрамъ предпріятіемъ, именно „Типографическою Компаніей“, которая, основанная въ 1784 г., продолжала дѣло Дружескаго Общества по всей его программѣ, но спеціально расширила книгопродавческую и издательскую часть. Съ учрежденіемъ „Типографической Компаніи“, Новиковъ осуществилъ тотъ планъ „Общества, старающагося о печатаніи книгъ“, который онъ развивалъ въ своемъ *Живописцѣ* еще въ 1773 г.

Указъ о вольныхъ типографіяхъ, изданный въ 1783 г., разрѣшилъ открывать типографіи всѣмъ желающимъ. Этимъ и воспользовался Новиковъ. Онъ открылъ свою типографію, а затѣмъ учредилъ знаменитую Типографическую Компанію.

Типографическая Компанія состояла кромѣ Новикова еще изъ 14 членовъ. Основной капиталъ ея образовался изъ взносовъ разной величины и равнялся 57,500 р., да кромѣ того Новиковъ и братъ его отдали въ распоряженіе Компаніи печатныхъ книгъ на сумму 80,000 р., считая оцѣнку ихъ въ 25% каталожной цѣны, т. е. продажная стоимость книгъ достигала до 320,000 р. Уже по одному этому мы можемъ судить, до какой степени было развито издательское дѣло Новикова еще до образованія Типографической Компаніи.

Типографическая Компанія прежде всего открыла новыя типографіи: кромѣ типографіи на имя Новикова, была открыта другая на имя Лопухина, третья на имя самой Компаніи; одно время существовала отдѣльно еще небольшая тайная масонская типографія. Всѣ онѣ, числомъ такимъ образомъ пять, считая университетскую, находились подъ управленіемъ Новикова. Если и прежде Новиковъ сумѣлъ поставить высоко университетскую типографію и развить при ней одной такую издательскую дѣятельность, то теперь, при пяти типографіяхъ, при непосредственномъ участіи въ дѣлѣ особой Компаніи съ ея капиталомъ, средства Новикова умножились въ нѣсколько разъ.

Типографическая Компанія издавала множество книгъ; въ числѣ ихъ немало масонскихъ, но не надо преувеличивать значеніе масонскаго элемента въ изданіяхъ компаніи. Она печатала много книгъ и не масонскихъ, между прочимъ очень много хорошихъ и дешевыхъ учебниковъ, научныя книги и вообще много свѣтскихъ книгъ разнообразнаго содержанія. Это объясняется тѣмъ, что въ основу своего издательства онъ положилъ общія просвѣтительныя задачи, а также и тѣмъ, что онъ, желая распространенія книги, не могъ ограничиться одними мистическими изданіями, долженъ былъ считаться съ потребностями читателей... Еслибы Новиковъ, какъ, вѣроятно, желали этого нѣкоторые изъ его товарищей, всю свою дѣятельность направилъ на изданіе мистическихъ и вообще духовно-нравственныхъ книгъ, онъ потерпѣлъ бы неудачу, его дѣятельность не могла бы получить такого значенія, такого развитія. Новиковъ, опытный издатель, знакомый уже со вкусомъ и съ требованіями читателей - „мѣщанъ“, понималъ это и не хотѣлъ упорствомъ въ мистической пропагандѣ испортить свое просвѣтительное дѣло. Изъ того, что мы знаемъ о Новиковѣ, объ его издательскихъ пріемахъ, мы имѣемъ полное право заключить, что онъ хорошо понималъ эту сторону вопроса, и потому-то онъ, масонъ, велъ свое издательское предпріятіе не въ исключительномъ мистическомъ духѣ. Насколько разнообразны были изданія Новикова, можно видѣть изъ того, что въ спискѣ, который былъ составленъ во время слѣдствія надъ Новиковымъ, на 448 названій книгъ, изданныхъ Новиковымъ, мы находимъ 290 книгъ различнаго свѣтскаго содержанія, не говоря о значительномъ еще числѣ книгъ духовнаго содержанія, не касающихся масонства.

Чтобы судить о размѣрахъ книжной торговли Новикова, достаточно указать, что онъ велъ дѣло съ книгопродавцами въ Полтавѣ, Тамбовѣ, Глуховѣ, Псковѣ, Вологдѣ, Смоленскѣ, Орлѣ, Курскѣ, на Дону, въ Тульской губ., не говоря уже о Москвѣ и Петербургѣ. Новиковъ самъ открывалъ лавки въ разныхъ мѣстахъ. Насколько крупны были обороты Новикова, видно изъ того, что онъ отпускалъ иным торговцамъ книги десятками тысячъ экземпляровъ.

Для помѣщенія своихъ типографій и находившихся при нихъ наборщиковъ Типографическая Компанія пріобрѣла и приспособила огромный Гендриковскій домъ близъ Сухаревой башни, тотъ самый, гдѣ теперь помѣщаются Спасскія казармы. Здѣсь между прочимъ помѣщалась и аптека, принадлежавшая компаніи; аптека была лучшая въ Москвѣ, и изъ нея вышло нѣсколько наиболѣе извѣстныхъ потомъ въ Москвѣ провизоровъ; Компанія даромъ отпускала лѣкарства бѣднымъ; она имѣла кромѣ того и свою больницу для типографскихъ служащихъ. Это было предпріятіемъ совершенно новымъ и обратило на себя вниманіе.

Нельзя не упомянуть о голодѣ 1787 г., когда Новиковъ предпринялъ въ очень крупныхъ размѣрахъ продовольствіе нуждающихся. Голодъ былъ очень сильный; населеніе терпѣло тяжкую нужду; помощь была необходима. Разъ въ одномъ обществѣ Новиковъ много говорилъ о бѣдственномъ положеніи населенія, объ обязанности помогать ему. Послѣ его рѣчи къ нему подошелъ какой-то молодой человѣкъ и что-то пошепталъ ему на ухо, Оказалось, что это гвардейскій офицеръ Походяшинъ, сынъ сибирскаго богача. Рѣчь Новикова была для него такъ убѣдительна, что онъ тутъ же предложилъ Новикову по секрету въ распоряженіе его значительную часть своего крупнаго состоянія для оказанія пособія голодающимъ. Новиковъ воспользовался этимъ щедрымъ предложеніемъ, сталъ закупать хлѣбъ и даромъ раздавать его нуждающимся: помощь, имъ оказанная, была существенно важна и во многомъ помогла населенію пережить тяжелый годъ. Походяшинъ съ этого времени сблизился съ Новиковымъ, совершенно вошелъ во всѣ его виды, поддерживалъ всѣ его предпріятія своими средствами; онъ вложилъ въ дѣло Новикова почти все свое состояніе, и это дѣлалось имъ въ тайнѣ, такъ что въ обществѣ долго не знали, чѣмъ объяснить замѣтное сокращеніе средствъ Походяшина. Когда вмѣстѣ съ преслѣдованіемъ, обрушившимся на Новикова,

былъ остановленъ весь ходъ его громаднаго дѣла, представлявшаго крупное коммерческое предпріятіе, Походяшинъ лишился своихъ средствъ и умеръ въ бѣдности но это нисколько не измѣнило его чувствъ къ Новикову, и до конца его дней лучшимъ удовольствіемъ для него было смотрѣть на портретъ Новикова.

Сдѣланнаго краткаго обзора типографической, издательской, книготорговческой и благотворительной дѣятельности Новикова довольно, чтобы видѣть, какое это было широкое дѣло. Болѣе ста лѣтъ прошло, какъ дѣятельность Новикова прекратилась, а мы не можемъ указать въ нашей жизни другого равнаго явленія, другого столь же выдающагося дѣятеля на книжномъ поприщѣ. Само дѣло Новикова такъ велико, что не нужно много словъ для его характеристики. Скажу только, что въ дѣятельности Новикова мы должны цѣнить не только ея размѣры и ея результаты, не только то, что имъ было сдѣлано для развитія книжнаго и школьнаго дѣла, но и самую организацію дѣла. Новиковъ умѣлъ возбудить въ русскомъ обществѣ прошлаго вѣка необычайную энергію въ самодѣятельности. Дѣло Новикова было общественнымъ дѣломъ не только по своей сущности, по своимъ задачамъ и результатамъ, но и по своей организаціи. Въ этомъ былъ залогъ его успѣха, въ этомъ, по условіямъ того времени, была и причина его гибели.

Любопытно, что первымъ на Новикова напало учрежденіе, которое тогда вѣдало народное просвѣщеніе, учебное дѣло: въ 1784 году комиссія училищъ заявила свою претензію на перепечатку Новиковымъ нѣкоторыхъ учебниковъ, изданныхъ комиссіею. Новиковъ дѣйствовалъ здѣсь по прямому распоряженію главнокомандующаго Чернышева и вовсе не изъ за какихъ-либо барышей, а для того чтобы учебники находились въ продажѣ въ достаточномъ количествѣ и по дешевой цѣнѣ. Чернышевъ въ это время только-что умеръ, и Новикову, повидимому, пришлось подчиниться требованію, предъявленному комиссіею, именно передать въ ея распоряженіе всѣ непроданные экземпляры учебниковъ, а за проданные вернуть всю ихъ продажную стоимость. Гораздо важнѣе для положенія Новикова было то обстоятельство, что около этого же времени онъ навлекъ на себя неудовольствіе самой Екатерины изданіемъ одной переводной книжки противъ іезуитовъ, которымъ тогда покровительствовала императрица. Эти два случая были началомъ цѣлаго ряда непріятностей и преслѣдованій.

Въ слѣдующемъ году новый московскій главнокомандующій гр. Брюсъ получилъ отъ Екатерины указъ, заявлявшій, что въ типографіи Новикова печатается много странныхъ книгъ (масонскихъ), почему повелѣно составить опись его изданіямъ и передать ихъ всѣ на разсмотрѣніе московскаго архіепископа Платона, который долженъ былъ также испытать въ вѣрѣ самого Новикова. Брюсъ доносилъ государынѣ, что „содержатель (типографіи) Новиковъ чрезъ управу благочинія сысканъ и представленъ въ губернское правленіе, гдѣ и допрашиванъ". На допросѣ Новиковъ показалъ, что всѣ книги, имъ изданныя, онъ печаталъ не иначе, какъ съ разрѣшенія свѣтской или духовной цензуры, и не знаетъ, какія изъ этихъ книгъ могутъ быть противны законамъ; „намѣренія онъ при изданіи книгъ въ публику никакого другого не имѣлъ, кромѣ того, чтобы по силамъ его и по возможности приносить трудами его пользу отечеству чрезъ распространеніе книжной торговли, и честнымъ образомъ получать законами невозбранный прибытокъ".

Кромѣ допроса въ губернскомъ правленіи, произведеннаго по распоряженію самого Брюса, Новикова испытывалъ въ вѣрѣ архіепископъ Платонъ, какъ это было прямо предписано двумя указами Екатерины. Платонъ нѣсколько разъ доносилъ Екатеринѣ о ходѣ дѣла и въ окончательномъ донесеніи объ исполненіи всего порученія писалъ: «Какъ предъ Престоломъ Божьимъ, такъ и предъ твоимъ престоломъ, всемилостивѣйшая государыня императрица, я долженъ по совѣсти и сану моему донести тебѣ, что молю всещедраго Бога, чтобы не только въ словесной паствѣ, Богомъ и тобою, всемилостивѣйшая государыня, мнѣ вѣренной, но и во всемъ мірѣ были христіане таковые, какъ Новиковъ". Книги, присланныя Платону на разсмотрѣніе, онъ раздѣляетъ въ своемъ донесеніи на три разряда. «Въ первомъ находятся книги собственно литературныя, и какъ литература наша доселѣ крайне еще скудна въ произведеніяхъ, то весьма желательно, чтобы книги въ этомъ родѣ были болѣе и болѣе распространяемы и содѣйствовали бы къ образованію". Второй разрядъ — книги мистическія, которыхъ Платонъ, по его словамъ, не понималъ; третій разрядъ — книги, написанныя энциклопедистами, эти—самыя зловредныя. Но такой отвѣтъ не согласовался со взглядами Екатерины; она и въ это время еще не хотѣла поднимать гоненія противъ произведеній французскихъ философовъ, но была противницей мистической ли-

тературы, въ которой могли, по ея мнѣнію, вкрасться „расколы, колобродства и всякія нелѣпыя толкованія». Такимъ образомъ, Екатерина не была удовлетворена тѣмъ «испытаніемъ», которое произвелъ Платонъ, признавшій Новикова за безупречнаго христіанина и не осудившій прямо масонскихъ книгъ.

Благопріятный отзывъ Платона не прекратилъ всѣхъ затрудненій Новикова. Окончательный отчетъ въ исполненіи порученія былъ данъ Платономъ въ январѣ 1786 г., но московскія власти продолжали держать лавку Новикова запечатанною, запретивъ ему всякую торговлю книгами. Въ концѣ марта состоялось Высочайшее повелѣніе о разрѣшеніи Новикову торговли книгами съ опечатаніемъ только части книгъ, признанныхъ вредными. Новиковъ долженъ былъ дать подписку, что запрещенными книгами онъ торговать не будетъ.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ гр. Брюсъ былъ переведенъ въ Петербургъ, а главнокомандующимъ въ Москву былъ назначенъ Еропкинъ, при которомъ Новикову и его друзьямъ было жить легче, и Новиковъ продолжалъ развивать свое книжное дѣло, какъ и свою благотворительность. Екатерина не забывала однако своихъ неудовольствій на Новикова; она съ большимъ подозрѣніемъ отнеслась къ той широкой помощи голодающимъ, которую организовалъ Новиковъ въ 1787 г.: это дѣло хорошо показало вліяніе, какимъ пользовался Новиковъ, а такъ какъ при этомъ источникъ крупныхъ средствъ, затраченныхъ Новиковымъ на продовольственную помощь населенію, (т. е. пожертвованіе Походяшина) не былъ извѣстенъ, то и дѣло Новикова представлялось окруженнымъ таинственностью. Изъ Москвы при Еропкинѣ никакихъ жалобъ на Новикова не шло, и онъ продолжалъ дѣйствовать свободно, но Екатерина не оставляла своего нерасположенія и еще задолго до истеченія срока контракта Новикова на аренду университетской типографіи повторяла не одинъ разъ распоряженіе, чтобы типографію больше Новикову не отдавать, что, конечно, и было исполнено. Для Новикова лишеніе университетской типографіи, которую онъ такъ улучшилъ и усилилъ, не могло не представлять очень чувствительной потери, существеннаго препятствія въ веденіи его книжнаго дѣла, но у него остались частныя типографіи, въ это время слившіяся уже въ одну компанейскую, и онъ продолжалъ свое предпріятіе, хотя чувствовалъ все больше и больше стѣсне-

ній. Но скоро началось окончательное гоненіе на Новикова и на его дѣло.

Въ 1790 г. Еропкина, который, какъ говорится въ запискахъ Лопухина, противъ Новикова и его друзей дѣлалъ только то, что принужденъ былъ дѣлать, смѣнилъ кн. Прозоровскій. Это былъ человѣкъ недалекій, невѣжественный, подозрительный и жестокій; его главнымъ стимуломъ было желаніе выслужиться передъ Екатериной, и онъ былъ способенъ на все, если думалъ, что можетъ угодить ей. Когда Прозоровскій былъ назначенъ московскимъ главнокомандующимъ, Потемкинъ писалъ Екатеринѣ: „Ваше императорское величество выдвинули изъ вашего арсенала самую старую пушку, которая непремѣнно будетъ стрѣлять въ вашу цѣль, потому что своей не имѣетъ. Только берегитесь, чтобы она не запятнала кровью въ потомствѣ имя вашего величества".

Время было тревожное: событія во Франціи возбудили опасенія и въ Екатеринѣ. Въ Россіи начинались различныя строгости. Прозоровскій былъ подходящій человѣкъ для такого направленія. Онъ началъ въ Москвѣ слѣдить не только за французами, тамъ жившими, но распространилъ свою подозрительность и на многихъ русскихъ, въ томъ числѣ, конечно, и на Новикова съ его друзьями. Онъ постоянно доносилъ въ Петербургъ о подозрительныхъ, по его мнѣнію, дѣйствіяхъ Новикова и его товарищей, такъ что однажды Екатерина спросила его, почему же онъ не арестуетъ такихъ подозрительныхъ людей. Прозоровскій отвѣчалъ, что государынѣ стоитъ только приказать, но она возразила: «нѣтъ, надобно найти причину».

При такомъ отношеніи къ дѣлу, преслѣдованія противъ Новикова были только вопросомъ времени. И вотъ уже въ слѣдующемъ году Екатерина подписала указъ противъ Новикова, но она еще не рѣшилась дать дѣлу открытый ходъ и послала въ Москву для негласнаго разслѣдованія гр. Безбородка, предоставивъ ему по усмотрѣнію передать Прозоровскому или не передавать указа противъ Новикова. Безбородко не нашелъ основаній давать дѣлу ходъ. Новиковъ былъ пока оставленъ въ покоѣ. Открытое преслѣдованіе его было отсрочено; но положеніе дѣла было уже таково, что онъ вынужденъ былъ прекратить существованіе въ 1791 г. Типографической Компаніи: такъ послѣ семилѣтней дѣятельности погибло это замѣчательное учрежденіе, оставившее такой важный слѣдъ

въ исторіи нашего просвѣщенія и нашего общественнаго развитія. Но близка была уже и катастрофа съ самимъ Новиковымъ.

Въ апрѣлѣ 1792 г. состоялся высочайшій указъ о разслѣдованіи, не печатаетъ ли Новиковъ въ противность закону книгъ церковной печати. Это повело къ аресту Новикова и къ разслѣдованію всей его дѣятельности.

Получивъ указъ Екатерины, Прозоровскій распорядился произвести обыскъ во всѣхъ книжныхъ лавкахъ Москвы, а къ Новикову, который послѣ закрытія Типографической Компаніи поселился въ своемъ Авдотьинѣ, послалъ для обыска совѣтника уголовной палаты Алсуфьева, поручивъ ему доставить самого Новикова въ Москву. Новиковъ былъ очень боленъ, и Алсуфьевъ не рѣшился его везти, оставивъ его подъ надзоромъ городничаго. Тогда Прозоровскій отправилъ за Новиковымъ майора кн. Жевахова съ 12 гусарами, однимъ оберъ- и унтеръ-офицеромъ и капраломъ. Появленіе военной силы въ Авдотьинѣ такъ испугало старшихъ дѣтей Новикова, что оба они, и сынъ и дочь, сдѣлались на всю жизнь припадочными. Новикова взяли; крестьяне провожали его со слезами. Больной Новиковъ былъ привезенъ подъ конвоемъ гусаръ въ Москву и прямо былъ представленъ къ князю Прозоровскому, который самъ снялъ съ него тутъ же допросъ, по указу, главнымъ образомъ относительно имущественнаго положенія арестованнаго, а также о нѣкоторыхъ его изданіяхъ. Разсказываютъ, что невѣжество Прозоровскаго было таково, что онъ, взявъ одну изъ книгъ и указывая въ ней въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ на цифры, означающія ссылки на различныя мѣста священнаго писанія, сказалъ Новикову: «вотъ тутъ, подъ этими условными знаками, скрываются ваши вловредные замыслы и преступныя ученія; но все это теперь откроется".

Новикова совсѣмъ больного посадили подъ арестъ въ его собственномъ домѣ, на площади около Никольскихъ воротъ (этотъ домъ приблизительно стоялъ тамъ, гдѣ теперь находится извѣстный Шиповскій домъ, въ настоящее время принадлежащій Человѣколюбивому Обществу). При Новиковѣ находился и раздѣлялъ его заключеніе докторъ Багрянскій, одинъ изъ воспитанниковъ Дружескаго Ученаго Общества, недавно вернувшійся изъ-за границы, куда онъ ѣздилъ на счетъ Новикова. Прозоровскій содержалъ Новикова подъ самымъ строжайшимъ арестомъ, не дозволялъ ему ни-

какихъ сношеній съ внѣшнимъ міромъ. Онъ писалъ майору Жеваховy, который караулилъ Новикова: „Рецепту въ аптеку писать позволяйте доктору при себѣ, а по написаніи, взявъ оный подъ видомъ посылки въ аптеку, присылайте въ мою канцелярію, а оттуда уже получая, отправлять оные въ аптеку“.

Новиковъ опредѣленно отвѣчалъ на вопросы, предложенные ему Прозоровскимъ, опровергалъ обстоятельно тѣ обвиненія, которыя противъ него были выставлены, но его предубѣжденный и малопонимающій дѣло слѣдователь полагалъ, что это все одна хитрость. Прозоровскій писалъ Екатеринѣ: „таковаго коварнаго и лукаваго человѣка, всемилостивѣйшая государыня, мало видалъ; а къ томуже человѣкъ натуры острой, догадливый и характеръ смѣлый и дерзкій: хотя видно, что онъ робѣетъ, но не замѣшивается; весь его предметъ только въ томъ, чтобы закрыть преступленіе... Притворяется такъ, что прежде посланный совѣтникъ Алсуфьевъ съ товарищами увѣрились, что онъ опасенъ въ жизни, и онъ просилъ ихъ, чтобы его исповѣдать и причастить. Но на сіе Алсуфьевъ не согласился. А маіоръ Жеваховъ сказывалъ, что все падалъ въ обмороки, а у меня началъ такъ притворяться, что онъ будто бы въ изнеможеніе приходитъ. Но я ему сказалъ, что сіе излишне: хотя онъ можетъ нездоровъ, но не такъ слабъ, а позволилъ ему сѣсть и сказывать отвѣты секретарю“. И тутъ же Прозоровскій проситъ, чтобы для разслѣдованія дѣла прислали въ Москву знаменитаго екатерининскаго „слѣдователя“ Шешковскаго, который былъ извѣстенъ своимъ жестокимъ обращеніемъ съ допрашиваемыми. При встрѣчѣ съ Шешковскимъ кн. Потемкинъ всегда спрашивалъ его: „ну, что, Степанъ Ивановичъ, какъ кнутобойничаешь?“ Прозоровскій нѣсколько разъ повторялъ свою просьбу и въ донесеніяхъ Екатеринѣ, и въ письмахъ къ самому Шешковскому, но она не была исполнена, хотя Новиковъ все-таки вскорѣ попалъ въ руки Шешковскаго.

Екатерина одобрила всѣ распоряженія Прозоровскаго и дала ему нѣсколько указаній для дальнѣйшаго веденія слѣдствія. Такъ она писала московскому главнокомандующему: «Вамъ извѣстно, что Новиковъ и его товарищи завели больницу, аптеку, училище и печатаніе книгъ, давъ такой всему благовидный видъ, что будто бы всѣ тѣ заведенія они дѣлали изъ любви къ человѣчеству; но слухъ давно носится, что сей Новиковъ и его товарищи сей

подвигъ въ заведеніи дѣлали отнюдь не изъ человѣколюбія, но для собственной своей корысти, уловляя пронырствомъ и ложною какъ бы набожностію слабодушныхъ людей, корыстовались грабленіемъ ихъ имѣній, въ чемъ онъ неоспоримыми доказательствами обличенъ быть можетъ". Это указаніе заставило Прозоровскаго вновь и усиленно допрашивать Новикова объ имущественныхъ дѣлахъ, какъ личныхъ его, такъ и компанейскихъ, и искать во что бы то ни стало „неоспоримыхъ доказательствъ" для обличенія Новикова въ корыстныхъ злоупотребленіяхъ. Это обвиненіе Новикова въ корысти, среди всѣхъ несправедливыхъ обвиненій, которымъ онъ подвергся, представляется самымъ нелѣпымъ.

Прозоровскій продолжалъ усиленно вести разслѣдованіе, допрашивалъ Новикова и разныхъ прикосновенныхъ къ дѣлу лицъ, чинилъ обыски, разбиралъ бумаги, писалъ донесенія. Изъ этихъ донесеній и изъ его писемъ къ Шешковскому хорошо видно, какъ мало понималъ онъ вопросы, съ которыми ему приходилось тутъ имѣть дѣло. Что же касается до пріемовъ слѣдователя, о нихъ можно судить по его собственному заявленію: когда Новиковъ, „сказываясь нездоровымъ", замедлилъ отвѣтомъ на вопросные пункты, „я обѣщалъ перевесть его въ тайную экспедицію и ѣсть давать не велѣлъ, такъ оный и исполнилъ".

Въ указѣ Екатерины 1-го мая было сказано: „повелѣваемъ онаго Новикова на основаніи нашего учрежденія (т. е. учрежденія о губерніяхъ) предать законному сужденію, избравъ надежныхъ вамъ людей; по окончаніи же во всѣхъ судахъ того слѣдствія и заключеній, должны они представить вамъ на ревизію, вы же препроводите на разрѣшеніе въ сенатъ". Прозоровскій не исполнилъ этого повелѣнія, руководствуясь слѣдующими соображеніями. Во-первыхъ, если передать дѣло въ судъ на основаніи общаго порядка, то такимъ же образомъ можно было дѣлать выборъ въ судьи людей надежныхъ? Выборъ судей тутъ не могъ уже зависѣть отъ главнокомандующаго. Во-вторыхъ, отъ передачи дѣла Новикова въ судъ законнымъ порядкомъ Прозоровскій воздержался по такимъ соображеніямъ: разъ Новиковъ былъ бы преданъ суду, при арестѣ его пришлось бы держаться уже законнаго порядка, его нельзя было бы подвергать такимъ слѣдствіямъ, а затѣмъ на судѣ Новиковъ могъ бы своими показаніями относительно масонства запутать дѣло. Екатерина признала эти доводы вполнѣ уважитель-

ными. Прозоровскій не предвидѣлъ или по крайней мѣрѣ не указалъ еще одного довода противъ суда надъ Новиковымъ: разъ нельзя было сдѣлать подбора судей, можно было опасаться встрѣтить среди нихъ людей, которые не признаютъ достаточныхъ основаній для осужденія Новикова, подобно тому, какъ это случилось при послѣдующемъ судѣ надъ книгопродавцами, бравшими у Новикова запрещенныя книги: противъ осужденія книгопродавцевъ рѣшительно выступили представители московскаго университета, профессоръ россійскаго законоискусства Горюшкинъ и депутатъ Жегулинъ.

10-го мая Екатерина повелѣла отправить Новикова тайно въ Шлиссельбургскую крѣпость. Здѣсь въ Шлиссельбургѣ Новиковъ и подвергся допросамъ Шешковскаго. Допросъ былъ гораздо подробнѣе, чѣмъ въ Москвѣ, но и Шешковскій ничего не узналъ новаго въ пользу обвиненія, и ему не удалось запутать Новикова. Отвѣты на вопросные пункты Шешковскаго принадлежатъ къ числу наиболѣе важныхъ матеріаловъ для біографіи Новикова, и я ими выше не разъ пользовался. Въ подробный разборъ ихъ, какъ слѣдственнаго документа, я вдаваться не буду; сдѣлаю только одно общее замѣчаніе. Прежде были опубликованы только *отвѣты* Новикова, а *вопросные пункты* еще не были извѣстны. М. Н. Лонгиновъ, оцѣнивая отвѣты, находилъ, что они не даютъ матеріаловъ для обвиненія Новикова, и предполагалъ, что, можетъ быть, при сличеніи съ заданными вопросами отвѣты казались неполными, неудовлетворительными. Когда затѣмъ стали извѣстны и вопросы Шешковскаго, г. А. Поповъ призналъ, что они доказываютъ неудовлетворительность отвѣтовъ Новикова. Съ такимъ мнѣніемъ невозможно согласиться: ни вопросные пункты, ни особое опроверженіе оправданій Новикова, написанное Шешковскимъ, нисколько не подрываютъ того впечатлѣнія, какое производятъ отвѣты Новикова сами по себѣ; по-прежнему мы должны признать, что слѣдствіе не дало достаточныхъ основаній для осужденія Новикова.

Но осужденіе это было произнесено, и притомъ очень строгое. Высочайшій указъ, который былъ подписанъ 1-го августа, но передъ тѣмъ нѣсколько недѣль лежалъ у Екатерины на столѣ, какъ будто она долго не рѣшалась осудить Новикова, рѣшилъ судьбу шлиссельбургскаго узника: онъ долженъ былъ остаться заключеннымъ въ Шлиссельбургѣ на 15 лѣтъ.

Какія же обвиненія выставлены противъ Новикова въ указѣ 1-го августа? Разсмотрѣвъ все слѣдственное дѣло о Новиковѣ, Екатерина нашла „съ одной стороны вредные замыслы сего преступника и его сообщниковъ, духомъ любоначалія и корыстолюбія зараженныхъ, съ другой же крайнюю слѣпоту, невѣжество и развращеніе ихъ послѣдователей. На семъ основаніи составлено ихъ общество; плутовство и обольщеніе было употребляемо къ распространенію раскола не только въ Москвѣ, но и въ другихъ городахъ прочихъ". „Хотя Новиковъ въ этомъ и не сознается, однако онъ и его соучастники совершенно изобличаются въ важныхъ государственныхъ преступленіяхъ. Они дѣлали тайныя сборища съ подобіемъ богослуженія". По поводу этого обвиненія надо замѣтить, что тайныя сборища масоновъ хорошо были извѣстны правительству; что же касается собственно Новикова, то еще при испытаніи въ вѣрѣ, которому его подвергалъ Платонъ въ 1786 г., онъ прямо заявилъ, что принадлежитъ къ масонамъ, и ему не было тогда запрещено оставаться масономъ, на что онъ справедливо и указываетъ въ своихъ показаніяхъ. Кромѣ того обвиненіе Новикова въ „гнусномъ расколѣ" не имѣетъ значенія въ виду авторитетнаго заявленія Платона о безупречности Новикова въ религіозномъ отношеніи. Далѣе, указъ обвиняетъ Новикова и его товарищей въ подчиненіи герцогу Брауншвейгскому, вообще въ тайныхъ сношеніяхъ съ иностранцами. Всѣ эти сношенія съ герцогомъ Брауншвейгскимъ и съ другими имѣли своимъ содержаніемъ исключительно дѣла и вопросы масонства и никакого политическаго значенія не имѣли. Затѣмъ слѣдуетъ обвиненіе въ сношеніяхъ съ великимъ княземъ Павломъ Петровичемъ. На этомъ обвиненіи Екатерина особенно настаивала, придавала ему особое значеніе, но изъ документовъ мы знаемъ, что сношенія масоновъ съ великимъ княземъ ограничились поднесеніемъ ему нѣсколькихъ книгъ, которыя онъ самъ пожелалъ имѣть, и ни малѣйшаго оттѣнка политическаго не имѣли. Такъ показалъ и самъ великій князь, и Екатерина въ своемъ замѣчаніи на оправдательной записочкѣ его признала, что вѣритъ его искренности, хотя почему-то увидала въ этомъ еще новый доводъ къ обвиненію Новикова. Вообще ни о какихъ политическихъ замыслахъ, а слѣдовательно и о государственныхъ преступленіяхъ Новикова и его товарищей не можетъ быть и рѣчи. По замѣчанію А. Н. Пыпина, масоны

въ политикѣ были „совершенно агнцы“. Опасными для государства ихъ можно было признать только съ точки зрѣнія кн. Прозоровскаго, который писалъ Екатеринѣ: масоны признаютъ Христа своимъ начальникомъ; „сей пунктъ по мнѣнію моему наиважнѣйшій: гдѣ Христосъ управляетъ, или они его вдохновеніемъ, то тутъ другаго правительства, какъ гражданскаго, такъ и духовнаго быть не можетъ“. Но и Прозоровскій въ другомъ мѣстѣ говоритъ, что правило масоновъ—„1-е повиноваться Богу, а второе—государю“—и другія „для правительства полезны“. Нѣкоторыя основанія имѣютъ обвиненія въ печатаніи тайно книгъ: мы знаемъ, что у масоновъ была тайная типографія для напечатанія своихъ мистическихъ сочиненій, но опять-таки политическаго значенія и это обвиненіе не имѣетъ. Притомъ надо замѣтить, что всѣ перечисленныя обвиненія самъ указъ совершенно основательно относитъ не къ одному Новикову, а ко всѣмъ его соучастникамъ-масонамъ. И если въ пересчитанныхъ пунктахъ видѣть важныя обвиненія противъ масоновъ, то надо замѣтить, что Новиковъ вовсе не былъ единственнымъ руководителемъ ихъ, не былъ главнѣйшимъ дѣятелемъ масонства, и отчасти даже расходился со своими товарищами, которые признавали его недостаточно преданнымъ масонству. Во всякомъ случаѣ по указаннымъ пунктамъ Новиковъ никакъ не могъ отвѣчать одинъ, а между тѣмъ это такъ и случилось: другіе масоны отдѣлались очень легко. Даже кн. Прозоровскій писалъ Шешковскому: „я не понимаю конца сего дѣла, какъ ближайшіе сообщники, если онъ преступникъ, то и тѣ преступники!“ Противъ собственно одного Новикова въ указѣ есть лишь обвиненіе въ торговлѣ запрещенными книгами. Мы знаемъ, что въ 1786 г. у Новикова часть книгъ была опечатана, и съ него была взята подписка, что онъ этими книгами торговать не будетъ; но у него тѣ же самыя книги остались еще и не опечатанными, и онъ потомъ понемногу пустилъ ихъ въ продажу. Тутъ онъ дѣйствительно нарушилъ по существу данную имъ подписку, но, конечно, въ этомъ дѣлѣ не было опять-таки никакой государственной, капитальной вины, и книгопродавцы, которые знали, что берутъ у Новикова запрещенныя книги, и даже сами ихъ у него выпрашивали, не подверглись наказанію: значитъ, эти „запрещенныя“ книги не признавались очень опасными.

И вотъ, на основаніи такихъ данныхъ былъ осужденъ Нови-

ковъ. Въ указѣ говорится: „Впрочемъ, хотя Новиковъ и не открылъ еще сокровенныхъ своихъ замысловъ, но вышеупомянутыя обнаруженныя и собственно имъ признанныя преступленія столь важны, что по силѣ законовъ тягчайшей и нещадной подвергаютъ его казни (т. е. смертной). Мы однакожь и въ семъ случаѣ слѣдуя сродному намъ человѣколюбію и оставляя ему время на принесеніе въ своихъ злодѣйствахъ покаянія, освободили его отъ оной и повелѣли запереть его на 15 лѣтъ въ Шлиссельбургскую крѣпость".

Обвиненія противъ Новикова не разъ подвергались въ литературѣ подробному разбору: Лонгиновъ, А. Н. Пыпинъ, А. И. Незеленовъ одинаково признали обвиненія эти недоказанными, неосновательными. Здѣсь самъ собой выдвигается вопросъ: въ чемъ же заключалась причина осужденія Новикова, почему онъ подвергся такой тяжкой карѣ? Г. Незеленовъ хочетъ видѣть причины осужденія Новикова въ его литературной дѣятельности, которая во многомъ не должна была нравиться Екатеринѣ, въ его педагогическихъ теоріяхъ, которыя противорѣчили взглядамъ и дѣятельности Екатерины въ этой области. Но литературныя столкновенія у Екатерины съ Новиковымъ были задолго до его осужденія, и мы не можемъ видѣть въ нихъ причины его; можемъ только признать, что у Екатерины съ тѣхъ поръ осталось нерасположеніе къ Новикову, которое имѣло извѣстное вліяніе на исходъ его дѣла. Еще Карамзинъ искалъ причины осужденія Новикова помимо оффиціально выставленныхъ обвиненій и между прочимъ на первомъ мѣстѣ поставилъ раздачу Новиковымъ хлѣба голодающимъ, которая казалась удивительной, когда не знали, что деньги на это далъ разорившійся при этомъ случаѣ Походяшинъ. Мнѣ кажется, что Карамзинъ указалъ одно изъ главныхъ проявленій того, въ чемъ заключалась „вина" Новикова.

Можно находить немало различныхъ причинъ неудовольствія Екатерины на Новикова, но всѣхъ ихъ недостаточно, чтобы объяснить его осужденіе. Необходимо взять всю дѣятельность Новикова въ совокупности; въ ея общемъ характерѣ, въ ея значеніи мы и найдемъ ключъ къ дѣлу. Новиковъ былъ самостоятельнымъ общественнымъ дѣятелемъ, и вотъ этого-то Екатерина не хотѣла и не могла простить ему. Новиковъ дѣлалъ широкое и важное общественное дѣло независимо отъ оффиціальнаго направленія, безъ

прямой связи съ дѣятельностью тогдашняго правительства, и этого было достаточно, по условіямъ того времени, чтобы вызвать противъ него гоненія. Только этой общей причиной и можно объяснить осужденіе Новикова: онъ былъ главою общественнаго движенія.

Новиковъ пользовался широкой извѣстностью. Вѣсть о постигшемъ его несчастіи быстро распространилась повсюду. Сочувствіе къ его судьбѣ было выражено Карамзинымъ въ его одѣ къ Милости. Поэтъ, обращаясь къ Екатеринѣ, говоритъ, что „спокойствіе ея державы ничто не можетъ возмутить“—

Доколѣ гражданинъ спокойно
Безъ страха можетъ засыпать,
И всѣмъ твоимъ подвластнымъ вольно
По мыслямъ жизнь располагать,
Вездѣ природой наслаждаться,
Вездѣ наукой украшаться...
Доколѣ правда не страшна
И чистый въ сердцѣ не боится
Въ своихъ желаніяхъ открыться...

Читателямъ оды было ясно, что Карамзинъ указываетъ на нарушеніе въ дѣлѣ Новикова всѣхъ этихъ условій благополучнаго существованія гражданина. Въ своей запискѣ о Новиковѣ, написанной для Александра I, Карамзинъ называетъ Новикова „невиннымъ страдальцемъ“, „жертвой несправедливаго подозрѣнія“.

Мы уже видѣли, что въ назначеніи Прозоровскаго въ Москву Потемкинъ усматривалъ опасность для славы Екатерины. Еще при жизни императрицы одинъ изъ ея приближенныхъ, гр. Безбородко, въ разговорѣ съ Лопухинымъ говорилъ про преслѣдованіе Новикова: „дѣло сіе несоотвѣтственно ея славѣ“.

Новиковъ просидѣлъ въ Шлиссельбургѣ въ очень строгомъ заключеніи съ 1792 г. до конца 1796 г. По своемъ воцареніи Павелъ I освободилъ его такъ же, какъ и Радищева.

Новиковъ былъ взятъ въ крѣпость еще въ полномъ развитіи его силъ и энергіи, а вернулся оттуда черезъ четыре съ половиною года—„дряхлъ, старъ, согбенъ“. Съ этихъ поръ онъ уже долженъ былъ отказаться отъ всякой общественной дѣятельности и прожилъ до самой смерти почти безвыѣздно въ своемъ Авдотьи-

нѣ; но и въ эти годы Новиковъ старался по возможности продолжать свое дѣло, хотя бы и въ узкихъ рамкахъ: онъ много заботился о нуждахъ своихъ крестьянъ, объ ихъ просвѣщеніи и пр. Благодарная память о Новиковѣ до сихъ поръ сохранилась въ Авдотьинѣ, какъ видно изъ статьи г. Ярцева въ ноябрьской книжкѣ *Историческаго Вѣстника*. Замѣчательно, что совершенно несправедливый и неосновательный упрекъ, сдѣланный противъ Новикова въ воспоминаніяхъ кн. Вяземскаго и гр. Ростопчина,—будто Новиковъ былъ жестокимъ помѣщикомъ, до сихъ поръ еще повторяется въ одномъ историческомъ журналѣ. Новымъ опроверженіемъ этого упрека служатъ свѣдѣнія, собранныя г. Ярцевымъ.

Въ послѣдній періодъ своей жизни Новиковъ только разъ пытался вернуться къ прежней дѣятельности. Когда настало „дней Александровыхъ прекрасное начало“, Новиковъ хотѣлъ вновь взять въ аренду университетскую типографію съ *Московскими Вѣдомостями;* но онъ отказался отъ этой попытки,—силы измѣняли ему. Всю оставшуюся у него энергію онъ употребилъ на разрѣшеніе дѣлъ, запутанныхъ вмѣстѣ съ его погромомъ, на возможное удовлетвореніе всѣхъ кредиторовъ Типографической Компаніи.

Оглядывая всю дѣятельность Новикова, невольно поражаешься ея разнообразіемъ, обширностью и значеніемъ. Девизомъ всей этой дѣятельности можно поставить слова Новикова въ предисловіи къ Историческому словарю о россійскихъ писателяхъ: имъ руководило не тщеславіе, но желаніе оказать услугу своему отечеству. И дѣйствительно велики заслуги его передъ Россіей, какъ журналиста и писателя, ученаго изслѣдователя, книгопродавца и книгоиздателя, какъ убѣжденнаго организатора широкаго общественнаго дѣла.

Въ самомъ началѣ я сказалъ, что дѣятельность Новикова до сихъ поръ сохраняетъ живое общественное значеніе. И дѣйствительно, мы можемъ и должны учиться у Новикова: мы обращаемся къ нему за ободряющимъ примѣромъ, за возвышающимъ поученіемъ. Новиковъ былъ горячимъ, самоотверженнымъ поборникомъ народнаго просвѣщенія. Онъ заботился о возможно широкомъ просвѣщеніи народа книгою, и въ этомъ великомъ дѣлѣ съ нимъ, до сихъ поръ никто у насъ не сравнялся. Въ его дѣятельности по народному просвѣщенію—и по сути, и по формѣ ея—заключается такая программа, которою и теперь можно руководиться.

Новиковъ принадлежитъ къ числу истинно великихъ дѣятелей русской исторіи.

Закончу словами Кирѣевскаго о Новиковѣ: „Онъ не распространилъ, а создалъ у насъ любовь къ наукамъ и охоту къ чтенію... Дѣло имъ совершенное, осталось. Оно живетъ. Оно приноситъ плоды и ждетъ благодарности потомства“.

В. Якушкинъ.

СУДЬБЫ РУССКАГО РОМАНА [1].

Болѣе десяти лѣтъ назадъ, говоря въ одномъ газетномъ этюдѣ о томъ, какъ русская художественная литература захватываетъ интересъ западной публики, бесѣдующій съ вами въ эту минуту впервые позволилъ себѣ назвать такой фактъ „мирнымъ завоеваніемъ“. Теперь мы можемъ, безъ всякаго хвастовства, повторять, что завоеваніе это еще расширилось. Не мы, а иностранцы, въ старой Европѣ и Новомъ Свѣтѣ, не скрываютъ того, какъ русскіе писатели, начавшіе проникать къ нимъ въ переводахъ, сдѣлались прочнымъ достояніемъ ихъ вкусовъ и симпатій.

Какая же обособленная область нашей литературы совершила это прочное мирное завоеваніе? Русскій романъ сдѣлалъ это,— не драма, не лирическая поэзія, не краснорѣчіе, не исторія, не философское мышленіе, а именно область повѣствовательнаго творчества— беллетристика, какъ называютъ его у насъ довольно варварскимъ терминомъ, заимствованнымъ у нѣмцевъ, которые, по свойственной имъ привычкѣ, сфабриковали его изъ французскаго выраженія: „belles-lettres“. И этотъ завидный успѣхъ выпалъ на долю нашей повѣствовательной литературы такъ называемаго „гоголевскаго періода“—съ Тургенева до писателей семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ.

Можно съ полнымъ правомъ сказать, что русскій романъ, изъ всѣхъ продуктовъ нашей культуры, одинъ завоевалъ западнаго европейскаго человѣка. Только въ самое послѣднее время, среди парижскихъ романистовъ, въ родѣ Золя, Гонкура и отчасти Додэ, стали раздаваться менѣе дружественные и даже довольно раздра-

---

[1]) Рефератъ, читанный въ одномъ изъ частныхъ засѣданій общества.

женные голоса. Теперь уже частенько приходится слышать возгласы, направленные противъ русскаго повѣтрія, которое иные защитники французскихъ идей и свойствъ натуры явно считаютъ нездоровымъ увлеченіемъ, вызваннымъ такими, по ихъ мнѣнію, патологическими продуктами славянской души, какіе они находятъ, всего больше конечно, въ романахъ Достоевскаго.

Завоеваніе, все-таки, совершилось, и оно невольно вызываетъ вопросъ: тотъ самый, теперь всемірно-извѣстный, русскій романъ— заслужилъ-ли онъ, и на своей родинѣ, такой обработки, которая давала бы вѣрную картину развитія этой формы художественныхъ произведеній, достигшей, на протяженіи XIX вѣка, всеобъемлющаго значенія и преобладанія надъ другими видами поэзіи?..

У французовъ-же (а они вообще не отличаются очень большимъ интересомъ къ чужимъ литературамъ) мы находимъ книгу, посвященную спеціально русскому современному роману, того самаго виконта де Вогюэ, который сумѣлъ заинтересовать парижанъ графомъ Толстымъ. Какъ вы знаете; его книга такъ и называется „Русскій Романъ". Въ мою задачу вовсе не входитъ разбирать ее здѣсь, но какъ бы строго къ ней ни относиться, какіе бы пробѣлы ни находить въ ней, несомнѣнно то, что у насъ нѣтъ и такой книги о нашемъ лучшемъ художественно-литературномъ достояніи, о томъ романѣ, который совершилъ на западѣ свое „мирное завоеваніе".

Найдутся у насъ, конечно, десятки и сотни рецензій и отдѣльныхъ главъ о тѣхъ романистахъ, о какихъ говоритъ Вогюэ въ своей книгѣ, но нѣтъ и небольшой монографіи, трактующей эту форму литературы, какъ предметъ особеннаго изслѣдованія, какъ опытъ эстетической (или хотя бы культурно-исторической) картины развитія самаго крупнаго отдѣла нашей изящной словесности.

Какая же причина подобнаго страннаго факта? Причинъ найдется много, и я не собираюсь разбирать ихъ всѣ. Позволю себѣ только нѣсколько соображеній, предоставляя моимъ сверстникамъ другія точки зрѣнія. Чтобы отдаться изученію обособленнаго рода или вида изящныхъ произведеній, въ нашемъ случаѣ романа,— надо воспринимать область человѣческаго художественнаго творчества съ захватывающимъ интересомъ, съ большою любовью; считать ее проявленіемъ самостоятельной способности, которая „сама

себѣ довлѣетъ", какъ принято у насъ выражаться на философскомъ жаргонѣ. Для этого необходимо смотрѣть на данную область художественнаго творчества, какъ на нѣчто, имѣющее свои законы развитія; не смѣшивать ее съ моралью и публицистикой, не давать ей служебной роли въ исторіи развитія культурнаго человѣчества, какъ это дѣлается часто, даже и среди западно-европейскихъ писателей, занимающихся разработкой исторіи литературы.

А развѣ—спрошу я—у насъ, въ послѣднія слишкомъ тридцать лѣтъ, идеи и направленія, которыя господствовали въ литературной критикѣ, были благопріятны подобной научно-философской задачѣ? Напротивъ, преобладало, и до сихъ поръ въ значительной степени, преобладаетъ нѣчто, прямо неблагопріятное такимъ трудамъ. И почти все, что было за послѣднюю четверть вѣка напечатано серьезнаго по исторіи нашей новѣйшей литературы, исходило изъ болѣе научныхъ сферъ,—стояло въ сторонѣ отъ тѣхъ критическихъ лозунговъ и паролей, которые были обязательны въ нашей ходячей критикѣ.

То, что я здѣсь сообщаю въ крупныхъ чертахъ (не называя именъ и не прибѣгая къ цитатамъ), могло бы быть подтверждено цѣлымъ рядомъ достаточно вѣскихъ доказательствъ. Къ сожалѣнію, и болѣе научныя изслѣдованія изъ области новѣйшей русской литературы сводятся къ отдѣльнымъ монографіямъ. Изъ этихъ монографій, какъ извѣстно, даже за послѣдніе десять лѣтъ, нѣтъ у насъ ни одной, которая бы представляла собой самостоятельный, исчерпывающій этюдъ о какомъ нибудь писателѣ, игравшемъ роль въ развитіи новаго русскаго романа: ни о Карамзинѣ, какъ художественномъ повѣствователѣ, ни о Пушкинѣ, ни о Лермонтовѣ—въ томъ же качествѣ, ни о Гоголѣ, ни о Тургеневѣ, ни о Гончаровѣ; я беру только покойниковъ. У насъ нѣтъ даже, и до сихъ поръ, серьезной научно-эстетической монографіи о писателѣ, какъ Гоголь, котораго, слѣдуя ходячей формулѣ, считаютъ создателемъ современнаго реальнаго романа. А, кажется, времени было достаточно съ его кончины: цѣлый сорокалѣтній періодъ, въ который, въ любой западной странѣ, о писателѣ такого значенія напечатана была бы цѣлая библіотека.

По народной поговоркѣ: „на нѣтъ и суда нѣтъ". Но тѣ, кому соображенія, въ родѣ только что высказаннаго, не нравятся, обык-

новенно приводятъ такіе доводы: „Никто не мѣшалъ сторонникамъ принциповъ научно-эстетической критики заниматься русской изящной литературой, какъ имъ угодно, отстаивать необходимость отношенія къ искусству вообще, какъ къ продукту самобытной психической дѣятельности человѣка. Если наша критическая литература бѣдна по этой части, то это показываетъ, что не было серьезной потребности въ статьяхъ и книгахъ подобнаго направленія".

Такіе доводы *только кажутся* искренними и основательными. Переставимъ роли. Предположимъ, что вмѣсто противниковъ обработки изящной литературы на научно-эстетической почвѣ, въ теченіе тридцати лѣтъ, тонъ задавали бы тѣ, кто имъ до сихъ поръ ненавистенъ, и предположимъ еще, что въ тотъ же самый періодъ не появилось бы въ печати ни одной книги, написанной въ ихъ духѣ; неужели они не стали бы жаловаться и указывать, какъ на главную причину такого безплодія — на преобладаніе въ критикѣ, вліяющей на публику, враждебныхъ имъ или несимпатичныхъ тенденцій? Фраза о томъ, что никто никому не запрещалъ думать или писать такъ или иначе, смахиваетъ весьма сильно на какое-то манчестерское фритредерство, примѣненное къ вопросамъ художественнаго творчества и его научно-философской обработкѣ. Мы можемъ указать въ исторіи литературныхъ идей на западѣ, какъ односторонняя тенденція, овладѣвъ симпатіями большинства, въ силу тѣхъ или иныхъ обстоятельствъ, глушила вполнѣ, или очень значительно, всякую другую обработку данной области. Случалось такъ, что въ теченіе цѣлаго вѣка критическій кодексъ законовъ и требованій творчества и вкуса всей критики держалъ многія дарованія въ тискахъ, направлялъ ихъ лишь въ одну сторону, устранялъ и съ творческой арены то, что не подходило подъ него.

Допустимъ даже, что русскій романъ не заслуживалъ бы ничего другого, какъ роли подспорья при изученіи общественно-культурнаго развитія нашей страны. И въ такомъ случаѣ, никакъ нельзя сказать, чтобы русская критика (беря тотъ періодъ, когда романъ нашъ создался и разцвѣлъ) выполнила удовлетворительно такую задачу. Добролюбовъ, съ умомъ и талантомъ, дѣлалъ выдающіяся произведенія русской беллетристики предметомъ этюдовъ, въ которыхъ лица, созданныя авторами, общій колоритъ изображаемой жизни и характерныя особенности быта служили публи-

цистической задачѣ критика. Этому пріему весьма у насъ посчастливилось, но только количественно. Несмотря на громадное число обозрѣній, рецензій и замѣтокъ въ журналахъ и газетахъ за цѣлыхъ тридцать лѣтъ послѣ смерти Добролюбова — включая сюда и дѣятельность Писарева — мы не находимъ, чтобы наша публицистическая критика, занимавшаяся изящной литературой, хотя-бы на одну треть исчерпала богатый матеріалъ, бывшій въ ея распоряженіи. Русскій романъ, съ тѣхъ поръ какъ онъ сложился, т. е. за цѣлыхъ слишкомъ шестьдесятъ лѣтъ, заключаетъ въ себѣ самый цѣнный матеріалъ для опредѣленія культурнаго роста русскаго общества. А вы не найдете въ нашей воинствующей критикѣ ни одной серьезной попытки представить сколько нибудь *полную картину* этого роста, пользуясь исключительно беллетристикой.

И выходитъ, что всякому изслѣдователю, на какой бы онъ почвѣ ни держался, надо начинать какъ бы съизнова, опредѣлять свой методъ, обработывать матеріалъ, разсчитывая на свои силы, почти не находя себѣ предшественниковъ.

Найдется, конечно, объясненіе тому, что наша критика, въ теченіе послѣднихъ тридцати пяти лѣтъ, не шла по научно-объективному пути. У насъ слишкомъ многое еще не достигнуто въ общественной жизни, чтобы литературная критика и пресса не пользовались всякими средствами будить идеи и нравственное сознаніе читателя. Это — весьма серьезное смягчающее обстоятельство; но настало уже время—думается мнѣ—оцѣнивъ съ полнымъ безпристрастіемъ причины такой односторонности (а также и тѣ заслуги, въ общекультурномъ смыслѣ, какія значатся за литературно-публицистической критикой)— возвратить области изящнаго творчества ея настоящій смыслъ и значеніе, сдѣлать нашу національную драгоцѣнность—русскій художественный романъ—предметомъ серьезной научно-эстетической обработки.

Въ чемъ же будутъ заключаться главныя основы ея?

Во-первыхъ, основа психологическая. Затѣмъ, сравнительный методъ, позволяющій приводить въ законную связь область литературнаго творчества съ остальными отдѣлами искусства, въ особенности съ музыкой и живописью. Третій пробѣлъ (который давно необходимо заполнить) это — параллельное изученіе соотвѣтственнаго рода или вида изящной литературы на западѣ Европѣ; въ

нашемъ случаѣ, развитіе романа за тотъ-же періодъ времени. Такимъ же существеннымъ представляется и вопросъ о возможности примѣнять къ обработкѣ изящной литературы тотъ научный принципъ, какой оказался такимъ плодотворнымъ и въ естествовѣдѣніи, и въ обширной области соціологіи. Это—принципъ эволюціи. И наконецъ, какъ выводъ, изслѣдованіе того, въ какой степени долженъ быть устраненъ изъ научно-философскихъ изученій обычный пріемъ субъективныхъ одобреній и порицаній, за который, до сихъ поръ, держатся въ ходячей критикѣ и у насъ, и за границей.

Всѣ эти пункты нуждаются, каждый, въ нѣсколькихъ словахъ поясненія. Отъ ихъ воможно-правильной постановки зависитъ характеръ и достоинство тѣхъ работъ, какимъ давно пора появляться, даже и въ критикѣ, не претендующей на строго-научное значеніе.

Человѣческое творчество, и научное, и художественное, до сихъ поръ не обслѣдовано въ опытной психологіи такъ, какъ нѣкоторыя другія стороны нашей душевной жизни. Его природа гораздо сложнѣе, чѣмъ напримѣръ какой-нибудь волевой актъ, или логическое построеніе, или же опредѣленный видъ страсти, аффектъ, эмоція. Само по себѣ, оно болѣе умственнаго, чѣмъ эмоціоннаго характера, а творчество изящное, художественное, способно кромѣ того наряду съ красотами внѣшней природы вызывать въ насъ и особый видъ душевнаго волненія, извѣстный подъ именемъ эстетическаго чувства, которое, въ свою очередь, нуждается также въ болѣе точномъ научно-психологическомъ анализѣ. Но каковы бы ни были пробѣлы психологіи по этой части, никто однакожъ не будетъ спорить съ тѣмъ, что изящная литература обязана своимъ происхожденіемъ *этому* именно отдѣлу нашей психической жизни. А между тѣмъ, психологическая почва почти совсѣмъ еще не затронута ни въ исторіи литературы, ни въ текущей критикѣ, когда дѣло идетъ не объ однихъ біографіяхъ отдѣльныхъ писателей, а о совокупности всего творческаго процесса въ данномъ родѣ произведеній и въ извѣстный періодъ времени. Только въ самые послѣдніе годы была заявлена необходимость обработки изящнаго творчества на психологической почвѣ. Одинъ изъ молодыхъ французскихъ критиковъ, Эннекенъ (безвременно умершій нѣсколько лѣтъ тому назадъ), въ своей книгѣ подъ названіемъ „Научная критика“ указывалъ на эту необходимость и предложилъ терминъ

эсто-психологія, примѣняя его и къ творчеству писателей, и къ воспринимающей способности тѣхъ, кто ихъ читаетъ, т.-е., къ психологіи публики.

Изящную литературу почти никогда не приводятъ у насъ въ связь съ отдѣльными искусствами, — сказалъ я, перечисляя главные пробѣлы нашей критики. На западѣ вы еще найдете попытки того пріема, по которому изслѣдователь пользуется фактами и методологическими выводами по исторіи другихъ видовъ искусства. Весьма понятно, что защитникамъ *подчиненнаго* значенія изящнаго творчества было бы слишкомъ невыгодно вводить такой пріемъ. Съ тѣхъ поръ, какъ скульптура и живопись освободились отъ грубо-поучительнаго и символическаго значенія, ихъ развитіе представляетъ собою совершенно самостоятельный творческій процессъ. И еще ярче это сказывается на музыкѣ, въ которой морально-поучительный и общественный элементы не играютъ почти никакой роли. Хотя оба эти содержательные отдѣла человѣческаго творчества, быть можетъ, и не обработаны до сихъ поръ строго-научнымъ методомъ, но и простая описательная ихъ исторія достаточно показываетъ, что изучать ихъ слѣдуетъ, самихъ по себѣ что нельзя ни ту, ни другую область дѣлать только подспорьемъ въ достиженіи сторонникъ культурныхъ цѣлей. И скульптура, и живопись, и музыка были, напримѣръ, въ извѣстныя эпохи выразительницами религіозныхъ идей и настроеній. Съ теченіемъ вѣковъ, культы, какимъ онѣ служили рухнули, или же религіозное чувство уже не вдохновляетъ художника такъ, какъ оно вдохновляло какого-нибудь Беато-Анджелико, или духовныхъ композиторовъ-органистовъ XVI вѣка, и тѣмъ не менѣе и живопись, и музыка идутъ дальше, вбирая въ себя другіе импульсы душевной жизни культурнаго человѣчества и переработывая ихъ въ такіе продукты, которые проявляютъ красоту и вызываютъ въ нашей душѣ чувство прекраснаго.

Казалось бы, мы, русскіе, при нашемъ довольно бойкомъ языкознаніи, при склонности ко всему иностранному, при добровольномъ подчиненіи авторитету западныхъ литературъ должны были бы давнымъ давно вводить и литературно-сравнительный методъ въ изученіе различныхъ видовъ нашего изящнаго творчества. На дѣлѣ же наша критика второй половины вѣка отличается чрезвычайнымъ сепаратизмомъ. Она почти исключительно своя, домашняя. У насъ вовсе не въ ходу (обозрѣвая цѣлый періодъ развитія из-

вѣстнаго рода или вида литературы, или характеризуя выдающагося писателя), предварительно оглянуться на западъ и посмотрѣть: какъ *тамъ* стоитъ дѣло, и въ смыслѣ творчества, и въ смыслѣ критической обработки? Эта ограниченность кругозора подѣйствовала чрезвычайно неблагопріятно на все наше критическое самосознаніе. Вопросъ западныхъ вліяній сводится у насъ — до сихъ поръ — къ формальнымъ указаніямъ, да и то больше въ примѣненіи къ нашимъ писателямъ прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія. И только въ самые послѣдніе годы вопросъ западнаго вліянія сталъ разработываться пошире, съ болѣе детальной отдѣлкой фактовъ. Но суть тутъ не въ одномъ прямомъ вліяніи, а въ опредѣленіи и того, что въ извѣстный періодъ развитія, напр., нашего романа, западное творчество дало въ цѣломъ рядѣ произведеній, знаменующихъ собою *двигательныя вехи* художественно-литературной эволюціи.

Идея эволюціи принадлежитъ, какъ вамъ извѣстно, нашему вѣку и составляетъ его цѣнное достояніе. Изъ области естествовѣдѣнія теорія развитія проникла и въ доктрины, занимающіяся культурой человѣка и его исторической жизнью. Если еще преждевременно говорить о строго-установленныхъ законахъ эволюціи, то объ ея принципѣ умалчивать нельзя. Изящное творчество пользуется исключительно, какъ своимъ выразительнымъ средствомъ, человѣческою рѣчью, языкомъ, а къ исторіи языка трудно не примѣнять принципа эволюціи. Точно также и къ другимъ творческимъ проявленіямъ душевной жизни человѣка: къ архитектурѣ, къ пластикѣ, къ живописи, къ музыкѣ и къ поэзіи вполнѣ законно примѣнять тотъ же принципъ и болѣе точно опредѣлять фазы развитія данной области.

И въ литературномъ творчествѣ все держится за органическій ростъ, за собирательное развитіе человѣка. Сколько нибудь научной критикѣ нельзя уже не руководиться *идеей эволюціи*, и мы видимъ, что въ новѣйшей литературѣ запада даже критики стараго пошиба сознали плодотворность этого принципа и открыто причислили себя къ послѣдователямъ великой идеи, которая озарила умъ Ламарка и нашла себѣ такого достойнаго поборника, какъ Дарвинъ. Это произошло на нашихъ глазахъ съ французскимъ критикомъ Брюнетьеромъ.

Если тѣ крупные пробѣлы, какіе я сейчасъ обозначилъ, ока-

жутся, къ началу двадцатаго вѣка, хоть сколько нибудь пополненными, то и выводъ изъ основъ, приведенныхъ мною, долженъ будетъ самъ собою установиться; тогда подорвется всякій кредитъ у господствующей до сихъ поръ въ ходячей критикѣ системы субъективныхъ одобреній и порицаній; тогда замретъ слишкомъ запоздалый періодъ оцѣнокъ, мѣриломъ которыхъ служатъ или произвольные приговоры личнаго вкуса, или же морально-политическая тенденціозность.

Оцѣнивать какія нибудь крупныя явленія въ исторіи человѣческаго общества, или творческую дѣятельность за цѣлый періодъ, было бы гораздо легче, еслибы, здѣсь и тамъ, ложныя опредѣленія, разъ забравшись въ извѣстную область изслѣдованія, не дѣлались упорными, благодаря склонности къ повторенію общихъ мѣстъ и недостатку самостоятельной критики.

Подъ вліяніемъ нѣмцевъ, ко второй четверти вѣка стали называть *псевдо* или *лжеклассицизмомъ* все движеніе, преимущественно французской литературы, почти за цѣлыхъ два столѣтія, или, по крайней мѣрѣ, за полтораста лѣтъ. Мнѣ нѣтъ надобности распространяться объ этомъ. Никто не станетъ отрицать того, что условности формъ изящной литературы, какія были закрѣплены во Франціи авторитетомъ Буало и его послѣдователей, должны были, рано или поздно, вызвать реакцію, что и случилось. И эта реакція, во второй половинѣ прошлаго вѣка, началась опять таки во Франціи, въ той самой странѣ, гдѣ господствовали строгіе классическіе вкусы. У насъ считается самымъ авторитетнымъ именемъ въ исторіи этого движенія имя Лессинга, а между тѣмъ наши преподаватели словесности (по крайней мѣрѣ, въ мое время) что-то не говорили намъ, что Лессингъ находился подъ сильнѣйшимъ вліяніемъ француза Дидро, и, въ своей „Гамбургской Драматургіи“, ратуя за мѣщанскую драму, прямо повторялъ доводы Дидро. Шекспиръ дѣйствительно былъ на континентѣ пущенъ въ ходъ нѣмцами, избравшими его своимъ идеаломъ въ дѣлѣ поэтическаго творчества, свободнаго отъ запретовъ классической условности. Вѣрно и то, что литературное движеніе въ Германіи въ концѣ прошлаго вѣка въ свою очередь нашло отголоски во Франціи, гдѣ такъ

называемый *романтизмъ* вызвалъ даже болѣе яркій полетъ фантазіи и болѣе разнообразное литературное броженіе, чѣмъ въ Германіи, но нѣсколько позднѣе, въ первую треть нашего вѣка.

Все это такъ, но развѣ это оправдываетъ повтореніе избитаго общаго мѣста,—обязательное признаніе формулы, прикрывающей собой предразсудокъ, который поддерживаетъ нежеланіе изучить, какъ слѣдуетъ, вѣкъ литературнаго роста во Франціи, представляющій собою законную гордость этой страны? А мы привыкли кидать все въ одну кучу и повторять свое общее мѣсто о лжеклассицизмѣ. Семнадцатый вѣкъ былъ *великимъ* литературнымъ вѣкомъ Франціи, имѣвшимъ значеніе для всей континентальной Европы. Онъ создалъ характерный театръ, въ которомъ, при сколько нибудь честномъ и внимательномъ изученіи, вы найдете *самобытное* развитіе творчества. Нынче и англійская критика начинаетъ уже сопоставлять Шекспира съ Расиномъ и находить во французскомъ драматургѣ-психологѣ такія стороны творчества, которыми онъ можетъ поспорить съ авторомъ „Гамлета“ и „Отелло“, а у насъ еще принято относиться къ Расину съ брезгливостью. За послѣднія тридцать—сорокъ лѣтъ въ нашей критической литературѣ журналовъ (а они всего болѣе проникаютъ въ массу публики) вы не найдете серьезнаго интереса къ изученію этого великаго литературнаго вѣка, за исключеніемъ Мольера,—да и то не въ ходячей критикѣ, а въ литературѣ болѣе научныхъ монографій.

Вернемся къ русскому роману. И тутъ мы сейчасъ же наткнемся на цѣлый рядъ ходячихъ мнѣній и обязательныхъ оцѣнокъ, съ которыми надо считаться. Нужды нѣтъ, что мы еще не имѣемъ ни одного сочиненія, на которое можно бы посмотрѣть, какъ на руководящее. Ходячія формулы и общія мѣста обыкновенно и забираются туда, гдѣ еще мало было потрачено изученій, свободныхъ отъ всякой предвзятой тенденціи. Пока не прольется болѣе яркій свѣтъ на извѣстную область, избитыя клише повторяются изо дня въ день.

Надъ русской литературной критикой, до сихъ поръ, тяготѣютъ всего сильнѣе два взгляда, получившихъ традиціонную обязательность.

У насъ принято считать сатирическо-отрицательное изображеніе жизни за самую характерную и коренную особенность русской изящной литературы. Случилось такъ, что въ XVIII вѣкѣ попытки болѣе осмысленнаго отношенія къ обществу довольно рано сказались, подъ вліяніемъ западныхъ образцовъ, въ сатирическихъ произведеніяхъ. Комедія предшествовала у насъ роману. Въ самомъ концѣ прошлаго вѣка русская повѣсть, подъ перомъ Карамзина, только еще выговаривала первые склады свои, да и то въ сентиментально—просвѣтительномъ направленіи, а театръ далъ уже такія комедіи, какъ „Бригадиръ“ и „Недоросль“, позднѣе „Ябеда“. Тоже продолжалось, въ извѣстной степени, и въ первой четверти XIX столѣтія. Русскій романъ еще не сталъ вполнѣ на свои ноги, а художественно-сценическая сатира доработалась уже до такой комедіи, какъ „Горе отъ ума“. Если считать „Евгенія Онѣгина“, по времени, первымъ русскимъ романомъ, въ которомъ замыселъ, реальная правда, созданіе лицъ, языкъ и колоритъ эпохи сливаются уже въ поэтически цѣльное повѣствовательное произведеніе, то не надо забывать, что „Онѣгинъ“ былъ законченъ только къ началу четвертаго десятилѣтія нашего вѣка, а „Горе отъ ума“ было вполнѣ написано нѣсколькими годами раньше, на рубежѣ первой и второй четверти того же столѣтія. И дальше, въ періодъ творчества Пушкина, и послѣ его смерти, въ такъ называемый „гоголевскій“ періодъ русской литературы, сатирическій оттѣнокъ повѣствовательной беллетристики, опять таки, считался самымъ важнымъ; на него смотрѣли, какъ на главную силу и суть нашего художественно-литературнаго движенія. Это продолжалось до самаго послѣдняго времени, въ теченіе довольно длиннаго періода, который, въ параллель съ „гоголевскимъ“, можно было бы пожалуй назвать „щедринскимъ“.

Если мы возьмемъ этотъ обязательный терминъ „гоголевскій періодъ“ и спросимъ: что онъ собою, главнымъ образомъ, обозначаетъ, то мы должны будемъ признать, что онъ употребляется для характеристики не всего вообще содержанія русской литературы (считая и науку, и публицистику), а, гораздо больше, беллетристики; даже не одного театра, а точно также, если не преимущественно, русскаго романа съ его разновидностями: повѣстью и разсказомъ. И въ этомъ терминѣ заключается не одно только опредѣленіе размѣровъ таланта и вліянія Гоголя, въ смыслѣ творче-

скаго содержанія и формы, но также извѣстный характеръ отношенія къ дѣйствительности. Авторъ „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“ признанъ былъ, и въ ходячей критикѣ, и въ исторіи литературы, писателемъ, двинувшимъ русскую художественную словесность, въ томъ числѣ и романъ, по истинно-національному творческому пути. Сатирико-отрицательное воспроизведеніе жизни сдѣлалось какъ бы критеріемъ художественныхъ достоинствъ и поддерживало тотъ предразсудокъ, по которому сатира стала какъ бы краеугольнымъ камнемъ всего зданія нашей литературы.

При такомъ традиціонномъ взглядѣ немыслима правильная постановка вопроса объ эволюціи русскаго романа за тотъ періодъ, когда онъ достигъ въ произведеніяхъ Пушкина, каковы „Евгеній Онѣгинъ“ и „Капитанская дочка“, высокой степени художественнаго творчества, и вплоть до начала шестидесятыхъ годовъ, когда Тургеневъ выпустилъ въ свѣтъ самое крупное и знаменательное свое произведеніе: „Отцы и Дѣти“.

Ни у насъ, и нигдѣ на западѣ, сатира, въ разныхъ ея оттѣнкахъ и развѣтвленіяхъ, не только не можетъ исчерпывать развитія художественнаго романа, но и для другихъ формъ и отдѣловъ литературы быть *главнымъ мѣриломъ* ихъ развитія. Органическія условія творчества, доставляющаго культурному человѣчеству и высшія духовныя радости связаны гораздо болѣе съ цѣльнымъ, яснымъ, такъ называемымъ положительнымъ отношеніемъ къ жизни. Такъ пѣли свои рапсодіи эллинскіе пѣвцы, такъ складывались эпическія пѣсни новѣйшихъ европейскихъ народовъ, такъ развивались и развиваются до сихъ поръ лирика и художественная драма; такъ и романъ, въ своемъ поступательномъ ходѣ, вплоть до конца нашего вѣка, показываетъ намъ все большее и большее освобожденіе творческихъ воспроизведеній живой жизни отъ всякаго предвзятаго настроенія; а сатирико-отрицательный пошибъ письма немыслимъ безъ такой предвзятости. Дальше мы увидимъ, какія главныя *вехи* обозначаютъ органическое развитіе русскаго романа; въ эту минуту я желалъ только указать вамъ на одинъ изъ укоренившихся у насъ взглядовъ, который тормозитъ, до сихъ поръ, болѣе свободное и объективное трактованіе исторіи нашего романа.

Другой, не менѣе упорный и односторонній, пріемъ, это оцѣнивать и вообще нашу изящную литературу и, въ частности, романъ только на аршинъ морально-общественнаго характера. Я

уже сказалъ, что такая односторонность вызвана была, и до сихъ поръ поддерживается, условіями нашей государственной и соціальной жизни, но такое оправданіе не помогаетъ дѣлу. Что вы до сихъ поръ находите въ обобщеніяхъ критиковъ, принадлежащихъ къ этому лагерю? Насъ печатно увѣряютъ, да еще въ статьяхъ, написанныхъ вчера, и для иностранцевъ, что настоящей литературы у насъ не было до половины шестидесятыхъ годовъ. Бѣлинскій когда-то выступилъ съ протестомъ, гдѣ старался доказать, что у насъ есть отдѣльные писатели, а національной литературы еще нѣтъ. Если и тогда это было немного радикально, въ тѣ годы, когда Пушкинъ далъ уже полную мѣру своего геніальнаго дарованія, то какъ же можно утверждать, что съ тридцатыхъ по шестидесятые годы у насъ не было настоящей (изящной) литературы, когда мы прекрасно знаемъ, что русскій романъ, совершившій теперь свое „мирное завоеваніе“ западной Европы, сложился и разцвѣлъ какъ разъ въ этотъ періодъ, который я и позволю себѣ назвать *творческимъ, зиждительнымъ* періодомъ по-преимуществу. И почему же, спросимъ мы, до шестидесятыхъ годовъ не было у насъ литературы, въ самомъ высшемъ, художественномъ смыслѣ этого слова? А потому—видите-ли—что паденіе крѣпостного права и эпоха реформъ наступили только къ шестидесятымъ годамъ, а, стало быть, все, что творчество русскихъ писателей создало за предыдущія тридцать лѣтъ, не составляетъ литературы, подъ которой такіе оцѣнщики разумѣютъ, вѣроятно, журналистику извѣстнаго направленія.

Подобные приговоры объясняются всѣмъ ближайшимъ прошедшимъ нашей ходячей критики, которая начала, къ шестидесятымъ годамъ, служить, прежде всего, интересамъ общественнаго движенія. Творчество, художественные замыслы, красота формы, *объективное опредѣленіе эволюціи изящной литературы*, все это отошло на задній планъ. Развѣ, до сихъ поръ, не ставятъ Тургеневу въ наибольшую заслугу то, что онъ, какъ авторъ „Записокъ Охотника“, вводилъ въ свои разсказы отрицательныя черты крѣпостного права? Повторяю: такая односторонность вполнѣ понятна, и въ морально-общественномъ смыслѣ мотивы ея достойны сочувствія. Но, если прикинуть такой чисто-публицистическій и гуманитарный аршинъ ко всей исторіи литературнаго творчества, то цѣлыя эпохи самаго роскошнаго разцвѣта творческаго генія надо бу-

детъ вычеркнуть совсѣмъ изъ исторіи поэзіи и другихъ областей искусства. Какъ можно заниматься архитектурой, пластикой, поэзіей, мышленіемъ, краснорѣчіемъ Эллады и Рима, когда весь античный міръ былъ опозоренъ самымъ жестокимъ рабствомъ, длившимся не одну тысячу лѣтъ? Да и въ жемчужинѣ эллинской эпической поэзіи, въ Иліадѣ (не говоря уже о содержаніи многихъ трагедій), нравственное и гражданское чувство современнаго человѣка развѣ не можетъ, на каждомъ шагу, возмущаться той художественной объективностью, съ какой Гомеръ услаждаетъ себя изображеніемъ звѣрскихъ инстинктовъ своихъ героевъ, варварской первобытностью ихъ нравовъ, наивно проникнутый дѣтскимъ суевѣріемъ, преклоненіемъ передъ физической силой, животной жестокостью и бездушнымъ коварствомъ своихъ богатырей?

Морально-публицистическая точка зрѣнія до такой степени овладѣла нашей критикой въ послѣднія тридцать лѣтъ, что *отношеніе къ самой жизни нашего отечества*, оцѣнка общественнаго развитія сдѣлались такими же односторонними. Все, что было до шестидесятыхъ годовъ, вызывало, и до сихъ поръ еще вызываетъ, одни лишь отрицательные приговоры, по которымъ выходитъ, что жизнь русскаго общества до извѣстнаго момента, даже за всю первую половину XIX столѣтія, не могла дать никакого содержанія для объективно-художественнаго творчества. Тѣ, кто такъ разсуждаетъ, точно не хотятъ подумать о томъ, что еслибы за цѣлые полвѣка культурный слой нашей страны былъ лишенъ какихъ бы то ни было здоровыхъ двигательныхъ стремленій, то какимъ же образомъ, во второй половинѣ пятидесятыхъ годовъ, это самое общество могло сдѣлаться такимъ воспріимчивымъ къ передовымъ идеямъ и стремленіямъ? И паденіе крѣпостного права (теперь это уже каждому извѣстно) подготовлялось, съ самыхъ первыхъ годовъ нашего столѣтія, внутреннимъ процессомъ духовнаго развитія русскаго общества. Да еслибы даже отечество наше, за тѣ же полвѣка, представляло и гораздо болѣе печальную картину съ общественно-гуманной точки зрѣнія, то и тогда никто не долженъ былъ бы отнимать у изящной литературы права воспроизводить жизнь въ ея результатахъ, каковы бы они ни были. Безъ такого непосредственнаго, цѣльнаго, яснаго воспріятія жизни не было бы ни древняго эпоса, ни западной средневѣковой поэзіи, ни нашихъ русскихъ народныхъ былинъ.

Вотъ мы и подошли къ выясненію тѣхъ условій роста, въ какія поставленъ былъ русскій романъ. Условія эти, и внѣшнія, и внутреннія, и сверху, и снизу, были гораздо болѣе отрицательныя, чѣмъ положительныя.

О внѣшнемъ гнетѣ нечего особенно распространяться. Романъ не можетъ итти впередъ, не забирая, все сильнѣе и шире, дѣйствительную жизнь; а въ теченіе болѣе чѣмъ полувѣка многія цѣнныя стороны жизни не допускались къ литературному воспроизведенію. Запретъ тяготѣетъ и до сихъ поръ надъ нѣкоторыми мотивами и подробностями. Однако я позволю себѣ такое еретическое мнѣніе: внѣшнія препоны, при всемъ своемъ воздѣйствіи на свободу слова, не могутъ быть безусловнымъ препятствіемъ развитію творческихъ силъ. На западѣ, во Франціи и Германіи, въ XVII и XVIII столѣтіяхъ, внѣшній гнетъ достаточно тяготѣлъ надъ литературой, наравнѣ съ извѣстными традиціонными взглядами и законами эстетическаго кодекса. И несмотря на все это, въ обѣихъ странахъ (въ одной раньше, въ другой позднѣе) изящная литература все росла и развивалась, и къ началу нашего вѣка западная Европа имѣла уже нетолько въ свободной Англіи, но и на полицейскомъ континентѣ богатое наслѣдіе, которымъ она, и до сихъ поръ, не перестала жить.

Гораздо важнѣе внутреннія задержки въ эволюціи нашего романа. Ихъ—цѣлый рядъ. Кромѣ неизбѣжной, по новизнѣ нашей культуры, подражательности и подчиненія формализму узкихъ взглядовъ и вкусовъ, главными тормазами были: неспокойное отношеніе къ родной дѣйствительности, недостатокъ художественнаго интереса къ болѣе кореннымъ сторонамъ жизни общества и народа, увлеченіе надуманными темами и временной модой, или же отсутствіемъ анализа и смѣлости, низменный уровень общей развитости, наивное или преднамѣренное патріотическое самодовольство и сентиментальный консерватизмъ, который не позволялъ и самому талантливому русскому повѣствователю конца прошлаго вѣка, Карамзину, и позднѣе доработаться до болѣе свободнаго и реальнаго пониманія современной ему русской дѣйствительности. Когда же наша общественная мысль получила нѣкоторый просторъ, она ударилась, какъ мы видѣли, въ такое-же несвободное, предвзятое отношеніе и къ прошедшему, и къ настоящему, при которомъ объективное творчество будетъ непремѣнно задержано, а дарованія и идеи въ

области изящной литературы поступять на службу къ желательнымъ и полезнымъ, но болѣе разсудочнымъ и утилитарнымъ задачамъ. Сравните вы два истекшихъ вѣка во Франціи, XVII и XVIII. Первый изъ нихъ—какъ уже я позволилъ себѣ назвать его великій литературно-творческій вѣкъ; второй—вѣкъ просвѣтительныхъ и освободительныхъ идей, но ему далеко до перваго по качеству и значенію продуктовъ изящнаго творчества: тамъ Корнель и Расинъ, здѣсь Вольтеръ; тамъ Мольеръ, тутъ только Бомарше, и такихъ параллелей можно провести полдюжины; и если конецъ XVIII столѣтія во Франціи подготовилъ мотивы и форму новѣйшаго романа, то все таки же этотъ родъ литературы вступилъ въ слѣдующій, болѣе творческій, періодъ своего развитія только тогда, когда онъ сталъ высвобождаться изъ тенетъ просвѣтительной и сентиментальной тенденціозности.

Являются также вопросы: въ какой степени критика, сама по себѣ, помогла творческому росту нашего романа, или же тормозила его? И можетъ ли она вообще оказывать на изящную литературу сильное воздѣйствіе?

На второй вопросъ: можетъ ли какая либо критика способствовать созданію извѣстнаго рода творчества, дать главный починъ тому или иному моменту въ его эволюціи — слѣдуетъ отвѣтить скорѣе отрицательно. Чтобы сложилась какая нибудь теорія, безъ которой немыслимо сколько нибудь серьезная критика, необходимо, чтобы существовали уже продукты творческой дѣятельности. Первый, по времени, авторитетный теоретикъ изящной литературы былъ, какъ вамъ извѣстно, Аристотель, въ своей Поэтикѣ. Но его эстетическая теорія драмы есть только философскій коментарій къ тому, что создано было эллинскимъ театромъ къ его эпохѣ. Критика всегда, болѣе или менѣе, вызывала въ писателяхъ (особенно сознававшихъ свои дарованія и то новое слово, какое они вносили), и до сихъ поръ вызываетъ въ нихъ весьма сильные протесты. И еще очень недавно одинъ изъ представителей нашихъ молодыхъ поколѣній въ области беллетристики печатно доказывалъ, что критика, по самой сути своей, стоитъ неизмѣримо ниже творческой производительности, и что безъ нея развитіе нашей художественной беллетристики шло-бы гораздо правильнѣе. Въ такихъ горячихъ протестахъ (хотя они и происходятъ на заинтересованной сторонѣ) есть доля правды, и даже не малая доля.

Но нельзя безусловно утверждать, что критика никакъ не можетъ вліять на литературное развитіе, въ томъ или иномъ направленіи. И на Западѣ, и у насъ мы видимъ примѣры противнаго.

Въ исторіи нашего романа (какъ главной формы художественнаго творчества, со второй трети XIX вѣка) критика сыграла роль довольно значительную.

Роль эта, въ первой половинѣ тридцатилѣтняго творческаго періода, была скорѣе благотворная для художественной эволюціи нашего романа. Бѣлинскій поддерживалъ ее своими эстетическими воззрѣніями, любовью къ искусству, отстаиваніемъ его самостоятельности и пониманіемъ всего прекраснаго. Конецъ его критической дѣятельности, какъ вы знаете, былъ окрашенъ въ другой колоритъ; но надо замѣтить, что и превратившись въ пылкаго поборника соціальныхъ идеаловъ, способнаго поднимать до небесъ писателей за ихъ передовую тенденцію, онъ все таки же не переставалъ, до смерти, требовать отъ литературнаго произведенія художественныхъ достоинствъ.

Послѣ него общественнымъ мнѣніемъ и вкусами нашей публики стала руководить критика съ преобладаніемъ публицистическаго характера. Она была — да и то не всегда — полезна въ общественномъ смыслѣ, но никакъ нельзя сказать, чтобы она поддерживала нашъ творческо-художественный романъ своимъ пониманіемъ и симпатіями. Припомните, до какихъ столбовъ дошла критика этого направленія къ шестидесятымъ годамъ. Такой романистъ, какъ Тургеневъ, за крупнѣйшее свое произведеніе „Отцы и дѣти“, былъ встрѣченъ въ „Современникѣ“ памфлетомъ, авторъ котораго занималъ въ этомъ журналѣ, тотчасъ послѣ Добролюбова, мѣсто присяжнаго рецензента. Знаменитая статья называлась: „Новѣйшій Асмодей“, — и въ ней Тургеневъ приравнивался ни къ кому иному, какъ къ пресловутому обскуранту Аскоченскому. Такіе факты всегда полезно припоминать. Они показываютъ, въ какой степени партійный духъ и печальное непониманіе царили тогда и въ руководящихъ органахъ русской журналистики. И не только въ оцѣнкѣ произведеній художественной литературы, но и въ освѣщеніи цѣлыхъ періодовъ нашей литературной критики царила та же односторонняя публицистическая точка зрѣнія. Иниціаторомъ былъ авторъ статей, недавно напечатанныхъ отдѣльной книгой, о „Гоголевскомъ періодѣ русской литературы“.

Это заглавіе, закрѣпившее у насъ *весьма спорную* формулу (на что я уже намекалъ выше), не совсѣмъ соотвѣтствуетъ содержанію. Читатель находитъ не очерки періода нашей художественной литературы, связаннаго съ именемъ Гоголя, а систематическую защиту критической дѣятельности Бѣлинскаго, которому и противопоставляются, въ отрицательномъ свѣтѣ, всѣ его предшественники и сверстники по литературной критикѣ. Бѣлинскій находитъ въ авторѣ этихъ очерковъ восторженнаго почитателя, возводится имъ даже на степень „генія“, всего болѣе потому, что Бѣлинскій страстно поддерживалъ, въ концѣ своей жизни, обличительно-гражданское значеніе Гоголя, какъ автора „Ревизора“ и первой части „Мертвыхъ душъ“. Припомните, какой высшій критерій оцѣнки употребляетъ авторъ, говоря о Бѣлинскомъ и его единомышленникахъ, журналистахъ и дѣятеляхъ изящной литературы? А то, видите-ли, что всѣ они были „патріоты“. Намъ такой критерій можетъ показаться нимало не убѣдительнымъ. Любовь къ отечеству — прекрасное чувство, но и пламенные патріоты, въ дѣлѣ литературнаго творчества и критическаго пониманія, нерѣдко оказываются весьма несостоятельными. Даже и въ интересахъ политическаго и соціальнаго движенія общества пные патріоты, любящіе, по своему, отечество, способны поддерживать взгляды и тенденціи, прямо вредные для общественнаго прогресса.

Какую же, спросите вы, избрать общую основу оцѣнки движенія нашей художественной литературы и спеціально романа? Развѣ можно — скажете вы—довольствоваться выдохшейся теоріей старыхъ эстетиковъ съ ихъ проповѣдью „чистаго искусства“?

Такія выраженія пора уже сдать въ архивъ. Нельзя держаться, для полемическихъ цѣлей, избитыхъ формулъ, которыя представляются уже анахронизмомъ и тѣмъ, кто смотритъ на человѣческое творчество и всю область искусства, какъ на самостоятельный отдѣлъ нашей душевной жизни.

Никто теперь не проповѣдуетъ „чистаго“ искусства, т.-е. искусства, отрѣшеннаго отъ жизни. Его и быть не можетъ! Каждый его отдѣлъ, развитіе всякаго рода или вида изобразительныхъ искусствъ и литературы, а тѣмъ болѣе эволюція романа, показываютъ, что творческое воображеніе питается дѣйствительною жизнью, и чѣмъ эта связь ярче, глубже, разнообразнѣе, содержательнѣе, тѣмъ произведенія поднимаются выше и выше. Вся распря сво-

дится къ тому, что одни дѣлаютъ изъ искусства лишь служебное средство, *подспорье* въ достиженіи моральныхъ и общественныхъ цѣлей, а другіе, на основаніи болѣе объективныхъ научно-философскихъ изученій, доказываютъ, что изящное творчество, вбирающее въ себя воспріятія природы и душевной жизни человѣка, своею первенствующею цѣлью имѣетъ *красоту*, совершенно такъ, какъ цѣль этики—*нравственность*, а цѣль точной науки — установленіе *законовъ* внѣшней природы и человѣческаго организма, а затѣмъ его душевной жизни.

Содержаніе, идея—совсѣмъ не пустой звукъ въ дѣлѣ какого бы то ни было творчества, тѣмъ болѣе литературнаго, но у насъ, до сихъ поръ, упорно смѣшиваютъ замыселъ, его художественное и поэтическое достоинство, съ тѣмъ, что составляетъ направленіе писателя. Развѣ можно утверждать, что въ исторіи развитія изящной литературы и такого ея отдѣла, какъ романъ, въ западной Европѣ и у насъ только *направленіе* писателей двигало впередъ творчество и мастерство? Одинъ даровитый писатель былъ проникнутъ революціоннымъ духомъ, другой держался консервативныхъ и даже ретроградныхъ взглядовъ, третій смотрѣлъ на человѣчество, или на общество его времени, какъ пессимистъ или мизантропъ, четвертый склоненъ былъ къ оптимизму, пятый къ мистическимъ настроеніямъ, и однако всѣ они двигали впередъ *художественное* воспроизведеніе жизни. Не то важно, какого каждый изъ нихъ держался направленія, а то, что въ ихъ произведеніяхъ романъ шире и глубже захватывалъ жизнь и придавалъ этому воспроизведенію все новыя художественныя достоинства.

Возьмемъ мы хоть такія двѣ страны, какъ Франція и Россія. Во Франціи новый романъ началъ складываться уже со второй трети прошлаго вѣка. Припомните тѣ имена и таланты, которые двигали его впередъ: аббатъ Прево, Ж. Ж. Руссо, Мариво, Дидро, Бернарденъ де-Сенъ-Пьеръ, Шатобріанъ, госпожа Сталь, Сенанкуръ, Бенжаменъ Констанъ, Стендаль, Альфредъ-де-Виньи, Викторъ Гюго, Альфредъ де-Мюссе, Жоржъ-Зандъ, Мериме, Бальзакъ, Флоберъ — чтобы не итти дальше пятидесятыхъ годовъ. Какая пестрота воззрѣній у этихъ корифеевъ французскаго романа: тутъ есть все, начиная отъ разрушительныхъ соціальныхъ идей до запоздалаго мистицизма, отъ гуманитарной восторженности — до сухого скептицизма и даже человѣко-ненавистничества!

Тоже видимъ мы и у насъ въ соотвѣтственный періодъ: Карамзинъ, Нарѣжный, Марлинскій, Пушкинъ, Лажечниковъ, князь Одоевскій, Гоголь, Лермонтовъ, графъ Соллогубъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Достоевскій, Писемскій, Григоровичъ, графъ Толстой, Хвощинская, — не говоря уже о десяткѣ другихъ писателей-беллетристовъ, послужившихъ также дѣлу развитія романа въ Россіи. Съ меньшими контрастами, съ меньшей рѣзкостью оттѣнковъ, найдется такое же разнообразіе воззрѣній, вкусовъ и тенденцій.

И выходитъ, стало быть, что тѣ, кто желаетъ обработывать область литературнаго творчества сколько нибудь научно-объективно, вовсе не впадаютъ отъ этого въ „гнилую эстетику", какъ долго принято было выражаться у насъ въ журнальной полемикѣ. Повторяю: такъ называемаго „чистаго" искусства, т.-е. отрѣшеннаго отъ жизни, никогда не было и не будетъ. Но если романъ, болѣе чѣмъ какой либо родъ творчества, связанъ съ жизнью роднаго общества и всего культурнаго человѣчества, то и въ немъ надо различать между художественно-творческой идеей и разсудочно-тенденціозной темой. И въ немъ мысль, какъ бы она ни была полезна и прогрессивна сама по себѣ, не можетъ сдѣлать произведеніе изящнымъ и творческимъ. Это все старыя-старыя истины, подтверждаемыя всей исторіей искусства, но ихъ все еще приходится у насъ заново защищать. Было время, когда и Бѣлинскій, въ первую свою критическую пору, доказывалъ тоже самое. Припомните, что даже послѣ его смерти, въ томъ самомъ „Современникѣ", гдѣ онъ помѣщалъ свои статьи и обозрѣнія съ преобладаніемъ морально-публицистическихъ взглядовъ, въ тотъ именно годъ, когда напечатана была диссертація „Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности", т.-е. въ 1855 году, другъ Тургенева и его постоянный совѣтникъ, знатокъ литературы, которому мы обязаны первымъ изданіемъ Пушкина съ большимъ біографическимъ матеріаломъ, покойный П. В. Анненковъ, въ статьѣ подъ заглавіемъ „О мысли въ произведеніяхъ изящной словесности" убѣжденно и проницательно говорилъ то, что, и по прошествіи почти сорока лѣтъ, не утратило своего значенія.

„Требуютъ мысли не художнической, а философской или педагогической. Извѣстно, что каждый изъ отдѣловъ изящнаго имѣетъ свой кругъ идей, нисколько не сходныхъ съ идеями, какія можетъ производить до безконечности способность разсужденія вообще.

Такъ есть музыкальная, скульптурная, архитектурная и также литературная мысль. Всѣ онѣ самостоятельны и не могутъ быть перенесенными, чтобы перемѣщенная мысль не сдѣлалась, вмѣсто истины, парадоксомъ и чудовищностью".

И точно этотъ авторъ предвидѣлъ нашу съ вами бесѣду о русскомъ романѣ, заканчивая такъ свою тираду:

„Какого же рода циклъ идей принадлежитъ повѣствованію и въ чемъ сущность его? Развитіе психологическихъ сторонъ одного лица или многихъ составляетъ основу всякаго повѣствованія, которое почерпаетъ жизнь и силу въ наблюденіи душевныхъ оттѣнковъ, тонкихъ характерныхъ отличій, игры безчисленныхъ волненій человѣческаго нравственнаго существа, въ соприкосновеніи съ другими людьми. Гдѣ есть въ разсказѣ присутствіе психическаго факта и вѣрное развитіе его, тамъ есть настоящая и глубокая мысль. Взамѣнъ, если повѣствованіе основано на чистой мысли, но выраженной, какъ всегда выражается такая мысль, посредствомъ невозможнаго или противоэстетическаго душевнаго настроенія, то мысль уже не спасетъ разсказа, какъ бы, сама по себѣ, ни была свѣтла и благородна. Произведеніе остается, все-таки, плохимъ, впечатлѣніе, произведенное имъ, будетъ слабо и вліяніе совершенно ничтожно".

Для каждаго, кто стоитъ за самостоятельность художественнаго творчества, развѣ такія мнѣнія не заслуживаютъ полнаго сочувствія? А мы видимъ, что не только десять и двадцать лѣтъ спустя, въ разгарѣ анти-художественной критики, но и два, три года назадъ, въ исторіи новѣйшей литературы, предназначенной для обращенія въ большой публикѣ, авторъ ея, дѣйствующій, какъ рецензентъ во вліятельныхъ журналахъ и газетахъ болѣе четверти вѣка, приведя какъ разъ эту цитату изъ Анненкова, въ одной изъ вступительныхъ главъ своей книги, показываетъ на нее пальцемъ своимъ читателямъ почти какъ на нѣчто обскурантское и нелѣпое.

Чтобы набросать картину истинныхъ судебъ русскаго романа, нашей критикѣ не слѣдуетъ смущаться никакими избитыми формулами и терминами. Такой видъ изящной литературы, какъ романъ, можетъ, по своей тѣснѣйшей связи съ жизнью, быть изучаемъ съ разныхъ точекъ зрѣнія. Въ немъ найдется (какъ я уже

замѣтилъ) матеріалъ и для характеристики различныхъ нравственныхъ и общественныхъ движеній, но такого рода обработка его не относится прямо къ эволюціи *изящнаго* творчества. А ею давно пора заняться.

Возьмите вы какое-нибудь жизненное явленіе въ природѣ; посмотрите на непрерывное теченіе могучей и величавой рѣки, хоть-бы нашей Волги. Ея ростъ и развитіе, ея размѣры и направленіе ея водъ немыслимы безъ цѣлаго ряда топографическихъ и другихъ условій: тутъ и положеніе бассейна, геологическій складъ береговъ, и почва, и климатъ, и количество лѣсовъ. Все нужно брать въ соображеніе, чтобы знать сколько-нибудь научно, какъ она сложилась, и предвидѣть, что съ ней станется въ ближайшемъ будущемъ. Но, сама по себѣ, эта великая рѣка имѣетъ свою самостоятельную жизнь. Ни атмосферная влага, ни очертанія береговъ, ни направленіе ея ложа не даютъ намъ, отдѣльно, понятія о томъ, что она, и въ чемъ заключается ея самобытная жизнь.

Такъ точно—и органическое развитіе нашего романа. Въ него, все шире и глубже, входятъ составные элементы нашего общественнаго роста, но эти самые элементы изящное творчество перерабатываетъ въ нѣчто совершенно особенное. Въ другихъ областяхъ сознательной жизни они идутъ на установленіе положительной истины, на выясненіе нравственныхъ началъ, на служеніе экономической и культурной пользѣ, а тутъ творческій духъ человѣка дѣлаетъ изъ нихъ предметъ особаго созерцанія, высшей духовной радости, безъ которой не было бы у человѣка искусства.

Всматриваясь въ развитіе нашего романа на протяженіи XIX вѣка, мы невольно поражены тою быстротою, съ какой, въ теченіи одной трети вѣка, русскій романъ не только сталъ на ноги, но и доработался до высокой степени художественности. Содержаніе его, связь съ жизнью, все бо̀льшій и бо̀льшій захватъ ея шли такими же быстрыми шагами. Но, въ дѣлѣ изящнаго творчества, идеи, стремленія, знаніе жизни, смѣлость анализа не достигнутъ своей цѣли безъ выработки того *субстрата*, выражаясь научно, посредствомъ котораго что-либо дѣлается предметомъ, говорящимъ нашему чувству изящнаго. Языкъ, тонъ, краски, описательные пріемы, діалогъ: вотъ элементы этого субстрата, вотъ безъ чего творческіе замыслы, какъ вамъ извѣстно, не облекаются въ художественную форму.

Возьмите вы одинъ изъ первыхъ, по времени, опытовъ русской повѣсти въ концѣ XVIII вѣка, всего лучше „Бѣдную Лизу“ Карамзина, считавшуюся, въ свое время, произведеніемъ небывалымъ по изяществу формы, и сравните эту повѣсть съ любой изъ повѣстей Пушкина, написанныхъ всего какихъ-нибудь сорокъ лѣтъ спустя, съ „Капитанской дочкой“ или съ „Пиковой дамой“. Разница получается поражающая. Но въ дѣлѣ развитія чего бы то ни было, въ природѣ, или въ человѣкѣ, чудесъ не бываетъ. Какъ бы ни былъ великъ талантъ писателя, онъ не можетъ одинъ создать разомъ того, что незамѣтно накоплялось, мало-по-малу. Русскій романъ, какъ извѣстный родъ или видъ литературнаго творчества, достигъ высокой художественности только къ тридцатымъ годамъ нашего вѣка, но въ теченіе цѣлаго продолжительнаго періода, съ половины прошлаго столѣтія языкъ, тонъ, краски, ритмъ, лирическіе звуки, повѣствовательный акцентъ, діалогъ, все это развивалось въ другихъ родахъ или видахъ литературы, въ лирической области, въ сатирѣ, въ комедіи, въ баснѣ, въ эпическомъ изложеніи, въ различныхъ отдѣлахъ журналистики,—вплоть до научнаго и техническаго языка. Вотъ почему и нельзя серьезно изучать исторію развитія нашего романа, не дѣлая экскурсій, по меньшей мѣрѣ, въ сосѣднія области изящнаго слова.

Задача моей бесѣды съ вами не есть вовсе полная программа трактата по исторіи русскаго романа. Я хотѣлъ только показать, черезъ какіе подводные камни нужно пройти изслѣдователю, прежде чѣмъ онъ вполнѣ свободно отнесется къ своему предмету, а до тѣхъ поръ объ истинныхъ судьбахъ русскаго романа можно судить только приблизительно, въ самыхъ общихъ чертахъ.

Прежде всего позволительно думать, что тотъ тридцатилѣтній періодъ, какой я назвалъ зиждительнымъ, творческимъ по преимуществу—отъ „Евгенія Онѣгина“ и до „Отцовъ и дѣтей“ включительно — выдержитъ какой угодно разъѣдающій анализъ, если только не засаривать этотъ анализъ сторонними соображеніями. Въ этотъ тридцатилѣтній творческій періодъ нашъ романъ сдѣлался уже тѣмъ, что онъ представляетъ собой и до сихъ поръ, почти на рубежѣ двадцатаго вѣка. Онъ сложился въ такой же самостоятельный и преобладающій видъ изящнаго творчества, какъ и на Западѣ. *Пушкинъ наложилъ на него печать своего генія.* Пушкинъ, какъ истинный художникъ и чуткій сынъ своей родины,

установилъ настоящее творческое отношеніе романиста къ родной дѣйствительности, отношеніе объективное, ясное, проникнутое симпатіей ко всякой живой жизни. Въ этомъ былъ залогъ дальнѣйшаго свободно-художественнаго развитія. Не прошло пяти лѣтъ со смерти Пушкина, и мы имѣли уже такой романъ, какъ „Герой нашего времени“, а при жизни его, тотчасъ послѣ того, какъ написанъ былъ „Евгеній Онѣгинъ“, область повѣствовательнаго творчества была оживлена богатыми вкладами будущаго автора „Мертвыхъ душъ“.

И тутъ нашему изслѣдователю нельзя будетъ избѣжать вопроса, который уже, въ послѣдніе годы задавался въ русской критикѣ по отношенію ко всему ходу русской литературы новѣйшаго времени.

Не правда-ли, всѣ вы воспитывались на терминѣ: „гоголевскій періодъ“? Это, до сихъ поръ, обязательное клише общихъ критическихъ соображеній. Мы видимъ однакожъ, что даже авторъ книги о новѣйшей русской литературѣ, на которую я только что указывалъ, несмотря на то, что онъ принадлежитъ къ лагерю критиковъ-публицистовъ, выступилъ съ возраженіемъ противъ этой обязательной формулы: „гоголевскій періодъ“. И онъ находитъ, что не Гоголь, а Пушкинъ долженъ считаться иниціаторомъ всего движенія нашей изящной литературы вплоть до шестидесятыхъ годовъ. Такое возраженіе не могло быть встрѣчено особенно сочувственно, но мнѣ неизвѣстно до сихъ поръ ни одного серьезнаго, въ научномъ смыслѣ, протеста и даже ни одной, сколько нибудь обстоятельной, статьи въ журнальной критикѣ, опровергающей этотъ взглядъ. Нашъ авторъ книги по исторіи русской новѣйшей литературы, выступая съ мнѣніемъ, которое одновременно съ нимъ раздѣляли уже нѣкоторые изъ его сверстниковъ, все-таки же стоитъ на почвѣ, далекой отъ объективныхъ эстетическихъ воззрѣній. Онъ не согласенъ употреблять терминъ „гоголевскій періодъ“ въ примѣненіи къ нашей литературѣ послѣднихъ десятилѣтій, главнымъ образомъ, потому лишь, что Гоголь, по направленію своихъ идей, въ смыслѣ общественнаго прогресса, никакъ не можетъ считаться родоначальникомъ той новѣйшей русской литературы, которая проникнута гражданскими мотивами и всякаго рода передовыми запросами. Авторъ, хотя и односторонне, по своему, правъ, но если вообще терминъ „гоголевскій

періодъ“ окажется несостоятельнымъ, на болѣе строгую оцѣнку, для всего теченія русской литературы послѣ Пушкина, то для спеціальнаго изслѣдованія судебъ *русскаго романа* онъ можетъ оказаться и еще менѣе состоятельнымъ, несмотря на тотъ сильный зарядъ, который Гоголь пустилъ въ самосознаніе русскаго общества первой частью „Мертвыхъ душъ“.

Первенствующая задача будетъ заключаться въ томъ, чтобы показать: какъ русскій романъ, съ Пушкина, двигался уже по своему нормальному, прочному руслу, вбирая въ себя великорусскую дѣйствительность, не какъ предметъ условнаго сатирическаго изображенія, а болѣе цѣльно и многосторонне, какъ положительный объектъ изящнаго слова.

И въ исторіи этого развитія творчество Гоголя, при всей своей своеобразности и новизнѣ, окажется для великорусскаго романа, быть можетъ, совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ его признаютъ до сихъ поръ. Для того, чтобы правильно отвѣтить на такой вопросъ, необходимо сначала установить самые существенные элементы, входящіе въ современный романъ, въ художнически-свободное воспроизведеніе жизни, какова она есть, безъ всякой предвзятости. Въ этомъ смыслѣ, у Пушкина, какъ у повѣствователя, найдутся уже задатки тѣхъ творческихъ пріемовъ, путемъ которыхъ нашъ романъ доработался до своей теперешней ступени. Такія указанія были уже дѣланы въ нашей критикѣ, но они пропадали въ хорѣ тѣхъ литературныхъ судей, которые упорно держатся господствующихъ мнѣній и стереотипныхъ приговоровъ.

Разъясненію этого, весьма важнаго, вопроса поможетъ и болѣе обстоятельный обзоръ того, въ какой степени прямое вліяніе Гоголя—его манеры, тона, сатирическаго юмора—отразилось на тѣхъ писателяхъ, которые, послѣ Пушкина, создавали нашъ романъ. Въ этомъ дѣлѣ надо различать двѣ вещи: подражаніе, личное увлеченіе писателя своимъ образцомъ, и то, чѣмъ онъ дѣйствительно обязанъ этому образцу, что составляетъ его цѣнный вкладъ въ исторію развитія нашего романа. Генерація сороковыхъ годовъ считается учениками Гоголя; нѣкоторые изъ нихъ и сами, быть можетъ, смотрѣли на него, какъ на своего прямого учителя, но врядъ ли это что нибудь серьезно доказываетъ. Установите самыя крупныя вехи на пути слѣдованія нашей повѣствовательной бѣллетристики за тридцатилѣтній періодъ отъ „Евгенія Онѣгина“ и

до „Отцовъ и дѣтей“ включительно. Это „Герой нашего времени“, „Бѣдные люди“, „Обыкновенная исторія“, „Записки Охотника“, „Рудинъ,“ „Обломовъ“, „Дворянское гнѣздо“, „Наканунѣ“, „Первая любовь“, „Разсказы и повѣсти“ графа Толстого. Повѣствовательныя произведенія Гоголя, для нашей цѣли, надо исключить изъ этого списка. Кого же изъ авторовъ этихъ произведеній, если взять *совокупность* ихъ творческаго дѣла, считать носителемъ гоголевской традиціи? Уже, конечно, не Лермонтова, какъ автора „Героя нашего времени“, стихотворныхъ поэмъ (на которыя можно также посмотрѣть, какъ на романы въ стихахъ), или пѣсни о „Купцѣ Калашниковѣ“. Тургеневъ жилъ и умеръ безусловнымъ и восторженнымъ поклонникомъ Пушкина. И если въ его вещахъ, особенно въ раннихъ, окажется замѣтное вліяніе гоголевской манеры, то это ли составляетъ суть тургеневскаго творчества и художническаго отношенія къ русской жизни? Быть можетъ, такой гоголевскій налетъ окажется совсѣмъ не лучшимъ вкладомъ въ его писательское дѣло? Про Достоевскаго принято повторять, что его „Бѣдные люди“ идутъ прямо, по замыслу и тону, отъ повѣсти „Шинель“. Едва-ли этотъ діагнозъ исчерпываетъ задачу опредѣленія того, обязанъ ли Достоевскій всѣмъ Гоголю и по формѣ, и по содержанію. Онъ сложился, въ силу своей натуры, личной судьбы и внутренней духовной работы въ такого толкователя русской собирательной психологіи, въ которомъ подъ конецъ не осталось никакихъ гоголевскихъ пріемовъ изображенія, завѣщанныхъ авторомъ „Мертвыхъ душъ“. Точно также въ томъ, что внесъ Гончаровъ въ художническое изображеніе великорусской жизни, мы не видимъ ничего такого, чего не заключалось бы, какъ въ зернѣ, въ повѣствовательныхъ произведеніяхъ Пушкина. Наконецъ, графъ Толстой можетъ ли быть, даже въ самыхъ раннихъ своихъ вещахъ, пристегнутъ къ гоголевской традиціи? Болѣе строгій анализъ покажетъ, въ какой степени въ этомъ романистѣ огромное творческое дарованіе (пока оно владѣло имъ и держало его въ воздухѣ художническаго воспроизведенія жизни) было залогомъ писательской свободы, противодѣйствіемъ всякому предвзятому отношенію къ тому, что онъ изображаетъ, т. е.—сатирѣ, резонерству. Вспомнимъ: что заставляло графа Толстого, вплоть до послѣднихъ годовъ жизни Тургенева, слишкомъ сурово относиться къ его писательству. Онъ не могъ прощать того, что Тургеневъ

не всегда спокойно, творчески-благодушно относился къ своимъ героямъ, иногда подсмѣивался надъ ними и прибѣгалъ къ злобно-сатирическому тону. Если оно такъ, то не въ этихъ ли пріемахъ и сказывалась въ Тургеневѣ уступка гоголевской традиціи?

Болѣе смѣлый анализъ покажетъ также, въ какой степени вѣренъ и ходячій взглядъ, будто безъ Гоголя *содержаніе* русскаго романа, захватъ имъ нашей дѣйствительности не были бы тѣмъ, до чего онъ доразвился. Эволюція творчества связана всегда болѣе съ такимъ отношеніемъ къ дѣйствительности, которое принято называть положительнымъ, а оно немыслимо безъ свободы внутренняго чувства, безъ художническаго любованія жизнью, безъ вполнѣ серьезнаго и уравновѣшеннаго воспріятія ея явленій.

И мы видимъ, что русскій романъ, послѣ своего тридцатилѣтняго зиждительнаго періода, устоялъ и въ ту эпоху анти-художественной тенденціозности, которая открылась шестидесятыми годами. Не гоголевскую, а пушкинскую традицію болѣе объективный изслѣдователь найдетъ и въ тѣхъ произведеніяхъ, которыя стоятъ по времени въ началѣ, въ срединѣ и въ концѣ анти-художественнаго двадцатилѣтія: „Записки изъ мертваго дома“, „Война и миръ“, „Анна Каренина“.

И въ настоящую минуту мы видимъ, почти на рубежѣ XX вѣка, борьбу художническаго духа съ тѣмъ, что мрачитъ его и дѣлаетъ безплоднымъ, надъ *тенденціозностью* и *мистицизмомъ*. Русскій романъ, въ цѣломъ, развивался самобытно, отстаивая свою творческую область; но опасность отъ двухъ враговъ—тенденціозности и мистицизма — еще не пропала. Позвольте мнѣ привести здѣсь вдумчивыя и глубоко-вѣрныя слова многоуважаемаго научнаго дѣятеля, на кого я могу указать, какъ на автора этюда подъ знаменательнымъ для насъ, въ эту минуту, заглавіемъ; „Значеніе романа въ наше время“. Ѳ. И. Буслаевъ, скорбя о той измѣнѣ свободному творчеству, какую онъ замѣчалъ тогда уже въ авторѣ „Война и миръ“, говоритъ съ полной искренностью: „Нѣкогда такъ погубилъ себя Гоголь. Напуганные въ прошедшемъ, тѣмъ сильнѣе страшимся мы и теперь при мысли: не постигла бы нашу литературу новая напасть въ отреченіи другого, столь же даровитаго поэта отъ художническаго призванія“.

Опасность эта—прибавлю—можетъ всегда грозить и нашему роману, но только въ томъ случаѣ, если онъ отречется отъ своего

завѣта. Припомните тѣ слова Тургенева, гдѣ онъ обращается къ новому поколѣнію русскихъ писателей, уже на закатѣ дней своихъ. „Нужно постоянное общеніе съ средой, которую берешься воспроизводить; нужна правдивость, правдивость неумолимая въ отношеніи къ собственнымъ ощущеніямъ; нужна свобода, полная свобода воззрѣній и понятій,—и наконецъ нужна образованность, нужно знаніе... Ученіе не только свѣтъ, по народной пословицѣ,—оно также и свобода. Ничто такъ не освобождаетъ человѣка, какъ знаніе,—и нигдѣ такъ свобода не нужна, какъ въ дѣлѣ художества, поэзіи; недаромъ даже на казенномъ языкѣ художества зовутся „вольными“, „свободными“. Можетъ-ли человѣкъ „схватывать“, уловлять то, что его окружаетъ, если онъ связанъ внутри себя? Пушкинъ это глубоко чувствовалъ“.

Пушкинъ! Опять это великое имя! И взывая къ нему, кѣмъ остается Тургеневъ: ученикомъ Пушкина или Гоголя? Дорогая тѣнь нашего національнаго поэта, еслибъ она могла обозрѣть все развитіе русскаго творческаго романа, надъ которымъ потрудились *его* убѣжденные почитатели, хранители *его* завѣтовъ, быть можетъ, повторила бы изящныя слова, которыми заканчивается „Онѣгинъ“:

Промчалось много, много дней,
Съ тѣхъ поръ, какъ милая Татьяна,
И съ ней Онѣгинъ, въ смутномъ снѣ,
Явилися впервые мнѣ,
И даль *свободнаго* романа
Я, сквозь магическій кристалъ,
Еще не ясно различалъ.

1894 г., 20 октября,
Москва.

П. Боборыкинъ.

Критическія и библіографическія замѣтки о Крыловѣ.

(Открытое письмо будущимъ его издателямъ).

И. А. Крыловъ находится, повидимому, въ особо благопріятныхъ условіяхъ, какія выпали на долю немногимъ изъ нашихъ писателей: онъ былъ вполнѣ оцѣненъ при жизни своей, а жизнь его была долгая, и проводилъ онъ послѣднюю ея половину не въ отдаленной деревнѣ и не въ маленькомъ городкѣ, а въ Петербургѣ, на виду у всѣхъ. Около полустолѣтія находился онъ на государственной службѣ, и такъ сказать, прочныя *вехи* для его біографіи сохранились въ его формулярахъ. Главныя свои произведенія — басни издавалъ онъ самъ, тщательно выправляя ихъ при каждомъ новомъ изданіи и отличая заимствованныя отъ оригинальныхъ. Начавъ свою самостоятельную жизнь съ должности канцелярскаго писца, онъ навсегда удержалъ умѣнье и охоту владѣть перомъ, и, при всей его лѣни и неплодовитости его послѣднихъ лѣтъ, мы имѣемъ массу его автографовъ. Сейчасъ же послѣ смерти онъ находитъ двухъ хорошихъ біографовъ изъ людей, близко его знавшихъ. Обширная извѣстность его произведеній вызываетъ массу замѣтокъ и воспоминаній со стороны его младшихъ современниковъ [1]). Одинъ изъ лучшихъ знатоковъ новой русской литературы, А. Д. Галаховъ, посвящаетъ ему цѣлое изслѣдованіе въ своемъ обширномъ курсѣ [2]); по поводу 100 лѣтняго юбилея со дня его рожденія Академія Наукъ издаетъ обширный томъ статей, матеріаловъ и изслѣдованій, и въ него же включаетъ примѣчанія къ

---

[1]) Синсокъ ихъ см. въ VI т. Сборн. Ак. Наукъ, стр. 249—282.
[2]) По 1-му изд. т. II, отъ 290 до 331 стр.; по 2-му отъ 292—351.

баснямъ, составленныя съ изумительной любовью къ дѣлу и усердіемъ; въ тоже время всѣ выдающіеся спеціалисты пишутъ о немъ цѣлыя монографіи. Повидимому, все это должно бы сдѣлать почти безполезною такъ называемую *черную* или *архивную* работу надъ Крыловымъ и предоставить широкое поприще для историко-литературныхъ изслѣдованій объ источникахъ и взаимодѣйствіяхъ и для блестящихъ обобщеній и этюдовъ. Но это только *повидимому*.

Всего недѣлю поработалъ я въ рукописномъ отдѣленіи Императорской Публичной библіотеки, при довольно неблагопріятныхъ обстоятельствахъ (отъ 21-го октября 1894 года), и безъ особаго напряженія добылъ результаты, съ которыми не могутъ не считаться будущіе критики и издатели произведеній Крылова, и которые въ то же время не лишены, смѣю думать, интереса для всѣхъ любителей русской словесности.

Первое по времени вполнѣ законченное произведеніе И. А. Крылова есть оставшаяся ненапечатанной при его жизни комическая опера „Кофейница“. Содержаніе ея сообщено еще М. Е. Лобановымъ, а вполнѣ она напечатана съ подновленіемъ орѳографіи, по собственноручной рукописи Крылова, академикомъ Я. К. Гротомъ въ VI т. Сборника (стр. 219—272). Всѣ согласны въ томъ, что въ этомъ грѣхѣ ранней юности Крылова есть проблески истиннаго таланта, но въ тоже время почти всѣ утверждаютъ, что по несовершенству формы, по невыработанности стиха и слога, по отсутствію выдержки въ характерахъ, по неестественной развязкѣ „Кофейница“—произведеніе дѣтски наивное. Послѣ сличенія подлинной рукописи съ академическимъ изданіемъ оказывается, что вполнѣ справедливъ только упрекъ относительно характеровъ и развязки [1]); что же касается до слога и стиха, то вина во многихъ случаяхъ падаетъ не на Крылова, а на издателя [2]) „Кофейницы“, въ столь многихъ, что пожалуй придется измѣнить и общее заключеніе о юношескомъ произведеніи Крылова и признать за нимъ талантливость, для 16-лѣтняго юноши удивительную.

Рукопись „Кофейницы“ представляетъ довольно толстую тетрадку сѣрой бумаги, написанную скорѣй разборчиво и старатель-

[1]) Доброта Новомодовой въ развязкѣ является ничѣмъ не мотивированной; смѣлый и находчивый плутъ прикащикъ вдругъ обращается въ мокрую курицу и т. д.

[2]) Вѣроятно, Я. К. Гротъ поручилъ кому нибудь снять копію и не имѣлъ возможности провѣрить ея.

по рукою Крылова[1]); но старательность эта, впрочемъ, не исключаетъ недосмотровъ, повтореній, описокъ и ошибокъ въ мелочахъ[2]. Издатель, конечно, имѣлъ такое же право исправить всѣ эти погрѣшности, какъ и подновить и упорядочить орѳографію; но и только. Къ сожалѣнію, дѣло этимъ не ограничилось, „Кофейница“ предстала передъ нами далеко не вездѣ въ томъ видѣ, какъ была написана, и эти произвольныя измѣненія послужили къ ея невыгодѣ.

Опера начинается съ монолога „входѣи“ пьесы, прикащика, который разъясняетъ зрителямъ свои чувства къ героинѣ и герою; послѣдняго за глаза онъ презрительно называетъ *Петрушкой*. Но вотъ Петръ появляется на сцену.

Въ изд. (стр. 220) мы читаемъ:

Прикащикъ. А! здравствуй, *Петруша*.
Петръ. Здравствуй, Фролъ Сидоровичъ.

Въ рп. же стоитъ:

Прикащикъ. А, здравствуй, *Петруша*.
Петръ. *Здорово*, Фролъ Сидорычъ[3]).

Кто не согласится, что ред. автора гораздо лучше? Въ ней нѣтъ однообразія въ привѣтствіи; форма *здорово* больше подходитъ наивному и простому парню; а главное: быстрая смѣна уничижительнаго *Петрушка* на ласкательное вполнѣ соотвѣтствуетъ и характеру и намѣреніямъ прикащика.

На стр. 223 Петръ говоритъ: „Да какъ вчера я отъ васъ вышелъ“...

Въ рп. (л. 3 об.) стоитъ: „Да какъ *вчерась* отъ васъ вышли“... а далѣе Петръ мѣняетъ множественное число на единственное, что составляетъ вполнѣ естественный переходъ въ простонародной рѣчи.

---

[1]) На ней помѣтка рукою Лобанова: „Подлинная рукописъ и сочиненіе Ивана Андреевича Крылова (16-лѣтняго). Лобановъ“.

[2]) На л. 3 об. непонятное слово: *точчиная*; на л. 4 два раза написано слово *можно*; *id.* пропущена надпись: Петръ; на л. 8 об. *штакое* здѣлалось сударыня; прикащикъ называется то Фролъ Сидоровичъ, то Сидоръ Фроловичъ и пр.

[3]) Мы также подновляемъ орѳографію, но нѣсколько въ меньшемъ размѣрѣ. Образцы почерка и орѳографіи Крылова см. въ томъ же VI т. записокъ.

Въ изд. на стр. 223—4 мы находимъ такую невозможную рифму:

Не стыдись меня, *Анюта*:
Я вѣдь здѣшній, не чужой
Иль забыла, что *Петруша*
Говоритъ теперь съ тобой?

А дѣло объясняется очень просто: вмѣсто *Анюта*, надо читать *Анюша*, какъ написано въ рукописи (л. 4). Такимъ же образомъ рп. (л. 28 об.) исправляетъ куплетъ барыни на стр. 265.

Коли въ лакеяхъ будетъ онъ послушенъ
У меня, ретивъ и не лѣнивъ,
То и еще успѣетъ быть анютинъ:
Мой парольдонеръ не ливъ,

Гдѣ опять таки вм. *анютинъ* надо читать *анюшинъ*.

На стр. 229 въ изд. мы читаемъ:

Прикащикъ: „*За чѣмъ* же тебѣ прикащицкая то жизнь не нравится?“

Въ рук. (л. 7 об.) стоитъ: „*Да чѣмъ* же тебѣ прикащицкая то жизнь не нравится?“ На стр. 234: „Да я ихъ и *испрашивать* не буду“. Въ рип. (л. 10 об.): „Да я ихъ и спрашивать не буду“.

Можетъ быть, это — опечатки, но во всякомъ случаѣ онѣ значительно ухудшаютъ языкъ пьесы.

За то ужъ никакъ нельзя объяснить опечаткой невѣрное чтеніе на слѣд. (11) листѣ. Прикащикъ разсказываетъ барынѣ объ искусствѣ гадалокъ по кофейной гущѣ; по его словамъ, онѣ

И лишь взглянутъ *въ чашку*, въ мигъ
Скажутъ, ложки кто подстригъ.

Издатель печатаетъ (стр. 235).

И лишь взглянутъ, *тайну* въ мигъ
Скажутъ, ложки кто подстригъ.

На стр. 236 Новомодова поетъ:

Мнѣ не впервой съ ними драться,
Прикащикъ: Мнѣ не впервой ихъ учить.
Новомодова: Лихо-бъ только что *додраться*.
Прикащикъ: Мнѣ изволь лишь поручить.

Драться и *додраться* ужасная риѳма, да и отдѣльно взятая строка нелѣпа. — Но на л. 11 об. написано явственно: Лихо-бъ только что *добраться*...

Въ изд. на стр. 237 мы читаемъ: „Они (родители Анюты было согласились, да это видѣла Анюта, сказала имъ, что она сама на себя руки подниметъ“.

Какъ Анюта могла *видѣть* согласіе своихъ родителей!? Да и вся постройка фразы очень некрасива. Въ ркп. же мы читаемъ: „Они было согласились, да *эта вѣдьма* Анюта сказала имъ, что она сама на себя руки подниметъ“.

Въ изд. на стр. 242 мы находимъ: „Ахъ! да мнѣ... вотъ тебѣ“... А въ ркп. вполнѣ явственно: „Ахъ да инъ вотъ тебѣ“... (л. 15) [1]).

На стр. 239 издатель предлагаетъ поправку къ явной ошибкѣ текста, но поправка его не можетъ быть признана удачной и должна быть замѣнена другою. А именно:

Въ текстѣ (л. 13 об.) написано:

Да ужъ я те не забуду:
Какъ женой Анютѣ буду,
Такъ хорошій хлѣбъ добуду;
Будешь насъ благодарить.

Я. К. Гротъ предлагаетъ читать:

Да ужъ я те не забуду:
Какъ Анютѣ мужемъ буду,
Такъ хорошій хлѣбъ добуду:
Будешь насъ благодарить.

---

[1]) Есть измѣненія текста и безвредныя, но, конечно, ненужныя: Въ изд. стр. 258: „Да за что *вы хотите его* отдать то?“ Въ рук. (л. 24 об.): „Да за что *вы его хотите* отдать то?“ На стр. 259:

Коли всѣ то полюбили,
Чтобъ была за нимъ она...

Въ рук. л. 25: Коли вы то полюбили...

Явная нелѣпость такимъ образомъ, дѣйствительно, устраняется, но черезъ то получается строфа, совершенно невозможная, съ разрушенной риѳмой; да и описка автора въ двухъ словахъ—дѣло немыслимое. Очевидно, читать слѣдуетъ:

Да ужъ я те не забуду:
Какъ (либо *коль?*) *женой Анютъ быть*,
Такъ хорошій хлѣбъ добуду;
Будешь насъ благодарить.

По удаленіи такихъ недосмотровъ издателя и явныхъ описокъ юнаго поэта, который въ *этой* рукописи еще не совсѣмъ отдѣлалъ свою оперу [1]), стихи „Кофейницы“ едва ли могутъ заслуживать эпитетъ *неуклюжихъ* [2]), а попытка показать, что *новомодность* и ультралиберальныя воззрѣнія на бракъ и нравственность, напоминающія совѣтницу въ „Бригадирѣ“, вовсе не исключаютъ жестокости и безчеловѣчія Скотининыхъ и грубѣйшаго суевѣрія, такъ же какъ и множество прекрасно подобранныхъ народныхъ поговорокъ (въ родѣ: „грози богатому, онъ денежку дастъ“, „съ твоихъ то угрозъ я великъ возросъ“ и пр.) дѣлаютъ Кофейницу для того времени явленіемъ выдающимся.

Если вѣрить Лобанову—а не вѣрить ему мы не имѣемъ никакого основанія,—„Кофейница“ написана Крыловымъ въ 1784 г., когда онъ служилъ въ с.-петербургской Казенной палатѣ. Под-

---

1) Кромѣ вышеуказанныхъ, во второмъ куплетѣ Анюты на стр. 224 поэтъ предлагаетъ какъ бы на выборъ издателю Брейткопфу два чтенія: напечатанное и слѣдующее:

А то ужъ и не годится,
Коль она ужъ такъ плоха.

Если дѣйствительно мы имѣемъ теперь въ рукахъ ту самую рукопись, которую Крыловъ продалъ Брейткопфу за 60 рублей (въ чемъ можно сомнѣваться именно въ виду ея недодѣланности: начинающіе авторы не въ такомъ видѣ представляютъ издателямъ свои произведенія), то очевидно, что онъ надѣялся выправить ее при печатаніи.

Кстати по поводу Брейткопфа небольшое дополненіе къ словамъ Л. Н. Майкова (Историколит. очерки стр. 9—10): въ общеизвѣстной книгѣ Кёнига (Deutsche Literaturgeschichte) воспроизведенъ листъ его нотъ. (Neue Lieder in Melodien gesetzt von Bernhard Theodor Breitkopf. Lpz. Bernhard Christoph Breitkopf und Sohn. 1770), сопровождающихъ первое *печатное* произведеніе Гёте.

2) См. статью А. И. Лященко въ Ист. Вѣстн. 1894, ноябрь, стр. 494.

линное дѣло объ этой службѣ находится теперь въ Публичной библіотекѣ (F. XVIII, № 27), и ознакомленіе съ нимъ убѣждаетъ окончательно и рѣшительно,[1]) что аттестатъ, выданный Крылову 30 сент. 1810 г. при увольненіи отъ службы въ монетномъ департаментѣ[2]), полонъ грубѣйшихъ ошибокъ. Какъ онѣ возникли, мы не знаемъ; нельзя предположить, чтобы самъ Крыловъ диктовалъ его (онъ не могъ забыть фактовъ, столь близко его касающихся, и не имѣлъ разсчета измѣнять ихъ) а вѣроятно, чиновникъ монетнаго департамента писалъ аттестатъ, какъ попало.

Въ этомъ аттестатѣ сказано, что Крыловъ 1) вступилъ въ службу 2-го февр. 1781 г.; 2) 4-го декабря того же 1781 г. перешелъ въ тверской магистратъ канцеляристомъ; 3) 10 янв. 1782 г. опредѣленъ канцеляристомъ въ С.-Петербургскую Казенную палату; 4) уволенъ оттуда по болѣзни 7-го дек. 1790 г.

А между тѣмъ изъ дѣла явствуетъ, что Крыловъ 1) началъ службу въ 1777 г.[3]); 2) въ Тверь перечислился 15 іюня 1778 г., а чиномъ канцеляриста награжденъ только при отставкѣ въ 1783 г.; 3) въ Казенную с.-петербургскую палату принятъ на службу 9-го сентября 1783 г.; 4) уволенъ оттуда по прошенію (онъ мотивируетъ его своимъ намѣреніемъ служить въ „другихъ должностяхъ“) 11 декабря 1786 г.

Эти обстоятельства „дѣла“ вполнѣ совпадаютъ съ актами тверскаго магистрата, напечатанными первоначально въ Сѣв. Пчелѣ 1846 г. (№ 292)[4]), на которые біографы баснописца до сихъ поръ мало обращали вниманія. А между тѣмъ акты эти очень любопытны и представляютъ начало служебной дѣятельности Крылова въ Петербургѣ совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ.

Въ 1782 г. Крыловъ числился въ тверскомъ магистратѣ подканцеляристомъ, но „у онаго Крылова на рукахъ никакихъ дѣлъ не имѣлось“. и жалованья онъ, очевидно, не получалъ. Скучая этой безплодной службою, въ іюлѣ 1782 г. Крыловъ взялъ отпускъ въ Петербургъ на 29 дней, но по неизвѣстнымъ причинамъ воспользовался имъ не сейчасъ, а только среди зимы 1782—3 года. Въ Петербургъ поѣхалъ онъ, конечно, съ матерью, которая намѣрева-

[1]) Сборн. VI, 345 и слѣд.
[2]) Сборн. VI, 296.
[3]) Такъ опредѣляетъ начало его службы и Л. Н. Майковъ (l. c. 6), а А. І. Лященко (l. c. 493) безъ всякаго основанія расходится съ нимъ.
[4]) Перепеч. въ Сб. VI, 273—5.

лась хлопотать о пенсіи и, вѣроятно, о лучшемъ устройствѣ судьбы сына. Крыловы оставались въ столицѣ до августа 1783 г., и хлопоты ихъ были, повидимому, несовсѣмъ безплодны. Такъ какъ подканцеляристъ Иванъ Крыловъ долгое время не давалъ о себѣ никакихъ вѣстей магистрату, то послѣдній въ апрѣлѣ 1783 г. принялся „спрашивать“ его и послалъ пристава Никифора Иванова на его квартиру. Тамъ оказалась только бабка Крылова Матрена Иванова (домовладѣлица?), которая и сообщила чиновнику Иванову объ отъѣздѣ Крылова въ Петербургъ. Долготерпѣливый магистратъ подождалъ еще 3 мѣсяца спишемъ; но 24 іюля принялъ суровыя мѣры: онъ рѣшилъ сообщить о пропавшемъ подканцеляристѣ въ с.-петербургское губернское правленіе и требовать присылки его за *приставомъ* (т. е. по этапу) въ намѣстническое правленіе. Еслибъ Крыловъ вернулся изъ столицы ни съ чѣмъ, ему, безъ сомнѣнія, досталось бы за самовольное промедленіе; а теперь что мы видимъ? Крыловъ смѣло является въ августѣ къ генералъ-губернатору гр. Брюсу, доводомъ въ свое оправданіе (кромѣ вышеуказаннаго, что на его рукахъ никакихъ дѣлъ не имѣлось) не приводитъ, и тѣмъ не менѣе безпрепятственно получаетъ отставку *съ награжденіемъ его за безпорочную службу чиномъ канцеляриста*, ѣдетъ въ Петербургъ, безъ малѣйшаго замедленія[1]) поступаетъ тамъ на службу, и черезъ 2 мѣсяца (17 ноября) производится *въ провинціальные секретари*[2]).

И такъ, Крыловы за эти нѣсколько мѣсяцевъ пребыванія въ столицѣ нашли возможность пріобрѣсти покровителей и нѣкоторыя связи. Тогда же, безъ сомнѣнія, будущій драматургъ успѣлъ побывать и въ театрахъ и заинтересоваться ими до стремленія къ авторству[3]). Средства у Крыловыхъ, очевидно, кое-какія были[4]), и увѣренія нѣкоторыхъ біографовъ, будто мать и сынъ жили на ничтожное жалованье послѣдняго, лишены основанія: въ Твери Крыловъ, очевидно, не получалъ ни копѣйки, да и въ Петербургѣ

---

[1]) 8-мъ августа помѣченъ его *паспортъ*, въ сентябрѣ (безъ числа) подано его прошеніе, а 11 сентября оно уже заслушано и исполнено.

[2]) См. Сб. 349: „а въ нынѣшнемъ чинѣ 783 ноября съ 17 числа“.

[3]) Крыловъ могъ видѣть „Мельника“ Аблесимова, который на вольномъ Книперовомъ театрѣ шелъ 27 разъ къ ряду. См. П. Арапова: Лѣтопись русскаго театра, С.-Пб. 1861 г., стр. 112. О положеніи театральнаго дѣла въ Петербургѣ въ 1782—3 г. см. ibid. 86, 89 и др.

[4]) Во всякомъ случаѣ о „крайней нищетѣ“ (Женевичъ 2-ое изд., страница 304) не можетъ быть и рѣчи.

первые два года, надо думать, былъ въ такомъ же положеніи; по имѣющимся въ дѣлѣ свѣдѣніямъ ему начали давать жалованье только съ начала 1786 г., жалованье по тому времени не совсѣмъ ничтожное, 80 или 90[1]) руб. въ годъ; но оно не прельстило Крылова: еще не получивъ денегъ за послѣднюю треть, онъ въ декабрѣ подаетъ прошеніе объ увольненіи[2]) и устремляется на поиски лучшаго мѣста. Изъ этого слѣдуетъ заключить, что не полуребенокъ Крыловъ содержалъ мать свою своими трудами, а она не жалѣла крохъ, оставшихся послѣ смерти мужа, чтобы обучить и пристроить получше двухъ сыновей своихъ; напомнимъ, что и младшій братъ Левъ началъ свою службу въ гвардіи и, какъ видно изъ переписки его съ братомъ (Коневичъ, 2-е изд., стр. 374) зналъ французскій языкъ, которому выучился, конечно, не на службѣ, а дома, живя съ матерью и братомъ въ Петербургѣ.

22 лѣтъ отъ роду И. А. Крыловъ написалъ и издалъ на свой счетъ Оду на заключеніе мира Россіи съ Швеціей, которая въ полномъ собраніи его сочиненій помѣщается не на мѣстѣ и поэтому не обращаетъ на себя вниманія біографовъ[3]). Это произведеніе слабое, написанное ex officio и въ томъ родѣ, къ которому Крыловъ не чувствовалъ ни малѣйшаго расположенія; языкъ оды плохой и дѣланный, съ латинизмами, которые подъ перомъ будущаго баснописца не имѣютъ ни малѣйшаго оправданія[4]); поэтъ начинаетъ съ искусственнаго „паренія“ и кончаетъ такимъ же. Но все же нѣкоторыя мысли и отдѣльныя выраженія показываютъ въ авторѣ развитого человѣка и будущаго художника слова. Крыловъ начинаетъ, какъ и Ломоносовъ въ своей знаменитой одѣ Елизаветѣ, съ восхваленія *тишины*; только здѣсь это восхваленіе косвенное:

Доколь сынъ гордыя Юноны,
Врагъ свойства мудрыхъ — тишины,

[1]) Почему-то за первую треть оно вычисляется отъ 90 р., а за вторую и третью отъ оклада въ 80 р. (Сб. 349).

[2]) Сб. 348.

[3]) Одой я пользовался по экземпляру Румянцевскаго Музея; вотъ полное ея заглавіе: „Ода всепресвѣтлѣйшей державнѣйшей Государынѣ Императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ, Самодержицѣ Всероссійской, на заключеніе мира Россіи со Швеціей, которую всеподданнѣйше приноситъ Иванъ Крыловъ 1790 г. августа дня. Въ Спб. у Шнора.“. Ода напечатана въ м. 4°; въ началѣ и въ концѣ виньетка (бюстъ Минервы); печать красивая; орѳографія плохая.

[4]) Напр. „дивясь *дѣла* ея велики“; Крыловъ здѣсь дерзаетъ употреблять полногласныя формы, напр. *города*, но только ради размѣра: рядомъ стоятъ *класы*, *грады* и даже *града*.

Ничтожа естества законы,
Ты будешь возжигать *войны?*

спрашиваетъ онъ Марса.

Въ концѣ онъ искусно варьируетъ мысль пѣвца Фелицы о гуманности Екатерины, мысль, которая, увы! въ 1790 г. уже готова была сдѣлаться анахронизмомъ. Онъ говоритъ:

О! сколь блаженны тѣ державы,
Гдѣ, къ подданнымъ храня любовь,
Монархи въ томъ лишь ищутъ славы,
Чтобъ, какъ свою, щадить ихъ кровь!
Народъ въ царѣ отца тамъ видитъ,
Гдѣ царь раздоры ненавидитъ,
Законы давъ, хранитъ ихъ самъ.

Отмѣчу двѣ красивыя и сильныя, хотя и придуманныя (а можетъ быть, даже вычитанныя) антитезы. Описывая морское сраженіе, Крыловъ говоритъ:

Тамъ тьма подобна тьмѣ геенны,
Тамъ свѣтъ ужаснѣй самой тьмы.

Марсу поэтъ влагаетъ въ уста слова:

Я богомъ былъ первѣйшимъ Рима;
Мной Римъ—вселенной богомъ сталъ.

Возвращаюсь къ рукописямъ Публичной библіотеки; на важное значеніе варьянтовъ къ баснямъ указалъ еще В. Ѳ. Кеневичъ въ первомъ изданіи своихъ примѣчаній (стр. XIII), и по изданіямъ онъ подобралъ ихъ съ такой добросовѣстностью, что имѣетъ нѣкоторое право не бояться „упрека въ невнимательности“. Но немало автографовъ Крылова поступило въ Публичную библіотеку въ послѣдніе годы, да и въ тѣхъ, которыми пользовался В. Ѳ. Кеневичъ, осталось кое-что, имъ незамѣченное. Постараюсь дополнить его усердный трудъ нѣкоторыми не безъинтересными указаніями.

Подъ № F. XIV, 13 хранится цѣлая тетрадь басенъ, писанная рукою Крылова, поступившая въ Публичную библіотеку отъ Лобанова, но почему-то не попавшая въ руки В. Ѳ. Кеневича. Въ ней между прочимъ находится басня: Конь и Всадникъ, тенденція которой вызывала столько разнообразныхъ толкованій [1]); здѣсь форма

[1]) Кеневичъ, 1-е изд. стр. 135. Галаховъ, 2-е изд. II, 325—6.

этой басни уже близка къ нынѣшней печатной, но еще несовсѣмъ додѣлана; такъ въ ней еще нѣтъ картиннаго выраженія: „*Дрожащею рукой* (узду накинуть покушался)“. Конь, освобожденный отъ узды, пускается, „какъ бурный *вихрь*“ (въ изд. *вихрь*; Крыловъ даже написалъ *буйный вихрь*, но зачеркнулъ и переправилъ на *бурный*); онъ „*скинулъ* наконецъ съ себя его долой“ (въ изд. *сбросилъ*). Два варьянта:“ Но конь въ оврагъ со всѣхъ *попавши* ногъ“ (теперь читается: *махнувши*) и „*Узнавши смерть* его сѣдокъ“ (нынѣ: „тутъ въ горести сѣдокъ“..., что концентрируетъ разсказъ, сводитъ его къ единству времени, хотя и нарушаетъ законъ вѣроподобія) общи у нашей рп. съ изд. 1834 г., отличія котораго отъ позднѣйшихъ не указаны В. Ѳ. Кеневичемъ. Но наиболѣе любопытный фактъ усматривается изъ сличенія позднѣйшихъ изд. съ изданіемъ 1825 г.: въ немъ эта басня помѣщена въ самомъ началѣ и сопровождается картинкою, вслѣдствіе чего на нее обращали особое вниманіе и приурочивали ее къ декабристамъ; въ изд. 1834 г. Крыловъ, очевидно, не желавшій ругаться надъ побѣжденными, убралъ ее въ середину и уничтожилъ картинку.

Басня: *Туча* въ нашей рп. называется *Гора и Туча* и начинается описаніемъ засухи:

Въ жары, когда пожгло и рощи и поля,
И камнемъ сдѣлалась земля
И отъ засухи и отъ зною,
Большая туча поднялась,
Черезъ лѣса, луга и нивы пронеслась,
И надъ моремъ остановясь,
Дождемъ обильнымъ пролилась.
„Что пользы сдѣлала ты щедростью такою?
Сказала ей и пр.

Позднѣе эти 8 стиховъ сокращены въ 4 (Крыловъ, очевидно, не находилъ нужнымъ рисовать обстоятельную картину въ такой короткой баснѣ, да и слагольныхъ риемъ онъ, какъ членъ Бесѣды, недолюбливалъ), и на мѣсто выпущенныхъ внесены 2 стиха вновь, изъ которыхъ одинъ подчеркиваетъ безполезность тучи для земли, а другой похвальбою Тучи мотивируетъ упреки Горы.

По нашей рп. видно, что Крыловъ пытался подвести къ этой баснѣ нравоученіе, но изъ этого ничего не вышло, и потомъ сильно зачеркнулъ неразборчиво набросанныя строки.

Въ этой же тетради имѣется почти отдѣланная ред. басни „Сочинитель и Разбойникъ“, изъ варьянтовъ которой видно, съ какимъ стараніемъ работалъ Крыловъ надъ этимъ архитенденціознымъ произведеніемъ[1]).

Въ 1884 г. Публичная библіотека пріобрѣла 18 басенъ — автографовъ изъ позднихъ (1829 и 1830 гг.), которыми, конечно, не могъ воспользоваться В. Ѳ. Кеневичъ. Это — черновыя (хотя не первыя) ред., написанныя часто крайне неразборчиво; онѣ очень интересны, такъ какъ вводятъ насъ въ самую лабораторію уже состарѣвшагося, облѣнившагося, но все еще сильнаго умомъ и талантомъ Крылова.

Въ баснѣ: *Вѣлка* здѣсь только 2 варр., которые тутъ же Крыловымъ зачеркнуты и замѣнены очень удачно.

Ст. 9 И скалитъ *при томъ* зубки свои сквозь слезъ.

(Изд. И скалитъ передъ львомъ и пр.)

Ст. 23 У Бѣлки ужъ давно ни зуба *во ртѣ* нѣтъ.

(Изд. Давно зубовъ у Бѣлки нѣтъ).

---

[1]) Вотъ эти варр. ст. 8. Вселилъ *безбожіе*, укоренилъ развратъ. (Въ изд. безвѣріе).

Ст. 29. Что справедливости въ богахъ ни *малой* нѣтъ (изд. ни мало).

Ст. 60. И связи разрывалъ святыя обществъ?—Ты! (Изд. И связи общества рвалъ расторгнуть? Ты!).

Ст. 67 и 68. Раздорами и мятежами,
Убійствами и грабежами. (Въ изд. обратный порядокъ стиховъ).

Ст. 72 и слѣд. А сколько впредь еще *случится*
Отъ книгъ твоихъ на свѣтѣ золъ,
Ужель ты счесть? (Въ изд. послѣдняго стиха нѣтъ; вм. *случится—родится*).

Вотъ изъ той же рп. варьянты къ другимъ баснямъ, неизвѣстные Кеневичу:

Лягушка и Юпитеръ. Ст. 10. *Но нимъ* бродили мухи.
(рп. вар. у Кеневича: Могли въ ней ползать мухи. Въ изд. *по нимъ* бродили мухи).

Левъ и Деревня. Ст. 19. Такъ *добродѣтельный*, любя одну благость.
(Рп. вар. у Кен. *благодѣтельный*. Изд. Такъ истинная благость).

Крестьяне и Рѣка. Ст. 16. Крестьяне разсуждали. (Изд. Между собой крестьяне разсуждали).

(*Добрая*) *Лисица*. Ст. 36—37. *Когда малюточекъ ко сну потянетъ*,
Тыбъ *прибаюкивалъ*... (Изд. Межъ тѣмъ пока зефиръ ихъ съ гнѣздышкомъ качаетъ,
Тыбъ *убаюкивалъ*... (Кстати отмѣчу нѣсколько недосмотровъ у В. Ѳ. Кеневича въ рук. 12 мая 1814 г., по которой онъ отмѣчаетъ вар.

Къ баснямъ: *Щука* и *Пушки и Паруса* есть два такіе варьянта (не зачеркнутые потомъ), которые всякій издатель, не запуганный тѣмъ, что Крыловъ самъ редактировалъ изданія басенъ, я думаю, предпочелъ бы общепринятымъ.

Щука въ изданіяхъ оканчивается такъ:

„Такъ утопить ее *въ рѣкѣ*“.—„Прекрасно!“
Кричатъ судьи. На томъ рѣшили всѣ согласно,
И Щуку бросили въ рѣку.

Даже умненькихъ дѣтей смущаетъ — сужу по своимъ учительскимъ воспоминаніямъ—эта крайняя наивность судей и необходимость дѣлать удареніе на словахъ: *въ рѣкѣ*, а черезъ строчку: *въ рѣку*.

Въ нашей рп. написано:

„Такъ *утопить ее*“. „Прекрасно!“
Кричатъ судьи. На томъ рѣшили всѣ согласно,
И Щуку бросили въ рѣку.

этой басни: Кр. написалъ сперва: „*пастухъ* весной малиновку убилъ“, потомъ зачеркнулъ *пастухъ*. Ошибочно Кеневичъ говоритъ (стр. XI), что въ этой рп. *Конь и Всадникъ*, *Чижъ и Ежъ*, помѣщены въ *двухъ* спискахъ, и будто здѣсь есть *Добрая* лисица; здѣсь есть просто *Лисица* подъ № 12).

Конь и Всадникъ. Ст. 6. *Мой всадникъ* нѣкогда сказалъ. (Изд. *Хозяинъ*).
Ст. 2-ой отъ конца. Не *мечъ* гибельна она. (Изд. Не меньше и пр.)
Орелъ и Кротъ. Ст. 4. Въ *тѣнистый* лѣсъ... (Изд. Въ дремучій лѣсъ).
Ст. 7. *Гнѣздо въ его вершинѣ* стали вить. (Изд. Гнѣздо *себѣ* въ его и пр.)
Ст. 9. *Узнавши* кротъ про это (Изд. Услыша и пр.).
Ст. 14. Не бралъ Орелъ напраснаго труда (вар. у Кеневича: Не принималъ Орелъ напраснаго труда. Новыя изд.: Такъ чтобъ Орелъ гнѣздя на немъ не вилъ).
Ст. 19. *Къ тому же*, какъ Кротамъ мѣшаться смѣть въ дѣла... (Изд. И что за стать Кротамъ и пр.).
Ст. 21. Такъ *лишняго* съ Кротомъ не говоря. (Изд. Такъ многаго и пр.).
Тришкинъ кафтанъ. Ст. 16. Видалъ я иногда:
Такимъ же образомъ, иные господа...
(Изд. Такимъ же образомъ, видалъ я иногда,
Иные господа)...
Фортуна и Нищій. Ст. 14. Такъ, напримѣръ, того хозяинъ дому... (Изд. Вонъ бывшій, напримѣръ, того хозяинъ дому).
Папкой съ 22 баснями Крылова, поступившей въ Публичную Библіотеку отъ того же Лобанова (не помѣчена №) В. Ѳ. Кеневичъ воспользовался очень старательно; только въ баснѣ *Огородникъ и Философъ* пропустилъ 2 незначительные вар.
Ст. 12. И *также* огурцы садить. (Изд. И тоже и пр.).
Ст. 50. И *все изроетъ*, пересадитъ. (Изд. Все перероетъ и пр.).

Такъ и для чтеца, я полагаю, удобнѣе (послѣднее слово даетъ ему эффектъ, неожиданный для слушателей), да и для судей — не такъ обидно.

Въ баснѣ Пушки и Паруса въ ст. 3 печатается:

Вотъ Пушки, выставясь *изъ бортовъ* вонъ носами...

А въ нашей рп. написано:

Вотъ Пушки, выставясь *изъ мюковъ* вонъ носами...

Положимъ, моряки не признаютъ *мюкомъ* того отверстія, изъ котораго выглядываетъ пушка, и *бортъ* именно въ такомъ значеніи указанъ въ словарѣ Даля. Но вѣдь басня писана для публики, а ей рукописная редакція понятнѣе и ближе. Что же касается собственной редакціи Крылова, то вѣдь и рукопись—его же автографъ, а когда онъ былъ внимательнѣе: за письменнымъ ли столомъ или при исправленіи корректуры, это вопросъ.

Басня: „Бѣдный богачъ“ въ этой папкѣ имѣется если не въ первоначальномъ наброскѣ, то во всякомъ случаѣ не въ томъ видѣ, въ какомъ она была напечатана въ 1829 г. въ „Сѣв. Цвѣтахъ“ (Кеневичъ, 1-е изд. 217), и со многими помарками. Въ рп. басня значительно длиннѣе и въ двухъ мѣстахъ вмѣсто одного стиха мы находимъ по два; да и отдѣльные стихи въ рп. длиннѣе[1]). Заглавіе ея здѣсь иное: *Скупой богачъ*, и слѣдъ этого остался въ ст. 11 печатной редакціи („А богачей скупыхъ на муку жизнь похожа“).

Въ басни: „Пушки и Паруса“, кромѣ вышеуказаннаго, есть два варр. ст. 11: Какъ будто *графскаю или княжескаю* сану. (По изд.

---

[1]) Ст. 21 и слѣд. здѣсь читаются:
Но вынешь лишь одинъ, ужъ тамъ готовъ другой;
Имъ нѣтъ конца, И такъ пріятель, мой,
Богатымъ быть теперь въ твоей лишь волѣ.
(Въ изд. нѣтъ словъ: „имъ нѣтъ конца“ и вм. „Богатымъ быть“—„Разбогатѣть“).
Въ ст. 40. „То правда“, говоритъ, „довольно я богатъ“.
(Въ изд. „теперь я сталъ богатъ“).
Ст. 48. Такъ удержу *еще* чудесный кошелекъ.
(Въ изд. *еще* исключено).
Вт. ст. 60. (Въ изд. „Какъ можно“, говоритъ, „отъ кошелька отстать“).
Мы читаемъ:
„Нѣтъ“, говоритъ, „еще деньковъ хоть пять...
А впрочемъ не грѣшно-ль отъ кошелька отстать,
Когда и пр. (Написано очень неразборчиво; я могъ прочесть только при помощи И. А. Бычкова).
Ст. 63—4. И, наконецъ, бѣднякъ мой *похудѣлъ*,
Бѣднякъ мой *посѣдѣлъ* (въ изд. порядокъ обратный).

1829 г. Какъ будто *равнаго намъ сану*; послѣд. изд. Какъ будто важнаго какого сану).

Ст. 23-я. По волѣ вѣтра и валовъ
Сталъ по волнамъ носиться, какъ колода.
(Изд. Игрушкой сталъ и вѣтровъ и валовъ
И носится онъ въ морѣ, какъ колода).

Эта ред. не зачеркнута, но послѣ нравоученія приписана нынѣшняя.

Къ баснямъ: *Булатъ, Мпронъ, Крестьянинъ и Лисица*, варьянтовъ почти нѣтъ[1]); но въ послѣдней баснѣ можно видѣть, какъ Крылову даже въ это время иногда приходилось бороться съ фразой, чтобы добиться желательнаго оттѣнка: послѣдній стихъ ея онъ два раза написалъ такимъ образомъ: „Да чтобъ *боялася* кнута“ и два раза зачеркнулъ; наконецъ нашелъ нынѣшнюю ред.

Да чтобы *слушалась* кнута.

Очень любопытенъ варьянтъ къ концу нравоученія въ баснѣ: *Оселъ* (ср. Кеневичъ, 1-е изд. 224)[2]). Въ изд. мы читаемъ:

Но важный чинъ на плутѣ, какъ звонокъ:
Звукъ отъ него и громокъ и далекъ.

Въ рп. вмѣсто этихъ двухъ стиховъ мы находимъ *четыре:*

Но важный чинъ на плутѣ, какъ звонокъ:
Какъ въ плутняхъ онъ ни укрывайся
И честнымъ слыть надеждой ни ласкайся,
Звукъ отъ него и громокъ и далекъ.

---

[1]) „Булатъ“ въ ст. 14—15-хъ рп. И дѣти ѣздятъ ужъ на немъ *конномъ*. (Изд. *верхомъ*; это одинъ изъ немногихъ случаевъ, гдѣ Крыловъ, въ угоду литературному языку, уничтожилъ народное выраженіе).
Ст. 13. Скажи, на что *твоя вся жизнь* похожа?
(Изд.—вся жизнь твоя)
„Мпронъ“ ст. 21. Жаль только, что собакъ онъ *держитъ столь мяхкъ*.
(Изд.—такихъ онъ держитъ злыхъ).
[2]) Незначительный вар. въ той же баснѣ, въ ст. 6: Надулся мой Оселъ: *сталъ важенъ и чордится*.
(Изд.—сталъ важничать, гордиться).

То же самое явленіе, но въ еще болѣе характерномъ видѣ мы встрѣчаемъ и въ слѣд. баснѣ: *Филинъ и Оселъ*. Въ изд. она вовсе не имѣетъ нравоученія и оканчивается эффектнымъ стихомъ:

И—бухъ Оселъ и съ Филиномъ въ оврагъ.

Въ нашей рп. нравоученіе заключаетъ въ себѣ 6 стиховъ:

Иному также и ученье
Не пользу, но одно наводитъ ослѣпленье:
До книгъ онъ все еще бредетъ прямымъ путемъ;
А съ книгами чѣмъ болѣе знакомъ,
Тѣмъ болѣе голова его идетъ кругомъ.
Не дай Богъ въ путь идти съ такимъ проводникомъ!

Судя по многочисленнымъ варр. въ эпической части басни, рп., бывшая въ рукахъ Кеневича, представляетъ ред., еще болѣе раннюю; въ ней разсказъ оканчивается безъ всякаго эффекта [1]); нравоученіе начиналось словами:

Есть люди, коимъ просвѣщенье
Не пользу, но одно наводитъ ослѣпленье.

Затѣмъ Крыловъ зачеркнулъ эти строки и написалъ:

Иному также просвѣщенье
Не пользу, но одно наводитъ ослѣпленье;
Чѣмъ болѣе онъ съ книгами знакомъ,
Тѣмъ болѣ голова его идетъ кругомъ.
Не дай Богъ въ путь идти съ такимъ проводникомъ! [2])

Басня: *Левъ* также имѣетъ въ нашей рп. добавочные стихи противъ изд.; послѣ стиха:

---

[1]) 1-е изд. стр. 225.

И втюрился Оселъ всей харею въ оврагъ;
А Филинъ такъ въ него вцѣпился,
Что вмѣстѣ съ нимъ и самъ убился.

[2]) Крыловъ также исключаетъ нравоученіе изъ басни *Змѣя* (см. Кеневичъ, 1-ое изд. стр. 226—7). Болѣе растянутыя и потому болѣе слабыя нравоученія раннихъ ред. см. *ib.* 92—93, 214, 219, 222 и др.

И на зиму себѣ запасся тюфякомъ

мы читаемъ въ ней:

А кажется, когда бъ усердье говорило
Ихъ языкомъ,
Не худо бы примѣръ подать собою было[1]).

И такъ, въ трехъ басняхъ подъ рядъ Крыловъ сокращаетъ окончанія и тѣмъ будто ослабляетъ поучительный элементъ басни, усиливая энергію и мѣткость сатиры; [стало быть, онъ вполнѣ сознательно упорнымъ трудомъ доходилъ до своихъ острыхъ, какъ стилетъ, заключеній, которыя именно потому и переходили въ пословицы; да и въ серединѣ разсказа, какъ мы видѣли выше, Крыловъ часто сокращалъ и исключалъ вполнѣ правильные и красивые стихи, если только могъ безъ нихъ выразить мысль и нарисовать картину. Вотъ источникъ той силы, которая такъ рѣзко отличаетъ его отъ Хемницера и Дмитріева.

---

[1]) Въ той же папкѣ находится: *Змѣя*, помѣченная рукою Крылова, какъ № 18, и *Лещи* безъ №. Въ *Змѣѣ* находимъ вар. въ ст. 4-мъ отъ конца:

На деревѣ одномъ опасно быть съ тобой.

(Изд. Намъ страшно вмѣстѣ быть съ тобой)
А въ баснѣ: *Лещи* въ ст. 12.

Иль *прожорливости* ты щукъ не знаешь?

(По рп. Кеневича: Или ты *свойства* и пр.
По изд. Иль *жадности* и пр.)
На свободномъ полулистѣ басни *Змѣя* находится записка Крылова (къ Жуковскому?), которую воспроизвожу съ соблюденіемъ орѳографіи оригинала:
„Посылаю и послѣднія три басни да нельзяль чтобъ *мнѣ* переписалъ тотъ кто переписывалъ булатъ его рука очень четка прощай до понедѣльника!“
Въ той же папкѣ находится чисто переписанная басня *Крестьянинъ и Лошадь*, гдѣ имѣются 2 поучительные варр., зачеркнутые Крыловымъ и замѣненные, какъ въ изд. Ст. 3: Такъ про себя *болтала* разсуждая;
(Изд.—ворчала).
Ст. 1Б. *Скормилъ бы* онъ его иль мнѣ или гнѣдому.
(Изд. *Стравилъ* и пр.).
Сличивъ №№, проставленные Крыловымъ на басняхъ этой папки, съ изд. 1830 г., нельзя не убѣдиться, что папка составлена именно для этого изданія. Крыловъ, очевидно, хотѣлъ ее закончить баснею *Змѣя*, но потомъ нашелъ возможнымъ прибавить еще 3 басни, чтобы уравнять 8-ую книгу съ предыдущими.

Столь же характерный примѣръ находимъ въ баснѣ *Муравей*, черновой автографъ которой пріобрѣтенъ Публичной библіотекой въ 1893 г. Въ ней нравоученіе читается такъ:

Такъ дворянинъ или чиновникъ тамъ иной,
Въ уѣздѣ у себя и славенъ и завиденъ
И всѣхъ славнѣй
И всѣхъ умнѣй,
Въ столицу жъ пріѣзжай, какъ этотъ Муравей,
Чуть-чуть онъ будетъ виденъ.

Послѣдняя строчка зачеркнута, и написано нынѣшнее нравоученіе, которое быстро становится пословицей [1]).

Если не ошибаюсь, одновременно съ б. *Муравей* пріобрѣтены автографы басенъ: *Раздѣлъ*, *Чижъ и Ежъ*, *Конь и Всадникъ*. *Раздѣлъ*—черновая рукопись, хотя эпическая часть уже вполнѣ отдѣлана [2]); вмѣсто нынѣшняго нравоученія въ 5 стиховъ здѣсь было набросано длинное (стиховъ 10—12), но оно перечеркнуто такъ старательно, что невозможно разобрать ни строчки. *Чижъ и Ежъ* и *Конь и Всадникъ* старательно переписаны вмѣстѣ, вѣроятно для публичнаго чтенія, можетъ быть при дворѣ (чему соотвѣтствуетъ и содержаніе ихъ); варр. въ нимъ незначительны [3]).

---

[1]) Другіе варр. той же рп.
Ст. 3. Онъ даже *(говорятъ навѣрно)*...
(Изд.—говоритъ его историкъ вѣрный).
Ст. 19. *Чтобы* и тамъ повеличаться.
(Изд. Чтобъ силой тамъ и пр.).
Ст. 28. Мой Муравей *то листикъ вдругъ потянетъ*.
(Изд.—то, взявъ листокъ, потянетъ).
[2]) Въ ст. 6 есть вар.
Заводятъ шумъ они *про* деньги, *про* товаръ.
Но *про* оба раза зачеркнуто и поставлено *за* какъ въ изд.
[3]) *Чижъ и Ежъ*.
Ст. 13. *Кумъ милый*, не поешь.
(Изд. Пріятель, не поешь).
Конь и Всадникъ.
Ст. 17. *Взыграла* кровь его...
(Рп. Кеневича, стр. 133. Въ немъ разигралась кровь. Изд. Вскипѣла кровь его).
Въ ст. 21. Здѣсь вписаны слова:
Дрожайшею рукой.
Въ ст. 23. Слово: *поколь* поправлено на *Доколь*; *ib.* во всѣхъ *понавши* носъ.

Въ Румянцевскомъ музеѣ (рп. отд. № 1026)[1]) имѣется экз. басенъ изд. 1811 г. съ собственноручными поправками Крылова, которыя предназначались для слѣдующаго изданія. Любопытно, что нѣкоторыя изъ этихъ поправокъ такъ и остались рукописными варр., хотя онѣ мѣстами и лучше печатныхъ[2]). В. Ѳ. Кеневичъ незнакомъ съ этими любопытными варьянтами, которые слѣдовало бы вводить во всѣ полныя изданія.

Ясно, что вывести общеинтересные итоги изъ варьянтовъ басенъ Крылова, такіе итоги, которые сдѣлались бы достояніемъ исторіи литературы (т. е. опредѣлить съ точностью, въ какомъ направленіи и подъ какими вліяніями Крыловъ видоизмѣнялъ свои вѣковѣчныя творенія), возможно будетъ только впослѣдствіи, когда эти варр. будутъ собраны съ полной тщательностью. Но нѣкоторыя обобщенія можно сдѣлать и теперь. Прежде всего, какъ мы видѣли, Крыловъ стремится къ возможной краткости, въ особенности въ послѣднихъ строкахъ басни; прибавлять лишніе стихи онъ рѣшается только въ томъ случаѣ, если черезъ это онъ можетъ

Ст. 25. Узнавши смерть его, сѣдокъ... (см. выше).
Ст. 26: „Мой *добрый* конь!“ сказалъ и пр.
(Рп. и изд. Мой бѣдный конь).
Кстати отмѣчу, что въ числѣ автографовъ Крылова въ Публ. Библ. находится экз. книжки „Три новыя басни Крылова“ (Спб. 1817) съ слѣдующей его надписью: „Елизавете Ивановне Полторацкой отъ сочинителя.

За милую прелестную кружку
Которой отвожу отъ жажды душку
Съ которой только что не сплю
И такъ люблю
Какъ маленькой дитя игрушку“.

[1]) Пріобрѣтенъ покупкою въ 1868 г. за 25 руб.
[2]) Въ баснѣ *Воронёнокъ* Крыловъ зачеркнулъ 3 ст. (И выхватилъ ягненка) и замѣнилъ:
И, подхвативъ, унесъ ягненка (нѣтъ въ изд.).
Подагра и Паукъ:
Ст. 39. Но только *что* съ работою убрался...
Кр. вычеркнулъ *что* и написалъ *лишь*.
Въ ст. 41 Кр. вычеркнулъ слова: *Паукъ мой терпѣливъ*.
Въ ст. 42 вм. *Оттолѣ паука метлой*.
Кр. написалъ: Оттоль его метлой.
Ст. 43. Кр. вычеркнулъ и поставилъ (*), но поправки не оказывается.
Ст. 69. Къ Превосходительству сѣдому сѣла въ .....
Кр. вычеркнулъ *Превосходительству* и написалъ *Сіятельству*.
Ни одна изъ этихъ поправокъ не вошла въ изд. и не отмѣчена у Кеневича.

ввести мѣткій народный оборотъ[1]); за то обороты книжные и искусственную конструкцію онъ гонитъ изъ всѣхъ силъ. Стремясь къ пластичности, онъ замѣняетъ неопредѣленныя выраженія точными и картинными[2]). Что касается до постройки стиха, то изъ слиненія многихъ мѣстъ оказывается, что Крыловъ вовсе не гордится разнообразіемъ числа стопъ, напротивъ, старается подвести ихъ къ возможно большему равенству. Въ общемъ же, всякій, кто хоть немного присмотрится къ многочисленнымъ варьянтамъ басенъ, непремѣнно долженъ поступиться ходячимъ мнѣніемъ о дѣдушкѣ-Крыловѣ, какъ человѣкѣ во всѣхъ отношеніяхъ облѣнившемся и равнодушномъ къ славѣ, доставшейся ему слишкомъ легко.

В. Ѳ. Кеневичъ много потрудился надъ историко-литературнымъ и историческимъ объясненіемъ басенъ, но полагать, что онъ исчерпалъ этотъ безконечный рядъ вопросовъ, было бы жестокой

Въ баснѣ *Лисица и Виноградъ* есть двѣ поправки въ ст. 4. Вм. Запрыгали глаза и зубы *разомлѣлись* (этотъ вар. изд. 1811 г. у Кен. не отмѣченъ) Кр. поправляетъ *разгорѣлись*.

Въ ст. 5 вм. какъ яхонты *горятъ*, Кр. пишетъ: *висятъ* (повтореніе этого слова въ слѣд. ст. не должно насъ смущать: его слѣдуетъ читать другимъ тономъ).

Въ б. *Слонъ на воеводствѣ* есть поправка, вошедшая въ слѣд. изд. (въ ст. 11 *Вотъ* вм. *Вдругъ*); тоже и въ б. *Крестьянинъ въ бѣдѣ* (ст. 4 *всѣ* вм. *такъ*); тоже и въ бас. *Волкъ и Волченокъ*, вм. ст. 6. „На счетъ сосѣдній отобѣдать“ здѣсь три стиха:

Хоть захватя грѣха,
На счетъ бы пастуха
Позавтракать иль пообѣдать.

Тоже въ б. *Совѣтъ Мышей* ст. 14 (*по платью иль по бородѣ*; въ изд. 1811 г. было только: *по бородѣ*).

Въ б. *Совѣтъ Мышей* въ ст. 36 и 37 вм. У всѣхъ
По ней одной подымутъ насъ на смѣхъ.

Крыловъ поправляетъ:

По ней одной у всѣхъ
Подымутъ насъ на смѣхъ.

Въ б. *Мышонокъ* ст. 31 сдѣлана поправка: „Хоть онъ такую дичь несетъ“ (вм. *Хоть такъ онъ вретъ*) и принята въ изд.

Тоже ст. 40: „Мы басней ни на чье лицо не намекали“ (вм. Мы басней никого обидѣть не хотѣли).

[1]) Примѣръ см. выше въ б. *Волкъ и Волченокъ*; въ этихъ случаяхъ онъ даже не останавливается передъ необычностью выраженій (напр. въ б. *Булыжникъ и Алмазъ*: *Набитый братъ*); но слова *простонародныя*, напр. *опричь* и т. п. Крыловъ не считаетъ нужнымъ удерживать.

[2]) Одинъ изъ множества примѣровъ: въ б. *Муха и Пчела* было сказано: И *въ близости* Пчелу увидя...

Крыловъ поправляетъ: *И на цвѣткѣ* Пчелу увидя.

ошибкой. Даже при первомъ чтеніи его обширнаго и добросовѣстнаго комментарія, по отношенію ко многимъ баснямъ являются недоумѣнія, и приходитъ мысль о необходимости и важности дать объясненіе такимъ сюжетамъ, относительно которыхъ В. Ѳ. Кеневичъ ограничивается библіографическими указаніями и сводомъ (какъ мы видѣли, часто неполнымъ) варьянтовъ. Такъ напр. можно ли признать *правдоподобнымъ*[1]), что Крыловъ въ баснѣ: *Орелъ и Паукъ* подъ пауком, взобравшимся на верхъ „держась за хвостъ вельможи", разумѣлъ Сперанскаго? Или можно ли признать *несомнѣннымъ*[2]), что въ баснѣ *Ворона и Курица* подъ видомъ безпечной вороны изображенъ Наполеонъ? Съ другой стороны, не ясно ли, что басня: *Котъ и Поваръ*, напечатанная въ 8-мъ чтеніи Бесѣды, которое одобрено цензурою 16 августа 1812 г., т. е. *наканунѣ* пріѣзда Кутузова къ русской арміи, имѣетъ тѣснѣйшую связь съ политическими событіями и выражаетъ убѣжденіе патріотовъ въ необходимости болѣе крутыхъ мѣръ сперва по отношенію къ Наполеону, съ которымъ деликатничали до самаго его вторженія, а потомъ по отношенію къ малоспособнымъ генераламъ, ведшимъ къ гибели армію и страну? Или напр. развѣ можно оставить безъ объясненія странный, повидимому, сюжетъ *Синицы*, съ чего-то вздумавшей вычерпать море, и не указать на длинную литератур-

---

Но въ ст. 43, гдѣ вм. *въ подножникахъ бывали*

Крыловъ поправилъ: *за стойкою сидѣли*; въ слѣд. изд. мы читаемъ: *въ подножникахъ сидѣли*.

Ст. 49 Кр. исправляетъ: Которы нынѣ съ тѣмъ вельможей (вм. Которые теперь не рѣдко съ тѣмъ вельможей).

(Изд. которые теперь съ вельможей...).

Огородникъ и Философъ.

Ст. 17 исправлено: „И огородъ твой при моемъ" (вм. И водѣ моего твой огородъ во всемъ)...

Ст. 42. За заступъ взялся свой (какъ въ рп. Кеневича, но въ изд. не исправлено: *Взялъ заступъ свой*.

Воспитаніе Льва ст. 66, исправлено: „Такъ я тебѣ охотно царство сдамъ" (вм. И такъ я съ радостью тебѣ правленье сдамъ).

(Кстати замѣчу, что въ изд. Кеневича варр. стр. 92—3, приведенные будто бы изъ изд. 1811 г., на самомъ дѣлѣ въ немъ не оказываются).

Какъ объяснить, что однѣ изъ сдѣланныхъ поэтомъ поправокъ, и въ томъ числѣ довольно длинныя—вошли въ слѣдующія изд., другія нѣтъ? Надо думать, что Крыловъ выправлялъ свои басни по нѣсколькимъ экз. и потомъ сводилъ эти поправки вмѣстѣ, но дѣлалъ это не особенно внимательно.

[1]) Кен., 1-ое изд. стр. 97.

[2]) *Ib.* 111.

ную исторію борьбы маленькой птички (въ Панчатантрѣ—*титтибха*, у древнихъ—*алкіона*, у малороссовъ *ремеза*) съ моремъ-Океаномъ, борьбѣ сперва серьезной и даже побѣдоносной, а потомъ комичной?[1]) Само собою разумѣется, что ставить эти пропуски въ вину В. Ѳ. Кеневичу мы не имѣемъ никакого права: вѣдь онъ только положилъ солидный фундаментъ важной работѣ; его ли упрекать за то, что въ продолженіе 26 лѣтъ къ ней почти ничего не прибавили?

А. Кирпичниковъ.

---

[1]) См. 12-й разсказъ Панчатантры и у Бенфея въ Einleitung, § 82 (Lpz. 1859, стр. 235 и слѣд.). Ср. *Στεφανιτης και Ιχνηλατης υπὸ Δημητρίου Γαλανοῦ Ἐν Αθηναις*. 1851, стр. 27 и слѣд. Книга Калила и Димна пер. Аттая и Рябинина, М. 1889, стр. 89 и слѣд. А. А. Потебня: Р. Фил. Вѣстн. 1883 г., III, стр. 68 и слѣд. Кирпичниковъ: Къ вопросу о птицѣ Страфилъ. Ж. М. Н. Пр. 1890, ч. CCLXX, отд. 2, стр. 104.

Изъ Воспоминаній Н. М. Сатина.

Нѣсколько словъ въ видѣ вступленія.

Николай Михайловичъ Сатинъ былъ однимъ изъ близкихъ университетскихъ товарищей Огарева и Герцена. Родился 4 декабря 1814 года въ Тамбовской губ., въ селѣ Дмитровскомъ (или Ильинскомъ). [1]) Какъ сынъ зажиточнаго тамбовскаго помѣщика, онъ получилъ по тому времени недурное воспитаніе. Знаніе французскаго языка было пріобрѣтено имъ дома, въ родной семьѣ, гдѣ о немъ заботилась горячо имъ любимая и любившая его мать; нѣмецкій и англійскій языки онъ изучилъ впослѣдствіи. Отвезенный въ Москву и помѣщенный въ Университетскій пансіонъ, онъ встрѣчается на школьной скамьѣ съ Лермонтовымъ и вмѣстѣ съ нимъ въ 1831 году, послѣ преобразованія Университетскаго пансіона въ Дворянскій институтъ, въ который вмѣстѣ съ преобразованіемъ были введены и розги, — оставляетъ школу. Вступивъ на слѣдующій годъ въ Московскій Университетъ, на математическій факультетъ, онъ встрѣчается и знакомится тамъ черезъ Сазонова съ Огаревымъ и со всѣмъ Герценовскимъ кружкомъ, по отношенію къ которому ему пришлось съиграть роль того злосчастнаго звена, которое связало студенческую пирушку 24 іюня 1834 года съ кружкомъ Герцена. Послѣ этой пирушки были арестованы Огаревъ и Герценъ, такъ же, какъ и самъ Сатинъ, не принимавшіе никакого участія въ пирѣ.

„Одинъ студентъ, окончившій курсъ, давалъ своимъ пріятелямъ праздникъ 24 іюня 1834 года. Изъ насъ, — разсказывалъ

---

[1]) Хронологическія данныя сообщаются со словъ одного изъ сыновей покойнаго Н. М. Сатина—Александра Николаевича Сатина.

впослѣдствіи Герценъ, [1])—не только не было ни одного на пиру, *но никто не былъ приглашенъ*. Молодые люди перепились, дурачились, танцовали мазурку и между прочимъ спѣли хоромъ извѣстную пѣсню Соколовскаго... Вечеромъ Скорятка *вдругъ* вспомнилъ, что это день его именинъ, разсказалъ исторію, какъ онъ выгодно продалъ лошадь, и пригласилъ студентовъ къ себѣ, обѣщая дюжину шампанскаго. Всѣ поѣхали, шампанское явилось, и хозяинъ, покачиваясь, предложилъ еще разъ спѣть пѣсню Соколовскаго. Середь пѣнія отворилась дверь, и вошелъ Цынскій съ полиціей“...

Вслѣдъ за этимъ арестовали автора пѣсни, поэта В. И. Соколовскаго, который былъ близокъ съ Сатинымъ и нетолько жилъ у него, но разъ своимъ непрерывнымъ возліяніемъ Бахусу вынудилъ товарища выѣхать изъ его собственной квартиры къ Огареву, предоставивъ ее въ полное распоряженіе Соколовскому.

При обыскѣ у Соколовскаго были найдены письма Н. М. Сатина. Этого было вполнѣ достаточно, чтобы перекинуть отъ упомянутой пирушки нить къ кружку Герцена. Письма, найденныя у Соколовскаго, явились причиной обыска у Сатина, котораго вещи находились въ его московской квартирѣ, самъ же Сатинъ въ это время жилъ въ деревнѣ у матери, въ Тамбовской губерніи. Дѣлая обыскъ въ вещахъ и бумагахъ Сатина, не трудно было найти въ нихъ письма Огарева, близкое сношеніе съ которымъ не только не подвергалось никакому сомнѣнію, а напротивъ могло бы быть еще болѣе подтверждено и недавнимъ совмѣстнымъ сожительствомъ обоихъ товарищей. И бумаги Огарева подверглись тщательному обыску, а онъ самъ аресту, вслѣдъ за которымъ послѣдовалъ обыскъ и арестъ Герцена. Полиція какъ будто только этого и добивалась: добравшись до Огарева и Герцена, она такъ сосредоточила на нихъ свое вниманіе, что въ продолженіе цѣлаго мѣсяца забыла и думать о розыскахъ Сатина. Но онъ напомнилъ ей самъ о себѣ. Какъ только дошла до него вѣсть объ арестѣ друзей, „онъ самъ поѣхалъ въ Москву, чтобы пріѣздъ жандармовъ не испугалъ ма(тери), простудился на дорогѣ и пріѣхалъ домой въ горячкѣ. Полиція его застала въ постели, везти въ часть было невозможно. Его арестовали дома... Въ началѣ зимы перевезли въ Лефортовскій госпиталь“... [2]).

[1]) Записки Герцена. Ч. I. Стр. 244—245.
[2]) Записки Герцена Ч. I.

Въ мартѣ 1835 года, какъ извѣстно, всѣмъ замѣшаннымъ и смѣшаннымъ съ дѣломъ по поводу пирушки былъ произнесенъ приговоръ. По этому приговору Герценъ ссылался безсрочно въ Пермь, Огаревъ — въ Пензенскую губернію въ имѣніе къ отцу, а Сатинъ — въ Симбирскую губернію. Въ 1837 году Н. М. Сатинъ по болѣзни былъ переведенъ на Кавказъ, гдѣ и произошли его встрѣчи, о которыхъ онъ разсказываетъ въ предлагаемыхъ отрывкахъ изъ его Воспоминаній, писанныхъ, какъ можно предположить, въ концѣ 1865 года.

Близкая связь Сатина съ университетскими друзьями не ослабла и по возвращеніи изъ ссылки; съ Огаревымъ же она скрѣпилась еще узами родства. Если не ошибаюсь, во второй половинѣ сороковыхъ годовъ Н. М. Сатинъ женился на Еленѣ Алексѣевнѣ Тучковой, младшая сестра которой, Наталья Алексѣевна, теперь авторъ извѣстныхъ Воспоминаній, печатаемыхъ въ Русской Старинѣ,—въ 50-хъ годахъ вышла замужъ за Огарева [1]).

И безъ того некрѣпкій здоровьемъ, страдавшій ревматизмомъ ногъ, Н. М. Сатинъ послѣ перенесенной во время ареста горячки на всю жизнь остался больнымъ, хилымъ. Въ 40-хъ годахъ для лѣченья отъ ревматизма онъ ѣздилъ за границу; долгое время жилъ тамъ вмѣстѣ съ своимъ близкимъ другомъ—Огаревымъ. Кромѣ одинаковости убѣжденій, взглядовъ на жизнь, людей, на соціальныя и политическія отношенія, кромѣ образовавшагося впослѣдствіи родства по женамъ, Огаревъ и Сатинъ были близки другъ другу еще и какъ поэты.

Сатинъ, какъ во время ссылки, такъ и во время жизни за границей писалъ стихи. Знаніе иностранныхъ языковъ направляло музу на стихотворные переводы изъ Байрона и Шекспира. Онъ перевелъ съ англійскаго: „Бурю“ и „Сонъ въ лѣтнюю ночь“ Шекспира. Современники очень цѣнили его переводъ „Бури“, находили его

---

[1]) Н. А. Огарева, несмотря на свои 60 слишкомъ лѣтъ, и сейчасъ одушевлена тѣми же высоко-гуманными мыслями и чувствами, какими былъ полонъ ея мужъ. Благодаря ея исключительному интересу и любви къ эпохѣ 30-хъ и 40-хъ годовъ, сохранились отъ забвенія и приводимыя здѣсь стихотворенія Н. М. Сатина. Благодаря ей, полученъ и портретъ Н. П. Огарева, помѣщаемый въ настоящемъ „Сборникѣ“.—Пользуюсь случаемъ выразить многоуважаемой Н. А. Огаревой мою глубокую благодарность и признательность за ея постоянную готовность помочь во всемъ, что касается возстановленія памяти ея покойнаго мужа и его друзей.

„отличнымъ и читали съ увлеченіемъ;“ цѣнили и посвященіе этого перевода друзьямъ, которое начиналось словами:

Я отлученъ судьбою былъ отъ міра,
И тамъ, въ тиши открылся предо мной
Волшебный міръ волшебнаго Шекспира
Съ его живой, великой простотой... [1])

Переводы эти, напечатанные въ свое время въ журналахъ: (*Буря* въ 1840, *Сонъ* въ Современ. 1851), выдержали уже пять изданій въ Собр. сочиненій Шекспира, изд. Гербелемъ.

Для обращика его переводовъ я приведу одно стихотвореніе изъ Байрона:

Никто изъ красавицъ съ тобой не возьмется
Сравниться волшебной красой,
Твой голосъ такъ сладко въ душѣ раздается,
Какъ музыки звукъ надъ водой.
Когда океанъ очарованъ смолкаетъ,
Внимая тѣмъ звукамъ живымъ,
Окованный вѣтеръ какъ будто мечтаетъ,
И волнъ хороводъ недвижимъ.
И мѣсяцъ надъ бездной идетъ, оставляя
Блестящій свой слѣдъ на волнѣ,
А бездна безмолвствуетъ, тихо вздыхая,
Какъ будто младенецъ во снѣ.
Душа моя такъ предъ тобою смирилась,
Внимая тебѣ, обожала она,
А сердце глубоко, но тихо такъ билось,
Какъ лѣтнею ночью волна.

Этотъ переводъ былъ сдѣланъ во Франціи въ 1844 году. По словамъ Н. А. Огаревой, онъ до сихъ поръ не былъ напечатанъ.

Не въ однихъ переводахъ изливалась его музыкальная рѣчь; у него немало стихотвореній и его собственнаго сочиненія, которыя онъ помѣщалъ, какъ говорится въ Воспоминаніяхъ Т. П. Пассекъ, [2]) то въ Отечественныхъ Запискахъ, то въ Современникѣ

[1]) Воспоминанія Т. П. Пассекъ. Т. II. Стр. 317.
[2]) Т. II. Стр. 318.

Въ имѣніи Старомъ Акшинѣ (Пензенской губ.), гдѣ въ настоящее время проживаетъ дочь покойнаго Сатина, Наталья Николаевна Сатина, [1]) сохранилось нѣсколько изъ его произведеній, не бывшихъ въ печати. Чтобы познакомить съ его взглядами и манерой писать, я приведу одно стихотвореніе, которое написано въ Москвѣ въ 1841 году.

Извѣстно, что какъ разъ въ этотъ годъ Лермонтовъ выступилъ въ защиту Наполеона съ своимъ негодующимъ словомъ и грознымъ упрекомъ противъ французовъ, которые вздумали воздавать запоздалыя почести бывшему изгнаннику и предприняли перевозъ его тѣла въ Парижъ, въ Hôtel des Invalides. Чудныя поэтическія красоты Лермонтовскаго стихотворенія, извѣстнаго подъ именемъ „*Послѣднее Новоселье*“, не въ силахъ были затемнить непріятный смыслъ и духъ произведенія, гдѣ Наполеонъ изображался спасителемъ французской націи, погибавшей въ концѣ прошлаго вѣка. Н. М. Сатинъ написалъ отвѣтъ на это стихотвореніе, гдѣ не трудно видѣть существовавшую разницу взглядовъ у обоихъ поэтовъ, нѣкогда однокашниковъ. Этотъ отвѣтъ сохранился въ бумагахъ покойнаго Сатина подъ названіемъ:

Лермонтову.

Когда поэтъ, сознавъ свое призванье,
Свой приговоръ народу прозвучитъ,
Какъ мощно онъ стихомъ негодованья
Народъ бичуетъ и клеймитъ!

* * *

Кто-бъ ни былъ тотъ народъ,—что нужды для поэта!
Поэтъ въ сей мигъ не франкъ, не славянинъ,
Одною истиной душа его согрѣта,
Онъ человѣкъ, онъ міра гражданинъ!

* * *

Но горе, если онъ въ сужденьяхъ увлечется
Народною иль личною враждой!
На грозный судъ его кой-кто лишь улыбнется,
И грозный стихъ надъ цѣлью пронесется,
Хоть звучною, но слабою струной.

---

[1]) Благодаря Н. Н. Сатиной и ея брату, Александру Николаевичу Сатину, сохранились и предлагаемые отрывки изъ Воспоминаній ихъ отца.

Это коротенькое стихотвореніе достаточно отражаетъ не только личный взглядъ автора на значеніе и призваніе поэта, но и взглядъ московскаго кружка, къ которому Сатинъ примыкалъ въ 30-е и 40-е годы.

Какъ это, такъ и вышеприведенное стихотвореніе говорятъ о несомнѣнномъ присутствіи поэтическаго дарованія автора, который самъ очень мало цѣнилъ свои поэтическіе труды. Вернувшись изъ-за границы, Сатинъ писалъ уже гораздо меньше, а потомъ сталъ даже стыдиться своихъ произведеній: „не разъ, встрѣтивши въ какомъ-нибудь журналѣ свои стихи, вырывалъ ихъ и рвалъ на части“ [1]). Но читатель самъ могъ видѣть, что поэтическіе опыты Сатина не дурны; приведенные обращики настолько удачны, что въ состояніи возбудить интересъ къ его музѣ,—хотя, правда, запоздалый: уже болѣе двадцати лѣтъ прошло со смерти поэта. Сатинъ умеръ 29 апрѣля 1873 года и похороненъ въ своемъ имѣніи Старомъ Акшинѣ.

Е. Некрасова.

Отрывки изъ воспоминаній.

I.

... Одно воспоминаніе влечетъ за собой другое. Говоря о Соколовскомъ [2]), я упомянулъ, что весь 1837 годъ я провелъ на Кавказѣ: лѣто на водахъ, а осень и зиму въ Ставрополѣ. Этотъ годъ былъ замѣчателенъ разными встрѣчами. Начнемъ съ Бѣлинскаго и Лермонтова.

Ив. Ив. Панаевъ въ своихъ „Литературныхъ Воспоминаніяхъ“ говоритъ, что Бѣлинскій и Лермонтовъ познакомились въ Петербургѣ, у г. Краевскаго, въ то время, когда Бѣлинскій принималъ

---

[1]) Воспоминанія Т. П. Пассекъ. Т. П. Стр. 318.

[2]) В. И. Соколовскій—авторъ „Хевери“, „Міровзданія“ и той пѣсни, за которую были арестованы всѣ присутствовавшіе на пирушкѣ 24-го іюня 1834 года. Воспоминанія Н. М. Сатина начинались главою о Соколовскомъ.

дѣятельное участіе въ изданіи Отеч(ественныхъ) Записокъ, т. е. въ 1839 или 1840 году[1]). Это не справедливо. Они познакомились въ 1837 г. въ Пятигорскѣ у меня. Сошлись и разошлись они тогда вовсе не симпатично. Бѣлинскій, впослѣдствіи столь высоко цѣнившій Лермонтова, не разъ подсмѣивался самъ надъ собой, говоря, что онъ тогда *не раскусилъ* Лермонтова.

Лѣтомъ 1837 года я жилъ въ Пятигорскѣ, больной, почти безъ движенія отъ ревматическихъ болей въ ногахъ. Туда же и тогда же пріѣхалъ Бѣлинскій и Лермонтовъ, первый изъ Москвы лѣчиться, второй—изъ Нижегородскаго полка повеселиться.

Съ Бѣлинскимъ я не былъ знакомъ прежде; но онъ привезъ мнѣ изъ Москвы письмо отъ нашего общаго пріятеля К.[2]); на этомъ основаніи мы скоро сблизились, и Бѣлинскій навѣщалъ меня ежедневно.

Съ Лермонтовымъ мы встрѣтились, какъ старые товарищи. Мы были съ нимъ вмѣстѣ въ Московскомъ Университетскомъ пансіонѣ; но въ 1831 году, послѣ преобразованія пансіона въ Дворянскій институтъ (когда-нибудь поговоримъ и объ этомъ замѣчательномъ фактѣ) и введенія въ него *розогъ*, вмѣстѣ и оставили его. Лермонтовъ тотчасъ же вступилъ въ Московскій Университетъ и прямо наткнулся на исторію профессора Малова, вслѣдствіе которой былъ исключенъ изъ Университета[3]), и поступилъ въ Юнкерскую школу. Я поступилъ въ Университетъ только на слѣдующій годъ.

На порогѣ школьной жизни мы разстались съ Лермонтовымъ холодно и скоро забыли другъ о другѣ. Вообще въ пансіонѣ товарищи не любили Лермонтова за его наклонность подтрунивать и надоѣдать: „пристанетъ, такъ не отстанетъ“, говорили объ немъ.

---

[1]) Въ „Воспоминаніяхъ“ Панаева такъ разсказывается исторія знакомства Бѣлинскаго съ Лермонтовымъ: (... „Это было въ первые годы Отечественныхъ Записокъ, въ 1839, 1840 и 1841 годахъ“...). „Бѣлинскій часто встрѣчался съ Лермонтовымъ у г. Краевскаго. Бѣлинскій пробовалъ было не разъ заводить съ нимъ серіозный разговоръ, но изъ этого никогда ничего не выходило: Лермонтовъ всякій разъ отдѣлывался шуткой или прямо прерывалъ его, а Бѣлинскій приходилъ въ смущеніе“. (178 стр.).

[2]) Отъ Ник. Христ. Кетчера, съ которымъ Сатинъ познакомился въ Герценовскомъ кружкѣ.

[3]) Такъ называемая Маловская исторія окончилась печально не для одного М. Ю. Лермонтова: уволенъ отъ службы былъ и самъ профессоръ, а Герценъ и его товарищи были посажены въ карцеръ. Объ этой исторіи подробно разсказывается въ біографіяхъ Лермонтова.

Замѣчательно, что эта юношеская наклонность привела его и къ послѣдней трагической дуэли!

Въ 1837 году мы встрѣтились уже молодыми людьми, и, разумѣется, школьныя неудовольствія были взаимно забыты. Я сказалъ, что былъ серіозно боленъ и почти недвижимъ; Лермонтовъ напротивъ—пользовался всѣмъ здоровьемъ и велъ свѣтскую разсѣянную жизнь. Онъ былъ знакомъ со всѣмъ *водянымъ* обществомъ (тогда очень многочисленнымъ), участвовалъ на всѣхъ обѣдахъ, пикникахъ и праздникахъ.

Такая, повидимому, пустая жизнь не пропадала, впрочемъ, для него даромъ: онъ писалъ тогда свою „Княжну Мери“ и зорко наблюдалъ за встрѣчающимися ему личностями. Тѣ, которые были въ 1837 году въ Пятигорскѣ, вѣроятно, давно узнали и княжну Мери, и Грушницкаго, и въ особенности милаго, умнаго и оригинальнаго доктора Майера [1]).

Майеръ былъ докторомъ при штабѣ генерала Вельяминова. Это былъ замѣчательно умный и образованный человѣкъ; тѣмъ не менѣе онъ тоже не раскусилъ Лермонтова.

Лермонтовъ снялъ съ него портретъ поразительно вѣрный; но умный Майеръ обидѣлся, и, когда „Княжна Мери“ была напечатана, онъ писалъ ко мнѣ о Лермонтовѣ: „Pauvre sire, pauvre talent!“ [2]).

Лермонтовъ приходилъ ко мнѣ почти ежедневно послѣ обѣда отдохнуть и поболтать. Онъ не любилъ говорить о своихъ литературныхъ занятіяхъ, не любилъ даже читать своихъ стиховъ; но зато охотно разсказывалъ о своихъ свѣтскихъ похожденіяхъ, самъ первый подсмѣиваясь надъ своими *любвями* и волокитствами.

Въ одно изъ такихъ посѣщеній онъ встрѣтился у меня съ Бѣлинскимъ. Познакомились, и дѣло шло ладно, пока разговоръ вертѣлся на разныхъ пустячкахъ; они даже открыли, что оба уроженцы города Чембар(ъ) (Пензенской губ.) [3]).

---

[1]) Это тотъ самый докторъ, который описанъ въ „Княжнѣ Мери“ подъ именемъ Вернера.

[2]) „Ничтожный человѣкъ, ничтожный талантъ“.

[3]) Это не вѣрно. Извѣстно, что Лермонтовъ родился въ Москвѣ; Бѣлинскій же, по свидѣтельству А. Н. Пыпина (*Жизнь и Переписка Бѣлинскаго* стр. 7—8) родился въ Свеаборгѣ, гдѣ въ 1810 г. стоялъ флотскій экипажъ, въ которомъ отецъ Бѣлинскаго служилъ врачемъ, а оттуда въ 1816 году перешелъ „въ родной край“, въ городъ Чембаръ. Въ Пензен-

Но Бѣлинскій не могъ долго удовлетвориться пустословіемъ. На столѣ у меня лежалъ томъ записокъ Дидерота; взявъ его и перелистовавъ, онъ съ удивленіемъ началъ говорить о французскихъ энциклопедистахъ и остановился на Вольтерѣ, котораго именно онъ въ то время читалъ. Такой переходъ отъ пустого разговора къ серіозному разбудилъ юморъ Лермонтова. На серіозныя мнѣнія Бѣлинскаго онъ началъ отвѣчать разными шуточками; это явно сердило Бѣлинскаго, который начиналъ горячиться; горячность же Бѣлинскаго болѣе и болѣе возбуждала юморъ Лермонтова, который хохоталъ отъ души и сыпалъ разными шутками.

— „Да я вотъ что скажу вамъ о вашемъ Вольтерѣ,—сказалъ онъ въ заключеніе: еслибы онъ явился теперь къ намъ въ Чембары, то его ни въ одномъ порядочномъ домѣ не взяли бы въ гувернеры.

Такая неожиданная выходка, впрочемъ, не лишенная смысла и правды, совершенно озадачила Бѣлинскаго. Онъ въ теченіи нѣсколькихъ секундъ посмотрѣлъ, молча, на Лермонтова, потомъ, взявъ фуражку и едва кивнувъ головой, вышелъ изъ комнаты.

Лермонтовъ разразился хохотомъ. Тщетно я увѣрялъ его, что Бѣлинскій замѣчательно умный человѣкъ; онъ передразнивалъ Бѣлинскаго и утверждалъ, что это не доучившійся фанфаронъ, который, прочитавъ нѣсколько страницъ Вольтера, воображаетъ, что проглотилъ всю премудрость.

Бѣлинскій съ своей стороны иначе не называлъ Лермонтова, какъ *пошлякомъ*, и когда я ему напоминалъ стихотвореніе Лермонтова „На смерть Пушкина“,—онъ отвѣчалъ: „Вотъ важность написать нѣсколько удачныхъ стиховъ! Отъ этого еще не сдѣлаешься поэтомъ и не перестанешь быть пошлякомъ!“

На впечатлительную натуру Бѣлинскаго встрѣча съ Лермонтовымъ произвела такое сильное вліяніе, что въ первомъ же письмѣ изъ Москвы онъ писалъ ко мнѣ: „Повѣрь, что пошлость заразительна, и потому, пожалуйста, не пускай къ себѣ такихъ пошляковъ, какъ Лермонтовъ“.

ской губ. жила вся старая родня Бѣлинскаго, а дѣдъ о. Никифоръ долго былъ священникомъ въ селѣ Бѣлыни, въ Нижнеломовскомъ уѣздѣ, Пензенской губ. На основаніи этого, конечно, Бѣлинскій считалъ эту губернію своимъ роднымъ краемъ.

Такъ встрѣтились и разошлись въ первый разъ эти двѣ замѣчательныхъ личности. Черезъ два или три года они глубоко уважали и цѣнили другъ друга. [1])

II.

Осенью этого года (1837) въ Ставрополѣ ожидали государя Николая Павловича. Подъ самымъ городомъ расположился лагеремъ генералъ Засс, извѣстный тогда на Кавказѣ подъ именемъ „храбраго генерала“. Онъ командовалъ летучимъ отрядомъ, который употреблялся для быстрыхъ, неожиданныхъ нападеній на разные провинившіеся аулы. Подъ Ставрополемъ, кромѣ его отряда, палатку Засса окружала пестрая толпа депутатовъ отъ разныхъ племенъ мирныхъ горцевъ, которыхъ онъ долженъ былъ представить государю. Ихъ скачки, стрѣльба и другія военныя игры представляли живую и оригинальную картину, которою мы часто ѣздили любоваться; къ тому же и Засс былъ веселый, честный нѣмецъ, и мы часто пользовались его гостепріимствомъ.

Однажды мы у него завтракали. Завтракъ уже кончился, и мы сидѣли за стаканами кахетинскаго въ веселой дружеской болтовнѣ.

Взошелъ адъютантъ и, подавши Зассу пакетъ, объявилъ, что привезли изъ Сибири шестерыхъ разжалованныхъ въ солдаты.

„Это декабристы! сказалъ Засс,—просите ихъ сюда.

---

[1]) Въ 1840 году, когда Лермонтовъ сидѣлъ на гауптвахтѣ за дуэль съ Барантомъ, Бѣлинскій былъ у него и, какъ самъ говоритъ, „въ первый разъ разговорился съ нимъ отъ души. Глубокій и могучій духъ! Какъ онъ вѣрно смотритъ на искусство, какой глубокій и чисто непосредственный вкусъ изящнаго! О, это будетъ русскій поэтъ, съ Ивана Великаго! Чудная натура! Я былъ безъ памяти радъ, когда онъ сказалъ мнѣ, что Куперъ выше Скотта, что въ его романахъ больше глубины и больше художественной цѣлости. Я давно такъ думалъ и еще перваго человѣка встрѣтилъ, думающаго также. Передъ Пушкинымъ онъ благоговѣетъ и больше всего любитъ „Онѣгина“. Женщинъ ругаетъ; однѣхъ за то... другихъ за то...Мужчинъ онъ также презираетъ, но любитъ однѣхъ женщинъ и въ жизни только ихъ и видитъ. Взглядъ чисто онѣгинскій. Печоринъ—это онъ самъ, какъ есть. Я съ нимъ спорилъ, и мнѣ отрадно было видѣть въ его разсудочномъ, охлажденномъ и озлобленномъ взглядѣ на жизнь и людей сѣмена глубокой вѣры въ достоинство того и другого. Я это и сказалъ ему,—онъ улыбнулся и сказалъ: „дай Богъ!“ Боже мой, какъ онъ ниже меня по своимъ понятіямъ, и какъ я безконечно ниже его въ моемъ передъ нимъ превосходствѣ. Каждое его слово—онъ самъ, вся его натура во всей глубинѣ и цѣлости своей. Я съ нимъ робокъ—меня давятъ такія цѣлостныя, полныя натуры, я передъ ними благоговѣю и смиряюсь въ сознаніи своего ничтожества“. (Тамъ же, томъ II, стр. 38).

Черезъ нѣсколько минутъ въ палатку вошли шесть человѣкъ среднихъ лѣтъ въ полудорожныхъ костюмахъ и нѣсколько сконфуженные. Но Зассъ тотчасъ ободрилъ ихъ; онъ принялъ ихъ не какъ подчиненныхъ, а какъ товарищей. Подали еще вина, и скоро разговоръ сдѣлался общій и оживленный.

Эти декабристы были: Нарышкинъ, Лореръ, баронъ Розенъ, Лихаревъ, и поэтъ, князь Александръ Одоевскій[1]). Фамилію шестого теперь не могу припомнить[2]).

Наслѣдникъ Александръ Николаевичъ въ бытность свою въ Сибири исходатайствовалъ имъ у государя, какъ милость, быть переведенными на Кавказъ солдатами. Впрочемъ, они впослѣдствіи не раскаялись въ этомъ, потому что не несли никакой службы, а жили очень спокойно, а иногда даже и весело. Одинъ только несчастный Лихаревъ попалъ къ какому-то греку, полковнику Пулло, который заставлялъ его нести солдатскую лямку[3]).

Несмотря на 12 лѣтъ Сибири, всѣ они сохранили много жизни, много либерализма и мистически религіозное направленіе, свойственное царствованію Александра I-го. Но изо всѣхъ веселостью, открытой физіономіей и игривымъ умомъ отличался Александръ Одоевскій. Это былъ дѣйствительно „мой милый Саша“, какъ его

---

[1]) По словамъ барона Розена: „Въ 1837 году по случаю проѣзда цесаревича Александра Николаевича, наслѣдника престола, черезъ Сибирскіе города Тюмень, Тобольскъ, Ялуторовскъ и Курганъ, вмѣсто возвращенія на родину, какъ гласило ходатайство цесаревича, были переведены на Кавказъ рядовыми приговоренные въ каторжную работу и находящіеся затѣмъ въ Сибири на поселеніи: Михаилъ Михайловичъ *Нарышкинъ*, Николай Ивановичъ *Лореръ*, Владиміръ Николаевичъ *Лихаревъ*, баронъ Андрей Евгеньевичъ *Розенъ*, кн. Александръ Ивановичъ *Одоевскій*, Михаилъ Александровичъ *Назимовъ*. „Декабристы на Кавказѣ“. Рус. Ст. 1884. № 2. Стр. 304“.

[2]) Сатинъ, какъ видимъ, забылъ фамилію М. А. Назимова. Про послѣднято говорится въ біографіи кн. Одоевскаго, приложенной къ его стихотвореніямъ: „Высочайшимъ приказомъ отъ 7 ноября 1837 г. Одоевскій былъ переведенъ на Кавказъ рядовымъ въ Нижегородскій драгунскій полкъ, стоявшій тогда въ урочищѣ Кара-Агачъ, близъ Царскихъ колодцевъ, верстахъ въ ста отъ Тифлиса. Александръ Ивановичъ (*Одоевскій*) отправился туда вмѣстѣ съ *Назимовымъ*, своимъ товарищемъ по несчастью, который былъ тоже переведенъ рядовымъ на Кавказъ. Подъѣзжая къ Ставрополю, они увидѣли стаю журавлей, направлявшихъ полетъ свой къ сѣверу. „Привѣтствуй ихъ!“ сказалъ Назимовъ поэту. Одоевскій призадумался на минуту, потомъ быстро поднялъ голову и произнесъ свой прелестный экспромтъ, начинающійся стихомъ:

„Куда несетесь вы, крылатыя станицы?“ (Стихотворенія кн. А. И. Одоевскаго. 1890. Стр. VI и VII).

[3]) И не только „нести солдатскую лямку“, но и поплатиться жизнью: В. Н. Лихаревъ былъ убитъ въ сраженіи.

прозвалъ Лермонтовъ въ своемъ извѣстномъ стихотвореніи на смерть Одоевскаго [1]). Ему было тогда лѣтъ подъ 40; [2]) но онъ казался гораздо моложе, несмотря на то, что былъ лысый. Улыбка, не сходившая почти съ его губъ, придавала лицу его этотъ видъ юности. Жаль, что его стихотворенія до сихъ поръ не изданы", [3])— они разбросаны въ старыхъ альманахахъ и журналахъ, а многія и вовсе не были напечатаны. Въ нихъ нѣтъ могучаго таланта Пушкина или Лермонтова, но много задушевнаго и теплаго.

Попировавъ у Засса, я и Майеръ отправились провожать нашихъ новыхъ знакомыхъ [4]) до гостиницы, въ которой они остановились. Между тѣмъ пошелъ сильный дождь, и они не хотѣли отпустить насъ. Велѣли подать шампанскаго, и пошли разные либеральные тосты и разные разсказы о 14-мъ декабрѣ и обстоятельствахъ, сопровождавшихъ его. Можете представить, какъ это волновало тогда наши еще юныя сердца, и какими глазами смотрѣли мы на этихъ людей, изъ которыхъ каждый казался намъ или героемъ, или жертвой грубаго деспотизма!

Какъ нарочно, на эту самую ночь въ Ставрополь долженъ былъ пріѣхать государь. Наступила темная осенняя ночь, дождь лилъ ливмя, хотя на улицѣ были зажжены плошки, но, заливаемыя дождемъ, онѣ трещали и гасли, и доставляли болѣе вони, чѣмъ свѣта.

Наконецъ около полуночи прискакалъ фельдъегерь, и послышалось отдаленное „ура". Мы вышли на балконъ; вдали, окруженная горящими (смоляными) факелами, двигалась темная масса.

Дѣйствительно въ этой картинѣ было что-то мрачное.

— „Господа! закричалъ Одоевскій. Смотрите, вѣдь, это похоже на похороны! Ахъ, еслибы мы подоспѣли...!" И, выпивая залпомъ бокалъ, прокричалъ: по латыни...

---

[1]) Это стихотвореніе называется: „*Памяти А. И. Од—го*" и начинается словами: „Я зналъ его: мы странствовали съ нимъ". А въ 3-мъ куплетѣ говорится: „Но онъ погибъ далеко отъ друзей...
Миръ сердцу твоему, *мой милый Саша*!"

[2]) Кн. А. И. Одоевскій родился въ 1803 г.—какъ говорится въ его біографіи,—слѣдовательно, въ это время (въ 1837 году) ему было всего 34 года.

[3]) Стихотворенія кн. Одоевскаго вышли отдѣльной маленькой книжкой только въ 1890 году въ Москвѣ.

[4]) Въ біографіи же князя Одоевскаго не вѣрно говорится, что онъ встрѣтился и *познакомился* съ докторомъ Майеромъ (а также и съ Огаревымъ) только лѣтомъ *1839 года* въ Пятигорскѣ.

— Сумасшедшій! сказали мы всѣ, увлекая его въ комнату,— что вы дѣлаете?! вѣдь васъ могутъ услыхать, и тогда бѣда!

„У насъ въ Россіи полиція еще не училась по латыни,—отвѣчалъ онъ, добродушно смѣясь.

Лишь къ утру разстались мы уже не простыми знакомыми, а почти друзьями и разстались съ иными навсегда. Лишь Нарышкина и Одоевскаго привелось мнѣ снова встрѣтить на слѣдующее лѣто въ Пятигорскѣ, на водахъ. Прочихъ же я потерялъ изъ вида.

Этой же осенью я лишился моей матери. Кто знаетъ, какъ она безконечно много любила меня, пойметъ, какъ тяжела была для меня эта потеря. У меня начиналось воспаленіе въ боку, и послѣ кровепусканій, до которыхъ Майеръ былъ большой охотникъ, я безвыходно сидѣлъ въ теченіе нѣсколькихъ недѣль дома. Она умерла почти скоропостижно ударомъ, и потому я не былъ нисколько предупрежденъ.

Однажды человѣкъ подалъ Майеру письмо съ черной печатью, и, хотя онъ сидѣлъ довольно далеко, мнѣ показалось, что на конвертѣ надпись моего брата. Я спросилъ:—отъ кого письмо? Онъ отвѣчалъ, что отъ одного петербургскаго знакомаго,—всталъ и вышелъ въ свою комнату. Я видѣлъ издали, какъ онъ прочелъ письмо и положилъ его (въ) бюваръ, который лежалъ на его столѣ,—Потомъ онъ надѣлъ фуражку и объявилъ мнѣ, что ѣдетъ къ Горсткинымъ,—это былъ полковникъ генеральнаго штаба, добрѣйшій и уже немолодой человѣкъ; но жена у него была молоденькая и очень миленькая нѣмка. Мы часто собирались у нихъ за ихъ простымъ нѣмецкимъ столомъ и вмѣстѣ съ офицерами генеральнаго штаба составляли очень веселый и интимный кружокъ. Старикъ былъ порядочный оригиналъ: женившись на нѣмкѣ, онъ выучился только одному слову: „*schlecht*“ [1]) и повторялъ его à tout propos [2]). Стоитъ бывало у печки, покуриваетъ коротенькую трубочку, поплевываетъ на обѣ стороны и повторяетъ то тому, то то другому: „*schlecht*, Николай Михайловичъ!“—„schlecht, Николай Васильевичъ!“

— Да что же schlecht-то, Николай Ивановичъ? спросишь у него.

---

[1]) „Скверно“.
[2]) „Ежеминутно“.

„Да все schlecht! Богъ развѣ жена намъ дастъ хорошій обѣдъ, это будетъ не schlecht.

Впрочемъ, это былъ человѣкъ умный и чрезвычайно интересный въ разговорахъ о Кавказѣ, который онъ зналъ, какъ свои пять пальцевъ.

Какъ только Майеръ ушелъ, чувство любопытства и какая-то томящая грусть побѣдили чувство деликатности. Я подошелъ къ столу, отыскалъ письмо и узналъ свое горе. Братъ просилъ Майера по дружбѣ ко мнѣ приготовить меня къ полученію этого извѣстія,— предосторожность, можетъ быть деликатная, но нелѣпая, по моему.

Черезъ часъ пріѣхалъ Майеръ и привезъ съ собою Горсткина. Признаюсь, мнѣ неловко было передъ ними притворяться. Но при первой ихъ попыткѣ приготовить меня, разсказать о разныхъ неожиданныхъ случаяхъ смерти, я не выдержалъ и откровенно признался, что я все знаю, что я прочелъ письмо, потому что замѣтилъ и руку брата, и черную печать.

Съ искреннѣй благодарностью вспоминаю о томъ деликатномъ участіи, которое оказали мнѣ тогда, какъ они двое, такъ и весь нашъ маленькій кружокъ.

Остальной конецъ (18) 37 и начало 38 мы провели мирно въ этомъ кружкѣ, собираясь ежедневно или у Горсткина, или у насъ. Весна 1838 г. разлучила насъ: всѣ военные отправились въ обычныя экспедиціи, а я съ Майеромъ поѣхалъ въ Пятигорскъ.

Здѣсь ожидала меня неожиданная и вмѣстѣ съ тѣмъ истинно огромная радость. Пріѣхавъ туда очень рано, когда общество еще не собралось, я жилъ очень уединенно и видѣлся только съ Майеромъ.—Отсутствіе знакомыхъ и болѣзненное состояніе заставляли меня довольно рано ложиться спать.

Однажды въ маѣ я и вѣрный, добрый, но безконечно глупый камердинеръ мой, Кузьма, уже покоился сладкимъ сномъ, когда я услыхалъ стукъ въ дверь.

Кузьму не легко было поднять съ его жесткаго ложа, однако послѣ многократныхъ моихъ требованій онъ всталъ и отворилъ. Вдругъ слышу радостные возгласы и многократныя лобзанья. Не успѣлъ еще я сообразить, кто это можетъ быть, какъ Кузьма съ сіяющей улыбкой ввелъ ко мнѣ Василія Михайлова.

Василій Михайловъ былъ давнишній мой знакомецъ и любимый камердинеръ Огарева.

Уже и его появленію я обрадовался, какъ благодати; но когда онъ объявилъ мнѣ, что и Николай Платоновичъ[1]) съ Марьей Львовной[2]) тоже находятся въ Пятигорскѣ и съ нетерпѣніемъ ждутъ меня,—я не знаю, что со мною сталось.

Съ того времени прошло болѣе 28 лѣтъ, въ теченіе которыхъ я имѣлъ другія минуты счастья; но выше той радости, которую я ощутилъ тогда, не было въ моей жизни!

Четыре года тому (назадъ)[3]) я разстался со всѣми моими друзьями въ присутствіи слѣдственной комиссіи, объявившей намъ сентенцію и разославшей насъ по разнымъ мѣстамъ Россіи. Съ тѣхъ поръ я никого не видалъ изъ нихъ, и самая переписка была почти невозможна, и случалась только разъ или два въ годъ по случаю какой-нибудь вѣрной оказіи. И вотъ теперь представляется случай пробыть съ Огаревымъ два-три мѣсяца, познакомиться съ его женой, которая, вѣроятно, такъ же симпатична, какъ и онъ, и дѣлаетъ его счастливымъ. Одного этого уже было достаточно для того, чтобы ощутить великую радость. Но надо знать, что былъ для меня Огаревъ. Симпатичнѣе личности я не зналъ и не знаю. Я глубоко люблю всѣхъ моихъ немногихъ друзей; но Огарева я любилъ съ такою нѣжностью, къ которой только способна женская любовь![4]).

И съ нимъ-то мнѣ предстояло первое и продолжительное свиданіе!

Несмотря на болѣзнь, хромоту и позднее время ночи, разумѣется, я поспѣшилъ одѣться. Василій[5]) и Кузьма взяли меня подъ руки и довели до квартиры Огарева.

Болѣе симпатичнаго свиданія невозможно себѣ представить: мы оба плакали навзрыдъ, обнимая другъ друга. Но, признаюсь, жена его произвела на меня охлаждающее впечатлѣніе. Обнявши Огарева, я бросился къ ней со всею братскою любовью и хотя въ

---

[1]) Николай Платоновичъ Огаревъ—близкій другъ и товарищъ, котораго Сатинъ не видалъ со дня прочтенія приговора—съ 31-го марта 1835 г.

[2]) Марья Львовна—первая жена Огарева, урожденная Рославлева.

[3]) Вставлено слово.—Здѣсь, надо замѣтить, авторъ запамятовалъ: съ весны 1835 до весны 1838 года прошло всего три, а не четыре года.

[4]) Сносокъ въ оригиналѣ: „Я не говорю объ Огаревѣ съ большею подробностью, потому что о немъ говорено въ моихъ предыдущихъ запискахъ, а именно „Студенческихъ“. (Эти записки въ бумагахъ Сатина не сохранились).

[5]) Василій Михайловичъ, любимый камердинеръ Огарева, который сопровождалъ его изъ Пензенской губерніи на Кавказъ.

первый разъ видѣлъ ее, но принялъ ее къ моему сердцу почти такъ-же крѣпко, какъ и Огарева. Она какъ будто испугалась этого движенія и съ перваго разу сказала моему сердцу, что не понимаетъ тѣхъ братскихъ отношеній, которыя существовали между мною и Огаревымъ и которыхъ я желалъ съ нею, какъ съ подругою жизни Огарева.

Впрочемъ, мы сохранили съ ней самыя дружескія отношенія до самой ея смерти, послѣдовавшей въ 1853 или 54 г., несмотря на правду, которую я позволилъ себѣ говорить ей.

Она была умная и добрая женщина. Но сперва она была сбита съ пути воспитаніемъ, а потомъ окончательно добита черезчуръ либеральнымъ направленіемъ мужа[1]).

Отъ природы умная, она не получила достаточнаго воспитанія, по семейству бѣдная,—она была родной племянницей пензенскаго губернатора Панчулидзева и слѣдовательно играла нѣкоторую роль въ Пензѣ. Огаревъ, сосланный въ Пензу очень молодымъ (человѣкомъ) (21 годъ)[2]) и считавшійся самымъ богатымъ женихомъ, — увлекся ею; съ той стороны[3]), разумѣется, не были упускаемы разныя ловушки, которыя не остались безъ успѣха[4]). Наконецъ они женились! Но симпатіи не было ни малѣйшей: одинъ требовалъ семейной и ученой жизни, другая требовала свѣтскихъ[5]) развлеченій; изъ любви и снисходительности онъ[6]) покорялся, но былъ страненъ и не ловокъ въ обществѣ; естественно, самолюбіе его страдало, не говоря уже о томъ, что онъ не былъ въ своей сферѣ. Еще можно было бы удержать молодую женщину, но Огаревъ по своей добросовѣстности поддерживалъ ее въ ея фальшивомъ направленіи. Тогда были въ ходу романы Жоржъ Зандъ; почти (все)[7]), что было образованнаго, восхищалось ими: вывести жен-

---

[1]) Трудно понять, что хотѣлъ сказать авторъ словами: „а потомъ окончательно *добита* черезчуръ либеральнымъ направленіемъ мужа“? Извѣстно, что кромѣ свѣтскаго воспитанія, корнемъ всего зла была плохая, крайне неустойчивая натура М. Л. Огаревой; натура а не мужъ добили и сгубили ее окончательно.

[2]) Плохо разобраны три послѣднія слова.

[3]) Далѣе зачеркнуто какое-то слово.

[4]) Эти слова *ловушкъ* со стороны молоденькой дѣвушки еще больше подтверждаютъ высказанное въ примѣчаніяхъ мнѣніе о плохой натурѣ Марьи Львовны.

[5]) Раньше стояло другое слово, потомъ зачеркнуто и сверху вписано: „свѣтскихъ“.

[6]) Раньше стояло „былъ“.

[7]) Вставлено слово.

щину изъ вѣкового рабства и поставить ее на ряду съ мужчиной,—чего же лучше, чего благороднѣй? М. Л. увлекласъ этими романами, и Огаревъ ее поддерживалъ со всею своею добросовѣстностью.

III.

По окончаніи курса водъ я переѣхалъ въ Ставрополь зимовать, чтобы воспользоваться раннимъ курсомъ 1838 года. Я помѣстился съ докторомъ Майеромъ [1]). — Это былъ замѣчательный человѣкъ, какъ въ физическомъ, такъ и въ умственномъ отношеніи. Въ физическомъ отношеніи Майеръ былъ почти уродъ: одна нога была короче другой болѣе, чѣмъ на два вершка; лобъ отъ лицевой линіи выдавался впередъ на неимовѣрно замѣчательное пространство, такъ что голова имѣла видъ какого-то треугольника; сверхъ этого онъ былъ маленькаго роста и чрезвычайно худощавъ [2]). Тѣмъ не менѣе своимъ умомъ и страстностью онъ возбудилъ любовь въ одной изъ самыхъ красивѣйшихъ женщинъ, г-жѣ М. [3]). Я былъ свидѣтелемъ и повѣреннымъ этой любви. Майеръ, непривычный внушать любовь, былъ въ апогеѣ счастья! Когда она должна была ѣхать, онъ послѣдовалъ за нею въ Петербургъ, но увы! Скоро возвратился оттуда совершенно убитый ея равнодушіемъ.

Надъ г-жей М. эта любовь или правильнѣе шутка прошла, вѣроятно, безслѣдно; но на Майера это подѣйствовало разрушительно: изъ веселаго, остроумнаго, дѣятельнаго человѣка, онъ сдѣлался лѣнивымъ и раздражительнымъ.

---

[1]) См. 1-ю главу Воспоминаній, гдѣ говорится о встрѣчѣ Бѣлинскаго съ Лермонтовымъ.

[2]) Вотъ какъ описывается наружность доктора Вернера въ „Княжнѣ Мери“: „Вернеръ былъ малъ ростомъ и худъ, и слабъ, какъ ребенокъ; одна нога у него была короче другой, какъ у Байрона; въ сравненіи съ туловищемъ голова его казалась огромна; онъ стригъ волосы подъ гребенку, и неровности его черепа, обнаруженныя такимъ образомъ, поразили бы френолога страннымъ сплетеніемъ противоположныхъ наклонностей“.

[3]) „Бывали примѣры,—говорится въ „Княжнѣ Мери“,—что женщины влюбляются въ такихъ людей до безумія и не промѣняли бы ихъ безобразія на красоту самыхъ свѣжихъ и розовыхъ эндиміоновъ. Надобно отдать справедливость женщинамъ: онѣ имѣютъ инстинктъ красоты душевной; оттого-то, можетъ быть, люди, подобные Вернеру, такъ страстно любятъ женщинъ“. 323 стр.

По вечерамъ собиралось у насъ по нѣсколько человѣкъ, большею частію изъ офицеровъ генеральнаго штаба. Это были офицеры изъ первыхъ выпусковъ недавно учрежденной Военной Академіи. Не знаю подробно объ исторіи этой Академіи, но знаю, что она первая дала толчекъ военной молодежи къ наукѣ, къ образованію. Изъ посѣщавшихъ насъ мнѣ въ особенности памятны Филипсонъ и Глинка. Первый (бывшій впослѣдствіи попечителемъ С.-Петербургскаго Университета, а нынѣ [1]) сенаторъ) былъ умный и благородный человѣкъ [2]). Странно, что онъ такъ же, какъ Бѣлинскій и Лермонтовъ, былъ уроженецъ города Чембары! Безъ всякаго первоначальнаго образованія, безъ всякихъ денежныхъ средствъ и протекціи — онъ умѣлъ собственнымъ стремленіемъ и способностями достигнуть Военной Академіи (тогда очень значительной) и выдти образованнымъ и замѣчательнымъ человѣкомъ.

Глинка былъ ниже Филипсона своими умственными способностями, но интересовалъ насъ болѣе своимъ добродушіемъ и пылкостью своего воображенія. Онъ тогда былъ серіозно занятъ проэктомъ завоеванія Индіи,—но эта фантазія не была въ немъ глупостью, а скорѣе оригинальностью; онъ много учился и много читалъ и (воображалъ) [3]) вытѣснить англичанъ изъ Индіи, доказывая фактами, которые не всегда можно было опровергнуть.

Постоянно посѣщали насъ еще два солдата, два декабриста: Сергѣй Кривцовъ [4]) и Валеріанъ Голицынъ [5]). Первый добрый, хорошій человѣкъ, далеко ниже по уму и выше по сердцу своего брата Николая, бывшаго воронежскимъ губернаторомъ. Второй — замѣчательно умный человѣкъ, воспитанникъ іезуитовъ; онъ усвоилъ себѣ ихъ сосредоточенность и изворотливость ума. Споры съ

---

[1]) „Воспоминанія“, какъ говорилось раньше, — можно предполагать, писаны Сатинымъ въ концѣ 1865 года.

[2]) Сносокъ въ оригиналѣ: „Какъ о человѣкѣ, — слава Богу, и теперь онъ существуетъ, — я не смѣю входить о немъ въ дальнѣйшія подробности“.

[3]) Слово плохо разобрано.

[4]) Сергѣй Ивановичъ *Кривцовъ* былъ переведенъ на Кавказъ изъ Сибири, куда онъ былъ сосланъ въ каторжныя работы („Декабристы на Кавказѣ“, барона Розена. Рус. Старина 1884 года. Февраль. Стр. 304).

[5]) Кн. Валеріанъ Михайловичъ *Голицынъ* былъ осужденъ на поселеніе въ Сибирь, а оттуда вмѣстѣ съ Борисомъ *Бодиско* переведенъ наКавказъ. Когда Эривань была взята, *В. М. Голицына* послали съ донесеніемъ къ гр. Паскевичу. На дорогѣ онъ „разбился о каменья, упавъ на скалу съ лошади, и былъ привезенъ въ лагерь безъ чувствъ“. (Тамъ же. Стр. 313).

нимъ были самые интересные: ны горячились, а онъ, хладнокровно улыбаясь, смѣло и умно защищалъ свои софизмы, и большею частію, не убѣждая другихъ, оставался побѣдителемъ.

Несмотря на свой умъ, онъ, видимо, тяготился своею солдатскою шинелью, и ему пріятно было, когда называли его княземъ. Въ этотъ же годъ произвели его въ офицеры, и онъ не могъ скрыть своего удовольствія—надѣть снова тонкій сюртукъ, вмѣсто толстой шинели.

Позднѣе, зимой, къ нашему обществу присоединился Лермонтовъ, но—признаюсь—только помѣшалъ ему. Этотъ человѣкъ постоянно шутилъ и подтрунивалъ, что наконецъ надоѣло всѣмъ [1]). Бѣлинскій, какъ разсказываетъ Панаевъ, имѣлъ хотя разъ случай слышать въ ордонансгаузѣ серьезный разговоръ Лермонтова о Вальтеръ-Скоттѣ и Куперѣ [2]). Мнѣ—признаюсь, несмотря на мое продолжительное знакомство съ нимъ—не случалось этого. Этотъ человѣкъ—постоянно шутилъ и подтруниваль. Ложно понятой Байронизмъ сбилъ его съ обычной дороги. Пренебреженіе къ пошлости есть дѣло достойное всякаго мыслящаго человѣка; но Лермонтовъ доводилъ это до absurdum, не признавая въ окружающемъ его обществѣ ничего достойнаго его вниманія.

---

[1]) Въ оригиналѣ здѣсь сдѣлана помѣтка, означающая, что въ этомъ мѣстѣ должна быть вставка, но вставки въ рукописяхъ Н. М. Сатина не оказалось.

[2]) См. 1-ю главу о встрѣчѣ Бѣлинскаго съ Лермонтовымъ.

ИЗЪ ИЛІАДЫ ГОМЕРА [1]).

ПѢСНЬ ТРЕТЬЯ.

Клятва. Обзоръ войска со стѣны. Единоборство Париса съ Менелаемъ.

Послѣ того какъ вожди всѣхъ построили въ бранный порядокъ,
Съ крикомъ и шумомъ, какъ птицы, впередъ устремились Троянцы.
Отъ журавлей въ поднебесьи подобные крики бываютъ,
Если они, отъ зимы и дождей проливныхъ убѣгая,
Надъ Океаномъ бурливымъ проносятся съ шумомъ великимъ,
Роду Пигмеевъ погибель съ собой принося и убійство,
Въ раннія сумерки съ ними вступая въ жестокую битву.
Но молчаливы, враждою дыша, подвигались Ахейцы,
Въ сердцѣ желаньемъ горя заступаться одинъ за другого.
Какъ надъ вершиной горы южный вѣтеръ туманъ разливаетъ,
Что пастуху непріятенъ, а вору желаннѣе ночи,
Ибо лишь видно пространство, насколько мы камень бросаемъ, —
Такъ подъ ногами идущихъ вздымалося облако пыли:
Черезъ равнину войска съ быстротой проходили великой.
Такъ наступали одни на другихъ и сошлись они близко.
Вышелъ тогда Александръ боговидный предъ строемъ Троянцевъ,
Барсову шкуру нося на плечахъ и свой лукъ изогнутый,
Вмѣстѣ съ мечемъ. И, въ рукахъ два копья мѣдноострыхъ колебля,
Всѣхъ вызывалъ онъ героевъ храбрѣйшихъ изъ войска Ахейцевъ,
Не пожелаетъ ли кто съ нимъ сразиться въ сраженіи страшномъ.

---

[1]) Отрывокъ изъ новаго перевода гомеровой поэмы, имѣющаго вскорѣ выйти въ изд. К. Т. Солдатенкова.

Только завидѣлъ его Менелай, Арею любезный,
Передъ дружиной своей выходящимъ большими шагами,
И какъ голодный бываетъ обрадованъ левъ, отыскавши
Дикой козы иль оленя рогатаго тѣло большое,
И пожираетъ его торопливо, хотя-бъ и гнались
Быстрые псы вслѣдъ за нимъ и юноши полные силы,—
Такъ ликовалъ Менелай, Александра, подобнаго богу,
Видя своими глазами: виновному мстить захотѣлъ онъ.
Тотчасъ на землю съ своей колесницы въ оружьи онъ спрыгнулъ.
Но, увидавъ средь переднихъ бойцовъ появленье Атрида,
Сердцемъ любезнымъ своимъ задрожалъ Александръ боговидный.
Быстро къ толпѣ онъ друзей отступилъ, убѣгая отъ Парки.
Какъ, повстрѣчавши дракона въ гористомъ ущелiи, каждый
Вспять отскочивъ, убѣгаетъ и дрожь его члены объемлетъ,
Блѣдностью щеки покрыты, а онъ все бѣжитъ торопливо,—
Такъ чрезъ толпу горделивыхъ Троянцевъ назадъ пробирался,
Сына Атрея въ душѣ убоясь, Александръ боговидный.
Гекторъ, увидѣвши то, сталъ корить его бранною рѣчью:
„Горе-Парисъ, женолюбецъ, прекрасный лицомъ обольститель!
Лучше бы ты не родился на свѣтъ и погибъ, не женившись!
Такъ-бы хотѣлъ я, и такъ несомнѣнно полезнѣе было бъ,
Чѣмъ оставаться позоромъ, всему ненавистнымъ народу.
Вѣрно, Ахейцы прекрасноволосые громко смѣются.
Храбрымъ бойцомъ показался ты имъ, оттого что прекраснъ
Видъ у тебя,—но въ душѣ твоей крѣпости нѣтъ и отваги.
И неужели, родившись такимъ, переплылъ ты чрезъ море
На корабляхъ быстроходныхъ съ толпою товарищей милыхъ,
И, къ чужестранцамъ приставши, прекрасную женщину вывелъ
Изъ отдаленной земли, невѣстку мужей копьеносцевъ,
На безпредѣльное горе отцу, государству, народу,
Только на радость врагамъ и себѣ самому на безславье?
Ты-бы остался и ждалъ Менелая, любимца Арея,
Зналъ-бы, какого ты мужа владѣешь цвѣтущей супругой!
Не пригодилась-бы цитра тогда, ни дары Афродиты,
Кудри твои и лицо, а лежалъ-бы ты, съ прахомъ смѣшавшись.
Но боязливы Троянцы весьма, а не то ужъ давно-бы
Каменнымъ былъ ты хитономъ покрытъ за все зло, что надѣлалъ".
И, отвѣчая, ему Александръ боговидный промолвилъ:

„Гекторъ, меня укорялъ ты по праву, не больше, чѣмъ должно.
Сердце твое непреклонно всегда, какъ топоръ, когда входитъ
Въ дерево онъ, подъ рукой человѣка, кто рубитъ искусно
Брусъ корабельный, и взмахамъ руки помогаетъ желѣзо.
Такъ и въ груди у тебя безтрепетный духъ обитаетъ.
Не укоряй меня въ милыхъ дарахъ золотой Афродиты.
Славны безсмертныхъ дары и отъ нихъ отрекаться не должно.
Боги ихъ только даютъ, самъ никто получить ихъ не можетъ.
Нынѣ-же, если ты хочешь, чтобъ я воевалъ и сражался,
Пусть Аргивяне съ Троянцами сядутъ кругомъ, а въ срединѣ
Вмѣстѣ сведите меня съ Менелаемъ, любезнымъ Арею,
Чтобъ за Елену сражался я съ нимъ и ея достоянье.
Кто изъ двоихъ побѣдитъ и окажется болѣе сильнымъ,
Тотъ и жену и богатство ея пусть уводитъ съ собою.
Прочіе, миръ заключивъ и священныя жертвы заклавши,
Вы въ плодоносной останетесь Троѣ; они возвратятся
Въ Аргосъ, конями обильный, въ Ахею, гдѣ жены прекрасны“.
Такъ онъ промолвилъ, и рѣчь его съ радостью Гекторъ услышалъ.
Взявши копье по срединѣ, онъ вышелъ впередъ и Троянскимъ
Стать повелѣлъ онъ фалангамъ, и всѣ они стали недвижно.
Только Ахейцы прекрасноволосые, цѣлясь искусно,
Начали въ Гектора камни метать, также стрѣлы изъ лука.
Громко тогда закричалъ имъ властитель мужей Агамемнонъ:
„Стойте, Данайцы, стрѣлять перестаньте, о дѣти Ахейцевъ!
Кажется, слово сказать шлемовѣющій Гекторъ желаетъ“.
Такъ онъ сказалъ—и они воздержались отъ битвы и вскорѣ
Стали, безмолвные. Гекторъ тогда обратился къ нимъ съ рѣчью:
„Мужи Троянцы и вы, Аргивяне въ прекрасныхъ доспѣхахъ,
Слушайте рѣчь Александра, виновника нашего спора.
Проситъ онъ войско Троянцевъ, равно и Ахейцевъ, оружье
Пышное, снявши съ себя, положить на кормилицу землю.
По серединѣ-же онъ съ Менелаемъ, любимцемъ Арея,
Будутъ сражаться одни за Елену съ ея достояньемъ.
Кто изъ двоихъ побѣдитъ и окажется болѣе сильнымъ,
Пусть онъ богатства беретъ и жену, и домой ихъ уводитъ.
Прочіе всѣ заключимъ договоръ непреложный и дружбу“.
Такъ онъ сказалъ. И, спокойные, всѣ соблюдали молчанье.

Къ нимъ обратился тогда Менелай, среди боя отважный:
„Нынѣ внемлите и мнѣ,—больше всѣхъ тяготится печалью
Сердце мое.—Полагаю, настала пора примириться
Войску Ахейцевъ съ Троянцами,—много несчастій терпѣли
Вы изъ за распри моей съ Александромъ, виновникомъ спора. 100.
Тотъ изъ двоихъ пусть умретъ, кому смерть приготовлена закономъ.
Прочіе всѣ договоръ дружелюбный скорѣй заключите.
Двухъ принесите ягнятъ бѣлой шерсти и черной—для Солнца
И для Земли,—мы другого еще принесемъ для Зевеса—
И приведите Пріама, пусть мирныя жертвы заколетъ 105.
Самъ—ибо дѣти его вѣроломны и сердцемъ надменны—
Дабы преступно никто не нарушилъ Зевесовой клятвы.
Разумъ людей молодыхъ, будто вѣтеръ, всегда переимчивъ;
Старецъ-же, взявшись за дѣло, грядущее съ прошлымъ обсудитъ,
Какъ бы его для обѣихъ сторонъ наилучше устроить“. 110.
Такъ онъ сказалъ. И Ахейцевъ, равно какъ Троянцевъ, объяла
Радость: надѣялись всѣ, что война злополучная минетъ.
Спѣшились мужи, коней быстроногихъ поставили рядомъ,
Сняли оружіе съ плечъ и на землю его положили
Близко одни отъ другихъ, небольшимъ раздѣленные полемъ. 115.
Гекторъ межъ тѣмъ двухъ глашатаевъ въ городъ послалъ, повелѣвши
Тотчасъ ягнятъ принести и Пріама позвать. Въ то-же время
Царь Агамемнонъ направилъ Талѳибія на-берегъ моря,
Къ быстрымъ судамъ, принести повелѣвши оттуда ягненка,
И не ослушался онъ Агамемнона, равнаго богу. 120.
Съ вѣстью тогда къ бѣлорукой Еленѣ явилась Ирида,—
Видомъ похожею ставъ на золовку ея Лаодику,
Геликаона царя, Антенорова сына, супругу,
Межъ дочерями Пріама всѣхъ больше прекрасную видомъ,—
И отыскала въ дворцѣ: она ткала большую двойную 125.
Цвѣта пурпурнаго ткань, разсыпая узоры сраженій
Между Троянскою ратью и Греками въ панцыряхъ мѣдныхъ,—
Изъ за нея отъ Арея претерпѣнныхъ ими сраженій.
Ставши вблизи, быстроногая такъ ей сказала Ирида:
„Милая нимфа, идемъ. Ты увидишь: свершилося чудо 130.
Съ войскомъ Троянцевъ наѣдниковъ и мѣднобронныхъ Данайцевъ.

Тѣ, кто недавно другъ другу готовилъ плачевную битву,
Вмѣстѣ въ долинѣ собравшись и брани жестовой желая,—
Нынѣ въ молчаньи сидятъ,—какъ будто война предрѣшилась,—
И, на щиты опершись, рядомъ длинныя копья воткнули.
Только одинъ Александръ съ Менелаемъ, любезнымъ Арею,
Будутъ на копьяхъ большихъ за тебя состязаться другъ съ другомъ.
Кто изъ двоихъ побѣдитъ, назоветъ тебя милой супругой".
Такъ говоря ей, богиня наполнила сердце Елены
Сладкой тоскою о прежнемъ супругѣ, родныхъ и отчизнѣ.
Тотчасъ, закутавшись въ бѣлое, какъ серебро, покрывало,
Вышла изъ спальни она, проливаючи нѣжныя слезы.
Вышла она не одна: вслѣдъ за нею пошли двѣ служанки,
Эвра, Питеева дочь съ волоокой Клименою рядомъ.
Вскорѣ пришли онѣ къ мѣсту, гдѣ Скейскія были ворота.
Тамъ, полукругъ образуя, Пріамъ и Панеой, также Клитій,
Лампъ и Оймотъ, а равно Гикетаонъ, потомокъ Арея,
Укалегонъ съ Антеноромъ, исполнены мудрости оба,
Близко отъ Скейскихъ воротъ засѣдали,—Троянскіе старцы.
Старость мѣшала имъ въ битву итти, но они краснорѣчьемъ
Славились дивнымъ, подобны цикадамъ, когда среди лѣса,
Сидя на деревѣ, голосъ онѣ издаютъ сладкозвучный.
Такъ и Трояицевъ вожди засѣдали на башнѣ высокой.
И, увидавши Елену, въ той башнѣ идущую, старцы
Между собой обмѣнялись словами крылатыми тихо:
„Нѣтъ, возмущаться нельзя, что Трояицы и войско Ахейцевъ
Изъ-за подобной жены терпятъ бѣдствія долгое время.
Вправду похожа она на безсмертныхъ богинь своимъ видомъ,
Но и съ такой красотой пусть домой на судахъ возвратится,
Лишь-бы несчастья во слѣдъ не оставила намъ и потомкамъ".
Такъ говорили они, и Пріамъ громко кликнулъ Елену:
„Ближе, дитя дорогое, ступай и сядь рядомъ со мною.
Прежняго мужа, родныхъ и друзей ты отсюда увидишь.
Ты предо мною ни въ чемъ не повинна; виновны лишь боги,
Противъ меня возбудивши плачевную распрю Ахейцевъ.
Сядь и повѣдай мнѣ имя того многосильнаго мужа:
Кто сей Ахейскій герой, столь высокій и столь благородный?
Выше по росту его хотя и найдутся другіе,

Но никогда я глазами не видѣлъ прекраснаго столь-же,
Какъ и почтеннаго мужа. Царю онъ по виду подобенъ".
И, отвѣчая, сказала Елена, богиня средь женщинъ:
„Свекоръ любезный! Ты страхъ мнѣ внушаешь и вмѣстѣ почтенье.
Лучше-бы смерть обняла я въ тотъ день, какъ отправилась въ Трою
Слѣдомъ за сыномъ твоимъ и покинула брачное ложе,
Братьевъ родныхъ и дитя дорогое, и сверстницъ любезныхъ!
Такъ не случилось—и я оттого обливаюсь слезами.
Но отвѣчаю, о чемъ ты спросилъ меня, вѣдать желая.
Это—Атридъ Агамемнонъ, владыка съ обширною властью.
Онъ въ то-же время и царь превосходный, и воинъ могучій.
Мнѣ же, безстыдной, онъ деверемъ былъ, если былъ когда-либо".
Такъ говорила она; восхищаясь имъ, старецъ промолвилъ:
„О, блаженный Атридъ! ты рожденъ и остался счастливымъ!
Много Ахейскихъ сыновъ подъ твоею находится властью.
Въ прежніе дни я во Фригіи былъ, виноградомъ обильной;
Множество тамъ повстрѣчалъ я наѣздниковъ храбрыхъ Фригійцевъ,
Бывшихъ подъ властью Отрея и равнаго богу Мигдона.
Лагерь тогда ихъ раскинулся вдоль береговъ Сангарійскихъ.
Къ нимъ-то пришелъ я и былъ, какъ союзникъ, межъ ними зачисленъ,
Въ день когда мужеподобныя также пришли Амазонки.
Все-жъ они менѣе были числомъ черноокихъ Ахейцевъ".
Послѣ того Одиссея увидѣлъ старикъ и промолвилъ:
„Ты назови мнѣ, дитя дорогое, и этого: кто онъ?
Ниже онъ ростомъ своимъ Агамемнона, сына Атрея,
Кажется шире его за то онъ плечами и грудью.
Снялъ онъ оружье съ себя, положилъ на кормилицу землю,
Самъ-же, какъ будто баранъ, межъ рядами мужей пробѣгаетъ.
Да, онъ по-истинѣ кажется мнѣ густошерстнымъ бараномъ,
Что чрезъ стадо большое овецъ бѣлорунныхъ проходитъ".
И, отвѣчая, сказала Елена, рожденная Зевсомъ:
„Это—Лаэрта дитя, Одиссей многоумный, кто выросъ
Между народомъ, живущимъ въ Итакѣ весьма каменистой;

Знаетъ онъ хитрости всѣ и разумные знаетъ совѣты".
Мудрости полный, тогда Антеноръ, отвѣчая, промолвилъ:
„Женщина, слово сіе ты сказала по истинѣ вѣрно.
Въ прежніе дни приходилъ ужъ сюда Одиссей богоравный,
Посланный ради тебя съ Менелаемъ, любезнымъ Арею.
Ихъ, какъ гостей, принималъ я въ чертогѣ своемъ дружелюбно;
Близко тогда изучилъ я ихъ образъ и мудрость совѣтовъ.
Оба въ собранье пришли и съ толпою Троянцевъ смѣшались.
Стоя, изъ нихъ Менелай былъ значительнѣй плечъ шириною;
Сидя-же рядомъ вдвоемъ, Одиссей величавѣй казался.
А какъ настала пора обнаружить въ рѣчахъ свои мысли,
Началъ сперва Менелай говорить намъ—отрывисто, скоро,
Въ краткихъ и ясныхъ словахъ,—оттого-ль, что онъ врагъ многословья,
Сбивчивыхъ, длинныхъ рѣчей,—оттого-ль, что годами былъ младшій.
Быстро поднялся затѣмъ Лаэртидъ Одиссей многоумный.
Стоя, онъ внизъ все глядѣлъ, устремивши глаза свои въ землю.
Не наклонялъ онъ жезла ни впередъ, ни назадъ, но подобно
Мужу, къ рѣчамъ непривыкшему, вовсе держалъ неподвижно.
Вы-бы сказали, что это неистовый мужъ иль безумный.
Но какъ потомъ изъ груди своей голосъ издалъ онъ могучій,
И полетѣли слова, будто снѣжныя хлопья зимою,
Съ нимъ состязаться уже не дерзнулъ-бы никто изъ живущихъ,
И не дивились мы больше, наружность его созерцая".
Третьимъ увидѣвъ Аякса, старикъ, вопрошая, промолвилъ:
„Кто еще этотъ Ахейскій герой, благородный, высокій,
Ростомъ и плечъ шириной между всѣми Ахейцами первый?"
И отвѣчала Елена, одѣтая въ длинную ризу:
„Это—Аяксъ исполинскій, защита Ахейскаго войска.
Далѣе Идоменей, словно богъ, среди воиновъ критскихъ
Сталъ—и его окружили толпой предводители Критянъ.
Часто его угощалъ Менелай, любезный Арею,
Въ нашемъ чертогѣ, когда приходилъ онъ къ намъ съ острова Крита.
Нынѣ я вижу опять всѣхъ другихъ быстроокихъ Данайцевъ.
Я ихъ легко узнаю и могла-бы исчислить названья;
Двухъ не могу отыскать полководцевъ,—отсутствуютъ двое—

Кастор, коней укротитель, съ кулачнымъ бойцомъ Полидевкомъ,
Братья родные, моею рожденные матерью оба.
Или они не покинули свой Лакедемонъ любезный,
Или сюда на своихъ кораблях мореходимыхъ приплыли,
Только теперь не желаютъ участвовать въ битвѣ съ мужами,
Ибо стыда моего и несчетныхъ упрековъ боятся".
Такъ говорила она, но земля, все живое питая,
Ихъ покрывала уже въ Лакедемонѣ, въ милой отчизнѣ.
Тою порою чрезъ городъ глашатаи шли и держали
Жертвы богамъ, двухъ ягнятъ и вино—плодъ земли веселящій—
Въ козьемъ мѣху; а глашатай Идей, впереди выступая,
Ярко-блистающій кубокъ и чаши держалъ золотыя.
Къ старцу приблизясь, его возбуждалъ онъ такими словами:
„Встань, Лаомедона сынъ! Зовутъ тебя лучшіе мужи
Изъ мѣднобронныхъ Ахейцевъ и рѣзвыхъ наѣздниковъ Трои
Внизъ опуститься въ долину, чтобы жертвы заклать въ знакъ союза.
Послѣ того Александръ съ Менелаемъ, любезнымъ Арею,
Будутъ на копьяхъ большихъ за жену состязаться другъ съ другомъ.
Кто побѣдитъ, тотъ возьметъ и жену, и ея достояніе.
Прочіе, миръ заключивъ и священныя жертвы заклавши,
Мы въ плодоносной останемся Троѣ, они возвратятся
Въ Аргосъ, конями богатый, въ Ахею, гдѣ жены прекрасны".
Такъ онъ сказалъ. Содрогнулся старикъ, и велитъ онъ дружинѣ
Быстрыхъ запрячь лошадей; та немедля исполнила слово;
Тотчасъ взобрался Пріамъ и, къ себѣ натянувши, взялъ возжи;
Подлѣ него Антеноръ на прекрасную сталъ колесницу;
Оба изъ Скейскихъ воротъ лошадей устремили въ долину.
Вскорѣ они, подоспѣвши туда, гдѣ стояли Ахейцы
Противъ Троянцевъ, съ коней на кормилицу землю ступили,
И въ середину пошли межъ Ахейскихъ мужей и Троянскихъ.
Быстро поднялись тогда Агамемнонъ, владыка народовъ,
И Одиссей многоумный, и славные вѣстники тотчасъ
Вмѣстѣ снесли непреложныя жертвы богамъ и смѣшали
Въ чашѣ напитокъ и на-руки воду царямъ поливали.
Сынъ-же Атрея, извлекши рукою свой ножъ, что обычно
Рядомъ съ большими ножнами меча у него былъ привѣшенъ,
Волосы срѣзалъ съ овечьихъ головъ, а глашатаи тотчасъ

Роздали ихъ полководцамъ Ахейцевъ, равно и Троянцевъ.
Руки воздѣвши, Атридъ между ними сталъ громко молиться:
„Зевсъ, нашъ отецъ, ты на Идѣ царящій, славнѣйшій, великій,
Солнце, которое все съ высоты своей видишь и слышишь,
Вы, о Земля и Потоки, а также подземные боги,
Вы, что караете мертвыхъ за ихъ вѣроломныя клятвы,
Будьте свидѣтели всѣ, наши вѣрныя клятвы блюдите!
Если убьетъ Александръ Менелая, любимца Арея,
Пусть онъ Еленой тогда и ея достояньемъ владѣетъ,
Мы-жъ на своихъ кораблях мореходныхъ домой возвратимся.
Если-жъ въ бою Менелай свѣтлокудрый убьетъ Александра,
Мужи Троянцы должны и Елену вернуть, и богатства,
Также и дань уплатить Аргивянамъ въ размѣрѣ приличномъ,
Чтобы и память о ней въ поколѣньяхъ грядущихъ осталась.
Если-жъ падетъ Александръ, но Пріамъ и Пріамовы дѣти
Не пожелаютъ потомъ уплатить намъ условленной дани,
Буду еще воевать, добиваясь военной награды,
Здѣсь оставаясь, пока не наступитъ войны окончанье“.
Молвилъ и горло ягнятъ перерѣзалъ безжалостной мѣдью,
И положилъ ихъ на землю, трепещущихъ, жизни лишенныхъ,
Ибо жестокая мѣдь лишила ихъ жизненной силы.
Послѣ изъ чаши глубокой вино они черпали въ кубки
И возливали, съ молитвой богамъ, существующимъ вѣчно.
Каждый Троянецъ и каждый Ахеянинъ такъ говорили:
„Зевсъ величайшій, славнѣйшій, и всѣ вы, безсмертные боги!
Кто изъ насъ первый нарушитъ священныя клятвы союза,
Пусть, какъ вотъ это вино, его мозгъ по землѣ разольется,
Дѣти его пусть умрутъ, и жена покорится другому“.
Такъ говорили они, но Кронидъ не услышалъ моленья.
Слово тогда имъ промолвилъ Пріамъ, отъ Дардана рожденный:
„Слушайте, Трои сыны и Ахейцы въ прекрасныхъ доспѣхахъ!
Я возвращаюсь назадъ въ Иліонъ, быстрымъ вѣтрамъ открытый,
Ибо мнѣ тягостно будетъ увидѣть своими глазами,
Какъ съ Менелаемъ, любезнымъ Арею, сынъ милый сразится.
Знаетъ одинъ лишь Зевесъ и другіе безсмертные боги
Имя того, кому смертный конецъ приготовленъ судьбою“.
Молвивъ, ягнятъ положилъ въ колесницу божественный смертный,

Послѣ взобрался онъ самъ и, къ себѣ натянувши, взялъ возжи;
Подлѣ него Антеноръ на прекрасную сталъ колесницу;
Оба, назадъ повернувъ, къ Иліону направились быстро.
Гекторъ, Пріама дитя, и съ нимъ Одиссей богоравный
Смѣрили прежде всего для сраженія мѣсто, а послѣ,
Жребіи взявъ, сотрясали ихъ въ шлемѣ, окованномъ мѣдью,
Дабы рѣшить, кто копье свое мѣдное ранѣе броситъ.
Руки къ богамъ воздѣвая, тѣмъ временемъ войско молилось;
Каждый Ахеецъ и каждый Троянецъ тогда говорили:
„Зевсъ, нашъ отецъ, ты, на Идѣ царящій, славнѣйшій, великій!
Тотъ, кто изъ нихъ былъ виновникомъ бѣдствій обоихъ народовъ,
Дай, чтобъ убитый сошелъ онъ въ подземную область Анда,
Мы-же союзъ заключимъ и священныя клятвы исполнимъ".
Такъ говорили. Тогда шлемовѣющій Гекторъ великій
Жребіи, взоръ отвернувши, встряхнулъ: выпалъ жребій Париса.
Тотчасъ рядами усѣлись войска, тамъ, гдѣ каждый оружье
Пестрое на земь сложилъ и поставилъ коней быстроногихъ.
Тою порой облекаться въ оружіе пышное началъ
Богоподобный Парисъ, мужъ прекрасноволосой Елены.
Прежде всего наложилъ онъ на голени латы ножныя,
Дивныя видомъ,—онѣ на серебряныхъ пряжкахъ держались.
Панцырь потомъ на груди укрѣпилъ; ему панцырь достался
Отъ Ликаона, отъ брата родного, и былъ ему впору.
Послѣ того черезъ плечи онъ бросилъ свой мечъ среброгвоздый,
Мѣдный; затѣмъ перекинулъ онъ щитъ и огромный, и крѣпкій,
Шлемъ возложилъ на могучую голову, сдѣланный пышно,
Съ конскою гривой и гребнемъ вверху, колебавшимся грозно.
Крѣпкое взялъ онъ копье,—приходилось къ рукѣ оно плотно.
Тѣ-же доспѣхи надѣлъ Менелай, любезный Арею.
Оба тогда изъ толпы, въ боевые доспѣхи облекшись,
Вышли они на средину, межъ войскомъ Троянцевъ и Грековъ,
Грозно смотря другъ на друга. И зрителей смута объяла,—
Рѣзвыхъ наѣздниковъ Трои, Ахеянъ въ прекрасныхъ доспѣхахъ.
Близко бойцы другъ отъ друга на мѣстѣ измѣренномъ стали,
Копья колебля въ рукахъ и одинъ угрожая другому.
Первый тогда Александръ копье длиннотѣнное бросилъ.

Сына Атрея ударилъ онъ въ щитъ, округленный искусно:
Мѣдь не пробивъ, остріе надъ щитомъ его твердымъ погнулось.
Тотчасъ за нимъ Менелай устремился, любимецъ Арея,
Съ мѣднымъ копьемъ, возсылая молитву къ Зевесу Крониду:
„Царственный Зевсъ, о, дозволь мнѣ теперь отомстить Александру!
Первый онъ сдѣлалъ мнѣ зло. Отъ руки моей пусть онъ погибнетъ!
Чтобы и въ дальнемъ потомствѣ никто не осмѣлился злое
Сдѣлать тому, кто его принималъ дружелюбно, какъ гостя".
Такъ говоря и съ размаха копье длиннотѣнное бросивъ,
Сына Пріама ударилъ онъ въ щитъ, округленный искусно.
Мощно проникло копье черезъ щитъ ослѣпительно-яркій,
Панцырь пробило подъ нимъ, разукрашенный съ дивнымъ искусствомъ,
И разорвало тунику Парисову прямо вдоль паха.
Тотъ отклонился назадъ и погибели черной избѣгнулъ.
Сынъ-же Атрея извлекъ торопливо свой мечъ среброгвоздый
И, замахнувшись, ударилъ по конусу шлема. Сломился
На-трое мечъ и на-чѣтверо, павъ изъ руки его на земь.
И застоналъ Менелай, на широкое небо взирая:
„Зевсъ, нашъ отецъ! Никого нѣтъ злотворнѣй тебя средь безсмертныхъ!
Я уже думалъ, что вотъ отомщу Александру за горе,
Нынѣ-же мечъ у меня разломился въ рукѣ и напрасно
Брошено было копье,—не убитъ онъ моею рукою".
Такъ онъ сказалъ и, напавши, за шлемъ ухватилъ густогривый
И, повернувшись, поволокъ Александра къ Ахейскимъ дружинамъ.
Нѣжная шея Париса узорнымъ ремнемъ затянулась,
Вкругъ подбородка его отъ шлема подвязаннымъ плотно.
Такъ-бы увлекъ онъ его, несказанною славой покрывшись,
Если-бы Зевсова дочь не увидѣла ихъ Афродита
И не расторгла ремень, съ быка умерщвленнаго снятый.
Только пустой одинъ шлемъ за рукою послѣдовалъ мощной,
И Менелай, повернувшись къ Ахейцамъ въ прекрасныхъ доспѣхахъ,
Бросилъ его, завертѣвъ, а друзья унесли его скоро.
Самъ-же онъ вновь устремился, желая убить Александра
Мѣднымъ копьемъ, но того удалила легко, какъ богиня,
Зевсова дочь Афродита, туманомъ густымъ осѣнила
И отнесла его въ брачный покой благовонный, душистый.

Послѣ ушла, чтобъ Елену призвать, и, на башнѣ высокой
Встрѣтивъ ее, окруженную тѣсной толпою Троянокъ,
Тронула тихо рукой, надушенной одежды касаясь,
И обратилася къ ней, уподобившись дряхлой старухѣ,
Пряхѣ: она для Елены, еще въ Лакедемонѣ жившей,
Дивныя дѣлала пряжи и сильно была ей любима.
Ей уподобившись, такъ Афродита богиня сказала:
„Вмѣстѣ идемъ. Александръ призываетъ домой возвратиться.
Въ брачномъ покоѣ лежитъ онъ на тонкообточенномъ ложѣ,
И красотой, и одеждой блистаетъ. Едва-ли повѣришь,
Что изъ сраженья съ героемъ сейчасъ онъ вернулся. Какъ будто
Въ пляску готовъ онъ идти, иль, плясать переставъ, отдыхаетъ".
Такъ ей сказала богиня и сердце въ груди взволновала.
Но, разглядѣвши потомъ прекрасную шею богини,
Ясныя очи ея и грудь, что рождаетъ желанья,
Ужасъ она ощутила и слово сказала, подумавъ:
„Что, безпощадная, вновь обольстить ты меня пожелала?
Хочешь, быть можетъ, опять увести меня въ городъ обширный
Фригіи иль Мэоніи отрадной, гдѣ кто-нибудь также
Дорогъ тебѣ средь людей, говорящихъ раздѣльною рѣчью?
Не оттого-ль, что теперь Менелай побѣдилъ Александра
И пожелаетъ со мной, ненавистной, домой возвратиться,—
Не оттого-ли сюда ты пришла, замышляя коварство?
Сядь близь него ты сама, отъ дороги боговъ уклонившись,
Пусть твои ноги впередъ не касаются больше Олимпа,
Но постоянно предъ нимъ ныпвай, стереги его вѣчно,
Выжди, покуда тебя онъ женой назоветъ, иль рабыней.
Я же туда не пойду; непристойно, чтобъ я согласилась
Ложе готовить ему. Всѣ Троянки меня-бъ укоряли.
Сердце мое ужъ и такъ безпредѣльной исполнено скорби".
Ей, разсердившись, въ отвѣтъ Афродита богиня сказала:
„Дерзкая! Ты не гнѣви меня! Въ гнѣвѣ тебя я покину,
Стану тебя ненавидѣть, какъ сильно доныпѣ любила.
Бойся, чтобъ страшной вражды не зажгла я въ обоихъ народахъ,
Трои сынахъ и Ахейцахъ,—ты-жъ смертью позорной погибнешь".
Молвила такъ. И Елена, Зевеса дитя, испугалась.
Молча пошла, покрываломъ серебряно-бѣлымъ покрывшись,
Женамъ Троянскимъ незрима: ее предводила богиня.

Вскорѣ достигли они прекрасныхъ чертоговъ Париса.
Быстро къ работамъ своимъ обратились рабыни. Елена
Въ брачный высокій покой вступила, богиня средь женщинъ.
И Афродита богиня, съ улыбкой сѣдалище взявши,
Черезъ покой понесла и поставила предъ Александромъ.
Сѣла Елена предъ нимъ, дочь эгидодержавнаго Зевса;
Взоры назадъ обративъ, она такъ укоряла супруга:

„Ты изъ сраженья вернулся. О, если-бъ ты палъ, укрощенный
Мужемъ сильнѣе тебя, тѣмъ, кто былъ моимъ первымъ супругомъ!
Ты-ль не хвалился всегда, что копьемъ, и рукою, и силой
Можешь легко побѣдить Менелая, любимца Арея?
Что-же, ступай, вызывай Менелая, любимца Арея,
Снова съ тобою вдвоемъ въ состязанье вступить. Но совѣтъ мой:
Лучше останься ты здѣсь, безразсудно не думай сражаться
И въ поединокъ вступать съ русокудрымъ бойцомъ Менелаемъ,
Чтобы немедля тебя не смирилъ онъ копьемъ своимъ сильнымъ".

И, отвѣчая, Парисъ такое промолвилъ ей слово:

„Не говори, о жена, мнѣ упрековъ, обидныхъ для сердца.
Нынѣ меня Менелай покорилъ при посредствѣ Аѳины,
Послѣ его покорю, такъ какъ боги и намъ помогаютъ.
Лучше ложись близь меня, чтобы мы насладились любовью.
Не затмѣвала любовь никогда мои мысли такъ сильно,
Даже тогда, какъ, съ тобой Лакедемонъ отрадный покинувъ,
На мореходныхъ судахъ я тебя увлекалъ и впервые
Въ нѣгѣ любви мы слились, на островъ Кранаю прибывши.
Весь я исполненъ любви и охваченъ желаніемъ сладкимъ".

Молвилъ и къ ложу пошелъ, и супруга пошла за нимъ слѣдомъ;
Вмѣстѣ на ложѣ рѣзномъ улеглись они другъ подлѣ друга.

Тою порою, какъ звѣрь, сынъ Атрея по воинству рыскалъ,
Не примѣтитъ-ли гдѣ Александра, подобнаго богу,
Но изъ Троянцевъ никто, и никто изъ союзниковъ славныхъ
Выдать Париса не могъ Менелаю, любимцу Арея:
Не утаили-бъ его изъ пріязни, когда-бъ увидали,
Ибо, какъ черная смерть, онъ всему ненавистенъ былъ войску.

Къ нимъ обратившись, тогда царь мужей Агамемнонъ промолвилъ:

„Слушайте, мужи Троянцы, Дардане, союзное войско!

Явно для всѣхъ побѣдилъ Менелай, любимецъ Арея.
Выдайте-жъ намъ Аргивянку Елену со всѣмъ достояньемъ,
Также военную дань уплатите въ размѣрѣ приличномъ,
Чтобы и память о ней въ поколѣньяхъ грядущихъ осталась".
Такъ говорилъ имъ Атридъ, и Ахейцы его одобряли.

Н. Минскій.

ПОЭТЪ-МЫСЛИТЕЛЬ [1]).

(По поводу пятидесятилѣтія смерти Баратынскаго).

Поставивъ одной изъ своихъ задачъ устраивать отъ времени до времени литературныя поминки по отшедшимъ въ вѣчность русскимъ поэтамъ, О. Л. Р. С. постановило въ числѣ другихъ поэтовъ помянуть добрымъ словомъ и Е. А. Баратынскаго, тѣмъ болѣе, что скоро исполнится ровно полстолѣтія со времени его кончины. Странная судьба постигла стихотворенія Баратынскаго! Его первые поэтическіе опыты въ анакреонтическомъ родѣ, печатавшіеся въ началѣ двадцатыхъ годовъ въ нашихъ журналахъ, были встрѣчены съ восторгомъ и критикой и публикой. Затѣмъ скоро наступила реакція. Чѣмъ болѣе мужалъ талантъ поэта, чѣмъ глубже становилось содержаніе его произведеній, тѣмъ холоднѣе къ нему относились и критика и публика. Возмущенный такимъ несправедливымъ отношеніемъ къ таланту поэта, котораго онъ высоко цѣнилъ, Пушкинъ пишетъ въ „Литературной Газетѣ“ Дельвига цѣлую статью о Баратынскомъ, въ которой первой причиной охлажденія публики къ поэту считаетъ возрастающую зрѣлость его произведеній. „Понятія и чувства 18-лѣтняго поэта, говоритъ онъ, близки и сродны всякому; молодые читатели понимаютъ его и съ восхищеніемъ узнаютъ въ его произведеніяхъ собственныя чувства и мысли, выраженныя живо, ясно, гармонически. Но лѣта идутъ—юный поэтъ мужаетъ, талантъ его растетъ, понятія становятся выше, чувства измѣняются—пѣсни его уже не тѣ, а читатели все тѣже, развѣ только сдѣлались еще холоднѣе сердцемъ и равнодушнѣе къ поэзіи жизни.—Поэтъ отдѣляется отъ нихъ и мало по малу

---

[1]) Читано на литературномъ вечерѣ, устроенномъ О. Л. Р. С. въ память Баратынскаго и Некрасова, 27 марта 1894.

уединяется совершенно. Онъ творитъ для самого себя и если изрѣдка еще обнародываетъ свои произведенія, то встрѣчаетъ холодное невниманіе. А между тѣмъ, продолжаетъ Пушкинъ, Баратынскій принадлежитъ къ числу отличныхъ нашихъ поэтовъ. Онъ оригиналенъ, ибо мыслитъ, и мыслитъ по своему правильно и независимо, между тѣмъ какъ чувствуетъ сильно и глубоко. Гармонія его стиховъ, свѣжесть слога, живость и точность выраженія должны поразить всякаго, хотя нѣсколько одареннаго вкусомъ и чувствомъ". Къ сожалѣнію этотъ восторженный отзывъ о Баратынскомъ величайшаго изъ нашихъ поэтовъ не оказалъ вліянія на отношеніе къ нему критики. Князь Вяземскій склоненъ думать, что самъ Пушкинъ больше всѣхъ былъ виной непопулярности Баратынскаго, потому что невольно заслонялъ его собою, давилъ его своимъ превосходствомъ. Какъ бы то ни было, но когда въ 1835 г. вышло въ свѣтъ собраніе стихотвореній Баратынскаго, вотъ какой отзывъ далъ о нихъ Бѣлинскій въ *Молвѣ*: „нѣсколько разъ— говоритъ онъ—перечитывалъ я стихотворенія Баратынскаго и вполнѣ убѣдился, что поэзія только изрѣдка и слабыми искорками блеститъ въ нихъ. Основной и главный элементъ ихъ составляетъ умъ, изрѣдка задумчиво разсуждающій о высокихъ человѣческихъ предметахъ, почти всегда скользящій по нимъ, всего чаще разсыпающійся каламбуромъ и блещущій остротами". (Соч., Т. I, стр. 248). Проходитъ еще нѣсколько лѣтъ, и хотя имя Баратынскаго изрѣдка появляется въ журналахъ, но о немъ ужъ больше не говорятъ, такъ что когда въ 1842 г. вышелъ въ свѣтъ новый сборникъ его стихотвореній *Сумерки*, то, по словамъ Лонгинова, онъ произвелъ впечатлѣніе привидѣнія, явившагося среди удивленныхъ и недоумѣвающихъ лицъ, не умѣющихъ дать себѣ отчета въ томъ, какая это тѣнь и чего она проситъ отъ потомковъ. Правда, Бѣлинскій въ своей статьѣ, посвященной *Сумеркамъ*, нѣсколько поправляетъ свой прежній отзывъ о Баратынскомъ, признаетъ его талантъ яркимъ и замѣчательнымъ, и его самого лучшимъ изъ поэтовъ, появившихся вмѣстѣ съ Пушкинымъ, но тутъ же по какому-то странному недоразумѣнію съ свойственною ему страстностью обрушивается на Баратынскаго за его мнимую ненависть къ наукѣ и неразумное пристрастіе къ младенческимъ суевѣріямъ. Черезъ два года Баратынскій умираетъ на 44 году жизни, въ полномъ расцвѣтѣ силъ и таланта—и его безвременная смерть про-

ходитъ почти незамѣченной въ литературѣ. Журналы за весьма немногими исключеніями либо ограничиваются помѣщеніемъ сухого некролога поэта, либо принимаются ехидно доказывать—какъ это сдѣлалъ напримѣръ критикъ Б. д. Чтенія,—что Баратынскій не былъ поэтомъ, что источникъ его элегическаго вдохновенія изсякъ, какъ только кончились его жизненныя испытанія. Со времени смерти Баратынскаго прогрессъ забвенія его стихотвореній пошелъ такими быстрыми шагами, что кн. Вяземскій въ 1869 г. имѣлъ полное право написать въ своей Записной Книжкѣ слѣдующія горькія слова: „Какъ непонятна и смѣшна была бы въ наше время сентиментальная проза Карамзина, такъ равно покажется страннымъ и совершенно отсталымъ мое обращеніе къ Баратынскому, нынѣ едва-ли не забытому поколѣніемъ ему современнымъ и вѣроятно совершенно неизвѣстному поколѣнію новѣйшему.“ Даже въ исторіи литературы Баратынскому не нашлось мѣста: Милюковъ, писавшій подъ вліяніемъ Бѣлинскаго, въ своей *Исторіи Русской Поэзіи* посвящаетъ Баратынскому всего двѣ строки, а Водовозовъ въ своей книгѣ *Новая Русская Литература* совсѣмъ не упоминаетъ о немъ. Если бы въ христоматіяхъ не перепечатывалось знаменитое стихотвореніе *На Смерть Гете*, если бы Глинка не написалъ чудной музыки на слова Баратынскаго *Не искушай меня безъ нужды*, то весьма вѣроятно, что публика знала бы о Баратынскомъ не больше того, сколько она знаетъ напр. о Подолинскомъ и во всякомъ случаѣ меньше, чѣмъ о Козловѣ. Въ послѣднее время впрочемъ замѣчается поворотъ къ лучшему: два изданія стихотвореній Баратынскаго, изданныя его сыновьями, вновь напомнили публикѣ забытаго поэта и дали поводъ говорить о немъ критикѣ. Г. Венгеровъ въ своемъ *Критико-библіографическомъ Словарѣ* посвящаетъ ему обстоятельную статью, а г. Андріевскій въ своихъ *Литературныхъ Чтеніяхъ* (Спб, 1891 г.) дѣлаетъ попытку реабилитировать поэзію Баратынскаго и по этому поводу весьма удачно полемизируетъ съ Бѣлинскимъ.

Въ чемъ-же состоитъ сущность поэзіи Баратынскаго, какіе мотивы въ ней преобладаютъ и какъ отражается въ его стихотвореніяхъ его личность—вотъ вопросы, на которыхъ я остановлюсь, насколько мнѣ позволитъ время.

Умѣвшій глубоко проникать въ человѣческую душу, Пушкинъ въ извѣстномъ посланіи къ Дельвигу однимъ мѣткимъ словомъ

сразу опредѣлилъ характеръ Баратынскаго, назвавши его нашимъ Гамлетомъ. Дѣйствительно, и у Гамлета и у Баратынскаго мы замѣчаемъ общія черты—неудовлетвореніе жизнью и мучительный душевный разладъ, происходящій отъ сильнаго развитія рефлексіи и анализа. Разница между англійскимъ Гамлетомъ и его русскимъ современникомъ состоитъ въ томъ, что у Гамлета рефлексія и анализъ преобладаютъ надъ активной силой, парализуютъ его волю, мѣшаютъ ему притти къ какому нибудь твердому рѣшенію, а у Баратынскаго рефлексія и анализъ отравляютъ своимъ прикосновеніемъ сладкое чувство бытія, мѣшаютъ ему отдаться своимъ непосредственнымъ впечатлѣніямъ, жить какъ живутъ другіе. И такъ, вѣчная борьба непосредственнаго чувства съ разъѣдающимъ анализомъ, прикосновеніе котораго сразу убиваетъ нѣжные цвѣты счастья и надежды—вотъ драма, постоянно разыгрывающаяся въ сердцѣ поэта, которую можно прослѣдить съ самаго дѣтства Баратынскаго вплоть до его кончины. Дѣтскія письма поэта поражаютъ вдумчивымъ отношеніемъ ребенка къ окружающей жизни. Въ одномъ изъ писемъ къ матери изъ петербургскаго пансіона восьмилѣтній Баратынскій сообщаетъ свои первыя жизненныя разочарованія. „Я думалъ—пишетъ онъ—найти здѣсь дружбу, но нашелъ лишь холодную, притворную учтивость и дружбу расчетливую“. Нѣсколько лѣтъ спустя Баратынскій, уже поступившій въ Пажескій корпусъ, начинаетъ тяготиться пребываніемъ своимъ въ немъ и проситъ мать перевести его въ Морской корпусъ, такъ какъ онъ чувствуетъ сильную наклонность къ морской службѣ. Посмотрите, какими аргументами 14-лѣтній философъ надѣялся побѣдить упорство матери и ея вполнѣ понятныя опасенія: „Я знаю—пишетъ онъ—сколько вашему сердцу должно быть тяжело, что я вступлю въ службу, столь опасную, но скажите, знаете-ли вы какое либо мѣсто въ мірѣ, гдѣ бы жизнь человѣка не была подвержена тысячѣ опасностей? Вездѣ, малѣйшее дуновеніе можетъ разрушить слабую пружину, которую мы называемъ жизнью. Я умоляю, милая маменька, не противиться моей наклонности. Я не могу служить въ гвардіи: ее слишкомъ берегутъ; во время войны она остается въ постыдномъ бездѣйствіи. Вѣрьте, милая маменька, ко всему можно привыкнуть кромѣ бездѣйствія и скуки. Я бы даже предпочелъ въ полномъ смыслѣ слова несчастіе невозмутимому покою. Сознаніе моихъ бѣдствій удостовѣряло бы меня въ томъ,

что я существую."—Проходитъ два года и философъ въ духѣ Декарта неожиданно превращается въ философа школы Шопенгауера. Онъ пишетъ матери изъ сельца Подвойскаго, имѣнія дяди, совершенно пессимистическое письмо, изъ котораго видно, что неотвязная мысль о непрочности человѣческаго счастія мѣшала 16 лѣтнему русскому Гамлету наслаждаться деревенскимъ привольемъ. „Я сознаю въ себѣ—пишетъ Баратынскій—пренесносное свойство характера, отчасти отравляющее жизнь мою: во мнѣ есть наклонность слишкомъ издалека предвидѣть все то, что мнѣ можетъ случиться непріятнаго. Иногда человѣкъ посреди всего того, что повидимому должно было бы сдѣлать его счастливымъ, носитъ въ душѣ своей сокрытый ядъ, который гложетъ его и дѣлаетъ неспособнымъ къ какому бы то ни было радостному ощущенію." Письмо это было послѣднимъ письмомъ Баратынскаго изъ Пажескаго корпуса. Замѣшанный вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ своихъ товарищей въ одну весьма некрасивую исторію, Баратынскій былъ совсѣмъ исключенъ изъ корпуса. Это несчастное событіе, унизившее Баратынскаго въ глазахъ другихъ и его собственныхъ, произвело, по свидѣтельству его друга и родственника Путяты, подавляющее впечатлѣніе на чувствительнаго юношу и наложило на его характеръ ту глубокую задумчивость и грусть, которою такъ искренно проникнуты всѣ его произведенія. Онъ всячески старался искупить свой юношескій грѣхъ, заставить всѣхъ позабыть лежащее на его имени пятно, и послѣ двухлѣтнихъ стараній былъ въ 1819 г. опредѣленъ рядовымъ въ одинъ изъ гвардейскихъ полковъ. Живя въ Петербургѣ, Баратынскій сблизился съ Жуковскимъ, Плетневымъ, Пушкинымъ, Кюхельбекеромъ, Дельвигомъ и др. Юность Баратынскаго, какъ и всякаго молодого человѣка, была не чужда увлеченій; Вакхъ и Киприда играли въ ней далеко не послѣднюю роль, но въ анакреонтическихъ стихотвореніяхъ Баратынскаго мы тщетно стали бы искать той нѣги, того вакхическаго упоенія, которыми проникнуты стихотворенія современныхъ ему поэтовъ. По всему видно, что чувственный угаръ не могъ наполнить собой души поэта, на днѣ которой съ ранней поры свили свое прочное гнѣздо рефлексія и разочарованіе [1]).

[1]) Замѣчательно, что Баратынскій принадлежалъ къ тѣмъ немногимъ русскимъ людямъ, у которыхъ раннее разочарованіе проявилось совершенно самостоятельно и независимо отъ Байроновскаго вліянія. Страст-

Весьма характерно въ этомъ отношеніи стихотвореніе, написанное двадцатилѣтнимъ поэтомъ при полученіи извѣстія, что онъ скоро увидится съ предметомъ своей страсти:

Уже близокъ, близокъ день свиданья,
Тебя, мой другъ, увижу я!
Скажи, восторгомъ ожиданья
Чтожь не трепещешь, грудь моя?
Не мнѣ роптать, но дни печали
Быть можетъ, поздно миновали.
Съ тоской на радость я гляжу,
Не для меня ея сіянье,
И я напрасно упованье
Въ больной душѣ моей бужу.
Судьбы ласкающей улыбкой
Я наслаждаюсь не вполнѣ:
Все мнится, счастливъ я ошибкой,
И не къ лицу веселье мнѣ.

Въ 1820 г., къ которому относится приведенное стихотвореніе, Баратынскій былъ переведенъ въ чинѣ унтеръ-офицера въ пѣхотный Нейшлотскій полкъ, стоявшій въ какомъ-то захолустьи въ Финляндіи. Друзья отъ всей души сожалѣли даровитаго юношу, обреченнаго влачить въ одиночествѣ и скукѣ тяжелую жизнь солдата. „Бѣдный Баратынскій!—писалъ Пушкинъ къ Вяземскому—какъ объ немъ подумаешь, такъ по неволѣ постыдишься унывать.“ Баратынскій провелъ въ Финляндіи около пяти лѣтъ, и нужно сознаться, что въ общемъ это пребываніе было весьма благопріятно для его поэтической дѣятельности.—Суровыя красоты природы, досугъ и невольное одиночество—все это заставило юнаго поэта глубже вдуматься въ жизнь. Результатомъ этихъ думъ было сознательное и глубокое разочарованіе, которымъ проникнуты стихотвореніе *Не искушай меня безъ нужды*, *Безнадежность* и др. Въ стихотвореніи *Истина*, относящемся къ 1824 г., поэтъ жалуется,

---

ный поклонникъ самостоятельности въ поэзіи, Баратынскій негодовалъ на подражателей и въ своемъ посланіи къ Мицкевичу укоряетъ послѣдняго въ томъ, что, будучи самъ великимъ поэтомъ, онъ лежитъ у ногъ Байрона.

что разочарованіе совершилось не вполнѣ, что въ его душѣ все еще живетъ сожалѣніе о золотыхъ снахъ юности, о грезахъ счастья и любви. Отслуживъ положенный срокъ въ Финляндіи, Баратынскій былъ произведенъ въ офицеры, вышелъ въ отставку и поселился въ Москвѣ. Въ своихъ стихотвореніяхъ онъ не разъ высказывалъ неудовлетвореніе легкомысленными увлеченіями молодости и желаніе прочной привязанности:

Оставимъ юнымъ шалунамъ
Слѣпую жажду сладострастья,
Не упоенія, а счастья
Искать для сердца нужно намъ. (*Посланіе къ Коншину*).

Это счастье онъ думалъ найти въ женитьбѣ на Настасьѣ Львовнѣ Энгельгартъ. И письма Баратынскаго, и разсказы современниковъ, и стихотворенія, посвященныя женѣ, свидѣтельствуютъ, что съ обѣихъ сторонъ это былъ бракъ по любви, и что Баратынскій повидимому долженъ былъ найти въ немъ полное удовлетвореніе своей жажды тихаго семейнаго счастія. Въ дѣйствительности дѣло стояло иначе. И это вполнѣ понятно, ибо источникъ печали заключался не внѣ, но внутри поэта, и не было на свѣтѣ женщины, которая своею любовью могла бы уничтожить душевное раздвоеніе, притупить остріе анализа, снять съ души бремя, налагаемое тяжелыми общественными условіями, въ которыхъ приходилось жить поэту *). Баратынскій женился въ 1826 г., и уже въ слѣдующемъ году мы читаемъ въ его стихотвореніяхъ, что онъ утомленъ душой, что у него прошла охота пѣть и что онъ повеселѣетъ, когда умретъ. Къ тому же году относится прекрасное стихотвореніе *Когда взойдетъ денница золотая*, гдѣ поэтъ рисуетъ въ такихъ чертахъ свое тогдашнее душевное настроеніе:

Страдаю я! Изъ за дубравы дальней
Взойдетъ заря,
Міръ озаритъ, души моей печальной
Не озаря.

*) Хотя Баратынскій своей службой въ Финляндіи загладилъ свой юношескій грѣхъ, но связи его съ кружкомъ петербургскихъ либераловъ не были ему прощены. Погодинъ въ своемъ „Дневникѣ“ подъ 1826 г. пишетъ: „Мицкевичъ находился тогда подъ надзоромъ полиціи, да и самъ Пушкинъ съ Баратынскимъ были еще не совершенно обѣлены“. (Барсуковъ, Жизнь и Труды Погодина, т. II, стр. 70).

Будь новый день любимцу въ счастье, въ сладость,
Душѣ моей
Противенъ онъ. Что прежде было въ радость,
То въ муку ей...

Просматривая стихотворенія Баратынскаго, написанныя послѣ женитьбы, мы замѣчаемъ, что мрачное настроеніе поэта не только не ослабѣло, но скорѣе усилилось,—знакъ, что въ тихомъ семейномъ счастьѣ онъ не нашелъ избавленія отъ преслѣдовавшей его тоски. Замѣчательнѣе всего, что источникомъ этого мрачнаго настроенія является у нашего Гамлета, какъ и у Шекспировскаго, рефлексъ, анализъ, мысль. Пушкинъ любилъ приводить выраженіе Баратынскаго, что въ женихахъ счастливъ только дуракъ, ибо мыслящій человѣкъ безпокоенъ и волнуемъ мыслью о будущемъ. Въ недоконченной поэмѣ *Воспоминаніе*, сравнивая свою прежнюю непосредственность съ послѣдующимъ сознательнымъ существованіемъ, Баратынскій даетъ понять, что въ прежнее время онъ былъ счастливъ потому, что жилъ заодно съ природой и не зналъ ни страстей, ни тираніи мысли:

Не зналъ я радостей, не зналъ я мукъ другихъ,
За мигомъ не успѣлъ другой предвидѣть мигъ,
Я слишкомъ счастливъ былъ спокойствіемъ незнанья...

Въ прекрасномъ стихотвореніи *Весна*, описавъ ликованіе всей природы весною, поэтъ завидуетъ тому счастливцу, который на пиру природы *забвенье мысли пьетъ*. Баратынскій отлично зналъ, что это постоянное преобладаніе мысли и анализа надъ непосредственнымъ чувствомъ нарушаетъ гармонію человѣческаго существованія, что дума легла, по его выраженію, могильной насыпью на его грудь, что передъ обнаженнымъ мечемъ мысли блѣднѣетъ земная жизнь, но онъ не могъ сладить съ собой и могъ только въ отчаяніи восклицать:

На что вы, дни! Юдольный міръ явленья
Свои не измѣнитъ!
Всѣ вѣдомы, и сколько повторенья
Грядущее сулитъ.

Не даромъ ты металась и кипѣла,
Развитіемъ спѣша,
Свой подвигъ ты свершила прежде тѣла,
Безумная душа!

Бывали минуты, когда, подавленный своимъ мрачнымъ настроеніемъ, видя въ жизни одни повторенія, Баратынскій, подобно итальянскому поэту-пессимисту, пѣвцу смерти Леопарди, призываетъ къ себѣ смерть, какъ желанную гостью, надѣляя ее, подобно Леопарди, самыми нѣжными эпитетами:

О дочь верховнаго эѳира,
О свѣтозарная краса!
Въ рукахъ твоихъ олива мира,
А не губящая коса!
Дружится праведной тобою
Людей недружная судьба.
Недоумѣнье, принужденье,
Условье смутныхъ нашихъ дней;
Ты всѣхъ загадокъ разрѣшенье,
Ты разрѣшенье всѣхъ цѣпей!

Если преобладаніе рефлексіи и анализа помѣшало Баратынскому вкусить сладость простого непосредственнаго человѣческаго счастія, по которомъ такъ томилась его душа, то присутствіе этихъ элементовъ въ его поэзіи помѣшало ему сдѣлаться лирикомъ въ пушкинскомъ смыслѣ этого слова, т.-е., лирикомъ, способнымъ откликаться сердцемъ на все поэтическое въ природѣ и жизни. Философскій складъ ума и вѣчное самоуглубленіе, такъ рано проявившееся въ его письмахъ, постоянно отвлекали его поэзію отъ жизненныхъ явленій къ темамъ общаго философскаго характера. Такъ въ стихотвореніи *Послѣдній Поэтъ* онъ разсуждаетъ о вредномъ вліяніи высокой промышленной культуры на поэзію; въ стихотвореніи *Приметы* онъ затрогиваетъ вопросъ объ отношеніи науки къ прежнему поэтическому воззрѣнію на природу; въ діалогѣ *Онъ и Она* онъ излагаетъ прекрасными стихами задуманное въ кантовскомъ духѣ доказательство будущей жизни. Всѣ эти стихотворенія ясно доказываютъ, что Баратынскій былъ не только поэтъ, но и мыслитель, что поэтическая фантазія его была окры-

лнема, какъ у его любимаго поэта Гёте, не только чувствомъ, но и мыслью. Благодаря такому свойству таланта Баратынскаго его поэзія всегда останется поэзіей для немногихъ. Но кромѣ того есть еще обстоятельство, которое помѣшаетъ стихотвореніямъ нашего поэта-мыслителя сдѣлаться когда нибудь общимъ достояніемъ—это несовершенство формы, тусклость образовъ, тяжеловатость стиха. Хотя въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ Баратынскаго техника стиха доведена до изумительнаго совершенства, приводившаго въ восторгъ даже такого виртуоза формы, какимъ былъ Пушкинъ, но судя по количеству варіантовъ должно думать, что эта отдѣлка дорого стоила поэту. Баратынскій не могъ сказать о себѣ подобно Пушкину:

Давай мнѣ мысль какую хочешь,
Ее съ конца я заострю,
Летучей рифмой оперю и т. д.

Легкость и гармонія стиха давались ему съ боя, послѣ упорной филигранной отдѣлки, и Тургеневъ въ одномъ письмѣ къ Аксакову справедливо замѣтилъ, что въ стихотвореніяхъ Баратынскаго видны слѣды не только рѣзца, но даже подпилка. Въ особенности это справедливо по отношенію къ стихотвореніямъ общаго характера, въ которыхъ онъ болѣе заботился о точности выраженія, чѣмъ о совершенствѣ формы. Но, когда исключительнымъ вдохновеніемъ Баратынскаго было чувство, тогда онъ становился настоящимъ поэтомъ, и изъ его переполненнаго сердца выливались стихи, которые по своей искренности, художественной простотѣ, силѣ и гармоніи смѣло могутъ быть поставлены рядомъ съ лучшими стихами Пушкина и Лермонтова. Возьмемъ для примѣра два стихотворенія *Весна* и *Признаніе*. Ни у кого изъ поэтовъ, за исключеніемъ развѣ Гёте и Шелли, мы не встрѣтимъ такого пантеистическаго восторга, объявшаго чуткую душу поэта при видѣ ликующей весенней природы. Проникнутый этимъ восторгомъ, Баратынскій восклицаетъ:

Что съ нею, что съ моей душой?
Съ ручьемъ она ручей
И съ птичкой птичка. Съ нимъ журчитъ,
Летаетъ въ небѣ съ ней.

Въ стихотвореніи *Признаніе* Баратынскій беретъ другой мотивъ изъ человѣческой жизни, можетъ быть изъ своей собственной, и обработка его доказываетъ, что нашему поэту были одинаково доступны и поэзія природы и поэзія тонкихъ душевныхъ ощущеній. Рѣдкій изъ людей не переживалъ хоть разъ въ жизни того мучительнаго состоянія, когда всѣ усилія воскресить въ своей душѣ когда-то милый образъ становятся тщетными, когда этотъ образъ, нѣкогда озарившій нашу душу яркимъ свѣтомъ, скользитъ теперь по ней какой-то неуловимой тѣнью. Пушкинъ увѣковѣчилъ этотъ моментъ въ стихотвореніи *Подъ небомъ голубымъ страны своей родной*, Баратынскій—въ прекрасномъ стихотвореніи *Признаніе*, проникнутомъ тихой грустью и сердечнымъ сокрушеніемъ по своей невольной винѣ.

Притворной нѣжности не требуй отъ меня:
Я сердца моего не скрою хладъ печальный.
Ты права, въ немъ ужъ нѣтъ прекраснаго огня
Моей любви первоначальной.
Напрасно я себѣ на память приводилъ
И милый образъ твой и прежнія мечтанья:
Безжизненны мои воспоминанья,
Я клятвы далъ, но далъ ихъ свыше силъ, и т. д.

Въ дополненіе къ предложенной мною краткой характеристикѣ Баратынскаго мнѣ хочется еще сказать нѣсколько словъ объ одной чертѣ въ характерѣ поэта, рисующей его личность въ самомъ симпатичномъ свѣтѣ. Молодость Баратынскаго какъ разъ совпала съ тѣмъ многознаменательнымъ подъемомъ общественнаго духа, который предшествовалъ кончинѣ императора Александра I. Проживая въ 1819—1820 въ Петербургѣ, Баратынскій перезнакомился со многими изъ передовыхъ людей того времени, обыкновенно называемыхъ декабристами, а съ однимъ изъ нихъ, Кюхельбекеромъ, онъ былъ даже очень друженъ. По словамъ своего сына и біографа, Баратынскій хотя и не былъ посвященъ въ тайны политическаго общества, но со всѣмъ увлеченіемъ своихъ лѣтъ сочувствовалъ тому, что заключалось въ великодушномъ, неопредѣленномъ и гибкомъ словѣ свобода!“ Къ этому времени должно отне-

сти нѣчто въ родѣ гимна этой свѣтлой богинѣ, отъ котораго до насъ дошло только четыре стиха:

Съ неба, чистая, золотистая,
Къ намъ слетѣла ты;
Все прекрасное, все опасное
Намъ пропѣла ты.

Хотя судьба рано разъединила поэта съ товарищами молодости, но онъ всегда вспоминалъ о нихъ съ глубокимъ сочувствіемъ:

Я братьевъ зналъ, и сны младые
Соединили насъ на мигъ,
Далече бѣдствуютъ иные,
И въ мірѣ нѣтъ уже другихъ.

Но пролетѣвшія какъ чудный сонъ бесѣды съ этими друзьями молодости, мечтавшими между прочимъ и объ освобожденіи крестьянъ, заронили не одно доброе зерно въ воспріимчивую душу поэта. Поселившись послѣ женитьбы въ деревнѣ, Баратынскій имѣлъ случай видѣть собственными глазами бѣдность и страданіе народа и дикій разгулъ помѣщичьей власти, и сдѣлался горячимъ и убѣжденнымъ сторонникомъ освобожденія крестьянъ. Съ восторгомъ онъ привѣтствовалъ всякую правительственную мѣру, направленную къ улучшенію ихъ быта. Когда въ 1842 г. вышелъ правительственный указъ объ обязанныхъ крестьянахъ, Баратынскій восторженно отозвался о немъ въ письмѣ къ Путятѣ: „Редакція превосходна! Нельзя было приступить къ дѣлу умнѣе и осторожнѣе. Благословенъ грядый во имя Господне! У меня солнце въ сердцѣ, когда я думаю о будущемъ! Вижу и осязаю возможность исполненія великаго дѣла и скоро и спокойно“. Осенью 1843 г. Баратынскому удалось наконецъ осуществить свое давно лелѣянное желаніе побывать за границей. Привыкшій на родинѣ быть вѣчно на сторожѣ и замыкаться въ самомъ себѣ, поэтъ получилъ наконецъ на склонѣ лѣтъ своихъ возможность быть самимъ собою и высказываться вполнѣ. Зиму онъ провелъ въ Парижѣ и очень сблизился съ молодымъ, тогда только что начинавшимъ поэтомъ Огаревымъ. Преждевременно состарившійся Баратынскій пріятно удивилъ Огарева и весь его кружокъ смѣлостью своихъ идей, энергіей и широтой своихъ общественныхъ симпатій. Это не былъ тотъ молчаливый, ушедшій

въ себя, человѣкъ, котораго нужно было, по словамъ кн. Вяземскаго, допрашивать, чтобъ узнать его мнѣнія. Рѣчь его лилась потокомъ; онъ какъ бы торопился высказать все, что у него накопилось въ душѣ въ долгіе годы думъ и подневольнаго молчанія. Весной пріятели разстались. Огаревъ остался въ Парижѣ, а Баратынскій уѣхалъ въ Неаполь, гдѣ вскорѣ неожиданно умеръ отъ разрыва сердца, вызваннаго безпокойствомъ о здоровьѣ жены. Узнавъ объ его смерти, И. В. Кирѣевскій оплакалъ ее въ Москвитянинѣ [1]), а Огаревъ почтилъ память безвременно угасшаго поэта прекраснымъ стихотвореніемъ, которое было неизвѣстно современникамъ и появилось въ печати всего четыре года назадъ:

Въ его груди любила и томилась
Прекрасная душа
И ко всему прекрасному стремилась,
Поэзіей дыша.
Святой огонь подъ хладной сѣдиною
Онъ гордо уберегъ,
Не оскудѣлъ, хоть и страдалъ душою
Средь жизненныхъ тревогъ.
На жизнь смотрѣлъ хоть грустно онъ, но смѣло
И все впередъ спѣшилъ;
Онъ жаждалъ дѣлъ, онъ насъ сзывалъ на дѣло
И вѣрилъ въ Бога силъ!
О, сколько разъ съ горячимъ рукожатьемъ
Съ слезою на глазахъ,
Онъ намъ твердилъ: впередъ, младые братья,
Предъ истиной все прахъ!
Онъ избралъ насъ и старецъ, умирая,
Друзья, намъ завѣщалъ,
Чтобы по немъ, какъ тризну совершая,
Въ борьбѣ нашъ духъ мужалъ.

(Русская Мысль, 1890 г. № 10).

---

[1]) „Пѣвецъ любви, печали, сердечныхъ думъ и сердечныхъ сомнѣній, своеобразный поэтъ, высокій, глубоко чувствующій художникъ, искренній въ каждомъ звукѣ, отчетливо—изящный въ каждой мечтѣ, похищенный преждевременной смертью, оставилъ въ нашей словесности нѣсколько прекрасныхъ созданій, не оцѣненныхъ по своему достоинству, но почти ничтожныхъ въ сравненіи съ тѣмъ, что онъ могъ бы сдѣлать и т. д.

(Москвитянинъ, 1845 г. № I)

Баратынскій не дожилъ до осуществленія великаго дѣла, къ которому онъ призывалъ своихъ юныхъ парижскихъ друзей. Судьба, не баловавшая его при жизни, не дозволила ему дожить до обѣтованнаго дня освобожденія крестьянъ. Жизнь его прошла въ глухую и мрачную эпоху нашей общественной жизни, не растворенную надеждой на лучшіе дни. Задыхаясь въ атмосферѣ мрака и произвола, изнывая подъ тяжелымъ бременемъ мучившаго его душевнаго разлада, извѣрившись въ людей, но полный глубокой вѣры въ силу правды и добра, онъ жилъ для того же, для чего жилъ его другъ и сверстникъ Пушкинъ,—чтобъ мыслить и страдать.

Н. Стороженко.

СУПРУГА.

(Разсказъ).

— Я просилъ васъ не убирать у меня на столѣ, говорилъ Николай Евграфовичъ. — Послѣ вашихъ уборокъ никогда ничего не найдешь. Гдѣ телеграмма? Куда вы ее бросили? Извольте искать. Она изъ Казани, помѣчена вчерашнимъ числомъ.

Горничная, блѣдная, очень тонкая, съ равнодушнымъ лицомъ, нашла въ корзинѣ подъ столомъ нѣсколько телеграммъ и, молча, подала ихъ доктору; но все это были городскія телеграммы, отъ паціентовъ. Потомъ искали въ гостиной и въ комнатѣ Ольги Дмитріевны.

Былъ уже первый часъ ночи. Николай Евграфовичъ зналъ, что жена вернется домой не скоро, по крайней мѣрѣ часовъ въ пять. Онъ не вѣрилъ ей и, когда она долго не возвращалась, не спалъ, томился и въ это время презиралъ и жену, и ея постель, и зеркало, и ея бонбоньерки, и эти ландыши и гіацинты, которые кто-то каждый день присылалъ ей и которые распространяли по всему дому приторный запахъ цвѣточной лавки. Въ такія ночи онъ становился мелоченъ, капризенъ, придирчивъ, и теперь ему казалось, что ему очень нужна телеграмма, полученная вчера отъ брата, хотя эта телеграмма не содержала въ себѣ ничего кромѣ поздравленія съ праздникомъ.

Въ комнатѣ жены на столѣ подъ коробкой съ почтовой бумагой онъ нашелъ какую то телеграмму и взглянулъ на нее мелькомъ. Она была адресована на имя тещи для передачи Ольгѣ Дмитріевнѣ, изъ Монте-Карло, подпись: Michel... Изъ текста докторъ не понялъ ни одного слова, такъ какъ это былъ какой то иностранный, повидимому англійскій, языкъ.

— Кто этотъ Мишель? Почему изъ Монте-Карло? Почему на имя тещи?

За время семилѣтней супружеской жизни онъ привыкъ подозрѣвать, угадывать, разбираться въ уликахъ, и ему не разъ приходило въ голову, что благодаря этой домашней практикѣ, изъ него могъ бы выйти теперь отличный сыщикъ. Прійдя въ кабинетъ и начавши соображать, онъ тотчасъ же вспомнилъ, какъ года полтора назадъ онъ былъ съ женой въ Петербургѣ и завтракалъ у Кюба съ однимъ своимъ школьнымъ товарищемъ, инженеромъ путей сообщенія, и какъ этотъ инженеръ представилъ ему и его женѣ молодого человѣка лѣтъ 22—23, котораго звали Михаиломъ Ивановичемъ; фамилія была короткая, немножко странная: Рисъ. Спустя два мѣсяца, докторъ видѣлъ въ альбомѣ жены фотографію этого молодого человѣка съ надписью по-французски; „на память о настоящемъ и въ надеждѣ на будущее“; потомъ онъ раза два встрѣчалъ его самого у своей тещи.. И какъ разъ это было то время, когда жена стала часто отлучаться и возвращалась домой въ четыре и пять часовъ утра, и все просила у него заграничнаго паспорта, а онъ отказывалъ ей, и у нихъ въ домѣ по цѣлымъ днямъ происходила такая война, что отъ прислуги было совѣстно.

Полгода назадъ товарищи врачи рѣшили, что у него начинается чахотка, и посовѣтовали ему бросить все и уѣхать въ Крымъ. Узнавши объ этомъ, Ольга Дмитріевна сдѣлала видъ, что это ее очень испугало; она стала ласкаться къ мужу и все увѣряла, что въ Крыму холодно и скучно, а лучше бы въ Ниццу, и что она поѣдетъ вмѣстѣ и будетъ тамъ ухаживать за нимъ, беречь его, покоить...

И теперь онъ понималъ, почему женѣ такъ хочется именно въ Ниццу: ея Michel живетъ въ Монте-Карло.

Онъ взялъ англійско-русскій словарь и, переводя слова и угадывая ихъ значеніе, мало-по-малу составилъ такую фразу: „Пью здоровье моей дорогой возлюбленной, тысячу разъ цѣлую маленькую ножку. Нетерпѣливо жду пріѣзда“. Онъ представилъ себѣ, какую бы смѣшную, жалкую роль онъ игралъ, если бы согласился поѣхать съ женой въ Ниццу, едва не заплакалъ отъ чувства обиды и въ сильномъ волненіи сталъ ходить по всѣмъ комнатамъ. Въ немъ возмутилась его гордость, его плебейская брезгливость. Сжимая кулаки и морщась отъ отвращенія, онъ спрашивалъ себя,

какъ это онъ, сынъ деревенскаго попа, бурсакъ по воспитанію, прямой, грубый человѣкъ, по профессіи хирургъ — какъ это онъ могъ отдаться въ рабство, такъ покорно подчинить себя этому слабому, ничтожному, продажному, низкому созданію?

— Маленькая ножка! бормоталъ онъ, комкая телеграмму.—Маленькая ножка!

Отъ того времени, когда онъ влюбился и сдѣлалъ предложеніе, и потомъ жилъ семь лѣтъ, осталось воспоминаніе только о длинныхъ душистыхъ волосахъ, массѣ мягкихъ кружевъ и о маленькой ножкѣ, въ самомъ дѣлѣ очень маленькой и красивой; и теперь еще, казалось, отъ прежнихъ объятій сохранилось на рукахъ и лицѣ ощущеніе шелка и кружевъ—и больше ничего. Ничего больше, если не считать истерикъ, визга, попрековъ, угрозъ и лжи, наглой, измѣнническої лжи.. Онъ помнилъ, какъ у отца въ деревнѣ, бывало, со двора въ домъ нечаянно влетала птица и начинала неистово биться о стекла и опрокидывать вещи,—такъ и эта женщина изъ совершенно чуждой ему среды влетѣла въ его жизнь и произвела въ ней настоящій разгромъ. Лучшіе годы жизни протекли, какъ въ аду, надежды на счастье разбиты и осмѣяны, здоровья нѣтъ, въ комнатахъ его пошлая кокоточная обстановка, а изъ десяти тысячъ, которыя онъ зарабатываетъ ежегодно, онъ никакъ не соберется послать своей матери-попадьѣ хотя бы десять рублей, и уже долженъ по векселямъ тысячъ пятнадцать. Казалось, если бы въ его квартирѣ жила шайка разбойниковъ, то и тогда бы жизнь его не была такъ безнадежно, непоправимо разрушена, какъ при этой женщинѣ..

Онъ сталъ кашлять и задыхаться. Надо было бы лечь въ постель и согрѣться, но онъ не могъ, а все ходилъ по комнатамъ, или садился за столъ и нервно водилъ карандашомъ по бумагѣ, и писалъ машинально:

„Проба пера.. Маленькая ножка...

Къ пяти часамъ онъ ослабѣлъ и уже обвинялъ во всемъ одного себя; ему казалось теперь, что если бы Ольга Дмитріевна вышла за другого, который могъ бы имѣть на нее доброе вліяніе, то— кто знаетъ?—въ концѣ концовъ, быть можетъ, она стала бы доброй, честной женщиной; онъ же плохой психологъ и не знаетъ женской души, къ тому же неинтересенъ, грубъ..

— Мнѣ уже осталось немного жить, думалъ онъ,—я трупъ

и не долженъ мѣшать живымъ. Теперь въ сущности было бы странно и глупо отстаивать какія то свои права. Я объяснюсь съ ней; пусть она уходитъ къ любимому человѣку... Дамъ ей разводъ, прійму вину на себя...

Ольга Дмитріевна пріѣхала наконецъ и, какъ была, въ бѣлой ротондѣ, шапкѣ и въ калошахъ, вошла въ кабинетъ и упала въ кресло.

— Противный, толстый мальчишка, сказала она, тяжело дыша, и всхлипнула.—Это даже не честно, это гадко.—Она топнула ногой.—Я не могу, не могу, не могу!

— Что такое? спросилъ Николай Евграфовичъ, подходя къ ней.

— Меня провожалъ сейчасъ студентъ Азарбековъ и потерялъ мою сумку, а въ сумкѣ пятнадцать рублей. Я у мамы взяла.

Она плакала самымъ серьезнымъ образомъ, какъ дѣвочка, и не только платокъ, но даже перчатки у нея были мокры отъ слезъ.

— Чтожъ дѣлать! вздохнулъ докторъ.—Потерялъ, такъ и потерялъ, ну и Богъ съ нимъ. Успокойся, мнѣ нужно поговорить съ тобой.

— Я не милліонерша, чтобы такъ манкировать деньгами. Онъ говоритъ, что отдастъ, но я не вѣрю, онъ бѣдный...

Мужъ просилъ ее успокоиться и выслушать его, а она говорила все о студентѣ и о своихъ потерянныхъ пятнадцати рубляхъ.

— Ахъ, я дамъ тебѣ завтра двадцать пять, только замолчи, пожалуйста! сказалъ онъ съ раздраженіемъ.

— Мнѣ надо переодѣться! заплакала она. Не могу же я серьезно говорить, если я въ шубѣ! Какъ странно!

Онъ снялъ съ нея шубу и калоши, и въ это время ощутилъ запахъ бѣлаго вина, того самаго, которымъ она любила запивать устрицъ (несмотря на свою воздушность, она очень много ѣла и много пила). Она пошла къ себѣ и, немного погодя, вернулась переодѣтая, напудренная, съ заплаканными глазами, сѣла и вся ушла въ свой легкій съ кружевами капотъ, и въ массѣ розовыхъ волнъ мужъ различалъ только ея распущенные волосы и маленькую ножку въ туфлѣ...

— Ты о чемъ хочешь говорить? спросила она, покачиваясь въ креслѣ.

— Я нечаянно увидѣлъ вотъ это... сказалъ докторъ и подалъ ей телеграмму.

Она прочла и пожала плечами.

— Чтожъ? сказала она, раскачиваясь сильнѣе.—Это обыкновенное поздравленіе съ новымъ годомъ и больше ничего. Тутъ нѣтъ секретовъ.

— Ты разсчитываешь на то, что я не знаю англійскаго языка. Да, я не знаю, но у меня есть словарь. Это телеграмма отъ Риса, онъ пьетъ здоровье своей возлюбленной и тысячу разъ цѣлуетъ тебя. Но оставимъ, оставимъ это... продолжалъ докторъ торопливо.—Я вовсе не хочу упрекать тебя, или дѣлать сцену. Довольно уже было и сценъ и попрековъ, пора кончить... Вотъ что я хочу тебѣ сказать: ты свободна и можешь жить, какъ хочешь.

Помолчали. Она стала тихо плакать.

— Я освобождаю тебя отъ необходимости притворяться и лгать, продолжалъ Николай Евграфовичъ.—Если любишь этого молодого человѣка, то люби; если хочешь ѣхать къ нему заграницу, поѣзжай. Ты молода, здорова, а я уже калѣка, жить мнѣ осталось недолго. Однимъ словомъ... ты меня понимаешь.

Онъ былъ взволнованъ и не могъ продолжать. Ольга Дмитріевна, плача и голосомъ, какимъ говорятъ, когда жалѣютъ себя, созналась, что она любитъ Риса и ѣздила съ нимъ кататься за городъ, бывала у него въ номерѣ, и въ самомъ дѣлѣ ей очень хочется теперь поѣхать заграницу.

— Видишь, я ничего не скрываю, сказала она со вздохомъ.— Вся душа моя на распашку. И я опять умоляю тебя, будь великодушенъ, дай мнѣ паспортъ.

— Повторяю: ты свободна.

Она пересѣла на другое мѣсто, поближе къ нему, чтобы взглянуть на выраженіе его лица. Она не вѣрила ему и хотѣла теперь понять его тайныя мысли. Она никогда никому не вѣрила, и, какъ бы благородны ни были намѣренія, она всегда подозрѣвала въ нихъ мелкія, или низменныя побужденія и эгоистическія цѣли. И когда она пытливо засматривала ему въ лицо, ему показалось, что у нея въ глазахъ, какъ у кошки, блеснулъ зеленый огонекъ.

— Когда же я получу паспортъ? спросила она тихо.

Ему вдругъ захотѣлось сказать „никогда“, но онъ сдержалъ себя и сказалъ:

— Когда хочешь.

— Я поѣду только на мѣсяцъ.

— Ты поѣдешь къ Рису навсегда. Я дамъ тебѣ разводъ, пріиму вину на себя, и Рису можно будетъ жениться на тебѣ.

— Но я вовсе не хочу развода! живо сказала Ольга Дмитріевна, дѣлая удивленное лицо.—Я не прошу у тебя развода! Дай мнѣ паспортъ, вотъ и все.

— Но почему же ты не хочешь развода? спросилъ докторъ, начиная раздражаться.—Ты странная женщина. Какая ты странная! Если ты серьезно увлеклась и онъ тоже любитъ тебя, то въ вашемъ положеніи вы оба ничего не придумаете лучше брака. И неужели ты еще станешь выбирать между бракомъ и адюльтеромъ?

— Я понимаю васъ, сказала она, отходя отъ него, и лицо ея приняло злое, мстительное выраженіе.—Я отлично понимаю васъ. Я надоѣла вамъ и вы просто хотите избавиться отъ меня, навязать мнѣ этотъ разводъ. Благодарю васъ, я не такая дура, какъ вы думаете. Развода я не приму и отъ васъ не уйду, не уйду, не уйду! Во первыхъ, я не желаю терять общественнаго положенія,— продолжала она быстро, какъ бы боясь, что ей помѣшаютъ говорить,—во вторыхъ, мнѣ уже 27 лѣтъ, а Рису 23; черезъ годъ я ему надоѣмъ, и онъ меня броситъ. И въ третьихъ, если хотите знать, я не ручаюсь, что это мое увлеченіе можетъ продолжаться долго... Вотъ вамъ! Не уйду я отъ васъ.

— Такъ я тебя выгоню изъ дому! крикнулъ Николай Евграфовичъ и затопалъ ногами,—Выгоню вонъ, низкая, гнусная женщина!

— Увидимъ-съ! сказала она и вышла.

Уже давно разсвѣло на дворѣ, а докторъ все сидѣлъ у стола, водилъ карандашемъ по бумагѣ и писалъ машинально:

— Милостивый государь... Маленькая ножка...

Или же онъ ходилъ и останавливался въ гостинной передъ фотографіей, снятой семь лѣтъ назадъ вскорѣ послѣ свадьбы, и долго смотрѣлъ на нее. Это была семейная группа: тесть, теща, его жена Ольга Дмитріевна, когда ей было двадцать лѣтъ, и онъ самъ въ качествѣ молодого, счастливаго мужа. Тесть, бритый, пухлый, водяночный тайный совѣтникъ, хитрый и жадный до денегъ, теща — полная дама съ мелкими и хищными чертами, какъ у хорька, безумно любящая свою дочь и во всемъ помогающая ей; если бы дочь душила человѣка, то мать не сказала бы ей ни слова и только заслонила бы ее своимъ по-

доломъ. У Ольги Дмитріевны тоже мелкія и хищныя черты лица, но болѣе выразительныя и смѣлыя, чѣмъ у матери;—это ужъ не хорекъ, а звѣрь покрупнѣе! А самъ Николай Евграфовичъ глядитъ на этой фотографіи такимъ простакомъ, добрымъ малымъ, человѣкомъ-рубахой; добродушная семинарская улыбка расплылась по его лицу и онъ наивно вѣритъ, что эта компанія хищниковъ, въ которую случайно втолкнула его судьба, дастъ ему и поэзію, и счастье, и все то, о чемъ онъ мечталъ, когда еще студентомъ пѣлъ пѣсню: „Не любить—погубить значитъ жизнь молодую“...

И опять онъ съ недоумѣніемъ спрашивалъ себя, какъ это онъ, сынъ деревенскаго попа, по воспитанію бурсакъ, простой, грубый и прямой человѣкъ, могъ такъ безпомощно отдаться въ руки этого ничтожнаго, лживаго, по натурѣ совершенно чуждаго ему существа.

Когда въ одиннадцать часовъ онъ надѣвалъ сюртукъ, чтобы ѣхать въ больницу, въ кабинетъ вошла горничная.

— Что вамъ? спросилъ онъ.

— Барыня встали и просятъ двадцать пять рублей, что вы давеча обѣщали.

Антонъ Чеховъ.

Къ былинамъ о Чурилѣ Пленковичѣ.

Послѣднія по времени работы, посвященныя былинамъ о Чурилѣ, принадлежатъ акад. А. Н. Веселовскому и проф. М. Г. Халанскому. Не высказываясь положительно относительно времени и мѣста сложенія былины, первый изслѣдователь останавливается на происхожденіи типа заѣзжаго щеголя Чурилы Пленковича и открываетъ въ немъ одного изъ тѣхъ грекороманскихъ „гостей-Сурожанъ, которые, являясь въ Кіевъ, изумляютъ своихъ, болѣе грубыхъ сосѣдей блескомъ своихъ культурныхъ привычекъ и обстановки [1]). Существеннымъ въ пѣснях (о Чурилѣ) является: его появленіе въ Кіевѣ, въ блескѣ красоты и культурнаго щапленія, впечатлѣніе, какое онъ производилъ на женщинъ и на Апраксію; его любовь къ Катеринѣ, мужа которой онъ еще прежде зналъ... Какъ видно—это матеріалъ новеллы, не фабліо о невѣрной женѣ гостя Терентьища, наставляемаго скоморохами, а новеллы съ трагической развязкой, въ стилѣ Giraldi Cintio" [2]).

Такимъ образомъ, видя въ Чурилѣ заѣзжаго гостя изъ франкскаго т. е. итальянскаго Сурожа, акад. Веселовскій признаетъ за *типомъ* Чурилы весьма *почтенную древность* и созданіе его относитъ къ южно-русскому или кіевскому періоду нашей исторіи. Подтвержденіемъ южно-русскаго происхожденія типа Чурилы служитъ присутствіе его имени (въ формахъ Журило, Джурыло, Цырыло) въ малорусской свадебной пѣснѣ [3]).

---

[1]) Южно-русс. былины VI—XI стр. 81.
[2]) Тамъ-же стр. 123.
[3]) Тамъ-же стр. 124. Болѣе подробныя библіографическія указанія на малорусс. Джурылу см. въ замѣткахъ В. В. Каллаша — Этнограф. Обозрѣніе, кн. III, стр. 207 и V, стр. 252.

Проф. Халанскій помѣщаетъ Чурилу въ число богатырей московскаго періода вмѣстѣ съ Дюкомъ, Соловьемъ Будимировичемъ, Микулой Селяниновичемъ, Святогоромъ. „Въ мирное время, какимъ преимущественно представляется эпоха князей-собирателей Руси, естественно, идеальными образами являются... лица съ совершенно мирными свойствами: крестьянинъ Микула Селяниновичъ, женихъ, добрый молодецъ Соловей Будимировичъ, богачъ Дюкъ Степановичъ, наконецъ щеголь Чурило Пленковичъ и проч... Въ богатырскихъ образахъ ранняго времени иногда удавалось отыскать дѣйствительныхъ историческихъ лицъ, геройскими подвигами стяжавшихъ себѣ славную память: героями былинъ московскаго періода являются идеальные образы, чистыя созданія народной фантазіи [1])". Итакъ, по мнѣнію г. Халанскаго, народная фантазія, создавшая типъ щеголя Чурилы, не опиралась въ своемъ творчествѣ на образъ пріѣзжаго изъ Сурожа фряга-итальянца, какъ думаетъ акад. Веселовскій главнымъ образомъ на основаніи своего толкованія имени отца Чурилы, Пленка (Франка). „Прозваніе Чурилы стоитъ, по мнѣнію г. Халанскаго, вѣроятно въ связи съ былевымъ характеромъ этого богатыря. Обыкновенно онъ прозывается Пленковичъ; но въ нѣкоторыхъ варіантахъ его отчество— Щапъ Пленковичъ или Щапленковичъ. Послѣдняя форма, вѣроятно, наиболѣе древняя; она стоитъ, *несомнѣнно*, въ связи съ глаголомъ *щапить* т. е. щеголять, и такимъ образомъ прозваніе Чурилы Щапленковичъ можетъ значить то-же, что Щеголенковичъ или Щеголевичъ. Отсюда, съ одной стороны, какъ искаженіе, явились формы Щапленковичъ, Цыпленковичъ и сынъ Пленковичъ, съ другой, какъ забвеніе первоначальнаго значенія прозвища Чурилы, сложился образъ Пленка, гостя Сароженина, отца Чурилы[2]). Относя Чурилу къ богатырямъ московскаго періода, г. Халанскій замѣчаетъ однако: „Распространенность именъ Чурило, Журило, Цюрило въ юго-западной Руси въ пѣсняхъ и мѣстныхъ названіяхъ даетъ *большую вѣроятность* мнѣнію о южно-русскомъ происхожденіи сказаній объ этомъ богатырѣ" [3]). Итакъ г. Халанскій, повидимому (говорю такъ потому, что выраженія автора несовсѣмъ опредѣленны) предполагаетъ, что по *мѣсту* происхожденія сказа-

[1]) Великорусс. былины кіевскаго цикла, стр. 208.
[2]) Тамъ-же.
[3]) Тамъ-же, стр. 209.

нія о щеголѣ Чурилѣ относятся къ южной Руси и, слѣдовательно, *занесены* въ сѣверный великорусскій эпосъ, но занесены не въ кіевскій періодъ нашей исторіи, а въ московскій.

Въ послѣдующемъ я оставляю въ сторонѣ вопросъ о времени и мѣстѣ происхожденія *типа* Чурилы. Я имѣю въ виду вопросъ иного рода: въ какой области Руси и въ какой періодъ были сложены дошедшія до насъ былины о Чурилѣ? Нѣтъ-ли въ ихъ содержаніи такихъ бытовыхъ чертъ, которыя могли бы дать относительно этихъ вопросовъ болѣе или менѣе опредѣленныя показанія? Быть можетъ, въ южной Руси еще въ кіевскій періодъ нашей исторіи ходили сказанія или пѣсни о Чурилѣ, но мы ихъ не знаемъ и никогда не узнаемъ. Все, что мы можемъ въ настоящее время надѣяться уяснить,—должно основываться только на дошедшихъ до насъ текстахъ 30 былинъ, въ которыхъ Чурило является главнымъ дѣйствующимъ лицомъ.

Приступая къ разсмотрѣнію бытовой стороны этихъ былинъ, напомню, что съ именемъ Чурилы связаны два сюжета: пріѣздъ Чурилы въ Кіевъ и служба его при Владимірѣ, и связь Чурилы съ женой Бермяты Катериной Никуличной, оканчивающаяся въ большинствѣ былинъ смертью Чурилы.

Первый сюжетъ дошелъ до насъ въ сравнительно незначительномъ числѣ варіантовъ (6), второй представляется однимъ изъ самыхъ популярныхъ въ репертуарѣ олонецкихъ сказителей. По замѣчанію Рыбникова, былина о Чурилѣ и Катеринѣ принадлежитъ къ числу „бабьихъ старинъ“, которыя поются ими съ особенной любовью, а мужчинами не такъ-то охотно [1]). Эта популярность народной былины съ ея „жалостнымъ“ содержаніемъ, конечно весьма понятна среди женщинъ. Оба сюжета развиваются въ отдѣльныхъ былинахъ и не соединяются въ сводную былину. Исключеніе представляютъ двѣ былины, одна—изъ сборника Кирши Данилова [2]), другая—Рыбникова (I, 45), въ которыхъ второй сюжетъ (связь съ Катериной) прикрѣпленъ къ первому, но не доведенъ до обычнаго конца.

Былины о знакомствѣ кн. Владиміра съ Чурилой сходны между собой не только въ главномъ, но и во многихъ деталяхъ,

---

[1]) Рыбниковъ, III стр. XXVI.
[2]) Перепечатана у Кирѣевскаго, IV стр. 78.

такъ что на основаніи сличенія варіантовъ можно возстановить основной типъ былины [1]). Напомню ея содержаніе:

Былина открывается обычнымъ пиромъ у князя Владиміра. Когда столъ былъ въ полустолѣ, появляются толпы молодцовъ (иначе мужиковъ кіянъ) израненыхъ, избитыхъ: булавами у нихъ буйны головы пробиваны, кушаками головы завязаны. Они приносятъ князю жалобу на обидчиковъ. Они охотились на государевомъ займищѣ для князя, но наѣхали на нихъ какіе-то молодцы на *латинскихъ* коняхъ, въ камчатныхъ кафтанахъ, золотыхъ колпакахъ,—повыловили куницъ, *печерскихъ* лисицъ, выстрѣлили туровъ-оленей, а самихъ избили-изранили. Это понадѣлали молодцы Чуриловы. Князь не слушаетъ челобитья своихъ охотниковъ. Вслѣдъ за ними идетъ другая толпа съ такою же жалобой: это княжескіе рыболовы. На нихъ напали чужіе молодцы, повыловили бѣлую рыбу (иногда рыбу *сорогу*), а самихъ рыболововъ изранили. Князь оставляетъ и ихъ жалобу безъ вниманія. Затѣмъ приходитъ третья толпа—сокольники княжескіе. Они жалуются на то, что чужіе молодцы на государевомъ займищѣ, на потѣшныхъ островахъ, ясныхъ соколовъ и бѣлыхъ кречетовъ повыловили, а ихъ, сокольниковъ, избили, изранили. Называются эти насильники дружиной Чуриловой. Тутъ князь спохватился и сталъ спрашивать, гдѣ живетъ Чурила. Вермята (или Иванъ Ивановичъ) одинъ знаетъ, что у Чурилы дворъ на рѣкѣ Сорогѣ (иначе Черегѣ, Почаѣ) пониже Малаго Кіевца, у креста Леванидова, у святыхъ мощей Борисовыхъ, и описываетъ пышность Чуриловой усадьбы. Князь съ княгиней, богатырями и дружиной въ 500 человѣкъ ѣдетъ ко двору Чурилы. Его встрѣчаетъ старикъ отецъ Чурилы, Пленко Сароженинъ, ведетъ во свѣтлу гридню, сажаетъ за столы и угощаетъ на славу. Во время пира князь изъ окна увидѣлъ подъѣзжающую многочисленную дружину и сильно испугался; онъ думаетъ, что это ѣдетъ либо царь (ханъ) изъ орды, либо король изъ Литвы [2]). Пленко успокоиваетъ его, говоря, что это дружина его сына. Сначала ѣдетъ пышно разодѣтая толпа стольниковъ, затѣмъ ключниковъ и наконецъ во главѣ третьей толпы самъ Чу-

---

[1]) Кирѣевскій, IV стр. 78=Кирша Даниловъ; Рыбниковъ, I, 45, III, 24 Гильфердингъ, №№ 223, 229, 251 (не кончена) и отрывокъ былины у Кирѣевскаго, IV стр. 86 (изъ Нижегородской губ.).

[2]) Гильфердингъ, № 229 и Рыбн. III, 24.

рило, котораго красота, костюмъ и манеры описываются подробно. По пріѣздѣ Чурило идетъ въ подвалы глубокіе, беретъ золоту казну, сорокъ сороковъ черныхъ соболей, другое сорокъ печерскихъ лисицъ, дорогую камку хрущату, и все это подноситъ въ подарокъ князю. Князь обрадованъ и приглашаетъ Чурилу служить ему, князю, въ Кіевѣ. Чурило принимаетъ приглашеніе и становится княжескимъ стольникомъ-чашникомъ. Когда молодой красавецъ-стольникъ служилъ за столами, княгиня Апракса, заглядѣвшись на него, разрѣзая мясо лебединое, порѣзала себѣ руку и въ свое оправданіе говоритъ женамъ боярскимъ:

„Не дивуйте-ка, жены мнѣ господскія,
Что обрѣзала я руку бѣлу правую,
Я смотрючись на красоту Чурилову,
На его кудри на желтые,
На его перстни злаченые,
Помутились у меня очи ясныя!“ [1])

Князь ставитъ Чурилу позовщикомъ на пиры: когда Чурило идетъ по улицѣ, его красота производитъ неотразимое дѣйствіе на кіевскихъ женщинъ. Апраксія проситъ мужа сдѣлать Чурилу постельникомъ. Владиміръ укоряетъ княгиню и отпускаетъ неудобнаго ему Чурилу домой [2]).

Если первый слагатель былины и создалъ типъ идеальнаго красавца, богача и щеголя, то краски для этого типа онъ бралъ изъ русской дѣйствительности и окружилъ Чурилу русской бытовой обстановкой. Эта обстановка носитъ на себѣ нѣкоторыя черты времени и мѣста сложенія былины и съ этой стороны заслуживаетъ полнаго вниманія. Прежде всего, кто такой Чурило по своему общественному положенію? Могли-ли быть на Руси такія частныя лица съ такими дружинами, съ такими богатствами и совершать такія насилія безнаказанно? Чурило не князь, не бояринъ, какъ Дюкъ Степановичъ, а сынъ какого-то богача Пленко, живущаго почти независимо въ своей обширной усадьбѣ, чувствующаго себя по богатству и могуществу не ниже князя. Личность князя Влади-

[1]) Рыбниковъ, III, № 24 стр. 126.
[2]) Отъѣздомъ Чурилы кончаются былины Рыбн. III, 24, Гильф. № 223, 229.

міра совершенно низведена съ своего пьедестала: онъ ѣдетъ къ Чурилѣ, быть можетъ, въ надеждѣ отъ него поживиться, такъ какъ беретъ съ собой дружину, но убѣждается на мѣстѣ, что Чурилова дружина многочисленнѣе княжеской, принимаетъ угощеніе и подарки, забываетъ принесенныя ему жалобы на Чурилу и говоритъ:

„Хоть и много на Чурила было жалобщиковъ,
А побольше того челобитчиковъ:
А теперь на Чурила я суда де не дамъ“.[1])

Очевидно, что князь Владиміръ, внесенный въ былину, очень далекъ отъ того эпическаго князя, котораго порученія безпрекословно справляютъ могучіе богатыри (Добрыня, Дунай, Илья Муромецъ), который при случаѣ засаживаетъ богатырей въ погреба глубокіе. Въ немъ не видно ни ласковаго краснаго солнышка стольно-кіевскаго, ни деспота съ чертами московскихъ царей или восточныхъ сказочныхъ. Это князь лишенный всякаго значенія, какъ бы взятый на прокатъ, чтобъ быть свидѣтелемъ богатства и могущества частнаго лица. Въ созданіи такого князя сказывается не южно-русскій взглядъ на князя-дружинника, не суздальско-московскій на князя вотчинника и деспота, а всего скорѣе новгородское представленіе о княжескомъ достоинствѣ, о князѣ, который княжитъ, но не управляетъ. Условія новгородской жизни, дававшія возможность частному лицу посредствомъ предпріимчивости, удальства и торговли скапливать значительныя богатства, достигать высокаго общественнаго положенія и независимости, всего болѣе подходятъ къ объясненію такой личности, какъ Чурило. Тѣже условія создали боярина Ваську Буслаева, бьющагося съ своей дружиной буяновъ съ мужиками новгородскими, и купца Садка, соперничающаго богатствомъ со всѣмъ Новымъ-городомъ. Дѣйствительно, Чурило напоминаетъ того и другого типическаго новгородца. Какъ самъ Василій и его дружина творятъ насилія въ Новгородѣ, такъ дружина Чурилова обижаетъ княжескихъ охотниковъ, рыболововъ, сокольниковъ, иногда огородниковъ. Какъ Садко купецъ хвастаетъ несмѣтными богатствами, такъ былина подробно останавливается на описаніи пышности Чурилова двора и дома и, быть можетъ, для

[1]) Рыбн., III, № 24, стр. 125. Срав. Гильф. № 223 столб. 1063.

поясненія происхожденія этого богатства называетъ его отца *гостемъ*.

Какъ вообще новгородскія былины не знали богатырства, такъ ничего богатырскаго нѣтъ въ былинѣ о Чурилѣ. Его дружина не южнорусская дружина, бьющаяся вмѣстѣ съ княземъ со врагами и защищающая княжескія земли отъ нападеній. Это скорѣе артель промышленниковъ, дружина въ новгородскомъ смыслѣ, напоминающая дружинушку купца-промышленника Садка и еще болѣе дружину Вольги, котораго новгородское происхожденіе мнѣ кажется весьма вѣроятнымъ. Дружина Чурилы занимается охотничьимъ и рыболовнымъ промысломъ въ широкихъ размѣрахъ: они вылавливаютъ шелковыми тенетами (путиками) пушныхъ звѣрей—соболей, горностаевъ, куницъ и *печерскихъ* лисицъ, цѣнныхъ птицъ—соколовъ, кречетовъ, лебедей—и дорогую рыбу. Отмѣтимъ здѣсь *печерскихъ* лисицъ, хорошо извѣстныхъ новгородцамъ. Хотя г. Безсоновъ поясняетъ это названіе такъ: „*печерскія*, что живутъ въ норахъ“, но нѣтъ сомнѣнія, что лисицы названы печерскими по области, въ которой онѣ были особенно обильны. Извѣстно, что принадлежавшая Новгороду Печера (Печора), лежавшая за Югрой къ западу, „заключала, какъ и въ настоящее время, въ своихъ пространствахъ множество дорогихъ пушныхъ звѣрей, а именно: горностаевъ, песцовъ, лисицъ, а изъ пернатыхъ—соколовъ, которые очень дорого цѣнились въ старое время“ [1]). Такимъ образомъ добыча Чуриловой дружины состоитъ именно изъ тѣхъ звѣрей, которыми обиловали новгородскія владѣнія и которые доставляли промышленникамъ—новгородскимъ боярамъ, купцамъ — огромныя богатства. Кладовыя Чурилы ломятся отъ множества драгоцѣнныхъ мѣховъ и дорогихъ матерій, пріобрѣтавшихся новгородцами съ запада въ обмѣнъ на пушной товаръ. Въ нѣкоторыхъ пересказахъ упоминается, что Чурилова дружина выловила рыбу *сорогу*. Отмѣтимъ, что это названіе рыбы, похожей на плотву, извѣстно только на сѣверѣ, такъ какъ *сорога* водится въ сѣверныхъ рѣкахъ. Названіе *сороги* было заимствовано сѣвернымъ населеніямъ у финновъ. Плотва называется по фински сäрки, по эстонски сäры, по эрзя-мордовски сäргэ, мокша-мордовски сäрга, остяцки сарах (см. Веске, Славяно-финск. культур. отношенія 1890, стр. 20).

---

[1]) *Никитскій*—Очерки экономической жизни Вел. Новгорода, стр. 6.

О сѣверной природѣ мѣстности сложенія былины, хотя слагатель перенесъ Чурилу въ южный Кіевъ, свидѣтельствуетъ далѣе обычное начало былины о Чурилѣ и Катеринѣ:

„На канунѣ праздника было Христова дня,
Канунъ де честнаго Благовѣщенія,
Выпадала порошица—снѣгъ молодой.
По той де порохѣ, по бѣлому снѣжку
Не бѣлый горносталь слѣды прометывалъ,
Ходилъ да гулялъ купавъ молодецъ
На имя Чурило сынъ Пленковичъ...“ [1])

Когда князья-бояре, идучи къ заутренѣ, увидѣли на снѣгу свѣжій слѣдъ, они дивуются и говорятъ:

„Либо зайка скакалъ, либо бѣлъ *горностай*“ [2]),

какъ будто въ Кіевѣ и его окрестностяхъ водились горностаи. Трудно предположить, что слагатель единственной нашей былины, въ которой дѣйствіе совершается среди зимняго пейзажа, въ которой герой пріѣзжаетъ къ своей любовницѣ въ санкахъ, въ зимнемъ костюмѣ, шубѣ, пушистой и завѣсистой шапкѣ—былъ южанинъ. Нужно думать, что сѣверный слагатель, говоря о Кіевѣ, имѣлъ передъ глазами картины родной сѣверной природы. Южанинъ едва-ли представилъ бы санный путь въ Кіевѣ наканунѣ Благовѣщенія (слѣдоват. 24 марта). [3]) Впрочемъ, въ значительномъ большинствѣ пересказовъ былины о смерти Чурилы (въ 14 изъ 18) городъ, въ которомъ совершаются его похожденія, вовсе не названъ (Рыбн. I № 46, II 23, 24; III 25, 26, 27; Гильферд. №№ 8, 67, 189, 224, 268. Сборн. Тихонр. и Миллера №№ 45, 46, 47, 48).

Возвращаемся къ Чуриловой дружинѣ. Его молодцы разодѣты пышно и богато: на нихъ однорядочки голубъ-скурлатъ, кафтанцы камчатные, колпачки золотоверхіе, сапожки зеленъ-сафьянъ, и

---

[1]) Рыбниковъ, III № 27 II 23, 25 срав. Гильфердингъ, №№ 224, 268, 309.
[2]) Кирѣевскій, IV стр. 85 (Кирша Даниловъ).
[3]) Извѣстно, что Днѣпръ вскрывается около Кіева 16 Марта.

ѣздятъ они на коняхъ или жеребцахъ *латынскихъ* [1]). Эти латынскіе жеребцы относятъ насъ къ новгородскимъ бытовымъ условіямъ. По свойству климата и почвы коневодство не процвѣтало въ новгородскихъ областяхъ. Порода лошадей была мелка и плоха. „Хорошія породы пріобрѣтались новгородцами изъ-за границы и составляли, по словамъ проф. Никитскаго, нерѣдко предметы обычныхъ въ то время пиршественныхъ даровъ“ [2]). Новгородцы крайне нуждались въ хорошихъ коняхъ и съ трудомъ пріобрѣтали ихъ отъ нѣмцевъ, которые однако смотрѣли на эту торговлю крайне неодобрительно. Въ Остзейскомъ краѣ они дозволяли продавать русскимъ только такихъ лошадей, которыя стоили не больше двухъ марокъ. Вывозъ-же лошадей, стоившихъ 3, 4 или 5 марокъ, положительно воспрещался и преслѣдовался [3]). Понятно, что *латынскіе*, т.-е. западные кони подъ молодцами Чурилы составляли величайшую роскошь, которую могъ себѣ дозволить только „идеальный“ богачъ. Въ этой чертѣ опять сказывается слагатель сѣверянинъ. Слагатель южанинъ не могъ-бы не знать безчисленныхъ степныхъ табуновъ, снабжавшихъ южно-русскія дружины конями въ изобиліи. Знакомство съ нѣмецкими рыцарями—естественное среди новгородцевъ, видно въ одной былинѣ о смерти Чурилы [4]), въ которой конь Чурилы называется *рыцарскимъ*, что тождественно съ латинскимъ. Въ описаніи костюма Чурилы, кажется, можно отмѣтить черты новгородскаго щегольства, на которое не оставались безъ вліянія западно-европейскія, нѣмецкія моды. Хотя сапожки его—зеленъ сафьянъ, изъ дорога сафьяна турецкаго, но не восточнаго покроя, а „баскаго покрою нѣмецкаго“ [5]). Въ одной былинѣ, записанной Е. В. Барсовымъ [6]), Чуриловы сапожки, при баскомъ нѣмецкомъ покроѣ, „щегольскаго шитья *новгородскаго*“ [7]).

Любопытны и подробности костюма Чурилова отца, стараго Пленка:

---

[1]) Латынскіе кони см. Кирѣевскій IV 79; сравн. Гильфердингъ, №№ 223, 229, 251.
[2]) Назван. сочин. стр. 74.
[3]) Тамъ-же стр. 156.
[4]) Гильферд. № 110.
[5]) Гильфердингъ, столбцы 1099, 919, 1312.
[6]) См. Чтенія въ И. Общ. Исторіи и Древ. Росс. 1877 кн. 3.
[7]) Варіантъ у Гильферд. столб. 1163 *новоторское* т.-е. *новоторжское* шитье указываетъ также на городъ, принадлежавшій новгородцамъ.

Изъ того-ли изъ Чурилова широкаго двора
Выходилъ тутъ старый матерый человѣкъ,
Шуба-та на старомъ соболиная,
Подъ дорогимъ подъ зеленымъ подъ *знаметомъ*,
Пуговки все вольячные,
Литъ-то вольякъ красна золота
По тому-ли по яблоку по *любскому*.
Петельки изъ семи шелковъ,
Шляпа-та на старомъ съ полимажами [1]).

Иногда матерія, покрывающая шубу Пленка, называется *стàметомъ* [2]), или *самитомъ* [3]). Нетрудно догадаться, что названіе *самитъ* или *знаметъ* нѣмецкаго происхожденія: это нѣмецк. sammet, старинное нѣмец. samit (въ 1349 г.), sameit—*бархатъ*. Новгородская форма *самитъ* всего ближе именно къ старинной нѣмецкой samit и, конечно, вмѣстѣ съ самой матеріей перешла изъ Германіи къ новгородцамъ. Въ описаніи художественно сдѣланныхъ пуговицъ *самитовой* шубы встрѣчается и другое выраженіе, свидѣтельствующее о сношеніяхъ новгородцевъ съ западомъ. Пуговицы состоятъ изъ золотого шара (яблока), покрытаго литымъ орнаментомъ (вальякомъ). Это яблоко названо *любскимъ* т.-е. любекскимъ. Вспомнимъ, какое значеніе имѣлъ этотъ нѣмецкій городъ во внѣшней новгородской торговлѣ, отразившееся, между прочимъ, въ томъ, что новгородцы въ 1410 г. заимствовали монету отъ нѣмцевъ и на мѣсто старой кунной системы допустили нѣмецкія деньги—артиги, любки, *любскіе* пфенниги [4]). Западнаго происхожденія и Пленкова шляпа съ *полимажами* т.-е. съ плюмажемъ (plumage), украшенная перьями. Но, конечно, это слово зашло въ былину въ болѣе позднее время.

Въ одной былинѣ о молодости Чурилы [5]) любское яблоко замѣнено *свирскимъ*. Не умѣя объяснить эту замѣну съ бытовой стороны, отмѣчу только, что прилагат. *свирскій* опять указываетъ на

[1]) Гильфердингъ, столб. 1101.
[2]) Гильферд., столб. 1062.
[3]) Такова шуба на Чурилѣ. Рыбник. III стр. 124 и I стр. 264 (гдѣ самитъ называется *заморскимъ*).
[4]) Въ словарѣ Даля значится: *любковыи* яблоки—лучшія, отборныя. Но прилагательное *любскій* по суф.-*скій* можетъ значить только любекскій, любечьскій, любецкій, любскій.
[5]) Гильферд. № 223, столб. 1063.

новгородскій культурный районъ, такъ какъ Свирь впадаетъ въ Ладожское озеро.

Выше мы сказали, что, быть можетъ, для объясненія происхожденія Чурилова богатства, былина называетъ стараго Пленка „гостемъ сароженинымъ“ [1]). Нужно, впрочемъ, замѣтить, что *гостемъ* сароженинымъ является Пленко только въ одномъ варіантѣ, записанномъ отъ паромскаго старика Рыбниковымъ и Гильфердингомъ. Во всѣхъ прочихъ общественное положеніе отца Чурилова неопредѣлено: онъ называется либо просто Сароже(а)нинымъ [2]), либо сыномъ Сарожаниномъ [3]), такъ что, можно думать, *гостемъ* онъ сдѣланъ однимъ только сказителемъ. Придавая значеніе этому одному варіанту и толкуя Сарожанина въ смыслѣ Сурожанина, акад. Веселовскій склоненъ видѣть въ Пленкѣ фряжскаго купца изъ Сурожа. Такое толкованіе едва-ли можетъ быть поддержано текстомъ былинъ, не говоря уже о неудачномъ объясненіи собственнаго имени Пленка изъ Франка, неправдоподобномъ фонетически. Пленко названъ Сарожаниномъ по рѣкѣ Сарогѣ, на которой стоитъ дворъ Чурилы [4]) и гдѣ онъ съ своей дружиной закидываетъ шелковые неводы [5]). Наши былины, повидимому, различаютъ Сарожанина отъ Сурожанина, какъ называется въ одномъ варіантѣ молодецъ Суровецъ. Въ былинѣ Кирши Данилова рѣка, на которой дружина Чурилы напала на княжескихъ людей, названа Черегою [6]). Въ нѣкоторыхъ былинахъ (именно двухъ), хотя столкновеніе дружины Чуриловой съ княжими людьми происходитъ на Сорожѣ, дворъ Чурилы помѣщенъ на Почай-рѣкѣ у святыхъ мощей у Борисовыхъ [7]). Трудно пріурочить эпическую рѣку Сорогу или Черегу къ какой нибудь опредѣленной рѣкѣ. Одна Сорога извѣстна въ верховьяхъ Волги. Небольшую рѣку Сорогу въ Олонецкой губерніи упоминаетъ академикъ Озерецковскій въ описаніи своего путешествія въ Олонецкій край въ 1785 г. (стр. 347). Въ писцовыхъ книгахъ 1582 г. упоминается рѣка Сорогожа въ Бѣжецкой пятинѣ Новгородской въ Весьегонскомъ уѣздѣ. На рѣкѣ

---

[1]) Гильф. № 223 столб. 1062; Рыбн. III № 24.
[2]) Кирѣев., IV стр. 82 (=К. Данилов) Рыбн., I № 45 стр. 263; III № 24.
[3]) Гильф. № 229 столб. 1101.
[4]) Рыбниковъ, I, № 45.
[5]) Гильф. №№ 223, 229, 251.
[6]) Кирѣевскій, IV стр. 78, 80.
[7]) Гильф. № 223, Рыбн., III № 24.

Черегѣ произошла битва между Мстиславомъ Изяславичемъ новгородскимъ и Всеславомъ полоцкимъ. Черегу напоминаетъ рѣка Черева, лѣсной притокъ Водлы, протекающая въ древнихъ новгородскихъ владѣніяхъ въ нынѣшней Олонецкой губерніи. Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ думать, что въ древнѣйшемъ изводѣ былины, какъ и доселѣ въ большинствѣ пересказовъ, дворъ Чурилы былъ на рѣкѣ Сарогѣ, почему и отецъ его называется Сарожаниномъ, а не на Пучаѣ (Почайнѣ). Послѣднее названіе вмѣстѣ съ мощами Борисовыми вошло въ былину позднѣе, вслѣдствіе прикрѣпленія мѣстодѣйствія къ окрестностямъ Кіева и къ князю Владиміру. Насколько прикрѣпленіе наивно, видно изъ незатушеванной сказителями несообразности, состоящей въ томъ, что дворъ Чурилы помѣщенъ на Почаѣ недалеко отъ Кіева (правильнѣе было бы сказать въ самомъ Кіевѣ, если Почай рѣка=Почайнѣ), а между тѣмъ кн. Владиміръ ничего не знаетъ о такомъ близкомъ сосѣдѣ и, выслушивая жалобы на Чурилу, говоритъ:

„Глупые вы князи и бояра,
Неразумные гости торговые!
Не знаю я Чуриловой поселицы,
Не знаю я Чурило гдѣ дворомъ стоитъ“ [1]).

Такія несообразности обыкновенно проникаютъ въ былины при прикрѣпленіи какого нибудь сюжета къ кіевскому циклу. Если рѣка Сорога была, что̀ весьма вѣроятно, въ основномъ изводѣ, то для объясненія названія Пленка Сарожаниномъ нѣтъ никакой нужды припоминать Сурожъ и сурожскихъ гостей.

Если изъ былины о Чурилѣ нельзя вывести, что отецъ его въ основномъ изводѣ представлялся гостемъ торговымъ, то все же нельзя не отмѣтить присутствія купецкаго элемента, которое, быть можетъ, также говоритъ за новгородское происхожденіе былины. Въ большинствѣ варіантовъ Владиміръ отправляется въ усадьбу Чурилы не только съ князьями боярами, но и „со купцами со гостями со торговыми“ [2]), которые также заинтересованы Чурилой, потому что потерпѣли отъ его дружины убытки и просили у князя на него „правой судъ“ [3]). Любопытную особенность былины о

[1]) Рыбн., III № 24 стр. 121. Срав. Гильф. № 229 столб. 1100.
[2]) См. Рыбников., III, № 24 стр. 122; Гильферд. №№ 223 столб. 1062; № 251 столб. 1162.
[3]) Гильферд., столб. 1100.

пріѣздѣ Чурилы въ Кіевъ составляетъ далѣе присутствіе въ ней одного мотива, указаннаго акад. А. Н. Веселовскимъ въ раввинскихъ апокрифахъ. Заглядѣвшись на красоту Чурилы, княгиня Апраксія, разрѣзая за столомъ лебедь, порѣзала себѣ руку и въ свое извиненіе говоритъ:

— Да не дивуйте ко вы жены господскіе,
Да что обрѣзала я руку бѣлу правую:
Да помѣшался у меня разумъ во буйной головѣ,
Да помутилисе у м'ня-де очи ясные,
Да смотричись-де на крàсоту Чурилову,
Да на егó-то нà кудри на желтые,
Да на егó-де нà перстни злаченые...[1]).

То, что здѣсь разсказывается объ Опраксѣ, сообщается въ Коранѣ о египетскихъ женахъ и прекрасномъ Іосифѣ: „онъ отвергъ любовь жены Пентефрія; ея навѣты на него оказались ложными, а горожанки смѣются надъ нею. Когда узнала она про это, послала ихъ просить къ себѣ къ обѣду; возлѣ каждой положила по ножу, а Іосифу сказала: „Пойди и покажись имъ“. Когда увидѣли онѣ его, то восхитились его красотою: „Это—не смертное существо, а достойный почитанія ангелъ“,—сказали онѣ, и—порѣзали себѣ руки... Въ еврейскомъ Sepher Hajjaschar прямо сказано, что женамъ предложены были апельсины, вмѣсто которыхъ онѣ и изрѣзали себѣ пальцы...[2]). Если мы припомнимъ развитіе ереси жидовствующихъ въ Новѣ-городѣ, новгородское происхожденіе рукописей распространенной редакціи Палеи, отличающейся особой полнотой библейскихъ апокрифическихъ разсказовъ, переводъ Псалтыри и части книги Есфирь съ еврейскаго, сдѣланный въ Новгородѣ новокрещенымъ евреемъ Ѳеодоромъ, и т. п., то вторженіе талмудическаго апокрифическаго мотива въ былину, быть можетъ, найдетъ себѣ объясненіе. Отмѣтимъ, что другой іудейскій апокрифъ—о Давидѣ и Вирсавіи—нашелъ себѣ мѣсто въ былинѣ о Добрынѣ, на которой также замѣтны слѣды новгородской обработки.

Что касается времени основного извода былинъ о Чурилѣ, на

---

[1]) Гильферд. № 223=Рыбн. III № 24. Срав. Кирѣев., IV № 2, стр. 86—87 и Рыбн., I № 45, стр. 266 прим.
[2]) Южно-русскія былины, III—XI, стр. 98.

сколько онъ сохранился въ дошедшихъ до насъ пересказахъ, то, если мы устранимъ упоминаніе Кіева и Владиміра, мы не найдемъ въ содержаніи ни одной черты кіевскаго періода нашей исторіи. О позднемъ времени сложенія былины (XV в.) свидѣтельствуютъ многія и существенныя ея черты. Типъ Чурилы—богача-красавца, опаснаго для мужей, не исключая и князя Владиміра, продуктъ культуры богатаго города, въ которомъ развитіе промышленности и торговли отразилось на нравахъ его обитателей—въ пышности бытовой обстановки, разнузданности и насильничаніи молодыхъ людей и распущенности женщинъ. Припомнимъ, съ какими подробностями былина описываетъ роскошную усадьбу стараго Пленка съ его булатнымъ тыномъ, семидесятью теремами, стекольчатыми, рѣшетчатыми воротами, муравленными печами, серебряными полами и проч. Не менѣе роскошна обстановка „*каменныхъ* палатъ“ стараго Пермяты и особенно много вниманія обращено на описаніе костюма чуриловскихъ молодцовъ и его самого. Это внѣшнее изящество жизни прикрываетъ глубокую нравственную распущенность. Князь изъ-за полученныхъ дорогихъ подарковъ отказываетъ выслушивать челобитья на Чурилу, княгиня готова броситься ему на шею и уговариваетъ мужа опредѣлить Чурилу къ ней въ постельники; Катерина Никулична, въ то время какъ благочестивый мужъ стоитъ у заутрени въ праздникъ Благовѣщенья, зазываетъ къ себѣ изъ окна городского Донъ-Жуана, распутничаетъ съ нимъ и изъ-за жадности, изъ нежеланія дать подарокъ дѣвушкѣ чернавушкѣ за ея молчаніе, погибаетъ, несмотря на всю свою находчивость и лживость. Чурило „сухоногое“ (какъ его презрительно называютъ мужчины) не обладаетъ ни малѣйшей отвагой: хотя онъ насильничаетъ съ дружиной надъ княжими ловцами или надъ посадскими и огородниками,—тамъ, гдѣ численный перевѣсъ на его сторонѣ, и гдѣ онъ можетъ разсчитывать на безнаказанность, онъ при приближеніи обманутаго мужа трусливо залѣзаетъ въ кованы ларцы и позволяетъ снести себѣ голову безъ всякой попытки къ сопротивленію.

Для хронологической, конечно, приблизительной даты былины о пріѣздѣ Чурилы въ Кіевъ, могла бы, пожалуй послужить одна подробность, занесенная въ пересказъ двухъ хорошихъ сказителей, Паромскаго старика и Воинова. Когда Владиміръ въ палатахъ Пленка увидѣлъ изъ окна дружину Чурилову, онъ говоритъ:

Охти мнѣ, уже куда-де буде мнѣ!
Али же тутъ ѣдетъ уже царь съ ордой,
Али тута ѣдетъ король съ Литвой?.. [1]).

Это опасеніе князя можетъ относиться къ тому времени, когда главными, наиболѣе опасными врагами Руси былъ татарскій ханъ (царь) и литовскій король, что относитъ насъ къ XV вѣку, къ періоду, предшествовавшему покоренію Новгорода и его разгрому Москвой (1478) и сверженію татарскаго ига (1480). Послѣдній періодъ политической независимости Новгорода, ознаменованный постоянными смутами, раздорами вѣчевыхъ партій, утратой прежнихъ гражданскихъ доблестей, развитіемъ роскоши среди богатаго боярства и купечества, представлялъ удобную почву для насильничанія богатыхъ боярскихъ сынковъ. Даже скудная словами новгородская лѣтопись вноситъ въ свой сухой дѣловой разсказъ горькую жалобу на паденіе нравственныхъ началъ въ родномъ городѣ: „Поднялись ябедники, стали давать ложную присягу; начались грабежи по селамъ, волостямъ и городу (подъ 1446 г.), и обратились мы въ поруганіе сосѣдямъ нашимъ; по волостямъ нашимъ происходили частые поборы и великіе наѣзды; вездѣ слышались крикъ и рыданія, вопль, проклятіе на нашихъ старѣйшинъ и нашъ градъ, за то, что не было у насъ милости и суда праваго“ [2]).

Дѣйствительно, сильно притуплено должно было быть понятіе о правѣ и законности у того слагателя былины, который, описавъ неистовство чуриловой дружины, съ большимъ интересомъ останавливается на изображеніи пышности, красоты и богатства своего героя, отмѣчаетъ его „догадливость“, когда онъ пошелъ въ погреба за подарками для князя, и находитъ совершенно естественнымъ и заурядnымъ, что князь, получивъ дары, не даетъ на Чурилу суда, а напротивъ заявляетъ, что ему подобаетъ жить при княжескомъ дворѣ въ Кіевѣ.—Быть можетъ, я ошибаюсь, но, на мой взглядъ, въ обѣихъ былинахъ о Чурилѣ отражаются легкія понятія о нравственности какихъ нибудь скомороховъ, которые любили обрабатывать пикантные сюжеты, не стѣсняясь нравствен-

---

[1]) Рыбниковъ, III 24 стр. 124, срав. Гильферд. № 229, столб. 1102 (Воинова).

[2]) См. Иловайскій—Ист. Россіи, т. II, стр. 329.

ными требованіями, лишь бы позабавить публику. Любовная исторія Чурилы напоминаетъ другую, уже несомнѣнно скоморошью былину, при томъ *новгородскаго* происхожденія, о гостѣ Терентьищѣ, въ которой также обманутый мужъ проучиваетъ распутную жену, хотя не такъ жестоко, какъ благочестивый Пермята.

Въ пользу новгородскаго происхожденія былинъ о Чурилѣ, помимо вышеприведенныхъ соображеній, которыхъ доказательность я вовсе не желаю преувеличить, нельзя не отмѣтить и того факта, что Чурило извѣстенъ только въ Олонецкой губерніи и Сибири (былина К. Данилова и Гуляева).

Изъ 31 былины только одинъ небольшой отрывокъ [1]) (въ 30 стиховъ) былъ случайно записанъ въ Нижегородской губерніи. Можно думать поэтому, что кромѣ Сибири, куда населеніе шло изъ сѣверной Россіи, былины о Чурилѣ не вышли далеко за предѣлы прежнихъ земель новгородскихъ, за область культурнаго вліянія Великаго Новгорода.

Всеволодъ Миллеръ.

---

[1]) См. Кирѣев., IV стр. 86.

Изъ исторіи французской публицистики.

Прѣво-Парадоль.

I.

Рѣдкая эпоха произвела такъ мало въ области политической мысли, какъ восемнадцатилѣтіе второй имперіи. И на этотъ разъ оправдалась справедливость того положенія которое въ свое время Монтескье выразилъ въ оригинальной формѣ въ извѣстномъ эпиграфѣ къ Духу Законовъ, объявляя свое созданіе не имѣющимъ матери, т.-е. рожденнымъ въ тѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, какія представляетъ отсутствіе политической жизни въ націи. На его твореніяхъ, ка къ и на произведеніяхъ французскихъ публицистовъ третьей четверти текущаго столѣтія, отсутствіе жизненнаго опыта сказалось въ пристрастіи къ отвлеченностямъ и въ злоупотребленіи эзоповскимъ слогомъ. Манера „Персидскихъ Писемъ“ ожила снова въ богатыхъ юморомъ памфлетахъ Лабулэ. „Парижъ въ Америкѣ“ и „Prince caniche“ въ формѣ остроумной сказки раскрыли глаза французамъ на неудобства централизаціи и ежечасной правительственной опеки, и параллель американскихъ порядковъ, въ которыхъ частное лицо, община, приходъ, штатъ, отвоевали у центральнаго правительства большую часть его функцій, необходимо наводила на мысль о желательности порядковъ, во всемъ отличныхъ отъ „наполеоновскихъ принциповъ“.

Рядомъ съ этою чертою, политическая литература шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ представляла еще ту, вполнѣ понятную, особенность, что она искала своихъ сюжетовъ или въ прошломъ или въ опытѣ другихъ народовъ, успѣвшихъ сохранить блага свободы, или наконецъ въ отвлеченностяхъ и общихъ разсужденіяхъ, подобныхъ тѣмъ, какими богатъ классическій образецъ всѣхъ французскихъ трактатовъ о законахъ и политикѣ, уже упомянутый нами Esprit des lois. Въ то время, какъ Токвиль въ добровольномъ уединеніи, въ глуши Турени, искалъ забвенія недавно пережитому имъ крушенію всѣхъ надеждъ „на уравновѣшенную свободу“, Ипполитъ Пасси задавался вопросомъ о причинахъ, обусловливающихъ собою смѣну образовъ правленія, Дюпонъ Вайтъ искалъ формулы, выражающей „нормальный характеръ отношеній между индивидомъ и государствомъ“, а Прудонъ, отправляясь отъ принципа экономической взаимности, и распространяя его на сферу отношеній между классами и государствами, строилъ теорію всеобщей анархіи и всеобщаго федерализма.

Среди сторонниковъ-истолкователей англійскихъ и американскихъ порядковъ, и смѣлыхъ новаторовъ, строившихъ цѣликомъ будущій идеалъ общественныхъ отношеній, Прево-Парадоль занимаетъ особое мѣсто, какъ представитель того, что можно назвать либеральной традиціей двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, какъ отголосокъ великихъ ораторовъ и публицистовъ, подобныхъ Ройе Коллару и Бенжамену Констану, наконецъ какъ посредникъ между партіями легитимистовъ, орлеанистовъ и республиканцевъ, готовый примирить ихъ несогласія въ общемъ стремленіи къ политической свободѣ и объединить ихъ разрозненныя усилія въ общей враждѣ къ наполеоновскому режиму. И ему, какъ нѣкогда Бенжамену Констану, безразлично торжество той или другой формы правленія и дорого только обезпеченіе личной свободы и представительнаго устройства. Онъ готовъ протянуть руку и легитимисту Монталамберу и членамъ либеральной оппозиціи, въ надеждѣ вернуть дружными усиліями потерянныя французами вольности. Когда имперія, уступая натиску противниковъ и озабоченная замѣной личной кандидатуры наслѣдственной монархіей, рѣшается на опытъ союза съ либерализмомъ, Прево-Парадоль протягиваетъ ей руку, точь въ точь какъ сорока-пятью годами раньше сдѣлалъ это

Бенжаменъ Констанъ, явившись совѣтникомъ вернувшагося съ Эльбы Наполеона.

Сліяніе представительства съ цезаризмомъ окончилось и на этотъ разъ полнымъ фіаско, но въ случайномъ союзникѣ Эмиля Оливье и руководимаго имъ либеральнаго министерства не оказалось силъ пережить разочарованія и справедливыхъ нападокъ своихъ прежнихъ товарищей по борьбѣ. Тайна досель покрываетъ его кончину, но послѣднія извѣстія, какія онъ самъ даетъ о себѣ, говорятъ о такой глубокой психической депрессіи, при которой самоубійство вполнѣ допустимо.

Такимъ образомъ къ облику талантливаго эпигона французскаго либерализма первой половины столѣтія присоединяется въ Прево-Парадолѣ еще черта глубокаго трагизма. Трудно безъ сердечнаго волненія слѣдить за его продолжительной борьбою съ бѣдностью и лишеніями, добивавшемся не одной литературной извѣстности, но и репутаціи смѣлаго и неподкупнаго антагониста наполеоновскаго деспотизма, — зная что въ концѣ этой карьеры самопожертвованія предвидится внезапный переходъ на сторону противника и полное крушеніе всѣхъ надеждъ, связанныхъ съ этимъ переходомъ. Это не простое отступничество, подобное тому, какое представляетъ, напримѣръ, политическая эволюція Руэра. Это роковая ошибка, вызванная самыми честными намѣреніями, самой неизмѣнной преданностью разъ выработаннымъ идеаламъ. Отъ нея нѣтъ поворота, и человѣку остается сойти со сцены и искать забвенія, пренебрегая ненавистью однихъ и презрѣніемъ всѣхъ. Въ такихъ условіяхъ смерть едвали не является лучшей развязкой.

Но отстаиваніемъ либеральныхъ традицій и тѣмъ нравственнымъ мученичествомъ, какимъ запечатлѣны послѣдніе дни его жизни, Прево-Парадоль еще не призванъ занять особаго мѣста въ ряду политическихъ мыслителей XIX столѣтія. Мы должны признать за нимъ и ту положительную заслугу, что первый въ средѣ публицистовъ 60 годовъ онъ поставилъ себѣ задачу предугадать тѣ судьбы, какія готовитъ Франціи торжество демократіи. Токвиль задавался болѣе широкой мыслью—опредѣлить общій характеръ того общественнаго и политическаго переворота, какимъ ознаменовалась смѣна правящаго меньшинства земельныхъ собственниковъ и капиталистовъ всѣмъ совершеннолѣтнимъ гражданствомъ.

Въ то время, когда впервые созрѣло въ немъ это намѣреніе, демократія не одержала еще во Франціи той рѣшительной побѣды, какой было для нея признаніе въ 1848 году предложеннаго Ледрю-Ролленомъ всеобщаго права голосованія. Въ эпоху реставраціи и іюньской монархіи она казалась только все ближе и ближе наступавшей грозой. Вотъ почему одни, подобно Гизо, считали возможнымъ сражаться съ нею не столько фактическими доводами, сколько логическими выводами и предположеніями, тогда какъ другіе, и во главѣ ихъ Токвиль, переплывали океанъ съ цѣлью найти въ новомъ свѣтѣ недостающій въ старомъ матеріалъ для сужденій. Въ то время, когда Прево-Парадоль приступилъ къ составленію своего трактата о „Новой Франціи“, демократія была не только существующимъ фактомъ, но и оправдала уже повидимому худшія опасенія ея противниковъ. Не опиралась-ли, въ самомъ дѣлѣ, военная диктатура на возстановленіе временно отмѣненнаго республикой вслѣдъ за іюльскими днями всеобщаго права голосованія и не встрѣтилъ-ли новый цезарь въ системѣ такъ называемаго appel au peuple, т. е. прямого голосованія (народа), оплотъ для своей державы? Обстоятельства клонились повидимому къ признанію непримиримости демократіи со свободой.

Сторонники павшихъ династій всячески старались укрѣпить этотъ взглядъ, въ надеждѣ завербовать новыхъ сторонниковъ реставраціи. Прево-Парадоль не послѣдовалъ ихъ примѣру; наоборотъ, онъ какъ нельзя лучше предсказалъ будущее французской демократіи, пророча ея близкій разрывъ съ цезаризмомъ и предсказывая, что въ охранѣ публичныхъ правъ гражданъ и въ оживленіи представительства она найдетъ естественныя условія для своего развитія. Его разсужденія остались не безъ вліянія на ту, къ сожалѣнію запоздалую, попытку увѣнчать зданіе имперіи честнымъ переходомъ къ практикѣ свободныхъ учрежденій, какой ознаменованы послѣдніе мѣсяцы наполеоновскаго режима. Въ его же „Новой Франціи“ можно открыть первыя основы того, далеко еще не укрѣпившагося зданія, какое представляетъ намъ современная французская республика, съ ея рѣзко выступающимъ пристрастіемъ къ формамъ англійскаго парламентаризма, т. е. тѣмъ самымъ, какія старался навязать демократіи Прево-Парадоль.

II.

Coup d'état второго декабря заставъ его ученикомъ Ecole normale и младшимъ товарищемъ Тэна. Надо прочесть переписку обоихъ молодыхъ людей за это время, что-бы составить себѣ вѣрное понятіе о томъ, что значило для поколѣнія пятидесятыхъ годовъ, воспитаннаго въ идеяхъ свободы и пережившаго уже республиканскую горячку 48-го года, то внезапное окоченѣніе, какое овладѣло Франціей съ момента возстановленія имперіи. Въ своей недавней біографіи Октавъ Грearъ [1]) собралъ рядъ писемъ, относящихся къ 49-му и слѣдующимъ годамъ и рисующихъ, какъ нельзя лучше внутреннюю жизнь того тѣснаго товарищескаго кружка, который образовался еще на скамьяхъ школы, и, разметанный вѣтромъ событій, продолжалъ тѣмъ не менѣе то духовное единеніе, какое сообщаетъ людямъ единство симпатій и надеждъ. О чемъ только ни заходитъ рѣчь въ этой юношеской перепискѣ! И о построеніи съизнова цѣлой натурфилософской системы, и объ открытіи законовъ, управляющихъ человѣческими страстями, и объ основаніи на этихъ законахъ новаго порядка общественныхъ отношеній, при которомъ бы человѣкъ могъ найти въ счастьѣ осуществленіе своего назначенія [2]). Въ этихъ послѣднихъ соображеніяхъ сказывается вліяніе Фурье, и не даромъ Тэнъ, уже въ то время ратовавшій противъ соціализма и коммунизма, предупреждалъ своего молодого друга отъ подчиненія этому авторитету [3]). „Я люблю и уважаю этотъ синтетическій умъ", писалъ о Фурье Парадоль; онъ свелъ всѣ выводы естественныхъ наукъ къ одному міровому закону и установилъ простую и великую формулу: сила притяженія пропорціональна призванію каждаго". Письмо, изъ котораго заимствованъ этотъ отрывокъ, любопытно еще тѣмъ, что заключаетъ въ себѣ чистосердечное признаніе, что абстрактныя истины мало притягиваютъ къ себѣ Парадоля, и что онъ скорѣе го-

---

[1]) Prevost-Paradol. Etude suivie d'un choix de lettres, Paris, 1894.
[2]) Письмо Прево-Парадоля къ Тэну отъ 21-го марта 1849 года.
[3]) Письмо отъ 26-го марта 1849 года.

товъ посвятить свою жизнь служенію практически-осуществимому идеалу. Въ этомъ сказывается глубокая черта отличія между нимъ и его старшимъ товарищемъ и учителемъ Тэномъ.

Прево-Парадоль справедливо пишетъ ему: „ты предпочитаешь тихіе берега философіи, которая, не вліяя ни мало на отношенія людей, не имѣетъ и основанія опасаться чего либо съ ихъ стороны". Догадываясь, что въ основѣ тэновской философіи лежитъ пантеизмъ Спинозы, Прево-Парадоль откровенно сознается въ своемъ равнодушіи къ религіознымъ и метафизическимъ вопросамъ. Его привлекаетъ только нравственность и политика. Идея человѣческаго благополучія кажется ему призванной управлять міромъ. И съ этой точки зрѣнія соціалистическія ученія кажутся ему заключающими въ себѣ нѣчто положительное. Въ ученіи Фурье его привлекаетъ только основная посылка о законности человѣческихъ страстей и о силѣ притяженія, одинаково управляющей и природою и человѣческими поступками, но онъ не думаетъ, чтобы Фурье рѣшилъ практическую задачу устройства человѣческой жизни въ полномъ соотвѣтствіи со страстями, и чтобы ему удалось по этой причинѣ найти формулу человѣческаго счастья [1]).

Но въ то время, какъ оба пріятеля, слѣдуя каждый своимъ личнымъ вкусамъ и влеченіямъ, вырабатываютъ въ себѣ одинъ — критическій разумъ, неспособный мириться съ готовыми рѣшеніями католической теологіи, а другой — пристрастіе къ общему благу, къ свободѣ и парламентаризму, во Франціи совершается событіе, которое сразу парализуетъ всѣ надежды молодого поколѣнія на широкую, ничѣмъ не стѣсняемую общественную дѣятельность.

Второго декабря 1852 года президентъ республики, Наполеонъ Бонапартъ, производитъ свой „coup d'état" и, пользуясь поддержкой войска и духовенства, налагаетъ новыя цѣпи на человѣческую мысль и слово. Въ томъ же году Тэнъ принужденъ отказаться отъ мысли занять каѳедру въ Парижѣ [2]) по той только причинѣ, что на конкурсномъ экзаменѣ ему пришлось вызвать недовольство

---

[1]) Письмо отъ 18 апрѣля 1849 года.

[2]) Онъ получилъ мѣсто преподавателя философіи сперва въ Тулонѣ, затѣмъ въ Неверѣ.

оффиціальныхъ представителей „университета“ [1]) умолчаніемъ объ основанной на религіи нравственности и о необходимости общественнаго культа.

Нѣсколько времени спустя, вышедшій изъ Нормальной школы Прево-Парадоль поставленъ въ необходимость отправиться профессоромъ въ Эксъ, гдѣ, несмотря на большой успѣхъ своихъ лекцій и затѣянное имъ обширное изслѣдованіе о французскихъ моралистахъ, онъ только и мечтаетъ о томъ, „какъ бы сосредоточить усилія всѣхъ людей просвѣщенныхъ, безъ различія партій, противъ наполеоновскаго деспотизма.“ Въ 1857 году онъ самъ вступаетъ въ ряды прямыхъ поборниковъ парламентскихъ учрежденій, принимая предложеніе Journal des Débats войти въ составъ его редакціи. Въ письмахъ, собранныхъ Греаромъ, изрѣдка попадаются мѣткія характеристики людей и партій, содѣйствовавшихъ упроченію наполеоновской диктатуры.

Прево-Парадоль то говоритъ о золотой молодежи, объ „этихъ дѣтяхъ биржевыхъ маклеровъ и банкировъ, которые, потерявъ энергію и предпріимчивость отцовъ, разыгрываютъ изъ себя сорящихъ деньгами дворянчиковъ, глупо и жестоко смѣются надъ политикой, не обнаруживая ни ума, ни сердца, а одну только невѣроятную наглость.“ Для Прево-Парадоля это „настоящія дѣти вольно-отпущенниковъ; они забыли про то желѣзное кольцо, которое стягивало выю ихъ родителей, и достойны того, чтобы попасть въ новыя цѣпи. Эта чернь добровольныхъ рабовъ, владѣя лучшими лошадьми и лучшими женщинами, возложила на войско обязанность защиты ея противъ общественныхъ потрясеній.“ [2]) Десятаго декабря, т. е. восемь дней спустя послѣ переворота, Прево-Парадоль въ письмѣ къ Тэну даетъ слѣдующую оцѣнку причинъ, обусловившихъ собою побѣду заговорщиковъ. „Дать массамъ вообще право голосованія, пишетъ онъ, разумѣя проведенную Бонапартомъ незадолго до „coup d'état“ избирательную реформу, значило напередъ склонить голову передъ тѣмъ, кого еще древность, а за нею и всѣ новые народы, одинъ за другимъ, обожали подъ име-

---

[1]) Университетомъ во Франціи называется, какъ извѣстно, совокупность высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній, содержимыхъ правительствомъ.

[2]) Письмо отъ перваго октября 1851 года къ Греару.

немъ добраго тирана. Побѣду доставили въ Парижѣ не пушки и не 150.000 войска, а бездѣйствіе народа, сочувственное равнодушіе рабочихъ и ожидаемая напередъ поддержка селъ. Просвѣщенная часть націи утомила массы безплодными преніями и непонятной для нихъ агитаціей; массы готовы грубо зажать ей уста, надѣляя невѣроятнымъ могуществомъ человѣка, дотолѣ прожигавшаго жизнь, и съ нимъ двухъ, трехъ банкротовъ. Мы побѣждены, не знавшіе грамоты раздавили грамотныхъ, нуждающіеся въ однихъ тѣлесныхъ благахъ побѣдили тѣхъ, кому нужны и блага духовныя. Илоты овладѣли Спартой." Прево-Парадоль не вѣритъ въ прочность вновь созданнаго режима. Что въ томъ, если Людовикъ Бонапартъ и считаетъ себя человѣкомъ, призваннымъ свыше, если онъ почти мистически относится къ выпавшей ему въ удѣлъ роли? Вѣдь что онъ на самомъ дѣлѣ, какъ не опирающійся на шпагу соціалистъ-консерваторъ, которому также трудно будетъ рѣшить задачу примиренія труда съ капиталомъ, какъ несравненно болѣе просвѣщеннымъ вожакамъ родины? Не освободить ему также земледѣлія отъ податей, не обременивъ ими одновременно торговли, не поднять ему благосостоянія бѣдныхъ, не вызвавъ опасеній и отчаянія въ богатыхъ. Какъ въ самомъ дѣлѣ быть одновременно Тьеромъ и Прудономъ? Рано или поздно придется сдѣлать выборъ, но этотъ день и будетъ днемъ его гибели. Онъ падетъ среди насмѣшекъ и ненависти. Кто теперь прощаетъ его и готовъ даже славословить, современемъ будетъ преувеличивать совершенныя имъ преступленія. Небывалое еще въ исторіи самомнѣніе получитъ тогда свою справедливую кару. [1])

Но, чтобы ускорить дѣло человѣческаго правосудія и вернуть Францію къ ея прерваннымъ судьбамъ, Прево-Парадоль считаетъ нужнымъ соединить усилія недовольныхъ въ одномъ стремленіи.

Въ письмѣ къ Сальванди, члену Парижской академіи, 6-го сентября 1854 года, онъ слѣдующимъ образомъ описываетъ пережитую имъ со второго декабря политическую горячку. „Когда произведенный Наполеономъ переворотъ унесъ съ республикой и парламентскій образъ правленія, я подчинился свойственному молодости стремленію замѣнить павшую иллюзію новымъ идеаломъ.

[1]) Письмо къ Тэну отъ 19 декабря 1851 года.

Иллюзіей была вѣра во всеобщее право голосованія, идеаломъ— стремленіе вернуться къ парламентаризму. Угнетеніе, какому съ этого дня подвергнуты были одновременно республиканцы и приверженцы конституціонной монархіи, разочарованіе сторонниковъ народовластія, единомысліе всей интеллигенціи (classe éclairée) на счетъ необходимости извѣстныхъ гарантій, все это пророчило успѣхъ конституціоналистовъ и обѣщало возстановленіе ими погибшихъ вольностей. Я постарался поэтому сообщить многимъ друзьямъ раздѣляемую мною увѣренность, что существующій порядокъ можетъ быть ниспровергнутъ только путемъ образованія большой либеральной партіи, добивающейся парламентскаго образа правленія и конституціонныхъ гарантій. Величіе цѣли допускало возможность поступиться нѣкоторыми различіями во мнѣніяхъ. Дѣло шло о томъ, чтобы вернуть управленіе страною въ руки интеллигенціи; и передъ этой задачей отступали на второй планъ заботы о возстановленіи республики или конституціонной монархіи“ [1]).

Публицистическая дѣятельность Прево-Парадоля вполнѣ отвѣчаетъ только что изложенной программѣ. Говоритъ-ли онъ о свободѣ культовъ или о законахъ печати, о конституціяхъ, пережитыхъ Франціей съ 1789 года, объ отношеніи равенства и свободы, о значеніи французской революціи или о судьбахъ іюльской монархіи, о централизаціи или самоуправленіи, онъ постоянно возвращается къ одной и той же мысли о самодѣятельности общества и необходимости дать ей выраженіе въ представительствѣ и въ системѣ мѣстныхъ учрежденій.

Онъ выступаетъ въ тоже время защитникомъ правъ личности противъ государственной опеки и не хочетъ мириться съ тѣми ограниченіями, какимъ стараются подвергнуть свободу, допуская, напримѣръ, право культа и отнимая право проповѣди, или право воспитанія дѣтей въ тѣхъ или другихъ религіозныхъ вѣрованіяхъ [2]). Тѣмъ, кто, перифразируя слова Наполеона I-го, видитъ пріобрѣ-

---

[1]) Грeаръ, стр. 231 и 232.

[2]) De la liberté des cultes en France. Смотри Essais de politique et de littérature 1859,—перепечатка статей, напечатанныхъ Прево-Парадолемъ въ 1857 и 1858 году въ Journal des Débats и въ Revue des deux mondes, стр. 125 и 136.

теніе революціи въ одномъ обезпеченіи кодексомъ гражданскаго равенства, Прево-Парадоль отвѣчаетъ, что само это равенство немыслимо безъ свободы. Равенство, разсуждаетъ онъ, — продуктъ побѣды надъ природой; оно не можетъ удержаться въ обществѣ иначе, какъ подъ условіемъ непрестаннаго напряженія личной энергіи, такъ какъ только при такомъ напряженіи возможно предупредить узурпацію. Но личная энергія пропадаетъ въ рабствѣ, и тогда силы природы снова берутъ верхъ и возстановляютъ неравенство.

Говоря по поводу сочиненія Ланфре о французской революціи, Прево-Парадоль останавливается на развитіи дорогого ему ученія, что форма правленія, вопросъ о республикѣ или монархіи менѣе важны, чѣмъ вопросъ объ участіи общества въ законодательствѣ и о гарантіяхъ личности правильной организаціей правосудія. Если, говоритъ онъ, разумѣть подъ республикой такой образъ правленія, который, обезпечивая свободу всѣмъ и каждому, позволялъ бы партіямъ чередоваться у вершины правленія безъ всякой опасности для внутренняго мира и величія страны, то Англія подойдетъ подъ это опредѣленіе лучше любого изъ тѣхъ республиканскихъ правительствъ, которыя пережиты были Франціей. [1])

Желая по возможности оттѣнить ту мысль, что все имъ написанное направлено къ выясненію природы и преимуществъ парламентскаго образа правленія, Прево-Парадоль предпосылаетъ своему сборнику особое разсужденіе объ этомъ предметѣ. Мы остановимся подробнѣе на анализѣ этого вступленія, такъ какъ въ немъ съ большой наглядностью выступаетъ политическій идеалъ автора.

Прево-Парадоль сводитъ всѣ виды государственнаго устройства къ двумъ рѣзко отличнымъ другъ отъ друга. Онъ различаетъ абсолютную власть, которая мыслима и при существованіи лишенныхъ иниціативы совѣщательныхъ учрежденій, и образъ правленія парламентскій, подъ которымъ имѣется въ виду самоуправленіе общества въ лицѣ его представителей. Вѣрнымъ признакомъ, что завѣдываніе дѣлами страны находится въ рукахъ не обществен-

---

[1]) Sur l'égalité. Ibid. стр. 333.—Sur la révolution française, стр. 220.

ныхъ органовъ, составляетъ отсутствіе министерской отвѣтственности и невозможность для палатъ добиться смѣны кабинета. Прево-Парадоль возстаетъ противъ распространеннаго во Франціи предразсудка, будто парламентскіе вожди, вліяніе которыхъ опирается на общественное мнѣніе, неизбѣжно располагаютъ меньшей властью, нежели министры, обязанные своимъ назначеніемъ выбору правителя. Примѣръ Англіи доказываетъ обратное; ссылкой на всѣмъ извѣстные факты автору не трудно доказать, что поддерживаемый большинствомъ кабинетъ пользуется наибольшимъ авторитетомъ, какой только мыслимъ въ современныхъ обществахъ.

Онъ указываетъ также на то преимущество парламентскаго образа правленія, что при немъ завѣдываніе интересами страны переходитъ безъ потрясеній изъ рукъ одного министерства въ руки другого, сообразно измѣненіямъ общественнаго мнѣнія и перемѣщенію нравственнаго авторитета изъ рукъ одной партіи въ руки другой. Нельзя также говорить онъ, представить себѣ лучшаго контроля за дѣятельностью правительства, какъ тотъ, какой представляетъ всегда готовая занять его мѣсто оппозиція. Тѣ, кто желалъ-бы сохранить за нею только право критики, добровольно теряютъ изъ виду вліяніе человѣческихъ страстей и невозможность встрѣтить честолюбіе свободное отъ личныхъ видовъ. Отнимите у оппозиціи увѣренность въ томъ, что обнаруженныя ею ошибки и злоупотребленія поведутъ къ перенесенію власти въ ея руки, и ея контроль неизбѣжно сдѣлается менѣе бдительнымъ. Съ другой стороны нація не могла бы понять причины, по которой лучшіе ея совѣтники не могли-бы сдѣлаться ея высшими слугами, и почему преимущество таланта и способностей необходимо должно оставаться всегда на сторонѣ оппозиціи. Противъ опасности случайныхъ коалицій, искусственно перемѣщающихъ большинство въ парламентѣ, всегда имѣется надежное средство въ распущеніи палатъ главой государства и производствѣ новыхъ выборовъ. Въ глазахъ Прево-Парадоля роль посредника между партіями и блюстителя дѣйствительнаго соотвѣтствія между политикой кабинета и господствующимъ мнѣніемъ страны выпадаетъ всецѣло на долю монарха. Право распущенія парламента и право новаго созыва избирательныхъ комиссій составляетъ его важнѣйшую прерогативу. Прево-Парадоль готовъ признать это право, являющееся въ тоже время и обязан-

ностью, даже единственнымъ правомъ конституціоннаго государя. Вотъ къ чему сводится въ его глазахъ, отмѣченный еще Бенжаменомъ Констаномъ pouvoir royal, эта четвертая власть, призванная занять самостоятельное мѣсто наряду съ законодательствомъ, судомъ и исполненіемъ.

Сторонникъ парламентскаго режима, Прево-Парадоль считается съ тѣми возраженіями, какія дѣлаютъ противъ него лица, не прямо враждебныя, а только сомнѣвающіяся въ возможности примѣненія его къ Франціи. Говорятъ, и совершенно справедливо, что старое дворянство пало вмѣстѣ съ революціей и всякія попытки оживленія его необходимо будутъ неудачны въ виду овладѣвшаго націей стремленія къ равенству. Но гдѣ нѣтъ аристократіи, нѣтъ и необходимыхъ условій для созданія того посредствующаго звена между королемъ и народной палатой, которое со временъ Монтескье привыкли считать необходимымъ тормазомъ для обоихъ. Соглашаясь съ тѣмъ, что есть справедливаго въ теоріи политическихъ противовѣсовъ, Прево-Парадоль справедливо замѣчаетъ, что помимо дворянства могутъ быть найдены элементы для образованія аристократіи и что верхняя палата можетъ имѣть составъ, отличный отъ періи. Существующій во Франціи сенатъ и открывшаяся въ самой Англіи агитація въ пользу замѣны палаты лордовъ собраніемъ, составленнымъ изъ высшихъ представителей знанія, таланта и правительственныхъ способностей, открыто ратуютъ въ пользу высказаннаго имъ взгляда. Труднѣе справиться ему съ другимъ возраженіемъ, съ тѣмъ препятствіемъ, какое парламентскому режиму ставитъ существованіе централизаціи и правительственной опеки надъ общинами. Прево-Парадоль въ сущности не опровергаетъ этого взгляда и довольствуется голословнымъ утвержденіемъ, что парламентаризмъ, т. е. система самоуправленія общества, мыслимъ и при отсутствіи мѣстной самодѣятельности и даже является лучшимъ регуляторомъ администраціи. Нѣсколько лѣтъ спустя, подъ вліяніемъ разсужденій Милля о свободѣ онъ вѣрнѣе оцѣнилъ тѣ бѣдствія, какія причиняетъ Франціи ея административная централизація. Онъ призналъ, что ей обязаны французы равнодушіемъ къ общественнымъ вопросамъ, тою рознью, какая отдѣляетъ между собою классы, призванные въ другихъ странахъ къ взаимодѣйствію въ мѣстномъ управленіи. Но онъ въ тоже время не разстается со своимъ любимымъ по-

ложеніемъ, что съ парламентаризмомъ, т. е. съ системой двухъ палатъ, свободой трибуны и печати, народъ всегда можетъ вступить открыто на путь общественной самодѣятельности. [1])

Та же мысль о парламентаризмѣ, какъ якорѣ спасенія для всѣхъ партій, не желающихъ помириться съ наполеоновскимъ деспотизмомъ, проведена и въ надѣлавшей въ свое время много шуму брошюрѣ о старыхъ партіяхъ. Подъ этимъ именемъ Прево-Парадоль разумѣлъ одинаково легитимистовъ, орлеанистовъ и республиканцевъ. Ко всѣмъ имъ онъ обращался со своимъ призывомъ, говоря, что они имѣютъ одного врага: демагогію въ союзѣ съ деспотизмомъ; для борьбы съ этимъ общимъ врагомъ нѣтъ другого средства, кромѣ единенія въ интересахъ свободы. Всѣ старинныя партіи должны слиться въ одной партіи, либеральной. Поступая такимъ образомъ, они останутся вѣрными своему прошлому, они вправѣ будутъ сказать: „мы думали и думаемъ доселѣ, что Франція достойна имѣть свободное правительство подобно Англіи, Бельгіи, Швейцаріи, Соединеннымъ Штатамъ и многимъ другимъ государствамъ, не превосходящимъ ее ни своей гражданственностью, ни обиліемъ знаній и просвѣтительныхъ идей. Мы полагали и полагаемъ, что у народа, желающаго управлять своими судьбами, власть должна быть предоставлена отвѣтственнымъ и смѣняемымъ министрамъ подъ свободнымъ контролемъ дебатирующихъ собраній. Такое собраніе должно быть составлено изъ представителей націи, выбранныхъ помимо всякаго вмѣшательства. Мы желаемъ также, чтобы никакой приговоръ не былъ постановляемъ помимо публичнаго разбирательства и состязательнаго процесса, и административная власть не надѣлена была правомъ лишать гражданъ свободы или подвергать ихъ изгнанію. Мы увѣрены, что защитою всѣмъ правамъ должно служить право свободнаго обсужденія правительственныхъ дѣйствій, что печать должна быть поставлена въ зависимость отъ одного только суда“. [2])

Въ этой программѣ не мудрено было прочесть бьющую въ глаза критику наполеоновскихъ порядковъ. Конституція 1852 года

---

[1]) Essais de politique et de littérature par M. Prevost-Paradol, troisième série, 1863 . De la centralisation, стр. 20, 21 и 14.

[2]) Les anciens partis par M. Prevost-Paradol, 1860, страница 28 и слѣдующая.

съ ея двумя палатами, лишенными законодательнаго почина и даже права вносить измѣненія въ предложенные государственнымъ совѣтомъ законопроэкты, съ ея мнимо отвѣтственнымъ императоромъ и безотвѣтственными министрами, съ ея оффиціальными кандидатурами и прямымъ назначеніемъ сенаторовъ свыше, съ характеризующимъ ее запретомъ обнародовать пренія верхней палаты и давать стенографическій отчетъ о происходящихъ въ нижней дебатахъ, наконецъ съ ея системой предостереженій журналамъ и газетамъ и требованіемъ высокаго залога отъ издателей, очевидно являлось антиподомъ тѣхъ порядковъ, въ возстановленію которыхъ всѣ партіи, по мнѣнію Прево-Парадоля, были одинаково заинтересованы. Хотя принципы 89-го года и были приняты оффиціально въ число тѣхъ основъ, охрана которыхъ поручена была „сенату—консерватору“, но это нисколько не мѣшало тому, что смѣшаннымъ комиссіямъ, въ которыхъ префектъ и агентъ арміи призваны были засѣдать рядомъ съ членомъ магистратуры, предоставлено было право высказываться объ участи политическихъ преступниковъ, или точнѣе, всѣхъ тѣхъ, кто выступалъ открыто противникомъ насильственнаго переворота второго декабря, ссылать ихъ въ Кайенну или подвергать изгнанію изъ родины.

На этотъ разъ эзоповскій слогъ, къ которому пріучили публицистовъ строгости цензуры, уступилъ мѣсто откровенному тону журналистовъ 1848-го года. Блюстители порядка не рѣшились оставить такого поведенія безъ репрессіи, и Прево-Парадоль призванъ былъ къ отвѣту передъ однимъ изъ тѣхъ полицейскихъ трибуналовъ, которымъ съ 1852 года предоставлено было заступать мѣсто суда присяжныхъ въ случаяхъ преступленій противъ печати.

Изложенная авторомъ profession de foi несомнѣнно заключала въ себѣ отрицаніе существующаго порядка, но она въ тоже время отнюдь не можетъ считаться призывомъ къ возстанію. Самъ онъ, какъ нельзя лучше оттѣнилъ свою мысль, говоря въ письмѣ къ Борели: „я нимало не думалъ приглашать старыя партіи къ союзу въ цѣляхъ уничтоженія имперіи. Я только убѣждалъ ихъ общими усиліями добиваться торжества извѣстныхъ либеральныхъ принциповъ. Я не желалъ ни больше, ни меньше этого [1]).

---

[1]) Письмо отъ 23-го іюня 1860 года, страница 269.

Но не такъ понята была его задача правительствомъ. Прево-Парадоль присужденъ былъ къ тюремному заключенію срокомъ на мѣсяцъ. Но въ виду болѣзненнаго состоянія, ему дозволено было провести время заточенія въ частной больницѣ въ Пасси. Приговоръ, разумѣется, достигъ какъ разъ обратной цѣли, чѣмъ та, какая имѣлась въ виду. Онъ только привлекъ къ осужденному симпатіи разнообразнѣйшихъ вожаковъ общественнаго мнѣнія, начиная отъ Монталамбера и оканчивая Тьеромъ. „Я прочелъ вашу статью съ радостью и восторгомъ, писалъ ему первый; вы одновременно надежда и украшеніе той либеральной партіи, которую такъ ревниво стараетесь поднять въ глазахъ общества [1])". Похвала Тьера болѣе сдержанная; она болѣе относится къ личности автора, чѣмъ къ защищаемымъ имъ взглядамъ. Извиняясь въ томъ, что время не позволило ему посѣтить Прево-Парадоля въ Пасси, Тьеръ говоритъ ему о своей любви и объ участіи, какое вызываетъ въ немъ все, что касается участи его молодого друга.

Съ этого времени журнальная извѣстность, пріобрѣтенная четырехъ-лѣтней усидчивой работой на столбцахъ Journal des Débats и въ Воскресномъ Курьерѣ, упрочивается окончательно, и даже политическіе противники, въ родѣ Сентъ-Бэва, отдаютъ должное рѣдкому литературному таланту и той снаровкѣ, съ которой, избѣгая рѣзкостей и оставаясь въ предѣлахъ, дозволенныхъ цензурою, Прево-Парадоль умудрялся высказать всю свою мысль по текущимъ вопросамъ.

Кто пробѣжалъ съ нѣкоторымъ вниманіемъ сдѣланныя нами выписки, согласится однако, что манера автора далеко не та, какою можетъ быть пріобрѣтена популярность въ толпѣ читателей. Частью по личному влеченію, частью по необходимости, обусловленной ригоризмомъ цензорскихъ ножницъ, Прево-Парадолю пришлось придать своимъ мыслямъ тотъ отвлеченный характеръ, при которомъ онѣ способны заинтересовать лишь меньшинство культурной среды. Обыкновенный читатель не находитъ въ его статьяхъ той сильной приманки, какую даетъ рѣзко-полемическій тонъ, способность перенести ненависть къ извѣстнымъ идеямъ на лицъ ихъ выражающихъ, и вступать съ ними ежедневно въ единоборство, не щадящее въ противникѣ даже обыкновеннаго человѣче-

---

1) Письмо отъ 30-го мая 1860 года, стр. 26.

скаго достоинства. Въ шестидесятыхъ годахъ, когда цензура дѣлала немыслимой подобный видъ журналистики, статьи Прево-Парадоля не могли показаться прѣсными даже бульварной публикѣ, но стоило измѣниться обстоятельствамъ,—и Рошфору, съ его почти ежедневными инсинуаціями и доносами, колкостями и уличной бранью, скоро удалось оставить въ тѣни еще недавно передового бойца за свободу. Кое-кто, и въ томъ числѣ Сентъ-Бэвъ, еще въ 60-хъ годахъ предвидѣли возможность такого исхода. Цензура, писалъ онъ, въ книгѣ, посвященной „Шатобріану и его литературному кружку въ эпоху Имперіи“, что риема; она немало послужила мысли тѣмъ, что стѣсняла ее, она заставила писателей быть изобрѣтательными и находить такіе пріемы и выраженія, о которыхъ-бы они не стали заботиться при полной свободѣ.

По мнѣнію Сентъ-Бэва, цензура пріучаетъ писателей къ доброму вкусу и избавляетъ ихъ отъ той грубости, которая такъ легко развивается въ людяхъ, могущихъ все сказать. Сдѣлавъ это общее замѣчаніе, Сентъ-Бэвъ спѣшилъ прибавить: Прево-Парадоль, напримѣръ, отнюдь не можетъ пожаловаться на неудобства такого порядка. Это лестное заявленіе со стороны бывшаго учителя и самаго вліятельнаго литературнаго критика заставило Прево-Парадоля обратиться съ письмомъ къ автору „Литературныхъ понедѣльниковъ.“ Онъ остроумно перетолковываетъ мысль критика, говоря: „вы хвалите меня за то, что я говорю въ полголоса, предсказываете, что когда всѣ начнутъ кричать, голосъ мой не будетъ услышанъ. Я самъ не разъ говорилъ друзьямъ, что лично всего менѣе заинтересованъ въ торжествѣ полной свободы печати. Но въ тоже время долженъ сказать, что это благо мнѣ кажется столь желательнымъ и столь необходимымъ, что передъ этимъ сознаніемъ невольно отступаютъ на задній планъ всякаго рода литературныя соображенія“. Неуспѣхъ Парадоля въ большой публикѣ объясняется, впрочемъ, и болѣе глубокими причинами, которыя предугадывали еще въ 1857 году его близкіе друзья и въ числѣ ихъ Эрнестъ Гавэ. „Прошу васъ, остерегайтесь не столько вашей страсти къ Англіи, такъ какъ отъ страсти трудно уберечься, сколько слишкомъ рѣзкаго ея выраженія. Вы призваны управлять умами, берегитесь запугать ихъ, говоря имъ черезъ-чуръ англійскимъ языкомъ“. [1])

[1]) Письмо отъ 13 мая 1857 года, стран. 266.

Подъ этимъ чересчуръ англійскимъ языкомъ разумѣлось пристрастіе Прево-Парадоля къ парламентаризму, т. е. тому образу правленія, къ которому всего менѣе предрасположило французовъ ихъ историческое прошлое, съ которымъ связана у современниковъ или ближайшихъ преемниковъ революціи память о жалкомъ безсиліи директоріи и о первыхъ успѣхахъ консульства, какъ протеста въ пользу независимости исполнительной власти. Популярность наполеоновскихъ идей, успѣхъ первой и второй имперіи въ значительной мѣрѣ имѣютъ источникомъ чисто національное пристрастіе къ сильному правительству, не уступающему во власти монархіи Людовика XIV, но имѣющему другой источникъ — народную волю. Реставрація не была парламентаризмомъ, и королевская власть сохраняла при ней ту свободу дѣятельности, которая необходима во Франціи для популярности правительства. Всего ближе подошла къ англійскому образцу Іюльская монархія, но ея главные вожаки, Гизо и Тьеръ, нимало не готовы были примириться съ тою ролью простыхъ руководителей партій, къ которой необходимо сводило ихъ дѣятельность строгое примѣненіе началъ парламентаризма. Когда нѣсколько лѣтъ спустя, въ 1868 году, Прево-Парадоль издалъ свою „Новую Францію“, Гизо, благодаря автора за присылку его книги, спѣшилъ заявленіемъ своего несогласія по многимъ вопросамъ. [1]) Тьеръ еще болѣе откровенно выразилъ свое нерасположеніе къ парламентаризму, говоря: „сама республика лучше ложепредставительнаго образа правленія, которое для меня то же, что заряженная взрывчатыми веществами машина.“ [2]) И что важнѣе всей этой скрытой или явной враждебности либеральныхъ вождей—это вскорѣ сказавшаяся воочію неспособность такъ называемыхъ старыхъ партій отказаться отъ своихъ устарѣлыхъ требованій и примкнуть къ общей программѣ. Прево-Парадолю пришлось убѣдиться въ этомъ, едва онъ поставилъ свою кандидатуру въ депутаты. Девятаго мая 1869 года, говоря въ письмѣ къ Людовику Галеви о своей избирательной кампаніи въ Нантѣ, сторонникъ парламентаризма съ отчаяніемъ воскликнулъ: „какая глупость управлять міромъ! Ты не можешь представить себѣ, что такое здѣшніе такъ называемые клерикалы, но

[1]) Письмо отъ 1 августа 1868 года.
[2]) Письмо отъ 7 апрѣля 1869 года.

передовая партія еще нелѣпѣе: одни хотятъ повергнуть все къ стопамъ папы, другіе требуютъ отмѣны войска и налоговъ. И когда подумаешь, что во всей Франціи повторяется то же зрѣлище, — пропадаетъ охота впутываться въ современную политику". 1) Понесенное Прево-Парадолемъ пораженіе на выборахъ открыло ему, хотя и поздно, глаза на трудности, какія встрѣчаетъ правильное функціонированіе парламентаризма въ странѣ, раздѣляемой династическими, религіозными и антигосударственными партіями. Въ Англіи, гдѣ всѣ оттѣнки общественнаго мнѣнія укладывались еще въ двѣ, взаимно уравновѣшивающія другъ друга группы — торіевъ и виговъ, смѣна солидарныхъ министерствъ вмѣстѣ съ перемѣщеніемъ голосовъ въ стѣнахъ парламента, оставалась нормальнымъ явленіемъ. Во Франціи же можно было уже въ концѣ 1870 года предвидѣть наступленіе той организованной анархіи, какую представляетъ современная палата съ ея сомнительнымъ и измѣнчивымъ большинствомъ, палата, оказывающая въ предѣлахъ немногихъ дней одинаковый пріемъ радикальному и консервативному кабинету, и въ которой такъ называемая homogénéité, т. е. общность взглядовъ по основнымъ вопросамъ политики, сдѣлалась для кабинета недостижимымъ идеаломъ. Понятно, если при такихъ условіяхъ все сильнѣе и сильнѣе высказывается запросъ на организацію исполнительной власти независимо отъ колеблющагося большинства въ парламентѣ, путемъ прямого назначенія народомъ, понятно, если во всѣхъ дѣйствительныхъ или мнимыхъ заговорахъ, возлагаемыхъ на отвѣтственность то популярнаго генерала, то вожака радикаловъ, какъ и во всѣхъ проэктахъ пересмотра конституціи, однообразно выступаетъ желаніе отрѣшиться отъ англійскаго образца и приблизиться по возможности къ сѣверо-американскому и швейцарскому, съ ихъ болѣе строгимъ раздѣленіемъ властей и системой назначенія президента не палатами, а народомъ.

Въ то время, когда Прево-Парадоль печаталъ свои публицистическія статьи въ Journal des Débats и въ Revue des deux mondes, политическая жизнь Франціи, какъ мы видѣли, совершенно замерла; ему недоставало поэтому туземнаго опыта свободныхъ учрежденій, и онъ принужденъ былъ искать его тамъ, гдѣ въ эпоху

---

1) Ibid, стр. 295 и 296.

новаго возрожденія абсолютизма, слѣдовавшаго за революціей 1848 года и подъемомъ національностей, политическая свобода нашла свой единственный пріютъ въ Европѣ. Знакомый съ англійскимъ языкомъ и сойдясь еще въ бытность свою профессоромъ въ Эксѣ съ однимъ изъ лучшихъ истолкователей англійской конституціи, съ знаменитымъ лордомъ Брумомъ, Прево-Парадоль продолжалъ воспитывать свою мысль постояннымъ чтеніемъ англійскихъ газетъ и нерѣдкими поѣздками на всегда гостепріимный ему островъ. Неудивительно, если въ такихъ условіяхъ ему удалось заглянуть въ англійскую политическую жизнь, можетъ быть, глубже любого изъ его соотечественниковъ. Если не говорить о Беджготѣ, едвали кто раньше Прево-Парадоля понялъ ту несомнѣнную истину, что англійскій государственный строй не есть ни смѣшанный образъ правленія въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимали его древніе, ни система политическихъ противовѣсовъ, какъ думали Монтескье и Делольмъ, что сущность его сводится къ самоуправленію общества въ лицѣ его представителей и главенству общественнаго мнѣнія, одинаково направляющаго ходомъ законодательства и исполненія. Эту систему онъ желалъ цѣликомъ перенести во Францію, пренебрегая ея историческимъ прошлымъ, недавнимъ опытомъ ея представительныхъ палатъ и тою неспособностью къ правильной политической жизни, какую обнаруживали ея династическія, религіозныя и анти-общественныя партіи. Самая односторонность его воззрѣній была источникомъ ихъ цѣльности и опредѣленности. Человѣкъ, который смотрѣлъ на всѣ партіи съ точки зрѣнія ихъ большаго или меньшаго служенія парламентаризму, который говорилъ въ глаза Мишелю-Шевалье, что не можетъ простить Сенсимонистамъ, и ему въ томъ числѣ, ихъ равнодушіе къ политической свободѣ, [1]) а Сальванди, что конституціоналисты напрасно вооружаются только противъ тѣхъ сторонъ наполеоновскаго режима, которыя проникнуты революціоннымъ характеромъ, оставляя втунѣ все, что есть въ немъ деспотическаго, [2]) очевидно являлся цѣльной и уравновѣшенной натурой, способной дать лозунгъ всей либеральной партіи и повести ее въ аттаку противъ цезаризма. Не

[1]) См. письмо отъ 24 января 1863 года, стран. 279.

[2]) Les chefs de l'opinion constitutionnelle n'ont pas attaqué ce gouvernement dans ce qu'il a de despotique, mais dans ce qu'il a gardé malgré lui de la révolution (Письмо отъ 6 сентября 1854 года, стр. 232).

удивительно поэтому, если его „Новая Франція", задуманная первоначально въ формѣ разсужденія о демократіи и свободѣ, другими словами о средствахъ ихъ примиренія, послужила не только „политической платформой" для оппозиціи, но и программой того министерства, во главѣ котораго Эмиль Оливье призванъ былъ открыть новую эру „либеральной имперіи."

„La France Nouvelle" не только заключаетъ въ себѣ самое полное выраженіе надеждъ и идеаловъ либеральной партіи въ эпоху второй имперіи, она знаменуетъ собою еще наступленіе поворотнаго момента въ современной исторіи Франціи, момента, который не можетъ считаться вполнѣ законченнымъ и въ наши дни, такъ какъ превозносимая авторомъ система парламентаризма признается существующей конституціей.

Но это сочиненіе имѣетъ еще и другое значеніе, — мы находимъ въ немъ глубокій анализъ тѣхъ внутреннихъ причинъ, которыя обусловили собою своеобразный ходъ французской жизни со временъ революціи, а также пророчество касательно тѣхъ бѣдствій, какія подготовила для Франціи наполеоновская политика. Каждая глава этой книги могла-бы избрать эпиграфомъ знаменитое выраженіе Монтескье: моя задача не столько поучать читателя, сколько будить въ немъ самодѣятельность мысли. Объявивъ въ своемъ предисловіи, что всѣ вопросы политики и государственной реформы отступаютъ передъ однимъ, — сдѣлаются ли французы свободной націей, Прево-Парадоль уже въ первой главѣ опредѣляетъ, что именно надо разумѣть подъ свободою въ современныхъ намъ демократическихъ обществахъ. Первымъ условіемъ для этого является самоуправленіе народа, или, что то же, его большинства. [1])

Автору еще чуждъ тотъ интересъ къ меньшинству, который одновременно или нѣсколько раньше заставлялъ Томаса Гера, а за нимъ Джона Стюарта Милля рекомендовать англичанамъ принятіе мѣръ, которыя рано или поздно вызовутъ цѣлый переворотъ въ современномъ намъ парламентскомъ строѣ. [2])

---

[1]) Il faut que le peuple s'y gouverne lui-même selon la volonté du plus grand nombre et en observant la loi des majorités. (La France Nouvelle). Paris, 1868, chap. I, стр. 5.

[2]) См. мою статью „Кризисъ въ Западныхъ конституціяхъ," напечатанную въ Вѣстникѣ Европы 1886 г., V.

Демократическое стремленіе, неудержимо овладѣвшее европейскими обществами, получаетъ со стороны Прево-Парадоля историческое освѣщеніе. Онъ видитъ въ немъ не оживленіе идеаловъ прошлаго, положимъ, средне-вѣковыхъ городскихъ коммунъ, а торжество идеи справедливости, которая рано или поздно научаетъ людей, что вопреки ихъ природному неравенству, между ними должно существовать извѣстное равенство правъ и обязанностей. [1])

Пророча неминуемый переходъ самой Англіи къ демократическому режиму, Прево-Парадоль позволяетъ себѣ и другое предсказаніе, также болѣе или менѣе оправдавшееся: онъ говоритъ о возможности торжества демократіи безъ насильственнаго переворота, разъ правящіе классы пріобрѣтутъ ту политическую мудрость, которая требуетъ своевременныхъ уступокъ въ пользу не представленныхъ въ государствѣ классовъ. Другая не менѣе выдающаяся мысль автора — это безповоротность совершающагося на нашихъ глазахъ демократическаго переворота. Демократія, пишетъ онъ, можетъ впасть въ республиканскій ригоризмъ и даже въ рабскую изнѣженность Византіи (намекъ на вторую имперію), но ей такъ же трудно вернуться къ аристократіи, какъ рѣкѣ направиться къ своему верховью. Остановившись на опасностяхъ, какія представляетъ для демократіи вырожденіе въ анархію и народную деспотію, авторъ въ пятой главѣ подробно останавливается на критикѣ системы цезаризма, въ которой не трудно прочесть осужденіе имперіи.

Вторая часть сочиненія посвящена вопросу о средствахъ къ одновременному упроченію демократіи и свободы. Авторъ подробно останавливается на всеобщемъ голосованіи. Въ разрѣзъ съ большинствомъ сторонниковъ парламентаризма, отчасти также со взглядами, имъ ранѣе высказанными, онъ рѣшительно объявляетъ невозможность попутнаго движенія въ смыслѣ ограниченія избирательнаго права. Безмолвное отношеніе державнаго народа къ декабрьскому перевороту временно вызвало въ немъ, какъ мы видѣли, горькое разочарованіе во всеобщемъ голосованіи.

Еще въ 1854 году въ письмѣ къ Сальванди онъ говоритъ, что лица, склонныя къ либерализму, и онъ самъ въ томъ числѣ, смотрятъ на конституціонный порядокъ, какъ на защиту противъ

[1]) Ibid. стр. 10.

suffrage universel, и какъ на лучшую гарантію публичныхъ вольностей. [1]) Но болѣе объективное отношеніе къ фактамъ недавняго прошлаго, не дѣлая изъ Прево-Парадоля сторонника всеобщаго голосованія, убѣждаетъ его, однако, въ томъ, что Франція никогда не согласится съ системой ограниченныхъ выборовъ, въ какой-бы формѣ они ни были предложены. Духъ равенства, пишетъ онъ, не можетъ помириться съ тѣмъ, чтобы голосъ одного человѣка пользовался бо́льшимъ вѣсомъ, чѣмъ голосъ другого. [2]) Прево-Парадоль относится къ suffrage universel, какъ къ неизбѣжному злу, точь въ точь, какъ Бисмаркъ, включившій его нехотя въ конституцію сперва сѣверо-германскаго союза, а затѣмъ имперіи.

Въ главѣ, посвященной мѣстному самоуправленію, Прево-Парадоль выступаетъ поборникомъ свободы городскихъ и сельскихъ муниципій въ регулированіи хозяйственной жизни и предлагаетъ устройство тѣхъ самыхъ генеральныхъ совѣтовъ департаментовъ, какими надѣлилъ Францію законъ 1871 года, но онъ не довольствуется простой департаментской децентрализаціей; онъ не прочь сдѣлать по крайней мѣрѣ нѣкоторыя уступки федерализму, разумѣется, не въ формѣ оживленія старыхъ провинцій, а путемъ образованія областей изъ сосѣднихъ департаментовъ, имѣющихъ общіе промышленные интересы, нуждающихся въ созданіи какихъ нибудь общихъ учрежденій благотворительности и производствѣ совмѣстныхъ затратъ въ интересахъ общественной гигіены или на проведеніе дорогъ, каналовъ и т. п. Составленные путемъ выборовъ, областные совѣты призваны назначать депутатовъ въ верхнюю камеру, которая, такимъ образомъ пріобрѣтаетъ отличный отъ нижней составъ и помимо обращенія къ искусственному насажденію новаго дворянства или періи. Они призваны, очевидно, представлять такъ мало принимаемые досель въ разсчетъ областные интересы. Такая реформа во многомъ опередила бы проведенную конституціей 1875 года организацію сената изъ депутатовъ,

---

[1]) Il est d'ailleurs évident que la partie active et logique de la nation est acquise aux idées libérales et ne sera ralliée au gouvernement constitutionnel que comme à un rempart contre le suffrage universel omnipotent, que comme à la meilleure garantie des libertés publiques. (Письмо отъ ноября 1854 года, страница 236).

[2]) Tout système établissant un suffrage gradué ou proportionnel est repoussé d'avance par notre pays, où l'esprit d'égalité ne peut tolérer que, pour aucune raison, le suffrage d'un citoyen pèse désormais plus que le suffrage d'un autre. La France Nouvelle, стр. 68 и 69.

назначенныхъ генеральными собраніями. [1]) Если прибавить къ представительству областей еще представительство умственныхъ интересовъ страны, о которомъ также мечталъ Прево-Парадоль, то оказалось-бы, что, не отступая отъ требованій народнаго суверенитета и демократіи, сенатъ могъ-бы сдѣлаться выразителемъ тѣхъ запросовъ націи, которые всего менѣе приходятъ въ голову уполномоченнымъ отъ общинъ, но которые не менѣе существенны и не менѣе необходимы для поступательнаго развитія великой націи, чѣмъ интересы возможнаго сокращенія податей и возможно правильной ихъ разверстки.

Верхняя палата играетъ, впрочемъ, въ проэктѣ Прево-Парадоля второстепенную роль въ направленіи, какъ внутренней, такъ и внѣшней политики. Авторъ нимало не игнорируетъ тѣхъ возраженій, какія дѣлаются противъ всемогущества народной палаты, но они не трогаютъ его. Передъ его глазами выступаетъ примѣръ столь-же всемогущей англійской палаты общинъ, и онъ справедливо замѣчаетъ, что послѣднее слово должно-же быть предоставлено кому либо, и что меньше опасности дать его представителямъ народнаго кошелька, нежели органу исполнительной власти. Прево-Парадолю чуждо то стремленіе контролировать рѣшенія, принятыя представительствомъ путемъ прямой апелляціи къ народу, о которомъ мечтали составители конституціи 1793 года, и которое нашло практическое осуществленіе въ формѣ швейцарскаго referendum. По примѣру англійской палаты общинъ, французская должна имѣть рѣшающее значеніе въ вопросахъ налогового обложенія и бюджета. Ей-же должно быть предоставлено право законодательнаго почина, что нимало не устраняетъ возможности обращенія ея къ государственному совѣту съ порученіемъ редактировать въ желательномъ для нея смыслѣ самый текстъ новаго закона, въ виду встрѣтившихся техническихъ трудностей. Народной палатѣ принадлежитъ также выборъ ея президента, составленіе адреса въ отвѣтъ на рѣчь короны, наконецъ созданіе самого министерства изъ членовъ большинства, министерства солидарнаго, отвѣтственнаго и выходящаго въ отставку каждый разъ, когда большинство палаты выскажется противъ него. Авторъ доказываетъ, что выговоренная конституціей 1852 года отвѣт-

[1]) Смотри стр. 108 и 109.

ственность главы государства, при отсутствіи всякихъ указаній о томъ, кто призванъ судить его, не имѣетъ на практикѣ никакого значенія.

Но такъ какъ эта мнимая отвѣтственность покрываетъ собою отвѣтственность министровъ, то въ результатѣ оказывается, что, благодаря ей, исполнительная власть освобождена отъ всякаго дѣятельнаго контроля. Такого порядка можно и слѣдуетъ, по мнѣнію Прево-Парадоля, избѣжать въ будущемъ, установивъ во Франціи англійскую систему кабинета, т. е. своего рода избирательнаго комитета палатъ, составленнаго изъ членовъ ихъ большинства, лично и солидарно отвѣтственнаго и сходящаго со сцены съ перемѣною въ общественномъ настроеніи и перемѣщеніемъ голосовъ въ парламентѣ. Что касается до главы государства, то отнимая у него даже право прямого участія въ составленіи кабинета, право, которымъ онъ пользуется въ Англіи, Прево-Парадоль желалъ-бы ограничить его функціи однимъ распущеніемъ палатъ и при томъ только въ случаѣ, если мнѣніе большинства представителей покажется ему не отвѣчающимъ общественному мнѣнію страны. Рядомъ съ этимъ правомъ апелляціи къ новымъ выборамъ, которое осуществляется главою государства, министерство, не располагающее большинствомъ и увѣренное въ поддержкѣ страны, также въ правѣ потребовать распущенія.

Мы не скроемъ, что эта часть предложенной Прево-Парадолемъ программы кажется намъ всего менѣе совершенной. Имѣя передъ глазами вездѣсущую и всемогущую власть, Прево-Парадоль бросается въ другую крайность и осуждаетъ главу государства на еще большее безсиліе, чѣмъ то, какое выпало ему въ удѣлъ по конституціи 1875 года. Въ ней по крайней мѣрѣ президентъ, подобно англійской королевѣ, свободенъ въ выборѣ между вожаками численно господствующей партіи. Онъ воленъ поручить составленіе министерства любому изъ нихъ. Онъ не поставленъ также въ необходимость коллизіи съ собственными министрами по вопросу о распущеніи палатъ. А что если предложенная кабинетомъ апелляція къ народу окажется нимало не отвѣчающей представленію президента о томъ, отлично-ли мнѣніе страны отъ мнѣнія парламентскаго большинства? Кому быть судьею такого конфликта? Прево-Парадоль не говоритъ объ этомъ ни слова.

Я не признаю также удачнымъ другого отступленія, сдѣланнаго имъ отъ англійскаго образца, все въ тѣхъ же интересахъ ограниченія правъ исполнительной власти; я разумѣю перенесеніе въ руки судебныхъ палатъ права замѣщенія путемъ кооптаціи освободившихся вакансій въ составѣ магистратуры. Палаты представляютъ трехъ кандидатовъ, глава государства опредѣляетъ одного изъ нихъ на должность. Этимъ достигнута будетъ якобы независимость юстиціи. Но отъ чего? Отъ исполнительной власти— пожалуй, но отъ судебной рутины, отъ того корпоративнаго духа, ésprit de corps, котораго такъ опасались еще дѣятели конституанты—ни мало; а сколько тиранній скрывается за этой корпоративной независимостью магистратуры, показала исторія судебныхъ парламентовъ старой Франціи и тѣхъ гоненій, какія подняты были ими противъ религіозной свободы.

Весьма смѣлы высказываемые Прево-Парадолемъ взгляды насчетъ реформы войска, независимости печати и отношеній государства къ церкви. Его мысли о военной реформѣ нашли осуществленіе въ законахъ республики. Франція получила наконецъ свой „народъ— войско.“ Но того-же нельзя сказать о его взглядахъ на необходимость полнаго разрыва между церковью и государствомъ и права отдѣльныхъ обществъ вѣрующихъ содержать причты на собственныя средства. Американскій образецъ, витавшій передъ его глазами, доселѣ остается пугаломъ для большинства французовъ.

Сочиненіе Прево-Парадоля заканчивается взглядомъ, брошеннымъ въ будущее. Онъ предвидитъ возможность враждебнаго столкновенія между стремящейся къ объединенію Германіей и Франціей, намѣренной воспротивиться созданію сильнаго государства въ своемъ ближайшемъ сосѣдствѣ. Обвинивъ имперскую политику въ близорукости, благодаря которой она пожертвовала интересами Даніи и Австріи ради честолюбивой и настойчивой Пруссіи, онъ остерегаетъ французовъ отъ шовинизма и предвидитъ возможность неудачной войны и отнятія у Франціи нѣмецкихъ провинцій. [1])

Можно судить послѣ этого, съ какими чувствами онъ лѣтомъ 1870 года вышелъ изъ перваго свиданія съ Наполеономъ, выслушавъ предварительно изъ устъ императрицы горячія нападки на Пруссію и требованіе военной репрессіи, „точно намъ предстоитъ

[1]) Ibid., страницы 374—393.

отомстить на ней какую нибудь обиду," [1]) заноситъ онъ въ свой дневникъ. Правда, императоръ высказался на томъ-же свиданіи въ самомъ примирительномъ духѣ, говоря, что Франція можетъ начать войну, только обезпечивъ себя союзомъ съ другими державами. Правда, что, отбывая изъ Бреста въ Америку съ порученіемъ отъ правительства и съ надеждою занять по возвращеніи видный постъ въ либеральномъ министерствѣ Эмиля Оливье, Прево-Парадоль еще читалъ въ оффиціальной печати заявленіе о томъ, что миръ обезпеченъ вполнѣ и никакая война не грозитъ континенту. Но едва онъ высадился въ Нью-Іоркѣ, какъ уже со всѣхъ сторонъ стали приходить извѣстія о неминуемомъ разрывѣ съ Пруссіей. Дотолѣ равнодушный къ инсинуаціямъ, или, какъ онъ выражается, къ наивнымъ глупостямъ, niaiseries, которыя говорятся и пишутся на его счетъ, [2]) онъ двѣнадцать дней спустя, т. е. тотчасъ по высадкѣ, пишетъ Грeару: „я весь погруженъ въ печаль; о, какъ бы мнѣ хотѣлось имѣть тебя вблизи, чтобы пользоваться твоей умѣлой поддержкой!" Три дня спустя онъ уже горитъ желаніемъ вернуться въ Парижъ, быть можетъ со скрытой надеждой повліять на ходъ событій, стать тѣмъ „руководителемъ правящаго Франціей человѣка," какимъ много лѣтъ раньше онъ мечталъ сдѣлаться, если вѣрить Максиму Дюканъ.

Ничему этому не суждено было осуществиться, и 24-го іюля, небольшой кучкѣ друзей пришлось встрѣчать его хладный трупъ и провожать его до могилы; между тѣмъ приходили извѣстія о первыхъ пораженіяхъ и осуществлялось его пророчество.

Максимъ Ковалевскій.

Beaulieu, villa Batava, 21 января 1895 г.

---

[1]) Отрывокъ изъ дневника, воспроизводимый Грeаромъ въ его біографіи Прево-Парадоля, стр. 128.

[2]) Письмо къ Borely отъ 30 іюня 1870 года.

Три притчи.

Первая притча.

Выросла сорная трава на хорошемъ лугу. И, чтобы избавиться отъ нея, владѣльцы луга скашивали ее, а сорная трава отъ этого только умножалась. И вотъ добрый и мудрый хозяинъ посѣтилъ владѣльцевъ луга, и въ числѣ другихъ поученій, которыя онъ давалъ имъ, сказалъ и о томъ, что не надо косить сорную траву, такъ какъ она только больше распложается отъ этого, а надо вырывать ее съ корнемъ.

Но, или потому, что владѣльцы луга не замѣтили, въ числѣ другихъ предписаній добраго хозяина, предписанія о томъ, чтобы не косить сорной травы, а вырывать ее, или потому, что не поняли его, или потому, что по своимъ разсчетамъ не хотѣли исполнить этого, но вышло такъ, что предписаніе о томъ, чтобы не косить сорной травы, а вырывать ее, не исполнялось, какъ будто его никогда и не было, и люди продолжали косить сорную траву и размножать ее. И хотя въ послѣдующіе года и бывали люди, которые напоминали владѣльцамъ луга предписаніе добраго и мудраго хозяина, но ихъ не слушали, и продолжали поступать по прежнему, такъ что скашивать сорную траву, какъ только она показывалась, сдѣлалось не только обыкновеніемъ, но даже священнымъ преданіемъ, и лугъ все больше и больше засорялся. И дошло дѣло до того, что въ лугу стали одни сорныя травы, и люди плакались на это и придумывали всякія средства для поправленія дѣла, но не употребляли только одного того, которое давно уже было предложено имъ добрымъ и мудрымъ хозяиномъ. И вотъ случилось въ послѣднее время одному человѣку, видѣвшему то жалкое положе-

ніе, въ которомъ находился лугъ, и напедшему въ забытыхъ предписаніяхъ хозяина правило о томъ, чтобы не косить сорную траву, а вырывать ее съ корнемъ, случилось этому человѣку напомнить владѣльцамъ луга о томъ, что они поступали неразумно, и что неразуміе это уже давно указано было добрымъ и мудрымъ хозяиномъ.

И что же? — вмѣсто того, чтобы провѣрить справедливость напоминанія этого человѣка, и въ случаѣ вѣрности его перестать косить сорную траву, или въ случаѣ невѣрности его доказать ему несправедливость его напоминанія, или признать предписанія добраго и мудраго хозяина неосновательными и для себя необязательными, владѣльцы луга не сдѣлали ни того, ни другого, ни третьяго, а обидѣлись на напоминаніе того человѣка и стали бранить его. Одни называли его безумнымъ гордецомъ, вообразившимъ себѣ, что онъ одинъ изъ всѣхъ понялъ предписаніе хозяина, другіе злостнымъ лжетолкователемъ и клеветникомъ, третьи, забывъ о томъ, что онъ говорилъ не свое, но напоминалъ только предписанія почитаемаго всѣми мудраго хозяина, называли его зловреднымъ человѣкомъ, желающимъ развести дурную траву и лишить людей ихъ луга. „Онъ говоритъ, что не надо косить траву, а если мы не будемъ уничтожать траву, говорили они — нарочно умалчивая о томъ, что человѣкъ говорилъ не о томъ, что не надо уничтожать сорную траву, а о томъ, что надо не косить а вырывать ее, — то сорная трава разростется и уже совсѣмъ погубитъ нашъ лугъ. И зачѣмъ намъ тогда данъ лугъ, если мы должны воспитывать въ немъ сорную траву“? И мнѣніе о томъ, что человѣкъ этотъ или безумецъ, или лжетолкователь, или имѣетъ цѣлью вредъ людей, до такой степени утвердилось, что его всѣ бранили и всѣ смѣялись надъ нимъ. И сколько ни разъяснялъ этотъ человѣкъ, что онъ не только не желаетъ разводить сорную траву, но напротивъ считаетъ, что въ уничтоженіи дурной травы состоитъ одно изъ главныхъ занятій земледѣльца, какъ и понималъ это добрый и мудрый хозяинъ, слова котораго онъ только напоминаетъ, сколько онъ ни говорилъ этого, его не слушали, потому что окончательно рѣшено было, что человѣкъ этотъ или безумный гордецъ, превратно толкующій слова мудраго и добраго хозяина, или злодѣй, призывающій людей не къ уничтоженію сорныхъ травъ, а къ защитѣ и возращенію ихъ.

То же самое случилось со мной, когда я указалъ на предписаніе евангельскаго ученія о непротивленіи злу насиліемъ. Правило это было проповѣдано Христомъ и послѣ Него во всѣ времена всѣми Его истинными учениками. Но, потому ли, что они не замѣтили этого правила, или потому, что они не поняли его, или потому, что исполненіе этого правила показалось имъ слишкомъ труднымъ, чѣмъ дальше проходило времени, тѣмъ болѣе забывалось это правило, тѣмъ болѣе и болѣе удалялся складъ жизни людей отъ этого правила, и наконецъ дошло дѣло до того, до чего дошло теперь, до того, что правило это уже стало казаться людямъ чѣмъ то новымъ, неслыханнымъ, страннымъ и даже безумнымъ. И со мною случилось то же самое, что случилось съ тѣмъ человѣкомъ, который указалъ людямъ на давнишнее предписаніе добраго и мудраго хозяина о томъ, что сорную траву не надо косить, а надо вырывать съ корнемъ.

Какъ владѣльцы луга, умышленно умолчавъ о томъ, что совѣтъ состоялъ не въ томъ, чтобы не уничтожать дурную траву, а въ томъ, чтобы уничтожать ее разумнымъ образомъ, сказали: не будемъ слушать этого человѣка,— онъ безумецъ, онъ велитъ не косить дурныхъ травъ, а велитъ разводить ихъ,—такъ и на мои слова о томъ, что для того, чтобы по ученію Христа уничтожить зло, надо не противиться ему насиліемъ, а съ кориемъ уничтожать его любовью,—сказали: не будемъ слушать его, онъ безумецъ: онъ совѣтуетъ не противиться злу, для того чтобы зло задавило насъ.

Я говорилъ, что по ученію Христа зло не можетъ быть искоренено зломъ, что всякое противленіе злу насиліемъ только увеличиваетъ зло, что по ученію Христа зло искореняется добромъ: „благословляйте проклинающихъ васъ, молитесь за обижающихъ васъ, творите добро ненавидящимъ васъ, любите враговъ вашихъ, *и не будетъ у васъ врага* *)“. Я говорилъ, что по ученію Христа вся жизнь человѣка есть борьба со зломъ, противленіе злу разумомъ и любовью, но что изъ всѣхъ средствъ противленія злу Христосъ исключаетъ одно неразумное средство противленія злу насиліемъ, состоящее въ томъ, чтобы бороться со зломъ зломъ-же.

И эти слова мои были поняты такъ, что я говорю, будто Христосъ училъ тому, что не надо противиться злу. И всѣ тѣ, чья

*) Ученіе XII апостоловъ.

жизнь построена на насиліи и кому поэтому дорого насиліе, охотно приняли такое перетолкованіе моихъ словъ и вмѣстѣ съ нимъ и словъ Христа, и было признано, что ученіе о непротивленіи злу есть ученіе невѣрное, нелѣпое, безбожное и зловредное. И люди спокойно продолжаютъ подъ видомъ уничтоженія зла производить и увеличивать его.

Вторая притча.

Торговали люди мукою, масломъ, молокомъ и всякими съѣстными припасами. И одинъ передъ другимъ, желая получить побольше барышей и поскорѣе разбогатѣть, стали эти люди все больше и больше подмѣшивать разныхъ дешевыхъ и вредныхъ примѣсей въ свои товары: въ муку сыпали отруби и известку, въ масло пускали маргаринъ, въ молоко воду и мѣлъ. И до тѣхъ поръ, пока товары эти не доходили до потребителей, все шло хорошо: оптовые торговцы продавали розничнымъ и розничные продавали мелочнымъ.

Много было амбаровъ, лавокъ, и торговля, казалось, шла очень успѣшно. И купцы были довольны. Но городскимъ потребителямъ, тѣмъ, которые не производили сами своего продовольствія, и потому должны были покупать его, было очень непріятно и вредно.

Мука была дурная, дурное было и масло и молоко, но такъ какъ на рынкахъ въ городахъ не было другихъ, кромѣ подмѣшанныхъ товаровъ, то городскіе потребители продолжали брать эти товары, и въ дурномъ вкусѣ ихъ и въ своемъ нездоровьѣ обвиняли себя и дурное приготовленіе пищи, а купцы продолжали все въ большемъ и большемъ количествѣ подмѣшивать постороннія дешевыя вещества къ съѣстнымъ припасамъ.

Такъ продолжалось довольно долго; городскіе жители всѣ страдали и никто не рѣшался высказать своего недовольства.

И случилось одной хозяйкѣ, всегда питавшейся и кормившей свою семью домашними припасами, пріѣхать въ городъ. Хозяйка эта всю свою жизнь занималась приготовленіемъ пищи, и хотя и не была знаменитой поварихой, но хорошо умѣла печь хлѣбы и вкусно варить обѣды.

Купила эта хозяйка въ городѣ припасовъ и стала печь и варить. Хлѣбы не выпеклись, а развалились. Лепешки на маргари-

новомъ маслѣ оказались невкусными. Поставила хозяйка молоко, сливки не настоялись. Хозяйка тотчасъ же догадалась, что припасы не хороши. Она осмотрѣла ихъ, и ея догадка подтвердилась: въ мукѣ она нашла известку, въ маслѣ маргаринъ, въ молокѣ мѣлъ. Увидавъ, что всѣ припасы обманные, хозяйка пошла на базаръ и стала громко обличать купцовъ и требовать отъ нихъ или того, чтобы они держали въ своихъ лавкахъ хорошіе, питательные, непорченные товары, или чтобы перестали торговать и закрыли свои лавочки. Но купцы не обратили никакого вниманія на хозяйку и сказали ей, что товары у нихъ первый сортъ, что весь городъ уже сколько лѣтъ покупаетъ у нихъ, и что они даже имѣютъ медали, и показали ей медали на вывѣскахъ. Но хозяйка не унялась.

— Мнѣ не медали нужно, — сказала она,—а здоровая пища, такая, чтобы у меня и у дѣтей отъ нея животы не болѣли.

— Вѣрно ты, матушка, и муки и масла настоящаго и не видала, сказали ей купцы, указывая на засыпанную въ лакированныя закрома бѣлую на видъ, чистую муку, на желтое подобіе масла, лежащее въ красивыхъ чашкахъ, и на бѣлую жидкость въ блестящихъ прозрачныхъ сосудахъ.

— Нельзя мнѣ не знать,—отвѣчала хозяйка, потому что я всю жизнь только то и дѣлала, что сама готовила и ѣла вмѣстѣ съ дѣтьми. Товары ваши порченные. Вотъ вамъ доказательство, говорила она, показывая испорченный хлѣбъ, маргаринъ въ лепешкахъ и отстой въ молокѣ. Ваши товары надо всѣ въ рѣку бросить или сжечь, и на мѣсто ихъ завести хорошіе!—И хозяйка, не переставая, стоя передъ лавками, кричала все одно подходившимъ покупателямъ, и покупатели начинали смущаться.

Тогда, видя, что эта дерзкая хозяйка можетъ повредить ихъ торговлѣ, купцы сказали покупателямъ:—Вотъ посмотрите, господа, какая шальная эта баба. Она хочетъ людей съ голоду уморить. Велитъ всѣ съѣстные припасы потопить или сжечь. Что же вы будете ѣсть, коли мы ее послушаемся и не будемъ продавать вамъ пищи? Не слушайте ее, она грубая деревенщина и незнаетъ толка въ припасахъ, а нападаетъ на насъ только изъ зависти. Она бѣдна и хочетъ, чтобы и всѣ были такъ-же бѣдны, какъ она.

Такъ говорили купцы собравшейся толпѣ, нарочно умалчивая о томъ, что женщина хочетъ не уничтожать припасы, а дурные замѣнить хорошими.

И тогда толпа напала на женщину и начала ругать ее. И сколько женщина ни увѣряла всѣхъ, что она не уничтожитъ хочетъ съѣстные припасы, что она, напротивъ, всю жизнь только тѣмъ и занималась, что кормила и сама кормилась, но что она хочетъ только того, чтобы тѣ люди, которые берутъ на себя продовольствіе людей, не отравляли ихъ вредными веществами подъ видомъ пищи, но сколько она ни говорила и что она ни говорила, ее не слушали, потому что было рѣшено, что она хочетъ лишить людей необходимой для нихъ пищи.

То же случилось со мной по отношенію къ наукѣ искусству нашего времени. Я всю жизнь питался этой пищей, и хорошо ли, дурно, старался и другихъ, кого могъ, питать ею. И такъ какъ это для меня пища, а не предметъ торговли или роскоши, то я несомнѣнно знаю, когда пища есть пища и когда только подобна ей. И вотъ, когда я попробовалъ той пищи, которая стала продаваться въ наше время на умственномъ базарѣ подъ видомъ науки и искусства, и попробовалъ питать ею любимыхъ людей, я увидалъ, что большая часть этой пищи не настоящая. И когда я сказалъ, что та наука и то искусство, которыми торгуютъ на умственномъ базарѣ, маргариновыя или покрайней мѣрѣ съ большими подмѣсями чуждыхъ истинной наукѣ и истинному искусству веществъ, и что знаю я это, потому что купленные мною на умственномъ базарѣ продукты оказались неудобосъѣдаемыми ни для меня, ни для ближнихъ мнѣ людей, не только неудобосъѣдаемыми, но прямо вредными, то на меня стали кричать и ухать, и внушать мнѣ, что это происходитъ оттого, что я не ученъ и не умѣю обращаться съ такими высокими предметами. Когда же я сталъ доказывать то, что сами торговцы этимъ умственнымъ товаромъ обличаютъ безпрестанно другъ друга въ обманѣ; когда я напомнилъ то, что во всѣ времена, подъ именемъ науки и искусства предлагалось людямъ много вреднаго и плохаго, и что потому и въ наше время предстоитъ та же опасность, что дѣло это не шуточное, что отрава духовная во много разъ опаснѣе отравы тѣлесной, и что поэтому надо съ величайшимъ вниманіемъ изслѣдовать тѣ духовные продукты, которые предлагаются намъ въ видѣ пищи, и старательно откидывать все поддѣльное и вредное, когда я сталъ говорить это, никто, никто, ни одинъ человѣкъ, ни въ одной статьѣ или книгѣ не возразилъ мнѣ на эти доводы, а изо всѣхъ лавокъ закричали,

какъ на ту женщину:—онъ безумецъ! Онъ хочетъ уничтожить науку и искусство, то, чѣмъ мы живемъ. Войтесь его и не слушайтесь! Пожалуйте къ намъ, къ намъ! У насъ самый послѣдній заграничный товаръ.

Третья притча.

Шли путники. И случилось имъ сбиться съ дороги, такъ что приходилось итти уже не по ровному мѣсту, а по болоту, кустамъ, колючкамъ и валежнику, загораживавшимъ имъ путь, и двигаться становилось все тяжелѣе и тяжелѣе.

Тогда путники раздѣлились на двѣ партіи: одна рѣшила не останавливаясь итти все прямо по тому направленію, по которому она шла сейчасъ, увѣряя себя и другихъ въ томъ, что они не сбились съ настоящаго направленія и все-таки придутъ къ цѣли путешествія. Другая партія рѣшила, что такъ какъ направленіе, по которому они идутъ теперь, очевидно не вѣрное, — иначе они бы уже пришли къ цѣли путешествія,—то надо искать дорогу, а для того чтобы отыскать ее, нужно не останавливаясь двигаться какъ можно быстрѣе во всѣхъ направленіяхъ. Всѣ путники раздѣлились между этими двумя мнѣніями: одни рѣшили итти все прямо, другіе рѣшили ходить по всѣмъ направленіямъ, но нашелся одинъ человѣкъ, который, не согласившись ни съ тѣмъ, ни съ другимъ мнѣніемъ, сказалъ, что прежде чѣмъ итти по тому направленію, по которому уже шли, или начать двигаться быстро по всѣмъ направленіямъ, надѣясь, что мы этимъ способомъ найдемъ настоящее, нужно прежде всего остановиться и обдумать свое положеніе и потомъ уже, обдумавъ его, предпринять то или другое. Но путники были такъ возбуждены движеніемъ, были такъ испуганы своимъ положеніемъ, такъ хотѣлось имъ утѣшать себя надеждой на то, что они не заблудились, а только на короткое время сбились съ дороги и сейчасъ опять найдутъ ее, такъ, главное, имъ хотѣлось движеніемъ заглушить свой страхъ, что мнѣніе это встрѣчено было всеобщимъ негодованіемъ, упреками и насмѣшками людей какъ перваго, такъ и второго направленія.—Это совѣтъ слабости, трусости, лѣни, говорили одни.

— Хорошо средство дойти до цѣли путешествія, состоящее

въ томъ, чтобы сидѣть на мѣстѣ и не двигаться!—говорили другіе.—На то мы люди, и на то намъ даны силы, чтобы бороться и трудиться, побѣждая препятствія, а не малодушно покоряться имъ—говорили третьи.

И сколько ни говорилъ отдѣлившійся отъ большинства человѣкъ о томъ, что, двигаясь по ложному направленію, не измѣняя его, мы навѣрное не приближаемся, а удаляемся отъ своей цѣли, и что точно также мы не достигнемъ цѣли, если будемъ метаться изъ стороны въ сторону, что единственное средство достигнуть цѣли состоитъ въ томъ, чтобы сообразивъ по солнцу, или по звѣздамъ, какое направленіе приведетъ насъ къ нашей цѣли и, избравъ его, итти по немъ,—но что для того, чтобы это сдѣлать, нужно прежде всего остановиться, остановиться не затѣмъ, чтобы стоять, а затѣмъ, чтобы найти настоящій путь и потомъ уже неуклонно итти по немъ, и что для того и для другого нужно первое остановиться и опомниться,—сколько онъ ни говорилъ этого, его не слушали.

И первая часть путниковъ пошла впередъ по направленію, по которому она шла, вторая же часть стала метаться изъ стороны въ сторону, но ни та, ни другая не только не приблизились къ цѣли, но и не выбрались изъ кустовъ и колючекъ, и блуждаетъ до сихъ поръ.

Точь-точь то же самое случилось со мной, когда я попыталея высказать сомнѣніе въ томъ, что путь, по которому мы забрели въ темный лѣсъ рабочаго вопроса и въ засасывающее насъ болото не могущихъ имѣть конца вооруженій народовъ, есть не вполнѣ тотъ путь, по которому намъ надо итти, что очень можетъ быть, что мы сбились съ дороги, и что поэтому не остановиться ли намъ на время въ томъ движеніи, которое очевидно ложно, не сообразить ли прежде всего, но тѣмъ общимъ и вѣчнымъ началамъ истины открытой намъ по тому ли направленію мы идемъ, по которому намѣревались итти? Никто не отвѣтилъ на этотъ вопросъ, ни одинъ не сказалъ: мы не ошиблись въ направленіи и не блуждаемъ, мы въ этомъ увѣрены потому-то и потому-то. Ни одинъ человѣкъ не сказалъ и того, что, можетъ быть, и точно мы ошиблись, но что у насъ есть средство несомнѣнное, не прекращая нашего движенія, поправить нашу ошибку. Никто не сказалъ ни того, ни другого. А всѣ разсердились, обидѣлись и поспѣшили

заглушить дружнымъ говоромъ мой одиночный голосъ. „Мы и такъ лѣнивы и отсталы. А тутъ проповѣдь лѣни, праздности, недѣланія! Нѣкоторые прибавили даже: ничего недѣланія. Не слушайте его,—впередъ за нами! — закричали какъ тѣ, которые считаютъ, что спасеніе въ томъ, чтобы не измѣняя его, итти по разъ избранному направленію, какое бы оно ни было, такъ и тѣ, которые считаютъ, что спасеніе въ томъ, чтобы метаться по всѣмъ направленіямъ.

— Что стоять? Что думать? Скорѣе впередъ! Все само собой сдѣлается!

Люди сбились съ пути и страдаютъ отъ этого. Казалось бы, первое и главное усиліе энергіи, которое слѣдуетъ сдѣлать, должно бы быть направлено не на усиленіе того движенія, которое завлекло насъ въ то ложное положеніе, въ которомъ мы находимся, а на остановку его. Казалось бы, ясно то, что только остановившись, мы можемъ хоть сколько нибудь понять свое положеніе и найти то направленіе, въ которомъ мы должны итти для того, чтобы притти къ истинному благу не одного человѣка, не одного разряда людей, а истинному общему благу человѣчества, къ которому стремятся всѣ люди и отдѣльно каждое сердце человѣческое. И что же? Люди придумываютъ все возможное, но только не то одно, что можетъ спасти, и если и не спасти ихъ, то хотя облегчить ихъ положеніе, именно то чтобы хоть на минуту остановиться и не продолжать усиливать своей ложной дѣятельностью свои бѣдствія. Люди чувствуютъ бѣдственность своего положенія и дѣлаютъ все возможное для избавленія себя отъ него, но только того одного, что навѣрное облегчитъ ихъ положеніе, они ни за что не хотятъ сдѣлать, и совѣтъ сдѣлать это больше всего раздражаетъ ихъ.

Если бы можно было еще сомнѣваться въ томъ, что мы заблудились, то это отношеніе къ совѣту одуматься очевиднѣе всего доказываетъ, какъ безнадежно мы заблудились, и какъ велико наше отчаяніе.

Л. Толстой.

Памяти Аполлона Александровича Григорьева.

Прошло тридцать лѣтъ съ кончины Аполлона Александровича Григорьева, и объ немъ говорятъ болѣе, чѣмъ при его жизни и въ первое время по его смерти. Григорьевъ писалъ недолго и жилъ немного. Онъ выступилъ въ литературѣ въ печальное время начала пятидесятыхъ годовъ, пріобрѣлъ извѣстность въ концѣ пятидесятыхъ и въ началѣ шестидесятыхъ годовъ. Между двумя лагерями, которые вели тогда борьбу другъ съ другомъ, Григорьевъ занималъ своеобразное и независимое положеніе. Онъ не былъ ни славянофиломъ, ни западникомъ, хотя и склонялся болѣе къ первымъ. Въ нѣкоторомъ отношеніи онъ могъ примѣнить къ себѣ извѣстные стихи графа А. К. Толстого:

„Двухъ становъ не боецъ, но только гость случайный,
За правду я-бы радъ поднять мой добрый мечъ,
Но споръ съ обоими—досель мой жребій тайный,
И къ клятвѣ ни одинъ не могъ меня привлечь;
Союза полнаго не будетъ между нами—
Не купленный никѣмъ, подъ чье-бъ ни сталъ я знамя,
Пристрастной ревности друзей не въ силахъ снесть,
Я знамени врага отстаивалъ-бы честь!

По скольку это относилось къ безпристрастію въ полемикѣ, къ готовности и умѣнью признать достоинства въ противникѣ, силу въ его доказательствахъ,—это, разумѣется, заслуживаетъ глубокаго уваженія. Но у Григорьева была еще неопредѣленность мысли, благодаря которой онъ стоялъ иногда внѣ всякаго лагеря, мысли

безспорно оригинальной, но недостаточно сильной и ясной, чтобъ создать собственный лагерь, свою школу.

Къ идеямъ Григорьева теперь охотно обращаются люди, которые, подобно ему, не принадлежатъ къ опредѣленному направленію и не прочь гордиться такою *самобытностью*. Но при этомъ подъ защиту даровитаго критика пытаются поставить такіе взгляды, которыхъ Григорьевъ никогда не призналъ-бы правильными, противъ которыхъ онъ вооружался всѣми силами своего ума и души. Сочиненія его читаются мало, нѣкоторыя изъ нихъ написаны тяжело, и поэтому не безполезенъ краткій обзоръ его основныхъ воззрѣній, философскихъ и литературныхъ.

Искусство, писалъ Григорьевъ, всѣмъ истиннымъ художникамъ открывалось въ видѣ великой ввѣренной имъ міровой силы, въ видѣ великаго служенія на пользу души человѣческой, *на пользу жизни общественной* [1]). Въ жизни же важно то, что связываетъ настоящее съ прошедшимъ и заключаетъ сѣмена будущаго. Случайности достойны возведенія въ типъ. „Искусство должно осмысливать жизнь, опредѣлять разумъ ея явленій,—положительно или отрицательно,—на что и имѣетъ два орудія: трагизмъ или, лучше сказать, лиризмъ и комизмъ“. [2])

Міросозерцаніе поэта невидимо присутствуетъ въ его созданіяхъ *и примиряетъ насъ*, уяснивши смыслъ жизни. „Созданіе истиннаго художника нравственно въ томъ смыслѣ, что оно — живое созданье“. Оживите шекспировскихъ лицъ, призовите ихъ вторично на судъ,—„и вы убѣдитесь, что Немезида, покаравшая или помиловавшая ихъ, полна любви и разума“ [3]).

„Примиреніе, т. е. ясное уразумѣнье дѣйствительности sine ira et studio, необходимо человѣческой душѣ, и искать его по-неволѣ надобно въ той же самой дѣйствительности“. [4])

Это *примиреніе* у Григорьева не отличается достаточною ясностью. Онъ возстаетъ противъ *злѣйшаго положенія:* что есть, то разумно,—признаетъ законность протеста противъ дѣйствительности, но запутывается все-таки въ примиреніи и смиреніи. Такъ для Григорьева „не только въ мірѣ художественныхъ, но и въ

---

[1]) Сочиненія, I, 137.
[2]) Ibid., 141, 142.
[3]) Ibid., 11.
[4]) Ibid., 30.

мірѣ всѣхъ общественныхъ и нравственныхъ нашихъ сочувствій, Пушкинъ есть первый и *полный* представитель нашей физіономіи". [1]) „Въ Пушкинѣ надолго, *если не навсегда*, говоритъ намъ критикъ, завершился, обрисовавшись широкимъ очеркомъ, *весь нашъ душевный процессъ*". [2]) „Я не знаю, замѣчаетъ Григорьевъ, *да и знать не хочу*, какіе принципы и какое ученіе сознавалъ Пушкинъ,—а знаю, что для нашей русской натуры онъ все болѣе и болѣе будетъ становиться *мѣркою принциповъ*". И однако тремя страницами раньше говорится, что „Пушкина скосила отдѣлавшаяся отъ него стихія Алеко", а въ другой статьѣ Григорьевъ признаетъ, что художникъ тѣмъ выше, чѣмъ выше его міросозерцаніе, т. е. разумѣніе того, *во имя чего* онъ воспроизводитъ образы. [3])

Восхваляя Пушкина за *смиреніе* Бѣлкина, Григорьевъ потомъ, въ отвѣтъ на нападки „*Современника*", призналъ, что Пушкинъ избралъ для себя *отрицательный* типъ Бѣлкина *на время, какъ выходъ* [4]). И сейчасъ же прибавляетъ: „Надобно сказать правду, что мы слишкомъ долго возились съ этимъ наслѣдствомъ",— чуть не перешли въ поклоненіе ему.

Увлекаясь *русскимъ духомъ*,—искренне и безкорыстно,—это вѣчно великаго сомнѣнія, Григорьевъ доходилъ до забавнаго восхищенія и передъ крупными, за то *самобытными* нашими нелѣпостями.

Вотъ примѣръ. Ѣздилъ за-границу при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ стольникъ Лихачевъ. Григорьевъ серьезно говоритъ, что онъ на явленія западно-европейской жизни „смотрѣлъ съ высоты *незыблемо* утвержденныхъ основъ своего типа". Далѣе указывается, какая это *высота*. Лихачевъ пишетъ изъ Флоренціи: „И князь у посланниковъ принялъ государеву грамоту и поцѣловалъ ее и *начало плакать*, а намъ говорилъ чрезъ толмача по-италійски: за что меня, *холопа своего*, нашъ пресловутый во всѣхъ государствахъ и ордахъ великій князь Алексѣй Михайловичъ пожаловалъ и любительскую свою грамоту и поминки прислалъ?"

Да, хороши были-бы мы, какъ народъ, еслибъ стольники Лихачевы были представителями незыблемыхъ основъ русскаго типа!

---

[1]) Соч., 240.
[2]) Ibid., 246.
[3]) Ibid., 62.
[4]) Ibid., 366.

Если Пушкинъ, по словамъ Григорьева, — „наше все, представитель нашего *душевнаго*, *особеннаго*, такого, что остается нашимъ душевнымъ, особеннымъ, послѣ всѣхъ столкновеній съ другими мірами", — то неужели, если поскоблить Пушкина, то получится стольникъ Лихачевъ? Правда, это наше *душевное*, *особенное* (славянское коренное и типовое) есть только, по Григорьеву, подкладка для истинно человѣческаго, то есть христіанскаго [1]), но стыдно было бы вносить въ міровую культуру и такую подкладку. Въ дѣйствительности, конечно, Григорьевъ былъ совсѣмъ иныхъ убѣжденій и только увлекся преклоненіемъ передъ нашею инимонаціональною особенностью, увлекся потому, что былъ искреннею и страстно увлекающеюся натурою, художественною и..... широкою, въ спеціально русскомъ смыслѣ послѣдняго слова. Для новѣйшихъ поклонниковъ А. А. Григорьева изъ лагеря „*Моск. Вѣд.*" не безполезно напомнить, что по его мнѣнію, напримѣръ, татарское и московское иго оба въ сущности равносильны. [2]) Высоко цѣня славянофильство, Григорьевъ уже въ началѣ шестидесятыхъ годовъ писалъ, что оно пало, хотя и со славою [3]). Съ большимъ сочувствіемъ приводитъ Григорьевъ остроумное замѣчаніе Хомякова, что Англія—лучшее изъ *существующихъ* государствъ, Россія—лучшее *изъ возможныхъ*. Хомяковъ, по словамъ Григорьева, вслѣдъ затѣмъ съ злою и грустною ироніею всегда прибавлялъ, что Россія, быть можетъ, такъ и останется лучшимъ изъ возможныхъ государствъ [4]).

Ясно поэтому, что Григорьевъ, увлекаясь смиреннымъ типомъ Бѣлкина, отнюдь не приглашалъ преклоняться передъ русскою дѣйствительностью. „Голосъ за простое и доброе, писалъ онъ въ одной изъ статей, поднявшійся въ душахъ нашихъ противъ ложнаго и хищнаго, есть, конечно, прекрасный, возвышенный голосъ, но заслуга его есть только отрицательная. Его положительная сторона есть застой, закись, моральное мѣщанство". Полемизируя съ теоретиками „*Современника*" и другихъ изданій, Григорьевъ опираясь на то положеніе, что „теоріи, какъ итоги, выведенные изъ

---

[1]) Соч., 247.
[2]) Соч., 500.
[3]) Соч., 483. Какъ относился Григорьевъ къ „*Русскому Вѣстнику*", видно изъ такого, напримѣръ, его заявленія: статьи Щапова и Павлова идутъ „на конечное истребленіе б.....словія „*Вѣстника*".
[4]) Соч., 486.

произведшаго разсудкомъ, правы всегда только въ отношеніи къ прошедшему, на которое онѣ, какъ на жизнь, опираются". Прошедшее же—трупъ, почему и слѣдуетъ смиряться передъ жизнью [1]).

Противъ этого можно, разумѣется, возразить, что теорія, опираясь на прошедшее, раскрываетъ и будущее; если *осмысливать жизнь* призвано искусство, то можетъ (и должна) осмысливать ее и теорія (въ частности—критика). Григорьевъ очень преувеличиваетъ значеніе искусства, когда говоритъ, что художество *одно* вноситъ въ міръ новое, органическое, нужное жизни. „Для того, чтобы въ мысль повѣрили, нужно, полагаетъ критикъ, чтобы мысль приняла тѣло, и съ другой стороны, мысль не можетъ принять тѣла, если она не рождена, а сдѣлана искусственно" [2]).

Въ области художественнаго творчества эта мысль справедлива, но никто не согласится съ Григорьевымъ, что *новое, органическое, нужное жизни,* создаетъ только искусство, что этого не творитъ наука и философская мысль.

„Искусство, пишетъ Григорьевъ, по существу своему нравственно, поколику оно жизненно и *покомику самую жизнь повѣряетъ оно идеаломъ*". Критикъ спѣшитъ прибавить, что здѣсь нѣтъ подчиненія искусства нравственности, но только органическое единство. Допуская это, слѣдуетъ все-таки замѣтить, что *идеалъ,* которымъ искусство можетъ провѣрять жизнь, является созданіемъ не искусства. Самъ Григорьевъ указываетъ, что при недостаткѣ идеала у художника являются тоска, отчаяніе. Такъ какъ, по мнѣнію критика, величайшіе художники (Пушкинъ) доходятъ до идеальныхъ (религіозныхъ) основъ народной нравственности [3]), то ихъ міровоззрѣніе должно носить примиряющій характеръ: „Художество требуетъ великаго спокойствія и полнаго обладанія формами, а не подчиненія имъ, служенія прекрасному, а не чувственнаго раздраженія имъ" [4]).

Ставя такъ высоко задачи искусства, Григорьевъ въ уровень съ ними предъявлялъ требованія къ критикѣ. „Что художество въ отношеніи къ жизни, писалъ онъ, то критика въ отношеніи

---

[1]) Соч., 459.
[2]) Соч., 202—203.
[3]) Для Григорьева,—напомнимъ, эти высшія, идеальнѣйшія начала независимы отъ народныхъ особенностей.
[4]) Соч., 182.

въ художеству: разъясненіе и толкованіе мысли, распространеніе свѣта и тепла, таящихся въ прекрасномъ созданіи". Чисто эстетической, замкнутой критики нѣтъ, и быть не можетъ: жизнь такъ или иначе задѣнетъ. Критика чисто техническая была-бы безполезна и для художника, и для массы [1]). Въ наше время можетъ существовать только историческая критика, которая „разсматриваетъ литературу, какъ органическій продуктъ вѣка и народа, въ связи съ развитіемъ государства, общества и моральныхъ понятій" [2]). Во всемъ временномъ есть частица вѣчнаго, неперемѣннаго, поэтому „общіе эстетическіе законы подразумѣваются исторической критикой художественныхъ произведеній". „Показать относительное значеніе всѣхъ литературныхъ произведеній въ массѣ, опредѣлить каждому подобающее мѣсто, какъ органическому, живому продукту жизни,—*и повѣрить каждое безотносительными законами изящнаго,—непремѣнно повѣрить каждое,*—вотъ дѣло исторической критики" [3]).

Такія оговорки избавляютъ Григорьева на этотъ разъ отъ упрека въ противорѣчіи: въ позднѣйшихъ статьяхъ онъ относится къ исторической критикѣ очень сурово, но тамъ онъ разумѣетъ подъ нею уже иное. „На днѣ этого воззрѣнія (исторической критики),—говоритъ Григорьевъ,—въ какія бы формы оно ни облекалось, лежитъ совершенное равнодушіе, совершенное безразличіе нравственныхъ понятій" [4]). Оно сопряжено съ мыслью о безначальномъ и безграничномъ развитіи. „Безотраднѣйшее изъ созерцаній, въ которомъ всякая минута міровой жизни является переходною формою къ другой, переходной же формѣ; бездонная пропасть, въ которую стремглавъ летитъ мысль, безъ малѣйшей надежды за что-либо ухватиться, въ чемъ-либо найти точку опоры". Въ отличіе отъ этой исторической критики Григорьевъ выдвигаетъ свою—органическую. По этому воззрѣнію, идеалъ можетъ быть затерянъ, но остается всегда одинъ и тотъ же, всегда составляетъ *единицу, норму* души человѣческой [5]). „Искусство заранѣе чувствуетъ приближающееся будущее, какъ птицы заранѣе чувствуютъ грозу или

---

[1]) Соч., 197, 200.
[2]) Ibid., 4—5.
[3]) Ibid., 6.
[4]) Ibid., 206.
[5]) Стр. 224.

вѣдро". Въ немъ поэтому съ особенною силою выражается *историческое чувство:* сознаніе цѣльности души человѣческой и единства ея идеала [1]). Для художника необходимо, съ этой точки зрѣнія, субъективное стремленіе къ идеалу и объективная способность воспроизводить явленія внѣшняго міра въ типическихъ образахъ [2]).

Я старался выяснить себѣ мысль Григорьева, пополняя положенія одной его статьи оговорками и замѣчаніями въ другихъ; но теорія органической критики остается, мнѣ кажется, все-таки туманною, и нѣкоторыя противорѣчія во взглядахъ Григорьева не поддаются его любимому началу—примиренію. „Трагизмъ борьбы личности съ дѣйствительностью, говоритъ напримѣръ Григорьевъ, самъ созналъ свое безсиліе, самъ обличилъ себя",—и въ доказательство приводитъ знаменитое стихотвореніе Лермонтова:

„Печально я гляжу на наше поколѣнье!

Между тѣмъ, горькая скорбь и святой гнѣвъ Лермонтова вызваны именно отсутствіемъ въ этомъ поколѣніи борьбы личности съ дѣйствительностью, именно тѣмъ, что,

„Къ добру и злу постыдно равнодушны,
„Въ началѣ поприща мы вянемъ безъ борьбы;
„Передъ опасностью позорно-малодушны,
„И передъ властію презрѣнные рабы".

И самъ Григорьевъ признаетъ, что „чистая, абсолютная непосредственность отношенія художника къ дѣйствительности есть нѣчто совершенно невозможное въ наше время: для этого нужно, чтобы дѣйствительность была не разорвана съ идеаломъ въ сознаніи поэта, чтобы онъ пѣлъ, wie der Vogel singt, какъ птица, какъ Гомеръ; да и при томъ такая абсолютная непосредственность потребна только въ эпическомъ родѣ искусства и возможна только въ первобытныя эпохи развитія". Возставая противъ протеста личности, когда онъ выходитъ изъ неглубокихъ источниковъ и размѣнивается на мелочь, Григорьевъ рѣшительно вооружается и противъ грубаго служенія дѣйствительности и неразумнаго оправ-

[1]) Соч., 225, 227.
[2]) Ibid., 57.

данія всѣхъ ея явленій. „Все идеальное есть ни что иное, какъ ароматъ и цвѣтъ реальнаго. Но, разумѣется, не все реальное есть идеальное, и въ этомъ то сущность воззрѣнія идеальнаго отъ панеѳистическаго“ [1]). У насъ, кромѣ того, Григорьевъ признавалъ двѣ дѣйствительности: одна на показъ — оффиціальная, другая подъ спудомъ—бытовая [2]). Истинное же искусство было и будетъ всегда народное, демократическое, въ философскомъ смыслѣ этого слова [3]).

Въ статьяхъ, которыя посвящены разбору крупнѣйшихъ художниковъ, преимущественно русскихъ, Григорьевъ развиваетъ свои теоретическія положенія,—съ своею *органическою критикою* онъ не можетъ, конечно, не быть теоретикомъ. Въ этихъ разборахъ много мѣткаго и глубокаго. Григорьевъ замѣчаетъ, напримѣръ, что Писемскому „не достаетъ только глубины и идеальности міросозерцанія, чтобы имѣть на литературу самое сильное вліяніе“. Въ *Обыкновенной исторіи* онъ видитъ „дарованіе примѣчательно яркое, но, да позволено будетъ сказать прямо, дарованіе чисто внѣшнее, безъ глубокой мысли въ задаткѣ, безъ истиннаго стремленія къ идеалу“.

Немало правильныхъ и проницательныхъ замѣчаній и мыслей высказываетъ Григорьевъ и въ статьяхъ о Гоголѣ и Островскомъ, но тутъ онъ впадаетъ въ карикатурныя преувеличенія, утверждая, напримѣръ, что Шекспиръ однороденъ съ Гоголемъ, выше мѣры превознося, въ прозѣ и стихахъ, Любима Торцова. Особенно досталось Григорьеву за стихотвореніе, дѣйствительно смѣшное:

„Стоитъ (Любимъ Торцовъ) съ поднятой головой,
Бурнусъ напяливъ обветшалый,
Съ растрепаною бородой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Но съ русской чистою душой!

Подводя итоги, мы можемъ сказать, что въ лицѣ Григорьева русская критика безвременно потеряла (онъ скончался сорока двухъ лѣтъ) одного изъ талантливѣйшихъ, честнѣйшихъ и наи-

[1]) Соч., 202.
[2]) Ibid., 419.
[3]) Соч., 458.

болѣе образованныхъ своихъ представителей. Если его теорія органической критики отличается туманностью, если его вѣрныя въ этомъ отношеніи идеи не отличаются оригинальностью, то при разборѣ художественныхъ произведеній онъ обнаруживалъ и выдающуюся силу анализа, и горячее одушевленіе. Много мѣшала успѣху статей Григорьева тяжелая нерѣдко форма изложенія, недостатокъ въ немъ ясности и стройности.

Въ Григорьевѣ пріятно поражаетъ благородная независимость сужденія, умѣнье воздавать должное писателямъ, которые по многимъ вопросамъ были его противниками. Требуя постоянно возвращенія къ Пушкину и Бѣлинскому,—*къ силѣ и къ сознанію*,—Григорьевъ высоко цѣнилъ, напримѣръ, высокое дарованіе Добролюбова. Его *Темное царство* Гргорьевъ называлъ „по истинѣ блистательно высказанною теоріею“. А. М. Скабичевскій вполнѣ правъ, замѣчая, что у Григорьева былъ живой демократическій духъ, что всѣ пороки интеллигенціи, развившіеся на почвѣ крѣпостничества, имѣли въ немъ заклятаго врага [1]).

По поводу тридцатилѣтія со дня кончины А. А. Григорьева въ статьѣ одного иллюстрированнаго изданія было сказано, что Григорьевъ—„критикъ, быть можетъ, самый замѣчательный во всей русской литературѣ, хотя понынѣ не пользующійся тѣмъ вліяніемъ, какое должно бы принадлежать ему по-праву“. Эту явно и чрезмѣрно преувеличенную оцѣнку своей дѣятельности и значенія отвергнулъ бы, конечно, самъ Григорьевъ; но почетное мѣсто въ ряду второстепенныхъ нашихъ критиковъ Аполлону Александровичу Григорьеву принадлежитъ безспорно. Весьма сомнительно, чтобы вліяніе его возросло, но въ этомъ вліяніи было и остается нѣчто доброе, будящее мысль, развивающее эстетическое чувство и чуткость совѣсти.

В. Гольцевъ.

---

[1]) *Очерки новѣйшей русской литературы*. Г. Страховъ считаетъ Григорьева романтикомъ. Г. Незеленовъ признаетъ его лучшимъ цѣнителемъ Островскаго.

УШКУЛЬ *).

(Горная башкирская легенда).

Былъ майскій день. Еще высоко стояло на ясномъ небѣ солнце, щедро разсыпая вокругъ снопы жаркихъ лучей, но въ горной долинѣ, гдѣ пріютился на кочевку аулъ, не томило отъ зноя и дышалось легко, полною грудью. Съ обѣихъ сторонъ, по скатамъ горъ, сверху до низу, зеленѣла густая сочная трава, по долинѣ разростался лозникъ и ползъ кустарникъ; между ними весело выбѣгали молоденькія березки, ольха, черемуха, вязки и рябина, сквозь тонкіе стволы и свѣжую листву которыхъ просвѣчивали изгибы немноговодной, но рѣзвой и затѣйливой рѣчки.

---

*) Объясненіе словъ.

Ушкуль—значитъ самопожертвованіе, испытаніе.

Горная легенда. Башкиры по своему типу дѣлятся на степныхъ, горныхъ и лѣсныхъ. Первые два типа рѣзко отличаются: степные—средняго роста, широколицые и съ мясистымъ, часто приплюснутымъ у корня носомъ, а горные—высокіе, съ овальнымъ лицомъ, правильными чертами и прямымъ носомъ, мало чѣмъ отличающіеся отъ представителей кавказской расы.

Джеинъ (Зеинъ)—народное собраніе. До присоединенія Башкиріи къ Россіи джеинъ имѣлъ значеніе нашего стариннаго вѣча. Въ настоящее время—это базаръ или небольшая ярмарка, бывающая еженедѣльно по пятницамъ, начиная съ первой недѣли послѣ нашей Пасхи и кончая десятой.

Родъ. Въ то время, о которомъ разсказываетъ легенда, родовой бытъ подвергся уже измѣненію. Такъ, послѣ смерти князя не всегда заступалъ его мѣсто старшій въ родѣ, но, по волѣ народнаго собранія, княземъ утверждался и внукъ умершаго, сынъ его дочери.

Сабанъ-Туй—праздникъ сабана. Онъ справляется и теперь, ежегодно весною, передъ выступленіемъ на кочевку, и на праздникѣ происходятъ скачки, лазанье по столбамъ и проч.; отличившемуся въ джигитовкѣ первая красавица даритъ ситцевый платокъ. Кажется, подъ вліяніемъ ислама, старинный народный языческій праздникъ пріуроченъ ко дню магометанскаго праздника Шаабана Бараата (праздника предопредѣленія).

Верстъ за двадцать выше кочевья, вырвавшись изъ каменистой горы, гулко и весело побѣжала въ даль беззаботная рѣчушка. То, извиваясь и мелодично журча по мелкимъ галькамъ, она ласкается къ своимъ берегамъ, то спрячется въ частомъ тальникѣ, притаится, точно ея и нѣтъ, то вынырнетъ, но уже далеко, въ другомъ мѣстѣ, и задорно ударится прямо на каменную глыбу, отпрянетъ назадъ, разсыплется серебряной пылью и съ дѣтскимъ смѣхомъ бросится нѣсколькими ручейками въ разныя стороны, торопливо убѣгая отъ своего плачущаго со злости врага, а тамъ, смотришь, уже снова несется однимъ потокомъ, не зная куда и зачѣмъ, и выбѣжитъ на широкую степь. Здѣсь, словно удивленная видомъ незнакомыхъ мѣстъ, она робко оглядывается на родныя горы, но давно уже скрылась изъ вида горамать, тоскуя о своемъ неразумномъ дѣтищѣ,—и бѣглянка разомъ стихаетъ, умѣряетъ свой бѣгъ и ужь не торопится, но боязливо и нерѣшительно пробирается среди чуждыхъ ей береговъ, какъ будто догадываясь, что вотъ сейчасъ какая-то незнакомая большая рѣка встрѣтитъ ее, широко обниметъ и потопитъ въ своихъ глубокихъ водахъ.

У свѣтлыхъ струй этой шаловливой рѣчки, по долинѣ безпорядочно раскинулось башкирское кочевье: изъ за привѣтливой зе-

---

Зюлень—женское платье.

Просо и ячмень. У башкиръ сохранилось преданіе, что на черноземныхъ степяхъ южнаго Урала родились просо и ячмень въ дикомъ состояніи.

Вышедшія изъ озера лошади. У башкиръ Бурдзянской волости существуетъ преданіе, что чистокровныя башкирскія лошади вышли со дна озера Кандры за лошадью одного благочестиваго башкурта, который водилъ поить на озеро свою кобылу.

Дикіе кабаны. Въ настоящее время они водятся въ камышахъ только при устьѣ р. Урала.

Терьма, — богатый и обширный кошъ, иначе кибитка.

Кандры-куль. Преданіе говоритъ, что лучшіе башкирскіе кони вышли изъ этого озера.

Чилякъ—круглая деревянная кадка.

Сиба—кожаный мѣшокъ, въ которомъ хранится кумысъ; **турсукъ**,—мѣшокъ, въ которомъ перевозятъ кумысъ.

Калябашъ—бархатная или шелковая шапочка, унизанная драгоцѣнными камнями и украшенная серебромъ или золотомъ. Стоимость ея отъ 500 р. и до нѣсколькихъ тысячъ. Въ настоящее время такой головной уборъ рѣдкость даже въ домахъ самыхъ богатыхъ башкиръ.

Кашбадъ или **Кашбовъ**—также головной уборъ, имѣющій форму шлемообразной чешуйчатой шапки, съ длиннымъ и широкимъ хвостомъ изъ корольковъ.

лени деревьевъ выглядываютъ жималейки, похожія на остроконечные пастушьи шалаши, изъ теса и лубка кое-какъ слаженные балаганы, и съ пятокъ круглыхъ войлочныхъ кибитокъ, закопченныхъ отъ дыма и побурѣвшихъ отъ долговременнаго служенія. Около этихъ неприхотливыхъ жилищъ снуютъ женскія фигуры съ озабоченными, но довольными лицами, играютъ босоногія загорѣлыя ребятишки, вспугивая своимъ крикомъ пѣвчихъ птицъ, и слышатся гдѣ-то, неподалеку, своеобразные музыкальные звуки... Должно быть, ихъ-то такъ и заслушалась вонъ та молодая дѣвушка, что, раздвинувъ вѣтви орѣшника, стоитъ неподвижно, устремивъ грустно задумчивый взоръ на уносящуюся свободно вдаль рѣчку.

На луговинѣ, передъ одной кибиткой, скучились башкиры, собравшись со всего кочевья. Въ пестрыхъ тюбетейкахъ и длинныхъ ситцевыхъ рубашкахъ, съ широкими отложными воротниками, сидятъ они, подогнувъ подъ себя ноги, молча, время отъ времени, потягиваютъ кумысъ, которымъ ихъ потчуетъ хозяинъ коша, и слушаютъ курайга, пожилого башкира въ поношенномъ люстриновомъ бешметѣ и бараньей шапкѣ на головѣ. Онъ играетъ на своей тростниковой дудкѣ, кураѣ, и одновременно поетъ, возбуждая въ слушателяхъ благоговѣйное вниманіе и сочувствіе: поетъ онъ о подвигахъ батырей, о славныхъ дѣлахъ башкирскаго народа, о прежнемъ привольномъ житьѣ и о многомъ другомъ, что, поперемѣнно, вызываетъ у слушателей или улыбку и радость, или безграничную удаль, или печаль и нерѣдко слезу.

—Хорошо, больно хорошо, — слышится сдержанное одобреніе.

—А-ай, какъ хорошо!

Замолкъ народный пѣвецъ-музыкантъ, выпилъ залпомъ чашку кумыса и призадумался.

— Теперь я буду много играть, — проговорилъ онъ: — про Ушкуль я стану пѣть.

Выраженіе любопытства и оживленія пробѣжало по лицамъ башкиръ.

— Про Ушкуль? Ладно. Это больно хорошо ты надумалъ. Играй намъ про Ушкуль!

Курайгъ приложилъ къ губамъ дудку и запѣлъ про Ушкуль.

I.

Дивный край—наш полуденный Уралъ. Чѣмъ только Богъ не надѣлилъ свою любимую страну! Смотри: передъ тобою, прямо — необозримыя волнующіяся ковылемъ степи; словно бархатные ковры, стелются безъ конца зеленые луга, разукрашенные цвѣтами, точно расплавленное серебро и золото сверкаютъ воды рѣкъ, а по берегамъ за ними, какъ бы догоняя, бѣгутъ купы благоухающей уремы, полныя соловьиныхъ пѣсень. А посмотри, что позади тебя! Тамъ лежатъ каменные великаны, тянутся и наступаютъ другъ на друга горные хребты, покрытые темными лѣсами, громоздятся и лѣпятся громады скалъ, по ущельямъ ревутъ и прыгаютъ вспѣненные потоки, толпами и одиночно, одна изъ-за другой, встаютъ горныя вершины, сіяя надъ облаками своими отъ начала міра нѣчанными главами. Синимъ шатромъ распростерлось небо и съ лазурной высоты глядитъ солнце; зимы коротки и мягки, а про бураны никто и не слыхалъ.

И всею этою благодатною страной владѣютъ свободные башкиры. Они знаютъ, что въ горахъ и рѣчныхъ долинахъ лежатъ сокровища; много золота, серебра и драгоцѣнныхъ камней въ землѣ сокрыто. Но не въ этихъ сокровищахъ богатство народа, а въ стадахъ, косякахъ лошадей и верблюдахъ; изъ озеръ никогда не выловишь рыбы; выпусти башкиръ изъ колчана всѣ до одной стрѣлы, звѣри и птицы не переведутся въ лѣсахъ, а борта всегда будутъ полны душистымъ липовымъ медомъ. Мать-земля даетъ людямъ все, что имъ надо. Зачѣмъ же башкуртъ станетъ желѣзомъ терзать ея грудь, кайлами и оленьимъ рогомъ пробивать горы? Пускай это дѣлаетъ Чудь; Богъ за то и прогналъ этотъ народъ, и землю ихъ отдалъ башкирамъ.

Все это давно было.

Много родовъ владѣли страною; по родамъ дѣлилась земля; ни столбовъ, ни межей никакихъ не было, и кочевали по всей странѣ, кто и гдѣ хотѣлъ.

Каждый родъ жилъ своими аулами и зналъ своего князя. Князя приносилъ жертвы богамъ,—тогда башкиры еще не были право-

вѣрными,—открывалъ народныя празднества и занималъ первое мѣсто на джеинахъ, куда собирался весь родъ: здѣсь рѣшали, когда весною подниматься съ зимовки и выѣзжать на кочевку, дѣлили между собою дорогихъ звѣрей, убитыхъ на охотѣ, или добычу, захваченную на войнѣ, удаляли князя и выбирали новаго, назначали, сколько головъ скота и косякомъ лошадей гнать на промѣнъ въ сосѣднія страны, и разбирали споры между аулами, хотя это случалось рѣдко, потому что въ тѣ времена людямъ не изъ-за чего было спорить. Если угрожалъ нашествіемъ непріятель, то собирался джеинъ отъ всѣхъ родовъ съ своими князьями; кто хотѣлъ воевать, тотъ шелъ, а кто не желалъ, оставался дома: насильно не заставляли итти, потому что башкуртъ — свободный человѣкъ и принужденія не терпѣлъ.

Въ довольствѣ и союзѣ жили башкиры. Самымъ знатнымъ изъ всѣхъ родовъ почитался Арало-Табынскій. Ни у кого изъ князей не было такого богатства, какъ у старого князя Хасеина Фаизуллы. Онъ не зналъ счета своимъ стадамъ, лучшія породистыя лошади, вышедшія изъ озера Кандры, водились въ его безчисленныхъ косякахъ, а дорогіе мѣха, шелковыя ткани, персидскіе ковры и разныя драгоцѣнности, уложенные въ кованные сундуки, занимали у князя особую терьму. Но не одни только богатства составляли гордость Арало-Табынскаго князя; онъ гордился своей дочерью, слава о которой прошла по всей Башкиріи. Никогда еще такой красавицы не видывалъ свѣтъ. Передъ Надой меркла красота всѣхъ княжескихъ дочерей, какъ меркнутъ звѣзды при румяной зорѣ, блѣднѣла и таяла, какъ блѣднѣетъ мѣсяцъ при восходѣ солнца. Высокая, стройная, подобно гибкому тростнику, съ лицомъ бѣлымъ и алыми розами на щекахъ, когда она открывала свои уста, два ряда прекрасныхъ зубовъ свѣтились словно перламутръ, и сладкій голосъ ея лился, точно звуки небесной пѣсни; каждое слово ея стоило дороже самаго крупнаго алмаза. А если подыметъ Нада изъ-подъ темныхъ бровей свои большіе черные глаза, осѣненные длинными и густыми рѣсницами, посмотритъ ими, — дряхлый старикъ позабывалъ про свои немощи и молодѣлъ, а юноша съ радостью готовъ былъ кинуться на опасный подвигъ. Лихая наѣздница, на охотѣ по звѣрю или птицѣ княжна не уступала самому первому стрѣлку изъ лука. Сколько знатныхъ юношей, славныхъ джигитовъ и батырей изнывали отъ

любви по Надѣ, князья на перебой добивались ея руки, предлагая ей большой калымъ, но ни чей пламенный взоръ не проникъ въ грудь княжны, никакія богатства не прельстили гордой красавицы! Князь Хассанъ-Фактулла говорилъ дочери:

— Милая дочь, ты видишь, я старъ уже становлюсь. Горе мнѣ и всему нашему роду, если умру, не оставивъ по себѣ наслѣдника. Выбери себѣ изъ князей или джигитовъ любого, и ты подаришь мнѣ внука, который будетъ достойнымъ моимъ наслѣдникомъ.

— Молоды и богаты наши князья,—отвѣчала Нада, но ни одинъ изъ нихъ не владѣетъ тѣмъ, чѣмъ владѣетъ мой отецъ. Я хочу, чтобы тотъ, кого я назову своимъ женихомъ, совершилъ такое славное дѣло, о которомъ бы передавалось изъ рода въ родъ, и слава о немъ прошла бы по всей землѣ.

— Ты хочешь невозможнаго, — говорилъ сѣдой князь.—За тѣхъ князей, которые прославились въ бояхъ съ врагами, ты не пойдешь,—они стары, а молодымъ еще не выпадало случая показать себя; благодареніе богамъ, давно ни одинъ народъ не грозилъ нашей странѣ! Но если наступитъ война, мужъ твой прославитъ нашъ родъ.

— Тогда не одинъ мой мужъ, а многіе со славою возвратятся съ битвы; про нихъ будутъ говорить, что они защищали родную землю. А я хочу, чтобы женихъ совершилъ славное дѣло ради меня, чтобы я знала, что онъ любитъ и беретъ меня.

— Безуміе, дочь моя! Развѣ ты не примѣчала, какъ при одномъ видѣ твоемъ загораются очи юношей, и темнѣе ночи становятся ихъ лица отъ безнадежной любви?

Тѣ же рѣчи слышала гордая красавица и отъ своей матери, разумной княгини Бики.

Въ долгіе зимніе вечера, оставаясь съ глазу на глазъ съ дочкой въ ея богатой терьмѣ, старая княгиня, лаская и цѣлуя свою ненаглядную, такъ ей говорила:

— Пора, доченька, пора тебѣ замужъ. Скоро семнадцать лѣтъ тебѣ минетъ.

Распустивъ по плечамъ и высокой груди свои черные волосы, положитъ княжна голову на колѣни матери, покоится на мягкомъ коврѣ и задумчиво смотритъ на цвѣтную матерію, которою обиты стѣны ея терьмы.

— Нѣтъ, мама, не пришла еще, видно, моя пора,— отвѣчаетъ.— Статны и ловки молодые князья, могучи и смѣлы наши батыри и джигиты, но ни передъ однимъ я не потупляла своихъ глазъ, и ни разу ни отъ кого не забилось радостью мое сердце...

— О, моя жемчужина! Полюбишь, когда выйдешь замужъ! Не всегда дѣвичье сердце лежитъ къ жениху, а какъ только онъ сталъ мужемъ,—откуда горячая любовь къ нему возьмется!..

— А если и къ мужу не будетъ у меня любви!.. Развѣ я не знаю, отчего поблекла красота Мины Бару, отчего съ каждымъ днемъ вянетъ и сохнетъ молодая княгиня? Нѣтъ, никто не поведетъ меня въ свою терьму, кого я прежде не полюблю и въ любви къ себѣ не испытаю.

II.

Только сошелъ снѣгъ, пронеслись вешнія воды, стала просыхать земля, и показалась молодая травка, какъ по зимовьямъ уже началось движеніе, вездѣ сборы и приготовленія. Съ нетерпѣніемъ всѣ ждутъ радостнаго дня, когда выступятъ на кочевку, но еще нетерпѣливѣе ждетъ скотъ, громадными тучами облегающій аулы. Раздавалось ржаніе лошадей, бившихъ о землю копытами, пронзительно кричали верблюды, мычали волы и коровы, жалобно блеяли бараны съ овцами и козы. Не немного времени осталось потерпѣть: на утро будетъ Сабанъ Туй, а тамъ и тронутся на лѣтовку.

Съ утра шумъ и говоръ въ аулѣ князя Хассана-Фантуллы. Съѣхались гости, башкиры съ семействами, прискакали на лихихъ коняхъ удалые джигиты и батыри, пріѣхали за сотни верстъ князья съ женами, сыновьями и дочерьми. Вблизи княжескихъ терьмъ на берегу рѣки, въ мѣдныхъ котлахъ варятъ баранину для угощенія народа, прибывшаго на праздникъ изъ разныхъ мѣстъ. Надъ аломъ разстилается дымъ: тамъ ласковыя хозяйки стряпаютъ кушанья, которыми станутъ подчивать своихъ гостей. Повсюду нарядныя толпы; разноцвѣтные мужскіе бешметы перемѣшиваются съ такими же бешметами и шелковыми

зюленями женщинъ; волнами движутся и плывутъ толпы къ терьмамъ стараго князя.

Вышли пріѣзжіе князья, блестя дорогою оправою своего оружія, въ тонкихъ суконныхъ чекменяхъ и шелковыхъ бешметахъ, въ собольихъ и бобровыхъ шапкахъ; появился и сѣдой князь Хассанъ-Фактулла, въ бѣлой папахѣ и бѣлой одеждѣ, а за нимъ вслѣдъ показались и княгиня съ дочерью и гостями. Старый князь прижалъ руку къ сердцу и поклонился народу.

— Здравствуй, князь! — загремѣла въ одинъ голосъ, многотысячная толпа народа.—Будь здоровъ, нашъ добрый князь!

Пріѣзжіе князья, по очереди и старшинству рода, подходили къ Хассану, говорили ему каждый свое привѣтствіе и обѣими руками пожимали его руку; привѣтствовали они хозяйку и ея дочь, а также и другихъ княгинь съ княжнами. Когда привѣтствія окончились, князь Хассанъ, въ сопровожденіи своей семьи и гостей, направился къ жертвеннику, куда за ними хлынули и волны народа.

Стояло тихое утро; солнце ярко освѣщало степи, лѣса и горы, а въ чистомъ поднебесьѣ заливались жаворонки. На вершину зеленаго холма взошли одни князья, во главѣ ихъ сѣдой Аралo-Табынскій князь; ихъ семейства и народъ остановились внизу. На жертвенникѣ были приготовлены животныя, поставлены серебряные и вызолоченые кувшины съ медомъ, просомъ, ячменемъ и холодной водою, навалены сухія вѣтви; тутъ же стоялъ и небольшой изъ красной мѣди сабанъ. Князь Хассанъ приблизился къ жертвеннику, сталъ лицомъ къ полудню и, поднявъ руки кверху, громко воззвалъ:

— Великій богъ, живущій на небесахъ! Мы, башкиры, пришли на это священное мѣсто, чтобы принести тебѣ отъ нашихъ благодарныхъ, чистыхъ сердецъ любимыя тобою жертвы. Вотъ непорочные бараны, янтарный медъ, жемчужное просо и отборный ячмень. Прими наши жертвы и даруй своему народу благоденствіе, миръ и счастье. Не отнимай у народа свободы; какъ свободными, по твоей волѣ, люди родились на свѣтъ, такъ свободными бы они всегда и жили. Не давай надъ ними воли шайтану и злымъ людямъ, которые обманомъ и обольщеніями завлекаютъ простыхъ людей въ свои сѣти! Улучши породу лошадей и храни скотъ. Даруй больше тепла, посылай землѣ во время дождикъ, чтобы она давала лю-

дямъ просо и ячмень, и скоту кормъ. Благослови башкиръ на лѣтовку! Великій богъ! услыши молитву башкирскаго народа и исполни его прошенія!

И вокругъ, за сѣдовласымъ княземъ, мужчины, женщины и дѣти, поднявъ къ небу руки, громко повторили:

— Великій богъ! услыши молитву башкирскаго народа и исполни его прошенія!

Старый князь, вынувъ изъ за широкаго пояса, украшеннаго золотымъ наборомъ, острый ножъ, закололъ одного за другимъ трехъ барановъ; потомъ высыпалъ на жертвы просо и ячмень и облилъ ихъ медомъ. Обмывъ руки, князь — снова громко воззвалъ:

— Богиня земли! Прими наши жертвы, пошли землѣ плодородіе, хорошее просо и ячмень, сытную траву и всякое полезное людямъ и скоту произрастеніе. Вотъ сабанъ, который мы хранимъ отъ нашихъ предковъ, но мы не прикоснемся имъ къ матери землѣ, не тронемъ ея груди: земля для насъ священна. Милосердная богиня! услыши молитву башкирскаго народа и исполни его прошенія!

И весь народъ громко повторилъ послѣднія слова князя.

Затѣмъ онъ обратился съ прошеніемъ къ богу стадъ, къ богу лошадей, къ солнцу, къ богинѣ лѣсовъ и многимъ другимъ. Послѣ каждаго обращенія, князь закалывалъ по одному барану въ жертву божества, осыпалъ просомъ и ячменемъ и обливалъ медомъ, а другіе князья разрѣзали мясо на части и клали на сухія вѣтви. Скоро вспыхнули огни, надъ жертвенникомъ поднялось облако дыма и бѣлымъ столбомъ понеслось къ самому небу. Пѣніе и радостные клики наполняли окрестность: боги приняли жертвы, и моленіе князя съ народомъ было услышано.

Князь Хассанъ-Фактулла, съ лицомъ радостнымъ и свѣтлымъ, поздравилъ народъ и князей съ праздникомъ, велѣлъ изъ жертвенныхъ частей отъ трехъ барановъ отнести мяса къ своимъ терьмамъ, а отъ всѣхъ остальныхъ раздѣлилъ народу, чтобы каждый башкуртъ, приступая къ своему домашнему пиршеству, вкусилъ жертвеннаго мяса.

Весело пируютъ князья, расположившись на коврахъ и подушкахъ передъ кошами, ѣдятъ вкусныя яства, пьютъ крѣпкій медъ и ведутъ между собою согласныя рѣчи. Радостны лица княжескихъ

женъ и дочерей, свѣтлы ихъ взоры, ярко краснѣютъ на ихъ бѣлыхъ шеяхъ кораллы, блестятъ жемчуга и горятъ драгоцѣнные камни; прекрасны юныя княжны, но не къ нимъ бьются любовью сердца молодыхъ князей, не на нихъ устремлены долгіе взгляды: всѣхъ приковываетъ неземная красота одной только Нады...

Весело пируетъ у кибитокъ и котловъ народъ, пьютъ крѣпкій медъ и ведутъ хорошіе разговоры. Звуки курая и чибазги разносятся по аулу, а изъ поднебесья льются весеннія пѣсни жаворонковъ...

Но что тамъ, въ сторонѣ, гдѣ возноситъ къ небу свою мрачную вершину гора Шайтанъ, вдругъ закрутилось, точно вихрь, и бѣшено мчится по широкой степи? Смотрятъ вдаль князья, джигиты и народъ... Вотъ, видятъ, мчится всадникъ, несется къ аулу. Все ближе, и ближе... Зоркій глазъ башкуртовъ уже отличаетъ вороную масть лошади, коричневый бешметъ, черный чекмень и соболью шапку наѣздника.

— Вѣрно, какой джигитъ на праздникъ поспѣшаетъ, — слышатся голоса.—Кто бы такой?..

Всадникъ уже совсѣмъ близко, вотъ онъ влетѣлъ въ аулъ, и несется къ княжескимъ терьмамъ; храпитъ и фыркаетъ подъ нимъ взмыленный конь. Осадивъ на всемъ скаку вороного, джигитъ спрыгнулъ на землю, оправилъ на себѣ одежду, и подходитъ къ пирующимъ князьямъ. Онъ привѣтствуетъ хозяина, проситъ извинить, что запоздалъ: у него нездорова мать, и онъ не могъ ее оставить раньше, пока не увидѣлъ, что больной лучше.

— Любезный Галли!—воскликнулъ старый князь.—Да тебя ли я вижу? Какъ ты перемѣнился!..

Никто не узналъ молодого князя Галлея-Ахмета: онъ возмужалъ и похорошѣлъ; красиво чернѣется его тонкій усъ, и смѣлъ взоръ карихъ очей статнаго, высокаго юноши.

Не узнала Галлея-Ахмета и старая княгиня, и ея дочь... Но отчего смутился Галлей, проглотилъ слова привѣтствія княжнѣ, когда глаза его встрѣтились съ ея взоромъ?

Усердно потчуетъ запоздалаго гостя радушный хозяинъ, велитъ подать самый лучшій кусокъ шашлыка, самъ наливаетъ въ золотой кубокъ прозрачнаго крѣпкаго меда; но мало ѣстъ гость, едва обмочилъ въ напиткѣ свои шелковистые усы и украдкою бросаетъ взгляды на красавицу Наду.

Не богатъ Галлей-Ахметъ, не велико наслѣдство досталось ему отъ покойнаго отца, а княземъ онъ былъ самаго малаго, Бурдзянскаго рода. Но хозяинъ съ нимъ ласковъ и любезенъ, больше чѣмъ съ богатыми князьями. Всю жизнь онъ былъ въ тѣсной дружбѣ съ отцомъ Галлея-Ахмета, вмѣстѣ съ нимъ ходили на войну, и не разъ выручали другъ друга изъ опасности; на кочевьяхъ аулы ихъ находились всегда поблизости, и друзья все лѣто проводили неразлучно. Но князь Ахметъ годъ назадъ умеръ, и князь Хассанъ со слезами проводилъ своего друга въ могилу. Чѣмъ старѣе дружба, тѣмъ крѣпче она, и если одинъ изъ пріятелей уйдетъ на небо, другой, оставшійся на землѣ, свою любовь перенесетъ на близкихъ покойнаго. Со дня похоронъ Ахмета, князь Хассанъ не видалъ молодого Галлея, и теперь онъ отъ всей души обрадовался его пріѣзду. Пирующіе замѣтили вниманіе хозяина къ небогатому гостю; но никто вида непріятнаго не показалъ; всѣ знали про дружбу хозяина съ отцомъ Галлея. Только князь Кара-Кипчакскаго рода, самый богатый послѣ Хассана-Фактуллы, тридцатипятилѣтній вдовецъ, какъ-то значительно посмотрѣлъ на юнаго Галлея-Ахмета.

Видитъ хозяинъ, что сынъ его друга отказывается отъ вкусныхъ яствъ и не пьетъ сладкаго напитка; поднялся онъ и прочиталъ молитву. Гости стали благодарить стараго князя и его жену.

— Теперь, князья, — промолвилъ хозяинъ, — на коней и въ степь! Я вижу, тамъ собрался народъ, и выѣхали джигиты съ батырями.

III.

Сколько силы, ловкости и смѣлости показали джигиты и батыри! Быстро, какъ птица, пролетали они ристалище, перескакивали черезъ самыя трудныя преграды, поднимали съ сѣдла, не касаясь земли, разныя вещи, брошенныя изъ живыхъ стѣнъ народа, пускали изъ лука мѣткія стрѣлы, попадая въ чуть замѣтныя глазу точки. Удалые джигиты спорили въ искусствѣ съ князьями и нерѣдко одерживали надъ ними побѣду. Шумными кликами народъ привѣтствовалъ побѣдителей.

На высокомъ холмѣ сидятъ князья съ семействами. Изъ-подъ густыхъ черныхъ бровей смотритъ князь Хассанъ-Фактулла; видитъ онъ состязанія молодежи, довольныя и счастливыя лица, и сердце въ немъ наполняется радостью. Отличившіеся въ джигитовкѣ подъѣзжаютъ къ княжеской ставкѣ, и каждый получаетъ изъ рукъ той или другой княжны награду; богатую шапку, кинжалъ въ дорогой оправѣ, булатный мечъ или изукрашенный узорами колчанъ. Но еще ни одинъ не удостоился высшей награды—бѣлаго шелковаго покрывала, которымъ повяжетъ шапку своими руками первая красавица, сама дочь князя Хассана-Фактуллы.

— Неужели никто не возьметъ моей награды?— спросила красавица, обводя глазами молодыхъ князей, вернувшихся съ джигитовки.

На этотъ вызовъ разомъ встали два князя, не принимавшіе участія въ состязаніяхъ: Меджинъ-Абдрахманъ Кара-Кипчакскій и Галлей-Ахметъ Бурдаянскій. Закинувъ за плечи колчаны, князья спустились съ холма, вскочили на своихъ коней, гикнули—и оба стрѣлою понеслись по степи; зрители не успѣли проводить ихъ глазами до урочнаго столба, какъ ужъ тѣ летѣли обратно. Два раза вороной конь Галлея отставалъ отъ гнѣдого жеребца князя Меджина; но мигнуть не успѣли,— смотрятъ—онъ уже снова впереди своего соперника и первымъ принесся съ всадникомъ. Въ третій разъ джигиты полетѣли, вихремъ домчались до мѣты и повернули назадъ; тутъ выпустили дикаго сокола, и князь Меджинъ лукнулъ въ него свою стрѣлу; вздрогнула хищная птица, шарахнулась въ сторону и взвилась къ небу. Другого сокола пустили; поднялся высоко онъ надъ княжескою ставкою, но вдругъ, настигнутый стрѣлою Галлея, опрокинулся въ чистомъ воздухѣ и въ и то время, какъ князь Галлей прискакалъ къ холму, а за нимъ, гнѣвно сверкая очами, и князь Меджинъ, мертвая птица упала къ ногамъ княжны Нады: стрѣла Галлея угодила соколу прямо въ грудь.

— Молодцы, князья! Хвала и честь вамъ! — гремѣли, словно раскаты грома, со всѣхъ сторонъ тысячи голосовъ.

На встрѣчу Галлея поднялась княжеская дочь-красавица, вскинула на юношу свои черные глаза, розы на ея щекахъ пышнѣе расцвѣли; бѣлымъ, точно чистый снѣгъ, тончайшимъ покрываломъ повязала она своими нѣжными руками соболью шапку на князѣ,

обвивъ ее кругомъ и выпустивъ на верху конецъ ткани, которая засеребрилась, точно распвѣтшій въ степи ковыль.

— Галлей-Ахметъ, князь Бурдзянскаго рода! — послышался сладкій голосъ.—Какъ бѣла и чиста ткань покрывала, такъ бѣла и чиста была бы твоя жизнь, слава о твоихъ добрыхъ дѣлахъ и подвигахъ покрыла бы твою голову и развѣвалась по всей землѣ точно такъ же, какъ теперь развѣвается на твоей шапкѣ!

Окончила княжна свое привѣтствіе. Молодого Галлея всѣ поздравляли, а князь Меджинъ закусилъ свой усъ и слова не проронилъ.

— Князь Меджинъ-Абдрахманъ!—сказалъ добрый Хассанъ-Фактулла:—прими свою награду, мой завѣтный кубокъ, пей изъ него во здравіе и веселіе.

На степи вступили въ единоборство батыри, выказывая великую силу и ловкость. По высокимъ гладкимъ столбамъ взбирались смѣльчаки, чтобы достать съ макушки награду; появились мальчуганы—подростки, съ дубинками въ рукахъ, и стали катать шаромъ. То тамъ, то сямъ собирались дѣвицы и парни, плясали свою любимую „перепелку“ и пѣли пѣсни, заводили разныя игры и веселились, какъ только умѣла веселиться здоровая молодежь, сыновья и дочери свободныхъ башкиръ.

Далеко за полночь не умолкали голоса и звуки музыки, раздавался громкій смѣхъ парней, взвизгиванія дѣвицъ, шутки и опять смѣхъ, и молодой говоръ.

Князь Галлей-Ахметъ не дождался конца праздника; онъ на другой день уѣхалъ въ свой аулъ къ больной матери. Прощаясь съ нимъ, хозяинъ звалъ его къ себѣ гостить на лѣтовку, звала и сама княгиня, а дочь — красавица посмотрѣла на статнаго юношу, выговорила: „Пріѣзжай, князь“! и потупилась, но быстро подняла голову и гордо удалилась, ни разу не обернувшись. Если бы она видѣла, какимъ огнемъ вспыхнули глаза Кара-Кипчакскаго князя!

Уѣхалъ Галлей; всю дорогу съ нимъ былъ неразлученъ образъ красавицы. Два года любилъ онъ Наду, два года сердцемъ и мыслями онъ ни на минуту не разставался съ нею; даже когда страшной печалью поразила его душу смерть отца — не позабывалъ о Надѣ. Но онъ бѣдный князь, гордость не позволяетъ ему свататься за богатую княжну. Больше года не видалъ ее Галлей, избѣ-

галъ съ нею встрѣчи, думая, что любовь въ немъ перегоритъ и истлѣетъ. Онъ не хотѣлъ ѣхать на праздникъ: больная мать уговорила сына и послала его къ другу своего покойнаго мужа. Сколько разныхъ чувствъ испыталъ Галлей дорогою къ аулу стараго Хассана, какихъ только мыслей не пронеслось въ его горячей головѣ! Не разъ онъ думалъ повернуть коня, чтобы вернуться обратно домой; но неудержимая сила влекла его впередъ, — онъ пріѣхалъ, увидѣлъ Наду и сразу почувствовалъ, какою пламенной любовью охватило его при видѣ княжны... Вспомнилъ теперь Галлей, какъ покраснѣла княжна, встрѣтивъ его послѣ джигитовки... А взглядъ, какимъ она подарила его на прощаньѣ, и два слова: „пріѣзжай, князь"!.. Нѣтъ, онъ не станетъ больше избѣгать встрѣчи съ нею, онъ поѣдетъ на лѣто въ гости къ старому князю, скажетъ Надѣ, какъ онъ любитъ ее, и пусть она сама рѣшитъ: жить ему на свѣтѣ, или ускакать къ ногайцамъ и въ схваткѣ съ ними сложить свою несчастливую голову? Да, онъ такъ и поступитъ; бурдаянцы его будутъ довольны, если кочевье ихъ расположится въ сосѣдствѣ съ кочевьями князя Хассана-Фактуллы... Нѣтъ, Галлей не уступитъ Наду князю Меджину, сколько бы тотъ ни сердился и ни металъ глазами искръ злобы; онъ не боится Кара-Кипчакскаго князя!

И всадникъ, то пришпоривая своего коня, мчится вихремъ черезъ степь и горы, то, осаживая разгорячennаго скакуна, ѣдетъ шагомъ, погружаясь въ думы.

Три дня продолжался въ аулѣ князя Хассана-Фактуллы праздникъ. Весело было гостямъ, не скоро они разстались съ ласковымъ хозяиномъ, если бы сами не торопились на свой праздникъ Сабана. Не веселъ былъ одинъ Кара-Кипчакскій князь, но онъ послѣднимъ уѣхалъ съ праздника. Выждавъ время, чтобы остаться съ княжною наединѣ, онъ предложилъ ей свою руку. Гордая красавица выслушала и въ отвѣтъ только покачала головой.

— Я богатъ, княжна!— воскликнулъ Меджинъ-Абдрахманъ;— тебѣ будутъ завидовать всѣ княжны.

— Богатъ и мой отецъ, я единственная его наслѣдница, — отвѣчала дочь Арало-Табынскаго князя.

— Мой родъ — самый знатный изъ всѣхъ башкирскихъ родовъ,—горячился князь Меджинъ:—мои дѣды прославили Башкирію своими дѣлами, имена ихъ помнятъ сосѣди враги...

Улыбнулась Нада.

— Прощай, князь!—поклонилась она надменному князю:—меня зоветъ мать.

Покраснѣлъ Кара-Кипчакскій князь и страшнымъ взглядомъ проводилъ гордую красавицу.

Сумракъ ночи одѣлъ горы и степь. Ѣдетъ съ своими друзьями князь Меджинъ. Молча возвращается онъ домой, мрачныя думы ходятъ въ головѣ князя, и тяжелый камень лежитъ у него на сердцѣ.

— Нѣтъ, она его не выберетъ! — думалъ онъ:—Нада умна и горда, а Галлей мальчикъ и бѣденъ... Его удача — добрый конь и счастливый случай...

— Айда!—крикнулъ князь, хлыснувъ своего гнѣдого жеребца, и скрылся съ товарищами въ горномъ туманѣ.

IV.

Нѣтъ ничего на свѣтѣ дороже и милѣе кочевокъ! Никогда приволье ихъ не промѣняютъ башкиры на каменные, душные и пыльные города персидскаго шаха. И не даромъ башкуртъ любитъ свои „кочи“.

Слетитъ на землю весна, поднимется съ зимовья народъ, и родная степь, долины, и лѣса встрѣтятъ людей лаской и привѣтомъ. Горные туманы рѣдѣютъ, выступаютъ лиловыя и голубыя горы, шире раздвигается чудная даль, и степь куда-то незамѣтно плыветъ, тихо вся движется. Видишь, какъ все часъ отъ часа хорошѣетъ и наряжается: вотъ, по яркой зелени зажелтѣли полосы чилязняка; склоны горы затопило розовымъ цвѣтомъ дикаго персика; разлились необозримыя бѣлыя озера: то распушился ковыль, покрылись цвѣтомъ вишенникъ и клубника... Въ густыхъ высокихъ травахъ бьютъ перепела, трещатъ кречетки, чирикаетъ стрепетъ, кричитъ дергачъ, курлычатъ журавли, а съ воды разносится кряканье дикихъ утокъ, гоготаніе гусей и крики всякой птицы, налетѣвшей изъ-за теплыхъ морей. А что творится въ лѣсу?.. Войдешь и остановишься, очарованный райскимъ пѣніемъ!.. Только на кочевьѣ живетъ человѣкъ вмѣстѣ съ Богомъ, и только въ одной Башкиріи увидишь такую красоту.

И вездѣ, куда ни посмотришь, — на степь ли, на горныя или рѣчныя долины, на берега ли зеркальныхъ озеръ, — вездѣ-то бѣлѣются терьмы, пасутся, утопая въ травѣ, безчисленныя стада, рѣзвятся косяки быстроногихъ коней и гуляютъ, мѣрно колыхаясь, сытые верблюды. Благоухающая урема, дремучіе лѣса и голубой воздухъ поютъ и звенятъ, все радуется и ликуетъ.

Верстъ за пятьдесятъ отъ своего зимовья кочуетъ старый князь Хассанъ Фактулла. Словно тысячи разбросанныхъ ульевъ, свѣтятся по берегамъ звонкоструйной рѣчки терьмы арало-табынцовъ. Роскошная и обширная долина одной стороною выходитъ на степь, а съ трехъ ее обнимаютъ горы, покрытыя темными борами или веселыми рощами: сверкаютъ онѣ своими разноцвѣтными остріями, и надъ ними, вдали, кутаясь въ облака, царитъ Шайтанъ-гора.

Въ мирныхъ трудахъ, въ охотѣ и отдыхѣ проводитъ время народъ. Подъ широкой тѣнью развѣсистыхъ липъ или густолиственнаго осокоря пожилые башкиры занимаются работами: одни выдѣлываютъ изъ кожи сабы и турсуки для кумыса; другіе мастерятъ чиляки, сѣдла и колчаны; третьи вырѣзываютъ изъ березовыхъ наростовъ чашки и ковши, украшая ихъ искусной рѣзьбою. Около княжескихъ терьмъ, косматая на подушкахъ и коврахъ, старики вмѣстѣ съ княземъ пьютъ крѣпкій цѣлебный кумысъ и слушаютъ курайга, говорятъ о прежнихъ временахъ и о великанахъ, вспоминаютъ про свою молодость и войны съ завистливыми врагами, покушавшимися завладѣть башкирскою землею и поработить свободный народъ. Молодежи не видать; всѣ съ утра еще оставили аулъ и разсыпались: кто охотится за рыбою на озерахъ, кто за звѣремъ въ горахъ и лѣсахъ. Женщины готовятъ кумысъ и кушанья, хлопочутъ по хозяйству; дѣвицы обшиваютъ себя и домашнихъ, помогаютъ въ трудахъ своимъ матерямъ, а ребятенки играютъ на берегу шумнаго потока, или у зеленаго перелѣска, гдѣ кружатся на веревкѣ молочные жеребятки, привязанные къ вбитымъ въ землю колышкамъ, время отъ времени жалобнымъ и тонкимъ ржаніемъ призывая матокъ, чтобы тѣ поскорѣе къ нимъ прибѣжали и покормили своихъ голодныхъ дѣтей.

Иногда князь Хассанъ-Фактулла съ стариками вздумаетъ прокатиться: сядутъ на коней и шагомъ поѣдутъ на пастбища, осмотрятъ тамъ стада и полюбуются косяками лошадей. А то поѣдутъ

съ беркутомъ и соколами на охоту: много всякой озерной птицы привезутъ старики!

Князья сосѣднихъ родовъ не забываютъ на лѣтовкѣ Арало-Табынскаго князя, пріѣзжаютъ и изъ дальнихъ, за триста—четыреста верстъ, князья къ нему въ гости. Не успѣютъ проводить однихъ гостей, — встрѣчай новыхъ: для всѣхъ найдется мѣсто и угощеніе въ просторныхъ терьмахъ радушныхъ хозяевъ! Не пріѣзжалъ одинъ Кара-Кипчакскій князь, Меджинъ-Абдрахманъ.

Чаще и дольше другихъ гоститъ молодой Галлей-Ахметъ. Съѣздитъ когда въ родной аулъ, провѣдаетъ мать съ младшимъ братомъ, и солнце не успѣетъ зайти за горы, какъ ужъ онъ несется обратно на своемъ конѣ-вихрѣ! Его любитъ старый князь Хассанъ, ласкаетъ княгиня Вика, и для всѣхъ башкиръ Арало-Табынскаго рода онъ самый пріятный гость въ аулѣ. Галлей почти неразлученъ съ княжной Надою. Гдѣ она, тамъ и онъ: въ аулѣ, на охотѣ, въ играхъ—вездѣ съ нею!.. Только покровы ночи скрываютъ гордую красавицу отъ его взоровъ. На охотѣ княжна испытываетъ смѣлость и силу юноши, заставляя его одного выходить на разъяреннаго кабана или гоняться за лосемъ. Въ играхъ она слѣдитъ за его ловкостью и обращеніемъ съ молодыми княжнами, своими подругами-красавицами. На бесѣдѣ старшихъ, при отцѣ и матери, княжна испытываетъ умъ Галлея, задаетъ ему такіе хитрые вопросы, отъ которыхъ уклонился бы и самый премудрый старецъ; но князь смѣло отвѣчаетъ и приводитъ въ удивленіе всѣхъ собесѣдниковъ. Разуменъ, отваженъ Галлей-Ахметъ, ни передъ кѣмъ не подается назадъ и безстрашно пойдетъ на встрѣчу всякой опасности; но когда ему выпадетъ случай остаться съ глаза на глазъ съ царицею своего сердца, онъ самъ не свой: хочетъ излить въ пламенной рѣчи передъ красавицею свою душу, сказать ей, какъ онъ давно и всѣмъ сердцемъ любитъ ее; но слова не идутъ у него съ языка, онъ только блѣднѣетъ и краснѣетъ... Нада радуется смущенію юноши, въ черныхъ очахъ ея загорается что-то, никѣмъ и никогда еще не виданное; соберется съ духомъ Галлей, подниметъ на нее взглядъ, — и передъ нимъ прежняя княжна, прекрасная и гордая. А уѣдетъ Галлей къ своей матери, подруги замѣчаютъ, что рѣже смѣется Нада, часто о чемъ-то задумывается и молчитъ.

Весенній день, сіяющій и радостный, тихо уходитъ; недалекъ

путь остался солнцу до сверкающей горы, за которою оно ложится спать. Легкой прохладой потянуло съ рѣки; запахомъ цвѣтовъ повяѣло; издалека доносится конское ржаніе и мычаніе коровъ: приближаются къ ауду косяки и стада.

Передъ самою большою терьмою, на разостланныхъ мягкихъ коврахъ сидитъ князь съ княгинею и гостями, окруженные аульными стариками и пожилыми людьми. Идутъ добрые разговоры, попиваютъ всѣ кумысъ. Доволенъ и счастливъ народъ съ добрымъ княземъ Хассаномъ! Много новой силы набрались башкиры на кочевкѣ: старики глядятъ свѣжими, здоровыми и бодрыми, а про молодыхъ и говорить нечего... Чу! голоса ихъ, пѣсни и смѣхъ: вернулись съ рыбаченья и охоты!.. Топотъ послышался, пронесся точно вихрь, и замолкъ.

— Они! Пріѣхали!—раздалось у княжескихъ терьмъ.—Скорѣе къ намъ!...

— Ѣсть, ѣсть хотимъ!—кричитъ откуда-то княжна Нада.

Немного погодя веселый говоръ и звонкій смѣхъ наполнили степенную бесѣду. Разсказы про охоту и приключенія, похвальбы добычею... На огнѣ дожаривается шашлыкъ, — и веселый шумъ прерывается.

— А-яй! Какъ хорошо за дѣло принялись! — посмѣиваются старики.—Видно, на охотѣ не покормили!

Солнце ушло на ночлегъ, спряталось; по небу разлилась румяная заря. Въ аулѣ и по берегамъ рѣки засвѣтились огоньки, надъ долиною, въ прозрачномъ воздухѣ, разстилаются сѣроватыя струйки дыма. Громче разносятся пѣсни, топотъ лихой пляски и здоровый смѣхъ.

— Ужинать!.. Ужинать!—слышатся женскіе голоса.

На зовъ своихъ вѣрныхъ женъ, съ травы поднимаются башкиры.

— Прощайте, князь, и ты, княгиня! Покойнаго сна вамъ и дорогимъ вашимъ гостямъ.

— Прощайте, друзья!—отвѣчаетъ старый Хассанъ.—Да хранятъ васъ милостивые боги!

Пѣсня и пляска въ аулѣ не стихаютъ, молодежь не торопится оставлять веселья. Матери охрипли, крича:

— Да идите же скорѣе! Барашекъ остынетъ!..

Только чей-нибудь голосъ отзовется:

— Подожди, мама! Дай еще потѣшиться...

— Безъ ужина останетесь!.. Отцы пришли...

Нечего дѣлать, хоть и не хочется, надо расходиться: ждутъ отцы!

Вокругъ княжны Нады сомкнулись подруги, молодые князья и джигиты. Красавица весела, рѣчь ея блещетъ умомъ, и смѣхъ чаруетъ сердца; гдѣ Нада, тамъ нѣтъ мѣста заботѣ, тамъ радость и счастье... Улыбка не сходитъ и съ лица стариковъ и пожилыхъ, бесѣдующихъ вблизи, и жадно ловятъ они слова дочери Арало-Табынскаго князя. Заслушалась молоденькая княжна Зара своей подруги, но свѣтлые глаза ея устремлены на Галиея-Ахмета. Князь Меркатлинскаго рода, большой пріятель Меджина-Абдрахмана, шепнулъ что-то на ухо Надѣ. Кинула она быстрый взглядъ на Зару, черныя очи вспыхнули гнѣвомъ и въ мигъ потухли, опять красавица смѣется.

— Князья и джигиты!—начала погодя Нада:—хотите, я разскажу вамъ про одну царевну?

— Разсказывай, княжна, разсказывай!—подхватили горячо со всѣхъ сторонъ.

— Слушайте.

Послѣдніе отблески зари лежатъ на вершинахъ далекихъ горъ; небо все больше и больше синѣетъ; на долину ужъ спустился теплый весенній вечеръ. Нада говорила:

— Были у царя двѣ дочери, обѣ красавицы. Къ старшей много сваталось князей и царевичей, но всѣмъ царевна отказывала. Отецъ съ матерью уговаривали дочь, чтобъ она выбрала себѣ жениха, что ей уже восемнадцать лѣтъ, и нехорошо оставаться въ дѣвушкахъ. „Найдите мнѣ жениха, котораго я полюбила бы и который бы меня полюбилъ“, отвѣчала царевна.

— „А развѣ тѣ женихи, что искали твоей руки, не любятъ тебя“?—„Нѣтъ“, говорила царевна: „ни у одного изъ нихъ въ очахъ я не видала любви, и ни одинъ не тронулъ моего сердца“.— Родители любили свою дочь и не принуждали ее выходить замужъ, только смотрѣли на красоту дочери и украдкою вздыхали. Царевну прозвали гордой невѣстой и сулили, что она умретъ старой дѣвицею. Но пріѣхалъ князь какого-то народа, царевна увидѣла его, и сердце въ ней сладко забилось. Князь сталъ часто ѣздить въ домъ царя, вездѣ искалъ встрѣчи съ красавицею и говорилъ не

словами, а глазами, что любитъ царевну, что не богатство отца, а ее хотѣлъ бы за себя взять. Но красавица желала испытать князя, точно ли онъ любитъ ее, не лгутъ ли его карія очи. И сердце ее не обмануло. Она скоро услышала, что молодой князь точно такъ же говоритъ и ея младшей сестрѣ, и та отвѣчала князю любовью... Оскорбилась княжна, увидѣвъ ложь, и отвернулась съ негодованіемъ отъ легкомысленнаго князя. „Нѣтъ“, сказала она себѣ: „лучше остаться на вѣкъ дѣвушкой, чѣмъ быть игрушкою и чувствовать униженіе, рабство“...

Умолкла княжна Нада.

Вся горячая кровь ударила въ лице Галлея Ахмета.

— А еще-то что съ царевною было? — нетерпѣливо спросила дочь князя Булекей-Кудейскаго рода, молоденькая княжна съ свѣтлыми глазками.—Ты не досказала конца.

— Царевна осталась дѣвушкою,—коротко отвѣтила Нада.

Всплеснула руками подруга.

— Не знаю... Но если-бы ты, Зара, была на мѣстѣ царевны, ты какъ-бы поступила?

Птичкой веселой въ отвѣтъ прощебетала княжна съ свѣтлыми глазками:

— Если-бы Зара полюбила, то чужихъ словъ она не послушала-бы, а прямо спросила бы князя: „въ союзѣ твои глаза съ сердцемъ, или въ размолвкѣ?“—„Въ союзѣ“—отвѣтилъ-бы князь.—„А что твои глаза и сердце говорятъ?“—«Они говорятъ Зарѣ, что я люблю ее“.—«Ахъ, какой-же ты недогадливый!“ — отвѣтила-бы ему Зара. „Да развѣ ты не видишь, какъ я тебя люблю?.. Бери меня за руку и веди въ свою терьму“.

Громкій смѣхъ и веселые голоса покрыли эти слова.

— Какова? А?..

— Да она — бѣдовая, огонь! добродушно посмѣиваясь, говорилъ князь Хассанъ Фактулла. — Надобно намъ, старикамъ, подальше куда пересѣсть, а то, пожалуй, она спалитъ наши сѣдыя бороды.

— Неужели ты, Зара, никому не повѣрила-бы? — спросила дочь хозяина, взглянувъ на князя Меркатлинскаго рода, пріятеля Меджина.

— Ни одному человѣку на свѣтѣ!

Улыбнулась свѣтло Нада, кинула взоръ на Галлея.

Встрепенулся бурдзянскій князь.

— Хороша твоя сказка, княжна, — заговорилъ онъ, смѣло встрѣтивъ ея взглядъ.—А знаешь-ли ты старинную быль про Кусюка и Кумэдею?

Не знала княжна. Не знали и другіе, а изъ старыхъ людей придвинулись ближе, чтобы не проронить слова.

— На землѣ башкиръ Усерганскаго рода есть гора и курганъ, —такъ началъ Галлей Ахметъ:—гора зовется Кусюкъ-тау, а курганъ—Кумэдей-аба. Въ старину жилъ тамъ народъ другого племени, не башкирскаго. Одинъ джигитъ, по имени Кусюкъ, высваталъ себѣ невѣсту въ сосѣднемъ улусѣ; звали ее Кумэдеей. Женихъ видѣлъ дѣвушку только разъ, случайно, и полюбилъ ее, а невѣста совсѣмъ не знала его: сватовство велось заочно ихъ родственниками. Сладилось дѣло. Пріѣхалъ по невѣсту женихъ на хорошемъ конѣ. Тутъ выискались недобрые люди, которымъ хотѣлось разстроить свадьбу. Кинулись къ невѣстѣ:

— Тебѣ налгали, что Кусюкъ джигитъ и хорошъ собою. Онъ страшенъ лицемъ, неуклюжъ станомъ и крутъ нравомъ. Кусюкъ не человѣкъ, а звѣрь. И ты, такая красавица, будешь женою страшилища? Подумай, не губи своей красы и молодости!

Призадумалась дѣвица, опечалилась... Слышитъ, женихъ ужъ собирается къ ней, сейчасъ пріѣдетъ и возьметъ свою жену. Ахнула Кумэдея, на коня — и айда въ степь, на кочевку! Кусюку дали знать. Не теряя времени, поскакалъ онъ вслѣдъ за невѣстою, догналъ бѣглянку у кургана.

„Здравствуй, красавица!“—крикнулъ.

Не успѣла дѣвица отвѣтить на привѣтствіе, какъ смѣлый джигитъ чмокнулъ ее въ губы!.. Оправилась отъ испуга Кумэдея,— гнѣвно спросила дерзкаго:

— Кто ты такой?

— Я Кусюкъ, твой женихъ.

Откинулась на сѣдлѣ дѣвица, глядитъ на ловкаго и красиваго молодца...

— О! да ты джигитъ! — и Кумэдея вся расцвѣла и такъ посмотрѣла на джигита, что тотъ не утерпѣлъ и въ другой разъ поцѣловалъ ее.

— А какъ же люди мнѣ говорили, — промолвила дѣвушка,—

что ты... не джигитъ?.. Неправду они сказали. Теперь я — твоя жена, а ты—мой мужъ!

Крѣпко обнялъ раскраснѣвшуюся невѣсту Кусюкъ, — промолвилъ слово:

— „Эхъ, Кумэдея, дорогая моя! Неужели ты думала, что люди всѣ хороши, и душа ихъ велика? Вонъ, посмотри на эту гору,— указалъ онъ рукою — и на другія, что изъ-за нея вздымаются!.. Высоки только горы въ своей непорочной красотѣ, а люди ничтожны и мелки душою. Велики они на малыя дѣла и на зло, какое дѣлаютъ ближнимъ, но малы на правду и любовь!“

Обливаясь радостными слезами, счастливая Кумэдея прильнула къ груди мужа и говорила ему:

— О, мой хорошій, добрый Кусюкъ! Какой-же ты умный, догналъ меня!..

Сотни лѣтъ съ тѣхъ поръ пронеслись, какъ джигитъ у кургана женился на Кумэдеѣ, и народа того уже нѣтъ, но про свадьбу смѣлаго джигита знаетъ башкирскій народъ, и усергунцы о ней не позабудутъ: Кусюкъ-тау и Кумэдея будутъ вѣчно говорить объ именахъ счастливой четы“.

Двѣ пары глазъ не спускали съ Галлея своихъ взоровъ: одни черные, какъ агатъ, а другіе свѣтлѣе, точно тѣ хорошія звѣздочки, что затеплились на синемъ небѣ, и любовно глядятъ съ вышины на прекрасную Башкирію. Улыбаясь, слушалъ Хассанъ Фактулла,—одобрительно кивала головою умная жена его, княгиня Бика, втихомолку посматривая на свою дочь-жемчужину.

— Славная быль!—похвалилъ Даутъ-Аксакъ, молодой батырь изъ Арало-Табынскаго рода и другъ Галлея-Ахмета.—Правда свое взяла!

— Князь Галлей! — воскликнула Зара: — если-бы я была не я, то-есть, не дѣвушка, а джигитъ, то я за твой разсказъ поцѣловала-бы тебя, какъ Кусюкъ поцѣловалъ свою Кумэдею!

Опять смѣхъ и хохотъ. Всѣ довольны и веселы. Расходясь по своимъ терьмамъ, княжна Нада подарила Галлея долгимъ взглядомъ. Только понравилась-ли быль Айносу-Куреману, князю Меркатлинскаго рода?

Ночь раскинула свои широкія крылья надъ аулами. Спитъ народъ и стада, спятъ горы и вся окрестность. Лишь изрѣдка слышится какой-то слабый лепетъ: то рѣка, въ спокойныхъ стру-

ахъ которой играютъ, разсыпаясь лучами, яркія звѣзды, въ просоньи тихо говоритъ: „не цѣлуйте меня! Я ужъ сплю“.

Но бѣжитъ сонъ отъ очей Галлея. Не лепетъ рѣки, не звѣздное небо и не соловьи, что разомъ и сотнями запѣли по долинѣ, разбудивъ кусты ракитъ, мѣшаютъ ему вкусить благодатнаго сна; нѣтъ, взоръ Нады свѣтитъ въ сердце юноши и превращаетъ ночь въ ясный день. Мечты и надежды волнуютъ Галлея, душа поетъ пѣсню любви... О! скорѣе, скорѣе-бы прилетѣло утро! Нада любитъ его, она ждетъ только слова отъ своего милаго, но онъ молчитъ и не рѣшается выговорить это слово. Нѣтъ, завтра все скажетъ, и Нада услышитъ его... Прочь сомнѣніе!.. Стыдно робѣть джигиту!..

— Даутъ! Товарищъ, другъ мой вѣрный! — зоветъ онъ батыря. — Вставай! Мнѣ хочется поговорить съ тобою... Да проснись-же!.. Заря... Скоро изъ-за Шайтанъ-горы солнце выплывetъ.

Открылъ глаза Даутъ Аксакъ, — темно въ терьмѣ; взглянулъ кверху, и видитъ, черезъ открытый кругъ, стоятъ надъ головою „Семь волковъ“.

— Солнце въ груди твоей, Галлей,—проговорилъ батырь,—а на небѣ звѣзды горятъ. Ложись: пора тебѣ спать.

Напрасно Галлей проситъ, чтобы Даутъ всталъ и выслушалъ его: батырь ужъ крѣпко спитъ, и никакой громъ не подниметъ его съ мягкой постели. Юноша ждетъ — не дождется, когда попрячутся всѣ звѣзды, которыя хороводами снуютъ надъ терьмою; зоветъ утро и молитъ лучезарнаго бога скорѣе взойти на небо. Душно ему, откинулъ мягкій коверъ, закрывавшій выходъ, и очутился за терьмою... Боги! Что творится на волѣ! Вся долина, горы, лѣсъ и воздухъ наполнены чудными голосами, и гремятъ, поютъ тѣ голоса о Надѣ, о любви къ ней Галлея и близкомъ ихъ блаженствѣ... Упоенный соловьиными пѣснями, весь погруженный въ чистыя, свѣтлыя мечты, онъ не замѣчаетъ, какъ, одна за другою, гаснутъ звѣзды, какъ распахиваетъ пурпурные края своей одежды богиня зари, и съ просвѣтленныхъ небесъ слетаетъ на землю веселое утро...

Брызнули первые лучи солнца, ласково коснулись щекъ молодого князя и заглянули ему въ глаза. Сердце Галлея радостно вскрикнуло:

— Утро!.. Солнце! Вы будете свидѣтелями моего счастья!

Но утро обмануло его, и солнце не увидѣло счастья пламеннаго юноши.

VI.

Цѣлый мѣсяцъ думалъ Меджинъ - Абдрахманъ о дочери Арало - Табынскаго князя. Годъ назадъ онъ сватался къ Надѣ и получилъ отказъ; въ праздникъ Сабана онъ возобновилъ сватовство, и гордая красавица снова отвергла его предложеніе. Въ послѣднемъ отказѣ видитъ онъ для себя обиду, пренебреженіе къ его славному роду; но гордячка скоро раскается, она будетъ женой Кара-Кипчакскаго князя Меджинъ мысли не допускалъ, что не только княжна, но и царская дочь не почитала-бы за счастье сдѣлаться его женою: онъ знатенъ, богатъ, уменъ и красивъ. Нѣтъ-ли развѣ у Нады жениха? Не пришелся-ли ей по сердцу Галлей? Онъ думалъ объ этомъ уже дорогою, когда ѣхалъ домой съ праздника отъ Хассана, и тогда-же рѣшилъ, что Галлей не женихъ: бѣденъ и мальчишка... Однако, мысль о бурдаянцѣ неразъ къ нему возвращалась, и онъ все чаще думалъ о Галлеѣ, вспоминалъ удачи его, румянецъ княжны, и слова ея, когда они воротились съ джигитовки. Потомъ онъ узналъ, что бурдаянцы кочуютъ по-близости съ арало-табынцами, что Галлей Ахметъ постоянно живетъ въ аулѣ стараго князя и неразлученъ съ его дочерью. Теперь пріятель его, князь Меркатлинскаго рода, далъ вѣсть, что Галлей любитъ Наду; не знаетъ только, любитъ-ли и княжна бурдаянца. Меджинъ вышелъ изъ себя: онъ не допуститъ ихъ свадьбы, Нада будетъ его и ничьей въ мірѣ!

Не одна красота и умъ княжны плѣняли Меджина Абдрахмана, заставляли добиваться обладанія красавицею: не таковъ былъ Кара-Кипчакъ!

Меджинъ, еще при жизни отца, бывалъ въ Персіи и жилъ тамъ по мѣсяцамъ, а разъ выжилъ полгода. Наглядѣлся онъ на роскошь и блескъ, власть и величіе царя, передъ которымъ народъ падалъ ницъ и оказывалъ божескія почести своему владыкѣ. Меджину по душѣ приходились такіе порядки, нравилось ему раболѣпіе народа, и любы сердцу гаре-

мы; но при отцѣ онъ таилъ свои чувства и ничѣмъ не обнаруживалъ думъ своихъ, зная, что не встрѣтитъ одобренія со стороны благоразумнаго отца. Умеръ Абдрахманъ-Бій, оплаканный народомъ, и спустя семь дней, по принесеніи жертвы богамъ, джеинъ поздравилъ княземъ тридцатилѣтняго Меджина-Абдрахмана. Недѣлю кара-кипчаки пили крѣпкіе меды и кумысъ, ѣли сладкое мясо барашковъ и воловъ, веселились и потѣшались на славу. Такой пиръ задалъ народу Меджинъ, что башкиры вспоминали о княжескомъ угощеніи всю жизнь. Но то-ли еще потомъ они увидѣли! Меджинъ одарилъ аульныхъ старшинъ хорошими конями, женщинъ—колябашами и таляпушами, дѣвицъ кораллами, серьгами и привѣсками, и каждый праздникъ дѣлалъ угощеніе для народа. Башкиры прославляли имя молодого князя, говорили, что, по своей добротѣ и щедрости, онъ далеко превзошелъ отца и князей другихъ родовъ,—развѣ одинъ Хассанъ-Фактулла такъ любитъ народъ! Своими пирами и подарками Меджинъ привлекалъ къ себѣ многихъ сосѣднихъ князей, и хорошая слава о немъ прогремѣла изъ конца въ конецъ по Башкиріи. Никому не вспадало на мысль, что не добрые боги управляютъ поступками князя. О замыслахъ Меджина зналъ только одинъ человѣкъ изъ кара-кипчаковъ, да догадывался мудрый князь Хассанъ-Фактулла. Но первый молчалъ, а второй, когда слышалъ о Меджинѣ, всякій разъ покачивалъ головой; когда-же до него палъ слухъ, что тотъ тайно сближается съ хищными ногайцами, кочевавшими между Ураломъ и двумя морями, старикъ крѣпко задумался.

Самымъ приближеннымъ человѣкомъ и правой рукою Меджина былъ Сарымъ-Арыпанъ. Онъ состоялъ дядькою въ отроческіе годы князя, ѣздилъ съ нимъ въ Персію, знакомилъ юношу съ роскошной жизнью шаха и развивалъ въ немъ властолюбіе. Высокій, сухой, на видъ смиренный и въ обращеніи со всѣми простой, шестидесятилѣтній Сарымъ-Арыпанъ казался народу чуть не святымъ, а Меджинъ почиталъ его за мудреца, чьими устами вѣщаютъ сами боги; но въ сердцѣ своемъ онъ былъ честолюбивъ, коваренъ и завистливъ. Отгадывая замыслы Меджина, Сарымъ льстивыми рѣчами и хитрыми совѣтами распалялъ въ князѣ нечистыя мечты и страсть къ властолюбію. Онъ говорилъ, что покойный Абдрахманъ-Бій и старые князья распустили народъ, что пора обуздать вольность башкиръ, собрать всѣ

роды и соединить въ одинъ народъ, раздѣливъ всѣхъ на знатныхъ и простыхъ, какъ это водится въ Персіи, построить дворцы и города, завести войско и сдѣлаться повелителемъ всего народа. А чтобы достигнуть этой цѣли, надо сперва ласкать и задабривать глупый народъ, привлекать на свою сторону князей и оторвать голову джеину; на всякій случай не мѣшаетъ заручиться дружбою ногайцевъ. Князь давно этого хочетъ, и онъ не погнѣвается на Сарыма, что преданный и вѣрный старикъ подаетъ совѣты. О! князь Меджинъ уменъ, ай-яй какъ уменъ! Ему нечего ходить за умомъ въ люди, онъ знаетъ, что ему дѣлать: возьметъ себѣ красавицу жену, съ нею великое богатство, соединитъ два сильныхъ рода, а остальные сами ужъ за ними потянутся, и создастся великій народъ, могущественное царство! И недолго князю ждать счастливой поры: у стараго Хассана ростетъ дочь, и Арало-Табынская княжна будетъ женою башкирскаго шаха, милостью боговъ Меджина Абдрахмана.

— Высокъ и широкъ твой полетъ, — говорилъ довольный князь, — но замыселъ твой несбыточенъ. Ты знаешь, Хассанъ крѣпко держится обычаевъ народа, и рука его не поднимется на джеинъ.

— Напрасно ты испытываешь своего вѣрнаго слугу,—кротко отвѣчалъ хитрецъ: — Сарымъ хорошо знаетъ, что́ на мысляхъ у его князя: Меджинъ-Абдрахманъ женится, скажетъ молодой княгинѣ два слова, отъ которыхъ закружится ея молодая головка, и радостью исполнится горячее сердечко: Нада умна и горда, она пойметъ своего мужа. Княгиня уговоритъ отца, чтобы тотъ согласился исполнить просьбу любимой имъ дочери и милаго внука, которымъ боги скоро благословятъ союзъ ея съ мужемъ...

— И ты полагаешь, что Хассанъ склонится на просьбу дочери?

— Чего не сдѣлаетъ любовь къ дочери и внуку! Но чтобы не упала тѣнь на очи добродушнаго старца,—продолжалъ Сарымъ,— Меджинъ уступитъ власть надъ обоими родами князю Хассану-Фактуллѣ, а тѣмъ покажетъ примѣръ другимъ. Тесть, для вида, приметъ власть и передастъ ее зятю, а послѣ смерти Хассана ты провозгласишь себя падишахомъ.

— А что скажутъ другіе князья?..

— Они останутся князьями: ты сдѣлаешь ихъ военачальниками и вельможами, дашь имъ одежды, шитыя золотомъ, и грудь

ихъ увѣшаешь красивыми побрякушками, какъ у персидскихъ сановниковъ. Войска твои будутъ покорять разные народы и царства, ты станешь могучъ и славенъ, и не будетъ тебѣ равнаго подъ небеснымъ сводомъ.

Опьяненный виномъ сладкой лести, князь Меджинъ, хлопая по плечу Сарыма, воскликналъ!

— А ты, мой старый и вѣрный слуга, будешь первымъ вельможею въ башкирскомъ царствѣ и соправителемъ шаха!

— Пока боги ко мнѣ милостивы, всѣ силы и труды будутъ отданы на служеніе моему повелителю и возвеличеніе дѣлъ его. А когда тонкая нить жизни Сарыма порвется, тогда мѣсто вѣрнаго слуги займутъ сыновья его: они пойдутъ по стопамъ своего отца: ты, князь, и сынъ твой смѣло на нихъ обопретесь, какъ на ту гранитную гору, которая съ начала міра стоитъ передъ твоими богатыми терьмами.

Такъ вотъ какая любовь заставляла Меджина-Абдрахмана искать руки Нады, дочери Арало-Табынскаго князя!

Въ своемъ дикомъ властолюбіи, ослѣпленный лестью, онъ позабылъ завѣты мудрыхъ мужей, любимыхъ богами: почетнѣе быть княземъ малаго рода свободныхъ и довольныхъ, чѣмъ шахомъ огромной страны рабовъ и нищихъ; въ свободѣ и довольствѣ народа—спокойствіе и счастливая жизнь князя.

Четыре́ года Меджинъ лелѣялъ свои мысли, стремился къ цѣли и ждалъ счастливаго дня, когда назоветъ своею женою красавицу Наду. „Я молода“, — сказала ему въ первый разъ княжна: „только еще началась первая весна моего дѣвичества, и второй я не дождусь, если теперь разстанусь съ отцомъ и матерью“. Меджинъ ждалъ лишній годъ, и годъ этотъ показался ему долѣе десятка лѣтъ... Но, вмѣсто согласія на его предложеніе, онъ услышалъ теперь изъ устъ гордой красавицы: „Прощай, князь“... Нѣтъ, Кара-Кипчакскій князь не отступитъ отъ своей цѣли: онъ подкараулитъ въ глухомъ мѣстѣ Галлея, убьетъ ненавистнаго врага, и дѣвчонка будетъ его женою!

— Не дѣлай этого!—предостерегалъ Меджина Сарымъ-Арапанъ. Какъ-бы искусно ты ни убралъ съ дороги врага, самъ ли рукою наемника, и какой тьмою ни покрылась-бы смерть бурдзянца, — пускай даже ничья стрѣла или кинжалъ не сразятъ его, а только *упадетъ* Галлей, — башкиры въ одинъ голосъ скажутъ: «Это

дѣло Меджина-Абдрахмана". Тогда всѣ твои замыслы, многолѣтніе труды и терпѣніе, съ которыми ты, шагъ за шагомъ, шелъ къ завѣтной цѣли, разлетятся, какъ цвѣтъ ковыля отъ дуновенія вѣтра.

— Что-же мнѣ дѣлать?

— Созови джеинъ. Объяви, что ты любишь дочь Арало-Табынскаго князя и хочешь на ней жениться. Скажи, чтобы джеинъ выбралъ самыхъ почетныхъ изъ стариковъ и отправилъ ихъ къ невѣстѣ. Открой, что ты самъ къ ней сватался, но княжна прямого отвѣта не даетъ. Не въ обычаѣ башкиръ брать невѣсту противъ ея воли, но послы объявятъ ей, что князь и весь Кара-Кипчакскій родъ желаютъ имѣть ее своею княгинею. Нада пойметъ, что ей оказываютъ честь, никогда еще невиданную ни одною княжною-невѣстою, и гордость побореть ея упрямство.

— Но если послы вернутся съ отказомъ?

— Тогда возьми жену силою. Отказъ будетъ обидою всему роду, и кара-кипчаки вступятся за своего любимаго князя. Къ нимъ пристанутъ другіе князья,—надежныхъ друзей у тебя много найдется...

— У Хассана ихъ больше.

— Справишься: позови ногайцевъ...

Перебилъ рѣчь хитраго старика князь Меджинъ.

— Сарымъ, мудрый мой совѣтникъ! Бывало-ли когда у башкиръ, чтобы невѣсту брали силою?

— Не бывало. Но если княжна посламъ откажетъ, все дѣло твое рушится. Выбирай одно: или взять силою дочь Арало-Табынскаго князя и сдѣлаться повелителемъ народовъ, или уступать княжну бурдяницу...

— Не будетъ этого!—съ бѣшенствомъ вскричалъ Меджинъ:—Лучше погибну самъ, чѣмъ видѣть торжество мальчишки!

— Твои слова—золото. Рѣшимость великаго мужа въ нихъ слышится.

— Соберемъ джеинъ, и отправимъ скорѣеословъ.

VII.

Солнце разбудило аулы арало-табынцевъ. Закурились вездѣ очаги, побѣжали столбики дыма. Передъ терьмою князя Хассана разстилаютъ ковры, разставляютъ чашки, украшенныя хитрою рѣзьбою; невдалекѣ разводятъ огонь, готовятся жарить птицъ и барашковъ.

Проснулся Даутъ-Аксакъ. Окатилъ холодной водой голову, вымылъ лицо и надѣлъ чекмень. Теперь батырь охотно выслушаетъ своего друга.

— Я рѣшилъ, сегодня-же скажу Надѣ, — заговорилъ Галлей-Ахметъ.—Поѣдемъ на охоту, и тамъ она услышитъ.

Батырь одобрилъ рѣшеніе Галлея.—Но еще лучше ты сдѣлаешь, если перехватишь княжну, когда она пойдетъ къ терьмѣ отца,—добавилъ.—Чего откладывать?

— Нѣтъ, Даутъ, совѣтъ твой не годится: мнѣ нужно много, много сказать княжнѣ!

— Зачѣмъ много? Скажи три слова: будь моей женой.

— Только?! Что ты, Даутъ? А про любовь, про блаженство глядѣть на нее, ловить каждый взоръ ея, слушать ея рѣчи...

— Лишнія слова: говоришь о женитьбѣ, значитъ любишь, а все другое глаза доскажутъ

— Нѣтъ, такъ я на первомъ словѣ споткнусь...

— Эхъ, Галлей!—перебилъ батырь: — Джигитъ ты, смѣлъ и и отваженъ, а передъ дѣвушкой слово боишься выговорить... Пойдемъ-ка лучше къ хозяину: вонъ я вижу, — показалъ онъ глазами черезъ открытую дверь, — князь вышелъ, и собрались гости.

Проходя мимо терьмы княжны, пріятели услыхали звонкій смѣхъ; приподнялся слегка коверъ, и выглянуло свѣжее, веселое лицо Зары.

— Доброе утро!

Друзья хотѣли отвѣтить, но свѣтлые глазки скрылись, и изъ терьмы послышался опять веселый смѣхъ.

Подкрѣпляютъ свои силы князья и джигиты вкусной пищей, пьютъ кумысъ и ведутъ хорошія рѣчи. Кто-то вспомнилъ про вчерашній разсказъ о Кусюкѣ и Кумэдеѣ. Улыбка тро-

нула бѣлые усы хозяина, и онъ кинулъ свѣтлый взоръ на молодого Галлея.

— Смѣтливый парень былъ этотъ Кусюкъ, —промолвилъ Хассанъ-Фактулла:—не пустись онъ въ погоню за бѣглянкою, не поцѣлуй ее, когда достигъ у кургана, не видать-бы ему женой Кумэдею. Вотъ какъ въ старину джигиты добывали себѣ женъ!

— Да, люди позавидовали Кумэдеѣ, замѣтивъ хорошаго коня у жениха, — сказалъ Айнасъ-Шикмали, князь Юрманскаго рода:— хотѣли Кусюка на другой женить.

— Видно, зависть-то и въ прежнихъ людяхъ водилась,—промолвилъ батырь Даутъ.

— Шайтанъ царствуетъ на землѣ съ начала міра, — отвѣтилъ Хассанъ.—Все зло отъ него идетъ: онъ мутитъ людей, вселяетъ въ нихъ злые помыслы, вражду другъ къ другу. Не любитъ онъ правды, любви и добра ни въ богахъ, ни въ людяхъ. Посмотрите, кругомъ все радостно улыбается лучезарному богу, а Шайтанъ-гора хмурится, — старый князь повелъ рукою въ даль:—ненавистенъ Шайтану богъ свѣта, ожесточается богъ тьмы, и отъ злобнаго дыханія его черная туча закрываетъ вершину горы.

— Не надивлюсь я на тебя, мудрый Хассанъ-Фактулла,— сказалъ князь Юрманскаго рода:—какъ ты не боишься страшнаго шайтана: зимуешь въ сосѣдствѣ съ его жилищемъ!. Должно быть, ты знаешь какое слово противъ него?

— Изъ старины нашъ родъ тамъ зимуетъ, и мнѣ не приходится нарушать обычай. А отъ козней Шайтана ты никуда не убѣжишь, если душою отпадешь отъ добрыхъ боговъ.

Подумавъ немного, князь Айнасъ-Шикмали спросилъ:

— Вѣришь-ли ты, что предсказаніе святого мужа, слышанное въ твоемъ родѣ, сбудется?

— Я вѣрю, другъ Айнасъ, — благоговѣйно произнесъ старый князь.—Не человѣкъ, а боги говорили устами святого.

Молодые князья и джигиты почтительно внимали бесѣдѣ старыхъ людей. Одинъ Галлей-Ахметъ, въ сладкомъ волненіи своего сердца, казался разсѣяннымъ; но послѣднія слова привлекли его слухъ и вниманіе.

— Если-бы ты, князь, былъ такъ добръ,—обратился онъ къ хозяину,—разсказалъ намъ, что это былъ за святой мужъ?

— Какъ? Развѣ отецъ тебѣ о немъ не говорилъ?

— Я не помню, чтобы когда нибудь слышалъ...

— О! про жизнь этого человѣка стоитъ послушать, а слова его, какія онъ говорилъ, долженъ знать и помнить башкуртъ: въ нихъ, какъ въ ларцѣ богатой невѣсты, заключены драгоцѣнные камни,—сокровища человѣческой мудрости.

— Такъ разсказывай, князь, скорѣй!—воскликнулъ братъ княжны Зары, такой-же пылкій юноша, какъ Галлей-Ахметъ.

Съ улыбкою взглянулъ на него сѣдовласый Хассанъ-Фактулла.

— Возьмите терпѣніе, друзья. Разсказъ мой потребуетъ не одной недѣли, а у васъ немного свободнаго времени осталось: того гляди, выйдутъ княжны и заберутъ васъ въ плѣнъ.

Допивъ чашку кумысу, хозяинъ, тонкимъ, вышитымъ руками дочери, полотенцемъ вытеръ губы и усы, повелъ очами на молодыя лица, горѣвшія любопытствомъ, и началъ:

— Я передамъ вамъ послѣднія слова Манкупа-Талубы,—такъ звали святого мужа. Если они разожгутъ вашъ умъ, то разскажу въ другой разъ все подробнѣе, а не удастся, обратитесь къ княжнѣ Надѣ: она все знаетъ и лучше моего вамъ разскажетъ про жизнь праведника. Онъ былъ мужъ души высокой и ума великаго: десять лѣтъ прожилъ въ тяжеломъ рабствѣ — какой-то хищный народъ убилъ его отца, а сына-отрока увезли за море и продали Сарацинамъ; изъ неволи Манкупъ бѣжалъ, тридцать годовъ скитался, наблюдалъ жизнь и нравы многихъ народовъ, вездѣ искалъ бесѣды съ мудрецами и черпалъ знанія изъ всѣхъ источниковъ. Вотъ какой человѣкъ былъ Манкупъ Талуба! По возвращеніи на свою милую родину, онъ нашелъ пріютъ у моего прапрадѣда Нарума-Вія, прожилъ у него тридцать годовъ и окончилъ дни своей многотрудной жизни. Передъ праведной кончиною, Манкупъ открылъ своему покровителю о времени, когда погибнетъ среди башкиръ власть шайтана. Чѣмъ дальше пойдетъ время, говорилъ святой, тѣмъ больше горя и бѣдъ увидятъ башкиры. Явятся люди, которые именемъ боговъ отнимутъ у народа свободу, станутъ угнетать его. Родятся нужда и бѣдность, зло, ложь и зависть разростутся, какъ гнилыя кочки на болотѣ. Отъ слезъ женщинъ прольются рѣки и моря, грудь матери земли захлебнется кровью человѣческой. Вотъ что сулитъ

грядущее, пока на землѣ царствуетъ шайтанъ. Такъ говорилъ святой собираясь уходить въ дальній путь, на высокое небо. Башкиры должны разрушить жилище шайтана, если не хотятъ себѣ погибели: онъ провалится тогда въ темныя бездны, гдѣ прежде, за тысячи вѣковъ, обиталъ, и не посмѣетъ уже въ другой разъ выглянуть на свѣтъ. „Подвигъ этотъ“, — говорилъ святой, „можетъ совершить только смѣлый умъ и чистое сердце, исполненное великой любви“...

На этомъ мѣстѣ разсказъ хозяина былъ прерванъ: у въѣзжей терьмы остановилась кучка всадниковъ. Первый замѣтилъ пріѣзжихъ Айнасъ-Шикмали.

— Гости къ тебѣ, князь,—сказалъ пріятель Меджина-Абдрахмана.

— Вижу,—промолвилъ Хассанъ-Фактулла. — Если глаза мнѣ не лгутъ, такъ я узналъ лице Сарыма. Ну, мои милые друзья, конецъ доскажу послѣ: священный долгъ хозяина — привѣтствовать гостей.

Сказавъ эти слова, князь обратился къ своимъ родственникамъ, которые прислуживали ему и гостямъ, велѣлъ принести новую сабу съ кумысомъ и приготовить свѣжаго кушанья.

Пріѣзжіе не заставили себя долго ждать.

VIII.

— Добро пожаловать!—встрѣтилъ хозяинъ Кара-Кипчакскихъ стариковъ. — Здравствуй, Сарымъ-Арыпанъ! Здравствуй, добрый Ята,—живъ еще ты, старина! Здорово, Акмачикъ! здорово, Каруба, и ты, Датигачъ!.. Благодареніе богамъ: здоровыми и бодрыми вижу всѣхъ, любезныхъ моему сердцу!

— Благословеніе и милость боговъ съ тобою, мудрый князь, Хассанъ-Фактулла-Бій! — такъ началъ рѣчь Сарымъ-Арыпанъ.— Привѣтъ съ любовью посылаетъ тебѣ нашъ князь, Меджинъ-Абдрахманъ-Бій. Привѣтъ и поклонъ онъ шлетъ разумной изъ женъ, добродѣтельной княгинѣ Бикѣ. Онъ проситъ также передать отъ всего сердца привѣтъ и поклонъ княжнѣ-красавицѣ, дочери Аралo-Табынскаго князя!

Поблѣднѣлъ Галлей-Ахметъ, молніею вспыхнули его карія очи.

Радушный хозяинъ сажаетъ подлѣ себя гостей, потчуетъ ихъ кумысомъ и торопитъ прислужниковъ, чтобы скорѣе несли кушанье. Сидятъ кара-кипчаки, пьютъ кумысъ, ѣдятъ вкусное мясо и ведутъ добрые разговоры. Хорошо насытившись, послы поблагодарили хозяина, и Сарымъ-Арапанъ обратился къ нему:

— Если ласковый князь будетъ милостивъ, то позволитъ старикамъ отдохнуть съ дороги, а потомъ допуститъ ихъ до себя съ княжной, и услышитъ, по какому дѣлу они пріѣхали отъ князя Меджина и Кара-Кипчакскаго рода.

Удивился хозяинъ.

— По дѣлу отъ князя и всего рода? — проговорилъ онъ.— Ужъ не грозитъ-ли кто башкирамъ войною?

— Да хранятъ насъ всесильные боги отъ такого несчастья!— воскликнулъ хитрый Сарымъ.—Нѣтъ, князь, нѣтъ: мы вѣстники добра и радости.

Кинулъ проницательный взглядъ на посла Хассанъ, и улыбка разлилась по его лицу.

— Идите, насладитесь пріятнымъ сномъ, а выслушать я васъ успѣю.

Узнала о пріѣздѣ гостей княжна, сразу догадалась, съ чѣмъ они пріѣхали, и сказала Зарѣ, чтобы и подруги и князья не ждали ея на охоту: она пойдетъ къ матери и останется въ ея терьмѣ.

Освѣживъ себя крѣпкимъ сномъ, послы явились въ терьму хозяина, гдѣ нашли его вмѣстѣ съ разумною княгинею Бикою. Поклонились старики хозяевамъ, отдали княгинѣ привѣтъ и поклонъ отъ своего князя и сѣли на медвѣжьи шкуры. Добрый Ята не утерпѣлъ и отъ себя добавилъ, что Бика много помолодѣла въ двадцать лѣтъ, когда онъ видѣлъ ее въ послѣдній разъ: не такой здоровой и румяной была тогда княгиня, какъ теперь! Засмѣялась Бика.

— Слышишь, Хассанъ, что онъ говоритъ? А ты старухой меня зовешь!

— Ахъ, ты, старый, старый! — подхватилъ князь, глядя на изрытое морщинами лице и сѣдую бороду гостя.—Я думалъ, Ята коня отъ верблюда не отличитъ, а онъ что еще разглядѣлъ!.. Не вѣрь, жена: я знаю, онъ старый плутъ!

Всѣ весело смѣялись, больше другихъ самъ Ята; одинъ Сарымъ не улыбнулся. Хозяинъ замѣтилъ и сказалъ:

— За какимъ-же дѣломъ васъ ко мнѣ прислали?

Сарымъ приподнялъ на хозяина сухое и безбородое, съ мутно-желтыми глазами, лицо и смиренно проговорилъ:

— Мы ждали твоего дозволенія, князь.

— Сказывай!

Въ искусной рѣчи, разукрашенной цвѣтами лести, Сарымъ передалъ желаніе кара-кипчаковъ и Меджина, который умомъ, доблестью и богатствомъ превзошелъ всѣхъ князей Башкиріи, кромѣ мудраго Хассана, поставленнаго богами на недосягаемую высоту. Но если Хассанъ отдастъ свою дочь за Меджина, то сынъ отъ нихъ будетъ во всемъ подобенъ дѣду, а богатствомъ далеко превзойдетъ его.

Долго говорилъ Сарымъ. Князь Хассанъ съ княгинею слушали его внимательно; послы дивились уму и сладкорѣчію товарища, въ полголоса приговаривая: „такъ! хорошо, больно хорошо ты говоришь!“

— Про любовь князя дочь ваша знаетъ,—говорилъ Сарымъ.—Теперь она услышитъ, что любовью къ ней полны и сердца народа. Такъ велѣлъ сказать джеинъ. Волю его послы исполнили.

Кончилъ. Князь помолчалъ, взглянулъ на княгиню.

— Любезно сердцу родительскому желаніе Кара-Кипчакскаго рода,— началъ въ отвѣтъ Хассанъ, — намъ съ женою по мысли зять князь Меджинъ-Абдрахманъ. Благодаримъ вашего князя за почетъ, какого не видывала еще въ Башкиріи ни одна невѣста! Мы скажемъ дочери, что къ ней прислали сватовъ, а она дастъ свой отвѣтъ.

Сарымъ-Арипанъ замѣтилъ:

— Неоцѣненнымъ сокровищемъ наградили васъ съ княгинею боги. Но мы съ тобой, князь, старые люди, пожили довольно на свѣтѣ, знаемъ, что дѣвичье сердце не всегда въ ладахъ съ разумомъ: горячая кровь нерѣдко одолѣваетъ волю разсудка.

— Твое слово отъ мудрости, Сарымъ-Арыпанъ, — промолвилъ князь.—Мы съ женой дадимъ нашъ совѣтъ дочери; но воли ея ломать не будемъ. Вы знаете обычай народа: дѣвица вольна въ своемъ сердцѣ.

Три дня живутъ послы, но княжна не даетъ отвѣта. Хозяинъ

ѣздитъ съ послами на соколиную охоту, показываетъ свои стада, косяки, радушно угощаетъ гостей.

Старая княгиня ласкаетъ красавицу дочь, ведетъ съ нею душевныя рѣчи.

— Милая доченька,—говоритъ, — скажи мнѣ: выбрала-ли ты себѣ мужа, или еще нѣтъ?

Молчитъ дочь, склонивъ лицо къ колѣнямъ матери.

— Князь Меджинъ богатъ, уменъ, и родъ его знатенъ Жена съ нимъ будетъ счастлива.

Ни слова, точно не слышитъ княжна.

— Что же ты молчишь, моя ненаглядная? Я знаю, ты два раза отказывала Меджину; но онъ, гордый, не обидѣлся и опять сватается. Мало этого: весь родъ его желаетъ тебя видѣть своею княгинею! Если выйдешь за Меджина, сынъ твой будетъ самымъ богатымъ и сильнымъ изъ князей.

Тихо заговорила дочь, и голосъ ея показался княгинѣ незнакомымъ.

— Родная!.. Я знаю, что нѣтъ богаче князя Меджина, но развѣ мнѣ богатство его надобно? Я богата своимъ отцомъ... Любви я хочу!.. А въ глазахъ Меджина я не видѣла ея: чужой онъ мнѣ, и я ему чужая.

Дрогнуло сердце матери, слезы навернулись на ея глазахъ и медленно покатились по румянымъ щекамъ.

— Свѣтъ очей моихъ! — говорила княгиня: — твое сердце съ моимъ въ одно говорятъ. Чую я,—Меджинъ тебѣ не женихъ.

— А ты сказала, что я съ нимъ буду счастлива!—съ грустью промолвила княжна.

— Такъ разсудокъ мой говорилъ,—призналась княгиня Бика.— А сердце мое вотъ что говоритъ: Нада, сокровище мое! тебя любитъ Галлей, онъ небогатъ, но только съ Галлеемъ ты будешь счастлива.

Молчитъ дочь.

— И ужъ скажу тебѣ, доченька, всю правду: мы съ отцомъ только тогда успокоимся, когда ты назовешь своимъ мужемъ Галлея Ахмета... Вѣдь, помнимъ мы, какъ раскраснѣлись щеки нашей красавицы, и потупила она свои глазоньки, увидѣвшись на праздникѣ съ Галлеемъ. Кто же тебѣ мѣшаетъ назвать его своимъ?..

Безмолвна дочь. Только плотнѣе еще прижималась она къ колѣнямъ матери, и сердце въ ней чаще стучало.

— Неужели мы обманулись?—повыждавъ, начала княгиня. — Неправда, значитъ, что твое сердце лѣтитъ на встрѣчу Галлея?..

Вздохнула дочь и такъ отвѣчала:

— Не знаю, мама... Сердце мое, какъ будто, говоритъ, что Галлей его избранникъ. Оно слѣдитъ за взорами князя и недовольно, когда онъ бываетъ ласковъ съ другой... Галлей смѣлъ умомъ и благороденъ. Я часто испытывала его на охотѣ и видѣла, что ни одному батырю онъ въ силѣ не уступитъ, и не видѣла еще равнаго ему по отвагѣ. Знаю, что Галлей любитъ меня, и знаю, почему онъ не говоритъ мнѣ о любви: гордость не позволяетъ ему въ словахъ открыть сердце, но глаза давно мнѣ выдали его... Но видишь ли что, мама, родная моя: есть у меня дума одна, большая дума, и не даетъ она подойти мнѣ самой къ Галлею... Молодъ Галлей, и отвага въ немъ юноши, а не мужа.

Развела руками княгиня.

— Мудреныя ты слова говоришь, доченька, и сама ты для меня загадка,— проговорила мать.— А что Галлей молодъ,— такъ это еще лучше для тебя...

Дочь подняла голову.

— А кто поручится, что онъ будетъ со мною счастливъ? Галлей бѣденъ, и я знаю, что о немъ будутъ говорить Меджинъ и его богатые пріятели: „бурдзянецъ женился на богатствѣ Хассана, и взялъ дочь въ придачу“. Не пожалѣетъ ли тогда Галлей, что не женился онъ на милой нашей Зарѣ? Ея отецъ не такъ богатъ, какъ мой!.. Да я истерзаюсь вся, глядя на него... Если бы Галлей былъ не такимъ юнымъ!..

Усмѣхнулась княгиня.

— А ты вспомни, что говорила вчера Зара: ничьихъ чужихъ словъ не нужно слушать. Пускай недобрые люди говорятъ, что имъ въ голову придетъ, а ты пропускай мимо ушей. Галлей хотя и молодъ, но онъ не изъ такихъ, чтобы его духъ смутили людская злоба и зависть.

Задумалась дочь.

Еще прошелъ день. Утромъ, по обыкновенію, собрались передъ терьмою хозяина гости. Вышла и сама княгиня, за нею

княгини—гостьи, и прилетѣли свѣтлолицыя, съ розами на щекахъ, молодыя княжны, кромѣ хозяйской дочери. Принялись за кушанья и кумысъ. Показалась княжна Нада.

Въ голубомъ шелковомъ зиленѣ, въ бѣлой шапочкѣ и въ красныхъ, вышитыхъ серебромъ и шелкомъ, туфляхъ, она легкой поступью, но не спѣша, подошла къ собранію. Разговоры затихли, глаза съ любопытствомъ поднялись на нее. Въ груди Галлея захватило духъ. Княжна Зара, изъ-за плеча хозяйки княгини, бросала украдкой взоры то на него, то на подругу Наду. Повела черными глазами гордая красавица, поклонилась всѣмъ гостямъ и обратилась къ посламъ съ рѣчью:

— Послы князя Меджина Абдрахмана! — такъ начала она. — Великая честь черезъ васъ оказана мнѣ: вашъ князь и народъ желаютъ видѣть меня своей княгинею. Вотъ мой отвѣтъ: свободная, я сердце свое отдамъ тому, кто взамѣнъ отдастъ мнѣ свое...

— О, нашъ князь любитъ тебя!— раздались голоса: — сердце его давно къ тебѣ лежитъ.

— Подождите,—остановилъ Сарымъ Арапанъ: княжна еще не все сказала.

— Вашъ князь желаетъ себѣ счастья, я также хочу быть счастливою. Не требую я богатства отъ мужа,—я ищу только сердца и человѣка, хотя бы онъ былъ самый бѣдный изъ всѣхъ башкиръ: я буду его женою! Однихъ пламенныхъ взглядовъ и словъ для меня мало. Пусть тотъ, кто хочетъ сдѣлаться моимъ мужемъ, прежде докажетъ свою любовь: совершитъ дѣло, память о которомъ переходила бы изъ рода въ родъ и покрыла славою нашихъ потомковъ. Вотъ какой человѣкъ будетъ моимъ мужемъ.

Сарымъ Арапанъ поспѣшно отвѣтилъ:

— Князь Меджинъ Абдрахманъ все сдѣлаетъ, чтобъ доказать свою любовь къ тебѣ, княжна! Скажи только, какое дѣло?

— Кто любитъ, тому сердце само укажетъ дѣло.

Всѣ были поражены словами княжны, и даже хитрый Сарымъ не нашелся, что отвѣтить. Никто еще не видалъ такою Наду, какою она теперь стояла: такъ чудно-прекрасна была она. Глаза ея смотрѣли въ сіяющую даль; они мгновенно вспыхнули, остановившись на мрачной вершинѣ Шайтанъ горы.

— Если кто хочетъ отъ меня слышать, какого дѣла я требую,

то скажу, когда наши родныя степь и горы одѣнутся снѣжнымъ покровомъ.

— Долго ждать, княжна!—сказалъ Сарымъ.

— Такъ пусть князь Меджинъ или другой кто докажетъ теперь дѣломъ свою любовь. Но знайте, что мое сердце, вмѣстѣ съ рукою, будетъ отдано тому, кто совершитъ славное дѣло.

Нада поклонилась посламъ и оставила изумленныхъ гостей.

IX.

За днями летятъ дни, незамѣтно убѣгаютъ недѣли. Стада переходятъ съ одного пастбища на другое, за ними двигаются аулы: гдѣ вчера еще была пустыня, увеселяли ее только пѣніе вольныхъ пташекъ, да крикъ водяной птицы,—сегодня тамъ раздаются людскіе голоса, конское ржаніе и мычаніе коровъ.

Два раза снимались съ кочевья арало-табынцы съ бурдзящами, и теперь аулы ихъ на десятки верстъ раскинулись по долинѣ рѣки Бѣлой. Богата и роскошна долина Бѣлой. Высокіе скалистые берега ея, то голубые или бѣлые, то розоватые и лиловые, покрыты по гребнямъ вѣковыми соснами и березою; мѣстами, гдѣ скалистыя твердыни раздвинуты могучею рукою боговъ, открываются затопленныя всякими цвѣтами долины, и по нимъ звонко несутся быстрые потоки, сверкаютъ изгибы рѣчекъ; по сторонамъ толпятся безъ числа горы съ устремленными вверхъ остріями, а вдали подъ безпредѣльнымъ голубымъ шатромъ кротко сіяютъ вѣнцы Иремеля, Юрмы и Яманъ-тау, и туманится снѣжная вершина Ильмерзака.

Княжна Нада попрежнему весела, попрежнему охотится въ горахъ и лѣсныхъ дебряхъ. Веселы и радостны лица подругъ, князей и батырей, окружающихъ дочь князя. Одинъ Галлей Ахметъ печаленъ: грустенъ взоръ его карихъ глазъ, и горькая улыбка блуждаетъ по его губамъ. Тяжелымъ камнемъ легли на сердце Галлея слова красавицы... На какое славное дѣло не рѣшился бы юноша ради Нады, чтобы только она полюбила его! Ни передъ чѣмъ онъ не остановится, безстрашно кинется въ бой одинъ съ цѣлой ордой ногайцевъ. Но боги не посылаютъ случая, а че-

ловѣкъ самъ не выдумаетъ подвига. Давитъ Галлея камень, плачетъ въ немъ сердце отъ боли, и не милъ свѣтъ очамъ. Не замѣчаетъ печали его Нада, хотя и часто смотритъ на юношу. Батырь Даутъ не одобритъ своего друга, совѣтуетъ бросить тоску и поискать себѣ другую невѣсту.

— Нада сама не знаетъ, чего она хочетъ,—говорилъ батырь.— Правда, по уму и красотѣ другой не найдешь; но что толку, коли вмѣсто горячаго сердца, кусокъ льда у нея въ груди? Вонъ, посмотри на Зару: въ глазкахъ у ней такъ и свѣтится любовь, а ты не заглянешь въ нихъ, и отстраняешь отъ себя эту чудную птичку, которая сама летитъ на твою грудь.

Не слышитъ друга Галлей, глухъ и нѣмъ онъ къ словамъ утѣшенія.

Крики, свистъ и гиканье разносятся по лѣсу. Стихли пѣвуньи-пташки, хоронится подъ кустъ малый звѣрь и убѣгаетъ большой. Черезъ кусты и прогалины несется лось, кидается изъ стороны въ сторону и не знаетъ, куда укрыться. Ближе людскіе голоса, стрѣлы уже свистятъ надъ его головою; заметался звѣрь, порскнулъ онъ въ непролазную чащу и мгновенно исчезъ.

— Айда! въ облаву...

Разсыпались охотники, обломали кругомъ чащу. Выжидаютъ, держатъ на готовѣ луки и прислушиваются: не хрустнетъ-ли гдѣ что, не выдастъ-ли чѣмъ себя звѣрь?.. Лѣсъ снова ожилъ и запѣлъ: сладостные звуки сыплются съ вершинъ гордыхъ дубовъ, высокихъ сосенъ и кудрявыхъ березъ, льются изъ веселыхъ кустовъ, затопленныхъ серебристымъ сіяніемъ, и наполняютъ все лѣсное царство. Заслушалась пѣсень вольныхъ пташекъ Нада, западаютъ пѣсни въ высокую грудь ея, ластятся къ сердцу дѣвичьему... Чье-то молодое лицо выступаетъ, чьи-то карiе глаза грустно на нее смотрятъ, и губы шепчутъ о любви. „Неужели это Галлей?.. Какъ онъ печаленъ“..

— Пропала охота!

Точно отъ сна пробудилась княжна: передъ нею Даутъ-Аксакъ.

— Убѣжалъ лось,—добавилъ батырь.

— Такъ ѣдемъ искать другого звѣря!—сказала княжна.

Несчастливый день выпалъ для охотниковъ: сколько они ни гонялись за оленями, зубрами и лосями, ни одного не удалось

убить. А когда жаръ свалилъ, поднялись тучи комаровъ и выгнали изъ лѣса охотниковъ.

Въ тѣнистомъ мѣстѣ долины, на берегу ручья, свѣтлаго и прозрачнаго, словно горный хрусталь, расположились они на отдыхъ. Достали съѣстные припасы, сняли турсуки съ лошадей; накинулась молодежь на кумысъ, шаньги и сыръ; смѣхъ огласилъ долину. Но ничей смѣхъ не звенѣлъ такъ весело, какъ смѣхъ княжны Зары. Охотники наперерывъ хватали чашки съ кумысомъ, чтобы поскорѣе утолить жажду; но едва губы того или другого прикасались къ напитку, какъ добрая половина выливалась на усы и бороды.

— Ахъ, вы, дѣточки!—восклицала княжна съ веселыми глазками:—все-то вы обливаетесь, бѣдные!..

Княжны покатывались со смѣха отъ проказъ съ джигитами. Батырь Даутъ хохоталъ, улыбался и Галлей-Ахметъ. Нада также смѣялась, но порою взоръ ея дѣлался задумчивъ.

— Ну, что хорошаго въ ѣдѣ!—говорила Зара—давайте играть!

Вверхъ по долинѣ, на одномъ изъ холмовъ, стояла красивая черная коза. Нада первая увидѣла ее. Быстро поднялась княжна, подбѣжала къ своей лошади, проворно вскочила на сѣдло и ударилась къ холму. Зара, Даутъ и человѣкъ шесть князей пустились вслѣдъ. Коза прыгнула въ сторону и понеслась къ горамъ. Вдругъ лошадь Нады остановилась.

— Уйдетъ! уйдетъ!—встревожилась княжна. — Кто поймаетъ мнѣ козочку?

Понеслись лихіе наѣздники, съ ними и Зара. Легки ноги красиваго звѣря, но не убѣжать ему отъ охотниковъ: вотъ ужъ кони догоняютъ его; еще нѣсколько скачковъ, и арканъ остановитъ легкій бѣгъ... Но отчего лошади разомъ подались назадъ, шарахнулись въ сторону и чуть не опрокинули всадниковъ? Подъ самыми ногами разверзлась пропасть, съ торчавшими изъ нея скалами! Коза прыгнула на одну изъ скалъ, потомъ на другую, и скоро очутилась на той сторонѣ. Галлей-Ахметъ повернулъ назадъ своего вороного, поскакалъ на встрѣчу отставшей княжнѣ съ подругами и другими охотниками; не доскакалъ, круто поворотилъ, загикалъ и стрѣлою понесся впередъ. Никто не успѣлъ моргнуть, какъ конь съ всадникомъ взвился надъ пропастью!.. Крики ужаса раздались, княжна Зара онѣмѣла... Смотрятъ: живъ и

невредимъ, мчится Галлей за мелькавшею вдали черной козочкой!.. Подъѣхала Нада, взглянула на пропасть, лицо ея сначала поблѣднѣло, потомъ залилось румянцемъ.

— Галлей-Ахметъ догонитъ,—проговорила она довольнымъ голосомъ.

— Да онъ безумный!—воскликнула Зара.

Джигиты осматривали мѣсто, гдѣ перелетѣлъ Галлей, и дивились, какъ всадникъ съ конемъ не опрокинулись и не погибли. Подъѣхали и остальные, запоздавшіе охотники, всѣ удивлялись неустрашимости Галлея.

Долго не возвращался Бурдаянскій князь. Солнце склонилось уже къ краю неба, косые лучи его обстрѣливали зеленые луга и долины; возносясь къ голубому небу, сверкали вершины горъ. Тревога охотниковъ росла; всѣ безпокойно переглядывались между собою. Одна Нада казалась спокойною.

— Ѣдетъ! ѣдетъ!—воскликнула Зара.

Да, это Галлей возвращается, но съ другой стороны, въ объѣздъ. Крики радости, привѣтствій и похвалъ встрѣтили князя.

— Молодецъ! Ты первый джигитъ! Нѣтъ безстрашнѣе князя Галлея!

Галлей-Ахметъ остановился передъ дочерью Арало-Табынскаго князя. Конь его былъ весь въ пѣнѣ и фыркалъ. На сѣдлѣ лежала спутанная коза.

— Вотъ моя охота, — проговорилъ Галлей: — она твоя, княжна!..

Что-то вспыхнуло въ черныхъ глазахъ красавицы, залило опять румянцемъ ея щеки, и она потупилась.

— Благодарю, князь! — сказала она и, нагнувшись, погладила красивую козу, всю трепетавшую отъ испуга.

Возвратились въ аулъ. Вѣсть о поступкѣ Бурдаянскаго князя въ тотъ-же вечеръ облетѣла всѣ терьмы. Старый Хассанъ обнялъ Галлея, а княгиня Бика, посмотрѣвъ на него съ материнской нѣжностью, проговорила:

— Какъ будетъ гордиться твоя мать и бурдаянцы!

— Ай, князь! Ну, джигитъ!—дивились всѣ, слушая разсказъ о смѣлости его.

Теплая лѣтняя ночь прекрасна, тиха. По синему небу блещутъ

звѣзды, всталъ изъ-за горы мѣсяцъ; сіяютъ вѣнцы Ильмерзарка, Яманъ тау и Иремеля; кротко мерцаетъ голубая даль. Въ тишинѣ ночи поютъ соловьи.

Откинувъ богатый коверъ, сидитъ въ терьмѣ княжна Нада, глядитъ на мѣсяцъ и слушаетъ пѣсни соловьевъ. На сердцѣ грустно и вмѣстѣ сладко, къ глазамъ подступаютъ слезы...

Прекрасна ты, моя страна,
Моя богатая, счастливая страна...

Донесся до слуха княжны молодой мужской голосъ. Вздрогнула тихо она, и вся превратилась въ слухъ. Голосъ пѣлъ:

Куда ни взглянешь,—
Горы и лѣса.
Здѣсь—роскошныя долины,
Рѣки и ручьи,
Тамъ разбросаны аулы,
Ихъ бѣлѣются терьмы;
А кругомъ вездѣ гуляютъ
Сытыя стада.
Боги смотрятъ съ неба
И любуются страной.
Благодатная страна,
Святая родина моя!

Высоко поднимается грудь княжны, черные глаза горятъ; жадно ловитъ она слова пѣсни и не замѣчаетъ, что за нею неподвижно стоитъ блѣдная Зара.

Чудны звѣзды въ небѣ,
Дивенъ мѣсяцъ золотой,
Но не въ нихъ очей отрада,
Свѣтъ души моей!..
О, скажи мнѣ, мѣсяцъ ясный,
Звѣзды чистыя небесъ,
Какъ найти дорогу къ милой,
Къ солнцу сердца моего?
Какъ воспѣть мою царицу,
Какъ прославить мнѣ ее?
Я не знаю,—научите!..

Замеръ голосъ. Одни соловьи, не переставая, поютъ страстныя пѣсни, вливая любовь въ сердца тѣхъ, кто ихъ слушаетъ въ эту прекрасную ночь... Глубоко вздохнула Нада, два слова тихо слетѣли съ ея устъ:

— Галли! Галли!..

— Идемъ, идемъ къ нему!

Нада обернулась и рыдая, упала въ объятія своей подруги.

X.

Утромъ Галлей-Ахметъ уѣхалъ. Проѣзжая аулами, онъ видѣлъ бѣгущихъ ему на встрѣчу малышей, слышалъ ихъ радостные крики:

— Князь Галлей!.. Джигитъ, первый батырь!..

А отцы, матери и старики, провожая глазами Бурдзянскаго князя, въ одинъ голосъ о немъ говорили:

— Вотъ мужъ нашей княжнѣ!

Позади остались аулы богатаго рода арало-табынцевъ. Вдали уже забѣлѣлись терьмы бурдзянцевъ. Лихой конь, завидя родное кочевье, стрѣлой понесся впередъ; но всадникъ сдерживаетъ вѣрнаго товарища, заставляетъ его итти шагомъ, и ѣдетъ въ раздумьѣ...

Что-же теперь смущаетъ Галлея? Какая тревога лежитъ у него на сердцѣ? Развѣ онъ не доволенъ вчерашней удачей, не гордится своимъ поступкомъ? Любовь свою онъ доказалъ на дѣлѣ. Нѣтъ, не веселитъ юношу успѣхъ!.. Въ румянцѣ и потупленномъ взорѣ княжны онъ замѣтилъ смущеніе, но не радость; въ голосѣ, какимъ она благодарила его, услышалъ просьбу о прощеніи, — она совсѣмъ не желала подвергать его опасности. А потомъ, возвратившись съ охоты въ аулъ, она поспѣшно отъ него скрылась, не промолвивъ ему· „доброй ночи!“ Не любовь,— стыдъ и раскаяніе испытываетъ княжна: не о *такомъ* дѣлѣ она думала, когда держала рѣчь къ посламъ Меджина... И неужели только за *это* дѣло отдастъ себя Нада?.. Правду сказалъ Даутъ: „не сердце, а ледъ въ ея груди!“ Такъ онъ думалъ вчера, ночью, въ пѣснѣ изливая свое горе и чувства... Отчаяніе овладѣло его душою. Тутъ онъ вспомнилъ о своей доброй матери, о миломъ братѣ: давно, давно ужъ они ждутъ Галлея!.. „А я... за-

былъ о васъ!".. — шепталъ онъ. „Завтра-же къ вамъ, дорогіе! Нечего мнѣ больше ждать!".. Онъ ѣдетъ домой, гоня отъ себя мысль о княжнѣ... Но полпути не проѣхалъ, какъ опять тѣ-же думы нахлынули. Не властенъ въ себѣ Галлей: и въ душѣ его всталъ образъ Нады во всей своей чистой красотѣ, не гордой, смѣлой и холодной, а кроткой, стыдливой и нѣжной, съ задумчивымъ взоромъ, какою случилось ему разъ или два увидѣть Наду... „Не воротиться-ли?" — промелькнуло въ его головѣ. „А мать?" вспомнилъ онъ. „Дурной я сынъ!" И онъ даетъ волю коню.

Изъ аула бурдзяицы увидѣли своего князя. Высыпали на встрѣчу, бѣгутъ съ шумными привѣтствіями, обступили всадника.

— Здравствуй, князь Галлей! Будь здоровъ! Молодецъ ты у насъ! Батырь! Мы ужъ все знаемъ...

Старики тѣснились къ нему; каждый спѣшилъ пожать ему руку, и всѣ смотрѣли на него съ гордостью.

— Ай, аяй, князь! Что только изъ тебя будетъ, когда ты въ настоящіе годы и силу войдешь! Вѣдь ужъ и теперь всѣхъ джигитовъ ты за поясъ заткнулъ. Больно о тебѣ люди хорошо говорятъ. Любо намъ!

Княгиня Зигда немало пролила радостныхъ слезъ, обнимая своего Галлея, цѣловала его въ глаза и не спускала взоровъ съ милаго лица. Пятнадцатилѣтній Нариманъ глядѣлъ на брата, какъ на бога, и отъ восторга не могъ вымолвить слова.

— Дорогой мой Галлей! Ненаглядный! — такъ говорила мать и торопилась, чтобы скорѣе напоить и накормить пріѣзжаго.

Поуспокоилась княгиня, сѣла противъ Галлея и, не спуская глазъ, повела рѣчь:

— Скажи, что княжна Нада?

— Я не видѣлъ ея сегодня: спѣшилъ къ тебѣ, мама.

— Вчера ничего ты съ ней не говорилъ?

Галлей замялся.

Мать замѣтила смущеніе сына, стала разспрашивать о Хассанѣ, о княгинѣ Викѣ.

— Княгиня Вика къ тебѣ собирается; только гости удерживаютъ ее.

— Гдѣ ей пріѣхать! Я сама думаю провѣдать княгиню.

— Такъ поѣдемъ завтра!—подхватилъ сынъ.

— Какъ?.. Развѣ ты ужъ хочешь завтра?..

Отъ Галлея не укрылась грусть, словно облачко, набѣжавшая на лицо матери. Онъ поспѣшилъ ее успокоить.

— Нѣтъ, родная моя, я побуду съ вами.

— Поживи,—сказала княгиня.—Я рѣдко тебя вижу, сынъ.

— И мнѣ скучно безъ тебя, Галлей!

Взглянулъ на брата Галлей, ласково обнялъ его.

Въ открытую дверь терьмы заглядывали любопытныя женскія лица.

— Пріѣхалъ, князь? Покажись намъ! Дай на тебя полюбоваться!

Веселъ и радостенъ народъ, что пріѣхалъ князь; счастливъ и Галлей-Ахметъ. Не то въ аулѣ Кара-Кипчакскаго рода.

Мраченъ и золъ Меджинъ-Абдрахманъ. Двѣ недѣли, какъ воротились послы и передали ему отвѣтъ дочери Арало-Табынскаго князя. Побагровѣлъ даже Меджинъ. По совѣту Сарыма, князь созвалъ теперь джеинъ. Собрались кара-кипчаки изъ всѣхъ ауловъ. Выслушали Сарыма-Арыпана. Князь спросилъ, какого они мнѣнія объ отвѣтѣ.

— Мудреная, видно, дѣвка эта княжна!—сказалъ одинъ изъ стариковъ:—загадку большую она загадала!

Засмѣялись на собраніи.

— Правду говорю,—продолжалъ старшина: — какое ты дѣло выдумаешь? Ежели-бы война случилась—хранятъ насъ боги!—такъ князь Меджинъ покрылъ-бы свое имя славою...

— Въ словахъ княжны насмѣшка, — мѣшался Сарымъ-Арыпанъ.

— А вѣдь ты угадалъ! — вскричалъ веселый старшина. — Не хочетъ себѣ мужа,—вотъ и задала всѣмъ задачу.

— Въ Башкиріи не одна дочь Хассана,—подалъ совѣтъ другой старшина:—поищи, найдешь себѣ жену.

Вспыхнулъ Меджинъ, не сдержался.

— Такъ вотъ вы какъ за меня стоите!..

Стихнулъ джеинъ; глядятъ на князя.

— Нѣтъ, добрый князь, если только я вѣрно понялъ его слова,—торопился исправить промахъ Меджина хитрый совѣтникъ,—хотѣлъ сказать, что дочь Хассана нанесла обиду славному роду Кара-Кипчаковъ.

— Обиду?—загремѣлъ джеинъ.

— Большую обиду. Князь Меджинъ чтитъ свободу народа. Князь женился-бы, никому о томъ не говоря, но онъ пожелалъ сперва узнать, будетъ-ли по сердцу народу избранная имъ жена. Джеинъ одобрилъ выборъ и отправилъ къ невѣстѣ пословъ.

— Правда! правда!

— Наслышавшись о гордомъ нравѣ княжны, — извѣстно, рѣдкая красавица не горда, — мы забѣжали сперва къ Хассану, просили, чтобы онъ поговорилъ съ дочерью и далъ ей совѣтъ. Старикъ обѣщалъ... и сдержалъ слово: отвѣтъ княжны джеинъ слышалъ!

— Хассанъ?—раздались съ разныхъ сторонъ молодые голоса.— Хассанъ противъ идетъ? Кара-Кипчаки ни отъ кого обиды не снесутъ!

Страсти расходились. Къ молодымъ пристали кое-кто изъ стариковъ. Кипчаки огонь народъ и самолюбивѣе всѣхъ башкиръ.

— Говори, князь, что дѣлать?—кричали задорные голоса.

— Князь исполнитель воли народа,—отвѣтилъ Меджинъ:— что мудрость джеина укажетъ, то я и сдѣлаю.

Первымъ подалъ голосъ Ята, старый и бодрый Ята.

— Обиды никакой я не вижу въ отвѣтѣ княжны,—выговорилъ твердо старикъ:—дочь башкурта вольна въ своемъ сердцѣ.

Весь загаръ пропалъ съ лица князя, и огни въ глазахъ забѣгали. Не тронулъ головой Сарымъ, и плотнѣе сжались тонкія губы хитреца.

— Отвѣтъ княжны простъ и ясенъ, — продолжалъ спокойно Ята:—кто изъ князей совершитъ славное дѣло, тотъ и будетъ ея мужемъ. Въ чемъ же тутъ насмѣшка, гдѣ обида князю и роду кара-кипчаковъ?

— Правда,—добавилъ строгій Карыба: —мы всѣ слышали, что говорила княжна.

Джеинъ сразу подался на сторону справедливыхъ и почетнѣйшихъ людей.

Меджинъ съ трудомъ владѣлъ собою. Но мудрецъ стоялъ ужъ на стражѣ, не спускалъ желтыхъ глазъ съ князя.

— Не знаю, кто изъ насъ ошибся,— съ видомъ смиренія заговорилъ Сарымъ:—я ли самъ не проникъ въ смыслъ отвѣта, или вы не вполнѣ измѣрили глубину словъ княжны, — покажетъ время. Но что́ джеинъ скажетъ, если дочь Арало-Табынскаго

князя, не дождавшись зимы, выйдетъ замужъ за князя другого рода?

— Не выйдетъ!

— Ахъ, добрый Ята!—засмѣялся тихо Сарымъ:—ты самъ говорилъ: дѣвица вольна въ своемъ сердцѣ.

— Вольна была и княжна, но теперь связала себя: отъ слова своего не отступитъ.

— А какъ разовьетъ паутинку?

— Недостойно дочери Арало-Табынскаго князя: позоръ ляжетъ на ея голову. Не бывало еще случая, чтобы кто изъ княжескаго рода не держалъ слова. Подождемъ зимы.

На этомъ джеинъ разошелся.

Князь Абдрахманъ рветъ и мечетъ: онъ никакъ не ожидалъ такого рѣшенія!

— Ничего, князь,—потиралъ руки Сарымъ:—дуракъ Ята не испортилъ дѣла. Теперь ты знаешь, на кого можно надѣяться; пока не оторвешь голову джеину, кара-кипчаки всегда пойдутъ за дураками, какъ Ята. Зима недалеко, потерпишь. А времени будетъ довольно, чтобы пріятелей-князей подготовить и нагайцевъ позвать. Примись за работу теперь же.

Меджинъ задумался.

— Не разгадалъ ты мысли дѣвчонки: какое дѣло она задумала?

— Догадываюсь я, что она однѣхъ мыслей съ тобою: хочется ей быть царицею Башкирскаго народа... Да что бы она ни задумала,—верхъ будетъ твой. Не слѣдуетъ только даромъ терять времени.

XI.

Долго спала Нада. Давно уже веселый свѣтъ наполняетъ терьму, птичками золотистыми порхаетъ по узорамъ стѣнъ, серебряннымъ кувшинамъ, ларцамъ и зеркалу. Постель Зары прибрана, и не видно ея живой хозяйки: она рано встала и убѣжала гулять. Не покидаетъ ложа Нада, покоится она на пуховикахъ, подъ воздушнымъ пологомъ, разметались по подушкѣ черныя косы, алымъ румянцемъ пышутъ щеки, и уста чему-то улыбаются; но крѣпко сомкнуты стрѣлы длинныхъ рѣсницъ, сладко спитъ она, и безмятежно дышетъ. Нарѣзвилась и набѣгалась по бархатному ковру

луга Зара, нарвала душистыхъ цвѣтовъ, завернула въ кумысную чтобы освѣжить себя здоровымъ напиткомъ, посмѣялась съ кумысницею-старухою, узнала отъ Даута объ отъѣздѣ Галлея и побѣжала къ подругѣ. Влетѣла въ терьму, хотѣла кривнуть и остановилась... Подкравшись къ спящей, Зара осторожно приподняла пологъ и положила на грудь Надѣ цвѣты; сама опустилась подлѣ на сафьянную подушку и принялась любоваться красотой подруги. Запахъ цвѣтовъ разбудилъ красавицу: дрогнули вѣки, раскрылись густыя рѣсницы, и большіе глаза встрѣтили милый взоръ и цвѣты.

— Зара! зачѣмъ ты разбудила меня?

— Да развѣ ты еще не выспалась?

— Не знаю, промолвила Нада, и лице ея озарилось радостной улыбкою.—Я видѣла сонъ, и мнѣ было такъ хорошо, такъ хорошо... Цвѣты прогнали мой чудный сонъ...

— Галлея видѣла?

Нада заложила руки за голову и медленно начала:

— Видѣла я того святого мужа, о которомъ часто разсказывалъ мнѣ отецъ... Ты о немъ слышала... Свѣтъ разлился по терьмѣ, и вотъ, я вижу, изъ этого свѣта вышелъ среброкудрый мужъ, съ лицомъ святаго, и обратился ко мнѣ съ привѣтствіемъ. „Здравствуй, дочь! "сказалъ. „Ты жалѣешь народъ и молишься за него: боги услышали твои молитвы: я принесъ тебѣ утѣшеніе". Я обрадовалась, и сердце въ своей радости назвало святого по имени. „Да, я Манкупъ. Смотри!.."

— Ахъ, Нада!—воскликнула подруга.

— Передо мной открылась дивная страна. Блещутъ вездѣ обширныя озера, текутъ прекрасныя рѣки, пѣнятся и шумятъ горные потоки, журчатъ свѣтлые ручьи. По берегамъ раскинулись богатые аулы; веселые голоса и пѣсни... По долинамъ, среди высокихъ травъ и невиданныхъ цвѣтовъ гуляютъ безчисленныя стада. Синѣютъ безъ конца дремучіе лѣса, возносятся къ небу сверкающіе вѣнцы горъ...

— Да это не сонъ, а какъ будто пѣсня Галлея! — прерываетъ Зара.

— Вездѣ довольство, счастье,—продолжала Нада.—„Здѣсь не бываетъ зимы", говоритъ мнѣ среброкудрый мужъ, „одна весна и лѣто, вѣчное тепло и солнце. Люди никогда не хвораютъ, не

знаютъ, что есть на свѣтѣ бѣдность, вражда, зависть и войны; они чисты и незлобивы, живутъ въ полномъ мирѣ, любви и радости. Здоровыми, бодрыми доживаютъ до глубокой старости: тогда боги призываютъ ихъ къ себѣ, на небо, возвращаютъ имъ за добродѣтельную жизнь молодость и даютъ безсмертіе". Такъ говорилъ святой, и сердце мое исполнилось блаженствомъ. „Узнала ли, дочь моя, что это за благословенная страна"? спросилъ святой. Я не могла отвѣтить. „Это — Башкирія", сказалъ онъ. „Такою она будетъ, когда въ ней исчезнетъ власть Шайтана". Съ моленіемъ и надеждою обратилась я къ святому.— „Кто же побѣдитъ Шайтана"? — Молодой и звучный голосъ отвѣтилъ: „Я!.." Передо мной всталъ юноша, съ смѣлымъ взоромъ карихъ очей, и я... узнала бы его, если бы не твои цвѣты: видѣніе исчезло, и я проснулась.

Почти въ страхѣ слушала Зара. Помолчавъ, она спросила:

— Что же предвѣщаетъ твой сонъ?

Небеснымъ восторгомъ засвѣтились черные глаза Нады и, быстро обратясь лицомъ къ подругѣ, она такъ ей отвѣтила:

— Сонъ мой говоритъ, что смѣлый юноша съ карими очами сокрушитъ власть злого духа.

Угадала чуткимъ сердцемъ Зара.

— О, только бы не Галлей!—воскликнула.—Не вѣрь этому сну: онъ не отъ добрыхъ боговъ. Шайтанъ хитръ и могущественъ, у него тьма старыхъ и ловкихъ слугъ...

Пришли другія княжны, посмѣялись, что Нада еще въ постели.

День провели за работою. Нада вышивала серебромъ широкій поясъ. Она была покойна и весела; изрѣдка задумывалась, склонясь надъ работою, и выраженіе чего-то новаго разливалось по ея лицу. Передъ вечеромъ нашла грозовая туча, разомъ все стемнѣло. Яркая молнія разорвала тучу, и прокатился громъ, послышался быстро приближающійся шумъ и ударилъ дождь. Нада подошла къ двери и отмахнула коверъ. Долина, аулъ, горы—все скрылось изъ глазъ; сквозь косыя полосы дождя сыпались и сверкали молніи, гремѣлъ безъ умолку громъ, раскатываясь по горамъ и ущельямъ.

Къ ночи дождь унялся. Галлей не вернулся отъ матери. Другой день прошелъ, третій наступилъ; онъ не показывается. Дивится старый Хассанъ, недоумѣваетъ и княгиня.

— Вѣрно, мать удерживаетъ,—говорила Бика:—жалко ей отпустить милаго сына.

— Знаю, сказалъ Хассанъ.—Но прежде не случалось, чтобы Галли дольше сутокъ у матери пробылъ: утромъ уѣдетъ, а къ вечеру обратно летитъ. Не пробѣжала ли между дѣтьми сѣрая кошка?—усмѣхнулся старый князь.

— Не думаю. Правда, со дня отъѣзда сватовъ я за нимъ кое-что примѣтила... Но послѣдняя охота должна бы развеселить Галлея.

— Увидимъ, что скажетъ зима,—промолвилъ князь.—Придется, видно, Галлею еще разъ показать свою отвагу.

Вздохнула княгиня:—Боюсь я, сказала, не случилось бы какой бѣды!.. У Нады какая-то большая дума, но она не выдаетъ ея... Зачѣмъ не сказала прямо сватамъ, что не выйдетъ за Меджина?

— Ты слышала отъ дочери: къ Галлею сердце ея лежитъ, но она хочетъ возвеличить Галлея передъ всѣми богатыми женихами. Вотъ почему и не отказала Меджину, заставила его ждать зимы. И я вѣрю, что побѣдителемъ будетъ сынъ моего друга...

Сидятъ вмѣстѣ дѣвушки; Зара съ вопросомъ:

— Ты о чемъ думаешь?

Нада не слышитъ, пристально работаетъ.

— Тебѣ скучно?—не отстаетъ подруга.

Поднимаетъ глаза красавица.

— Скажи, почему долго не ѣдетъ Галлей?

— Незачѣмъ ему торопиться. Онъ теперь съ матерью, съ братомъ; его окружаютъ ласка, любовь...

Нада задумалась.

— Если бы я кого полюбила, — сказала она, — то я бы дня одного не прожила, чтобы не увидѣть своего милаго.

— Пеняй на себя.

Третій уже день близится къ концу, — Галлей не возвращается; вечеръ подкрадывается,—не видать Бурдзянскаго князя... Княжна то и дѣло приподнимаетъ коверъ терьмы, глядитъ въ ту сторону, гдѣ кочуютъ бурдзянцы, прислушивается... Не видать Галлея, не слышно топота его коня!.. Она видитъ широкоплечаго батыря, идетъ къ нему.

— Даутъ Аксакъ! ты не знаешь, здорова ли княгиня Зитда?

— Здорова,—отвѣчаетъ онъ—Я недавно изъ ихъ аула...

— Хорошо тамъ гостилъ?

— Бѣда, какъ хорошо! Галлей такой веселый...

— Веселый?

— Я звалъ его съ собой, — не поѣхалъ: „мнѣ дома весело“, сказалъ.

Княжна чуть замѣтно покраснѣла, но постаралась скрыть смущеніе и гордой поступью направилась къ терьмѣ матери; а Даутъ пошелъ къ разостланнымъ коврамъ, гдѣ ужъ дымились привѣтливые огоньки и разносился пріятный запахъ кушанья. Увидя княжну Зару, кинулъ ей пару замысловатыхъ словъ, но не пріостановился. Онъ шелъ и чему-то про себя посмѣивался. Хитрый батырь!

Вечерняя заря еще не потухла, а по ясной синевѣ раскинулись и кротко засвѣтились звѣзды, и въ прирѣчныхъ кустахъ запѣваютъ соловьи.

Не спитъ княжна Нада. Мечется она на пуховой постели, жарко и душно ей подъ легкимъ, какъ паутина, пологомъ. Батырь неправду сказалъ о своемъ другѣ; она не вѣритъ ему. Галлея не отпускаетъ мать, или задержалъ джеинъ. Но отчего же такъ мучительно бьется сердце, горитъ что-то въ груди и пламенемъ заливаетъ лицо?.. А тутъ еще соловьи распѣлись... Какъ будто гдѣ неподалеку неспѣшный топотъ почудился!.. Быстро приподняла голову княжна, прислушивается, затаила дыханіе... Обманулась: это ея сердце такъ стучитъ...

— Зара, спишь?

— Сплю, — отвѣчаетъ съ другой постели голосокъ. — Теперь проснулась.

— Ничего ты не слышишь?

— Слышу, соловьи поютъ.

Коротка лѣтняя ночь, но не для тѣхъ, отъ кого бѣжитъ сонъ! Да скоро ли пройдетъ эта длинная, томительная ночь!

— Зара!

Нѣтъ отвѣта. Заснула княжна.

. . . Я бѣжалъ отъ милой,
Я хотѣлъ укрыться...

Пѣлъ гдѣ-то молодой голосъ.

Вмигъ распахнулся пологъ, и Нада сидитъ уже въ постели...

— Зара, милая! слышишь ли ты?

— Слышу: Галлей поетъ.

Прекрасна іюньская ночь, когда мерцаютъ вверху звѣзды, и теплый, благоухающій воздухъ пронизанъ задумчивымъ сіяніемъ мѣсяца; погружены въ темь аулы, горы обозначаются въ полусумракѣ, рѣки спрятались... Рокочутъ соловьи, и гдѣ-то разливается тоскующая пѣсня человѣка.

Галлей Ахметъ сидѣлъ на холмѣ, глядѣлъ на рѣку и пѣлъ:

О, скажи мнѣ, мѣсяцъ ясный,
Звѣзды чистыя небесъ,
Какъ найти дорогу къ милой,
Къ солнцу сердца моего?

— Галли!.. Галли...—пронеслось въ воздухѣ.

Онъ подумалъ, что его зоветъ рѣчная дѣва.

— Галли? развѣ ты не слышишь?

Онъ вскочилъ: въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него стоитъ Зара.

— Не я, не я,—Нада тебя зоветъ... Вонъ она!

Галлей увидѣлъ вблизи женщину въ бѣлой одеждѣ; она подняла и простерла впередъ руки, но, какъ бы въ изнеможеніи, снова ихъ опустила. При свѣтѣ мѣсяца, Галлей разсмотрѣлъ дорогое лице и полный любви взглядъ.

— Галлей!—Чуть слышно выговорила красавица:—я... люблю тебя!

— Нада!

Въ сторонкѣ тихо о чемъ-то плакала Зара...

XII.

Чудная весна началась для восемнадцатилѣтней Нады. Цвѣты рая расцвѣтали въ ея душѣ, и пѣсни неба наполняли сердце. Любовь ея окрылила духъ Галлея и разбудила силы ума. Каждое утро приносило имъ свѣтлую радость: они открывали другъ въ другѣ новыя совершенства. Ихъ все теперь восхищало. Они рѣзвились и проказничали, какъ шаловливыя дѣти. Днемъ они никогда не разлучались: ходили на прогулки, навѣщали княгиню

Зигду съ молодымъ сыномъ и ѣздили, попрежнему, на охоту, но старались всегда остаться вдвоемъ. Тогда Нада, остановивъ своего коня, брала руку Галлея и, смотря на него своими прекрасными глазами, тихо говорила:

— Какой ты славный, добрый! Какъ я люблю тебя, Галли!

Вечеромъ, когда всѣ расходились по своимъ терьмамъ, она простится съ нимъ, а погодя пройдутъ съ Зарою мимо и кликнутъ Галлея.

— Милый!—скажетъ Нада, и убѣжитъ съ подругою.

Всѣ засматривались на счастливую парочку и любовались, дѣти встрѣчали ихъ привѣтливыми улыбками, и народъ призывалъ благословеніе боговъ на юную чету, хотя никто не зналъ, когда будетъ ихъ свадьба. Знали только князь Хассанъ съ княгинею Бикою: Нада сказала имъ, что она назоветъ Галлея своимъ мужемъ въ праздникъ Сабана.

Аулы перекочевывали на новыя мѣста, гости смѣнялись одни другими: у Нады постоянною гостью была Зара, а у князя Хассана—братъ ея, успѣвшій подружиться съ Галлеемъ, и Даутъ, котораго считали всѣ своимъ человѣкомъ.

Во время одной шумной и веселой охоты, проѣзжая березовой рощей, охотники выѣхали на красивую поляну; Надѣ очень понравилось мѣсто, и она сдержала свою лошадь.

— Я устала,—сказала она.—Зара, хочешь отдохнуть?

Зара дала время проѣхать охотникамъ, кромѣ Галлея, и весело отвѣтила:

— Я еще поохочусь, а погодя пріѣду.

Нада и Галлей спрыгнули, привязали коней и опустились на шелковую густую траву. По сторонамъ поднимались стѣны бѣлоствольныхъ кудрявыхъ березъ, а сверху глядѣло на нихъ голубое небо.

— Какъ я рада, Галли, что мы съ тобою одни! — заговорила Нада, устремивъ нѣжный взоръ на счастливаго юношу.

— О, дорогая моя!

Княжна склонила къ его плечу голову.

— Ты очень любишь меня, Галли?

— Люблю ли? Да развѣ ты не знаешь, что Галлей безъ тебя жить не можетъ?

— А если бы я умерла?

— Галлей послѣдовалъ бы за тобою.

— Я тоже не перенесла бы... Вотъ ласточки: если одна умретъ, другая сама убивается.

Галлей хотѣлъ перемѣнить разговоръ.

— Но зачѣмъ намъ говорить о смерти, мое сокровище? Мы оба такъ молоды, жизнь передъ нами только что открывается.

Нада отняла голову и посмотрѣла ему въ лицо.

— Для меня она ужъ открылась — въ любви твоей, Галли! Знаешь ли ты, какъ я люблю тебя, какъ я хочу, чтобъ ты былъ счастливъ?

Взоръ юноши вспыхнулъ.

— Скажи, что мнѣ нужно сдѣлать? Какого подвига требуешь?

Нада покачала головою.

— Я люблю тебя.

— Но ты сказала посламъ Меджина, что назовешь мужемъ того, кто совершитъ...

— Не для себя, Галли, — перебила съ живостью княжна, не для себя!

Онъ не понималъ.

Тѣнь ли отъ вѣтки упала, или облачко набѣжало на прекрасное лицо княжны, но взоръ ея затуманился.

— Открою тебѣ свое сердце и думы,—заговорила Нада, опустивъ глаза.—Меня страшитъ будущее... Ты знаешь, кто дѣлаетъ зло людямъ, и отъ кого столько бѣдъ грозитъ Башкиріи. Ты слышалъ прб святого мужа, знаешь, что онъ говорилъ... Онъ предсказалъ ужасную судьбу нашей страны, если не прекратится власть Шайтана. Много я думала, Галли, о словахъ праведника, не спала по долгимъ зимнимъ ночамъ и со слезами молила великихъ боговъ, чтобы они сжалились надъ неповиннымъ народомъ и послали ангела или человѣка, кототорый изгналъ бы изъ Башкиріи злого духа... Искала его среди нашихъ князей, славныхъ джигитовъ и батырей, но ни въ одномъ изъ нихъ не узнавала его. Недавно боги указали мнѣ...

Княжна подняла на юношу взоръ, — слезы и восторгъ блестѣли въ немъ.

— Посланникъ этотъ,—добавила она—ты, Галлей!

Въ нѣмомъ изумленіи и взволнованный, слушалъ ее князь.

— Ни Меджинъ, никто другой не посмѣютъ... Въ тебѣ, мой

Галли, только въ одномъ тебѣ я нашла смѣлый умъ и чистое сердце: ты и совершишь этотъ подвигъ.

— Нада!—воскликнулъ юноша.—Я не только ступлю на темя горы Шайтана, я кинусь въ бой со всѣми его злыми слугами! Для тебя...

— Не для меня, Галли, а для народа...

Она разсказала ему про сонъ, заключивъ словами, которыхъ Зарѣ не договорила:

— И юноша тотъ, съ смѣлымъ взоромъ, былъ ты, мой Галлей! Горячая кровь ключомъ забила въ юношѣ... Княжна быстро поднялась.

— Давай теперь бѣгать, Галли! Мнѣ такъ весело, на душѣ легко!

XIII.

Какъ одинъ день, какъ мигъ, пронеслось лѣто для счастливцевъ; пожелтѣли на деревьяхъ листья, и багряницемъ залило лѣса, улетѣли за теплыя моря птицы, и окончилось приволье кочевокъ.

Бѣлымъ покровомъ одѣлись горы и степи башкирскія, мѣстами лишь, кое-гдѣ, выступаютъ темные боры. Куда ни взглянешь—покой и нѣмая красота.

Не одинъ разъ присылалъ князь Меджинъ къ дочери Арало-Табынскаго князя, чтобы узнать, когда она назначитъ время для совершенія дѣла, о которомъ говорила посламъ. Присылали и другіе князья, заѣзжали многіе батыри и джигиты. Медлитъ княжна, оттягиваетъ срокъ... Чѣмъ дальше идетъ время, тѣмъ нерѣшительнѣе становится Нада. Съ тѣхъ поръ, какъ воротились на зимовку, тревога закралась въ душу княжны. Любовь ея къ Галлею съ каждымъ днемъ возрастала, милѣе и дороже дѣлался ей князь. Случалось, уйдетъ онъ въ свой аулъ, Нада не знаетъ, что съ собою дѣлать, куда дѣваться отъ тоски. „Что, если Шайтанъ погубитъ Галлея?“ — думала она. „Вѣдь, какъ начался міръ, не выискивалось еще ни одного смѣлаго, кто дерзнулъ-бы взойти на страшную гору; никто приблизиться къ ней не смѣетъ“... Взглянетъ она на Шайтанъ-гору, посмотритъ, и отведетъ глаза. „И подъ снѣжнымъ покровомъ хмурится“! думаетъ

княжна: „дыханіе злого духа темнитъ бѣлую вершину. О, грозенъ и страшенъ Шайтанъ, зорко охраняютъ слуги жилище своего бога". Но вернется Галлей, увидитъ княжна своего милаго, встрѣтитъ смѣлый взоръ его очей, — и всякая тревога въ душѣ ея стихнетъ. „Нѣтъ", говоритъ себѣ княжна: „Галлей не погибнетъ". И Нада радуется, любуется своимъ милымъ, говоритъ нѣжныя слова и ласкаетъ его...

— Когда-же, Нада? Скоро-ли?..—спрашиваетъ Галлей.

— Праздникъ Сабана еще далеко, — отвѣчаетъ княжна, прикидываясь, что не понимаетъ, о чемъ спрашиваетъ онъ.

— Зима не долга. Я жду, когда ты позовешь князей...

— Скоро, мой Галли, близокъ день твоей славы!

Но идутъ дни, проходятъ недѣли, а княжна не торопится. Веселѣе уже глядитъ солнце, ярче блеститъ снѣгъ, и день прибываетъ, но человѣкъ еще не показывался на вершинѣ Шайтанъ-горы... Жажда дѣла не даетъ покоя юношѣ, и онъ проситъ княжну не откладывать... Но медлитъ она, какой-то невѣдомый голосъ шепчетъ ей, что погибнетъ милый, померкнутъ на вѣки его очи, и не узнаетъ она блаженства счастливой жены. Тревога сердца растетъ, страхъ за Галлея внушаетъ княжнѣ новыя мысли. „Галлей доказалъ свою любовь,—объ этомъ знаетъ народъ, — а вступить, въ борьбу съ Шайтаномъ безразсудно... Кромѣ Галлея никто не знаетъ, какое дѣло я указала. Можно другое придумать".

Пріѣздъ Сарыма-Арыпана помѣшалъ княжнѣ придумать новое дѣло. Отъ имени своего князя и Кара-Кипчакскаго рода посолъ объявилъ, что если княжна не назначитъ теперь-же времени, то Кара-Кипчаки за обиду князя пойдутъ войной.

— Какъ?—воскликнула въ гнѣвѣ княжна.—Силой хотятъ меня взять? Война противъ своихъ? Кара-Кипчаки хотятъ пролить родную кровь?..

— Княжна не держитъ слова,—сказалъ посолъ: — ты насмѣхаешься надъ княземъ и народомъ.

Гордость, негодованіе и гнѣвъ заговорили въ душѣ Нады.

— Такъ знай-же, старикъ,—отвѣтила дочь Арало-Табынскаго князя;—ни одна капля неповинной крови изъ-за меня не прольет-

ся! Пусть пріѣзжаетъ твой князь,—добавила она съ презрѣніемъ:— славное дѣло уже ждетъ его, и башкиры увидятъ подвигъ отважнаго.

— Черезъ двѣ недѣли князь прибудетъ,—сказалъ посолъ.

Провѣдали арало-табынцы, всколыхнулись аулы князя Хассана.

— Неслыханное дѣло задумали кара-кипчаки! — говорилъ народъ.—Меджинъ измѣнникъ народу и врагъ своей земли.

Добродушный батырь Даутъ-Аксакъ изъ себя выходилъ:

— Да только осмѣлься Меджинъ, покажись со своими кара-кипчаками! Я сокрушу его кости и сверну голову!

Мудрый князь Хассанъ-Фактулла, сидя передъ огнемъ чувала въ своей терьмѣ, такъ говорилъ близкимъ сердцу:

— Сбывается предсказаніе святого Манкупа: прольются слезы женщинъ, и обагрится земля кровью. Меджинъ, по внушенію Шайтана, первый заноситъ руку на свободу народа. Давно ужъ я подозрѣвалъ его въ недобрыхъ замыслахъ, недаромъ онъ искалъ дружбы съ ногайцами... Бѣдный народъ! Тебѣ и на мысль никогда не впадетъ, что твои-же князья куютъ на тебя цѣпи и себѣ готовятъ погибель.

— Не будетъ этого, отецъ!—съ жаромъ сказала дочь. — Не прольется кровь народа, слезы не затуманятъ глазъ ни одной башкирки, и ярмо не коснется сыновъ Башкиріи!

— Теперь для меня все открылось, — продолжалъ князь Хассанъ,—и я вижу ясно, чего домогаются Меджинъ съ этой лисою Сарымомъ... Горе тому, кто поддается лести и слушаетъ однихъ честолюбцевъ, а не внимаетъ голосу святой правды и совѣтамъ друзей народа! Сарымъ носитъ только личину святого, душа его такъ же грязна и полна нечестія, какъ у царедворцевъ и вельможъ персидскаго шаха. Но, пока живъ старый Хассанъ-Фактулла, врагу не придется торжествовать. Я скажу народу и вѣрнымъ моимъ друзьямъ, чего хочетъ Меджинъ, и мнѣ повѣрятъ, повѣрятъ и кара-кипчаки: живы еще среди старѣйшихъ Ята, Карыба, Акмачикъ... Какъ, поднять родъ на родъ? завести между своими-же смуты и дать чужеземцамъ, врагамъ притти и покорить родную страну?

Такъ говорилъ сѣдовласый князь, и лицо его, озаренное пла-

менемъ чувала, было прекрасно, а голосъ его звучалъ торжествомъ сильнаго мужа.

— Милостивы ко мнѣ добрые боги, но старъ я и отвратить бѣду могу только на время. Совершай-же ты, мой добрый Галлей, то славное дѣло, какое задумала Нада; женишься на ней и станешь на стражѣ народа отъ покушеній Шайтана.

— О, мой Галлей! — говорила Нада, стоя у дверей своей терьмы.—Не голосъ сердца, не любовь, а злой духъ нашептывалъ мнѣ, чтобы я отказалась отъ задуманнаго дѣла.

XIV.

Бѣжитъ и разносится по Башкиріи вѣсть, что дочь Арало-Бабинскаго князя выходитъ замужъ за князя или батыря, который одержитъ верхъ въ состязаніи. Поскакали на лихихъ коняхъ князья и джигиты, побѣжали на лыжахъ батыри. Къ концу первой недѣли въ аулахъ князя Хассана появились пріѣзжіе изъ ближнихъ родовъ, а въ половинѣ второй подоспѣли и изъ дальнихъ: всѣ спѣшили, кто участвовать въ состязаніи, а кто только посмотрѣть.

Галлей-Ахметъ съѣздилъ въ свой аулъ, повидался съ матерью и братомъ, сказалъ имъ, что скоро увидятъ его вмѣстѣ съ молодою женою, но скрылъ, какое испытаніе ему готовится: онъ побоялся опечалить мать и встревожить ея сердце. Съ благословеніями княгина Зигда отпустила сына, гордость и славу Бурдзянскаго рода.

Всѣ глаза проглядѣла Нада, поджидая возвращенія своего милаго. Завидѣвъ въ бѣлой степи вороного коня, она вся превратилась въ живую радость.

— О, мой Галли! Солнце, жизнь моя!..

Покойна теперь княжна. Опять во снѣ она видѣла праведнаго Манкупа. Онъ сказалъ ей, что Галлей-Ахметъ — и никто другой — совершитъ великое дѣло: Шайтанъ будетъ изгнанъ, жилище злого духа перестанетъ пугать людей и превратится въ чистое мѣсто. Вершина горы запестрѣетъ множествомъ цвѣтовъ, и надъ ними поднимутся еще два небесныхъ цвѣтка. Бу-

дутъ они манить къ себѣ взоры прохожихъ, и со всѣхъ концовъ станутъ приходить на гору люди, чтобы молиться за своего избавителя. Будутъ говорить о князѣ Галлеѣ и его подругѣ, княжнѣ Надѣ. Подвигомъ юноши назовется гора; имя его и княжны перейдутъ изъ рода въ родъ... Видѣла княжна, какъ святой мужъ, поднявъ къ небу руки, благословилъ Галлея. „Такъ будутъ благословлять его имя потомки“! — сказалъ праведникъ и закрылся бѣлымъ облакомъ.

Разсказала княжна свой сонъ Галлею. Милъ сердцу его былъ разсказъ Нады, но еще милѣе ея лицо и голосъ.

— Галли!—начала княжна, потупляя взоръ, — мы не будемъ дожидаться праздника Сабана... Зачѣмъ? Совершишь ты славное дѣло и возьмешь меня... Пройдетъ годъ, или меньше, не знаю, у насъ тогда будетъ... маленькій, другой Галли, — закончила княжна и схоронила свое лицо на груди юноши.

На другой день княжну обрадовали пріѣздомъ гости. Неожиданно, откуда взялась, безъ бешмета вбѣжала къ ней въ терьму Зара, кинулась на шею подруги, принялась горячо цѣловать и душить ее въ своихъ объятіяхъ. Радъ былъ пріѣзду Раслана, брата Зары, Галлей, улыбался во все лицо Даутъ, потрясая руку Булекей-Кудейскаго князя и приговаривая:

— Расланъ, товарищъ, здравствуй! Здорова-ли сестра, княжна Зара?

— Она поклонъ тебѣ прислала, Даутъ.

— Правду говоришь?—вскричалъ батырь.—Смѣешься? Не посылала она съ тобою поклона...

— Если не вѣришь, спроси ее самъ: она въ терьмѣ княжны Нады...

Широко открылъ сѣрые глаза батырь, долго глядѣлъ на обоихъ пріятелей, потомъ вдругъ расхохотался громкимъ хохотомъ и бросился обнимать князя Раслана.

Не замедлилъ своимъ пріѣздомъ князь Меджинъ: днемъ раньше срока прибылъ. Съ нимъ были Сарымъ-Арыпанъ и аульные старшины. Всѣмъ гостямъ отвели помѣщеніе, приняли съ почетомъ и предложили вкуснаго мяса и крѣпкаго меда.

Шумъ и говоръ съ утра еще наполнили аулъ; собрались всѣ арало-табынцы. Густая толпа обложила терьмы и затопила широкіе промежутки: безъ числа мелькали мужскія и жен-

скія лица, шапки и малахаи, кашбовы и лябаши, оленьи илосиныя дохи, лисьи, медвѣжьи и волчьи бешметы. Не одна уже тысяча человѣкъ собралась, а по степи, съ разныхъ сторонъ, еще неслись на коняхъ и бѣжали на лыжахъ башкиры изъ сосѣднихъ родовъ.

Передъ большою терьмой княжны разосланы ковры, наложены подушки; широкимъ полукругомъ стоятъ молодые джигиты и батыри, а за ними тучею народъ. Около полудня показался въ тепломъ бешметѣ и бѣлой шапкѣ князь Хассанъ, остановился передъ полукругомъ, сложилъ на груди руки и поклонился всему народу.

За хозяиномъ показались пріѣзжіе князья, аульные старшины, всѣ усѣлись на подушкахъ. Вокругъ разомъ стихло... Отворилась дверь терьмы и вышла княжна Нада. Тихій говоръ пронесся, и тысячи глазъ устремились на княжну. Въ бешметѣ малиноваго цвѣта и шитой серебромъ шапочкѣ, она казалась смущенною, но была еще прекраснѣе, чѣмъ всегда. Княжна склонила голову. На глазахъ женщинъ дрожали слезы.

— Говори, моя дочь!—послышался среди тишины негромкій, но твердый голосъ.

Замеръ народъ.

— Сегодня я стою передъ вами дѣвицею, а завтра буду женою,—начала тихо княжна.—Кто совершитъ славное дѣло, память о которомъ перейдетъ въ потомство, тотъ будетъ моимъ мужемъ. Башкиры слышали о святомъ Манкупѣ и знаютъ, что предсказывалъ праведникъ многія бѣдствія, нищета и неволя постигнутъ нашу страну. Такова злая воля Шайтана. Но явится человѣкъ, который разрушитъ царство злого духа, побѣдитъ врага народа, Шайтана, и Башкирія останется свободною и счастливою. Явится мужъ, который взойдетъ къ жилищу горнаго духа, наступитъ ногою на темя Шайтана и сойдетъ побѣдителемъ. Кто изъ васъ готовъ совершить этотъ подвигъ?

Гробовое молчаніе. Лица многихъ храбрыхъ сдѣлались бѣлѣе снѣга. Только князь Хассанъ покойно смотрѣлъ на свою милую дочь.

— Кто поднимется на Шайтанъ-гору и сойдетъ съ нея, тотъ назоветъ меня своей женой.

Никто не могъ опомниться: такъ всѣ были поражены словами княжны.

— Я жду отвѣта! — произнесла она, обводя свѣтлымъ взоромъ собраніе.

Сарымъ Арыпанъ первый очнулся:

— Ты невозможнаго требуешь, княжна! Кто же пойдетъ на вѣрную смерть? Шайтанъ не только на вершину подняться не дозволитъ, онъ и къ пятѣ своей не подпуститъ: въ мгновеніе ока на мѣстѣ поразитъ! Назначь другое дѣло.

Галлей Ахметъ не спѣшилъ отвѣтомъ, онъ выжидалъ...

Потупила взоръ княжна. Народъ съ затаеннымъ дыханіемъ ждалъ.

Всталъ юный Галлей Ахметъ.

— Я иду, княжна!

Молчаніе. Потомъ послышался слабый женскій крикъ, ропотъ не то изумленія, не то ужаса пробѣжалъ,—всколыхнулся народъ, полетѣли вверхъ малахаи и шапки, и со всѣхъ сторонъ загремѣли голоса:

— Князь Галлей! Безстрашный!

Все перемѣшалось, слилось... Князь Меджинъ хотѣлъ было что-то сказать, но Сарымъ улыбкою предупредилъ его... До самой ночи не расходился народъ, толпы ходили по аулу, гуляли и прославляли безстрашнаго Галлея Ахмета.

Съ вечера были заколоты сотни барановъ, десятки воловъ, козъ, и припасено множество дикой птицы. На утро праздникъ: послѣ совершенія подвига будетъ свадьба.

— Сарымъ, что-же намъ теперь дѣлать?—улучивъ время, спросилъ совѣтника князь Меджинъ.

— Какъ что, мой добрый князь? Ты женишься на безумной дочери Хассана.

Съ удивленіемъ посмотрѣлъ на хитреца князь.

Безкровныя губы старика прошептали:

— Бурдзянецъ погибнетъ.

Солнечное утро; небо ясное, тянетъ тепломъ. Дымится жертвенникъ въ аулѣ князя Хассана: приносятся жертвы милостивымъ богамъ, чтобы они сохранили отважнаго юношу отъ козней шайтана и благословили бракъ его съ княжною Надою.

Свѣтлые глазки Зары грустны. Старается она скрыть печаль, но слезы выдаютъ ее: она боится за жениха своей подруги.

Спокойна Нада, свѣтелъ ея взоръ, и говоритъ она своему милому:

— Великій день насталъ. Ты идешь на славный подвигъ. Со всѣхъ сторонъ стекаются толпы народа, въ радостной надеждѣ увидѣть побѣду надъ шайтаномъ. Сколько теплыхъ молитвъ теперь возносится за тебя къ небу! Какимъ восторгомъ забьются тысячи сердецъ, когда ты воротишься къ народу! На тебя всѣ будутъ глядѣть, какъ на спасителя родной страны, и потомки изъ вѣка въ вѣкъ будутъ благословлять твое имя... О, мой Галли! Ты посланникъ небесъ! Съ тобою праведный Манкупъ, и любовь, вѣчная любовь твоей Нады!..

Она цѣлуетъ Галлея въ уста, обнимаетъ и говоритъ:

— Иди, не медли.

Старый Хассанъ и княжна Бика благословляютъ юношу.

— Да помогутъ тебѣ боги, мой сынъ,—говоритъ мудрый князь, и слеза катится по его щекѣ.

Зара собираетъ всѣ свои силы и говоритъ:

— Галлей Ахметъ! Я хотѣла-бы, чтобы ты и отъ меня взялъ благословеніе! — она цѣлуетъ его и поспѣшно скрывается.

Нада еще разъ обнимаетъ:

— Иди, посланникъ неба!

Толпы всадниковъ мчались къ Шайтанъ-горѣ. Впереди, словно широко раскинувшійся лѣсъ, темнѣютъ толпы народа. Галлей ѣдетъ рядомъ съ Надою, и она не спускаетъ съ него глазъ. Взоръ юноши горитъ любовью, и лицо исполнено отвагой. Уже близко... Въ полуторѣ верстѣ отъ подошвы Шайтанъ-горы ждутъ тысячи народа. Галлей соскочилъ съ своего вѣрнаго товарища, вороного коня, и сдалъ его батырю; скоро и крѣпко подвязалъ легкія лыжи, кинулъ свѣтлый взоръ Надѣ, кивнулъ всѣмъ головой, гикнулъ и двинулся впередъ.

Высока и велика Шайтанъ-гора. Залегла она своей каменной грудью не на одну версту, а остроконечную вершину дерзко вскинула къ небу; круты ребра страшнаго великана, торчатъ по ней каменные утесы, выставляются глыбы, точно чудовищные наросты. Но человѣкъ никогда къ ней не приближался и не видѣлъ ее

близко. Одѣта гора снѣжнымъ покровомъ, но не сверкаетъ ризою на солнцѣ, какъ другія горы: точно мертвецъ лежитъ въ саванѣ; ледянымъ дыханіемъ вѣетъ отъ Шайтанъ-горы; невольный трепетъ пробѣгаетъ по жиламъ человѣка...

Галлей благополучно достигъ подошвы, поднимается по бокамъ, избѣгая утесовъ и скалъ, искусно огибаетъ препятствія на пути; самъ онъ кажется все меньше и меньше, по мѣрѣ того, какъ онъ взбирается выше: онъ то пропадетъ изъ глазъ, то снова появится и опять исчезнетъ. Съ любопытствомъ и страхомъ слѣдятъ глаза всѣхъ за юношей. Лицо Нады покойно, взоръ блещетъ, летитъ за милымъ; изрѣдка, когда онъ скроется, что-то похожее на страхъ промелькнетъ въ глазахъ. Меньше и меньше дѣлается Галлей, совсѣмъ сталъ маленькій, какъ годовалый ребенокъ. Долго слѣдили за смѣлымъ юношею...Пропалъ ненадолго и уже черной точкой показался на самой вершинѣ горы. Радость озарила лица всѣхъ, румянецъ вспыхнулъ на щекахъ Нады, встрепенулась Зара; раздались голоса и понеслись къ небу съ молитвами.

— Взошелъ! Ступилъ на темя злого духа! Благодареніе великимъ богамъ и слава князю Галлею: побѣдилъ Шайтана!

Тронулась черная точка, промелькнула нѣсколько разъ и опять остановилась.

— Мѣсто выбираетъ, гдѣ сойти!

Исчезла черная точка, снова мелькнула, стрѣлою понеслась внизъ и вдругъ пропала, не долетѣла до подошвы... Глубокое, мертвое молчаніе воцарилось... Захватило дыханіе у княжны Нады, и поблѣднѣла Зара. Ждутъ—не показывается онъ... Просіяла вершина горы, заискрился весь ея покровъ, — Шайтанъ побѣжденъ, но не появляется радостный побѣдитель.

Даутъ и Расланъ понеслись на лыжахъ къ тому мѣсту, гдѣ пропалъ Галлей; выискались и другіе смѣльчаки подвязали лыжи и кинулись вслѣдъ. Неподвижная, блѣдная и съ потухшимъ взоромъ Нада едва держалась на сѣдлѣ: какъ будто: жизнь готова была ее оставить, свѣтъ уходилъ изъ очей. Между тѣмъ батырь съ молодымъ княземъ достигли мѣста и остановились; передъ ними глубокое ущелье, и на днѣ его лежитъ бездыханный юноша съ окровавленнымъ лицомъ: онъ разбился объ остріе каменнаго утеса.

— Ушкуль!—вырвался отчаянный вопль изъ широкой груди батыря.

XV.

На вершинѣ горы „Ушкуль“ батырь Даутъ похоронилъ Галлея Ахмета. Много народа провожало славнаго юношу, много горькихъ слезъ было о немъ пролито... Никто уже теперь не боялся горы: своимъ подвигомъ Галлей изгналъ Шайтана, и страхъ передъ жилищемъ злого духа разсѣялся; всѣ увидали, что гора стала чистою и святою; послѣднимъ зломъ Шайтана была месть Галлею: улетая изъ своего жилища, онъ отвелъ глаза юношѣ, и тотъ разбился объ утесъ.

Долго предавалась страшному отчаянію Нада, не разъ бралась за охотничій кинжалъ, но за нею зорко слѣдила княжна Зара. Потомъ отчаяніе перешло въ тихую грусть; она подолгу сидѣла молча, никого вокругъ себя не замѣчая и ничего не слыша; иногда она дѣлалась необычайно разговорчивой, но говорила какъ бы съ собой.

— Не умеръ Галлей. Безсмертный духъ его носится по всей странѣ, онъ со мною, съ тобою, милая Зара!.. Скажи, вѣдь, ты тоже любила его? Какъ ты мнѣ за это дорога стала, Зара! Любовь твоя открыла мнѣ любовь Галлея... Теперь я знаю, что онъ любитъ меня. Онъ скоро пріѣдетъ,—ахъ, зачѣмъ долго не отпускаетъ его Зигда?—и возьметъ свою Наду... Гдѣ же онъ, мой мужъ? Куда ты его спрятала? Ну, будетъ, перестань, милая подруга, шутить! Ты видишь, какая я стала несчастная отъ любви своей!.. Ахъ, не то я говорю, я безумная: Галлей погибъ за свою Наду, онъ спасъ народъ отъ Шайтана...

Съ грустью глядѣла на бѣдную подругу Зара, не зная, чѣмъ помочь горю. Печально глядѣли на дочь отецъ и мать; сокрушались ихъ сердца, и безъ слезъ плакали старыя очи.

Проснется иногда ночью княжна Нада, сядетъ на постели и тихо-тихо поетъ:

Страна моя родная,
Моя счастливая страна,
Святая родина моя!..

— Такъ, вѣдь, онъ пѣлъ? А какой у него голосъ: грустный, но сладкій и сильный!

О, скажи мнѣ, мѣсяцъ ясный,
Звѣзды чистыя небесъ,
Какъ найти дорогу къ Галли,
Къ Галли, другу моему.

— Зара! Зара!.. идемъ, идемъ къ нему! Развѣ ты не слышишь, поетъ Галлей, меня зоветъ!

Весна уже слетѣла на землю. Пришла вѣсть, что появились въ странѣ ногайцы и напали на южные аулы. Забылъ старый князь Хассанъ свое тяжелое горе, велѣлъ арало-табынцамъ садиться на коней и, вмѣстѣ съ батыремъ Даутемъ и княземъ Расланомъ, полетѣлъ на выручку башкиръ. Скоро прогналъ онъ враговъ, захватилъ двухъ князей въ плѣнъ и вернулся обратно въ родной аулъ. Плѣнные показали, что ногайцы совсѣмъ не думали нападать на башкиръ, но ихъ позвалъ Кара-Кипчакскій князь, Меджинъ Абдрахманъ, собираясь воевать съ арало-табынцами и другими родами, велѣлъ прибыть на устье рѣки Ори и дожидаться гонцовъ. Они долго ждали, ѣсть было нечего, и напали на ближніе башкирскіе аулы. Выслушалъ ногайцевъ князь Хассанъ и отправилъ ихъ съ двумя аульными старшинами и десяткомъ молодыхъ джигитовъ къ старшинамъ кара-кипчаковъ, наказавъ, чтобы Ята, Каруба, Акмачикъ и другіе выслушали ногайцевъ и отпустили ихъ съ миромъ въ свою страну.

Всѣ хитрости Меджина и Сарыма разбились въ прахъ. Собрался джеинъ, разспросилъ ногайскихъ князей; спросили тѣхъ, кто ѣздилъ въ ногайскіе улусы, все разузнали, и все всплыло на верхъ.

— Ты, Меджинъ, дурной князь,—сказали старики.—Ты врагъ свободы народа и предатель. Возьми, что тебѣ нужно изъ твоихъ богатствъ, и оставь мирныхъ людей. Мы воюемъ только съ тѣми, кто на насъ нападаетъ, и кто грозитъ нашему народу, а ты хотѣлъ начать междоусобную войну, кровью башкиръ обагрить ихъ же земли... Нѣтъ мѣста измѣнннику среди вѣрнаго народа. Оставь насъ.

Хитрый Сарымъ, не дождавшись надъ собою приговора джеина, поспѣшилъ заранѣе убѣжать.

Весна принесла съ собою зеленыя травы и цвѣты, башкиры

ушли на лѣтовку. Не снимались съ зимовья арало-табынцы, только княжескія терьмы перевезли ближе къ горѣ Ушкуль... Гасла жизнь княжны... Безмолвно сидѣли у постели больной отецъ съ матерью, Зара и батырь Даутъ. Посмотрѣла Нада на сіяющую вершину Ушкуля и попросила, чтобы ее свезли на вершину горы. Съ трудомъ поднявшись на привычной къ горамъ лошади, Нада сѣла у могилы Галлея и долго оставалась безъ словъ. Передъ нею разстилались прекрасныя долины, сверкали озера, извивались по лугамъ рѣки, бѣжали ручьи и шумѣли потоки, бѣлѣли терьмы разбросанныхъ ауловъ и темными пятнами выступали стада; вставали, сіяя вдали, вѣнцы горъ, темнѣли дремучіе лѣса, и заливались въ прозрачномъ воздухѣ вольныя пташки.

— Такъ вотъ она, та счастливая и благословенная страна, которую мнѣ показывалъ святой Манкупъ!—заговорила Нада съ чудной радостью въ вспыхнувшихъ очахъ.—Галлей совершилъ подвигъ,—и Башкирія опять счастлива! Нѣтъ Шайтанъ-горы, есть гора Ушкуль: посланникъ неба, свѣтлый юноша, принесъ себя въ жертву любви и народу. Выросъ небесный цвѣтокъ на вершинѣ Ушкуля, скоро появится и другой... Прости, отецъ... Мать, родная, не плачь обо мнѣ: я счастлива, меня зоветъ мужъ. Зара, подруга милая! Я любила тебя! Даутъ, вѣрный другъ Галлея, бери Зару... Отецъ, не забудь брата Галли... Зигда умретъ съ печали... Я молю ее простить меня... Возьми Наримана — онъ будетъ тебѣ сыномъ... Боги, какъ прекрасенъ міръ!.. Какъ люди всѣ добры и хороши!.. Галли, возьми же меня, подними на небо; оттуда мы вѣчно будемъ смотрѣть на землю и любоваться милой Башкиріей.

Княжна говорила много и съ жаромъ. Наконецъ, послѣднія силы ей измѣнили; она тихо склонилась на могильный холмъ и заснула...

Больше не проснулась Нада!..

Выросъ другой небесный цвѣтокъ на вершинѣ Ушкуля. Тысячи народа приходятъ сюда поплакать и помолиться за юную чету; благословляютъ башкиры имя Галлея и Нады...

Замолкъ курайгъ. Понуривъ голову, молча сидѣли башкиры. Среди молчанія и тишины слышно, какъ струится и плещется о берега рѣчушка, да около норокъ, облитые лучами заходящаго

солнца, пересвистываются о чемъ-то между собою желтовато-сѣрые суслики, поднявшись на заднихъ лапкахъ.

Первый заговорилъ хозяинъ коша, обратившись къ пѣвцу „Ушкуля“.

— Рахметъ-Абулла! ты говорилъ, что Шайтанъ провалился сквозь землю, и не станетъ дѣлать больше зла людямъ. А какой-же, скажи, теперь у насъ гуляетъ Шайтанъ?

— А это другой, — проговорилъ курайгъ: — прежній жилъ у нашихъ предковъ, язычниковъ, и Галлей прогналъ злого духа, а нынѣшній—у насъ, магометанъ гуляетъ; за всякой новой вѣрой, какую народъ принимаетъ, гонится свой Шайтанъ, и гдѣ она расцвѣтетъ, тамъ и Шайтанъ укоренится.

— Такъ, значитъ, намъ, магометанамъ, надобно ждать новаго Галлея-Ахмета?

— По дѣлу, выходитъ, такъ, кунакъ.

Призадумались башкиры.

— Славное время было, хорошо жили наши дѣдушки!—грустно заговорили они погодя.—Если-бы и теперь... да нѣтъ, батыри перевелись, и новый Галли на землю не явится!..

Съ такими словами башкиры стали расходиться по своимъ бѣднимъ жималейкамъ и досчатымъ балаганамъ.

Солнце уже закатилось. Горитъ и пылаетъ вдали треглавая вершина Таганая и кротко свѣтится Ушкуль. Тихо раздвинулись вѣтки, и, озираясь пугливо по сторонамъ, изъ орѣшника вышла молодая дѣвушка. Глаза ея устремились на вершину Ушкуля; долго и неподвижно она стояла, по загорѣлымъ щекамъ текли слезы и уста шептали:

— Галли, прекрасный юноша! Нада, красавица!.. Сойдите съ неба, спасите насъ, бѣдныхъ и забытыхъ!..

Ночь. Спитъ давно аулъ; въ дремоту погружена долина; жалобно и слабо лепечетъ рѣчушка, уныло пощелкиваетъ въ кустахъ соловей... Чувствуется, духъ какой-то невыразимой печали и великой, хотя глубоко затаенной скорби распростерся по землѣ... Но чудны, какъ всегда, ясное синее небо, прекрасный хороводъ звѣздъ, не знающихъ тоски и муки людей...

Ф. Нефедовъ.

Поэзія Некрасова. [1])

I.

Шесть лѣтъ тому назадъ знаменитый сатирикъ наканунѣ смерти завѣщалъ своимъ современникамъ вспомнить „забытыя слова“. Рука писателя застыла навсегда раньше, чѣмъ успѣла дописать завѣщаніе. Поэтъ досказалъ рѣчь покойнаго: онъ назвалъ слова: *отчизна*, *совѣсть*, *честь*.

Но только ли эти слова забыло наше время?

Въ современной литературѣ растетъ тоска по чистому искусству, и лепетъ младенцевъ и нервно больныхъ возводится въ поэзію; въ дѣйствительности нѣтъ былого почета для искусства, и въ немъ исчезаютъ исконные мотивы старыхъ поэтовъ, учителей общества и друзей народа.

Кто же властною рѣчью разсѣетъ этотъ пыльный налетъ? Кто возстановитъ тѣснѣйшій союзъ жизни и поэзіи и воскреситъ великій образъ поэта-гражданина?

Преемника тебѣ не видимъ мы пока,

говорилось у могилы Салтыкова. Это справедливо до послѣдняго дня. Но одно имя, уже много лѣтъ написанное на могильномъ памятникѣ, можетъ во всемъ блескѣ и полнотѣ напомнить намъ все, что мы растеряли, чѣмъ пренебрегли.

Это имя—Некрасовъ.

Какое ясное и сильное творчество! Не надо никакихъ хитроумныхъ догадокъ, никакихъ критическихъ дополненій. Каждый

---

[1]) Прочитано на литературно-музыкальномъ вечерѣ Общества любителей Россійской словесности 27-го марта 1894 г.

стихъ мечется въ глаза, живой и реальный, и будто лучъ солнца уничтожаетъ туманы современной тщедушной музы.

Такою поэзія можетъ быть при единственномъ условіи: когда она—непосредственный, искренній откликъ на душевную жизнь поэта, когда она вся пропитана красками и соками дѣйствительности.

Некрасовъ въ своихъ стихахъ откровенно разсказалъ и свою жизнь, и свои стремленія, ошибки и грѣхи, самъ произнесъ надъ собой нелицепріятный судъ, и не переставалъ при этомъ окружать всей прелестью своего таланта, своего генія-вдохновителя, свою мать.

Никто изъ поэтовъ ни одной женщинѣ до конца жизни не пѣлъ такихъ восторженныхъ глубоко-сердечныхъ пѣсенъ. Каждая минута прошлаго, связаннаго съ матерью, для нашего поэта незабвенна. И сколько горя и боли въ этихъ воспоминаніяхъ!

Одна изъ первыхъ красавицъ Варшавы, окруженная блестящею толпой поклонниковъ, увлекается русскимъ армейскимъ офицеромъ, бѣжитъ съ нимъ въ далекую холодную страну и на проклятія родителей отвѣчаетъ молчаніемъ. Награда ей — многолѣтнія страданія.

Кругомъ ея ни единаго луча свѣта, ни одной любящей отзывчивой души. Ея существованіе — тяжелая безутѣшная неволя, и сыну ея впослѣдствіи будутъ рисоваться картины, одна мрачнѣе другой, когда онъ припомнитъ свое дѣтство и участь матери.

Увы! Тамъ душно, тамъ пустыня,
Любя, прощая, чуть дыша,
Тамъ угасаетъ какъ рабыня,
Святая женская душа...
Переступить порогъ не смѣя,
Тоски и ужаса полна,
Такъ вянетъ сказочная фея
Въ волшебномъ замкѣ колдуна.

Мужъ-дикарь, деспотъ, скоро перестаетъ любить жену, она по прежнему любитъ, въ восемнадцать лѣтъ одинока, но находитъ въ себѣ силы дѣлить чужія страданія. Ея личная жизнь кажется

ей завидной передъ участью крестьянки, крестьянина раба, согбенаго надъ плугомъ, передъ несчастіями ея новаго отечества,

Гдѣ рой подавленныхъ и трепетныхъ рабовъ
Завидовалъ житью послѣднихъ барскихъ псовъ...

и гдѣ

...только тотъ одинъ, кто всѣхъ собой давилъ
Свободно и дышалъ, и дѣйствовалъ и жилъ.

Поэтъ неоднократно вспоминаетъ, какъ эта „затворница“ отводила душу за роялемъ и какъ тогда ея печальный голосъ

Звучалъ, какъ вопль души многострадальной.

Но никто не слыхалъ отъ нея укоризнъ судьбѣ. Она будто считала преступнымъ возстать на свою долю, терпѣливо и молча несла крестъ, „была ровна и весела“ и находила въ себѣ достаточно силъ выносить борьбу за другихъ.

Она, отвергнутая мужемъ, борется съ окружающей заразой, на сколько хватаетъ силъ, ограждаетъ своихъ дѣтей отъ безумныхъ забавъ отца. Ея первенецъ — будущій поэтъ, чувствуетъ себя въ родномъ домѣ затравленнымъ волченкомъ, и сколько усилій стоитъ матери спасти ребенка отъ обидъ и издѣвательствъ! И не разъ гдѣ-нибудь украдкой, обнявшись съ ней, онъ плачетъ объ ея мукахъ и общей неволѣ.

Для насъ достаточно представить одну изъ многочисленныхъ сценъ ранняго дѣтства, рисуемыхъ поэтомъ, — и безпощадная томительная драма воскреснетъ во всей силѣ.

Вотъ вечеръ,—снова рогъ трубитъ.
Примолкнувъ, дѣти побѣжали,
Но мать остаться имъ велитъ.
Ихъ взоръ унылъ, невнятенъ лепетъ...
Опять содомъ, тревога, трепетъ!
А ночью свѣчи зажжены,
Обычный пиръ кипитъ мятежно,
И бѣдный мальчикъ у стѣны,
Прижавшись, слушаетъ прилежно
И смотритъ жадно (узнаю
Привычку дѣтскую мою)...
Что слышитъ? пѣсни удалыя

Подъ топотъ пляски удалой;
Глядитъ, какъ чаши круговыя
Пустѣютъ быстрой чередой;
Какъ на лету куски хватаютъ
И ротъ захлопываютъ псы;
Какъ на тѣни ростутъ, киваютъ
Большіе дядины усы...
Смѣются гости надъ ребенкомъ
И чей-то голосъ говоритъ:
„Не правдаль, онъ всегда глядитъ
Какимъ-то травленымъ волченкомъ?
Поди сюда!“ Зоветъ и мать;
Волченокъ смотритъ—и ни шагу.
„Упрямство надо наказать—
Поди сюда!“—Волченокъ тягу...
„Ату его!“...

И вся тяжесть подобныхъ сценъ падаетъ на мать. Сама беззащитная и подневольная, она должна ограждать дѣтей отъ нравственнаго уродства, отъ разврата, подстерегающаго дѣтскую душу на каждомъ шагу въ этомъ омутѣ дикихъ страстей. И она сумѣла выходить изъ непосильной борьбы побѣдительницей. Она не могла „свободы дать рабу“, „голодному дать хлѣба“,—но уже великимъ подвигомъ было, если этотъ рабъ чувствовалъ лишній разъ бодрость и утѣшеніе, если горе его убавлялось и ало не до конца убивало въ немъ человѣка.

А дѣти? Они были спасены только материнскимъ сердцемъ, ея безмолвнымъ, но непоколебимымъ мужествомъ. Послушайте, какая горячая благодарность заключена въ слѣдующихъ словахъ поэта:

Твой властелинъ наслѣдственные нравы
То покидалъ, то бурно проявлялъ;
Но если онъ въ безумныя забавы
Въ недобрый часъ дѣтей не посвящалъ;
Но если онъ разнузданной свободы
До роковой черты не доводилъ,—
На стражѣ ты надъ нимъ стояла годы,
Покуда мракъ въ душѣ его царилъ.

И это были долгіе годы. Двадцать лѣтъ полнаго разцвѣта молодыхъ силъ, неугасимой жажды любви и счастья, двадцать лѣтъ никѣмъ нераздѣленной тоски, никому невидимыхъ подвиговъ...

Побѣда пришла, но какая поздняя и въ сущности безцѣльная! За нею слѣдовала смерть—тихая и ясная, смерть, какою умираютъ люди, исполнившіе свой долгъ,—но никакая смерть не могла загладить драмы цѣлой жизни...

О, сколько силъ явила ты, родная!
Какимъ путемъ къ побѣдѣ ты пришла!

восклицалъ поэтъ долго спустя, — и эти рѣчи были прекраснѣйшимъ вѣнкомъ на гробъ страдалицы. Вѣдь все, что чуялось поэту благороднаго и сильнаго въ его душѣ, было взлелѣяно матерью. Все, за что потомство будетъ помнить поэта,—посѣяно и взращено „скромной“ героиней — незабвенной музой своего сына. Все, что создало изъ него гражданина и пѣвца правды и народныхъ страданій, — внушено мученическимъ жизненнымъ путемъ „Узницы“, умѣвшей терпѣть и любить.

И если я легко стряхнулъ съ годами
Съ души моей тлетворные слѣды —
Поправшей все разумное ногами,
Гордившейся невѣжествомъ—среды,
И если я наполнилъ жизнь борьбою
За идеалъ добра и красоты,
И носитъ пѣснь, слагаемая мною,
Живой любви глубокія черты—
О, мать моя! подвигнутъ я тобою!
Во мнѣ спасла живую душу ты!

Поэтъ еще ребенкомъ понималъ, какая передъ нимъ желѣзная воля, самоотверженное терпѣніе. И въ дѣтствѣ горячо любимая мать „силу свободную, гордую, заложила въ его грудь“, научила „не робѣть передъ правдой-царицей“.

Ему скоро понадобится эта наука.

Рано онъ оставляетъ семью, въ шестнадцать лѣтъ живетъ своимъ трудомъ, учится урывками, подолгу голодаетъ. Въ двадцать лѣтъ—усталый, обезсиленный, но неизмѣнно смѣлый и гордый, онъ пріѣзжаетъ домой, и не застаетъ матери въ живыхъ.

Теперь на ея могилѣ онъ вновь вспоминаетъ ея жизнь, ея завѣты.

Незадолго передъ ея смертью, послѣ двадцатилѣтнихъ терзаній, сѣрый день будто просвѣтлѣлъ. Раскаяніе вспыхнуло въ груди мучителя и онъ палъ къ ногамъ страдалицы. Она умерла не переставая молиться о дѣтяхъ.

И передъ сыномъ будто на яву стоитъ она,
Треволненья мірского далекая,
Съ неземнымъ выраженіемъ въ очахъ,
Русокудрая, голубоокая,
Съ тихой грустью на блѣдныхъ устахъ;

слышится печальный, хватающій за сердце голосъ, „исполненный мелодіи и ласки“, воскресаютъ чудныя сказки по зимнимъ вечерамъ у догорающаго огня „о рыцаряхъ, монахахъ, королихъ“; но еще больше воскресаетъ слезъ...

И эти слезы—свидѣтели великихъ душевныхъ доблестей, оставившихъ безсмертное наслѣдіе въ сердцѣ и геніи поэта. И поэтъ, склоняясь въ глубокой тоскѣ надъ дорогой могилой, ощущаетъ невольное чувство удовлетворенія, даже счастья — быть одновременно и сыномъ, и питомцемъ и пѣвцомъ такой женщины.

И счастливъ я! ужъ ты ушла отъ міра,
Но будешь жить ты въ памяти людской,
Пока въ ней жить моя способна лира.
Пройдутъ года—поклонникъ вѣрный мой
Ей посвятитъ досугъ уединенный,
Прочтетъ разсказъ и о твоей судьбѣ;
И. посѣтивъ поэта прахъ забвенный,
Вздохнувъ о немъ, вздохнетъ и о тебѣ.

Эти слова шепчетъ поэтъ надъ могильной плитой, и уроки матери неизгладимо запечатлѣваются въ его сердцѣ.

Сколько бы ни жилъ поэтъ, сколько бы ни испыталъ онъ,—жизнь не вызоветъ въ немъ новаго чувства, какого бы онъ давно не пережилъ вмѣстѣ съ матерью.

Она томилась среди ужасовъ крѣпостного рабства, сама была первой безотвѣтной жертвой: сынъ всей душой возненавидитъ

жизнь, создающую тирановъ и жертвъ. Мать ни разу не заставила раба почувствовать страхъ, видѣла въ немъ близкаго себѣ страдальца и преклонялась передъ его часто мученической судьбой. сынъ научится распознавать человѣка, даже героя, въ бѣдномъ запуганномъ созданіи, на лицѣ бурлака еще ребенкомъ прочтетъ „спокойно безнадежный взоръ“, „покорность безъ конца“ и родную Волгу въ первый разъ назоветъ

Рѣкою рабства и тоски.

Онъ такъ много перенесъ, передумалъ, столь многому научился въ объятіяхъ матери,—дѣтскія обиды сольются съ горемъ узницы. Негодованіе на „ужасъ женской доли“ будетъ расти съ каждымъ днемъ: именно здѣсь мать—учительница и образецъ, и къ мотивамъ грусти прибавятся еще пѣсни о дѣтскомъ сиротствѣ.

И передъ нами поэтъ печали и гнѣва, поэтъ жгучей мести и нѣжнѣйшихъ сочувствій, мести всякой неправдѣ и насилію, сочувствій—безсильнымъ и бѣднымъ.

II.

Поэту для его поэзіи не потребуется усилій воображенія: ему достаточно помнить, чтобы творить, видѣть просвѣтленный страданіями образъ матери, чтобы не остудить въ себѣ ни любви, ни ненависти. И этотъ образъ не тускнѣетъ до конца дней поэта. Наканунѣ смерти Некрасовъ посвящаетъ матери поэму, еще разъ преклоняясь передъ ней, какъ преклонялся тридцать лѣтъ тому назадъ, разсказывая впервые объ ея судьбѣ.

Сынъ не можетъ простить слезъ, пролитыхъ матерью; имъ „забвенья нѣтъ“, этимъ „святымъ“, единственнымъ въ мірѣ слезамъ,—и онъ прежде всего явится безпощаднымъ историкомъ темной старины.

Онъ воскреситъ героевъ недавней эпохи, героевъ безпросвѣтнаго эгоизма, тупого самоуслажденія собственной силой и властью героевъ эпохи, когда даже слова „общественное благо“ считались преступными.

Трудно и пересчитать, сколько разъ поэтъ принимается разсказывать о печальномъ прошломъ! Вѣдь оно камнемъ лежитъ на его

сердцѣ, у него—еще ребенка—„тоскливо сердце ныло“, онъ, самъ гонимый необъяснимымъ чувствомъ, убѣгалъ въ нянѣ... Теперь стóитъ только взглянуть на родныя поля,—и безконечная вереница óбразовъ и картинъ не даетъ покою.

Помѣщикъ—солнце, каждая травка любовно шепчетъ ему „я твоя“. Его воля законъ. Безконечные праздники среди разгула.

Летѣло время соколомъ,
Дышала грудь помѣщичья
Свободно и легко.

Такъ жили отцы. И не иная жизнь готовилась дѣтямъ.

Молодыя поколѣнія воспитываются необыкновенно просто: въ дѣтствѣ достаточно умѣть забираться на чужія плечи, въ юности—развратъ, потомъ „наука жизни“ въ гостиныхъ и лакейскихъ и въ заключеніе—„доходныя мѣста“. Намъ знакомы эти рыцари вѣковой лѣни и животныхъ радостей. Литература за цѣлые десятки лѣтъ переполнена ими. Поэтъ нѣсколькими штрихами рисуетъ и самихъ героевъ и ихъ жизнь, и ихъ жгучіе интересы.

Вотъ одна изъ безчисленныхъ сценъ, заполонявшихъ въ „недавнее время“ великосвѣтскіе салоны и ресторанные кабинеты:

Двѣ бутылки бордо уничтожено.
Не касаясь общественныхъ дѣлъ,
О борзыхъ, о лоретках̀ъ Сережа
Говорить безподобно умѣлъ:
Берты, Мины и прочія... дуры
Въ живописномъ разсказѣ его
Соблазнительнѣй самой натуры
Выходили. Но лучше всего
Онъ дразнилъ петербургскихъ актеровъ
И жеманныхъ французскихъ актрисъ.
Темой самыхъ живыхъ разговоровъ
Были скачки, парадъ, бенефисъ.
. . . . . .
. . . . . .
Тутъ же шли безконечные споры
О дуэли въ такомъ-то полку

Изъ-за Клары, Арманс или Лоры,
Да шептались стихи въ уголку
На игривыя, милыя темы...

Программа иногда разнообразится. Вдругъ крѣпостнику вздумается обзавестись „принципами“ и убѣжденіями. Въ результатѣ маскарадъ едва ли не болѣе забавный, чѣмъ откровенныя потѣхи почвенныхъ и совершенно первобытныхъ „отцовъ отечества“. У нашего поэта длинная галлерея подобныхъ чудаковъ.

Одинъ, напримѣръ, пресерьезно увѣряетъ пріятеля:

„Я, душа моя, славянофилъ.“

Пріятель догадывается спросить:

„А религія ваша?“

Получается отвѣтъ:

„Католикъ“...

Картина въ истинно-русскомъ жанрѣ!.. Извѣстна оригинальная религіозная пропаганда въ Петербургѣ сардинскаго посла графа де Местра въ царствованіе Александра I. Графъ дѣйствовалъ такъ ловко и успѣшно, что среди русскихъ аристократовъ преданность римскому папѣ стала считаться признакомъ „хорошаго тона“. Поэтъ, слѣдовательно, имѣетъ въ виду безусловно историческое явленіе.

Другое, столь же комическое и жалкое,—салонное народничество. Оно не шло дальше увлеченія костюмомъ, мужицкимъ обличьемъ, кое-какими жаргонными словечками. Вы помните гоголевскую барыню, приходящую въ экстазъ отъ нарисованнаго мужичка въ рубахѣ! Такіе энтузіасты плодились не только среди прекрасной половины помѣщичьей расы. Вотъ впечатлѣнія одного изъ салонныхъ народниковъ, съ обычной силой изложенныя Некрасовымъ:

Дѣло, конечно, происходитъ въ театрѣ. Гдѣ же еще аристократическому народолюбцу видѣть вблизи „русскій народъ“ и—главное—восхищаться имъ!

...Явилась въ рубахѣ крестьянской
Петипа—и театръ застоналъ.
Вообще мы наклонны къ искусству,

Мы его поощряемъ, но тамъ,
Гдѣ есть пища народному чувству,
Торжество настоящее намъ:
Неужли молчать славянину,
Неужли жалѣть кулаки,
Какъ Бернарди затянетъ „Лучину“,
Какъ пойдетъ Петина трепака...
Вотъ гдѣ дѣло идетъ о народѣ,
Тамъ я первый увлечься готовъ.
Жаль одно; въ нашей скудной природѣ
На вѣнки не хватаетъ цвѣтовъ.

Народническіе восторги на почвѣ балета истинный фарсъ, и смѣшной и низменный. Но иное чувство возбуждаютъ краснорѣчивые „либералы“, большіе художники мирить пышныя рѣчи съ наслѣдственными преданіями рабства:

Такія рѣчи поведетъ,
Что слушать любо-мило,
А кончитъ тѣмъ же, что прибьетъ!

Невольно жертвамъ подобнаго либерализма приходится даже сожалѣть о старинѣ — жестокой, часто безчеловѣчной, но за то откровенной и безхитростной:

Нѣтъ! прежде проще было!

Такіе горькіе, уродливые плоды приносили даже благородныя повидимому увлеченія на почвѣ, поросшей вѣковою сорной травой! Ни искусство, ни идеи не могли преодолѣть насильнической закваски, окрѣпшей среди длиннаго ряда поколѣній. И дѣти неизбѣжно выходили портретами отцовъ,—все равно—оставались ли они въ родныхъ углахъ среди кутежей и распутства, или наслаждались „послѣдними словами“ столичной культуры.

Вы знаете распространеннѣйшій типъ „сына“, выросшаго въ семьѣ крѣпостнаго барина, снабженнаго всѣми благами фортуны и брошеннаго въ вихрь продажныхъ наслажденій. Онъ могъ кончить весьма просто; въ одинъ прекрасный день подъ вліяніемъ тяжкаго похмѣлья или случайнаго отрезвленія вдругъ возникало рѣ-

шеніе порвать съ Армансами и Лорами, обзавестись законной подругой,—и окунуться въ глушь родной старины, чтобы до конца жизни травить зайцевъ и властной рукой править „людьми“...

Но бывалъ и другой конецъ, болѣе сложный, но врядъ ли болѣе достойный и завидный. Въ результатѣ праздности и кутежей юноша начинаетъ страдать хандрой, особымъ русскимъ разочарованіемъ.

Тогда юный герой
Являлъ... Байрона черты
Въ характерѣ усталомъ.

Онъ, утратившій радость въ ресторацiи Дюссо, познавшій тщету надежды за картами и биллiардомъ, остудившій сердце въ танцъ-классахъ!

Это все такіе подвиги, что послѣ нихъ нельзя было не вообразить себя всѣмъ, чѣмъ угодно—и Байрономъ, и Манфредомъ, и Наполеономъ,—геніемъ не у дѣлъ, героемъ безъ призванія. Какъ просто и естественно громить „ничтожный міръ“, „людское стадо“, когда въ самомъ себѣ чувствуешь удручающую пустоту и немощь! Какъ завлекательно прикрывать мрачной маской разочарованія пошлыя черты отцвѣтшаго лица и драпировать театральнымъ плащемъ тщедушный, измочаленный станъ! Неопытные взоры не преминутъ ходульнаго комедіянта отождествить съ идеалистомъ, исполненнымъ благороднаго негодованія на людскую пошлость.

Такъ это и было,—и не пересчитать, сколько опустошеній совершено маскарадными героями въ мечтательныхъ женскихъ сердцахъ! Какіе эффектныя имена и благоговѣйныя прозвища давались нашими Татьянами нашимъ Онѣгинымъ!

Некрасовъ не миновалъ и этого недуга. Его герой носитъ одно изъ великолѣпныхъ романтическихъ именъ: Агаринъ стоитъ Онѣгина и Тамарина,—и клеймо, положенное на него музой нашего поэта, горитъ несмываемымъ пятномъ:

Это не бѣсъ, искуситель людской
Это увы!—современный герой!

* * *

Книги читаетъ да по свѣту рыщетъ—
Дѣла себѣ исполинскаго ищетъ,

* * *

Благо наслѣдье богатыхъ отцовъ
Освободило отъ малыхъ трудовъ,

* * *

Благо итти по дорогѣ избитой
Лѣнь помѣшала, да разумъ развитой.

И среди этихъ паразитовъ и глущовъ—лучшимъ былъ „лишній человѣкъ“ „честный по натурѣ, лѣнтяй, избыточно снабженный всѣмъ житейскимъ, боготворившій красоту и европейскую культуру, тщательно обходившій жизнь и житейскую прозу“.

Рыцарь добраго стремленья
И безпутнаго житья!..

Этимъ людямъ случалось говорить громкія рѣчи, но всякое усиліе ихъ пугало, они карали зло лишь презрѣніемъ, и герои слова на дѣлѣ были дѣтьми.

А народъ?

Ему предоставленъ трудъ, и вѣчная борьба. За каждую крошку хлѣба онъ расплачивается каплей пота.

Безъ наслажденья онъ живетъ,
Безъ сожалѣнья умираетъ

Цѣлая страна—„Забытая деревня“. Вѣка проходятъ среди тьмы и рабства—и нѣтъ ни откуда спасенья: не идетъ желанный баринъ, подавленный стонъ звучитъ даже въ пѣсняхъ, застываетъ въ „спокойно-безнадежномъ взорѣ“ пахаря, захватываетъ будто всю природу, печальную, сѣрую, слезливую. Здѣсь все кричитъ о неустанномъ подневольномъ трудѣ и о страданьяхъ, никѣмъ не признанныхъ.

Ни болѣзнь, ни смерть не облегчаютъ цѣпей: хозяинъ при смерти—его полоса гибнетъ несжатой, онъ умеръ—его некому оплакивать: жена едва успѣваетъ схоронить покойника, не можетъ приласкать дѣтей; ежедневный трудъ, борьба съ голодомъ стоятъ надъ ней и не даютъ ей ни на минуту остаться человѣкомъ.

Но иногда человѣкъ вдругъ поднимается и заявляетъ свои права. Неожиданно для всѣхъ примѣрный холопъ вѣшается, высѣченный парень бросается въ рѣку, всю жизнь покорный труже-

никъ напивается до пьяна. Это — расплата несчастныхъ за поруганный другими образъ человѣка, расплата рабовъ, способныхъ отомстить господамъ только собственной гибелью.

Но это драмы, а не будни; чаще всего жизнь кончается въ безропотномъ терпѣніи, среди молчанія и тихой грусти. Такъ умираетъ солдатъ, заболѣвшій чахоткой послѣ побоевъ начальства. Онъ даже матери не разсказываетъ, что съ нимъ произошло. Онъ— недавно цвѣтущій, сильный и красивый,—теперь умирающій.

Грѣхъ мірянамъ-то показывать
Душу Богу обреченную.

Но это не все:

—Въ отвѣтъ стенаньямъ народа
Мысль русская стонала въ полу-тонъ.

Она переживала свои драмы, можетъ быть, еще болѣе горькія. Надъ литературой тяготѣло другое крѣпостное право.

Сколько разъ поэту приходилось повторять элегію о „пропавшей книгѣ!“ Единственная отрада русскаго образованнаго бѣдняка—любимый писатель. Художественная, открытая рѣчь скрашиваетъ и будничную нужду, и тяжелый неизбѣжный трудъ.

Вы помните, въ какой высоко-поэтической картинѣ изобразилъ Гоголь это счастье нашей родины. „Трещитъ по улицамъ сердитый-тридцати-градусный морозъ; взвизгиваетъ исчадье сѣвера, вѣдьма-вьюга, заметая тротуары, слѣпя глаза... но привѣтливо и сквозь летающіе перекрестно охлопья свѣтитъ вверху окошко гдѣ нибудь въ четвертомъ этажѣ: въ уютной комнаткѣ, при скромныхъ стеариновыхъ свѣчкахъ, подъ шумокъ самовара, ведется согрѣвающій и сердце и душу разговоръ, читается свѣтлая страница вдохновеннаго русскаго поэта, какими наградилъ Богъ свою Россію, и такъ возвышенно-пылко трепещетъ молодое сердце юноши, какъ не видится и подъ полуденнымъ небомъ“.

Но бывали времена, и эти скромныя радости оказывались мало доступны, часто недосягаемы. Поэтъ оплакиваетъ одну изъ многочисленныхъ жертвъ, вѣруя, что его печаль—печаль родины. Вѣдь тамъ, въ глубинѣ Россіи, гдѣ царитъ вѣковое затишье, больнѣе всего почувствуютъ утрату, — и поэтъ напутствуетъ пропавшую книгу, какъ безвременно погибшаго друга:

Прощай! Горька судьба твоя,
Бѣдняжка! Какъ зима настанетъ,
За чайнымъ столикомъ семья
Гурьбой читать тебя не станетъ.
Не занесешь ты новыхъ думъ
Въ глухія темныя селенья,
Гдѣ изнываетъ русскій умъ
Вдали отъ центровъ просвѣщенья!

А сколько сдѣлокъ съ совѣстью предстояло писателю на его пути въ старое время! Сколько отступленій, страха, вынужденнаго молчанія: единственная надежда, говоритъ поэтъ,—завоевать снисхожденіе у мыслящихъ людей „трудомъ и безкорыстной цѣлью".

И рабство не убило ни въ народѣ, ни въ литературѣ свободныхъ чувствъ и общихъ стремленій.

Въ народѣ сохранилось сердце, уцѣлѣла даже энергія и воля. Ермилъ Гиринъ—простой писарь въ барской вотчинѣ.

Однако, для крестьянина
И писарь человѣкъ.

И Ермилъ на своемъ мѣстѣ оказывается истиннымъ благодѣтелемъ одной изъ „забытыхъ деревень". Онъ безкорыстный мірской печальникъ; міръ не знаетъ, какъ и цѣнить его. Недовѣрчивый ко всякой власти и силѣ, онъ вѣритъ каждому слову Ермила и ручается за его честное будущее до самой смерти.

Для такой вѣры нужно носить въ груди истинно-человѣческое сердце, и поэтъ съ особенной любовью говоритъ о немъ:

Въ рабствѣ спасенное,
Сердце свободное —
Золото, золото
Сердце народное!

А вотъ примѣръ энергіи:

Раскольники, сосланные въ Сибирь, въ одинъ годъ создаютъ богатую, счастливую деревню. Имъ дали всего только „волю да землю",—и свободный трудъ совершаетъ чудеса.

. . . . свободу
— Только и нужно народу,

говоритъ дѣдушка внуку, — дѣдушка, самъ много пострадавшій за свободу, но въ страданіяхъ еще тѣснѣе сжившійся съ народомъ.

Одинъ ли „Дѣдушка?“

Поэтъ вызываетъ изъ прошлаго цѣлый рядъ идеалистовъ, боровшихся во тьмѣ, передъ вѣчной опасностью—разбить своей борьбой всю жизнь. Сколько мелкихъ препятствій, засадъ, оскорбленій! Какая страшная задача для людей, переполненныхъ „святымъ недовольствомъ“, у которыхъ рвется наружу жгучее чувство. Но нѣтъ силъ, способныхъ уничтожить „божьихъ ратниковъ“. Ихъ мало, но какія все свѣтлыя имена, Бѣлинскій, Грановскій, Гоголь! Каждому изъ нихъ поэтъ посвящаетъ восторженную эпитафію, — но одинъ поднимается надъ всѣми, передъ нимъ поэтъ преклоняетъ колѣна, какъ передъ учителемъ:

Въ тѣ дни, какъ все боялось на Руси,
Дремля и рабольпствуя позорно,
Твой умъ кипѣлъ, и новыя стези
Прокладывалъ, работая упорно.

* * *

Ты не гнушался никакимъ трудомъ:
„Чернорабочій я,—не бѣлоручка!“
Говаривалъ ты намъ—и на проломъ
Шелъ къ истинѣ, великій самоучка.

* * *

Ты насъ гуманно мыслить научилъ,
Едва-ль не первый вспомнилъ о народѣ,
Едва-ль не первый ты заговорилъ
О равенствѣ, о братствѣ, о свободѣ.

* * *

Не думалъ ты, что стоишь ты вѣнца,
И разумъ твой горѣлъ не угасая,
Самимъ собой и жизнью до конца
Святое недовольство сохраняя...

И оно вѣчно будетъ спасать людей отъ самообольщенья и застоя, оно примиритъ старшія поколѣнія съ лучшими стремленіями „дѣтей“, и у сѣдого старца вызоветъ горячія привѣтствія новымъ идеямъ свободы и разума.

Такъ въ эпоху рабства былъ заключенъ союзъ между народомъ и литературой. У нихъ одни и тѣ же стремленія. Народъ жадно ждетъ свободы, писатели стараются

Какъ нибудь
Намекомъ натолкнуть на честный путь
Къ развитію способную натуру,—

воспитать въ темной средѣ сознаніе личнаго достоинства. Народъ не знаетъ пока о своихъ защитникахъ,—но вѣра въ него—источникъ великаго нравственнаго мужества, часто единственная награда для такихъ людей, какъ Бѣлинскій.

Вы видите,—съ какой точностью и полнотой разсказалъ поэтъ исторію своей родины въ тяжелыя времена. Какой разсказъ можетъ сравниться блескомъ и силой изображеній, мѣткостью характеристикъ, жизненной правдой картинъ! Поэтъ выполнилъ завѣщаніе своей матери: ужасы крѣпостного рабства подвергнуты огню безпощаднаго гнѣва, бѣдствія народа воспѣты въ глубоко-трогательныхъ мотивахъ поэтической печали. Но поэтъ не замолчалъ, когда освобожденіе совершилось... „Народъ свободенъ, но счастливъ ли народъ?“—спрашивалъ онъ. И не получалъ успокоительнаго отвѣта. Сколько еще оставалось пищи его „святому недовольству“! Историкъ превращается въ сатирика современной дѣйствительности.

III.

Поэтъ разсказалъ сначала, съ какимъ живымъ нетерпѣніемъ народъ ждалъ желанной свободы,—но съ кѣмъ подѣлиться ему своими надеждами? Развѣ подъ сердитую руку выбранить знахарку, морочащую малолѣтковъ, и бросить ей накипѣвшее слово:

Ты намъ тогда предскажи нашу долю,
Какъ отъ господъ отойдемъ мы на волю.

Или случится заѣхать въ деревню „доброму барину“. Тогда хоромы его переполняются публикой, со всѣхъ сторонъ звучитъ одинъ и тотъ же вопросъ:

Ну, говори поскорѣй, что ты слыхалъ про свободу?

Но мало находилось добрыхъ господъ, готовыхъ отвѣчать сочувственно на нетерпѣливые запросы. Поэтъ разскажетъ намъ, какъ „благодатное время надеждъ обѣтовъ своихъ не сдержало“, сколько эгоизма обнаружилось въ эпоху освобожденія, сколько людей стремилось погасить зажженный свѣтъ,—и какъ росло тайное озлобленіе.

Дѣло двинулось... силою власти...
И тогда-то во всей наготѣ
Обнаружились личныя страсти...

Помѣщику кричали: „Проснись! Вставай! Учись! Трудись!“
На это онъ отвѣчалъ:

Трудись? Кому вы вздумали
Читать такую проповѣдь?
Я не крестьянинъ—лапотникъ,
Я Божіею милостью
Россійскій дворянинъ!..
. . . . . .
. . . . . Чему учился я?
Что видѣлъ я вокругъ?..
Коптилъ я небо Божіе,
Сорилъ казну народную...

Народились мудрецы, „лакеи благородныхъ мыслей“ — великіе искусники мирить свои пошлыя дѣлишки съ либерализмомъ и идеями. Народились умники, „вооруженные опытомъ жизни“, и потому равнодушные къ процвѣтающему злу, и спокойно совершающіе великія злодѣянія на основаніи „строгой морали“. Поэтъ не находитъ словъ выразить свое негодованіе на этихъ самодовольныхъ паразитовъ, убивающихъ въ зародышѣ всякое благородное стремленіе:

Въ пошлой лѣни усыпляющій
Пошлыхъ жизни мудрецовъ,
Будь ты проклятъ, растлѣвающій
Пошлый опытъ—умъ глупцовъ.

Народились-филантропы-шарлатаны, не любящіе „оборванной черни“, дѣятели—не консерваторы и не прогрессисты, подрыва-

ющіе хорошее и не исправляющіе дурного. Къ одному изъ нихъ и обращается поэтъ:

Что тебѣ эта скорбь вопіющая?
Что тебѣ этотъ бѣдный народъ?
Вѣчнымъ праздникомъ быстро бѣгущая
Жизнь очнуться тебѣ не даетъ.
И къ чему? Щелкоперовъ забавою
Ты народное благо завешь;
Везъ него проживешь ты со славою,
И со славой умрешь.
. . . . . .

А рядомъ съ этими лицемѣрами и эгоистами сколько мечтателей, исполненныхъ благороднаго огня, прекрасныхъ идей,—но увы!—безсильныхъ сдѣлать шагъ по пути къ своимъ идеаламъ. Племя умственно-развитое, культурное, сердечное, но нравственно-ничтожное; ему до конца

Суждены .... благіе порывы,
Но свершить ничего не дано...

Вотъ всѣ эти герои и жертвы должны быть отмѣчены карающей музой, и она неустанно срываетъ маски и бросаетъ на всеобщій позоръ лицемѣровъ, аферистовъ, сладкорѣчивыхъ деспотовъ, удачливыхъ глупцовъ, суетливыхъ тунеядцевъ. И, разъ познакомившись съ этими портретами, вы не забудете ихъ никогда; каждый стихъ—клеймо, каждая подробность—зіяющая язва, каждое сравненіе—безсмертная кличка.

Поэтъ неоднократно принимается описывать свою музу и свой тяжелый путь. Вы знаете эти жгучія рѣчи, эти краткія, но необыкновенно краснорѣчивыя картины, образы отрывочные, рѣзкіе, подчасъ, можетъ быть, грубые и слишкомъ откровенные, но будто изваянные изъ мрамора.

„Муза мести и печали“,—богиня нашего поэта. „Святое безпокойство“ и „правая ненависть“—его обычныя настроенія. Такія характеристики разсѣяны по всѣмъ пѣснямъ поэта, и если онѣ не выражены словами,—мы читаемъ ихъ между строкъ. Но есть цѣлое стихотвореніе, посвященное *Музѣ*. Поэтъ припоминаетъ, въ ка-

комъ радостномъ идиллическомъ свѣтѣ рисовалась богиня поэзіи другимъ, и сравниваетъ чужія впечатлѣнія съ своими.

Ему отъ дѣтскихъ лѣтъ невѣдома была „волшебная гармонія“, „нѣжная мечта“ и сладкая пѣсня „свирѣли“.

Но рано надо мной отяготѣли узы
Другой неласковой и нелюбимой Музы,
Печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ
Рожденныхъ для труда, страданья и оковъ...

Подъ эти пѣсни росла и крѣпла „душа озлобленная, но любящая и нѣжная“. И не суждено было окончиться этой драматической борьбѣ между одинаково сильными, но враждебными чувствами, между неутолимой жаждой всякой богато одаренной поэтической натуры любить, и невольными взрывами гнѣва противъ сильныхъ за насиліе противъ слабыхъ, за ихъ малодушіе и безволіе.

И перечитайте сотни некрасовскихъ стихотвореній,—передъ вами пройдетъ богатѣйшая въ мірѣ галлерея, ежедневно обновляемая жестокой житейской борьбой—наверху и внизу современнаго общества. Поэтъ никого не забылъ, про всѣхъ у него есть слово состраданія или ободренія, часто разростающееся или въ грозную, желчную филиппику или переходящее въ грустную, томящую элегію.

Стихи мои свидѣтели живые
За міръ пролитыхъ слезъ!

говоритъ поэтъ,—и хочетъ собрать слезы во всѣхъ темныхъ углахъ обширной людской арены и смѣшать ихъ со слезами своей Музы.

Въ то время когда счастливые ликуютъ и праздно болтаютъ,—внизу, по прежнему томятся безсильные и униженные. Бѣднякъ-чиновникъ: будни пишетъ, по праздникамъ поздравляетъ начальство; для него сама смерть — наказаніе и цѣлая цѣпь неудачъ. Крестьянинъ-рабочій, заброшенный въ городъ и одиноко умирающій въ больницѣ съ мучительными воспоминаніями о деревнѣ. Несчастныя женщины, выброшенныя на улицу нищетой и непосильной борьбой...

Врядъ ли какой еще другой поэтъ, кромѣ Виктора Гюго, такъ часто и такъ сердечно касался этой темы. Некрасовъ написалъ подробнѣйшую біографію крестьянки, начиная съ ея сравнительно

беззаботнаго дѣвичества и кончая сиротливымъ, безпріютнымъ вдовствомъ.

Доля ты!—русская долюшка женская!
Врядъ ли труднѣе сыскать.

Это говорится въ разгарѣ деревенской страды. Но что значитъ самая тяжелая работа передъ безконечными нравственными униженіями! Что значитъ потъ, орошающій изъ года въ годъ нивы, передъ слезами, льющимися подъ убогими кровлями изо-дня въ день!

Въ былое время неволи ея біографія была немногосложна:

Три тяжкія доли имѣла судьба:
И первая доля съ рабомъ повѣнчаться,
Вторая—быть матерью сына-раба,
А третья—до гроба рабу покоряться;
И всѣ эти грозныя доли легли
На женщину русской земли.

Но неволя минула,—у судьбы не стало „трехъ тяжелыхъ долей“,—для одной и той же жертвы; теперь доля одна,—но какая?

Вѣка протекали—все къ счастью стремилось,
Все въ мірѣ по нѣсколько разъ измѣнилось,
Одну только Богъ измѣнить забывалъ
Суровую долю крестьянки.

На лицѣ ея по прежнему поэтъ читаетъ

Выраженье тупого терпѣнья
И безсмысленный вѣчный испугъ.

„Испугъ“,—это слово неизбѣжно попадаетъ подъ перо Некрасова всякій разъ, когда онъ говоритъ о крестьянкѣ. Иногда его рѣчь достигаетъ необыкновенно высокаго тона и двумя-тремя чертами, какъ это умѣетъ только Муза нашего поэта, набрасываетъ нестерпимо горькій образъ крестьянки:

Ты вся воплощенный испугъ,
Ты—вся вѣковая истома!

Годы молодости, цвѣтущей красоты, проходятъ незамѣтно, не оставляя за собой даже воспоминаній. Мечты о счастьѣ, неразлучныя съ дѣвичествомъ, безплодны въ этомъ темномъ мірѣ и могутъ только прибавить лишнюю горечь къ неминуемымъ разочарованіямъ. Поэту неоднократно приходилось подмѣчать и хватающую за сердце красоту крестьянской дѣвушки, чуткимъ поэтическимъ сердцемъ приходилось подслушать дѣвичьи грезы и проникнуть въ тайны дѣвичьяго раздумья. Но не на радость и эти грезы, и это раздумье, и никогда рѣчь поэта не звучитъ грустнѣе, какъ въ тѣ минуты, когда неумолимая, жестокая правда заставляетъ его немедленно за лирическимъ восторгомъ произносить приговоръ мечтамъ и счастью.

Да не то тебѣ пало на долю:
За неряху пойдешь мужика.
Завязавши подъ мышки передникъ,
Перетянешь уродливо грудь,
Будетъ бить тебя мужъ-привередникъ
И свекровь въ три погибели гнуть.
Отъ работы и черной и трудной
Отцвѣтешь, не успѣвши разцвѣсть,
Погрузишься ты въ сонъ непробудный,
Будешь нянчить, работать и ѣсть,
И въ лицѣ твоемъ, полномъ движенья,
Полномъ жизни,—появится вдругъ
Выраженье тупого терпѣнья
И безсмысленный вѣчный испугъ.
И схоронятъ въ сырую могилу,
Какъ пройдешь ты тяжелый свой путь,
Безполезно угасшую силу
И ничѣмъ несогрѣтую грудь.

Но и смерть къ крестьянкѣ приходитъ не всегда обычнымъ путемъ. Часто одна драма смѣняется другой. Умеръ мужъ, осталась семья, — вдовѣ некогда оплакивать кормильца, некогда даже приласкать сиротъ, она ѣдетъ въ лѣсъ,—и тамъ ждетъ ее могила подъ вой зимней вьюги...

Выпадетъ иногда и другая доля дѣвушкамъ, съ тоской и смутной надеждой провожающимъ мимо летящую тройку. Мечты будто

сбываются. „Взглядъ чернобровой дикарки“ зажигаетъ кровь не только у „неряхи-мужика“, а у настоящихъ господъ, кидаетъ любовь въ сердце юношей и стариковъ,—и въ результатѣ жизнь, исполненная праздниковъ и веселья. Но вѣдь красота такъ недолговѣчна, чары взгляда теряютъ свою волшебную силу,—и „полная и легкая жизнь“ смѣняется сумрачными буднями. Такъ бывало въ крѣпостное время, продолжается и до сихъ поръ.

Въ стихотвореніи *Въ дорогѣ* разсказана обычная судьба деревенской красавицы, приглянувшейся барину. Здѣсь все — и привольное господское житье, и обученье манерамъ и барскимъ искусствамъ, и ранніе соблазны сердца. А потомъ роковая случайность,—и скороспѣлая барыня снова холопка, снова жена раба и мать рабовъ. Даже „неряхѣ-мужику“ жаль ея загубленной жизни, хотя до самой смерти несчастной жертвы барской прихоти не понять мужу, почему такъ скоро придется „свалить въ могилу“ „злодѣйку-жену“. „Злодѣйку“!.. Болѣе горькой насмѣшки трудно и придумать. Она — мученица за чужое зло и недомысліе, въ свою очередь „сокрушаетъ“ другого. Такъ, въ эпоху неволи, господскіе грѣхи, въ какомъ бы направленіи они ни совершались, неизбѣжно падали на головы подневольныхъ, минуя самихъ виноватыхъ. „Бѣлоручка“ и „бѣлоличка“ должна долгіе годы расплачиваться за свои бѣлыя руки и бѣлое лицо, неизвѣстно зачѣмъ порадовавшія ее на зарѣ жизни и превратившіяся въ жестокую казнь—и для нея, и даже для ея сына. Судьба будто хотѣла лишній разъ подтвердить, что каждое отступленіе отъ „трехъ долей“— для крестьянки своего рода проклятіе и должно быть искуплено карой цѣлыхъ поколѣній.

Мы невольно спрашиваемъ, что выйдетъ изъ сына, воспитаннаго такой матерью? Принесетъ-ли ему счастье грамота, материнская ласка, оберегающая его отъ отцовской варварской науки... Въ крестьянской хатѣ вѣдь не въ обычаѣ не только грамота, а даже мытье и стрижка — лишняя затѣя, непригодная въ подневольномъ трудѣ, недоступная и надоѣдливая роскошь тамъ, гдѣ сотни тысячъ людей могутъ дать о себѣ такія свѣдѣнія:

Въ деревнѣ Босовѣ
Якимъ Нагой живетъ,
Онъ до смерти работаетъ,
До полусмерти пьетъ...

И при такихъ условіяхъ мать хочетъ взростить своего сына будто барченка... Она, очевидно, станетъ невольной виновницей его неумѣстной чуткости къ мужицкимъ лишеніямъ, она сдѣлаетъ изъ него такого же „лишняго человѣка“ въ полудикой средѣ, какимъ сдѣлали ее господа. И, можетъ быть, ея преждевременная смерть одинаково желанный конецъ и для нея, и для ея не въ пору и не къ мѣсту задуманному дѣлу...

А обыкновенныя крестьянскія дѣти, съ малолѣтства привыкающія къ горю и терпѣнію, къ грязи и темнотѣ! Поэтъ безпрестанно говоритъ намъ объ этихъ еще болѣе жалкихъ жертвахъ мужицкой драмы, чѣмъ женщины. У нихъ вѣдь одно оружіе— слезы, часто сиротскія, безгласныя слезы, жалобы, едва ли внятныя для отцовъ и матерей, всю жизнь поглощенныхъ заботой о кускѣ насущнаго хлѣба.

Муза поэта знаетъ много трогательныхъ пѣсенъ о дѣтяхъ. Ихъ наивность, ихъ свѣжая, дикая красота умиляетъ ея истинно-материнское сердце. Она среди нихъ будто среди душистыхъ цвѣтовъ, на нее вѣетъ воздухомъ безпредѣльныхъ полей, тѣнистаго лѣса, желтѣющихъ нивъ,—и именно въ эти минуты нисходитъ миръ въ ея вѣчно взволнованную грудь.

Все сѣрые, каріе, синіе глазки—
Стѣснились какъ въ полѣ цвѣты.
Въ нихъ столько покоя, свободы и ласки,
Въ нихъ столько святой доброты!
Я дѣтскаго глаза люблю выраженье,
Его я узнаю всегда.
Я замеръ: коснулось души умиленье...

Поэтъ умѣетъ открыть чарующую поэзію въ жизни крестьянскаго мальчика, безъ чувствительной слащавости и фальшивыхъ идиллическихъ красокъ, въ естественной простотѣ незатѣйливыхъ дѣтскихъ будней умѣетъ показать, столько прелести и задушевности, что всѣ блестящія удовольствія привиллегированныхъ городскихъ дѣтей кажутся прозой и тоской передъ однимъ какимъ нибудь набѣгомъ по грибы, передъ купаньемъ въ жгучій полдень, передъ забавными приключеніями съ ежомъ. Реализмъ картинъ изумительный; онѣ всѣ до малѣйшей черты врѣзываются въ вашу память, несмотря на ихъ будничную пестроту, скромность кра-

сокъ, незначительность героевъ и происшествій. Вамъ, можетъ быть, и не приходилось видѣть во очію описываемыхъ сценъ, но вамъ невольно вѣрится, что вы непремѣнно гдѣ-то встрѣтили и эту дѣвчонку, няньчающую двухлѣтнюю сестренку, и этого младенца-философа въ подвязанной подъ горло рубашенкѣ, что-то чертящаго по песку, и эту едва видную отъ земли кокетку въ обновѣ, съ прелестнымъ вѣнкомъ на головѣ, и эту наѣздницу, едва доросшую до головы „смиренной лошадки своей“. Передъ вами совершается величайшая тайна поэтическаго вдохновенія: поэтъ чудной силой своей правды и неподдѣльнаго сочувствія изображаемой дѣйствительности роднитъ васъ съ своимъ міромъ, будто вы только и жили въ этомъ мірѣ и безраздѣльно отдавались его горю и радостямъ.

Но именно правдивость поэтическаго вдохновенія не допускаетъ закончить картину на однихъ радостяхъ:

... обернуть мы обязаны кстати
Другой стороною медаль.

И какъ же неприглядна и прозаична эта сторона! Мы знаемъ, какъ непродолжительны и обманчивы, мечты и надежды крестьянской красавицы,—еще скоротечнѣе дѣтство крестьянскаго мальчика. Няньчить двухлѣтнюю сестренку, когда самому немного больше,—еще не задача, но помогать отцу въ мужицкой работѣ, когда городской мальчикъ едва начинаетъ сознательно смотрѣть на міръ своей дѣтской,—печальная привиллегія крестьянскаго ребенка. Еще прошлое лѣто онъ искалъ грибовъ и ежей, а нынѣшней зимой онъ „мужикъ“, напускающій на себя забавную солидность, инстинктивно проникающійся сознаніемъ своего скороспѣлаго достоинства. И это не книжный трудъ, обыкновенно застилающій на долгіе годы непроницаемой завѣсой дѣйствительную жизнь. Это трудъ передъ лицомъ самой яркой, неподдѣльной нужды, трудъ, налагающій на человѣка такой же суровый нравственный долгъ, требующій столько же энергіи и осмотрительности, сколько ихъ нужно въ борьбѣ за самыя насущныя нужды, — въ борьбѣ, разсчитанной исключительно на личныя силы борца.

Но развѣ только въ деревнѣ житейская проза безпощадно губитъ и дѣвичью красоту, и дѣвичьи надежды и раннее дѣтство? Едва ли не драматичнѣе эта гибель въ городахъ, гдѣ нѣтъ и

помину о неисчерпаемыхъ красотахъ природы, гдѣ не вѣдаютъ счастья дышать ароматнымъ воздухомъ полей и знать каждый уголокъ въ родномъ лѣсу. Мы знаемъ, сколько счастливыхъ минутъ успѣетъ пережить здѣсь крестьянскій ребенокъ, сколько волненій переиспытаетъ онъ въ одинъ удачный день, встрѣтивъ стараго глухаря, завидѣвъ издали волка, вспугнувъ зайца. Вѣдь для ребенка все это событія! А тотъ же ребенокъ, выростающій въ городѣ... Поэтъ заставляетъ самихъ несчастныхъ высказать свое горе:

„Въ золотую пору малолѣтства
Все живое счастливо живетъ,
Не трудясь, съ ликующаго дѣтства
Дань забавъ и радости беретъ.
Только намъ гулять не довелося
По полямъ, по нивамъ золотымъ:
Цѣлый день на фабрикахъ колеса
Мы вертимъ— вертимъ— вертимъ“!..

И подневольной работой не кончается страда дѣтской души. Ребенокъ до конца долженъ вкусить отъ плодовъ фабричнаго просвѣщенія и городской культуры, благодѣтельной для сильныхъ и зрѣлыхъ и переполненной соблазнами и опасностями для слабыхъ и неопытныхъ. Въ деревнѣ тяжело преждевременнымъ „мужикамъ“, но еще тяжелѣе имъ въ городскомъ „омутѣ“. Тамъ, по крайней мѣрѣ, имъ невѣдома изнанка жизни, созданной тунеядствомъ и праздностью, невѣдомы многочисленные пути, ведущіе жертвъ нужды къ преступленію и часто полной утратѣ человѣческаго образа, тамъ въ дѣтскихъ сердцахъ не звучатъ голоса „страстей“, которые не всегда подъ силу и взрослымъ.

Не прожить вамъ спокойно и честно,—

приговоръ поэта, съ добросовѣстностью историка и публициста разбирающаго настоящее и будущее „фабричныхъ дѣтей“,—и онъ даже отказывается нарисовать это будущее: оно вѣдь извѣстно даже самимъ дѣтямъ!...

Но у кого поднимется рука на гибнущихъ и погибшихъ! Какъ легко *осуждать* и какъ трудно *понимать!* Цѣль поэта—отдѣлить несчастье отъ порока, раскрыть, какъ истинный источникъ нравственныхъ язвъ, столь рано клеймящихъ тысячи нашихъ ближ-

нихъ. И на комъ же еще съ такой жестокостью тяготѣетъ роковой судъ, какъ надъ женщинами-грѣшницами! Врядъ ли кто не броситъ камня въ падшую: грѣхъ ея такъ доступенъ осужденію и столь естественно вызываетъ негодованіе, одинаково, и у искренно-нравственныхъ и улицемѣрно-добродѣтельныхъ. Кому придетъ на умъ выслушивать повѣсть, способную вызвать у чувствительной публики краску стыда, оскорбить чувство салонной матроны и навойливую нравственность безсердечной ханжи?... Но поэтъ рѣшается иначе все узнать и все понять...

Ему только что разсказали одну изъ такихъ повѣстей, — онъ глубоко тронутъ, онъ далекъ отъ приговора, навсегда бросающаго въ пропасть несчастнаго, только что ухватившагося за надежду спастись:

Вѣрь: я внималъ не безъ участья,
Я жадно каждый звукъ ловилъ...
Я понялъ все, дитя несчастья!
Я все простилъ и—все забылъ.

„Дитя несчастья!“—это цѣлая философія удручающаго общественнаго явленія. И она всецѣло принадлежитъ поэту... Вы помните начало знаменитой поэмы—*Убогая и Нарядная?* Едва ли можно указать другое произведеніе въ русской литературѣ, въ такой совершенной полнотѣ и гармоніи сливающее великую соціальную идею съ лирическимъ гуманнымъ чувствомъ. Обратите вниманіе на удивительную тонкость рисунка: очевидно, наблюдательность поэта сумѣла уловить мельчайшіе типичные оттѣнки. Обратите вниманіе на исключительную простоту разсказа: очевидно, для поэта предметъ поэмы—давно надуманный и безповоротно рѣшенный вопросъ. Именно въ такихъ случаяхъ нѣтъ нужды прибѣгать къ хитростямъ краснорѣчія и усиленнымъ чарамъ поэзіи.

Безпокойная ласковость взгляда,
И поддѣльная краска ланитъ,
И убогая роскошь наряда
Все не въ пользу ея говоритъ.
Но не лучше ли, прежде чѣмъ броснмъ
Мы въ нее приговоръ роковой,
Подзовемъ-ка ее, да распросимъ:
„Какъ дошла ты до жизни такой?“

Дальше слѣдуетъ исторія простая и не новая. Да развѣ въ нашемъ мірѣ, въ человѣческомъ обществѣ такое сложное и рѣдкое событіе—порокъ на почвѣ нужды и рабства? Кажется,—самая обычность подобныхъ явленій должна бы вызвать всю силу общественнаго вниманія, всю серьезность публики, обсуждающей вопросъ. Но людское сердце такъ устроено: оно легко привыкаетъ къ самымъ вопіющимъ уродствамъ жизни, если они попадаются на каждомъ шагу, и признаетъ ихъ за неизбѣжное, хотя и печальное правило. А потомъ,—какое наслажденіе для самолюбія, заботливо охраненнаго обезпеченнымъ состояніемъ и высокимъ положеніемъ, изощрять свои дешево доставшіяся силы надъ побѣжденнымъ!

Нѣтъ! тебѣ состраданья не встрѣтить,
Нищеты и несчастія дочь!...

Муза поэта не боится подолгу бесѣдовать съ такого рода героинями. И какъ странно на обычный *поэтическій* взглядъ: о „падшей“ женщинѣ можно писать цѣлыя поэмы, и воспѣвать романическую любовь, „чистыхъ“ героинь и „благородныхъ“ героевъ преступленія! Да, поэтъ въ этомъ увѣренъ. Онъ не одинъ разъ поднимаетъ на смѣхъ вдохновенныхъ пѣвцовъ любовной страсти. Ему ненавистна „тоска по женщинѣ пустой“, ему больно слышать сладкоголосые мотивы „чистыхъ художниковъ“. Ужь лучше ничего не пѣть, чѣмъ отдавать свой талантъ въ услуженіе мелкимъ вожделѣніямъ эгоистическихъ страстишекъ. Устами гражданина онъ обращается къ поэту:

Съ твоимъ талантомъ стыдно спать!
Еще стыднѣй въ годину горя
Красу долинъ и моря
И ласку милой воспѣвать...

Этихъ „сладкихъ пѣвцовъ“ поэтъ ставитъ въ одинъ рядъ съ самыми низменными представителями общественныхъ подонковъ. Здѣсь и явная преступная дѣятельность, и не менѣе преступное равнодушіе,—и здѣсь же жрецы поэзіи, терпимые къ очевиднымъ преступникамъ, и родные братья по духу „мудрецамъ“— бездѣйствующимъ, потому что, по ихъ словамъ:

„Неисправимо наше племя,
Мы даромъ гибнуть не хотимъ,
Мы ждемъ: авось поможетъ время,
И горды тѣмъ, что не вредимъ!“

У поэта поднимается вся боль оскорбленнаго чувства противъ „презрѣнной логики“: „богатые словомъ, дѣломъ бѣдные“ будто его личные враги. Такой энергіей дышетъ его рѣчь всякій разъ, когда онъ мимоходомъ касается уравновѣшенныхъ умниковъ, счастливыхъ своимъ гордымъ тунеяднымъ существованіемъ за твердыней непогрѣшимаго житейскаго опыта.

Но неужели нашему поэту совершенно недоступны исконные поэтическіе мотивы—любовь, природа? Неужели „месть и печаль“ до конца заглушили у него отзывчивость на столь естественныя волненія сердца и непреодолимыя очарованія безграничнаго міра, вѣчно питающаго поэтическія мечты объ идеальной красотѣ и силѣ, царствующихъ въ неразрушимой гармоніи?...

Еслибы на эти вопросы пришлось дать отрицательный отвѣтъ,—въ поэтическомъ вѣнкѣ Некрасова не доставало бы роскошнѣйшаго украшенія, на величавомъ лицѣ его музы не было бы всей прелести женственной красоты, всѣхъ лучей свѣта, льющагося изъ растроганнаго любящаго сердца.

IV.

У Некрасова мало пѣсенъ о любви, о женщинахъ любимыхъ, любящихъ или вызывающихъ безплодныя муки любви. Но каждое изъ этихъ стихотвореній стоитъ поэмы. Такъ много въ нихъ силы и яркости, такъ просты и глубоки настроенія, продиктовавшія поэту нѣжныя рѣчи. Вспомнимъ всего два эпизода изъ неисчерпаемой исторіи романическихъ огорченій и радостей.

Въ одномъ изображается шаловливая, но жестокая продѣлка милой надъ своимъ другомъ. Она, конечно, знаетъ, какъ ее любятъ, и сколько страданій можетъ вызвать одно ея неласковое или двусмысленное слово. Достаточно заставить сомнѣваться, чтобы сдѣлать человѣка несчастнымъ, и она достигаетъ этого однимъ „разсчитанно-суровымъ, короткимъ и сухимъ письмомъ“... Но это „ссо-

ра милыхъ". Объясненіе не медлитъ, — и солнце снова всходитъ надъ пугливымъ любовникомъ.

Послушайте, съ какой граціей, съ какой шутливой душевностью, соотвѣтствующей происшествію, поэтъ заканчиваетъ исторію! Рѣдко встрѣтите подобную вдохновенную и въ тоже время жизненную картину у самыхъ усердныхъ служителей „чистаго искусства" и самыхъ преданныхъ пѣвцовъ красоты и любви.

Такъ няня въ лѣсъ ребенка заведетъ
И спрячется сама за кустъ высокій;
Встревоженный, онъ ищетъ и зоветъ,
И мечется въ тоскѣ жестокой,
И падаетъ безсильный на траву...
А няня вдругъ: ау! ау!
Въ немъ радостью внезапной сердце бьется.
Онъ все забылъ: онъ плачетъ и смѣется,
И прыгаетъ, и весело бѣжитъ,
И падаетъ—и няню не бранитъ,
Но къ сердцу жметъ виновницу испуга,
Какъ отъ бѣды избавившаго друга.

Другой эпизодъ живо напоминаетъ сцену изъ Тургеневскаго разсказа *Дневникъ лишняго человѣка*. Сцена въ высшей степени простая, будничная по замыслу, но проникнутая таинственной влекущей поэзіей. Героиня—молодая дѣвушка, моментъ — смутныя ощущенія, переживаемыя на границѣ безпечальнаго отрочества и перваго дѣвичества, полнаго предчувствіемъ грядущихъ сердечныхъ грезъ.

Психологамъ разрѣшать вопросъ, какими путями подготовляется этотъ переворотъ, почему въ извѣстный моментъ обрываются идиллическія беззаботныя грёзы и сердцемъ овладѣваетъ мучительно-сладостная тоска по любви. Художникамъ слова—воплотить этотъ моментъ въ живыхъ образахъ.

Разсказчикъ до рокового вечера, казалось, отлично зналъ дѣвушку—ребенка, онъ горячо любитъ ее съ первой встрѣчи, — но его чувство и вообще любовь долго остаются недоступной загадкой для дѣтской души... Такъ идутъ цѣлые года, иногда можетъ пройти жизнь...

Но настаетъ минута,—и безъ воли и вѣдома самой героини, неожиданно для ея окружающихъ,—будто случайная сила вызываетъ давно скопившееся электричество, будто переполненный молодою силой цвѣтокъ рветъ покровы почки.

И у той, кого постигаетъ этотъ „ударъ молніи", обыкновенно нѣтъ силъ отдать себѣ отчетъ въ своихъ ощущеніяхъ... Но за то какимъ очарованіемъ полны эти мгновенія! Природа неизмѣнно является великимъ художникомъ въ своихъ сокровеннѣйшихъ актахъ.

Тургеневскій „лишній человѣкъ" описываетъ самое обыкновенное явленіе — закатъ солнца. Лизѣ, конечно, неоднократно приходилось любоваться тихимъ лѣтнимъ вечеромъ, восторженное чувство проходило безслѣдно, не потрясая души до дна... Теперь происходитъ нѣчто необычайное. Наканунѣ былъ прочитанъ *Кавказскій плѣнникъ*, столько разъ заставлявшій трепетать сердца юныхъ читательницъ... Поднялось броженіе давно назрѣвшихъ, но еще не уясненныхъ чувствъ.

„Она словно о чемъ-то размышляла и какъ то особенно покачивала головой, задумчиво кусая сорванный листъ. Иногда она принималась идти впередъ, такъ рѣшительно... а потомъ вдругъ останавливалась, ждала меня и оглядывалась кругомъ съ приподнятыми бровями и разсѣянной улыбкой"...

Переполненная грудь ждала лишь малѣйшаго потрясенія. И оно пришло для Лизы въ „пылающемъ золотѣ вечерняго воздуха"...

Некрасовъ превосходно рисуетъ тѣже настроенія въ нѣсколькихъ живыхъ стихахъ:

Первыя зорьки страстей молодыхъ!
Полны вы чары и нѣги безпечной,
Нѣтъ еще муки въ тревогѣ сердечной;
Туча близка, но угрюмая тѣнь
Медлитъ испортить смѣющійся день,
Будто жалѣя... И день еще ясенъ...
Онъ и въ грозѣ будетъ чудно прекрасенъ,
Но безотчетно пугаетъ гроза...

Не менѣе доступны вдохновенію поэта картины родной природы. Это чаще всего печальныя и грустныя картины, подъ

стать сѣрой людской жизни. Но вѣдь не напрасно поэтъ родился съ душой, отзывчивой на все, что угнетаетъ и обездоливаетъ человѣка, отдалъ свой талантъ бѣдному темному народу. Ему все дорого, что связано съ судьбою этого народа. Его и вдохновеніе посѣщаетъ только на родинѣ. Родина его могучая муза, — все равно, блистаетъ-ли она горячимъ солнцемъ и красуется золотыми нивами или наводитъ тяжелое раздумье осеннимъ туманомъ и безотрадной крестьянской нуждой.

Опять она, родная сторона!
Съ ея зеленымъ благодатнымъ лѣтомъ—
И вновь душа поэзіей полна...
Да, только здѣсь могу я быть поэтомъ!

Это обычное чувство русскихъ писателей, сравнивающихъ свою родину съ чужими краями. Тамъ—на чужбинѣ несомнѣнно и болѣе шумная жизнь, и болѣе живописная природа и, можетъ быть, несравненно болѣе поэтическое небо. Сопоставляя все это съ русской дѣйствительностью, поэтъ невольно долженъ воскликнуть:

Не весела ты, родная картина!

Такою-же рѣчью встрѣчалъ и Тургеневъ родныя села. Но грусть не мѣшала великому романисту питать свой творческій геній только родными мотивами, всю жизнь признавать, что непригляднойподчасъ тоскливой отчизнѣ онъ обязанъ вдохновеніемъ и плодотворнымъ чувствомъ.

Тоже самое безпрестанно повторяетъ Некрасовъ.

Сколько картинъ русской природы разсѣяно по его стихотвореніямъ! Здѣсь пышная весна, гудящая зеленымъ шумомъ и укрощающая озлобленное сердце обманутаго крестьянина-мужа, здѣсь рубка лѣса,—картина, поражающая силой и реализмомъ красокъ и въ тоже время исполненная поэтическаго чувства, здѣсь осень послѣ уборки хлѣба, когда даже въ русской деревнѣ за „величавымъ войскомъ стоговъ“ не видно „бѣдности нагой“, но чаще всего передъ нами другой пейзажъ. Трескучая зима,—среди ея снѣговаго царства вѣчно одинъ и тотъ же герой и работникъ

Въ мерлыхъ лапоткахъ, въ шубѣ нагольной,
Весь занндевѣвъ....

А кругомъ безпредѣльная даль, погруженная въ какую-то тайную грусть, и эта грусть, кажется, становится еще томительнѣе отъ воя мятели и жалкаго крика сиротливыхъ птицъ.

Въ бѣломъ саванѣ смерти земля,
Небо хмурое, полное мглою...
Отъ утра до вечерней поры
Все одна предъ глазами картина:
Видишь, какъ обнажая бугры,
Вѣтеръ снѣгомъ заноситъ лощины;
Видишь, какъ эта снѣжная пыль
Непрерывной волной набѣгая,
Подъ собой погребаетъ ковыль,
Все-губящей зимѣ помогая;
Видишь, какъ подъ кустомъ иногда
Припорхнетъ эта милая пташка,
Что отъ насъ не летитъ никуда—
Любитъ скудный нашъ сѣверъ, бѣдняжка!
Или, щелкая, стая дроздовъ
Пролетитъ и насядетъ на ели;
Слышишь дикіе стоны волковъ
И визгливые ноты метели...
Снѣжно-холодно—мгла и туманъ...

Но какіе бы пейзажи Некрасовъ ни рисовалъ,—онъ рисуетъ ихъ ради *людей*, они у него только фонъ, — самая картина отдана обычнымъ героямъ поэта.

Безграничная унылая равнина оживлена чисто-русскимъ жанромъ:

Шагъ за шагомъ идетъ караванъ
Съ сѣдоками въ промерзлой овчинѣ . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Стонетъ бѣлое снѣжное море...
Тяжело ты, крестьянское горе.

Не измѣняется настроеніе и въ другую пору. Поэтъ, считавшій презрѣннымъ дѣломъ „ласку милой воспѣвать“, умѣвшій въ лири-

ческой поэзіи открыть другіе мотивы, болѣе достойные женщины-человѣка,—не могъ отдаться безраздѣльно, съ незлобіемъ и простодушіемъ „чистаго художника“ созерцанію голубого неба и цвѣтущихъ полей. „Суровый неуклюжій стихъ“, былъ созданъ не для младенческаго лепета и не для донъ-жуановскихъ напѣвовъ.

На Некрасова русская природа вѣетъ очарованіемъ, потому что каждый моментъ въ ней—краснорѣчивая рѣчь о народной жизни и чаще всего о народной нуждѣ,—и восхищенный живописецъ безпрестанно чередуется съ поэтомъ—гражданиномъ:

Радъ я, что вижу картину,
Милую съ дѣтства глазамъ.
Глянь-ка на эту равнину—
И полюби ее самъ!
Двѣ—три усадьбы дворянскихъ,
Двадцать Господнихъ церквей,
Сто деревенекъ крестьянскихъ
Какъ на ладони на ней!
У лѣсу стадо пасется—
Жаль, что скотинка мелка;
Пѣсенка гдѣ-то поется—
Жаль, непомѣрно горька!

И неудивительно, что пѣсни поэта звучатъ такими грустными мотивами. Онѣ въ ладъ вообще русской пѣснѣ, „протяжной, печальной“.

Иныхъ покамѣсть нѣтъ.
Не диво ли? Широкая
Сторонка Русь крещеная,
Народу въ ней тьма темъ,
А ни въ одной то душенькѣ.
Съ поконъ вѣковъ до нашего
Не загорѣлась пѣсенка
Веселая и ясная,
Какъ ведреный денекъ...

И такова до конца муза поэта „посвятившая себя народу своему“. Все равно — какія бы ослѣпительныя картины ни

развертывались передъ ней — она сумѣетъ за декораціями разглядѣть настоящій смыслъ жизненной драмы.

Ни солнечный блескъ, ни роскошь столицы не скрываютъ отъ ея чуткаго сердца незримыхъ міру слезъ. Она знаетъ, что и самый свѣтъ—не на радость несчастнымъ.

Чѣмъ солнце ярче, люди веселѣй,
Тѣмъ сердцу сокрушенному больнѣй.

И какъ пересчитать эти сокрушенныя сердца? Кто не отмѣченъ Богомъ, у кого нѣтъ любящей руки, тотъ осужденъ бродить цѣлую жизнь, кипѣть, тратить силы,—и умирая видѣть за собой рядъ невольныхъ ошибокъ и случайныхъ паденій.

V.

Некрасовъ на себѣ испыталъ, что значитъ безпомощное блужданіе среди чужихъ, и какую суровую пѣсню заводитъ потомъ совѣсть, когда человѣкъ оглядывается на пройденный путь.

Онъ чувствовалъ за собой нравственное право сказать:

Стихи мои! Свидѣтели живые
За міръ пролитыхъ слезъ...

Но вѣрилъ ли міръ этимъ слезамъ? Страшный вопросъ, мучившій поэта всю жизнь. Какая цѣна поэзіи, если она не голосъ сердца, не воплощеніе души поэта!

Некрасовъ судилъ строго не только другихъ. Вспоминая своихъ безпощадныхъ судей, онъ говорилъ:

Не придумать имъ казни мучительнѣй
Той, которую въ сердцѣ ношу!

И сколько разъ поэтъ возобновляетъ эту казнь! „Я не былъ бойцомъ безъ упрека“, „Во мнѣ нѣтъ силъ героя“,

И проклялъ я то сердце, что смутилось
Передъ борьбой—и отступило вспять!

И, наконецъ, суровый приговоръ надъ всей прошлой дѣятельностью и надъ предстоящимъ будущимъ:

Я рядовой (теперь ужъинвалидъ).

Не забылъ онъ упомянуть и о своемъ самомъ позорномъ порокѣ, столько разъ осужденномъ и друзьями и недругами...

Все это признанія самого поэта. Но слушайте дальше:

Некрасовъ напутствуетъ Салтыкова въ заграничное путешествіе и желаетъ, ему съ новыми силами возвратиться „на журнальный путь"—

На путь, гдѣ шагу мы не ступимъ
Безъ сдѣлокъ съ совѣстью своей.

И сатирикъ, вѣроятно, не сталъ бы возражать поэту, и вину въ сдѣлкахъ не оставилъ бы на его совѣсти.

А когда мы намѣрены расточать упреки дѣятелямъ прошлаго, обвинять ихъ въ лицемѣріи, даже въ измѣнахъ,—вспомнимъ и эти скромныя, но несомнѣнно правдивыя слова:

Кто выдержалъ то время роковое,
Есть отъ чего тому и отдохнуть..
. . . . . .
Не предали они, они устали
Свой крестъ нести.

Мы такъ склонны открывать фальшь и неправду у талантливѣйшихъ представителей старыхъ поколѣній! Кто не повторялъ упрека въ комедіантствѣ по адресу Лермонтова? Кто не слышалъ рѣшительныхъ приговоровъ въ ханжествѣ—противъ Гоголя? А давно ли замолкла клевета на Пушкина-аристократа, презирающаго народъ и воспитывающаго сибаритство?

Какъ часто правъ поэтъ, негодуя на стадность и рабскіе инстинкты русскаго такъ называемаго общественнаго мнѣнія:

На немъ предательства печать
И непонятнаго злорадства!

Какъ часто труженику мысли и слова приходится вспоминать о „городѣ", „одержимомъ холопскимъ недугомъ", и на себѣ испытывать

гнетъ этого недуга! У русскаго культурнаго человѣка всегда побитый виноватъ, всегда на готовѣ лукавство, испугъ, способность величаво разыграть роль глубокомысленнаго мудреца, пошлаго острослова.

Поэтъ можетъ припомнить сколько угодно фактовъ на эти темы. Напримѣръ, одинъ особенно ему памятный:

Грановскій умеръ... кто не издѣвался
Надъ „безпредметною“ тоской?
. . . Глупый смѣхъ къ чему не придирался!
„Гражданской скорбью“ наши мудрецы
Прозвали настроеніе такое...

И отвѣтъ оскорбленнаго поэта звучитъ всей страстью праваго гнѣва:

Поверхностной иронiи печать
Мы очень часто налагаемъ
На то, что должно уважать,
За то—достойное презрѣнья уважаемъ!
Намъ юноша, стремящійся къ добру,
Смѣшонъ восторженностью странной,
А зрѣлый мужъ, поверженный въ хандру,
Смѣшонъ тоскою постоянной...

Окидывая взглядомъ тернистый путь, Некрасовъ имѣлъ право во многомъ упрекнуть своихъ судей, могъ сорвать личину съ удручающаго тупоумія и тунеяднаго эгоизма. И рѣчи его на этотъ разъ должны были вызвать краску стыда у самыхъ вѣрныхъ рабовъ „житейскаго опыта:

Не понимаемъ мы глубокихъ мукъ,
Которыми болитъ душа иная,
Внимая въ жизни вѣчно ложный звукъ
И въ праздности невольной изнывая,
Не понимаемъ мы,—и гдѣ же намъ понять?—
Что бѣлый свѣтъ кончается не нами,
Что можно личнымъ горемъ не страдать
И плакать честными слезами.

И таковы впечатлѣнія не одного Некрасова.

Вы помните горькое чувство сатирика, взывавшаго: „гдѣ ты, русскій читатель? откликнись“. И отклика не приходило до самой смерти писателя.

„Я личнымъ опытомъ основательно и безповоротно убѣдился, что человѣку, который живетъ и дѣйствуетъ внѣ сферы служительскихъ словъ, ни откуда поддержки для себя ждать нечего“.

Такъ говорилъ Салтыковъ въ концѣ своей, повидимому, славной дѣятельности.

И искомаго читателя не оказывалось именно у поэтовъ-отрицателей. Гоголь сѣтовалъ, что ему суждено изображать печальное и пошлое, что у него нѣтъ таланта показать людямъ ихъ красоту, польстить имъ и увлечь, и онъ ждалъ для себя вмѣсто славы суроваго, пристрастнаго суда. Некрасовъ повторилъ то же самое въ стихотвореніи „Блаженъ незлобивый поэтъ“:

Нѣтъ пощады у судьбы
Тому, чей благородный геній
Сталъ обличителемъ толпы,
Ея страстей и заблужденій.

* * *

И каждый звукъ его рѣчей
Плодитъ ему враговъ суровыхъ,
И умныхъ, и пустыхъ людей,
Равно клеймить его готовыхъ.

Это—одинъ источникъ вражды.

Другой—въ личности такихъ поэтовъ, какъ Лермонтовъ и Некрасовъ.

Это безпокойные люди. Всякій фактъ жизни глубоко волнуетъ ихъ. Сердцу тяжко отъ переполняющихъ его чувствъ, и мысли одна за другой толпятся въ разгоряченномъ мозгу.

Некрасовъ говоритъ о себѣ:

Сердцемъ я больно строптивъ:
По пусту глупое рвется.

* * *

Какъ сладить съ бѣдной головой,
Когда кипѣлся полной
Въ нее тревожныхъ мыслей рой!

Куда бы поэтъ ни взглянулъ, негодованіе закипаетъ въ его груди. Онъ называетъ это чувство „святымъ безпокойствомъ“, „правой ненавистью“. Зато какъ мучительно творчество въ пылу этихъ чувствъ! Невозможно разсказать, во что обходится союзъ съ музой мести и гнѣва: кипѣть, горѣть и снова стыть.

Я когда начну писать
Перестаю и спать и ѣсть.

Неужели все это ложныя признанія?

А жизнь поэта, исполненная жестокихъ испытаній, вызвавшая въ немъ еще въ молодости страстную жажду независимости отъ кого бы то ни было! Сколько разъ ему самому приходилось переживать минуты, когда одинъ изъ его героевъ, застигнутый несчастьемъ, вынужденъ воскликнуть:

Блаженъ, кому дана судьбой
Жена съ геройскою душой,
Но тотъ блаженнѣй, у кого
Нѣтъ близкихъ ровно никого!

Это, дѣйствительно, жизнь-драма:

Подъ гнетомъ роковымъ провелъ я дѣтство,
И молодость въ мучительной борьбѣ.

И до конца жизни — болѣзненная чуткость, безсильный гнѣвъ, скоплявшійся годами, горькая увѣренность, что народъ, которому отданъ весь талантъ, не знаетъ объ этой жертвѣ, и Богъ вѣсть — узнаетъ ли.

Когда становилось невыносимо тяжело, поэтъ обращался къ памяти своей матери, и приносилъ ей свою исповѣдь.

Кто изъ поэтовъ чувствовалъ надъ собой такого любимаго, безконечно-любящаго, но неподкупнаго судью? У кого душевныя страданія могли быть глубже, чѣмъ у сына, сознававшаго въ каждой своей ошибкѣ оскорбленіе обожаемой матери? И кто на могилѣ матери могъ бы лицемѣрно умолять святую тѣнь:

Уведи меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви!

Нѣтъ, этотъ человѣкъ дѣйствительно любилъ ненавидя, и глубоко страдалъ, проповѣдуя любовь словомъ отрицанія.

Некрасовъ безпрестанно высказывалъ надежду, что его оцѣнятъ послѣ смерти. Онъ любилъ вызывать въ своихъ стихахъ образъ человѣка, никѣмъ не любимаго и не цѣнимаго при жизни,—и сопровождаемаго тоской до могилы. Здѣсь, у порога вѣчности, замолкаетъ клевета. И онъ не падалъ духомъ, осыпаемый навѣтами, шелъ своимъ путемъ, преисполненнымъ одинаково и житейскихъ дрязгъ и великой вѣры. Сестрѣ, возмущенной дрязгами, онъ отвѣчалъ гордой и сильной рѣчью:

Ты опять упрекнула меня,
Что я съ музой моей раздружился,
Что заботамъ текущаго дня
И забавамъ его подчинился.
Для житейскихъ разсчетовъ и чаръ
Не разстался бы съ музой моею...
Но не братъ еще людямъ поэтъ,
И тернистъ его путь и непроченъ.
—Я умѣлъ не бояться клеветъ,
Не былъ ими я самъ озабоченъ...
Пусть я не былъ бойцомъ безъ упрека,
Но я силы въ себѣ сознавалъ,
Я во многое вѣрилъ глубоко...

И эта вѣра утѣшаетъ его въ наступающей смерти, въ грядущей участи его поэзіи...

Онъ, пробуждавшій совѣсть въ людяхъ, безкорыстно защищавшій народъ и всѣхъ угнетенныхъ,—кто или совсѣмъ не зналъ о немъ, или ничѣмъ громкимъ не могъ заявить своей признательности,—онъ будетъ для потомства совсѣмъ другимъ, чѣмъ для современниковъ.

Надежда поэта начала осуществляться надъ его могилой. Панаевъ, знавшій покойнаго въ теченіе почти 40 лѣтъ, торжественно заявилъ, что такой талантъ могъ жить только въ человѣкѣ высо-

кихъ нравственныхъ качествъ. Достоевскій, у той же могилы, имя Некрасова поставилъ рядомъ съ именемъ Пушкина и Лермонтова. А потомъ въ Дневникѣ писателя онъ разсказалъ слѣдующее:

На второй день послѣ смерти Некрасова Достоевскій пошелъ поклониться его тѣлу. Достоевскаго поразило изможденное и искаженное страданіями лицо покойнаго. Вернувшись домой, онъ не могъ сѣсть за работу, — и взялъ сочиненія Некрасова. Страницу за страницей до шести часовъ утра онъ перелисталъ всѣ томы—и ему показалось, что послѣднія тридцать лѣтъ онъ пережилъ вновь. „Въ эту ночь“, разсказываетъ онъ, „я перечелъ чуть не двѣ трети всего, что написалъ Некрасовъ, и буквально въ первый разъ далъ себѣ отчетъ: какъ много Некрасовъ, какъ поэтъ, во всѣ эти тридцать лѣтъ занималъ мѣста въ моей жизни“.

Чувства Достоевскаго не разъ испытывалъ русскій читатель и будетъ испытывать въ самомъ отдаленномъ будущемъ. Такихъ читателей придутъ милліоны, когда исполнится горячая вѣра поэта:

— Не робѣй за отчизну любезную...
Вынесъ достаточно русскій народъ...
Вынесетъ все—и широкую, ясную
Грудью дорогу проложитъ себѣ.

Одинъ изъ его любимыхъ героевъ, несчастный Кротъ, умирающій въ Сибири, передъ смертью мечтаетъ о будущемъ родины:

Покажетъ Русь, что есть въ ней люди,
Что есть грядущее у ней...
. . . . . .
Въ ея груди
Бѣжитъ потокъ живой и чистый
Еще нѣмыхъ народныхъ силъ.

Когда эти силы проснутся, когда „вѣковая тишина въ глубинѣ Россіи“ смѣнится живою мыслью, когда народъ станетъ обществомъ,— тогда явятся истинные цѣнители и читатели Некрасова. Тогда оцѣнятъ эту великую идею.

Въ мірѣ нѣтъ святѣй, прекраснѣе союза — чѣмъ союзъ поэзіи и народной жизни.

Тогда вспомнятъ, какой лучъ сознанія бросилъ поэтъ на тотъ путь, которымъ идетъ народъ. Тогда „капля крови общая съ народомъ“ перетянетъ на вѣсахъ народной признательности всѣ невѣрные звуки некрасовской лиры, всѣ колеблющіеся шаги поэта,—и уже не порвется больше столь желанный для поэта союзъ между нимъ и честными сердцами, потому что надъ этимъ союзомъ вѣчно будутъ бодрствовать

Тѣ честныя мысли, которымъ нѣтъ воли,
Которымъ нѣтъ смерти...
Въ которыхъ такъ много и злобы, и боли,
Въ которыхъ такъ много любви.

Ив. Ивановъ.

Грибоѣдовъ *).

„О, тягостна для насъ жизнь, въ сердцѣ бьющая могучею волной, и въ грани узкія втѣсненная судьбой!..“ Печальные стихи Баратынскаго — прекрасный эпиграфъ для біографіи его друга Грибоѣдова. Эту честь можетъ съ ними раздѣлить классическое мѣсто въ радищевскомъ „Путешествіи“,— знаменитый „Сонъ“, въ которомъ передъ лицомъ автора, превратившагося въ грезахъ своихъ въ самовластнаго и самообольщеннаго правителя, является Истина и, открывъ ему глаза на ужасающую дѣйствительность, заклинаетъ его отнынѣ уважать и беречь тѣхъ смѣлыхъ людей, которые будутъ являться передъ нимъ ея глашатаями. „Если изъ среды народныя возникнетъ мужъ, порицающій дѣла твои, вѣдай, что той есть другъ твой искренній, чуждый надежды мзды, чуждый рабскаго трепета; онъ твердымъ голосомъ возвѣститъ тебѣ о мнѣ... Но такія твердыя сердца рѣдки; едва одинъ въ цѣломъ столѣтіи явится на свѣтскомъ ристалищѣ“.

Да, такого могучаго духомъ человѣка, втѣсненнаго судьбою въ „узкія грани“, такого „странника земли, гдѣ все трепещетъ“, вспоминаемъ и чествуемъ мы сегодня,—не только великаго художника слова, обличителя, сатирика, но и гражданина, готоваго отдать всѣ силы свои отечеству, одного изъ рѣдкихъ всегда рыцарей правды, способныхъ преломить за нее копье съ кѣмъ бы то ни было.

Сто лѣтъ спустя послѣ рожденія нашего славнаго земляка намъ отрадно видѣть многолюдное собраніе его почитателей,

*) Вступительное слово на торжественномъ засѣданіи Общества въ честь Грибоѣдова, 6-го января 1895 г.

сошедшихся именно на родинѣ его, когда-то возбудившей въ немъ своимъ вакоснѣлымъ застоемъ пылкое юношеское негодованіе,— такъ близко отъ того, все еще уцѣлѣвшаго, дома, гдѣ если и не родился Грибоѣдовъ (какъ утверждаютъ безъ достаточнаго основанія), то во всякомъ случаѣ провелъ дѣтство и раннюю молодость,—въ стѣнахъ того университета, гдѣ впервые прозрѣлъ онъ,— быть можетъ, въ той же залѣ, гдѣ въ торжественные дни среди кучки молодежи можно было разглядѣть смышленное, нервно-подвижное, часто озарявшееся насмѣшливой улыбкой, лицо совсѣмъ юнаго барченка изъ-подъ Новинскаго, волею судебъ и дальновидной матери превращеннаго въ студента „этико-политическаго отдѣленія“. Мысль уносится въ глубь давно прошедшаго, къ годамъ безпечнаго дѣтства великаго писателя,— и передъ нею во всемъ своемъ горячемъ, страстномъ, необычайномъ разнообразіи развертывается жизнь, послѣдовавшая за этой вступительной идилліей,— жизнь, на взглядъ Пушкина, по истинѣ „бурная“, и прервавшая ее смерть, „мгновенная и прекрасная“.

Холодную, дѣловитую чиновничью маску, скрывающую отъ насъ настоящаго Грибоѣдова въ большинствѣ общеизвѣстныхъ и притомъ плохихъ портретовъ, съ теченіемъ времени навязавшихъ его своеобразной физіономіи уродливую и небывалую прическу*),—эту маску нужно сбросить долой, чтобъ озарилось страстью и мыслью лицо человѣка съ горячимъ, съ молоду неукротимымъ характеромъ. Среди задремавшаго въ домашнихъ добродѣтеляхъ общества, которому приходилось иногда растолковывать особыми разсужденіями „пользу страстей“, онъ словно чудомъ сберегъ страстный темпераментъ и, когда годы и испытанія охладили его натуру, она клокотала подъ своей корой, какъ остывающій потокъ лавы, какъ струя водопада, покрывающаяся ледянымъ налетомъ. Онъ не годился въ мирные граждане царства флегмы, уютно размѣщающаго всѣхъ по „гранямъ узкимъ“, и вѣчно рвался изъ нихъ.

*) Это доказываетъ П. А. Ефремовъ, сличивъ десятки портретовъ и опредѣливъ пору, съ которой по прихоти П. А. Каратыгина, внушившаго эту мысль Крамскому, надъ лбомъ Грибоѣдова воздвигся уродливый кокъ. Постепенное измѣненіе портрета Г. можно было изучить на „грибоѣдовской выставкѣ“ Общества Л. Сл., устроенной ко дню торжественнаго засѣданія (портреты Грибоѣдова, его современниковъ и критиковъ).

Мятежное настроеніе мальчика, патріотизмъ юноши, бросающагося въ борьбу съ непріятелемъ, оргіи съ горя и отъ скуки молодого кавалериста, чуть не притупившія его человѣческое достоинство, неустрашимость „секретаря бродячей миссіи", блуждающаго по далекимъ и опаснымъ захолустьямъ Персіи, мечты друга декабристовъ, борьба сатирика съ обществомъ и строемъ вещей, строптивость арестанта по тяжкому политическому дѣлу, храбрость на войнѣ, на дуэли, и среди тегеранской рѣзни, на послѣднемъ разсчетѣ съ жизнью, мгновенная вспышка сильной любви чуть не на краю гроба,—яркія черты личности независимой, порывистой, оригинальной во всемъ,—такого человѣка, который въ безгласную и глухую пору могъ сказать о себѣ: „я какъ живу, такъ и пишу свободно".

Эти богатыя силы, этотъ огонь воодушевленія и культъ независимости принесены были въ даръ людямъ, массѣ, обществу, отечеству. Они не выродились въ отчаянную храбрость головорѣзовъ-партизановъ двѣнадцатаго года или въ эксцентричность разныхъ избалованныхъ чудаковъ-эгоистовъ, которымъ тепло жилось и при такъ называемомъ старомъ порядкѣ; отстаивая личную свободу, они посвящены были съ еще большимъ жаромъ идеѣ обновленія народной жизни, борьбѣ съ различными ея врагами,—не показной и не разсчитанной на эффектъ, но неизмѣнной, повседневной, заявившей собой всѣ лучшіе помыслы человѣка, потому что онъ не могъ молчать и равнодушно смотрѣть на противорѣчія и несправедливости жизни. Онъ любитъ правду, съ молоду сталъ ея рыцаремъ и, не щадя ни себя, ни другихъ, высказываетъ ее открыто; удивляясь силѣ его ума, много современниковъ, свидѣтелей и очевидцевъ, преклоняются передъ его культомъ правды. Въ такой оцѣнкѣ его, полной сочувствія и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ будто удивленія, что подобные люди возможны, сходятся представители разнообразнѣйшихъ убѣжденій и оттѣнковъ,—Пушкинъ и Булгаринъ, Баратынскій и Бѣгичевъ, А. Одоевскій и Чаадаевъ, Бестужевъ и Ксенофонтъ Полевой,—и фальшивой нотой звучатъ дышащіе личнымъ раздраженіемъ посмертные счеты съ нимъ Муравьева-Карскаго. Погрязшій въ лжи, клеветѣ и прислуживаніи Булгаринъ, вспоминая о томъ, кто въ дни его молодости удостоилъ его своей дружбой, видимо испытываетъ сильное волненіе; его разсказъ становится искреннимъ и задушевнымъ; дойдя до потрясающихъ,

послѣднихъ минутъ жизни близкаго человѣка, онъ прерывается отъ слезъ и водоковъ,—и это навѣрно были настоящія, скорбныя, не крокодиловы слезы. Бестужевъ въ своей Якутской ссылкѣ, глубоко потрясенъ, узнавъ о трагической смерти Грибоѣдова; „молнія не свергается на мураву, но на высоту башенъ и на главы горъ", восклицаетъ онъ *) и предается воспоминаніямъ; изъ далекаго прошлаго выступаютъ черты человѣка, одареннаго „катоновской суровостью", „презрѣніемъ къ низкой искательности", чуждаго лести и обмана, съ „благородной наружностью", мужественнымъ и выразительнымъ лицомъ, въ которомъ „всегда играла кровь сердца", съ „странными, отрывистыми" движеніями и пріемами, которые тѣмъ не менѣе „были приличны, какъ нельзя болѣе", съ мѣткими сужденіями, которыя невольно увлекали и очаровывали. Полевой, одинъ изъ немногихъ, сберегъ намъ эти сужденія въ фотографическомъ отпечаткѣ двухъ, трехъ грибоѣдовскихъ разговоровъ, — о Шекспирѣ, о будущности русской комедіи, о свободѣ воли, о власти человѣка надъ собой, „ограниченной только физической невозможностью", о литературѣ, искусствѣ и политикѣ, неблагодарной тяжелой политикѣ русскаго дипломата на востокѣ, изнурявшей силы одиночествомъ и отчужденностью отъ культуры,— и всюду яркими искрами сверкаютъ независимость, оригинальность, остроуміе. „Это одинъ изъ самыхъ умныхъ людей въ Россіи", говорилъ о немъ Пушкинъ,—но онъ могъ бы выставить въ немъ на видъ еще болѣе рѣдкое у насъ качество стоической твердости и цѣльности. Признаніе декабристовъ, что они не открывали всей своей тайны Грибоѣдову, потому что „берегли его", увѣренные, что онъ принесетъ родной странѣ не меньше пользы на другомъ поприщѣ, высоко ставитъ его значеніе, какъ гражданина, одного изъ немногихъ, достойныхъ тогда этого имени среди „изнѣженнаго племени переродившихся славянъ", къ которому обращалъ свои гнѣвныя укоризны Рылѣевъ.

Великая сила погибла въ немъ; она пришлась не ко времени, не къ народу, не къ общественному строю; не одинъ только Чаадаевъ былъ бы „въ Римѣ Брутъ, въ Аѳинахъ Периклесъ", но и славный другъ его. Русскій строй продержалъ его въ теченіе большей части его сознательной жизни вдали отъ себя, въ почетномъ изгнаніи, сво-

---

* „Александръ Бестужевъ въ Якутскѣ", Русск. Вѣстникъ 1870 г., „Знакомство съ Грибоѣдовымъ", ст. Бестужева, Отеч. Зап. 1860, № 10.

имъ упорнымъ отрицаніемъ его великой комедіи и разгромомъ всего поколѣнія, солидарнаго съ нимъ, рано осудилъ его на безмолвіе и потомъ надѣлилъ казеннымъ порученіемъ, по плечу любому исполнительному чиновнику. Родникъ благороднаго смѣха рано изсякъ, и его замѣнили неотвязная, грызущая меланхолія, мысли объ удаленіи отъ людей, объ отдыхѣ, о долгихъ путешествіяхъ по Европѣ. Нельзя равнодушно слышать напѣвнія его грусти, такъ часто переходившей въ ипохондрію. „Подай мнѣ совѣтъ, чѣмъ мнѣ избавить себя отъ сумасшествія или пистолета, пишетъ онъ Бѣгичеву въ 1825 г. А годъ спустя: „кто° насъ уважаетъ, пѣвцовъ истинно вдохновенныхъ, въ томъ краю, гдѣ достоинство цѣнится въ прямомъ содержаніи къ числу орденовъ и крѣпостныхъ рабовъ!.. *) Мученье быть пламеннымъ мечтателемъ въ краю вѣчныхъ снѣговъ!. Холодъ до костей проникаетъ, равнодушіе къ людямъ съ дарованіемъ; но всѣхъ равнодушнѣе наши Сардары (сановники); я думаю даже, что они ихъ ненавидятъ". Такъ писалъ человѣкъ, только что выпущенный изъ-подъ долгаго ареста... И, давно уже привыкнувъ грустно шутить надъ собою, примѣняя къ своимъ вѣчнымъ кочеваніямъ по свѣту пророчество: „и будетъ ти всякое мѣсто въ передвиженіе", онъ предается скитаніямъ, чтобъ заглушить тоску; одиноко бродитъ по Балтійскому взморью, взбирается на Крымскія горы, гарцуетъ подъ горскими пулями, чтобъ подавить въ себѣ даже тѣнь страха смерти,— словно онъ пережилъ себя и всѣмъ сталъ чужой, какъ тотъ „странникъ земли", за котораго у Радищева заступилась Истина. Вполнѣ ли онъ могъ чувствовать, что за него безыменная, здоровая, но безгласная, грамотная Русь, наизустъ запомнившая его стихи? Вѣдь на поверхности жизни ея творился тотъ поразительный абсурдъ, который отрицалъ и запрещалъ то, что десятки тысячъ контрабандныхъ списковъ разносили по всей странѣ, что было на устахъ у всѣхъ. Нѣсколько десятилѣтій спустя одинъ изъ его преемниковъ въ области соціальной сатиры сѣтовалъ на отчужденность русскаго писателя отъ его читателей. Какъ же скудно было общеніе между ними въ тяжкую пору

*) Слич. слова Чацкаго по первоначальной редакціи: „людьми считались съ малолѣтства (т. е. считали, сколько у кого крѣпостныхъ) „патриціевъ дворянскіе сынки, въ заслуги ставили имъ души родовыя" и т. д.

двадцатыхъ годовъ! А оно необходимо было, какъ воздухъ, для того, кто въ такой степени способенъ былъ принимать къ сердцу запросы и нужды родины, „для чьей души ничего не было чужого, и она страдала болѣзнью ближняго, кипѣла при слухѣ о чьемъ нибудь бѣдствіи“ *),—кто негодовалъ на людей, желающихъ „навсегда оставить нашъ народъ въ младенчествѣ“, горевалъ о безплодіи русской литературы, не умѣвшей выразить мысль народную.

Вмѣсто открытой, гласной поддержки культурной массы пришлось довольствоваться одиночнымъ сочувствіемъ немногихъ развитыхъ людей и двухъ, трехъ сносныхъ журналовъ, вмѣсто общественной дѣятельности — служебной лямкой, вмѣсто ученыхъ работъ, къ которымъ его влекло,— дилетантизмомъ вѣчнаго кочевника,— и никогда не испытать радостей драматурга, выносящаго свое созданіе на всенародный судъ, на сцену... Неудачная жизнь, хоть и осыпанная подъ конецъ всякими отличіями и почестями! По ней вьются, прикрашивая и оживляя ее, свѣжія гирлянды цвѣтовъ,—иллюзіи дружбы, любви, страсть къ музыкѣ, къ импровизаціи, за которою онъ „способенъ былъ забывать весь міръ“.

Страстно привязывался онъ; на Бѣгичева онъ смотрѣлъ, какъ на „лицо высшаго значенія, неприкосновенное, какъ на друга, хранителя, котораго онъ избралъ себѣ съ ранней молодости, какъ по симпатіи, такъ и по достоинству“; пріязнь къ А. Одоевскому переходитъ, подъ вліяніемъ его гибели, въ нѣжнѣйшее участіе и глубокую печаль („въ стихахъ, въ душѣ тебя любилъ, и призывалъ, и о тебѣ терзался“.—Посланіе къ Одоевскому); первый арабскій стихъ, который онъ посылаетъ Катенину, едва научившись на востокѣ новому языку, гласитъ: — „величайшее несчастіе, когда нѣтъ истиннаго друга“. А любовь?.. Пусть Бестужевъ приводитъ, какъ свидѣтель, брюзгливую выходку Грибоѣдова противъ женщинъ, приправленную ссылкой на Байрона,—она не помѣшаетъ признать мнимаго „мизогина“ (какъ выражались у насъ въ старину) пламеннымъ, вѣчно увлекавшимся любовью, мечтателемъ. Кого не убѣдятъ страстныя, неослѣдовательныя, полныя ревности, сомнѣній и приливовъ чувства, обращенія Чацкаго къ Софьѣ, эти правдиво подмѣченныя влюбленныя рѣчи умнаго и тонко развитаго человѣка, тотъ пусть прислушается къ собственнымъ признаніямъ Грибоѣдова въ „томъ

*) Письмо къ Кюхельбекеру, янв. 1823 г.

чувствѣ, отъ котораго онъ въ грѣшной своей жизни чернѣе угля выгорѣлъ“ (письмо Бѣгичеву, 4 янв. 1825), перечтетъ недавно найденное письмо изъ Тавриза о неизвѣстномъ прежде увлеченіи его *), и предсмертное письмо къ женѣ, полное необыкновенной нѣжности,—и вспомнитъ прелестную повѣсть этой послѣдней любви, безпощадно порванную судьбой. Безъ привязанности, безъ иллюзій и грезъ не могъ бы прожить свою трудную, „бурную“ жизнь этотъ необыкновенно даровитый и такъ мало оцѣненный человѣкъ.

Отъ его благородныхъ помысловъ, его любви къ родинѣ, отъ его недовольства и протеста, культурной проповѣди и тонкой насмѣшки, шалостей, увлеченій и подвиговъ гражданина осталось лишь очень небольшое литературное наслѣдіе,—всего одна комедія.

Для эволюціи его литературнаго таланта имѣютъ значеніе всѣ мелочи его недолгой писательской жизни, съ „Молодыхъ супруговъ“ до „Грузинской Ночи“; мы съ интересомъ видимъ, какъ вырабатывается изъ тяжелыхъ славяно-русскихъ оборотовъ первыхъ, незрѣлыхъ вещицъ безподобный Грибоѣдовскій стихъ,—но вся сила таланта, ума, всѣ желанія и стремленія, весь негодующій протестъ воплотились только въ одномъ „Горѣ отъ ума“. Блестки комизма въ „Студентѣ“ или „Своей семьѣ“ не спасутъ ихъ отъ забвенія; великая комедія безстрашно споритъ съ временемъ. Вѣдь она—вѣрное отраженіе всей жизни этого необыкновеннаго человѣка, неразрывно связана съ ней и оставлена потомкамъ, какъ его завѣтъ. Булгаринская басня о томъ, будто не только завязка, но и весь планъ комедіи привидѣлись Грибоѣдову во снѣ, гдѣ-то въ Персіи, въ кіоскѣ, просто смѣшна, хоть онъ и ссылается на показанія автора**),—смѣшна и живучесть этой басни, которую все

*) Сборникъ Общества Любит. Россійск. Словесности на 1891 годъ, „Письма А. С. Грибоѣдова къ Н. А. Каховскому“, стр. 535: „Маленькую de la Fosse я непремѣнно къ себѣ беру. Рѣзвая, милая!.. Хочу веселости. Онъ (Мазаровичъ) мнѣ промежъ нравоучительныхъ разговоровъ объясняетъ, что домъ свой запретъ, если я въ новосельи сдружусь съ любовью. Шутитъ! Можетъ, и дѣло говоритъ, но я вѣрно знаю, что если только залучу ко мнѣ мою радость, самъ во дворъ къ себѣ никого не пущу, и что вы думаете? На двѣ недѣли, по крайней мѣрѣ, запрусь“ Теперь трудно разгадать, о комъ идетъ рѣчь.

**) Что-то нѣсколько схожее съ булгаринскимъ разсказомъ, есть въ письмѣ изъ Тавриза къ Шаховскому, 7 нояб. 1820 г; Гр. привидѣлось во снѣ, что Шаховской, досадуя на его бездѣйствіе, требуетъ отъ него обѣщанія написать черезъ годъ пьесу, и Г. далъ ему „съ трепетомъ“ слово.

еще иногда повторяютъ въ наше время, не обращая вниманія на выяснившуюся уже исторію „Горя отъ ума“, съ ея тремя редакціями и по крайней мѣрѣ пятнадцатилѣтнимъ ростомъ, отъ наброска, сдѣланнаго новичкомъ-студентомъ, до заключительнаго текста, приноровленнаго къ сценическимъ требованіямъ. *Такихъ* созданій не увидишь во снѣ, съ одного дня на другой,—ихъ переживаютъ, ими болѣютъ, ими исповѣдуются передъ собою и людьми.

Современное намъ поколѣніе свыкается наконецъ съ мыслью о субъективномъ значеніи «Горя отъ ума“; замолкаютъ понемногу недоумѣвающіе вопросы: развѣ въ жизни самого Грибоѣдова было въ жизни что-нибудь похожее на соперничество съ Молчалинымъ, столкновеніе съ Фамусовымъ, сплетню о сумасшествіи; какъ будто необходимо буквальное сходство фабулы съ личною жизнью!... Нѣтъ, *не было* этого эпизода въ жизни Грибоѣдова, хотя сотни разъ онъ долженъ былъ лично испытывать и видѣть, что „Молчалины блаженствуютъ на свѣтѣ“; не говорилъ онъ „собору всѣхъ сѣдыхъ“ въ салонѣ дяди именно того, что бѣситъ фамусовскую клику, но всю жизнь говорилъ правду въ лицо людямъ; не пустился онъ, очертя голову, въ странствія по свѣту послѣ двусмысленной сцены въ сѣняхъ у какого-нибудь Фамусова, но свою тоску и раздумье старался размыкать въ вѣчныхъ безпокойныхъ странствіяхъ, словно предтеча Печорина съ его планомъ поѣздки на востокъ. Въ рѣчахъ Чацкаго трепещетъ такое искреннее волненіе, какое, при всемъ умѣньи автора вживаться въ характеры дѣйствующихъ лицъ, могла вдохнуть въ него лишь страстная личная убѣжденность. Иной разъ безотчетно, мы поддаемся прежде всего этой искренности, словно заслушавшись горячихъ, блестящихъ, часто нетерпимыхъ, раздраженныхъ рѣчей самого сатирика, и испытали очарованіе, о которомъ говорятъ Пушкинъ, Бестужевъ, Полевой. Намъ дороги даже преувеличенія, полемическій задоръ, спѣшные приговоры сгоряча, скачки и быстрые переходы въ темпѣ рѣчи, то чувствительной, то насмѣшливой,—но вѣдь и это личныя свойства творца Чацкаго.

А убѣжденія героя комедіи,—что-то совсѣмъ своеобразное для своей поры, слитое изъ народничества и европеизма, любви къ старинѣ и сочувствія современному общественному движенію, вздоховъ о былой здоровой простотѣ и поддержки такихъ благъ новой цивилизаціи, какъ высшее образованіе, свобода слова, взаимное

обученіе въ народной школѣ,—гордость новымъ вѣкомъ, когда „вольнѣе всякій дышетъ“, въ человѣкѣ, способномъ сгоряча позавидовать вѣковой замкнутости китайцевъ,—развѣ это не живой отпечатокъ взглядовъ самого Грибоѣдова съ его свободной ролью между партіями и направленіями, и патріотизмомъ на европейской основѣ!

Но устами Чацкаго онъ говоритъ „за себя и за многихъ“. Онъ самъ же указалъ на то, что Чацкій „въ друзьяхъ особенно счастливъ“, и, конечно, друзья эти, среди которыхъ онъ не могъ не явиться руководителемъ и вождемъ, исповѣдовали тѣ-же убѣжденія. Они не владѣли, подобно ему, готовою теоріею, выработанной въ мелочахъ программой дѣйствій, у нихъ всего лишь „пять, шесть мыслей здравыхъ“, но своею „связью съ министрами, потомъ разрывомъ“ онъ показалъ имъ, что настало время людямъ „съ душой“ искать вліянія на дѣла, остановить напоръ реакціи. Изъ-за Чацкаго намъ видится его кружокъ, изъ-за Грибоѣдова его поколѣніе, лучшіе люди двадцатыхъ годовъ, подъ знаменемъ народности, старины и европеизма, съ „Русской Правдой“, отголосками старославянскихъ доблестей и англійской гражданственности, выступившіе какъ пушкинскій „свободы сѣятель пустынный, до зари“ и развѣянные по лицу земли.

Пусть же не задаютъ болѣе праздныго вопроса: возможенъ, реаленъ ли Чацкій. Онъ живое, яркое и подлинное лицо,—потому что, на счастье наше, нѣкогда жилъ и дѣйствовалъ Грибоѣдовъ,—потому что его окружали, солидарные съ нимъ, его единомышленники, въ которыхъ не разъ мы нашли бы чистокровныя черты Чацкаго. Это Чаадаевъ, Николай Тургеневъ, Рылѣевъ, Михаилъ Орловъ; въ предыдущемъ поколѣніи ихъ предтеча — Радищевъ; въ послѣдующемъ, какъ мѣтко указалъ еще Гончаровъ, ихъ потомки—Бѣлинскій и Герценъ. Родословное древо Чацкаго разростается, раскидываетъ свои вѣтви и крѣпко пустило корни въ почву.

Когда оно едва еще поднималось надъ нею, его согрѣло полуденное солнце,—и Чацкій-Грибоѣдовъ, новичокъ въ литературномъ дѣлѣ, оперся на примѣръ, данный всѣмъ послѣдующимъ Чацкимъ ихъ родичемъ, Альцестомъ-Мольеромъ.

Старшій собратъ несомнѣнно оказалъ поддержку своему русскому преемнику, когда, еще неопытный и полный смѣлыхъ мыслей,

которыя онъ порывался высказать современникамъ, онъ искалъ формы и основныхъ пріемовъ для задуманной комедіи. Условія въ обоихъ случаяхъ различныя, взгляды могли расходиться; полуторавѣковой промежутокъ, расовыя и личныя особенности наложили свою печать, но сходство не только въ общемъ мотивѣ столкновенія личности съ обществомъ, но и въ безжалостно разбитой иллюзіи сильнаго и умнаго человѣка, попытавшагося найти въ любви примиреніе съ жизнью, наконецъ и въ разрывѣ съ обществомъ, таково, что нужно закрыть глаза, чтобы его не увидать. Сколько даровитѣйшихъ писателей и до, и послѣ Грибоѣдова, касаясь подобной темы, опиралось на примѣръ французскаго Чацкаго 17 столѣтія! Предшественникъ Грибоѣдовскаго героя, Радищевъ не вдохновился ли также рѣчами Альцеста въ одномъ изъ наиболѣе горячихъ мѣстъ своего „Путешествія“, и этимъ не предопредѣлилъ ли вдвойнѣ послѣднихъ словъ Чацкаго? *)

Литературный обмѣнъ между народами всегда велъ къ тому, чтобъ поддержкой и вдохновеніемъ извнѣ вызывать къ самодѣятельности племенныя силы,—и въ кругу произведеній всемірной литературы, воплотившихъ вѣчный, трагическій конфликтъ личности съ обществомъ и проповѣди свѣта съ застоемъ, „Горе отъ ума“ занимаетъ *свое* мѣсто, къ великой чести того племени, въ которомъ создалось.

Тщетно ждемъ мы второго „Горя отъ ума“, въ которомъ, какъ въ зеркалѣ, отразились бы вѣчно живые, и только щеголяющіе теперь въ иныхъ нарядахъ грибоѣдовскіе герои, въ которомъ снова съ пламенной смѣлостью намѣчены и поставлены были бы насущные наши вопросы, и раздался бы, словно благовѣстіе, призывный голосъ новаго Чацкаго. Большіе успѣхи сдѣлала со временъ Грибоѣдова наша бытовая комедія, многое сумѣла на-

*) Это мѣсто, на сходство котораго съ послѣдними словами Альцеста и Чацкаго еще не было указано, заканчиваетъ собой главу „Чудово“. Вотъ оно: „Теперь прощусь я съ городомъ навѣки, говоритъ пріятель автора, Ч. (конечно, Челищевъ), заканчивая гнѣвное описаніе крушенія на морѣ нѣсколькихъ смѣльчаковъ, полной безучастности людской и бездѣйствія власти, — не войду никогда въ это жилище тигровъ. Единое ихъ веселіе грызть другъ друга; отрада ихъ томить слабаго до издыханія и раболѣпствовать власти. И ты хотѣлъ, чтобъ я поселился въ городѣ? Нѣтъ, мой другъ, говорилъ повѣствователь, вскочивъ со стула: заѣду туда, куда люди не ходятъ, гдѣ не знаютъ, что есть человѣкъ; гдѣ и имя его неизвѣстно. Прости... Сѣлъ въ кибитку и поскакалъ“.

блюсти и описать, но не возвращается къ ней „божественный глаголъ“ и не въ силахъ она подняться до той высоты, на которую возвелъ ее когда-то писатель, способный въ рамку случайнаго московскаго анекдота вложить душевную исповѣдь передового мыслителя и неудавшагося общественнаго дѣятеля. Въ дни малокровія, равнодушія и безпринципности, какъ освѣжающій дождь, подѣйствовали бы рѣчи современнаго намъ Чацкаго—Грибоѣдова. Неужели Радищевъ правъ, и едва одинъ такой человѣкъ родится въ столѣтіе?... Еще Гончаровъ утверждалъ, что Чацкій неизбѣженъ при каждой смѣнѣ одного вѣка другимъ,—отчего же медлитъ онъ выступить, съ своимъ словомъ, предоставляя властныя рѣчи Молчалинымъ и Загорѣцкимъ? Не вымерли же у насъ люди мысли, воли и силы, и Грибоѣдовская комедія, этотъ завѣтъ поэта-гражданина, не перестала воспитывать насъ!...

„Она, какъ столѣтній старикъ, около котораго всѣ, отживъ по очереди свою пору, умираютъ и валятся, а онъ ходитъ, бодрый и свѣжій, между могилами старыхъ и колыбелями новыхъ людей. И никому въ голову не приходитъ, что настанетъ когда нибудь и его очередь“. Такимъ неудачнымъ сравненіемъ Гончаровъ началъ свой прекрасный этюдъ о „Горѣ отъ ума“. Позвольте мнѣ кончить слово мое коренною поправкой этого сравненія: слишкомъ много жизни и страсти въ великой комедіи, чтобъ румяное, искуственно консервированное старчество могло служить ей эмблемой; нѣтъ, наша общая любимица — вѣчно юная красавица, и вдохновенный блескъ ея очей влечетъ за собой впередъ, къ свѣту, всѣхъ, въ комъ не заглохли еще чистыя стремленья.

Алексѣй Веселовскій.

Отдѣлъ второй.

На подлинномъ надписано:
Утверждаю. 15-го Октября 1866 года.
Министръ Народнаго Просвѣщенія
Графъ Дмитрій Толстой.

УСТАВЪ

ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССІЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ,

состоящаго

при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ.

Цѣль общества.

§ 1. Общество Любителей Россійской Словесности при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ имѣетъ цѣлью содѣйствовать развитію отечественнаго языка и успѣхамъ его литературы.

Составъ общества.

§ 2. Общество состоитъ изъ членовъ Дѣйствительныхъ, Почетныхъ и Сотрудниковъ. Число ихъ неограниченно.

§ 3. Дѣйствительные Члены избираются изъ лицъ, извѣстныхъ своими трудами, входящими въ кругъ занятій Общества.

§ 4. Выборъ въ Дѣйствительные Члены происходитъ баллотированіемъ и не иначе какъ по письменному отъ кого либо изъ Дѣйствительныхъ же Членовъ предложенію, въ которомъ должно быть упомянуто о занятіяхъ предлагаемаго, о трудахъ его на пользу отечественной словесности и о желаніи быть членомъ Общества и исполнять Уставъ онаго.

§ 5. По заявленіи въ засѣданіи Дѣйствительнымъ Членомъ письменнаго предложенія кандидата, баллотированіе сего послѣдняго въ члены производится не ранѣе слѣдующаго затѣмъ засѣданія.

§ 6. Дѣйствительные Члены получаютъ дипломъ на сіе званіе и вносятъ за оный десять рублей.

§ 7. Дѣйствительные Члены имѣютъ право предлагать мнѣнія свои касательно занятій и внутренняго распорядка дѣлъ въ Обществѣ; имѣютъ участіе во всѣхъ выборахъ и рѣшеніяхъ и получаютъ безденежно книги, издаваемыя на иждивеніе Общества.

§ 8. Дѣйствительные Члены обязаны вносить ежегодно по десяти рублей. Въ случаѣ неисполненія сего въ теченіе двухъ лѣтъ, Дѣйствительный Членъ считается сложившимъ съ себя это званіе. Таковой денежный взносъ не обязателенъ для тѣхъ изъ Дѣйствительныхъ Членовъ, которые въ теченіе того же срока занимали въ Обществѣ должности по выборамъ, исполняли какое либо порученіе Общества, доставили Обществу какое либо свое произведеніе для прочтенія въ публичномъ засѣданіи, или для напечатанія.

§ 9. Дѣйствительный Членъ, внесшій единовременно сто рублей, освобождается навсегда отъ ежегодныхъ взносовъ.

§ 10. Званіе Почетнаго Члена дается лицамъ, оказавшимъ особенныя заслуги отечественной словесности или сдѣлавшимъ значительныя пожертвованія въ пользу Общества.

§ 11. Въ Почетные Члены избираются большинствомъ голосовъ по предложенію не менѣе какъ трехъ Дѣйствительныхъ Членовъ.

§ 12. Почетные Члены получаютъ на сіе званіе дипломъ, за который они не обязаны платить.

§ 13. Почетные Члены могутъ, по желанію, принимать участіе въ засѣданіяхъ Общества на правахъ Дѣйствительныхъ Членовъ.

§ 14. Въ Сотрудники предлагаются къ избранію Дѣйствительными и Почетными Членами лица, которыя представляютъ чрезъ нихъ свои статьи съ изъявленіемъ желанія трудиться для Общества. По прочтеніи представленной статьи Обществомъ, предлагаемое лицо подвергается баллотированію.

§ 15. Сотрудники получаютъ на свое званіе дипломъ безденежно. Они не обязываются ни къ какому взносу.

§ 16. Въ засѣданіяхъ Общества Сотрудники не пользуются правами, предоставленными Дѣйствительнымъ и Почетнымъ Членамъ Общества.

О должностныхъ лицахъ, комитетахъ и коммиссіяхъ.

§ 17. Должностныя лица суть: Предсѣдатель, Секретарь и Казначей. Они избираются изъ числа Дѣйствительныхъ Членовъ на три года.

§ 18. Объ утвержденіи избраннаго Предсѣдателя въ семъ званіи Общество ходатайствуетъ у Министра Народнаго Просвѣщенія, чрезъ посредство Попечителя Московскаго Учебнаго Округа.

§ 19. Предсѣдатель созываетъ членовъ для засѣданій, сносится письменно съ посторонними мѣстами и лицами по дѣламъ Общества и распечатываетъ присылаемыя въ Общество бумаги.

§ 20. Предсѣдатель занимаетъ первое мѣсто въ собраніи. При равенствѣ голосовъ онъ даетъ перевѣсъ одной сторонѣ и въ такомъ случаѣ имѣетъ два голоса.

§ 21. Секретарь Общества занимаетъ мѣсто въ собраніи подлѣ Предсѣдателя. Онъ составляетъ протоколы засѣданій и вноситъ въ нихъ разсужденія и опредѣленія членовъ Общества; читаетъ поступившія бумаги;

завѣдываетъ перепискою Общества; хранитъ печать и дѣла Общества и наблюдаетъ за цѣлостію его библіотеки.

Примѣчаніе 1. Печать Общества имѣетъ изображеніе государственнаго герба съ надписью: Печать Общества Любителей Россійской Словесности.

Примѣчаніе 2. При Секретарѣ полагается письмоводитель по найму, съ согласія Общества, изъ сторонннхъ лицъ, для переписки и другихъ порученій по дѣламъ Общества.

§ 22. Въ случаѣ болѣзни или отлучки Предсѣдателя и Секретаря, правами ихъ пользуются и обязанности ихъ исполняютъ Временные Предсѣдатель и Секретарь, избираемые на одинъ годъ. Въ присутствіи Предсѣдателя и Секретаря Временные Предсѣдатель и Секретарь имѣютъ лишь права, принадлежащія Дѣйствительнымъ Членамъ.

§ 23. Казначей имѣетъ въ своемъ вѣдѣніи казну Общества, по опредѣленію коего выдаетъ и получаетъ деньги на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Книга приходо-расходная, скрѣпленная по листамъ Предсѣдателемъ и Секретаремъ, хранится у Казначея.

2) Казначей не расходуетъ денегъ иначе, какъ по письменному разрѣшенію Предсѣдателя или по счету, утвержденному Предсѣдателемъ надписью его: „выдать“. Этотъ приказъ или счетъ остаются у Казначея.

3) Не менѣе двухъ третей суммъ, принадлежащихъ Обществу, должны находиться въ Государственномъ Банкѣ, для приращенія процентами. Отъ Общества зависитъ опредѣлить, согласно правиламъ Банка, какъ способъ взноса денегъ, такъ и порядокъ полученія оныхъ изъ Банка.

4) Всѣ суммы, принадлежащія Обществу, принятыя на время Секретаремъ или окончательно Казначеемъ, хранятся у принявшаго оныя на личной его отвѣтственности.

5) Казначей завѣдуетъ также складомъ изданій Общества, при чемъ Общество можетъ имѣть своихъ коммиссіонеровъ по продажѣ этихъ изданій.

Примѣчаніе. Какъ Секретарю, такъ и Казначею не воспрещается, въ случаѣ внезапной ихъ отлучки изъ Москвы, передавать на время для храненія имѣющіяся у нихъ суммы Общества, но отвѣтственность за оныя остается по прежнему на Секретарѣ или Казначеѣ. Во всякомъ случаѣ Секретарь или Казначей долженъ извѣстить одно изъ наличныхъ должностныхъ лицъ Общества какъ о внезапномъ своемъ отъѣздѣ, такъ и о томъ, гдѣ или у кого оставлены имъ счеты и деньги Общества.

§ 24. Для редакціи изданій Общества и для приготовленія публичныхъ его засѣданій полагаются состоящіе изъ Дѣйствительныхъ Членовъ онаго Комитеты: *Редакціонные* и *Приготовительный*, а для обсужденія разныхъ возникающихъ въ Обществѣ вопросовъ, могутъ быть назначаемы каждый разъ изъ Дѣйствительныхъ же Членовъ *Временныя Коммиссіи*.

§ 25. Редакціонные Комитеты и Временныя Комиссіи состоятъ не менѣе какъ изъ трехъ членовъ, при чемъ Общество можетъ назначать сроки для ихъ занятій.

§ 26. Приготовительный Комитетъ составляютъ должностныя лица, Временные Предсѣдатель и Секретарь, и сверхъ того два Дѣйствительные Члена, избираемые на одинъ годъ.

§ 27. При выборѣ какъ въ должностныя лица, такъ и въ члены Комитетовъ и Коммиссій, членъ, получившій по закрытымъ запискамъ наибольшее число голосовъ, считается окончательно избраннымъ, если это число составляетъ большинство наличныхъ голосовъ; если же такого большинства не состоялось, то члены, получившіе наибольшее число голосовъ, подвергаются баллотировкѣ шарами, и затѣмъ избраннымъ долженъ почитаться тотъ, кто получитъ большинство шаровъ присутствующихъ членовъ.

О занятіяхъ Общества.

§ 28. Занятія Общества состоятъ въ разсматриваніи поступающихъ въ оное сочиненій и матеріаловъ, публичномъ ихъ чтеніи и изданіи. Сверхъ того Общество изыскиваетъ всѣ средства къ достиженію своей цѣли (§ 1), какъ-то: предлагаетъ на рѣшеніе задачи и даетъ награды за сочиненія, признанныя лучшими; способствуетъ чтенію публичныхъ лекцій; назначаетъ стипендіата по Историко-Филологическому факультету Московскаго Университета на учрежденную Обществомъ (въ 1821 г.) стипендію, и т. под.

§ 29. Поступающіе въ Общество сочиненія и матеріалы передаются для предварительнаго разсмотрѣнія въ Приготовительный Комитетъ, который опредѣляетъ, какіе изъ нихъ могутъ быть читаны въ публичныхъ засѣданіяхъ Общества, остальные же, а равно и читанные въ публичныхъ засѣданіяхъ передаетъ въ Редакціонные Комитеты по принадлежности.

§ 30. Независимо отъ статей, поступающихъ вышеизложеннымъ способомъ въ Редакціонные Комитеты, имъ предоставляется вступать въ соглашеніе какъ съ членами Общества, такъ и съ посторонними лицами, съ цѣлью доставить порученнымъ ихъ попеченію изданіямъ возможное улучшеніе. Статьи, признанныя Редакціонными Комитетами удобными для публичныхъ чтеній въ Обществѣ, сообщаются ими въ Приготовительный Комитетъ, на его заключеніе.

§ 31. Обо всѣхъ сочиненіяхъ и статьяхъ, заслуживающихъ, по опредѣленію Редакціонныхъ Комитетовъ, быть изданными, Комитеты доводятъ до свѣдѣнія Общества, которое, если одобритъ оныя, то поручаетъ Комитету приступить къ ихъ напечатанію.

§ 32. Сочиненія, одобренныя на семъ основаніи къ изданію, печатаются на иждивеніе Общества, выпускаются же въ свѣтъ лишь по разсмотрѣніи и подписаніи всѣхъ листовъ изданія избраннымъ для сего отъ Общества *отвѣтственнымъ* лицомъ изъ числа Дѣйствительныхъ Членовъ.

§ 33. При изданіи доставленныхъ въ Общество сочиненій и матеріаловъ какъ членами онаго, такъ и сторонними лицами, въ ихъ пользу предоставляется триста экземпляровъ тѣхъ или другихъ; если же авторъ статьи или доставитель матеріала пожелаетъ получить болѣе трехъ сотъ оттисковъ, то онъ обязанъ доставить въ типографію потребную для излишняго числа оттисковъ бумагу; печатаніе же производится на счетъ Общества.

§ 34. Сочиненія и матеріалы, напечатанные въ изданіяхъ Общества, состоятъ въ распоряженіи онаго; но сочинитель или доставившій матеріалы не лишается права вновь напечатать ихъ, гдѣ пожелаетъ, въ томъ же видѣ или съ перемѣнами.

§ 35. Выручаемыя деньги за всѣ издаваемыя отъ Общества книги присоединяются къ капиталу Общества.

О засѣданіяхъ Общества.

§ 36. Общество имѣетъ засѣданія не менѣе одного раза въ мѣсяцъ, кромѣ Іюня, Іюля и Августа. Время засѣданій назначается Предсѣдателемъ.

§ 37. Обыкновенныя засѣданія могутъ быть или при собраніи членовъ и посѣтителей, или только при членахъ. Въ обоихъ случаяхъ члены приглашаются особыми повѣстками; сверхъ того о каждомъ засѣданіи печатается объявленіе въ Московскихъ Вѣдомостяхъ; публика же допускается не иначе какъ по билетамъ, о выдачѣ коихъ печатается каждый разъ особо въ объявленіи о засѣданіяхъ.

§ 38. Статьи, имѣющія быть читанными въ присутствіи публики, а также предметы, подлежащіе публичному обсужденію, назначаются въ засѣданіяхъ Приготовительнаго Комитета.

§ 39. Ежегодно одинъ разъ, въ концѣ Декабря, бываетъ засѣданіе для выбора должностныхъ лицъ, Временныхъ Предсѣдателя и Секретаря и Почетныхъ Членовъ. Выборы внѣ сего засѣданія допускаются лишь въ томъ случаѣ, если кто либо изъ лицъ, занимающихъ по Обществу должность, или же званіе Временнаго Предсѣдателя или Временнаго Секретаря, выбудетъ по какой либо причинѣ; но при семъ срокъ, на который дѣлается такой выборъ, ограничивается временемъ, оставшимся для исправленія выбывающимъ лицомъ занимаемыхъ имъ должности или званія.

§ 40. Вслѣдъ за засѣданіемъ, назначаемымъ для выборовъ, въ концѣ же Декабря каждаго года назначается торжественное собраніе. Въ немъ, сверхъ чтенія разныхъ сочиненій, дается краткій отчетъ обо всѣхъ дѣйствіяхъ Общества въ теченіе года, списокъ съ коего препровождается въ Совѣтъ Московскаго Университета. Въ томъ же засѣданіи объявляется о выбранныхъ должностныхъ лицахъ и провозглашаются имена вновь выбранныхъ Почетныхъ Членовъ; предлагаются на рѣшеніе задачи и даются награды за сочиненія, признанныя лучшими.

§ 41. Предметы и очередь занятій въ засѣданіяхъ назначаются Предсѣдателемъ. Онъ руководствуетъ преніями и наблюдаетъ за сохраненіемъ порядка.

§ 42. Каждому засѣданію составляется Секретаремъ протоколъ, который прочитывается въ ближайшее засѣданіе и подписывается присутствовавшими тогда членами, а извлеченіе изъ онаго печатается въ Московскихъ Вѣдомостяхъ.

О дополненіяхъ устава.

§ 43. Если въ продолженіи времени окажется надобность перемѣнить нѣкоторыя статьи сего Устава или дополнить его новыми, то по одобреніи сихъ послѣднихъ не менѣе какъ двумя третями наличныхъ членовъ и по утвержденіи Министромъ Народнаго Просвѣщенія, присоединяются оныя къ сему же Уставу.

Общество Любителей Российской Словесности,

при

ИМПЕРАТОРСКОМЪ МОСКОВСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ

6 іюня 1811 года.

Составъ Общества къ 20 февраля 1895 года.

I. Должностныя лица.

Предсѣдатель:
Николай Ильичъ Стороженко.

Временный Предсѣдатель (товарищъ Предсѣдателя):
Алексѣй Николаевичъ Веселовскій.

Секретарь:
Дмитрій Дмитріевичъ Языковъ.

Временный секретарь (товарищъ Секретаря):
Владиміръ Ивановичъ Шенрокъ.

Казначей:
Андрей Евдокимовичъ Носъ.

Члены Приготовительнаго Комитета:
Викторъ Александровичъ Гольцевъ.
(Вакансія).

II. Почетные члены:

1859 г.	15 апрѣля.	Энгельгардтъ, Софья Владиміровна.
1864 г.	22 марта.	Бахметева, Александра Николаевна.
1869 г.	30 января.	Николай I-й, Князь Черногорскій.
1870 г.	18 декабря.	Ригеръ, Францъ Владиславъ.
1873 г.	15 декабря.	Леже, Луи.
„	„ „	Рамбо, Альфредъ.
1885 г.	19 апрѣля.	Толстой, графъ Левъ Николаевичъ.
1886 г.	15 октября.	Буслаевъ, Ѳедоръ Ивановичъ.

1887 г. 14 марта. Полонскій, Яковъ Петровичъ.
1887 г. 24 апрѣля. Брандесъ, Георгъ.
1887 г. 16 ноября. Успенскій, Глѣбъ Ивановичъ.
1887 г. 20 ноября. Майковъ, Леонидъ Николаевичъ.
1890 г. 17 февраля. Пыпинъ, Александръ Николаевичъ.
1890 г. 10 іюня. Е. В. Великій Князь Константинъ Константиновичъ.
1892 г. 16 октября. Забѣлинъ, Иванъ Егоровичъ.
1893 г. 20 октября. Григоровичъ, Дмитрій Васильевичъ.
1894 г. 1 февраля. Солдатенковъ, Козьма Терентьевичъ.

III. Дѣйствительные члены:

1858 г. 10 ноября. Безсоновъ, Петръ Алексѣевичъ.
1859 г. 28 января. Бартеневъ, Петръ Ивановичъ.
„ „ „ Фонъ-Крузе, Николай Ѳедоровичъ.
1859 г. 29 апрѣля. Жемчужниковъ, Алексѣй Михайловичъ.
1860 г. 27 января. Майковъ, Аполлонъ Николаевичъ.
1860 г. 29 февраля. Майковъ, Аполлонъ Александровичъ.
1860 г. 6 апрѣля. Ламанскій, Владиміръ Ивановичъ.
1864 г. 24 ноября. Чаевъ, Николай Александровичъ.
1865 г. 9 января. Иловайскій, Дмитрій Ивановичъ.
1866 г. 26 января. Ефремовъ, Петръ Александровичъ.
1867 г. 20 октября. Некрасовъ, Иванъ Степановичъ.
„ „ „ Саввантовъ, Панелъ Ивановичъ.
1867 г. 22 декабря. Коларъ, І.
„ „ „ Маяръ, Матія.
1868 г. 14 апрѣля. Бергъ, Ѳедоръ Николаевичъ.
1870 г. 18 января. Аксаковъ, Николай Петровичъ.
„ „ „ Барсовъ, Ельпидифоръ Васильевичъ.
1870 г. 18 декабря. Медаковичъ, В.
„ „ „ Миличевичъ, М.
1872 г. 9 февраля. Ягичъ, Игнатій Викентьевичъ.
„ 22 мая. Гиляровъ, Ѳедоръ Александровичъ.
„ „ „ Нефедовъ, Филиппъ Діомидовичъ.
„ 5 октября. Веселовскій, Алексѣй Николаевичъ.
„ „ „ Миллеръ, Всеволодъ Ѳедоровичъ.
1873 г. 9 ноября. Кирпичниковъ, Александръ Ивановичъ.
1874 г. 12 марта. Аверкіевъ, Дмитрій Васильевичъ.
„ „ „ Павловъ, Николай Михайловичъ.
1874 г. 14 декабря. Субботинъ, Николай Иваповичъ.
1875 г. 3 февраля. Квашнинъ-Самаринъ, Николай Дмитріевичъ.
1876 г. 19 сентября. Стороженко, Николай Ильичъ.

1877 г.	9 октября.	Коршъ, Евгеній Ѳедоровичъ.
„	12 ноября.	Голохвастова, Ольга Андреевна.
„	„ „	Коваленская, Александра Григорьевна.
„	18 декабря.	Ключевскій, Василій Осиповичъ.
„	„ „	Павловъ, Алексѣй Степановичъ.
„	„ „	Полпвановъ, Левъ Ивановичъ.
1878 г.	13 марта.	Мрочекъ-Дроздовскій, Петръ Николаевичъ.
„	„ „	Саліасъ, графъ, Евгеній Андреевичъ.
„	„ „	Соловьевъ, Владиміръ Сергѣевичъ.
„	„ „	Троицкій, Матвѣй Михайловичъ.
„	„ „	Филимоновъ, Юрій Дмитріевичъ.
„	„ „	Фортунатовъ, Филиппъ Ѳедоровичъ.
„	„ „	Чупровъ, Алексѣй Ивановичъ.
„	„ „	Шпажинсвій, Ипполитъ Васильевичъ.
1878 г.	17 ноября.	Ковалевскій, Максимъ Максимовичъ.
„	19 декабря.	Богдановъ, Анатолій Петровичъ.
„	„ „	Шпилевскій, Сергѣй Михайловичъ.
1879 г.	22 марта.	Миропольскій, Сергѣй Иринеевичъ.
1880 г.	10 ноября.	Гольцевъ, Викторъ Александровичъ.
„	3 декабря.	Звѣревъ, Николай Андреевичъ.
„	„ „	Иванюковъ, Иванъ Ивановичъ.
„	„ „	Семевскій, Василій Ивановичъ.
„	„ „	Стасюлевичъ, Михаилъ Матвѣевичъ.
„	„ „	Сухомлиновъ, Михаилъ Ивановичъ.
1882 г.	„ „	Анучинъ, Дмитрій Николаевичъ.
„	„ „	Венкстернъ, Алексѣй Алексѣевичъ.
„	„ „	Джаншіевъ, Григорій Аветовичъ.
1883 г.	22 апрѣля.	Маклакова, Лидія Филипповна.
„	„ „	Некрасова, Екатерина Степановна.
„	„ „	Цебрикова, Марія Константиновна.
„	„ „	Янжулъ, Иванъ Ивановичъ.
1884 г.	1 марта.	Бобрыкинъ, Петръ Дмитріевичъ.
„	„ „	Златовратскій, Николай Николаевичъ.
„	„ „	Муромцевъ, Сергѣй Андреевичъ.
„	„ „	Носъ, Андрей Евдокимовичъ.
„	„ „	Острогорскій, Викторъ Петровичъ.
„	12 декабря.	Камаровскій, графъ, Леонидъ Алексѣевичъ.
„	„ „	Языковъ, Дмитрій Дмитріевичъ.
„	„ „	Якушкинъ, Вячеславъ Евгеньевичъ.
1885 г.	19 января.	Пругавинъ, Александръ Степановичъ.
„	19 апрѣля.	Эртель, Александръ Иванович.
1886 г.	22 марта.	Короленко, Владиміръ Галактіоновичъ.
„	„ „	Маминъ, Дмитрій Наркизовичъ.
„	„ „	Мачтетъ, Григорій Александровичъ.
„	15 октября.	Гротъ, Николай Яковлевичъ.

1886 г. 15 октября. Виленкинъ (Минскій), Николай Максимовичъ.
„ 24 „ Брандтъ, Романъ Ѳедоровичъ.
„ „ „ Лесевичъ, Владиміръ Викторовичъ.
1887 г. 16 января. Венгеровъ, Семенъ Аѳанасьевичъ.
„ „ „ Сумбатовъ, князь, Александръ Ивановичъ.
„ 9 февраля. Розина, Казиміра Францевна.
„ „ „ Каблукова, Мина Карловна.
„ 24 апрѣля. Михайловскій, Николай Константиновичъ.
„ „ „ Трунинъ, Павелъ Викторовичъ.
„ 20 ноября. Архангельскій, Александръ Семеновичъ.
„ „ „ Веселовская, Александра Адольфовна.
„ „ „ Леонтьевъ, Иванъ Леонтьевичъ.
„ „ „ Энгельгардтъ, Анна Николаевна.
1888 г. 12 марта. Крыловъ, Викторъ Александровичъ.
1889 г. 16 марта. Бѣльскій, Леонидъ Петровичъ.
„ „ „ Герье, Владиміръ Ивановичъ.
„ „ „ Корелинъ, Михаилъ Сергѣевичъ.
„ „ „ Линниченко, Иванъ Андреевичъ.
„ „ „ Станкевичъ, Алексѣй Ивановичъ.
„ „ „ Чеховъ, Антонъ Павловичъ.
„ 5 мая. Станюковичъ, Константинъ Михайловичъ.
1890 г. 22 сентября. Садовскій, Михаилъ Прововичъ.
„ 10 ноября. Ивановъ, Иванъ Ивановичъ.
1891 г. 5 марта. Шенрокъ, Владиміръ Ивановичъ.
1892 г. 26 марта. Карѣевъ, Александръ Дмитріевичъ.
1893 г. 20 октября. Бальмонтъ, Константинъ Дмитріевичъ.
„ „ „ Немировичъ-Данченко, Владиміръ Ивановичъ.
„ „ „ Потапенко, Игнатій Николаевичъ.
„ „ „ Саловъ, Илья Александровичъ.
„ „ „ Сперанскій, Михаилъ Несторовичъ.
1894 г. 15 января. Виноградовъ, Павелъ Гавриловичъ.
„ „ „ Милюковъ, Павелъ Николаевичъ.
„ „ „ Соколовъ, Матвѣй Ивановичъ.
„ 1 февраля. Лопатинъ, Левъ Михайловичъ.
„ 14 марта. Цертелевъ, князь, Дмитрій Николаевичъ.
„ 30 апрѣля. Скабичевскій, Александръ Михайловичъ.
„ 28 сентября. Величко, Василій Львовичъ.
„ „ „ Сливицкій, Алексѣй Михайловичъ.
„ 30 ноября. Алексѣевъ, Александръ Семеновичъ.
„ „ „ Андреева, Александра Алексѣевна.
„ „ „ Дашкевичъ, Николай Павловичъ.

IV. Члены-сотрудники:

1869 г. 12 ноября. Шейнъ, Павелъ Васильевичъ.
1894 г. 28 сентября. Кожевникова, Надежда Георгіевна.

Сборъ пожертвованій на сооруженіе въ Москвѣ памятника Н. В. Гоголю.

Въ дни празднованія открытія памятника Пушкину въ Москвѣ, 8 іюня 1880 года, во второе торжественное засѣданіе Общества Любителей Россійской Словесности, по мысли И. С. Аксакова и И. С. Тургенева, общей всѣмъ присутствовавшимъ писателямъ, дѣйствительный членъ Общества А. А. Потѣхинъ сдѣлалъ отъ лица всѣхъ собравшихся литераторовъ предложеніе положить на Пушкинскомъ праздникѣ начало всенародной подпискѣ на сооруженіе въ Москвѣ памятника другому нашему геніальному писателю, Гоголю. Предложеніе это было принято восторженно всѣми присутствовавшими въ залѣ засѣданія и приготовленные по общему требованію листы быстро покрылись подписями лицъ, изъявившихъ желаніе принять участіе въ подпискѣ. Въ это-же засѣданіе состоялось постановленіе Общества объ исходатайствованіи черезъ Московскаго Генералъ-Губернатора Высочайшаго соизволенія на открытіе подписки. 5-го августа 1880 года Императоръ Александръ Николаевичъ Высочайше соизволилъ разрѣшить Обществу Любителей Россійской Словесности открыть повсемѣстную въ Россіи подписку на сооруженіе въ Москвѣ памятника Н. В. Гоголю.

Подписка на памятникъ производилась наиглавнѣйше путемъ разсылки подписныхъ листовъ лицамъ, стоящимъ во главѣ мѣстъ и установленій. Такихъ подписныхъ листовъ было разослано до 1.500, и когда ко второй половинѣ 1890 года собранная сумма превысила 50 тысячъ рублей, Общество Любителей Россійской Словесности нашло благовременнымъ ходатайствовать объ образованіи особаго комитета по сооруженію памятника подъ предсѣдательствомъ Московскаго Генералъ-Губернатора въ составѣ, кромѣ должностныхъ лицъ Общества, Московскаго Губернатора, Попечителя Московскаго учебнаго округа и Московскаго Городского Головы. Въ тоже время Общество въ засѣданіи своемъ 6 октября 1890 года постановило: поручить казначею Общества А. Е. Носу, въ качествѣ представителя общества, ходатайствовать передъ Его Императорскимъ Высочествомъ Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Николаемъ Александровичемъ (нынѣ царствующій Государь Императоръ) о принятіи подъ свое Августѣйшее покровительство Комитета по сооруженію памятника Гоголю. 15 октября 1890 года Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ соизволилъ благосклонно принять ходатайство Общества и приказалъ внести вкладъ на сооруженіе памятника въ 1000 рублей изъ собственныхъ суммъ. 27 декабря 1890 года послѣдовало Высочайшее Государя Императора Александра Александровича соизволеніе на принятіе Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ подъ свое Августѣйшее покровительство Комитета по сооруженію въ Москвѣ памятника Н. В. Гоголю.

Къ первому января сего 1895 года въ капиталъ на сооруженіе памятника поступило 67.434 рубля 29 копѣекъ. Кромѣ того Павелъ Павловичъ Демидовъ (нынѣ умершій) обѣщалъ пожертвовать все то количество бронзы, какое потребуется на сооруженіе памятника.

Общество русскихъ драматическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ.

Общество возникло по почину А. Н. Островскаго при дѣятельномъ участіи В. И. Родиславскаго, горячаго проповѣдника признанія авторскихъ правъ драматическихъ писателей на сценическія представленія и самаго ревностнаго помощника Островскаго въ дѣлѣ учрежденія въ Москвѣ Общества драматическихъ писателей и композиторовъ, которое, по первоначальной мысли учредителей, должно было сдѣлаться средоточіемъ нравственнаго воздѣйствія на писателей въ интересахъ развитія нашего репертуара, драматическаго и оперная. Общество открыло свою дѣятельность 21 октября 1874 года. По уставу оно имѣетъ цѣлью: а) охраненіе принадлежащихъ по закону русскимъ драматическимъ писателямъ, переводчикамъ и оперным композиторамъ правъ разрѣшать публичныя представленія ихъ произведеній на всѣхъ театрахъ и сценахъ, за исключеніемъ Императорскихъ придворныхъ, и б) содѣйствіе развитію драматическаго искусства въ Россіи. Число членовъ Общества не ограничено. Всякій русскій драматическій писатель, переводчикъ и оперный композиторъ имѣетъ право вступить въ члены Общества: а) если его произведеніе было исполнено на какой либо сценѣ, съ публичною продажею билетовъ, чему должно быть представлено доказательство, или б) если онъ представитъ Комитету удостовѣреніе, что пьеса его дозволена къ представленію драматическою цензурою. При этомъ требуется, чтобы вступающій въ члены Общества: а) поручилъ Обществу охраненіе своего права драматической или музыкальной собственности; б) изъявилъ согласіе подчиняться Уставу и всѣмъ постановленіямъ Общества и в) внесъ единовременно въ фондъ Общества 25 рублей. Законные наслѣдники умершихъ драматическихъ писателей, переводчиковъ и оперныхъ композиторовъ, не бывшихъ членами Общества, зачисляются въ члены, если ввѣрятъ Обществу охраненіе своихъ правъ драматической или музыкальной собственности. Общество охраняетъ въ продолженіи положеннаго закономъ срока права наслѣдниковъ умершихъ своихъ членовъ, зачисляя и этихъ наслѣдниковъ членами Общества. Членъ Общества, съ отвѣтственностью въ случаѣ не исполненія сего подвергнуться взысканію убытковъ, денежнаго штрафа до 100 рублей и болѣе, исключенію изъ числа членовъ,—обязанъ представить Обществу списокъ своихъ произведеній и сообщать о каждой своей новой пьесѣ, одобренной драматической цензурой. Каждый членъ Общества обязанъ право разрѣшать представленіе своихъ произведеній передать Обществу, за исключеніемъ пьесъ, не игранныхъ на столичныхъ сценахъ; относительно этихъ пьесъ членъ Общества имѣетъ право самъ входить въ соглашеніе съ столичными антрепренерами, извѣщая Коми-

тетъ Общества. Но таковыя соглашенія: а) не освобождаютъ антрепренеровъ отъ уплаты Обществу установленнаго гонорара и б) не могутъ продолжаться долѣе двухлѣтняго срока, если авторъ не заявитъ Комитету о его продленіи. Съ Дирекціей Императорскихъ театровъ членъ Общества относительно принятія къ представленію его произведеній и полученія за нихъ вознагражденія имѣетъ сношенія личныя, особо отъ Общества. Дѣйствительные члены, имѣющіе право голоса въ общемъ собраніи суть: а) учредители Общества, изъявившіе согласіе на участіе въ немъ до утвержденія устава, б) лица, прослужившія опредѣленное уставомъ время въ должностяхъ предсѣдателя Общества и членовъ Комитета, в) члены, получившіе въ теченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ кряду гонораръ изъ Общества не менѣе 300 рублей въ годъ и г) члены по литературно-сценическимъ заслугамъ пользующіеся особымъ уваженіемъ или оказавшіе особыя услуги Обществу. Члены Общества, не удовлетворяющіе этимъ условіямъ, права голоса въ собраніи не имѣютъ; равно не имѣютъ права голоса принятые въ члены послѣ исключенія и послѣдніе членовъ Общества. Дѣйствительный членъ имѣетъ одинъ голосъ, получившій за истекшій годъ не менѣе 1000 рублей—2 голоса, получившій же 3000 рублей—три голоса. Свыше трехъ голосовъ никто не имѣетъ права голоса въ собраніяхъ. Уступка авторскаго права членомъ Общества постороннему лицу, не состоящему членомъ, въ какомъ бы видѣ таковая ни была совершена, не допускается. За таковой поступокъ членъ исключается изъ Общества, равно исключается изъ Общества и членъ, второй разъ нарушившій переводъ или передѣлку за оригинальное произведеніе или допустившій поступокъ явно неблаговидный въ литературномъ отношеніи.

Общія собранія созываются въ Москвѣ: очередныя ежегодно между 15 марта и 1 мая, а экстренныя по мѣрѣ надобности. Предварительно общаго собранія въ Москвѣ, Комитетъ сообщаетъ дѣйствительнымъ членамъ, живущимъ въ С.-Петербургѣ, черезъ своего агента, программу вопросовъ, подлежащихъ обсужденію, съ своими заключеніями и необходимыми данными о производствѣ выборовъ. Помянутые члены созываются агентомъ за нѣсколько дней до общаго собранія въ Москвѣ. Петербургское собраніе избираетъ изъ среды своей предсѣдательствующаго, производитъ выборы и обсуждаетъ только тѣ вопросы, которые находятся въ программѣ. О результатѣ выборовъ и сужденій, съ показаніемъ количества голосовъ, сообщается Комитетомъ въ формѣ протокола, за подписью присутствующихъ членовъ. Сложность Петербургскихъ и Московскихъ голосовъ по большинству ихъ составляетъ окончательное рѣшеніе общаго собранія. Отсутствующій дѣйствительный членъ можетъ передать свои голоса на предстоящее собраніе (какъ предварительное въ С.-Петербургѣ, такъ и общее въ Москвѣ) только одному и притомъ дѣйствительному члену. Вѣдѣнію очереднаго общаго собранія подлежатъ: а) выборы предсѣдательствующаго въ собраніи, б) обсужденіе доклада Комитета о дѣлахъ Общества за истекшій годъ, обсужденіе и утвержде-

ніе отчета о приходѣ и расходѣ принадлежащихъ Обществу суммъ и заключенія ревизіонной комиссіи, съ объясненіями Комитета, в) обсужденіе вопросовъ, изложенныхъ въ программѣ, и г) выборы на три года Предсѣдателя Общества и Членовъ Комитета и на одинъ годъ членовъ ревизіонной комиссіи и Судей о Грибоѣдовской преміи. Для ближайшаго управленія дѣлами Общество имѣетъ въ Москвѣ Комитетъ, состоящій изъ предсѣдателя Общества и шести членовъ. Комитетъ выбираетъ изъ среды своей секретаря и казначея Общества на 3 года. Комитетъ производитъ расходы на потребности Общества и въ правѣ принимать отъ имени Общества участіе въ чествованіяхъ литературныхъ и сценическихъ дѣятелей и лицъ, оказавшихъ услуги Обществу. Всѣ сношенія Общества производятся по постановленіямъ Комитета. Для веденія судебныхъ дѣлъ и для совѣщанія по юридическимъ вопросамъ Общество имѣетъ своего юрисконсульта, а для охраненія авторскихъ правъ членовъ Общества, Комитетъ назначаетъ повсемѣстно въ городахъ агентовъ Общества, снабженныхъ довѣренностью и инструкціею. Суммы Общества раздѣляются: 1) на суммы, отчисляемыя въ выдачу членамъ изъ получаемой платы за представленіе пьесъ членовъ Общества; 2) суммы, отчисляемыя на расходы Общества, а также на выдачу единовременныхъ пособій членамъ Общества и ихъ семействамъ въ случаяхъ крайней нужды, и 3) фондъ Общества, не подлежащій расходованію до накопленія 50 тысячъ рублей. Общество имѣетъ архивъ и библіотеку. При Обществѣ существуетъ особый капиталъ, собранный повсемѣстною въ Имперіи подпискою въ память А. С. Грибоѣдова по случаю исполнившагося 30 января 1879 года пятидесятилѣтія со дня его смерти. Изъ процентовъ съ этого капитала ежегодно выдается по присужденію особыхъ судей Грибоѣдовская премія за лучшее драматическое сочиненіе, вышедшее въ предшествующемъ году.

Съ Высочайшаго соизволенія, по ходатайству Общества послѣднему разрѣшенъ повсемѣстный въ Россіи сборъ пожертвованій на сооруженіе въ Москвѣ памятника А. Н. Островскому, основателю Общества и безсмѣнному предсѣдателю до самаго дня смерти, послѣдовавшей 2 іюня 1886 года.

Комитетъ Общества помѣщается въ квартирѣ секретаря (Москва, Тверская, 29). Предсѣдатель Общества Ипполитъ Васильевичъ Шпажинскій, секретарь Иванъ Максимовичъ Кондратьевъ, казначей Аполлонъ Александровичъ Майковъ.

Общество для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ.

Мысль объ основаніи въ Россіи, по примѣру Англіи, Общества для пособія писателямъ впервые была высказана А. В. Дружининымъ. Принятая сочувственно, она вызвала совѣщанія средп писателей. Проектъ

устава 16 февраля 1859 года былъ представленъ министру народнаго просвѣщенія за подписью П. В. Анненкова, С. С. Дудышкина, Н. Г. Чернышевскаго, А. П. Заблоцкаго-Десятовскаго, Е. П. Ковалевскаго. А. Д. Галахова, А. В. Никитенко, К. Д. Кавелина, А. А. Краевскаго и И. С. Тургенева. Уставъ удостоился Высочайшаго утвержденія 7 августа 1859 года, а 8 ноября того-же года состоялось первое собраніе учредителей, въ которомъ Общество объявлено открытымъ.

По уставу Общество выдаетъ пособія, ссуды срокомъ на годъ, со взиманіемъ 6%, и принимаетъ посредничество въ случаѣ недоразумѣнія между писателемъ и издателемъ или книгопродавцемъ. Въ члены Общества принимаются, по рекомендаціи одного изъ членовъ, лица обоего пола; членскій взносъ 10 рублей ежегодно или 100 рублей единовременно.

Изъ прочитаннаго въ годичномъ засѣданіи 2 февраля 1895 года отчета о дѣятельности Общества за 1894 годъ (35 годъ существованія Общества) и состояніи его денежныхъ средствъ видно, что число членовъ возросло до 525. Комитетъ, управляющій дѣлами Общества, имѣлъ 24 засѣданія, на которыхъ было сдѣлано до 400 постановленій по различнымъ просьбамъ о пенсіяхъ, ссудахъ, вспоможеніяхъ на похороны, на медицинскія пособія, объ освобожденіи отъ платы за ученіе и проч. Единовременныхъ пособій выдано 89 лицамъ на сумму 6.081 рубль, безсрочною ссудою пользовались 22 лица на 4.088 рублей, срочною ссудою— 17 лицъ на 2.330 рублей, пенсіями пользовались 23 лица на сумму 5.808 рублей, пособіями на воспитаніе и обученіе 25 лицъ, и на этотъ предметъ, а также на учебныя пособія нуждающимся дѣтямъ выдано всего 2.926 рублей; стипендіями пользовались 7 лицъ, безплатными вакансіями въ учебныхъ заведеніяхъ 21 лицо. Въ пособіяхъ было отказано 58 лицамъ.

Въ отчетномъ 1894 году фондъ не предпринималъ никакихъ изданій; цѣна „Сборника Литературнаго фонда“ и „Литературныхъ Очерковъ“ Надсона была понижена. Литературный вечеръ далъ чистаго сбора 949 руб. 15 коп., лекція П. Д. Боборыкина—300 рублей. Членскихъ взносовъ поступило—3.752 рубля.—По духовному завѣщанію А. Н. Плещеева Обществу отказанъ капиталъ въ 25 тысячъ рублей, но такъ какъ впослѣдствіи наслѣдственныя права Плещеева были уничтожены и признана наслѣдницей г-жа Левисъ-Офъ-Менаръ, то Общество по соглашенію съ послѣдней получило 15.000 рублей, а именно 10 тысячъ въ неприкосновенный и 5 тысячъ въ расходный капиталъ.

По отчету казначея, въ январѣ 1894 года капиталы Общества составляли 277.437 рублей. Въ теченіе 1894 года поступило въ капиталы: неприкосновенный 1.086 рублей, именной 25.166 рублей, расходный 26.516 рублей, ссудный 2.250 рублей, и переходящихъ суммъ 3.307 рублей. За всѣми произведенными расходами на лицо къ 1 января 1895 года состоитъ 304.215 рублей.

Комитетъ Общества находится въ Петербургѣ (Бассейная, 20). Со-

ставъ Комитета: предсѣдатель Вячеславъ Авксентьевичъ Манассеинъ, товарищъ предсѣдателя Николай Степановичъ Таганцевъ, казначей Евграфъ Епафродитовичъ Картавцевъ, секретарь Владиміръ Викторовичъ Лесевичъ, члены: Н. Ѳ. Анненскій, Л. А. Полонскій, Н. А. Карышевъ.

Касса взаимопомощи при Обществѣ для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ существуетъ въ Петербургѣ на основаніи устава, утвержденнаго министромъ народнаго просвѣщенія 22 ноября 1890 года. Участниками кассы могутъ быть лица обоего пола не моложе 25 лѣтъ, принадлежащія къ ученой и литературной профессіи. Участники кассы раздѣляются на разряды, сообразно ихъ платежамъ, которые на первое время опредѣляются: въ 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25 и 50 рублей. Каждый участникъ обязанъ при самомъ вступленіи своемъ въ кассу избрать одинъ изъ этихъ разрядовъ и внести соотвѣтственный своему разряду платежъ въ тройномъ размѣрѣ, въ видѣ вступного взноса, для обезпеченія своихъ обязательствъ передъ прочими участниками кассы. Сверхъ вступного взноса, каждый участникъ обязуется вносить соотвѣтствующіе его разряду платежи въ пользу остальныхъ участниковъ кассы въ случаѣ смерти члена ея и въ случаѣ старческой немощи и другихъ болѣзненныхъ состояній, лишающихъ члена возможности зарабатывать средства къ жизни. Къ каждому обязательному платежу участникъ кассы добавляетъ 10% для составленія пенсіоннаго капитала.—Вмѣсто взносовъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ члену кассы предоставляется вносить ежегодно въ опредѣленные сроки сразу или по частямъ нормированный платежъ по расчету трехъ платежей на 100 участниковъ кассы и сверхъ того 10% съ этой суммы въ пенсіонный капиталъ.

Члены кассы, выполняющіе свои обязанности, имѣютъ право на полученіе причитающейся имъ суммы: а) въ случаѣ смерти, причемъ эта выдача производится лицу, указанному членомъ кассы, и б) въ случаѣ неспособности къ труду. Членъ кассы, по истеченіи 25 лѣтъ пребыванія въ ней, имѣетъ право: а) на пенсію и б) на освобожденіе частичное, или полное, отъ дальнѣйшихъ платежей въ пользу участниковъ кассы. Пенсіи и вообще всякія выдачи изъ кассы назначаются исключительно участникамъ ея или преемникамъ ихъ правъ, но отнюдь не ихъ кредиторамъ. Участникъ, вышедшій изъ кассы за невыполненіемъ ея обязательствъ, можетъ возстановить свои права взносомъ вновь вступного платежа и суммы всѣхъ недоимочныхъ платежей. Пріемъ членовъ производится по закрытой баллотировкѣ изъ числа лицъ, признанныхъ правленіемъ имѣющими право участвовать въ кассѣ. Средства кассы составляются кромѣ взносовъ изъ пожертвованій и изъ суммъ, полученныхъ отъ устройства въ пользу пенсіоннаго капитала литературныхъ чтеній, концертовъ, спектаклей и т. п. Капиталы Общества раздѣляются на расходный, запасный и пенсіонный. Для завѣдыванія дѣлами кассы избирается Правленіе изъ девяти членовъ на три года. Само Правленіе изъ своей среды избираетъ ежегодно предсѣдателя Правленія, секретаря и казначея.—Общія собранія обыкновен-

ныя, подъ предсѣдательствомъ Предсѣдателя Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ, собираются два раза въ годъ, въ январѣ и октябрѣ, для рѣшенія текущихъ дѣлъ и выслушанія отчета. Чрезвычайныя собранія созываются по мѣрѣ надобности для рѣшенія какъ организаціонныхъ вопросовъ, такъ и текущихъ дѣлъ, не терпящихъ отлагательства.—Если въ Москвѣ или другомъ городѣ будетъ не менѣе 25 участниковъ кассы, то они могутъ образовать филіальное отдѣленіе для обсужденія въ мѣстныхъ собраніяхъ тѣхъ же вопросовъ, какіе рѣшаются общимъ собраніемъ въ Петербургѣ, и для содѣйствія Правленію кассы въ выполненіи лежащихъ на немъ обязанностей. Порядокъ открытія и дѣятельности отдѣленій опредѣляется общимъ собраніемъ.

Изъ отчета за 1893 годъ (третій годъ существованія кассы) видно, что касса открыла свои дѣйствія 5 мая 1891 года, что членовъ кассы къ 1 января 1894 года было 185, изъ нихъ наибольшее число въ Петербургѣ (111), Москвѣ (32) и Юрьевѣ (20). Капиталы кассы къ 1 января 1894 года достигли: расходный—2.759 рублей, запасный—385 рублей 52 копѣекъ и пенсіонный 1.106 руб. 88 коп., итого 4251 руб. 40 коп. 13 февраля 1894 года общее собраніе кассы утвердило правила объ учрежденіи и дѣятельности Московскаго Отдѣленія Кассы. Согласно этихъ правилъ Московское Отдѣленіе имѣетъ цѣлью предоставить московскимъ членамъ кассы возможность принимать участіе въ дѣятельности ея и содѣйствовать Правленію въ выполненіи лежащихъ на немъ обязанностей. Въ общихъ собраніяхъ членовъ Московскаго Отдѣленія могутъ участвовать и члены кассы, не имѣющіе постояннаго жительства въ Москвѣ. При рѣшеніи организаціонныхъ вопросовъ и прочихъ текущихъ дѣлъ, голоса поданные въ Москвѣ, причисляются къ голосамъ, подаваемымъ въ Петербургскихъ общихъ собраніяхъ. Бюро Московскаго Отдѣленія состоитъ изъ предсѣдателя, секретаря, казначея и двухъ членовъ, избираемыхъ на три года закрытой баллотировкой. Лица эти считаются членами Правленія.

Правленіе Кассы находится въ Петербургѣ, Бассейная, 20, кв № 14. Предсѣдатель Правленія Григорій Константиновичъ Градовскій, Секретарь Матвѣй Леонтьевичъ Песковскій, казначей Владиміръ Осиповичъ Михневичъ, и члены: Яковъ Григорьевичъ Гуревичъ, Яковъ Николаевичъ Колубовскій, Михаилъ Михайловичъ Кояловичъ, Осипъ Константиновичъ Нетовичъ, Даніилъ Лукичъ Мордовцевъ и Александръ Ивановичъ Поповицкій. Въ Московскомъ отдѣленіи предсѣд. А. П. Лукинъ, члены: А. И. Чупровъ, В. А. Фидлеръ, Ѳ. А. Коршъ, В. М. Лавровъ, Вл. И. Немировичъ-Данченко и Ѳ. В. Головинъ. Правленіе—Хлѣбный пер., д. Лукиной.

Русское литературное Общество.

По уставу, утвержденному Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, Общество имѣетъ цѣлію изученіе литературы во всѣхъ ея формахъ и видахъ, разработку теоретическихъ и практическихъ вопросовъ литературы

и распространеніе литературныхъ познаній. Для достиженія означенной цѣли Общество собирается на литературныя бесѣды, устраиваетъ торжественныя собранія, а также съ соблюденіемъ общихъ цензурныхъ и полицейскихъ правилъ устраиваетъ публичныя лекціи, литературныя утра и вечера, издаетъ протоколы, періодическія извѣстія, отчеты и литературные сборники. Общество заботится о приведеніи въ извѣстность и обращеніи въ пользу отечественной словесности такихъ матеріаловъ, которые остаются безъ употребленія въ рукахъ частныхъ лицъ и въ архивахъ разныхъ мѣстъ. Общество состоитъ изъ членовъ: пятидесяти дѣйствительныхъ, ста членовъ-сотрудниковъ и неограниченнаго числа почетныхъ. Уставъ опредѣляетъ только отрицательныя условія для членовъ, которыми не могутъ быть учащіеся и нижніе чины, члены исключенные изъ общества и лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду; причемъ почетными членами могутъ быть лица, оказавшія Обществу услугу, и лица, которымъ Общество желаетъ выразить особое уваженіе. Дѣйствительные члены и члены-сотрудники вносятъ ежегодно по 10 рублей или единовременно 200 рублей. Гости допускаются въ собранія только по рекомендаціи членовъ. Собранія Общества бываютъ общія—это высшій органъ управленія дѣлами Общества,—обыкновенныя (бесѣды), устраиваемыя періодически для литературныхъ занятій, и торжественныя, назначаемыя въ особыхъ случаяхъ. О собраніяхъ Общество доводитъ до свѣдѣнія градоначальника, а если торжественное собраніе дѣлается публичнымъ, то для общества обязательны на этотъ предметъ цензурныя и полицейскія правила. Средства Общества состоятъ изъ ежегодныхъ и единовременныхъ членскихъ взносовъ, сборовъ съ публичныхъ чтеній и литературныхъ вечеровъ, доходовъ отъ изданій и пожертвованій. Единовременные взносы составляютъ неприкосновенный капиталъ, съ котораго расходуются на текущія потребности только проценты; прочіе источники дохода обращаются на покрытіе текущихъ расходовъ. При обществѣ имѣется библіотека, состоящая изъ книгъ, рукописей и коллекцій вещей, относящихся до изящной литературы. Библіотекой пользуются исключительно только члены Общества. Общество можетъ имѣть буфетъ, содержаніе котораго предоставляется арендатору, подчиняющемуся общимъ правиламъ относительно платежа и другихъ сборовъ.

Изъ отчета Общества съ 1 октября 1886 года по 1-е октября 1894 года видно, что Общество насчитывало въ своей средѣ членовъ: почетныхъ 15, дѣйствительныхъ 71 и сотрудниковъ—106. Къ 1-му октября 1894 года въ Обществѣ состоитъ членовъ: почетныхъ—8, дѣйствительныхъ—49 и сотрудниковъ—81.

Въ послѣдній годъ (съ 1 сентября 1893 года) Совѣтъ Общества занимался разработкой вопроса объ авторскомъ правѣ въ Россіи и объ организаціи взаимопомощи русскихъ литераторовъ и писателей. Въ обыкновенныхъ собраніяхъ (бесѣдахъ) происходили чтенія и дѣлались сообщенія. Эти собранія назначались по понедѣльникамъ и исключительно для чле-

новъ, но иногда по особому постановленію Совѣта и съ согласія докладчика происходили въ присутствіи гостей, которые допускались не иначе какъ по рекомендаціи членовъ и за плату въ размѣрѣ 1 рубля. Всѣхъ обыкновенныхъ собраній (бесѣдъ) было 172, въ среднемъ около 21 ежегодно.—Литературные вечера и публичныя лекціи въ отчетныя восемь лѣтъ были устроены только по два раза. Наконецъ общество устроило празднованіе пятидесятилѣтнихъ юбилеевъ своихъ почетныхъ членовъ: 10 апрѣля 1887 года—Я. П. Полонскаго и 30 апрѣля 1888 года—А. Н. Майкова и приняло участіе въ празднованіи въ Москвѣ 10 января 1889 года пятидесятилѣтняго юбилея своего почетнаго члена А. А. Фета (Шеншина) и въ С.-Петербургѣ 31 октября 1893 года пятидесятилѣтняго юбилея Д. В. Григоровича, также почетнаго члена.

Библіотека Общества насчитываетъ въ настоящее время до 500 томовъ книгъ и брошюръ, изъ коихъ большинство пожертвованы членами.

Въ настоящее время составъ Совѣта слѣдующій: Предсѣдатель—Петръ Николаевичъ *Исаковъ*, Товарищъ Предсѣдателя Алексѣй Антиповичъ *Потѣхинъ*, Члены Совѣта—Дмитрій Васильевичъ *Аверкіевъ*, Петръ Петровичъ *Гнѣдичъ*, Андрей Александровичъ *Катенинъ*, Леонидъ Николаевичъ *Майковъ*, Секретарь Общества Михаилъ Андреевичъ *Загуляевъ*. Общество находится въ С.-Петербургѣ, Невскій, 66.

Московскій Библіографическій Кружокъ

Въ концѣ 1889 года нѣсколько лицъ, занимающихся библіографіею, задумали основать первое въ Россіи библіографическое общество, ближайшею задачею котораго было-бы „составленіе и изданіе полнаго систематическаго каталога всѣхъ безъ исключенія русскихъ книгъ гражданской печати, т. е. вышедшихъ въ свѣтъ съ 1708 года“. Въ мартѣ 1890 года былъ выработанъ проектъ устава, который 31 іюля того-же года получилъ утвержденіе, и Общество открыло свою дѣятельность съ 4 октября 1890 года подъ именемъ *Московскаго Библіографическаго Кружка*.

Сообразно съ утвержденнымъ уставомъ, Московскій Библіографическій Кружокъ, при помощи своихъ сочленовъ, въ теченіе четырехъ лѣтъ успѣлъ описать „съ натуры“ болѣе *пяти тысячъ книгъ и брошюръ*, приготовилъ обработанные матеріалы для изданія систематическаго каталога, собралъ свою библіотеку, особенно богатую библіографическими пособіями, а съ 1894 года началъ изданіе собственнаго ежемѣсячнаго библіографическаго журнала подъ названіемъ *Книговѣдѣніе*, съ рисунками и приложеніями (цѣна 6 р. съ пересылкою), особенно важнаго тѣмъ, что въ немъ помѣщаются „полные списки всѣхъ вновь выходящихъ книгъ на русскомъ языкѣ въ систематическомъ порядкѣ“. Отвѣтственнымъ редакторомъ журнала и предсѣдателемъ Кружка въ настоящее время состоитъ А. Д. Тороповъ. Засѣданія Московскаго Библіографическаго Кружка происходятъ еженедѣльно (кромѣ лѣтняго времени) по понедѣльникамъ въ его помѣщеніи (Тверская, уголъ Козицкаго переулка, д. Ланиной).

О правахъ собственности на произведенія наукъ и словесности.

Положеніе объ авторскомъ правѣ писателей занимаетъ скромное мѣсто въ законахъ гражданскихъ, составляя приложеніе ко 2-му примѣчанію 420 статьи 1-й части X тома Свода Законовъ. Положеніе это въ значительной части своей основано на законѣ, изданномъ назадъ тому 65 лѣтъ, 8 января 1830 года. Дѣйствующіе законы объ авторскомъ правѣ ограждаютъ это право только русскимъ подданнымъ. Авторское же право иностранцевъ лишено защиты отечественнаго закона и подлежитъ огражденію настолько, насколько оно опредѣляется международными конвенціями между Россіей и иностранными государствами. Такихъ конвенцій въ настоящее время не существуетъ. Впрочемъ и русскій подданный лишается права защиты закона объ авторскомъ правѣ, если онъ напечатаетъ книгу безъ соблюденія правилъ устава о цензурѣ и печати (изд. 1890 года).

Субъектомъ авторскаго права признаются: сочинитель, переводчикъ, первый издатель устныхъ народныхъ сочиненій, издатели сборниковъ и журналовъ (періодическихъ изданій); составитель словаря; издатель географическихъ картъ, историческихъ таблицъ, логариѳмовъ, указателей, календарей и т. п.; общества, издающія книги или иныя произведенія наукъ и словесности, будутъ ли это общества ученыя или торговыя, составленныя исключительно для изданія чужихъ литературныхъ произведеній; наслѣдники по закону или по завѣщанію вышеозначенныхъ сочинителей, переводчиковъ или первыхъ издателей, и лица, къ которымъ по договору перешло авторское право въ полную собственность или на опредѣленныхъ условіяхъ.

Объектомъ авторскаго права законъ признаетъ: а) книгу и всякаго вида сочиненіе или статью объемомъ болѣе одного печатнаго листа, б) драматическую пьесу, в) народныя пѣсни, сказки, повѣсти, сохранившіяся однимъ устнымъ преданіемъ и впервые изданныя, г) древнія рукописи, лѣтописи или другіе древніе манускрипты, также впервые изданные, д) журналы и другія періодическія сочиненія, е) альманахи и вообще книги, составляемыя изъ разныхъ мелкихъ сочиненій или статей, ж) частныя письма, частныя записки и другія бумаги, не предназначавшіяся для публики, з) переводъ въ теченіе двухъ лѣтъ на другіе языки такого сочиненія, для котораго необходимы особенныя ученыя изысканія.

По праву собственности на произведенія наукъ и словесности автору или лицамъ, къ которымъ въ установленномъ закономъ порядкѣ, перейдутъ авторскія права, принадлежитъ исключительное право пользоваться изданіемъ и продажею вышеозначенныхъ сочиненій, пьесъ, сборниковъ, переводовъ и т. п. Авторъ или лицо, замѣняющее его по праву преемства общаго или особеннаго, можетъ отчуждать свое автор-

ское право, какъ благопріобрѣтенное имущество, постороннимъ лицамъ, причемъ въ случаѣ передачи таковаго права по договору пространство, срочность и другія условія опредѣляются соглашеніемъ, которое облекается въ письменный актъ, совершаемый нотаріальнымъ порядкомъ. Авторское право принадлежитъ сочинителю, переводчику, первому издателю, составителю словаря или сборника и т. п. въ теченіе жизни этихъ лицъ; правопреемникамъ автора (издателямъ и т. п.) право авторское принадлежитъ въ теченіе жизни автора и пятьдесятъ лѣтъ послѣ его смерти; наслѣдникамъ автора по закону принадлежитъ это право также въ теченіе пятидесяти лѣтъ со дня смерти автора или со времени появленія въ свѣтъ сочиненія, перевода и т. п., не изданнаго до смерти автора. Общества, издающія книги или иныя произведенія наукъ и словесности, а также труды своихъ членовъ, пользуются авторскимъ правомъ въ теченіе 50 лѣтъ. По истеченіи означенныхъ сроковъ авторское право прекращается, и право собственности на произведенія наукъ и словесности дѣлается общимъ достояніемъ, при чемъ каждый имѣетъ право издавать и продавать произведенія литературы по своему усмотрѣнію. Въ случаѣ прекращенія существованія общества, которому принадлежитъ авторское право,—право это также прекращается и дѣлается достояніемъ автора, если онъ живъ, или университета, академіи и другого ученаго учрежденія, при которомъ состоитъ общество. Кромѣ упомянутаго исключенія авторское право другихъ обществъ, прекратившихъ свое существованіе, дѣлается общимъ достояніемъ и до истеченія общаго пятидесятилѣтняго срока со дня смерти сочинителя.

Въ силу исключительнаго права автора всякое изданіе сочиненія безъ согласія автора или его преемниковъ, а также продажа сочиненій, изданныхъ кѣмъ бы то нибыло и гдѣ бы то нибыло безъ разрѣшенія автора, считается нарушеніемъ авторскихъ правъ и по жалобѣ потерпѣвшаго подлежитъ уголовному преслѣдованію. Самовольное изданіе (контрафакція) есть изданіе или перепечатка цѣлаго сочиненія, безъ сокращенія или измѣненія, и виновные въ самовольномъ изданіи приговариваются къ тюремному заключенію безъ ограниченія или лишенія правъ на срокъ отъ двухъ до восьми мѣсяцевъ. При чемъ самовольное изданіе одинаково наказуемо, хотя бы оно и не имѣло въ виду достиженіе корыстной цѣли. Если же, издавая чужое произведеніе, контрафакторъ назоветъ его своимъ, въ такомъ случаѣ наказаніе увеличивается, и виновный приговаривается къ лишенію всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, къ ссылкѣ на житье въ одну изъ отдаленныхъ губерній, кромѣ сибирскихъ, или къ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ одного года и четырехъ мѣсяцевъ до двухъ лѣтъ.

Законъ признаетъ также самовольнымъ изданіемъ: а) второе и дальнѣйшія изданія книги, если авторъ уступилъ свое право только на одно изданіе, б) продажу въ Россіи книги, напечатанной заграницей, хотя бы и съ переводомъ на другой языкъ, в) напечатаніе прочитанной или произнесенной рѣчи безъ согласія автора, г) постоянное перепечатываніе подъ видомъ

рецензіи или подъ какимъ либо другимъ предлогомъ въ періодическомъ изданіи мелкихъ выдержекъ изъ чужихъ статей, хотя бы онѣ занимали и менѣе одного печатнаго листа. Но есть перепечатки чужихъ произведеній, дозволенныя закономъ. Сюда относятся, во 1-хъ, случайное перепечатаніе въ какомъ либо изданіи мелкой статьи, не занимающее болѣе одного печатнаго листа, какого бы содержанія ни была эта статья; во 2-хъ, перепечатаніе извѣстій политическихъ, общественныхъ, литературныхъ, научныхъ и иныхъ, съ указаніемъ источника, откуда заимствованы эти статьи; въ 3-хъ, помѣщеніе въ хрестоматіяхъ и другихъ учебныхъ книгахъ какихъ либо статей или отрывковъ изъ другихъ сочиненій, хотя бы таковое заимствованіе въ сложности разныхъ мѣстъ книги составляло и болѣе одного печатнаго листа; въ 4-хъ, цитированіе, ссылки или заимствованіе изъ сочиненія объемомъ болѣе одного печатнаго листа не болѣе одной трети, если къ чужому тексту самимъ заимствователемъ прибавлено собственнаго текста вдвое болѣе заимствованнаго; въ 5-хъ, заимствованіе менѣе двухъ третей чужого перевода и т. п. Всѣ же заимствованія изъ чужихъ литературныхъ произведеній въ размѣрѣ свыше дозволеннаго закономъ признаются также уголовнымъ преступленіемъ и подвергаются по жалобѣ потерпѣвшаго денежному взысканію въ размѣрѣ двойной цѣны всѣхъ напечатанныхъ экземпляровъ книги съ такими противузаконными заимствованіями.

Но, кромѣ уголовнаго наказанія виновному, послѣдствіе самовольнаго изданія или противузаконнаго заимствованія состоитъ: во 1-хъ въ возвращеніи законному издателю всего того убытка, который исчисляется по соображенію дѣйствительной платы за все изготовленіе экземпляровъ самовольнаго изданія съ продажною цѣною отъ законнаго изданія прежде объявленнаго, и во 2-хъ въ отобраніи наличныхъ экземпляровъ самовольнаго изданія, которые и обращаются въ пользу законнаго издателя.

Срокъ для возбужденія уголовнаго преслѣдованія виновныхъ въ нарушеніи авторскихъ правъ полагается двухлѣтній, а для истцовъ, находящихся заграницей—четырехлѣтній, считая таковой со дня цензурнаго дозволенія или со дня полученія билета на выпускъ въ свѣтъ отпечатанной книги. Гражданскіе иски объ убыткахъ, происшедшихъ отъ нарушенія правъ литературной собственности, погашаются общею десятилѣтнею давностью.

Изъ Устава о цензурѣ и печати.

Уставъ о цензурѣ и печати имѣетъ мѣсто въ томѣ 14 Свода Законовъ. Послѣднее изданіе Устава 1890 года.

Источниками статей Устава о цензурѣ и печати служатъ главнымъ образомъ два закона—22 апрѣля 1828 года и 6 апрѣля 1865 года. Первый, изданный послѣ событія 14 декабря 1825 года и окончанія слѣдствія

возбужденнаго этимъ событіемъ, имѣлъ задачею усилить наблюденіе правительства за направленіемъ литературы и науки. Второй законъ 1865 г. имѣлъ цѣлью создать большую или меньшую свободу научныхъ произведеній и облегчить положеніе печати вообще, особенно періодической.

Завѣдываніе дѣлами цензуры и печати вообще въ предѣлахъ Имперіи (кромѣ Финляндіи) сосредоточивается въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, подъ высшимъ наблюденіемъ министра, въ Главномъ Управленіи по дѣламъ печати. Цензура раздѣляется на внутреннюю и иностранную. Первая разсматриваетъ произведенія словесности, наукъ и искусствъ, назначаемыя къ изданію внутри государства. Вторая дозволяетъ или запрещаетъ продажу книгъ, повременныхъ изданій, эстамповъ и т. п., привозимыхъ изъ-заграницы. Цензура имѣетъ обязанность разсматривать не освобожденныя отъ предварительной цензуры произведенія словесности, наукъ и искусствъ, назначаемыя къ изданію въ свѣтъ посредствомъ всевозможныхъ способовъ тисненія, равно и привозимыя изъ-заграницы, и дозволять изданіе или продажу тѣхъ изъ нихъ, которыя не подлежатъ запрещенію. На обязанности цензуры лежитъ также наблюденіе за произведеніями печати, выходящими безъ разрѣшенія предварительной цензуры, обнаруженіе нарушенія въ нихъ установленныхъ правилъ и возбужденіе судебнаго преслѣдованія въ указанныхъ закономъ случаяхъ.

Отъ предварительной цензуры изъяты нижеслѣдующія произведенія печати: а) *въ обѣихъ столицахъ*: 1) всѣ оригинальныя произведенія объемомъ не менѣе десяти печатныхъ листовъ и 2) всѣ переводы объемомъ не менѣе двадцати печатныхъ листовъ; б) *повсемѣстно*: 1) повременныя изданія, получившія отъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ разрѣшеніе на выходъ безъ предварительной цензуры; 2) всѣ изданія правительственныя; 3) всѣ изданія академій, университетовъ, и ученыхъ обществъ и установленій; 4) всѣ изданія на древнихъ классическихъ языкахъ и переводы съ сихъ языковъ; 5) чертежи, планы и карты. Дѣйствіе этихъ правилъ не распространяется: 1) на сочиненія, переводы и изданія, а также мѣста въ нихъ, подлежащія по дѣйствующимъ постановленіямъ и распоряженіямъ духовной цензурѣ; 2) на изданія, подлежащія цензурѣ иностранной, и 3) на повременныя и другія изданія эстамповъ, рисунковъ и другихъ изображеній съ текстами и безъ оныхъ. Внутренняя цензура возлагается на цензурные комитеты и отдѣльныхъ цензоровъ. Книги собственно духовнаго содержанія, т. е. заключающія въ себѣ изложеніе догматовъ вѣры, толкованія Священнаго писанія, проповѣди и т. п. на славянскомъ и русскомъ языкахъ, разсматриваются и одобряются духовною цензурою, состоящею въ вѣдѣніи Святѣйшаго Синода.

При представленіи рукописи или книги въ цензуру не требуется отъ представляющаго никакихъ прошеній или записокъ. Имя сочинителя, переводчика или издателя можетъ быть и не объявлено на книгѣ, но его произволенію, но издающій книгу долженъ быть извѣстенъ типографщику коему поручено ея печатаніе. Издатель, желающій представлять на разсмотрѣніе корректуру вмѣсто рукописи, обязанъ непремѣнно довести о

томъ заблаговременно до свѣдѣнія цензуры и получить позволительный билетъ. Для періодическихъ изданій дается такой билетъ при началѣ изданія на все продолженіе изданія. Данное цензоромъ позволеніе на напечатаніе одобренной рукописи остается дѣйствительнымъ въ теченіе слѣдующихъ сроковъ: для сочиненій однотомныхъ—одного года, для сочиненій отъ двухъ до трехъ томовъ—двухъ лѣтъ, и для сочиненій болѣе объемистыхъ—трехъ лѣтъ.

Если цензоръ найдетъ, что разсмотрѣнная имъ книга или цѣлая статья въ періодическомъ изданіи не можетъ быть напечатана, то представляетъ о семъ комитету въ общемъ засѣданіи, который по большинству голосовъ дозволяетъ или запрещаетъ печатаніе сочиненія. Предсѣдатель комитета можетъ не согласиться съ мнѣніемъ большинства и остановить печатаніе до полученія разѣшенія Главнаго Управленія по дѣламъ печати. Сочинитель или издатель, недовольный рѣшеніемъ Цензурнаго Комитета, можетъ обратиться съ жалобою въ Главное Управленіе по дѣламъ печати и просить удовлетворенія. Всякая рукопись, запрещаемая цензурою, удерживается Комитетомъ, а представившему рукопись выдается въ томъ свидѣтельство. Авторъ или издатель можетъ требовать, чтобы рукопись была представлена Комитетомъ Главному Управленію по дѣламъ печати на окончательное разсмотрѣніе вмѣстѣ съ объясненіями, какъ Комитета, такъ и недовольнаго рѣшеніемъ. Независимо отъ отвѣтственности разсматривавшаго періодическое изданіе цензора подвергаются уголовному наказанію издатели или редакторы подцензурныхъ повременныхъ изданій, если въ нихъ окажутся сочиненія, по своему прямому содержанію или по своимъ намекамъ относящіяся къ разряду тѣхъ, кои означены въ уложеніи о наказаніяхъ и заключаютъ въ себѣ богохуленіе, порицаніе православной христіанской вѣры или православной церкви, ругательства надъ Священнымъ Писаніемъ и Святыми Таинствами, проповѣдь для совращенія православныхъ въ иное вѣроисповѣданіе или расколъ, возбужденіе неуваженія къ Верховной власти и къ личнымъ качествамъ Государя, или оскорбленіе кого-либо изъ членовъ царствующаго дома, возбужденіе къ бунту или явному неповиновенію Верховной власти, оспариваніе или возбужденіе сомнѣнія въ неприкосновенности правъ Верховной власти или дерзкое порицаніе существующаго образа правленія, возбужденіе къ противодѣйствію и сопротивленію властямъ, оскорбленіе для высшихъ въ государствѣ мѣстъ и лицъ, недозволенныя сужденія о постановленіяхъ и дѣйствіяхъ правительства, оглашеніе позорящихъ обстоятельствъ о частномъ или должностномъ лицѣ, клевету противъ частныхъ лицъ, ихъ родителей или родственниковъ по восходящей степени.

Произведенія, дозволенныя цензурою, могутъ издаваться не только въ Россіи, но и заграницею. Во время печатанія дозволяется автору дѣлать перемѣны и поправки въ слогѣ и выраженіяхъ, съ тѣмъ однако-же, чтобы смыслъ перемѣнъ и поправокъ не былъ противенъ общимъ правиламъ цензуры. Важнѣйшія перемѣны, сдѣланныя авторомъ, должны

быть отмѣчены въ особой запискѣ, подаваемой въ цензуру при представленіи печатнаго экземпляра. Во время печатанія книги, дозволенной цензурой, содержатель типографіи можетъ выдавать отдѣльные листы издателю для замѣтокъ или исправленія типографскихъ ошибокъ. Но онъ не долженъ выдавать издателю болѣе одного экземпляра листовъ, такъ называемыхъ бѣлыхъ или чистыхъ, до полученія позволительнаго билета.

Повременными изданіями считаются: 1) газеты и журналы, выходящіе въ свѣтъ отдѣльными нумерами, листами и книжками, 2) сборники или собранія новыхъ, оригинальныхъ или переводныхъ сочиненій или статей разныхъ издателей, издаваемые подъ общимъ заглавіемъ болѣе двухъ разъ въ годъ. Приложеніями, принадлежащими къ составу газеты или журнала, считаются лишь тѣ, которые не продаются особо ни по подпискѣ, ни отдѣльными книжками или нумерами. Всякое изданіе, имѣющее характеръ особаго журнала или газеты и которое можетъ быть пріобрѣтено отдѣльно по подпискѣ или покупкою порознь его книжекъ или нумеровъ, не считается приложеніемъ къ другому повременному изданію.

Каждый, желающій выдавать въ свѣтъ новое повременное изданіе въ видѣ газеты, журнала или сборника, обязанъ испросить на то разрѣшеніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ котораго зависитъ разрѣшеніе изданія и притомъ безъ предварительной или съ предварительной цензурою. Прошеніе подается въ Главное Управленіе по дѣламъ печати. Получившій разрѣшеніе на повременное изданіе сохраняетъ право приступить къ выпуску изданія въ теченіе года со дня выдачи разрѣшенія; изданіе, не выходившее въ теченіе года, считается прекратившимся. О переходѣ изданія отъ одного издателя къ другому Главное Управленіе должно быть своевременно увѣдомлено, а на перемѣну редактора должно быть испрошено особое разрѣшеніе Главнаго Управленія по дѣламъ печати. Издатели повременныхъ изданій, изъятыхъ отъ дѣйствія предварительной цензуры, обязываются внести въ Главное Управленіе залогъ для ежедневныхъ или выходящихъ не менѣе шести разъ въ недѣлю въ размѣрѣ 5.000 рублей, а для прочихъ повременныхъ изданій—2.500 руб. Внесеніе залога не требуется: 1) отъ повременныхъ изданій, выходящихъ съ разрѣшенія предварительной цензуры, 2) изданій съ программою чисто ученаго, хозяйственнаго или техническаго содержанія и 3) изданій правительственныхъ установленій, академій, университетовъ и ученыхъ обществъ.

Въ случаѣ наложеннаго на изданія взысканія, подлежащая сумма удерживается изъ залога, и залогъ пополняется; въ случаѣ-же прекращенія изданія залогъ возвращается по истеченіи года. Редакція каждаго періодическаго изданія обязана знать фамилію автора статьи и сообщать званія, имена и фамиліи авторовъ по требованію Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Всякое повременное изданіе обязано помѣстить безотлагательно и безденежно, безъ всякихъ измѣненій и примѣчаній въ текстѣ и безъ всякихъ о томъ въ самомъ нумерѣ возраженій, сообщенное ему отъ

правительства оффиціальное опроверженіе или исправленіе обнародованнаго тѣмъ изданіемъ извѣстія. Такую-же обязанность напечатать возраженіе или поправку частнаго лица законъ возлагаетъ на повременное изданіе и въ томъ случаѣ, если напечатано будетъ какое-либо извѣстіе, касающееся частнаго лица. Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется право воспрещать повременнымъ изданіямъ оглашеніе въ печати какого-либо вопроса. Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоставляется также право дѣлать предостереженія повременнымъ изданіямъ, изъятымъ отъ предварительной цензуры, причемъ третье предостереженіе влечетъ за собою пріостановку изданія на срокъ, опредѣляемый по усмотрѣнію министра. Вопросы о совершенномъ прекращеніи періодическаго изданія или пріостановкѣ его безъ опредѣленія срока, съ воспрещеніемъ редактору и издателю быть впослѣдствіи редакторомъ или издателемъ повременнаго изданія, предоставляются совокупному обсужденію и разрѣшенію Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія и Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода. Министру Внутреннихъ Дѣлъ предоставлено закономъ право воспрещать розничную продажу повременнаго изданія отдѣльными нумерами, а также печатаніе частныхъ объявленій, на срокъ отъ двухъ до восьми мѣсяцевъ.

Сочиненіе, издаваемое безъ предварительной цензуры, можетъ быть выпущено въ свѣтъ не прежде, какъ по истеченіи семи дней со времени полученія расписки въ принятіи Цензурнымъ Комитетомъ узаконеннаго числа экземпляровъ для Императорской публичной библіотеки, для библіотеки Румянцевскаго и публичнаго музеевъ и т. д.

Желающіе завести типографію, литографію, металлографію и другое подобное заведеніе должны получить установленное закономъ дозволеніе. Дозволеніе это дается всѣмъ лицамъ безъ различія, имѣющимъ право заниматься торговлею или ремесломъ. За такими заведеніями установленъ особый надзоръ, и самое печатаніе они должны производить съ соблюденіемъ извѣстныхъ формальностей относительно принятія заказа и выпуска въ обращеніе всего напечатаннаго.

Относительно книжной торговли существуютъ также особыя правила, имѣющія цѣлію правительственное наблюденіе за этою отраслью торговли.

Заводить книжные магазины, лавки, кабинеты для чтенія, а также продавать книги и періодическія изданія отдѣльными нумерами на улицахъ, площадяхъ и въ разноску предоставляется частнымъ лицамъ, акціонернымъ обществамъ и товариществамъ, и вообще всѣмъ безъ различія съ дозволенія, испрошеннаго у подлежащихъ мѣстныхъ властей.

Цензурѣ книгъ иностранныхъ предоставляется привозимыя изъ-заграницы книги и періодическія изданія или дозволять къ обращенію въ цѣломъ ихъ составѣ, или съ исключеніемъ нѣкоторыхъ мѣстъ, или запрещать ко всеобщему лишь въ публикѣ обращенію, или-же запрещать безусловно.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

Предисловіе I

Первый отдѣлъ.

Язычество и христіанство, лекція почетн. члена **Ѳ. И. Буслаева** . . . 1

Плачъ холоповъ прошлаго вѣка, съ предисловіемъ **Н. С. Тихонравова** . 9

Самородокъ, разсказъ д. чл. **Д. Н. Мамина-Сибиряка** 15

Воскресшій, стихотвореніе д. чл. **К. Д. Бальмонта** 33

Николай Платоновичъ Огаревъ. Значеніе его личности и поэзіи, ст. д. чл. **Е. С. Некрасовой** 35

*** стихотвореніе д. чл. **В. Я. Брюсова** 92

Изъ литературныхъ воспоминаній, А. И. Левитовъ; д. чл. **Н. Н. Златовратскаго** 93

Къ вопросу о второмъ томѣ „Мертвыхъ Душъ“, ст. д. чл. **В. И. Шенрока** 107

Изъ „Фауста“ Гёте: I. Рабочій кабинетъ, перев. д. ч. **К. Д. Бальмонта** 131

II. Погребъ Ауэрбаха въ Лейпцигѣ, перев. д. чл. **им. Д. Н. Цертелева** 135

Николай Ивановичъ Новиковъ, ст. д. чл. **В. Е. Якушкина** 152

Судьбы русскаго романа, рефератъ д. чл. **П. Д. Боборыкина** 182

Критическія и библіографическія замѣтки о Крыловѣ, дѣйств. чл. **А. И. Кирпичникова** 210

Изъ воспоминаній Н. М. Сатина, съ предисловіемъ д. чл. **Е. С. Некрасовой** 232

Иліада, третья пѣснь, новый переводъ д. чл. **Н. М. Минскаго** 251

Поэтъ-мыслитель (по поводу пятидесятилѣтія смерти Баратынскаго), рѣчь предсѣд. Общества **Н. И. Стороженка** 265

Супруга, разсказъ д. чл. **А. П. Чехова** 279

Къ былинамъ о Чурилѣ Пленковичѣ, ст. д. чл. **Всевол. Ѳед. Миллера** . 286

Изъ исторіи французской публицистики. Прево-Парадоль. Статья д. чл. **М. М. Ковалевскаго** 302

Три притчи, почетн. члена гр. **Л. Н. Толстого** 328

Памяти Аполлона Александровича Григорьева, ст. д. чл. **В. А. Гольцева** 337

Ушкуль, горная башкирская легенда, д. чл. **Ф. Д. Нефедова** 346

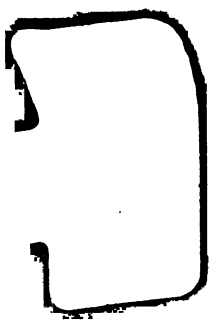
Поэзія Некрасова, ст. д чл. **И. И. Иванова** 413

Грибоѣдовъ, рѣчь времен. предсѣд. Общ. **Алексѣя Веселовскаго**. . . 454

Стр

Второй отдѣлъ (состав. дд. чл. А. Е. Носомъ и Д. Д. Языковымъ) .
Уставъ Общества Любителей Росс. Словесности 3
Составъ Общества къ 20 февраля 1895 г. 9
Подписка на сооруженіе памятника Н. В. Гоголю 13
Общество русскихъ драматическихъ писателей 14
Общество вспомощ. нуждающимся литераторамъ 16
Касса взаимопомощи при литерат. фондѣ 18
Русское литературное Общество 19
Московскій библіографич. кружокъ 21
О правахъ собственности на произведенія наукъ и словесности . . 22
Изъ устава о цензурѣ и печати 24

Замѣченныя опечатки.

Страница	*строка*	*напечатано:*	*слѣдуетъ:*
42	4 сверху	кимъ его	какимъ его
62	1 сверху	этотъ разъ обѣщалъ	на этотъ разъ, обѣщалъ
67	5 сверху	самкаго близкаго	самаго близкаго.
67	8 сверху	заглушать	душить
78	13 снизу	вышелъ	и вышелъ
83	15 сверху	превосходятъ	превосходитъ
90	18 сверху	въ самомъ себѣ	въ самой себѣ
95	18 снизу	сжется	жжется
96	18 снизу	Мнѣ приходилось и т. д.	Читать съ новой строки.
98	10 снизу	коорыое	которое
109	13 сверху	ослужиться	дослужиться
124	2 сверху	не особенно	но особенно
130	9 снизу	отчки	точки
158	15 снизу	сохраняющій	сохраняющійся
174	9 снизу	такимъ	какимъ
198	10 снизу	Новѣйшій Асмодей	Асмодей нашего времени.
222	12 снизу	Гѣздо	Гнѣздо
243	13 снизу	прокричалъ: по латыни	прокричалъ по латыни: Р...
308	1 снизу	октабродая	октября
320	18 сверху	направляющаго	управляющаго
338	17 сверху	достойныя возведенія	не достойныя возведенія
369	10 сверху	князя Меджинъ	князя. Меджинъ
370	6 снизу	чьмии	чьими
389	20 сверху	пропла	пролила,
390	14 снизу	мѣшался	вмѣшался.
399	9 снизу	кототорый	который
488	5 сверху	улицемѣрно	лицемѣрно
Отд. II. 11	13 сверху	Чупровъ, Алексѣй Ивановичъ.	Чупровъ, Александръ Ивановичъ.

Цѣна 2 рубля.